Гурген Маари

«Горящие сады»

ПОСЛЕСЛОВИЕ В КАЧЕСТВЕ ПРЕДИСЛОВИЯ

О, неужели мне тебя баюкать
И в царскую гробницу опускать?

Ваан Терьян

Как данное когда-то обещанье,
Как вовремя не выплаченный долг (*)...

Егише Чаренц

...Чем сильнее ветшал и обтрепывался ковер,
тем упоительнее цвели на нем краски, и Мина,
бывало, неся старинный этот ковер на речку
и моя его, Мина плакала, и заодно с нею
плакал язык Кёреса...

Аксель Бакунц

... Нет, автор этого повествования вовсе не маялся зудом открыть новую планету и отнюдь не тщился достать с неба звезду. Да и о каких открытиях или подвигах может идти речь, коль скоро наша словесность хранит в алмазной своей сокровищнице "Раны Армении" бессмертного канакерца Хачатура Абовяна, "Страну Наири" великого карсца Егише Чаренца и "Кёрес" блистательного горисца Акселя Бакунца? После этих небом ниспосланных столпов нашей кровной отечественной прозы мыслимо ли кичиться неким новым духовным сооружением? Ни в коем разе. Иное побудило создать эту эпическую поэму - ревность, которая, как известно, являет собою одну из людских слабостей.

"Неукротимая это штуковина, книга", - сказал однажды Егише Чаренц, когда знойным августовским днем мы стояли с ним на улице Абовяна, у витрины только что открытого книжного магазина. На витрине была выставлена и его

"Страна Наири". Мне почему-то показалось, что эпитет "неукротимая" относится к "Стране Наири" - должно быть, оттого, что, кроме этой книги, на витрине не было ничего неукротимого. Ныне, десятилетия спустя, когда "Страна Наири" с каждым днем все неукротимей, когда невооруженным глазом видно, что именно через этот роман проходят дороги нашего завтрашнего романа, понимаешь, каким подвигом было создать его - осознанным, неукротимым подвигом. Это исполинский монумент, которым увековечены Карс и карсец. Точно так же, увековечивая Горис и горисцев, создан через годы "Кёрес".

(*) Здесь и далее стихи в переводе Г. Кубатьяна.

С тайной ревностью написал я в начале тридцатых и напечатал в журнале "Верелк" три главы романа "Род Гургенхана". Ранее в книге "Детство и отрочество" я, словно через разноцветные стеклышки калейдоскопа, показал Ван. Однако не успокоился. Меня тянуло вдребезги разбить все эти стеклышки, чтобы читатель, откуда бы ни был он родом, сделался ванцем и чтобы не просто увидел, но и почувствовал Ван, точь-в-точь как я чувствую Карс и Горис.

И отчего, скажите на милость, отчего должны жить в веках карсец Мазут Амо и горисец Толстяк Нерсес-бей, а уроженцу иных краев, безвестных и забытых Богом, какому-нибудь, допустим, Ованесу-аге Мурадханяну надлежит без следа сгинуть? Не мог он не явиться на свет, не мог он не родиться, Ованес-ага; он возник в первой половине тридцатых годов и был довершен лет этак через тридцать.

Да простят мне здравствующие и почившие партии, что я не увенчал нимбом головы их виднейших представителей, а изобразил такими, какими они были на деле. Мне могут возразить: тот, дескать, не участвовал в том-то, а другой - в том-то, но ведь важна суть, а не то, другое или третье. И да простят мне рассеянные по всему свету и снедаемые тоской по родному городу ванцы, что

действующие лица моего романа, значительные и незначительные, далеко не святые угодники. Они люди, и ничто человеческое им не чуждо. Я с превеликой радостью приму на себя их грехи, чтобы чаша моих преступлений уравновесила наконец чашу понесенных мною наказаний.

... Был город (я скажу - эдем, а ты скажи - рай) и в нем многие тысячи жителей, которые любили землю и воду своей родины, ее старинные церкви и памятники. И однажды этот волшебный наирийский град обратился в руины, а миролюбивый его народ разбрелся по всему свету. Вот что было. Вот что я воспел - всей душой и всем сердцем. Долгие годы работая в поте лица, я не питал свой труд пылью архивов и не старался исколоть твое сердце, читатель, тупыми иглами. Зачастую, когда надо было плакать, я смеялся, чтобы не терзать тебя.

Так-то вот.

И если дымы моих горящих садов стали вровень со славными столпами моих предтеч, если мне и впрямь удалось это... тогда, ну чти ж, тогда я со спокойным сердцем могу... жить.

Итак...

Шаану Шахнуру с любовью

СКАЗАНИЕ ПЕРВОЕ,
или вступление читателя в город Ван и мир одного из наискромнейших его обитателей Ованеса-аги Мурадханяна

1

По вечерам ветром тянуло с моря, с Ванского моря, а когда восходила утренняя звезда - с гор.

В это время листва на деревьях подрагивала.

И не только листва на деревьях. Подрагивали тихонько струящаяся вода в ручьях, вывешенное после стирки на свежий воздух белье над плоскими

кровлями, крылья возвышавшейся над городом ветряной мельницы, перья коротающих ночь на высоких ясенях и тополях птиц, сама ночь, и, наконец, вздрагивал во сне Ованес-ага.

Он поздно лег в тот день. Он лег поздно, потому что до глубокой ночи его восточный ковер топтали, не давая покоя, повивальная бабка, сердечные и сердобольные соседи, нагрянувший из деревни брат; не давал покоя и крик новорожденного - только не ковру, а ему самому, его ушам.

Да, особенно досаждал ему крик новорожденного.

Крик новорожденного мешался с давнишними воспоминаниями. Когда он впервые взял лз рук повитухи запеленатое в мягкие простынки орущее благоухающее тельце, ему показалось, будто, заполучив какой-то товар, он прикидывает, дорого ли тот стоит. Он улыбнулся и сказал:

- Цена-то ему какая, бабка Тарик?

- Тыща золотых, Ованес-ага, тыща золотых. Погляди-ка промеж ножек.

Ованес-ага, человек грамотный и знающий толк в арифметике, сострил:

- Бабка Тарик, промеж ножек не тысяча золотых, а один... Повитуха Тарик грамоте не училась, но почувствовала, что надобно задать еще один вопрос.

- Чего не достает единице, чтобы стать тыщей? - спросила она.

- Этаких круглых-круглых ноликов...

- Ованес-ага, коли единица есть, за круглыми-круглыми ноликами дело не станет, вот те крест... Бог милостив.

- Бабка Тарик, - оживился Ованес-ага, - парень-то он парень, я и сам понимаю. А вот что за плод, можешь сказать?

- Груша ли, вишня ли... Ах ты моя вишенка сладкая! Сладкий мой, сладимый, мальчик мой родимый!

И ответ на этакий научно-теоретический вопрос Ованеса-аги повитуха Тарик обернула приятной шуткой, сдобренной подходящей музыкой, которая даже Ованесу-аге пришлась по вкусу. Он вложил в повитухин рукав меджидие и со сдержанной радостью наказал:

- Отнеси ребенка к матери, к матери отнеси.

Уже рассвело. Ованес-ага повернулся с боку на бок. Из открытого окна потянуло свежим июньским ветерком, и он ощутил, как шевельнулись кончики усов. Он вздохнул полной грудью и, едва разлепив глаза, оглядел комнату. Все в порядке.

Новая обивка диванов тешила его самолюбие, завтра придут гости, промелькнуло у него в голове; чудится, будто подушки на садре улыбаются гостеприимно и ласково. Над зеркалом картина, и со стены глядит Батюшка Хримян, сидящий под ореховым деревом. Ованес-ага не видит ни орехового дерева, ни католикоса, зато он смотрит поверх зеркала и знает, что, впрочем, ореховое дерево уже бросилось ему в глаза.

А рядышком лежит его жена, Сатеник. На дощатом полу ковер, на ковре - их с женою постель. Новорожденный - по другую от Сатеник сторону. Теперь Ованесу-аге хотелось бы услыхать крик младенца, однако он чует лишь тяжелое дыхание и беспокойство Сатеник. Ованес-ага протягивает руку и легонько касается женина лба.

- Проснулся?

- Угу. А ты?

- Пойдешь нынче на рынок?

- Как скажешь. Пойти?

- Дело твое

- Мальчик спит?

- Вроде бы тихий, не то что другие. Послушай-ка, а не лишний он у нас?

- А куда было деваться, ханум?

- Ну, лекарства там, доктор...

- Вставай, вставай, кофе свари! Выдумала, доктор! Не затем я жену брал.

Наступило молчание.

- Нынче ты свари, мне неможется, - неуверенно сказала Сатеник.

- Прости, жена, забыл! - от души подосадовал на себя Ованес-ага и, вздохнув, собрался было вставать. Но передумал.

- Эй, Лия! Лия!

- Что? - раздалось из нижней комнаты.

- Вставай, кофе приготовь!

Молчание. Стало быть, заказ будет исполнен. Ованес-ага снова лег. Погладил жену и, будто обрадовавшись, шепнул:

- Похудела-то как!

- Тебя бы на мое место...

- Я бы умер! - ужаснулся Ованес-ага и задремал, позабыв и про младенца, и про жену, и про Лию, которая должна была сварить ему кофе; пьянящий, навевающий сон утренний воздух сморил-таки его, и он придремнул.

Теперь уже он видел Хримяна ясно и отчетливо. Каркая спросонок, пролетело несколько ворон, и солнце осветило макушки высоченных тополей.

А предгорья и сады окутала сероватая утренняя голубизна, голубоватая дымка.

Ованесу-аге привиделся сон.

Из деревни привезли сено. Битком набитые чувалы были правильными рядами, попарно, впритык друг к дружке разложены на подворье. Крестьяне загоняли коров на задний двор и просили травы - задать скоту корма. Ованес-ага вынул из кармана ключ и протянул айсору Ормзу.

- Поди принеси сена.

- Травы бы зеленой.

- Перебьетесь.

И Ованес-ага, сдерживая гнев, прикрикнул во сне:

- Сказано тебе: сена!

Ормз ушел и немного погодя, стащив с головы папаху, стал перед Ованесом-агой.

- Дядя Ованес, ступай погляди.

Ованес-ага отворил дверь сеновала. Увидал не сено, а шипящие и извивающиеся клубки зеленых змей. Ованес-ага не испугался.

- Неси, пускай лопают!

- Снесу, - повиновался Ормз.

А на заднем дворе стояли никакие не волы - свирепые львы, и они поедали зеленых змей. У Ованеса-аги мурашки пошли по коже, но он так и не проснулся.

Он сидел на мешке с пшеницей и присматривал за крестьянами. Те таскали мешки в амбар и опорожняли их. Мешок под ним двигался, покачивался, копошился, а он, ничуть не удивляясь, знай себе курил. Появилась Сатеник - она рвала на себе волосы и голосила:

- Ованес-ага, вместо пшеницы мышей принесли!

Мышей! Мыши выбегали из амбара, затопляли, накатывая волнами, все вокруг, растекались по лестницам и комнатам, карабкались по ногам Сатеник, а мешок под ним уже не копошился, а ходил ходуном. Мыши! Одна из них, самая нахальная и наглая, норовила прорваться наверх, туда, где сидел Ованес-ага, рылась, ковырялась, ползла, протискивалась, кусалась...

Ованес-ага взвыл от боли и проснулся.

- Кофе не готов?

- Нет, - ответила Сатеник; она уложила новорожденного в люльку и теперь покачивала ее. - Что с тобой?

- Дурной сон видел, жена, несварение у меня.

- Что снилось-то?

- Мышь, - буркнул Ованес-ага.

- Мышь - это я...

- Змея, - сказал Ованес-ага.

- Змея - это ты, - вполголоса заключила Сатеник и занялась новорожденным.

Ованес-ага встает с постели, накидывает поверх длинной серой ночной рубашки черный сюртук, снимает ночной колпак и надевает на голову турецкую феску, затем сует ноги в шлепанцы и неслышно проходит на веранду. Чувствует он себя бодро и спокойно. Перед ним, залитый солнечным светом, колышется в росе и зелени Айгестан. Конский щавель на садовой

калитке, пышный и густой, норовит, кажется, утечь во двор и затопить его своей зеленью. Ухоженный и лелеемый цветник глядит довольно и приветливо, а в саду поспевают плоды.

Славно, куда как славно чувствует себя Ованес-ага! Он мурлычет что-то под нос - не разберешь, то ли молится, то ли считает. Вот он поглаживает усы, проводит ладонью по подбородку и думает: "Пора бриться".

Потом ни с того ни с сего припоминает сон и снисходительно бормочет:

- Ну и дела... Несварение у меня...

Как человек сугубо практический, он и яви-то частенько не доверял, а если и доверял, то лишь после того, как самолично все осмотрит, проверит, ощупает, убедится. Сны же, как человек просвещенный, он и вовсе ни в грош не ставил. Самые дурные сны он рассказывал подробно, еще и присочиняя кое-что, а под конец заключал:

- Несварение у меня.

Или:

- Плохо я ночью спал.

Дом пробуждался. Лия разложила все необходимое для умывания и стояла наготове с ковшом в руке. Ованес-ага не спеша снял феску, водрузил ее на голову дочке, отчего Лия приобрела презабавный, но все-таки милый вид, и стал шумно умываться, плескаясь, отфыркиваясь и обрызгивая Лию водой.

Когда он кончил, Лия стянула с плеча пушистое полотенце, заботливо накинула отцу на руки и принялась убирать тазы и ведра.

- Кофе так и не приготовила, - уверенно произнес Ованес-ага, не столько даже укоризненно, сколько констатируя факт.

- Джезве на огне, - покраснела девочка и сняла феску. Отец бросил ей полотенце, надел феску и мягко наказал:

- Самовар тоже поставь. Бабушке скажи, пускай мясо зажарит, водку и вино по графинам разольет. А ты надень зеленое платье... Сестренка у тебя еще одна, слыхала? Аист принес...

- Не сестренка, а братик, - поправила Лия.

- Все-то ты знаешь! - и Ованес-ага указательным пальцем ласково щелкнул дочку по носу.

По лестнице на веранду поднялась сухонькая, маленькая старушка. Она просеменила к нему и, убрав со стола язму, заулыбалась. Маленькая старушка была матерью Ованеса-аги. Она скорее сошла бы за его старшую сестру, столь невероятным казалось, что у него до сих пор жива мать... Этому почтенному армянину мать подходила так же, как сапоги семидесятилетнему старику. Разумеется, Ованесу-аге было еще далеко до семидесяти, но мать рядом с ним, право же, не смотрелась. Да-да!

- Пойдешь нынче на рынок, Ованес?

- Не знаю, матушка, пойду ли, нет ли. - Ованес-ага подумал и улыбнулся: - Опять у тебя внучек, а? Последний, младшенький. Младшие, они самые любимые. Остатки сладки.

- Бог троицу любит, сынок, а больше-то и не надо... Гостей ждешь нынче?

- Как не ждать! Ты уж приготовь чего надо. Что Мхо делает?

- Что ему, бедному, делать? Спит. - И глаза у старухи увлажнились.

- Пускай встает, пойдем на рынок, кой-чего купим. Заодно и в магазин к себе загляну.

- Не побрился?

- Кофе попью и пойду.

- Я тоже пойду, разожгу тонир. Слава тебе, Господи! - озабоченно зашептала старуха.

- К Сатеник не заходила?

- Ах я дура старая! - всплеснула руками мать. - Совсем из головы выскочило...

- И засеменила в комнату к роженице.

Здесь она взглянула на новорожденного внука и нашла, что глаза у него точь-в-точь глаза ее отца, а лоб точь-в-точь лоб ее матери, Воскеат-ханум. Сноха с отрешенной улыбкой вспомнила: то же самое она говорила и про Сурена, и про Лию, лишая тем самым детей фамильного сходства с родителями... Так или иначе сноха сочла необходимым сказать для вида:

- Хочу встать, хатун.

- Боже упаси, лежи! И нынче, и завтра тоже.

Тем не менее старуха не преминула в третий уже раз поведать, что сама-то она рожала своих детей "на ногах", а на другой день перестирывала "гору белья" и оставалась при этом крепкой и здоровой "что твой огурчик".

- Мы - одно, вы - другое, себя с нами не равняй! - заключила старуха и засеменила прочь. - Пойду тонир разожгу. Слава тебе, Господи!

3

Дым тонира клубится над садами. Утро глядит свежо, оно и само для себя утро, прекрасное как Бог и ясное как Бог, которому неведомо, кто в него верует, а кто лицемерит, кому он внушает ужас и трепет, а кто взирает на, него полными слез глазами. Но если Бога и нет, то утро - вот оно. Оно глядит с неба и с гор, из окон и дымовых отверстий в кровлях, и оно прекрасно. Ему и дела нет, что Мхо спит себе в уголке подле тонира, а Ованес-ага поглаживает усы и попивает кофе.

Когда Ованес-ага покончил с кофе и оделся, Мхо уже встал и седлал ослов - своего серого и белого Ованеса-аги. Подошла мать, открыла ворота и пропустила двух своих сыновей. Те сидели верхом, и старуха смотрела им вслед, покуда не умолкли колокольца, привязанные к шеям животных, а сами они не скрылись за поворотом.

Они едут по широкой, ведущей к городу улице, обсаженной по обочине ивами и тополями.

Ованес-ага сидит на белом осле, а Мхо - на сером.

Под седлом с ковровой попоной, позванивая колокольчиками, шествует белый осел Ованеса-аги, а бок о бок с ним - несравнимо проще снаряженный ишак Мхитара.

Едут на рынок.

Мхо ничего не ел. Ему хочется заморить червячка, но он все не надумает, как об этом сказать.

Наконец он останавливает осла у придорожной пекарни, бросает монету и, взяв теплый лаваш, с аппетитом принимается за еду.

Нагнав Ованеса-агу, Мхо говорит:

- Не люблю я город!

- Хлеб, что ли, у нас невкусный?

- Вкусный-то вкусный...

- Тогда что же?

- Это ж надо - за хлеб деньги платить!

- Привык! Тебе небось хорошо, - добродушно уколол Ованес-ага.

- В Стамбуле, говорят, и за воду платить надо... Есть вести от Амбарцума-аги? - вспомнил вдруг Мхо.

- Есть.

- Как он там?

- В гору пошел, большими делами ворочает... Полис, Амбарцум-ага, - поди разберись!

Они едут бок о бок. Веселые колокольца осла Ованеса-аги и Мхоевой скотине внушают живость и бодрость. Резвости у нее ничуть не меньше, она навострила уши и даже придерживает шаг.

- О деле мы так и не поговорили, - озаботился Мхо, когда они оставили позади порядочную часть дороги и он проглотил последний кусок свежего лаваша.

- Не горит, еще поговорим. Сегодня мне Не до этого.

- Еще бы! Сегодня у тебя мальчик родился, сегодня у тебя День особенный!

И запел.

Пел и вспоминал своих детей, жену Искуи, деревню, пахоту и сев, овец и коров.

...Тянется из города широкая извилистая дорога. Она скользит по предгорьям, вьется между холмами, потом берет вверх, вверх, вверх, а где-то внизу, в туманной, без единого деревца, но обильной водою долине лежит деревня.

Дорога круто петляет, спускаясь с высоты, затем, будто угомонившись, идет прямо и ровно еще километров десять, и вот наконец деревня. Эрманц! Живут в деревне айсоры и курды, но здесь обосновалось, поставив свои дома, и несколько армянских семейств. Вот уже добрых пятнадцать лет Мурадханяны владеют в этих местах пастбищами и полями, почти две сотни голов крупного и мелкого! рогатого скота выхаживают для них курды, айсоры, армяне, и более других довольны они айсорами. Их, Мурадханянов, четыре брата: Амбарцум-ага - он ведет торговые дела в Полисе, Ованес ага, затем учитель Геворг-ага и Мхо. Десять лет назад Мхо уехал в деревню на лето - проследить за пахотой и севом, уехал да так и не захотел воротиться в город. Там и женился, обзавелся деть ми - словом, осел. Присматривает за хозяйством, каждый год берет свою долю, а остальное отправляет в город. Перед смертью Мурад-ага Мурадханян написал завещание. Согласно этому завещанию все его имущество препоручалось Ованесу-аге как наиболее надежному и достойному из сыновей. Покойный выражал твердую уверенность, что его прямой наследник Ованес-ага не допустит, чтобы остальные три брата прокляли отцовское имя и память, и по совести и по заслугам выделит каждому долю из основного имущества. Не прошло и месяца по еле смерти Мурада-аги, как Амбарцум взял кругленькую сумму и укатил в Полис. Вот уже двенадцать лет живет он в столице, и его торговый дом год от году расширяется. Услыхав про успехи брата, Ованес-ага послал ему письмо, исполненное дипломатичного великодушия, и предложил вспомоществование из "основного имущества". Через месяц пришел сухой ответ: у меня, дескать, все в порядке, пока, слава Богу, в помощи нужды не испытываю. Так и не испытал. Третий брат, учитель, преподававший закон Божий и историю в одной из местных приходских школ, покинул педагогическое поприще. Нестойкому по части выпивки, ему не удалось примирить казино со школой, водку и вино с законом Божьим и историей. Поначалу сослуживцы пытались не замечать его слабости, а директор и вовсе избегал смотреть в покрасневшие глаза господина Геворга, когда тот нетвердой походкой входил в учительскую. Однако господин Геворг

становился все несноснее. В его столе появились бутылки с водкой. Не подлежало сомнению: не довольствуясь питием на стороне, он предается этому душеспасительному занятию и в школьных стенах. Где же, однако, пил господин Геворг? На уроках он, как и его коллеги, учил детей, на переменах же учительская была полна преподавателей, а коридоры - учеников.

Загадка разрешилась, когда в один прекрасный день (день этот, впрочем, отнюдь не был прекрасен: небо хмурилось, и спозаранок моросил мелкий дождь...) директор приметил в некоем известном месте, в. некоем известном отверстии пустую бутылку. Сомневаться и впрямь не приходилось: дабы утолять непостижимую свою жажду, господин Геворг избрал место, за закрытыми дверями которого можно не Опасаться соглядатаев.

На следующий день к нему подошел дежурный:

- Господин Геворг, вас вызывает директор.

- Где он? - спросил господин Геворг, чутьем уловив, что вызов не сулит ничего хорошего.

- Пройдите, пожалуйста, в его кабинет.

- Хорошо.

- Он сказал: сию минуту, - настаивал дежурный.

- Такое важное дело? - надеясь узнать что-нибудь, спросил господин Геворг и попытался улыбнуться.

- Не знаю, - отрезал дежурный и дал Звонок. Господин Геворг Поневоле поплелся к кабинету директора. Тихонько поднимаясь по лестнице, он услышал свое имя и замер. Наверху стояли два сослуживца и негромко беседовали.

- Скандал, да и только, - сказал господин Мамбре.

- А правда ли это?.. Может, недоразумение? - колебался господин Егише, поигрывая цепочкой от часов.

- Дорогой ты мой, о каком недоразумении речь? Господин директор сам видел в уборной Пустую бутылку из-под водки. Ведь не ты же ее бродил и не я.

- Не понимаю, что за страсть!

- Не говори... Ученики узнают, пальцами на нас будут показывать. Директор его уже вызвал.

Господину Геворгу кровь ударила в голову. Он медленно повернул обратно, вошел в учительскую, отпер маленьким ключом ящик стола, достал початую бутылку водки, сунул во внутренний карман и, надев феску, по-воровски, тайком выбрался из школы.

Он ушел отсюда навсегда.

x x x

Едут два брата в тени ив, и каждый из них раздумывает о своем.

Ованес-ага курит свою длинную трубку - головка у нее из желтого с птичье яйцо янтаря. Глубоко затягивается трабзонским табаком и выпускает дым. Мхо - он не курит - считает, прикидывает так и этак, он доволен, очень доволен и смотрит на брата. Ему столько надо сказать о деле, а брат... нет, у того "сегодня день особенный".

Зашли на рынок. И тут Мхитару стало немного не по себе. Ему хотелось повезти Искуи - обещал - три аршина ситца, Сираку - игрушку, Мариам - тоже что-нибудь... сказать или не сказать? Да ведь денег-то у Мхо нет, откуда у него взяться деньгам?

Нет, он таки скажет Ованесу-аге, непременно скажет: пускай распорядится у себя в магазине и даст чего нужно.

Вот и магазин Ованеса-аги. Порядок всегда был таков. Ованес-ага идет в магазин, а Мхо дожидается у дверей до тех пор, покуда брат не покончит с делами. Но на сей раз он тоже спешивается и следом за Ованесом-агой входит в магазин.

Ованес-ага делает вид, будто не замечает его, а заметив, роняет:

- Ослы часом не пропадут?

- Да нет, куда им деваться.

Мхо осматривает магазин брата. Вот это богатство! Сколько здесь тканей, сколько всякого добра!

Являя собою само смирение и почтение, навстречу хозяину выступает молодой человек. Два приказчика, не отрывая глаз от Ованеса-аги, замерли на месте.

- Выпиши этим молодцам, - указывая на них, распоряжается Ованес-ага, - по пять курушей. Вечерком приходи к нам... сегодняшнего отчета не приноси, - добавляет он с улыбкой, давая понять, что приглашение носит отнюдь не деловой характер. Сет - так звать молодого человека - покрутил большим и указательным пальцами кончик правого уса и с почтительной осведомленностью отозвался:

- Уже?

- Уже, уже.

- Мальчик или?.. Мальчик - это хорошо, но в Полисе и девочкам радуются не меньше.

- Мальчик... Товар сегодня прибыл?

- Еще нет.

- Позови-ка этого варвара Сафара.

Появился парикмахер со своими причиндалами, усадил Ованеса-агу и склонился над ним.

Мхитара обуяло море мыслей. Как только брат ухитрился нажить этакое богатство? Раздаривает по пять курушей своим продавцам! Да будь у него, Мхо, пять курушей...он купил бы для Искуи и ситцу и язму.

В магазин вошел чиновник-турок в сопровождении носильщика, купил три штуки ткани и расплатился золотом. У Мхо аж дух перехватило - Господи, ну и богатей!

- Этого ситцу возьму для Искуи, - не в силах сдержаться, говорит Мхо. Ему уже двадцать шесть лет, и впервые он так смущен. Ованес-ага хотел было сказать: "В другой раз", но, вспомнив, что день сегодня "особенный", велит Сету:

- Отмерь четыре локтя. Вот так!

- Пошли, - говорит Ованес-ага, уже выбритый, и направляется к дверям. Мхо следует за ним. Мхо вспоминает свою долю пшеницы, вспоминает, сколько муки ему осталось, и на сердце у него становится легче. Он вернется в деревню и откроет лавку. Однако какой сельчанин станет выкладывать за муку деньги? У него и самого-то больше одного-двух курушей сроду не водилось, да и те он заимел, лишь когда на его дом нагрянул отряд, когда человек восемь, а то и десять жили у него, ели-пили дней по восемь, а то и по десять и, чтобы порадовать детей, Сирака и Мариам, давали им немного мелочи.

Вот откуда у него деньги.

Ованес-ага уселся на своего позвякивающего колокольцами осла. Мхо последовал его примеру.

- Ситцу довольно?

- Довольно, брат, премного тебе благодарен. Спаси тебя Господь...

- Поехали на Араруцкий майдан.

- Зачем?

- Куплю кое-что.

- У тебя деньги есть? - отчего-то спросил Мхо. Молчание.

Доехали до майдана - большой площади, с трех сторон окруженной магазинами без витрин и армянской церковью с четвертой.

- Хачатур-ага, - кликнул Ованес-ага, остановившись у одного из магазинчиков, - здравствуй!

- Здравствуй, здравствуй, Ованес-ага, - ответил человек с Длинными заостренными усами и в сдвинутой на лоб турецкой феске.

Он сидел, поджав под себя ноги, и теперь силился подняться.

- Сиди, сиди, Хачатур-ага, не беспокойся!

- В кои-то веки ты заглянул в мою лавку, а я сидеть? - поднялся наконец на ноги Хачатур-ага и на турецкий манер отвесил поклон.

- У меня к тебе дело, Хачатур-ага.

- К твоим услугам.

Ованес-ага достал из-за пазухи продолговатый кошелек, взвесил его на ладони, развязал, расширил горлышко, приоткрыв взгляду его увесистое нутро. Перед глазами Мхитара желто блеснули сразу несколько золотых. Достав один из них, Ованес-ага протянул монету Хачатуру-аге и сделал заказ:

- Наша Сатеник разрешилась... Водки там, вина, сластей, коньяку... словом, на твое усмотрение. Сам тоже приходи.

Близ площади один за другим грянули выстрелы. Золотой будто растаял между большим и указательным пальцами Ованеса-аги, а Хачатур-ага отдернул и сунул в карман протянутую было руку. Точь-в-точь кто-то напал на него, собираясь ограбить. За какую-то минуту с шумом захлопнулись ставни всех до единого магазинов. Так же, не обращая внимания на почтенного соотечественника, поступил и Хачатур-ага - захлопнул ставни.

- Пьяного поймали! Это пьяный, ничего страшного! - послышалось с площади, и лавочники свободно вздохнули. Иные, открыв магазины, принялись даже похваляться; мы, дескать, и не струсили вовсе, было ж ясно, что пустяки, а случись что серьезное, ружье пальнуло бы не так... и далее в том же духе.

Мхо воспринял происшествие с туповатым безразличием. Кто забрался в море, тому дождь не страшен. Ованес-ага, тот всего лишь на мгновение смешался, но тут же взял себя в руки. Хачатур-ага пробрюзжал что-то насчет жизни и ее бренности и стал помечать для себя, чтобы не позабыть, заказы Ованеса-аги. Ставни он так и не открыл.

- Рано еще, Хачатур-ага, чего закрылся?

- Ночью дурной сон видел, Ованес-ага, на сегодня с меня хватит.

- У тебя, милый ты мой, не иначе несварение.

- Желудок тут ни при чем, - не терпящим возражений тоном промолвил Хачатур-ага, окатив ушатом холодной воды Ованеса-агу с его непоколебимыми воззрениями.

- Ну, я пойду. Стало быть, на твое усмотрение, только маслины не забудь. Сам тоже приходи, время скоротаем.

- Наше дело немудреное, Ованес-ага, - улыбнулся Хачатур-ага и пошел выполнять заказ. Два брата отправились домой; по дороге они не перемолвились ни словом. Солнце играло на желтом янтаре трубки Ованеса-аги и медных колокольчиках белого осла.

4

...Из школы господин Геворг чуть ли не бежал. Его грудь стесняло противное чувство. Два-три раза он наведывался к брату и всякий раз уходил с несколькими золотыми. Обе стороны понимали, что никаких счетов между ними уже нет. Однако случившееся перевернуло вверх дном всю умственную бухгалтерию господина Геворга, если таковая вообще у него имелась. Что до наследства, то он на него не притязал. Завещание отца Геворг полагал естественным, поскольку не испытывал ни малейшей охоты посвятить себя торговле либо предпринимательству. В деньгах, которые перепадали ему от Ованеса, он усматривал не долю отцовского наследства, но своего рода братскую помощь. Ясное дело, покинув родительский дом, Геворг затруднялся содержать семью как следует. Восемнадцати золотых в год, получаемых в школе, вполне бы доставало, не води он закадычной дружбы с водкой и вином. Треть жалованья утекала по неисповедимой этой дороге. Ну а неисповедимая эта дорога... Сколько героических помыслов, эпохальных деяний, благородных свершений, сколько торжественных обещаний, клятв, намерений, решений погребено во мгле и тумане на неисповедимой этой дороге... а стоило ему проснуться поутру, как вернее всего и осязаемей становились отяжелевшая голова и полегчавший кошелек. Взамен развеселой музыки казино в его ушах звучали попреки жены Вержине, а в древнем их городе звонили тем временем церковные колокола и школьные колокольчики: первые призывали прихожан к молитве, а вторые - учеников и учителей на урок.

Он встал, не глядя на жену, накинул на плечи мохнатое полотенце, по краю которого на светло-голубом фоне белой вязью было выведено: "Доброе утро". В первые месяцы супружества, когда в голосе жены только-только зазвучали слабые, смиренные нотки раздражения, он, входя в комнату после умывания, официально произносил:

- Доброе утро.

А когда Вержине, укладывая одну на другую разложенные по полу постели, не отзывалась на его "доброе утро", он глядел на вторую половину полотенца, на зеленом фоне которого надписи не было, и острил:

- Вот на "Бог помочь" ты можешь не отвечать - здесь этого не написано.

Сколько раз мирила их эта острота! Однако же... где они, те годы? Минуло уже пять лет, и за пять лет Вержине по меньшей мере пятьдесят раз плакала, двадцать пять раз проклинала свою судьбу и двенадцать с половиной раза корила мужа его никчемностью, высоким положением Ованесовой жены и деловитостью самого Ованеса.

Скажешь, пойду жить к Сатеник-ханум, стану при ней бедной родственницей, а ты ступай в услужение к Аханесу-аге (*), иначе что нам остается как концы с концами сводить?

(*) Аханес - диалектный вариант имени Ованес.

- Уважай меня хоть немного! - приказал он жене за два года до этого. Вержине покорно-безропотно стала "уважать" его. Помалкивала и о хорошем, и о плохом. Отсутствие детей - они не желали даже выяснять, кто виноват, - держало их друг при друге. Раз за разом Вержине с шитьем в руках шла к соседям и частенько засиживалась у них до позднего вечера. Приходил муж и, помявшись у закрытых дверей, отправлялся в сад, а зимой - тоже к соседям. Потом они отыскивали один другого и шли домой. Дома Вержине все так же

"уважала" мужа. Она не докучала ему расспросами: где был, да почему опоздал, да откуда его несет? Бывало, она не хотела даже замечать, что благоверный едва держится на ногах.

Утром, умывшись, он выходил в сад.

Сады были разделены приземистыми земляными оградами. Любой, будь он самый что ни на есть коротышка, видел через стену соседа и от души его приветствовал. Посему господин Геворг, Геворг-ага, или просто Геворг, спустившись в сад, беспечно расхаживал между деревьями, будто знать не знал никаких забот. Собственно говоря, единственной его каждодневной заботой было со всею добросовестностью проверить, на месте ли груша, не сбежали ли часом яблони, не испарился ли ручеек на узкой тропинке.

- Доброе утро! - слышит господин Геворг из соседнего сада улыбчивый голос Саргиса-аги.

- И вам того же! - ответствует господин Геворг. - И вам того же!.. Ну-с, что слышно?

- Живы-здоровы, - откликается Саргис-ага, улыбаясь не только лицом, но и голосом, и проходит дальше. А господин Геворг столь же сосредоточенно стоит в своей исполненной достоинства позе. Ему так хочется побеседовать с почтенным своим соседом, поинтересоваться его здоровьем, рассказать о себе, рассказать громко, искренне и не таясь, чтобы слышали и остальные соседи... Однако звонят церковные колокола и школьные колокольчики, звонят торопливо и, как чудится Геворгу-аге, официально, и он поспешает домой.

А дома Вержине все так же "уважает" его. Завязала в платок хлеб и сыр и положила в полной готовности на подоконник. Он берет вкусную свою ношу и, с величайшей важностью обставляя свой уход, внушительным шагом направляется к дверям. Он идет не куда-нибудь, а в школу, оттого и горд.

И всякий раз - быть может, и нет, но ему-то кажется, что всякий раз, - он слышит наставления Вержине: "Муки... масла... несколько меджидие... не пей водку... чечевицы, картошки... Христом-Богом молю, не пей!.."

Он идет, шагает к школе.

x x x

Господин Геворг чуть ли не сбежал из школы. Его грудь стесняло противное чувство. На минуту его привлекло самое заурядное: мальчишки, играющие в бабки, гуляющие под ивами горожане, и особенно тот из них, одна нога которого была обута в полуботинок, а другая - в калошу. Это арбуз, это часовщик, здесь булочная, ну а здесь... здесь казино...

Зачем он позвал его, директор? Кто он такой, директор? Чего он добивается, директор? Что он из себя представляет, директор? Откуда он взялся, директор? Отчего он так важничает, директор?

Он вошел в казино, сел на открытой веранде, достал из кармана водку и позвал подавальщика.

- Принеси-ка мне бастурмы.

- Одну бас-тур-му! - нараспев крикнул подавальщик. Через минуту-другую он поставил на стол тарелку твердых, тонко нарезанных аппетитных копченостей.

- Что ты, бишь, говорил о директоре?

- Ничего не говорил, Геворг-ага. Я его не видел.

- Ты из каких мест?

- Деревенский, из Тимара.

- А чего приехал?

- Что, уехать обратно?

- Куда, в Тимар? Да нет, принеси рюмку.

Стало быть, на школе надо поставить крест. Но дело не в школе. Дело в том, что надо поставить крест на восемнадцати золотых годового жалованья... ежемесячно он имел полтора золотых, имел и потерял. Он вспомнил, как последний раз поставил в ведомости свою подпись; он попросил, и ему дали все, что причитается за целый месяц; он получил уже свои сто шестьдесят два куруша, а ведь сегодня еще только двенадцатое мая... Еще только май месяц:

Нет прекрасней, чем в мае, погоды...

Серебристого озера воды...

О, родина...

О, любимая... -

Пропел господин Геворг и налил третью рюмку.

- Директор, да кто он такой, директор?!

Он свернул папироску и огляделся. Народу в казино почти не было. За одним столом пьют несколько чиновников-турок, за другим сидят два господина, армяне, и, вдохновленные турецким кофе, шепчутся, подымают голос, входят в раж, потом падают духом и подбадривают друг друга. Затем один из них глухо и напряженно произносит затяжную речь, и они встают. Выйдя из казино, они, не прощаясь, расходятся - один направляется вверх, другой вниз. Не сделав, однако, и двух шагов, направившийся было вверх останавливается.

- Симон-ага!

- Да?

- Ты Аханеса-агу увидишь, Мурадханяна?

- А как же!

- Коли так, дай мне знать.

- Не беспокойся, дорогой.

Господин Геворг слышал этот разговор внятно и отчетливо, и голова у него затуманилась. По лестнице поднимался завсегдатай казино, человек свободной профессии, национальный деятель Габриэл Демирчян. Высокий, стройный, с подкрученными усами, румяный - кровь с молоком, тщательно одетый, он поправил на голове феску и неторопливо взошел в зал. С равной приязнью и задушевным дружелюбием обвел взглядом все занятые столы и подсел к свободному. Извлек из кармана местную еженедельную газету и принялся за чтение. Господин Геворг наполнил предпоследнюю рюмку и подозвал подавальщика.

- Пригласи сюда того человека, - попросил он, указав на Габриэла Демирчяна.

- Сию минуту.

- Сию минуту, - эхом отозвался господин Геворг и выпил предпоследнюю рюмку.

Габриэл Демирчян широким шагом пересек небольшую веранду казино и, улыбаясь глазами, сел против господина Геворга.

- Переполох, - сказал он, по-прежнему изучая газету. - Переполох.

Затем сложил газету, покосился на каплю недопитой водки и остатки бастурмы и усмехнулся.

- Как спал? Спокойно?

- А почему бы мне не спать спокойно?

- Ну, не знаю... "Геворг-ага, пошли домой". - "Не пойду я домой". - "Геворг-ага, поздно, завтра тебе в школу". - "Не пойду я в школу". - "Геворг-ага..." - "Не говорите мне Геворг-ага, я пес, я волк, я господин Геворг, я домой не пойду, лягу здесь и умру..." - "Геворг-ага, господин Геворг, дорогой ты мой..." - "Какой я тебе дорогой! Ступай к моему брату, вот он дорогой так дорогой. А я - тьфу!" Вот так, господин Геворг, покуда довел тебя до дому, все на свете проклял.

- Ей-Богу, не помню, - промямлил господин Геворг, и ему захотелось домой. Но тут он вспомнил: - Кто он такой, директор?

- Говоришь, кто он такой? - Габриэл Демирчян был в своей стихии и опять усмехнулся. - Кто он такой? Старик с клюкой... Ты тоже хорош, нашел работу! Достоинств своих не видишь, себя не уважаешь. Твой брат...

- Нет слова сладостней, чем "брат".

- Не верь! Есть существо дороже брата.

- Например?

- Друг.

- Ты мне друг?

- Конечно.

- Раз так, благодарствуй! Благодарствуй, что ты мне друг, благодарствуй, что ты меня уважил. Человек, счет!

Габриэл Демирчян еще раз взглянул на не внушавшую надежд бутылку, остатки закуски, вынул из кармана газету и с грустью посмотрел в сторону выхода.

СКАЗАНИЕ ВТОРОЕ,
в котором читатель знакомится с друзьями радостных и безрадостных дней Ованеса-аги

1

Дым тонира клубится над садами. Он поднимается из отворенных в плоских кровлях дымовых оконцев.

Под одним из таких дымовых оконцев в плоской кровле сидит бабушка Српух - Србуи, вся из себя махонькая и кругленькая мать Ованеса-аги. Она разжигает тонир и думает.

Младенца надобно назвать Мурадом - должна же остаться память о ее Мураде, упокой, Господи, его душу. А теперь пора отбивать мясо для кюфты.

Тук! Тук! Тук!

... Было это пятьдесят лет назад. С лицом, укрытым фатой, Србуи плачет и вспоминает день, когда она подметала у входной двери. Двое прошли под ивами и остановились. Оба молодые, усатые, оба в бостоновых костюмах аляфранка.

Србуи с веником в руке шагнула к воде. Веник надо было помыть, стряхнуть грязь.

А надо ли было мыть веник?.. Да как сказать. Но теперь, когда Србуи плачет, укрытая фатой, когда один из этих молодых людей в бостоновых костюмах аляфранка вот-вот придет и уведет ее, она не жалеет, что пошла чистить веник; но который из них выбрал ее - тот худощавый или другой, пониже, полнощекий? А, впрочем, не все ли равно! Довольно и того, что она невеста,

что ее уводят отсюда, забирают в богатый дом, состоятельный дом, а молодые люди, глядевшие на нее под ивами, - братья.

Тук! Тук! Тук!

Братья не передерутся из-за Србуи. Она дочь мелочного торговца, владельца одной коровенки и маленького сада. Рукоделье. Тонир. Тоска.

Тук! Тук! Тук!

Этот звук издают янтарные бусины его четок. Они все-таки пришли, два брата, выдумали предлог ("Мы слышали, есть у вас ковер, не покажете?") и увидели отдаленно сходный с ковром палас, сложили его, расправили, вытянули нить, подожгли и, разглядев, принялись перебирать четки.

Тук! Тук! Тук!

Надобно приготовить кюфту, нажарить мяса, а еще - плов, орешки с изюмом, сласти...

И, вся из себя махонькая, старуха старательно стучит колотушкой, отбивает баранину и вспоминает день, когда за нею приехали и увезли ее из отчего дома.

Тук! Тук! Тук!

Приехали верхом.

Фаэтона не было. Телега для такого случая не годилась.

С глухим громыханьем - ни дать, ни взять войско - подступили приглашенные на свадьбу гости, подошли толпой, не разберешь, где и кто, ближе, ближе, и совсем уж ничего не понять.

А зурна и барабан гремели над самым ее ухом.

Махонькая старушка кончила отбивать мясо и взялась за кастрюли.

Зурна и барабан сливались с шорохами в церкви и звяканьем кадила.

Ее тоже увезли верхом на коне. Фаэтона не было. Телега не годилась.

Ее придерживали с обеих сторон - не дай Бог упадет. Но она видела из-под фаты двух братьев, равно торжественных и нарядных, одного худощавого, высокого и другого - пониже, полнощекого, и не знала, который из них будущий ее муж, с кем она взойдет на брачное ложе и кому подарит свой первый, девственный поцелуй.

Покинув под бьющую по ушам музыку и шум церковь, они направились в дом жениха.

Тук! Тук! Тук!

Это разгоряченная молодежь палила в церковных дверях из револьверов, и каждый выбирал себе мишенью звезду в небе.

- Кто пьяный, цельсяповыше луны!

Никому, разумеется, не удалось сбить звезду, да и луна не сдвинулась с места, но гремела и волновала кровь хвала и здравица достигавшей поднебесья и хватавшей за сердце венчальной песни:

Сошел Господь в Армению, в Армению,

Женил Господь армянских смельчаков...

Армянским смельчаком оказался тот из братьев - ростом пониже, полнощекий, - который сидел на сером то ли муле, смахивавшем на осла, то ли коне, смахивавшем на мула, и чьи первые слова, когда их оставили после свадьбы наедине, звучали так:

- Пуговица у меня на брюках ослабла, пришей... А я пока что коня напою.

Повернулся и вышел.

Тук! Тук! Тук!

Стучит сердечко новобрачной Србуи, стучит, словно колотушка, словно копыта скачущей лошади, словно бусины четок, падающие одна на другую, - кажется, вот-вот кончатся, ан нет, не кончаются, - стучит сердечко новобрачной Србуи, словно вот-вот случится с ней обморок, а обморока-то и нет...

А после свет сменялся темью и дни сменялись годами, и в тепле, и в прохладе лета и сада, зимы и комнат, под солнцем, луною и звездами один за другим народились Амбарцум, Ованес, Геворг, Мхитар...

И ни одной девочки.

Тук! Тук! Тук!

Промчались годы, точно кони во весь опор, минули один вослед другому и канули - иные пронеслись, а иные проковыляли, и сошла на нет жизнь"

обветшало сердце, покрылось морщинами лицо, умер шестидесяти лет от роду торговец Мурадхан, тот самый молодой человек, полнощекий, невысокий, которого мы описали выше и который в детстве, лет пяти-шести, мочился под себя, страдал необычной болезнью - ел землю.

В Дверь стучат. Старуха не сомневается: это ее сын, Ованес. Его стук - три отрывистых удара; сейчас работник отворит дверь.

Сейчас войдет ее сын вместе с Мхитаром. Сейчас они придут, удалые ее сыновья, один горожанин, другой селянин - Мхо, ее младшенький, тот, что, приезжая в город, ровно солнышко согревает старуху. Амбарцум для нее все равно как радуга - с виду красиво, глаз не отвести, но далеко что твое виденье; Ованес старухе - что вода и воздух, а Мхо - ясный день и солнце.

Зато Геворг...

Только бы не слышать его голоса. Старухе ничего для Геворга не жаль, Геворг ей такой же сын, как и остальные, но видеть Геворга ей не под силу. Эта ветка, выросшая из их ствола, оказалась неплодоносной; на родительский очаг он смотрел чужак чужаком, приходил сюда как посторонний - поесть-попить да убраться восвояси, жену он взял без разбору, не прикинув, хороша ли, плоха ли, пристрастился к выпивке, за пьянку изгнан из школы, палец о палец не ударил, когда Ованес послал его в деревню проследить за севом и облегчить ношу Мхо. Когда ему предложили: похозяйничай, мол, в магазине, он принялся пить с сынками других торговцев по кабакам, бросал тень на брата и его дела... Нет-нет, старуха желает ему всех благ, но не желает видеть его лица, не желает слышать его голоса.

- Здравствуй, матушка...

Старуха оглянулась и вместо Ованеса с Мхитаром увидела в дверях искаженные черты Геворга.

- У Ованеса мальчик родился, пришел поздравить... Имею я такое право?

Униженный тон сына подействовал на старуху; и в лице его, и в голосе, и в словах ей почудились искренность и волнение, и она всплеснула руками:

- Да отчего же не имеешь, сынок, разве это не твой дом?

- Это не мой дом, матушка! Я пес, я волк. Засмеялся родным сыновним смехом и легонько дернул материнскую язму.

- Пойду взгляну.

- Ованес и Мхо ушли на рынок купить кое-чего, - посетовала старуха.

- Наверху никого нет?

- Одна Сатеник.

- А Лия?

- Лия-то тебе зачем?

- Да не съем я ее, где она?

- Розы к чаю рвет...

Геворг скрипнул зубами и вышел во двор.

- Лия! Эй, Лия!

В садовую калитку с букетом роз в руке вбежала Лия, недовольная тем, что ее оторвали от дела.

- Дай-ка мне водки, Лия, да принеси закусить. Проголодался.

Старуха сходила в погреб и приготовила что надо. Сын уже под хмельком, сообразила она.

Поджав под себя ноги, Геворг уселся на расстеленном во дворе ветхом коврике, и Лия поставила перед ним завтрак. Он равнодушно скользнул взглядом по еде и, не мешкая, выпил.

... Он увидел мать, услышал умоляющий ее голос, потом перед глазами поплыл туман, туман, снова туман, и наконец из тумана проступили лица родных братьев.

- Мне, стало быть, умереть? - вопросил он Ованеса, схватил бутылку водки и вроде бы замахнулся.

Ованес не обратил на эту выходку никакого внимания, и Геворг тишком-молчком поставил бутылку на место.

- Умереть так умереть.

- Спи, - сказал Ованес. - Лия, принеси подушку! Лия побежала за подушкой.

Геворг, однако, и не думал ложиться. Шатаясь, он встал на ноги.

- Я не буду спать, - заявил он, - не буду. Спите сами, у вас есть право спокойно почивать... Мне нужно работать. Ованес, у тебя много денег, ступай спи на своих деньгах!.. Мхо, Мхитар, ты человек от земли, ступай спи на земле!.. Амбарцум у нас коммерсант, пусть разляжется на золоте... Забери подушку, Лия, мне не подобает спать на подушке.

В дверь постучали.

2

- Милости, милости просим! Каким это ветром вас занесло я наши края?.. Я, право, глазам своим не верю! Добро пожаловать! Будьте как дома.

Пытаясь разрядить созданную Геворгом напряженность и к тому же от души радуясь нежданному визиту двух почтенных гостей, Ованес-ага поспешил препроводить их наверх, в мансарду.

Мансарда Ованеса-аги представляла собой сооруженную на плоской кровле комнату из гладкоструганых досок, ее широкий окна с округлыми бревенчатыми наличниками были всегда распахнуты; на зиму она запиралась, а использовалась каждый год с мая по сентябрь.

- Аляфранка или алятурка? - поинтересовался у гостей Ованес-ага, одной рукой указывая на диваны и кресла, а другой - на "турецкий" уголок.

- Не люблю турок, но привычка есть привычка, - сказал высокий, сухой и сутулый Симон-ага, своим положением и богатством не уступавший Ованесу-аге. Второй - Фанос-эфенди, низенький господин с широкими усами, махнул рукой:

- Мне все равно.

Гости сели, поджав под себя ноги, Фанос-эфенди достал из кармана платок и шумно высморкался, а Симон-ага принялся неторопливо и размеренно перебирать четки, несколько ироничеески поглядывая на скользящие бусины. Покрой их фесок был безукоризнен.

Ованес-ага неслышно вышел и спустился по лестнице - распорядиться насчет кофе и проверить, чем занят брат. На лестнице ему повстречалась мать, уверенным, но озабоченным шагом поднимавшаяся наверх.

- Что там Геворг? - спросил Ованес-ага, когда их разделяли всего лишь две ступеньки.

- Уснул, - ответила мать; в ее вечно озабоченных глазах светилась надежда что-то узнать.

- Кофе, то, другое, - распорядился сын.

- Зачем пришли-то? - полюбопытствовала мать и сделала неопределенный жест, означавший примерно следующее: не беспокойся, обо всем уже позаботились, ответь-ка лучше на мой вопрос, да поживее.

- Зачем? Пришли поздравить.

Глаза Србуи-ханум успокоились, а морщины словно исполнились света.

- Пойду. Ступай наверх.

И она легко и сноровисто спустилась по лестнице, тогда как Ованес-ага даже потемнел.

"Зачем они пришли? - размышлял он, медленно и задумчиво поднимаясь со ступеньки на ступеньку. - Зачем им понадобилось прийти?.. Разве кто-нибудь умер?.. Пришли поздравить с рождением сына... вроде бы так. Но откуда они узнали?"

Он дошел до дверей мансарды. Постоял минутку, рассчитывая услышать раскатистый смех гостей или по крайней мере непринужденный разговор. Но в мансарде было совершенно тихо, только глухо и размеренно постукивали четки Симона-аги да доносился из сада голос Лии, одергивавшей младшего брата Сурена: не трогай, мол, розы.

- Оставь в покое бутоны! Пускай раскроются...

Ованес-ага почувствовал раздражение и попытался было рассердиться на Сурена - нечего лапать нераскрывшиеся розы, - мысленно похвалил Лию за бдительность, упрекнул брата, вспомнил сперва роженицу, а затем и новорожденного сына, улыбнулся и отворил дверь.

- А у вас в мансарде прохладно, - сказал Фанос-эфенди, не отрывая глаз от четок.

- Прохладно, - с облегчением отозвался Ованес-ага. - Пока что весна, а там, глядишь, лето... Ветер дует то с горы, с Варага, то с Вана. Ох и шум стоит!

Он предложил гостям папирос, и те приняли их с церемонной восточной вежливостью, так же церемонно прикурили от протянутого Ованесом-агой огня и откинулись на подушки, приняв позу, значение которой приблизительно таково: ладно, ближе к делу.

И Ованес-ага перешел к делу:

- Я, конечно, не юноша, но и не старик, а что волосы седеют, так это пустяки. Да и будь я стариком... Как говорится, года над душою не властны. Посмотрим, что из него получится... Вы от кого услышали?

- Стало быть, ты тоже знаешь? - удивленно и с каким-то мрачным недоумением спросил Симон-ага, на минуту оторвав глаза от четок.

Ованес-ага чуть было не потерял дар речи. И тут же расхохотался.

- Ну и ну! Ха-ха-ха... Сын у меня родился... ха-ха-ха... и я же, выходит, не знаю...

Повлажневшие от смеха глаза Ованеса-аги встретились с холодными, как стекло, глазами гостей. Смех застрял у него в гортани - он вспомнил, как мать спросила его на лестнице: "Зачем пришли-то?"

"Поздравить", - мысленно ответил он сам себе и опять осерчал.

- И правда, Ованес-ага, откуда ты знаешь? - со спокойным и деловитым любопытством поинтересовался на сей раз Фанос-эфенди.

- Что именно, Господи Боже! - уже не в силах сдержать беспокойство, воскликнул Ованес-ага.

В это мгновение дверь отворилась и в комнату вошли Србуи-ханум и Лия с приличествующим случаю угощением. Гости слегка приподнялись, дабы поприветствовать почтенную хозяйку дома, чье присутствие наполнило комнату духом тепла и сердечности.

- Чего вы уселись на полу, будто голодранцы? Фанос-эфенди, милый, Симон-ага, садитесь-ка аляфранка. Лия, накрой на стол!

- Ничего, Србуи-ханум, не беспокойся, - невеселым голосом сказал Фанос-эфенди.

- Я знала, что будет мальчик, - уверила Србуи-ханум, подняв указательный палец. - Сын увидал сон и приплел свое несварение... Я в сны-то не очень верю, но ведь сон сну рознь. Лия, когда должна была родиться, приснилось мне, будто много-много голубок - не то сотня, не то тыща - вспорхнуло с нашей крыши. А третьего дня гляжу - жеребенок, зеленый жеребенок перед воротами ржет...

- Надо говорить не голубки, а горлицы, - поправил мать Ованес-ага, чтобы хоть что-то сказать.

- Я книжному языку не обучена. Ну садитесь же, садитесь! - шутливо прикрикнула старуха и повернулась к девочке. - Пойдем, Лия. Садитесь, кушайте на здоровье, - еще раз сказала она мужчинам и вместе е внучкой вышла из мансарды. Как только дверь захлопнулась, лицо старухи выразило тревогу, она прислушалась, надеясь уловить хоть слово, хоть звук, - напрасно. Казалось, в мансарде - ни души. Она Взяла Лию за руку и поспешила вниз.

В комнате раздался голос роженицы, она звала Лию.

- Нарви роз и отнеси матери, - велела старуха и громко позвала: - Мхитар!

- Что, матушка? - послышался со двора голос Мхитара.

- Иди поешь.

- Я не голодный.

- А чет ты ел?

- Лаваш.

- Иди свежей рыбы поешь.

- Скотину напою, приду.

- Побыстрей.

Раскинув руки, словно распятый на кресте, и похрапывая, Геворг спал глубоким хмельным сном. Снедаемая смутной тревогой, Србуи-ханум закурила папиросу и направилась в погреб.

"Горлица... Жеребенок... - пронеслось у нее в голове. Она вышла из погреба и увидела, что тени заметно удлинились. Был уже полдень. - Горлица... Жеребенок..."

3

Сидел Симон-ага в своем магазине, одним глазом поглядывал на приказчиков, старшего приказчика и кассира, на сновавших туда-сюда посетителей, а другим, с неизменной своей кривой усмешкой, - на черные четки.

Сорок пять сентябрей прошло над его головой. Он видел столько же маев и столько же раз встречал Новый год. На жалких, босых, дрогнущих от холода ногах поднялся-таки по ступеням жизни, был грузчиком, подмастерьем у сапожника, разносчиком рыбы, приказчиком, мелочным торговцем, лавочником... на свои босые, поспешающие по ступеням жизни ноги он первонаперво натянул носки, поверх носков со временем появились чувяки и грубые башмаки, потом взамен этой бедняцкой обувки - тонкие дорогие ботинки и галоши... и по ступеням жизни подняли его эти сноровистые ноги доверху, до большого собственного магазина, до хозяйской, небрежной позы, до насмешливого взгляда на скользящие бусины черных четок, до того, наконец, что он - Симон-ага.

Дело было утром. Уличные продавцы чая до блеска промывали в широких мисках расписные чашки, держа в руках горячие желтые сверкающие чайники. В воздухе стоял аромат открываемых тюков; с двух концов рынка беспрестанно текла и текла узкая лента красных фесок, слышалось звяканье монет, потом чей-то кашель, опять продавец чая и скрип распечатываемых ящиков, расписные чашки, мелькание фесок, кашель, зевок, торговля, рынок.

Симон-ага!

Симон-ага размышляет. Конечно, торговля - это неплохо, и все-таки отчего ему удалось достичь таких высот? Армянский коммерсант. Богатство. Дом - трехэтажный, выкрашенный светло-голубой краской, увешанные коврами комнаты, жена, кругленькая сумма, дети, собственный экипаж, имя, уважение. Как не пожалеть о тех днях, когда он, босоногий Симон, бежал - так велела мать - следом за стадом и подбирал коровьи лепешки, потом бросал где-нибудь во дворе полную этих лепешек корзину - мать наготовит кизяка, часть продаст таким же горемыкам соседям, а другую часть припасет на зиму, чтобы было чем топить... а сам стремглав вылетал из дому - сыграть в бабки, вырвать из рук ребят с их улицы что подороже, или поколотить кого-нибудь, или самому заработать тумаков.

Бусины четок скользили куда как быстро. Симон-ага словно воочию видел мать, вечно одетую в лохмотья и погрязшую в нужде, и рыболовную сеть, единственное, что досталось ему в наследство от отца, Маргара. Он почувствовал удушливый запах дымящего тонира и, досыта хлебнувший нищеты и горечи давних лет, благословил давние дни. Он попросту обманывал самого себя. Он лукавил, копаясь в своем прошлом, благословлял и великодушно прощал самого себя: "Видишь, Симон, богатство ничегошеньки для тебя не стоит, велика важность - золото, тьфу, мусор, то ли дело молодость, беспечность, когда всего-то и хлопот - дырявая корзина да кизяк на зиму..."

Но вот умерла и мать. Соседи, которым предназначался наготовленный ею кизяк, взяли на себя заботы о похоронах. А Симон решил, что незачем больше бегать за стадом, надо продать уже нарезанный матерью кизяк и подумать о том, как жить.

Долго думать не пришлось. Как-то раз он хватил рукой по подушке - то ли хотел взбить ее, то ли случайно, в сердцах - и наткнулся на что-то твердое; не отдавая себе отчета, разодрал подушку и среди грязного цветастого тряпья обнаружил десяток припрятанных золотых.

И юный уличный торговец зашагал по ступеням жизни, сноровистыми ногами двигался, невзирая на рытвины и ухабы, вперед, сноровистыми пальцами

урывал все, что возможно, сноровистым языком, врал сколько мыслимо, с немыслимой сноровкой завоевывал расположение влиятельных и могущественных дельцов, мало-помалу приближался к ним, лебезил, подбирался все ближе, улыбался, прикидывался простачком, подходил вплотную, наконец стал с ними вровень, заговорил на равных, пошел плечо в плечо, а почувствовав, что всё складывается удачно, поотстал на шажок и ударил попутчиков в спину. Многих он разорил, многие не выдержали его внезапного натиска, силы его в нужде и Лишениях закаленного духа; потекли, полетели годы, немало тех, кто кичился своим положением и именем, обратились в прах, и посреди этого праха лучился улыбкою Симон-ага - с неразлучными его четками, худыми сутулыми плечами и прикованными к четкам, но всевидящими глазами.

А теперь он лукавит, лжет себе и белому свету, удаче и судьбе: минули, дескать, беспечные мои деньки. Беспечные деньки.

Беспечные деньки? Голод, нищета, унижения. Беспечные деньки. Материнские проклятья и побои. Беспечные деньки. Грязные игральные бабки, разбитый в кровь нос. Беспечные деньки. Собиратель навоза Симон и мать - торговка кизяком.

Нет, Симон, нет, наслаждайся жизнью, копи, Симон, золото, в нем, золоте, поболее удачи, чем, к примеру, в игральных бабках, твой ум оказался прочнее и нужнее истрепанной отцовской сети, которая хранится в одном из твоих сундуков как грозная уязвляющая святыня, и, наконец, посетители твоего магазина куда полезней и, так сказать, питательней, чем угодившая в сети твоего отца, Маргара, рыба.

Приказчик поставил перед Симоном-агой его каждодневный крепкий чай, поставил и удалился. Симон-ага мельком, только мельком взглянул на поднимавшийся над чаем пар, вдохнул аромат, обеспокоился, спрятал четки в правый рукав, достал из кармана черную костяную табакерку и свернул папиросу. Тут уж он не отрывал пристального взгляда от собственных

пальцев, словно изучая, с какой медлительной сноровкой сворачивают они папиросу.

В эту минуту один из приказчиков вручил Симону-аге конверт.

- Кто дал?

- Какой-то человек. Дал и уехал на фаэтоне.

Симон-ага медленно, аккуратно надорвал конверт, достал из него листок бумаги, безразлично и рассеянно пробежал глазами письмо, и тут черты его напряглись, взгляд обрел остроту и зоркость, и его растревоженное красное лицо стало белее бумаги.

- Послушай-ка, - тоскливо окликнул он приказчика. - Кто тебе дал это письмо?

- Какой-то человек... Дал и уехал на фаэтоне.

- Что за человек?

- Человек как человек, откуда я знаю.

- Что он сказал?

- Передай, говорит, Симону-аге.

- Так и сказал: Симону-аге?

- Да нет, передай, говорит, своему хозяину.

- Так чего ж ты взял?! - не в силах сдержаться, Симон-ага сорвался на крик и сам же обратил внимание, что давненько уж не повышал голоса.

- А что ж мне было делать?.. Он дал, вот я и взял...

- Дурья твоя башка! Что тебе ни сунь, все надо брать?

Он швырнул четки на пол, вернее, на ковер и, держась обеим ми руками за поясницу и подав голову вперед, осторожно вышел из магазина, словно опасался, что сверху на него обрушится удар грома.

Между тем гром уже грянул.

4

Симон-ага шел как во сне, шел, тяжело дыша и пьяно покачиваясь. Строчки и буквы только что прочитанного письма раскаленными зигзагами пылали в его

мозгу, потом там воцарялась тьма, непроницаемая тьма и туман, и снова молниями вспыхивали строчки и буквы этого письма с их небрежными, причудливыми закорючками. ,

Утро было безоблачное, покойное и привольное. Он попытался смотреть вокруг себя привычным взглядом, так, словно ничего не случилось, но это ему не удалось. Он остановил коляску и, не глядя извозчику в лицо, что-то приказал; тот с полным к нему почтением тронул лошадь кнутом и опустил вожжи. Улица колыхнулась, подалась вниз, потом вверх и потекла по обе стороны коляски.

Извозчик остановился возле двухэтажного дома. Дверь была обита листом выкрашенной в синий цвет жести. У дверей висела железная рука, пальцы которой сжимали железный же шар.

Симон-ага вылез из коляски, расплатился с извозчиком, подошел к двери и дважды ударил металлической рукой по жести. Дважды отрывисто и глухо звякнуло, вслед за тем из глубины дома раздалось ленивое:

- Кто там?

- Открой! - откликнулся Симон-ага и отступил назад, словно хотел получше разглядеть того, кто ему отворит.

Дверь приоткрылась, показалось лицо слуги. Он глянул в нешироким просвет и, завидев Симона-агу, тотчас распахнул и придержал дверь.

- Фанос-эфенди у себя?

- Пожалуйте.

Симон-ага вошел в прохладную сводчатую переднюю и направился к лестнице.

- Хозяина там нет, господин, - подобострастно промолвил слуга.

- Где же он?

- Пьет чай в саду.

Взбаламученные мысли Симона-аги как-то сразу обрели ясность. Слава Богу, мир еще не перевернулся вверх дном, Фанос-эфенди преспокойно попивает чай, стало быть, жить покамест можно. Из полутемной передней он вышел в

залитый солнцем двор, который так и лучился ухоженными цветами. По стене, отделявшей двор от сада, поднимались побеги вьюнка. Дальше стоял карликовый лес конского щавеля. У высеченного в камне входа в сад ему встретилась жена Фаноса-эфенди - дышащая прелестью первой половины сентября Нана-хатун. Ее голову и плечи укрывала черная язма; выбившуюся из-под язмы на лоб волну черных волос делила надвое седая прядка; одна из вытканных на язме роз, черно вожделея над белизною лба, неотрывно глядела на Симона-агу. Нана-хатун держала в руке решето, полное зеленых, еще не спелых слив с небрежно брошенными на них розами.

- Доброе утро, - сказал Симон-ага. - Роз нарвала?

- Здравствуй, здравствуй! Это алыча, для кислой пастилы.

- Это роза! - твердо стоял на своем Симон-ага, однако Нана-хатун прошествовала рядом, спокойно смерив Симона-агу черными своими глазами - не с ног до головы, а с головы до ног.

- Фанос-эфенди в розарии.

Фанос-ага сидел на ковре, расстеленном на квадратной лужайке между цветов, по правую руку от него стоял, приминая траву, шипящий самовар, перед ним исходил паром стакан чая, а сбоку был размещен продолговатый календарь. Сквозь жаркую пелену, поднимавшуюся над самоваром, лицо Фаноса-эфенди показалось Симону-аге необычайно здоровым, необычайно гладким и чистым. Но стоило подойти поближе, стоило рассеяться жаркой пелене от самовара, как лицо Фаноса-эфенди стало прежним - нездоровая краснота, бессчетные морщины и морщинки...

- Доброе утро!

- А, здравствуй, здравствуй! Садись! Ты чего грустный?

- Грустный не то слово.

- Что стряслось?

- Да вот...

И он протянул письмо.

Фанос-эфенди прочел письмо раз, похоже, мало что понял, глотнул чаю, уставился в одну точку, прочел другой раз, похоже, кое-что сообразил и, взяв стакан, сделал один, два, три глотка... прочел сызнова, теперь уже медленно, чуть ли не по складам. Отставил стакан в сторону, оперся руками оземь и поднялся на ноги.

- Пошли в казино.

- Пошли, - подчинился Симон-ага, который за неимением четок принялся поигрывать бахромой своего красного носового платка - ни дать, ни взять обиженный мальчишка.

Двинулись вперед.

- Ладно, - шагая по тропинке с неколебимым вековечным спокойствием, заметил Симон-ага. - Ну, придем мы в казино. И что будем делать?

- Выпьем по чашечке кофе, - прозвучало в ответ.

- И что ты об этом думаешь? - прислонился спиной к стене Симон-ага, когда Фанос-эфенди был уже во дворе.

- Пойдем в казино, пойдем...

- Симон-ага...

- Да.

- Надо повидаться с Аханесом-агой Мурадханяном.

- Непременно, без него нам не обойтись.

- Так что помни.

- Не беспокойся, дорогой.

...Когда они расстались, когда опустились сумерки, когда поздним вечером с растерянностью, но и подспудной радостью человека, избежавшего беды, Фанос-эфенди подошел к своему дому, остановился и поглядел вокруг, темная улица была уже пустынна. "Хорошо бы поставили здесь газовые фонари", - мелькнуло у него в голове.

Он мысленно перебрал основные события минувшего дня: "Симон-ага влип в историю... Пошли в казино... это не в счет... Дружить с турками - дело

хорошее... Надо повидать Аханеса-агу... меня-то не трогают, но как знать... Сегодня потратил шесть курушей..."

Он взялся за висевшую у двери металлическую руку. Обычного звяканья не последовало. Погруженный в свои мысли, он ударил ею еще и еще. Задумчивый его взгляд блуждал в дали темной, усаженной деревьями улицы. Вместо звяканья - глухой удар. Он сосредоточился. Что это с дверью? Приподнял металлическую руку и под ней на большом гвозде с широкой круглой шляпкой, там, куда падает зажатый в пальцах руки металлический шар, увидел надежно укрепленную записку.

По телу пробежали мурашки; он осторожно взял смятый листок и трижды изо всех сил стукнул в дверь, словно, преследуемый некой страшной силой, в ужасе молил об убежище.

5

- Аханес-ага, - начал Фанос-эфенди, подняв рюмку водки и поигрывая ею, - поздравляем тебя, теперь у твоего дома еще одна опора! Мальчик... Как говорится, дай ему Бог море вина и вволю хлеба, пускай живет и радуется, пускай отец и мать им гордятся!.. Но мы, Аханес-ага, не потому постучались у твоих дверей. Под несчастливой звездой мы родились, не было нам удачи и нет. Безрадостную весть принесли мы тебе.

Установилась тишина. Слышалось только, как однотонно постукивали четки в руках Симона-аги и слабо шелестели айгестанские деревья.

- Возьми почитай, - не зная, что добавить, Фанос-эфенди протянул Ованесу-аге два листка бумаги.

Ованес-ага взял злополучные записки; одинаковые по содержанию, они разнились только почерком: обе сухо и жестко требовали в такой-то день и такой-то час положить в таком-то месте триста золотых. Ослушание несло в себе угрозу смерти. Под запиской, полученной Симоном-агой, значилось - Черная Папаха, под запиской, полученной Фаносом-эфенди, - Красная Папаха.

- Ты еще не получил такой? - нарушил молчание Фанос-эфенди, когда Ованес-ага, прочитав записки, принялся тщательно разглаживать скомканные листки.
- Меня они за человека не считают, - горько усмехнулся Ованес-ага.
И опять молчание.
- Во имя спасения нации, - произнес Ованес-ага, ухмыльнувшись в усы.
- Они одни, что ли, о нации думают? - возмутился Фанос-ага. - Мы о ней не меньше печемся... Пригласили бы по-людски, объяснили, что к чему, назвали сумму, получили под расписку и потратили под нашим же контролем... Что это за порядки такие? Черная Папаха, Красная Папаха... Стыд, да и только, ей Богу! - И заключил: - За тебя!
Они выпили.
- На здоровье! - сказал Ованес-ага почтенным гостям.
- Спасибо, - отозвались гости, выжидая, кто заговорит первым.
- Надо известить власти, - неуверенно предложил Ованес-ага.
- Убьют, - промолвил после паузы Симон-ага. - Как же тогда быть?
Выпили по второй рюмке, потом по третьей, четвертой... Кошмар мало-помалу рассеялся. Они наперебой заговорили о делах, о планах. Каждый бодрился и чем только мог подбадривал других. Никому не хотелось задевать больную тему. Будто сговорившись, они решили не портить себе хорошего настроения. В дверях появилась Србуи-ханум и объявила, что гости собрались. - Пригласи их наверх, - распорядился Ованес-ага и повернулся к собеседникам: - Кровь, она не водица... Крепитесь и не падайте духом! Сегодня вы мои гости. Сегодня у меня радости Забудемте обо всех невзгодах. - Он поднял рюмку, заглянул в ясные глаза гостей и словно в забытьи добавил: - Сегодня особенный день...

СКАЗАНИЕ ТРЕТЬЕ,

или тревоги Ованеса-аги: прерванное застолье в его доме, шаги в саду, а также выстрелы

1

Июнь!

Неподалеку от Ванского моря раскинулся древний город - точь-в-точь зеленоволосая сказочная красавица, точь-в-точь сказка и красота.

Сады, сады, сады, густые, зеленые, на диво зеленые сады, где тянутся к небу высоченные тополя, где наливаются соком огромные ароматные груши, где остро пахнут зеленые еще яблочки, где щедро и тяжело, как груди первого материнства, набухают виноградные гроздья, где, завлекательные и такие доступные, обольщают вас абрикосы, зреет айва, поспевает тернослив, петляют меж деревьев тропинки, благоухают цветы и надо всем этим сияет исполинское солнце, и катится к горизонту, и неистовствует, и льет-изливает жаркое свое возбуждение и вожделение, и живет-поживает мир, и живет-поживает Ван.

И живет-поживает Ван со своими воспоминаниями и колыбелями; старики, усевшись под деревом, вспоминают детство, а их внуки тем временем играют в траве и бурьяне и кричат пронзительно и по-ребячьи восторженно, напоминая своими голосами клики стрепета и щегла, шорохи веретена и прялки.

Дома - большие и маленькие, азиатские и на европейский лад, самые разные, каждый наособицу - утопают среди деревьев и рощиц, садов и палисадников. Издали город походит на вытянутый в длину лес, но подойди-ка, подойди поближе - это и есть лес, а как скоро минуешь зеленые его ворота и увидишь пересекающиеся улицы, и многочисленные строения, подумаешь, будто все эти улицы и строения тебе примерещились и вот-вот исчезнут, и останется только лес, останутся ручьи, да еще останешься ты.

Но будут стоять, как стояли, улицы, будут смотреть на тебя Дома, будут течь ручьи и шелестеть сады, и будет жить-поживать мир, и будет жить-поживать Ван.

Июнь!

Золотых дел мастера украшают броши и браслеты изображениями цветов и церквей, ткачи, расположившись у колодцев, ткут полотно и ситец, фаэтонщик Сено разъезжает на своем фаэтоне, наборщик Амаяк набирает свою газету "Ашхатанк", то бишь "Труд", прогуливается по улице единственный в городе поэт Ваан Чмроз, поместивший на днях в газете объявление, где ой просит, "дабы друзья и знакомые соблаговолили не здороваться с ним".

Жить-поживать миру, жить-поживать Вану...

Шумно на рынке. Лавочники наперебой зазывают к себе курдов и учителей. ("Ованес-ага, как идет торговля?" - "Скверный день, дорогой... ни тебе учителя, ни тебе курда!") Летает аршин, отмеряя цветастый ситчик, закоулок портных содрогается от фабричного стука швейных машин "Зингер", сапожник Тевос напевает меланхолическую песенку и не спеша прибивает каблук. Часовщик неизменно отдает предпочтение "Зениту", а фотограф Аршак из рода Дзетотянов заказал "живописцу" Месропу Амсаряну вывеску для своего салона, причем попросил, чтобы вывеска гласила: "Фотографический салон "Идеал" - быстро, точно, чисто. Аршак Дзитуни", а кроме того, был бы нарисован фотографический аппарат, а рядом с ним, по-военному отдавая честь, он сам. Месроп Амсарян вместо "Идеал" написал "Идиал" ("Позор, на меня же пальцами будут показывать!"), а вместо Аршак Дзитуни - Аршак Дзетонян ("Это чтобы меня в городе на смех подняли:" - "Зачем же на смех поднимать, дорогой, ты разве не дзетотяновский Аршак?" - "Нет, в искусстве я Дзитуни, Дзитуни! Тебе-то что за дело?.. А кто это стоит возле фотографического аппарата? По-твоему, я такая жердь?" - "Картина еще липкая, потому так кажется, господин Аршак... Как подсохнет, все будет в порядке".)

Мануфактурщик, уличный музыкант, продавец фруктов, гадалка, точильщик и, наконец, пятиметровый сказочный удалец на ходулях - с головы и до деревянных своих ног разнаряженный в пестрые шелковые одежды, с бусами на шее и бренчащими монетами на лбу, с шутом-напарником, с зурной и барабаном, с шумом и визгом следующей за ним по пятам армией ребятишек, - он непомерными шагами идет с улицы на улицу, пляшет под окнами и балконами, а фиглярски одетый, с козлиной бородой и раскрашенным лицом напарник кривляется и кувыркается промеж ходулей и, обходя зрителей с медной кружкой, собирает деньги. Когда ребячья армия мешает совершению этого ритуала, он мелкими прыжками кидается к толпе, и напуганная ребятня с пронзительными криками бежит врассыпную, и шум становится совсем уж невообразимым. Но вот великан удаляется широченными шагами, толпа и шум следуют за ним, звуки зурны доносятся уже с соседней улицы, и вновь отчетливо слышится бойкое журчание ручейков и шелест ив и тополей на их берегах.

Когда ребенок напуган или заболевает от страха, мать просит великана поплясать с ним, чтобы "страх прошел". Великан наклоняется, кое-как берет ребенка из рук матери, обнимает его покрепче и, выкликая загадочные возгласы, пускается в пляс. Перепуганный ребенок визжит, глядит с непривычной высоты вниз, где громыхает барабан и резко плачет зурна, оттуда, словно из иных миров, взирает на него толпа, а великан знай прыгает и выкрикивает диковинные слова. Наконец страх у мальца "прошел", великан возвращает ослабевшего от ужаса, близкого к обмороку ребенка матери, а сам шагает дальше, толпа и шум следуют за ним, и звуки зурны раздаются уже на соседней улице.

Когда великан оказался вблизи мурадханяновского дома, Ованес-ага садился с гостями за обед.

Среди гостей были Геворг-ага Джидечян, управляющий Ованеса-аги Сет со своей красавицей женой аляфранка госпожой Хушуш и Хачатур-ага, а на женской половине, в другой комнате - ближайшие родственники и соседи.

Пришел также приходский священник отец Хорен, человек в высшей степени мирской и большой весельчак, надевший рясу духовного лица, казалось, единственно шутки ради - самому посмеяться и людей посмешить.

Мать Ованеса-аги с папироской во рту хлопотала у стола, уговаривая дорогих гостей досыта есть и вдоволь пить, а с женской половины слышались сдержанные смешки и шушуканье.

- Плохо, никуда не годится... ни Богу свечка ни черту кочерга.

- О чем это, святой отец?

- Плохо... Мне-то все равно, я о вас думаю. Жалко мне вас, бедные вы, несчастные... Как вас не пожалеть?

- Да что случилось, в конце концов? - нетерпеливо спросил Геворг-ага Джидечян.

Вместо ответа отец Хорен откашлялся и с чувством запел "Армянских девушек".

- "Когда вино искрится в стакане у меня... - поет отец Хорен, и поднимает стакан с вином над головой, и вперяет в него одушевленный, сияющий взгляд.

- То ваш прекрасный образ встает передо мною..."

И вскипает кровь, и все испытывают душевный подъем. Наполняются стаканы, а с женской половины слышится ответная песня:

У ручья с кувшином девушка стоит,
У ручья студеного, славная на вид.
"Я влюбилась, матушка, я с ума схожу,
Он мне знаки делает, как ни погляжу".

Затем появляется повивальная бабка Тарик, без лишних слой усаживается подле отца Хорена и хвать его за бороду.

- И не совестно тебе этой бороды?

Поднимается оглушительный хохот, женская половина берет верх.

- На улицу великан пришел, - с напускной строгостью наседает на батюшку повитуха.

- Ты на что это намекаешь? Чтобы я шутом стал? - со смехом отзывается отец Хорен.

- Ох и батюшка у нас, ох и батюшка! Сам не устыдился, а меня пристыдил...

- Бабка Тарик, тебе сколько лет? - сквозь общий смех спрашивает отец Хорен, хлопнув повитуху по плечу.

- Три раза по двадцать четыре.

- Выходит, семьдесят два.

- Не говори так, ради Бога! Больно уж много получается. Скажи: три раза по двадцать четыре, язык небось не отвалится... Я у святого Знамения на Вараге слово дала - как стукнет мне семьдесят, выйду замуж.

Отец Хорен голосом влюбленного затягивает, обращаясь к повивальной бабке Тарик, песню "Скромная девушка", и веселье, царящее за столом, достигает зенита.

Вслед затем повитуха запевает песню роженицы. Застолье мало-помалу утихает. Зажигаются керосиновые лампы и стоящие перед двумя зеркалами десятисвечовые шандалы - впрочем, до керосиновых ламп, крупных и Ярких, им далеко.

Поет повивальная бабка Тарик - одну роженицу восхваляет другую - стыдит:

Матери мальчика розу снесите,
Благоуханную розу –
Мальчика родила.
Матери девочки лук понесите,
Чтобы глаза исслезились, -
Девочку родила.

Затуманенными вином и волнением глазами Ованес-ага находит стенное зеркало и прикрепленную к нему фотографию деда. Вот он, родоначальник, вот он, легендарный человек, который с неколебимою верой взирает со стены и лукаво улыбается: "Ованес, Ованес, не удивишь ты меня ни новорожденным своим сыном, ни своим застольем. Я удивился бы, не будь у тебя ни сына, ни надежной крыши над головой, ни застолья. Кто знает свою родословную

дальше дедов? Люди зачастую и дедов-то не знают. Знают отца да мать. А если бы знали всех своих предков и пращуров... Ведь любой человек ведет свое начало от начала человечества, от первого его дня. Узнай же меня, Ованес, и накажи своим сыновьям и внукам знать меня и тебя. И потребуй, чтобы они наказали своим то же самое".

Азиатский оркестрик - трио музыкантов, - расположившийся в углу комнаты, заиграл причудливую мелодию. И хотя она ничем не напоминала плясовую, Ованес-ага поднялся с места и, уставясь на фотографию, пошел танцевать. Танцевал он медленно, торжественно, самозабвенно, отрешившись от всего на свете, и как-то бесплотно. Покачивал бедрами, поводил плечами, бросал на пол и подхватывал зубами платок, а разогнувшись, сызнова вперял взгляд в карточку и танцевал, танцевал. Было что-то трогательное и величественное в этом экспромтом возникшем танце. Вот отчего все умолкли и следили за Ованесом-агой с тем замиранием сердца, с каким публика в цирке наблюдает за дерзким акробатом, когда тот исполняет смертельный трюк.

...Сказать по правде, трюки Ованеса-аги не были ни смертельными, ни даже опасными. Верно, он танцевал со всей дерзостью экспромта, однако ж его танец едва отличался от танца какого-нибудь фаэтонщика Сено или какого-нибудь Бурназяна Симона. И все-таки... и все-таки зрители замерли, замерли все до единого, от Хачатура-аги и до отца Хорена, от повивальной бабки Тарик и до Ноемзар-ханум...

Ну а в комнате...

То был не табачный дым и не пар над блюдами с горячей едой - комнату словно заволокло туманом, и он, этот туман, застлал глаза и наполнил души всем до единого. И самые обычные вещи проступали для них сквозь завесу этого густого тумана. Вот отчего так заворожил и так поразил их танец Ованеса-аги.

Тут-то и встает Симон-ага:

- Позвольте сказать два слова. Однако Ованес-ага знай себе танцует.

- Аханес-ага, дорогой мой, обожди...

А Ованес-ага знай себе танцует.

- Аханес-ага, - пришел на помощь другу Фанос-эфенди. - Симон-ага в кои-то веки надумал произнести тост, неужто помешаешь?

Он знай себе танцует, Ованес-ага танцует перед фотографией своего предка, и звучит причудливая мелодия, ничем не напоми нающая плясовую...

- Два слова! - с полными слез глазами настаивает Симон-ага.

Повивальная бабка Тарик выносит из соседней комнаты запеленатого младенца и торжественно вкладывает его в протянуть руки плясуна отца, Ованеса-аги. Поднимается радостный крик поднимаются стаканы, и Ованес-ага поднимает свою ношу выше - к самой карточке родоначальника-деда.

- Два слова...

Ованес-ага вручает новорожденного повивальной бабке Тарик, и его отрешенное лицо принимает обычное, будничное выражение. Широким красным платком он утирает пот со лба и садится.

Держа стакан перед грудью, Симон-ага возглашает здравицу

- Нам пришлось повидать много достойных, славных домов. Выпьемте за них! Славных людей, чтящих дедовские обычаи, мы тоже видели... Выпьемте за них! Когда строят дом, в первую го лову закладывают надежный фундамент. Выпьемте за него!

- Симон-ага, - прервал оратора отец Хорен, - столько всего в один стакан не уместится.

Симон-ага сделал вид, что не расслышал реплики, и продолжил:

- Друзья, наши деды говаривали: ежели в доме завелся вод он вола и через крышу утащит.

- Выпьем за вора! - опять встрял отец Хорен.

- Нет, отец Хорен, - повернулся к батюшке оратор, - ни станем мы пить за вора, черт бы его побрал!

- Опомнись, Симон-ага, неужто за черта?..

- Не надо, святой отец, - шепнул Фанос-эфенди, - дай человеку порассуждать.

- За рассуждения!

- Веревку с крыши уже спустили, - скрывая обиду, продол жил Симон-ага. - Что остается? Остается вытащить вола и зарезать во славу нации. Нация? Все это враки! Кто она, нация? Ты, я, ты, он... Если мы не будем стоять друг за друга, не видать нам ни таких застолий, ни таких очагов - развалины Ани, вот что мы увидим... Не желаем! - возвысил голос оратор. - Мы не желаем иметь дело ни с Черными Папахами, ни с Красными, ни с Желтыми, ни с Синими. Пропади они пропадом!

Симон-ага выпил и сел. Некая тень скользнула над столом. Многие не поняли, на что намекает и о чем толкует Симонага, но шестым чувством уловили - случилась крупная неприятность. Один только отец Хорен непреклонно стоял на бастионах веселья.

- Черная папаха, красная папаха, голубая папаха, маленькая папаха... что вы, право слово, помешались на этих папахах? Наливайте стаканы, а в крыше заделайте все щели, чтобы не только вола - курицу было не утащить. Ну а вора хватайте, вяжите вора, и дело с концом!

Минут через пять зазвучала зажигательная музыка, запенилось в стаканах вино, и гости, позабыв о папахах всех цветов и оттенков, пели и веселились за роскошным столом.

2

...В комнату вошел учитель Геворг. Почуяв недоброе, Ованес-ага замер со стаканом в высоко поднятой руке. Он заметил у брата вчетверо сложенный лист бумаги. Музыка оборвалась.

- Странная история, - послышался в глубокой тишине глуховатый голос Геворга. - Выхожу я, пойду-ка, думаю, домой. Шага шагнуть не успел - какой-то человек, на лицо башлык нахлобучен. "Брат Мурадханяна Ованеса?" - спрашивает. "Он самый", - говорю. "Передай ему эту бумагу. Вернись и передай. Сейчас же. Да не мешкай..." Сказал и скрылся. "Кто ты, чей будешь?" Я кричу, а его и след простыл. Возьми...

О, по части чужих почерков он великий мастак, разбирает любые каракули. Он не суеверен, не верит снам, но когда утром, оседлав своего белого, позвякивающего колокольчиками осла, он поспешает на рынок, то примечает даже, какие прихотливые зигзаги выделывают куриные лапки в пыли улицы, тянущейся от Хач-Похана до самого центра. В... Н... Б... выгода, напасть, Бог... Выгода - это хорошо, Бог - куда ни шло, но вот напасть - ни в какие ворота не лезет. Н.Н.Н... Напасть. Он великий мастак разбирать самые корявые каракули, не говоря уж о тех, что дал ему брат, учитель Геворг. "Возьми..."

Он не опустил стакана, в одной руке высоко держал его, а Другой взял страшную эту бумагу и прочел: "Сегодня в три часа ночи положите в каменную ступу в вашем саду пятьсот золотых. Ваше присутствие излишне. За ослушание - смерть. Папаха". Мерзавцы. Симон-ага и Фанос-ага по крайней мере зная цвет зловещих своих папах - черная и красная, а эта сволочь, видите ли, просто Папаха; что за папаха, какого цвета? Ну и дела!:

- Который час, жена? Тьфу, все забываю, какая ты сейчас" Он закряхтел, привстал на колени, достал из кармана сюртука спички, потом ощупью нашел жилет и за цепочку вытащил из его кармана тонкие, плоские часы. Ногтем большого пальца нажал на головку, и крышка резко отскочила; другой рукой провел спичку по шерстяной обивке дивана; возникло фосфорическое пятнышко - восковая спичка загорелась. В свете спички роженица увидела беспокойное, встревоженное лицо мужа.

- Два часа... Ты спи, спи, я выйду воздухом подышу... несварение у меня... Аллах, Аллах!

Он накинул поверх ночной рубахи сюртук, сунул в карман спички и часы и быстро вышел. Спустился по лестнице вниз и поднялся в большую комнату, находившуюся в другом крыле дома. Она звалась большой комнатой, потому что и впрямь был самой просторной в доме Ованеса-аги. Ею не пользовались ни летом ни зимой. Здесь держали ненужные вещи: ковры, циновки, несколько постелей, предназначенных для гостей, множество стульев и кресел, старинные стенные часы, которые вот уже восемь лет не шли, остановившись

ровно на двенадцати то ли ночи, то ли дня... Он крадучись пробрался к дверям большой комнаты. Опасаясь разбудить спавших по соседству мать, Лию и Сурена, Ованес-ага слегка толкнул дверь, на цыпочках прошел через вей комнату и остановился у одного из двух широких окон, выходивших в сад; открыл створку и осторожно высунул голову наружу и как черепаха высовывает голову из-под панциря.

Глубокая ночь. В просвет между двух недвижных тополей; они растут напротив окон - заглядывает лунный серп. Но Ованес-ага не смотрит на луну, он смотрит на каменную ступу у колодца, в которой толкут пшеничную крупу. Странно, ему чудится, что возле ступы кто-то стоит. Темень, невозможно различить очертания предметов, к примеру ведро у колодца, а вот ступа видна, и возле нее - тень... По телу Ованеса-аги пробега дрожь, и он отходит от окна. Потом приближается к встроенному в стену громоздкому шкафу, достает из внутреннего кармана сюртука маленькую связку ключей, безошибочно выбирает среди них нужный, отпирает дверцу шкафа, трясущейся рукой зажигает спичку и подносит ее к свече в одном из двух подсвечников, стоящих на столе. В свете свечи поблескивает разложенная на полке серебряная, золотая и позолоченная утварь: подносы, блюдца, подстаканники, рюмки, наборы ложек и вилок, дорогие фаянсовые статуэтки, украшенные позолотой ларцы, шкатулки, коробки, коробочки. Постанывая, как от зубной боли, Ованес-ага обеими руками достает из глубины нижней полки обыкновенный деревянный ящик. Открывает его другим ключом и откидывает крышку. Ежедневно, по Нескольку раз на дню, глазами своего воображения он видит этот ящик и его содержимое, когда говорит: "Наличных у меня нет, капитал в обороте... я ведь как-никак делец..."

Он погрузил пальцы в золотые монеты, снова застонал и принялся по одному отсчитывать пятьсот золотых, бросая монеты на столик - одну на другую. Закончив, взглянул на образовавшуюся груду, взял ящик, взвесил его на ладони, поставил на место и заскрежетал зубами:

- Не дам... своими руками столько золота... пускай бьют, пускай убивают... Разбойники! Ни гроша не дам...

В этот миг в саду сухо щелкнули два выстрела.

Свет свечи внезапно стал красным, а затем и вовсе исчез. Когда же Ованес-ага очнулся, он понял, что свет свечи исчез потому, что теперь он прижимался к шкафу всем телом, лицом, внушительным своим животом. Стало быть, он жив. Стреляли не в него.

3

Господин Геворг прочел злополучную записку, полученную от незнакомца; решил было не передавать ее брату, но затем подумал, что не передать-то как раз и нельзя, - возьми он на душу такой грех, все запутается и осложнится. Прежде чем войти в комнату, он помедлил, пытаясь понять, в каком настроении пребывают гости, а главное - брат. Танец Ованеса-аги задел его за живое. Сам он, изгнанный из школы и потерявший жалкое свое Жалованье, переживает черные дни: дома "уважение" Вержине, в казино - подавальщики, с прохладцей относящиеся к его заказам... А Ованес-ага между тем... Брат счастливо и беспечно пляшет, пляшет самоуверенно и самодовольно ведать, не ведая о внезапно нагрянувшей беде. "Возьми!"

Передав бумагу, господин Геворг тут же выбежал из гостиной, поспешно спустился по лестнице и вышел на улицу. Он не веселился на устроенной братом пирушке, был безучастен к его радости и не желает делить его тревог и треволнений.

- Не надо мне ни его застолий, ни его бед!

Так-то оно так, но удар и впрямь не из легких. Шутка ли - взять и выложить неизвестно кому и невесть зачем пятьсот звонких монет! Пятьсот золотых! Сколько лет понадобилось бы ему, чтобы заработать такую уйму денег? Да, его брат должен отдать баснословные эти деньги, какому-то там Папахе.

Навстречу шел Мхо. В руке он держал прут. Лицо его выражало полнейшую безмятежность; такое лицо может быть лишь человека с чистой совестью, который ничего, кроме работы, не знал и не знает, ни перед кем не заискивал, не обманывал находящуюся на его попечении рогатую скотину, крупную и мелкую, не давал и не брал векселей, а свои обязанности рассматривая как естественную, небом установленную подать, которую нужна оплатить трудом и потом.

- Мхо... Ты куда?

- Домой.

- Пить-гулять?

- Да нет, лигу пораньше, а утром - в деревню.

"Не иначе взял у Ованеса денег, - пронеслось у господина Геворга в голове. - Неплохо бы... неплохо сходить в казино..."

- Деньги у тебя есть? - спросил он и подумал: "Что в этот такого, в конце концов, брат".

- Нет, - улыбнулся Мхо, открыв белые, здоровые зубы. Было несколько курушей, купил кое-чего.

- Пошли со мной, домой идти не стоит. - И добавил: - Пока не стоит.

- Почему?

- Знаю, раз говорю... Пошли.

- Куда? - заупрямился Мхо.

-Пошли, я тебя в плохое место не поведу.

Мхо повернув назад, они спустились на Хач-Похан и двинулись наверх.

Вечерняя улица кишела фаэтонами и пешеходами; покончив с делами, люди возвращались по домам. Женщины попадались редко, а если и встречались, то пожилые, с головы до ног укутанные белым, белоснежным покрывалом; что до молодых женщин, они были укутаны, также с головы до пят, тонкими накидками. Головы мужчин самого разного возраста и положения, включая и юношей, украшали красные фески. Красные фески придавали улице праздничный вид.

- Куда мы идем? - прервал наконец молчание Мхо.

Брат не ответил. Они прошли мимо множества домов и уже закрытых магазинов и очутились подле двухэтажного здания" На первом этаже посетители, рассевшись за столами, играли в нарды и домино, или перекидывались в карты, или попивали кофе, а на втором"

Господин Геворг твердым, хозяйским шагом поднялся на второй этаж. Мхо нехотя, волей-неволей последовал за ним; они заняли столиц на открытой веранде казино.

Вразвалочку, глядя сонными глазами, приблизился подавальщик - молодой парень в широких черных шароварах и синем жилете, с небрежно наброшенной на плечо белой салфеткой. Взгляд, которым он смотрел на господина Геворга, очень не понравился Мхитару. Не обращая внимания на взгляд и позу подавальщика, повелительным и вместе задушевным тоном господин Геворг сделал заказ:

- Бутылку, водки, маслин и бастурмы!

- Охота тебе деньги попусту тратить? - нерешительно спросил Мхо, когда подавальщик лениво удалился. - Пошли бы домой... Там и водка, и вино...

- Домой! - пробурчал господин Геворг. - Гм, домой... Бедный Мхо, сумасшедший Мхо!..

Отчего бедный, отчего сумасшедший - так и не спросил Мхо; сердце сжалось от нехорошего предчувствия, и он умолк, глядя на улицу, на густеющие сумерки.

Появился официант и переложил с подноса на стол тарелки с тремя-четырьмя кусками хлеба, прозрачными ломтиками тонко нарезанной бастурмы, несколькими маслинами, бутылку водки и две стопки, взял поднос и сказал:

- Три куруша.

- Понятно, - сказал господин Геворг и наполнил стопки.

- Три куруша? - эхом отозвался Мхо и, позабыв обо всем, оглядел скудную снедь на столе.

- А что такое? - с улыбкой спросил подавальщик.

- Ничего, ничего, ступай себе, - бросил господин Геворг, и стакан задрожал в его пальцах.

Подавальщик стукнул подносом по коленям и пошел прочь.

- Скотина! Осел! - зло и презрительно кинул ему вслед господин Геворг. Неизвестно, однако, услышал ли его подавальщик. - Выпьем... Без этого дела нашу задачу не решить, сдержанно произнес господин Геворг и единым духом осушил стакан. Мхо тоже выпил и закусил ломтиком хлеба.

- Бедный Мхо, сумасшедший Мхо! - на сей раз не пробурчал, а воскликнул господин Геворг, и, поскольку они пропусти ли уже по четвертой стопке, его слова звучали гораздо тверже убежденней.

- Да в чем дело, в конце концов? Хватит напускать туман! говори по-человечески, - с тем же нехорошим предчувствием сказал Мхо, стараясь выглядеть спокойным.

Господин Геворг выпил пятую стопку, отломил немного хлеба, понюхал, положил хлеб на тарелку и рассказал все, что случилось.

Мхо встал.

- Ты куда?

- Пошли, подумаем, как быть...

- Сиди пей! - приказал господин Геворг, глядя на брата мутными глазами. - Я, по-твоему, меньше тебя думаю? Всему свое время... Помозгуем, посоветуемся, взвесим... Это ведь не просто разбой, это вопрос национальный, революционный вопрос...

- Пятьсот золотых! - выдохнул Мхо, силясь вообразить на мыслимую эту сумму; умолк, бросил взгляд на погруженную т мрак улицу и воскликнул: - На пятьсот золотых деревню можно купить!

- Пей! - стакан трясся в руке господина Геворга, однако от чокнулся с братом.

- Деревню! Да не одну, а четыре, пять, десять деревень! Хочешь, завтра же с потрохами куплю твой Эцманц? - И, уверовав в свое могущество, крикнул подавадьщику: - Агавард, поди сюда! - Он поймал себя на том, что точи таким же голосом вызывал учеников к доске, чуть было не улыбнулся, но тут ему

вспомнилось лицо директора, на память ему затем ни с того ни с сего пришел школьный нужник, и он по мрачнел.

- Три куруша, - сказал, подойдя к столу, подавальщик.

- Поняли, поняли. Я не учитель арифметики, но считать умею... Бутылку водки. Мхо не удержался:

- Хватит с тебя, брат, трех курушей! Да я на три куруша...

- А на пятьсот золотых? - стукнув рукой по столу, зарычав господин Геворг. - Агавард! - кликнул он подавальщика. - Дайте мне посидеть в свое удовольствие. Бутылку водки! - Когда изволите платить, господин? - с отчаянием спросив подавальщик. Было уже ясно: хочешь не хочешь, надо повиноваться; какая разница, что он ответит - рассчитаюсь завтра в десять или через год? Но господин Геворг не был разбойником с большой дороги, не был Папахой

- Любезный! - воскликнул он, простирая к подавальщику обе руки. - За этим столом решается судьба пятисот золотых! Неси, сказано тебе, неси!

То ли поднимать шум не имело смысла, то ли сумма и впрямь произвела впечатление - подавальщик быстренько удалился и через минуту поставил на стол бутылку водки.

- Молодчина! - воскликнул: господин Геворг и наполнил стаканы.

Вторая бутылка вконец подкосила Мхитара. Он не привык пить, не любил возлияний, смотрел на вино и водку, как трудяга вол в поле смотрит на пролетающую в небе стаю журавлей. Он пил, и по его жилам растекалось небывалое спокойствие, незнакомая безмятежность. Он вспомнил жену, Искуи, вспомнил своих Сирака и Мариам и улыбнулся. Но улыбка тут же исчезла с лица. Какие-то люди требуют у его брата пятьсот золотых. Пятьсот! Есть ли у Ованеса такие деньги?

- Откуда? - спросил Мхо и осекся.

- Откуда я возьму деньги, чтобы расплатиться? У нас с тобой пятьсот золотых! Чего ломать голову, давай пить...

- Откуда Ованесу взять такие деньги? - уточнил Мхо.

- Откуда? Да из своей мошны... Нам, что ли, говорить Ованесу-аге, где берут деньги? На, то он и Ованес-ага на весь Ван один... Теперь вот что. С какой стати пятьсот целковых должны достаться чужакам? Пойдем ночью, заберем золото, да и поделим.

- Ованеса убьют, - пробормотал Мхо.

- Да у тебя, я смотрю, ума палата! - засмеялся господин Геворг и понизил голос: - Отсюда пойдем ко мне, понял? Пятьсот золотых даром не даются. Тут, надо пот пролить, а может, и кровь...

- Кровь? Кровь-то зачем? Я кровь проливать не стану:

- Ну да, пускай какие-то шакалы унесут Ованесовы пятьсот монет, а мы с тобой посидим, поглядим... потолкуем о том о сем. Хочешь, так и споем: "Когда врата надежды отворятся..."

- Разорится Ованес, - сказал Мхо, когда брат допел песню и снова наполнил стаканы.

- Ха-ха-ха, - захохотал господин Геворг. - Уф, насмешил... Ованес разорится! Бедный Мхо, сумасшедший Мхо!.. Ты лучше о себе подумай, агнец Божий, обо мне подумай... Ованес разо... хо-хо-хо... Да наберись ты ума! Сейчас пойдем ко мне, я возьму пистолет... старый, но человека уложить можно. Ну а тебе - топор. Проберемся к Ованесу в сад, укроемся за деревьями. Как вынесет он деньги и положит в ступу, мы возьмем и смотаемся. А вот если нам помешают... понял мою задумку?

Водка подействовала на Мхитара. В дальней клеточке его моя га билась одна-единственная мысль - во что бы то ни стало спасти сказочное это богатство, не допустить, чтобы оно попало чужие руки. Порядком захмелевший, он все же чувствовал всей своим нутром, что дело это нечистое, несправедливое, разбойно Приличный человек, да еще ставящий перед собой великую цел не станет действовать таким манером: тащи деньги, клади в ступу, а я возьму и унесу...

Когда в бутылке ничего не осталось, а подавальщик обслуживал один из дальних столиков, господин Геворг улучил миг встал.

- Пошли.

Мхо последовал за ним. Спускаясь по лестнице, господин Геворг услыхал громкую реплику подавальщика:

- Брат тысячами ворочает, а он...

Последних слов господин Геворг не расслышал. Или не захотел расслышать.

Когда они садами добрались до сада Ованеса-аги, шел уж второй час ночи. В окнах иных домов еще тускло светились лампы, но Ованесов дом был погружен во тьму. Безмолвная ночь, и только легкий ветерок летел от сада к саду, от дерева к дереву, от кроны к кроне, и слабый шелест листвы казался частицей тишины.

- Гости разошлись, - шепнул Мхо.

- До гостей ли теперь? - чуть громче, желая, должно быт!

ободрить брата, отозвался господин Геворг. - Еще рано, можно перевести дух. Минутку, я осмотрюсь и приду.

Он вышел из-за деревьев и зашагал к таившей загадку ступе.

Чтобы подойти к ней, нужно было миновать вымощенную камнем площадку - колодец и ступа находились неподалеку от садовой калитки. Господин Геворг отчего-то замер и повернул вспять.

- Мхо...

- Ну?

- Я высокий, - голос господина Геворга дрогнул. - Ступа лучше ты. Ощупай осторожненько ступу. Если там что есть, возьми. Ты маленький, тебя не видно...

Мхитар хотел было отказаться: в его глазах все это смахивало на воровство, однако он вовремя вспомнил, в какое сложное дело впутался, и осторожно двинулся к калитке. Господин Геворг видел, как он подошел к ступе, остановился, нагнулся, стал поудобней и на минуту замер. Нашел, наверное, заветный кошель, заподозрил господин Геворг, и решил прикарманить десяток-другой золотых.

- Пятьсот червонцев, и ни гроша меньше, - внятно сказал он себе. - Иначе не соглашусь.

Крадучись, с пустыми руками подошел Мхо.

- Опять луна, - сказал он.

"Вот осел! - подумал господин Геворг. - Луной любовался..." Они пробрались к огораживавшей сад низкой изгороди и сели, прислонившись к ней и не отрывая глаз от ступы. Через несколько минут Мхитар уловил негромкий храп брата.

- Геворг... Геворг...

- М-м... ладно... не опоздаю... - промычал тот сквозь сон.

- Дай-ка сюда пистолет.

- Пришли? - встрепенулся Геворг.

- Нет. Дай Пистолет и спи.

- Умеешь с ним обращаться?

Он умел. На берегу Кешиш-озера близ Эрманца он несколько раз стрелял диких уток из кольта айсора Шамаша, с которым они туда ходили.

- Умею.

Господин Геворг вложил в руку Мхитара увесистый пистолет и пробормотал:

- Я не сплю... Какой там сон! Нашел время спать...

И опять уснул.

"Хотел еще и топор взять", - подумал Мхитар и улыбнулся в темноте. Он устремил взгляд на ступу и поудобней прислонился к изгороди.

... Мхо разлепил веки. Из-за деревьев выступили две тени и приблизились к ступе.

Мхо дважды выстрелил в воздух.

4

В это мгновение в калитку постучали, сперва тихонько, потом сильней и сильней.

Остатки здравого смысла подсказали Ованесу-аге, что Папахи едва ли станут стучаться; вероятно" так ничего и не обнаружив, они пальнули - во-первых, это был знак, мы, дескать, здесь, а во-вторых, угроза, - пальнули и ушли. Кто же тогда стучится?

Ованес-ага неуверенно шагнул к выходившему на запад окну и, на сей раз не открывая его, всмотрелся во мрак. За калиткой смутно проступали две тени. Он слегка приоткрыл окно, высунул голову и сдавленным голосом спросил:

- Кто там?

- Это я, - послышалось снизу, - Мхо. Открой.

Ованес-ага быстро захлопнул окно, взял с шандала горяшую свечу и, шаркая шлепанцами, так же быстро бросился к дверям Быстро спустился по лестнице, с той же быстротой и легкостью очутился калитки и отворил ее.

Два брата прошли в дом. В любых других условиях, Ованес-ага вряд ли с такой радостью пустил бы братьев под свой кров в стол поздний час, Мхтар что-то держал в руке. Ованес-ага присмотрелся - пистолет.

- Это ты стрелял? - спросил он. Ответил, однако, Геворг:

- Я.

Вошли в кухню, расселись на тахте, откинулись на подушки, впервые с тех пор, как братья повзрослели, они сидели вот так, втроем, бок о бок.

Появилась мать, Србуи. Встревоженное ее лицо прояснилось и даже просияло. Давно уже, ох как давно не видала она, чтобы три ее сына сиживали вместе. Что, однако, стряслось? Вечером гости один за другим разбежались, едва попрощавшись. А теперь, посреди ночи, сидят три брата и не думают ложиться. Почему они тут сидят?

Спала беспокойным, смятенным сном. Босая прыгала с крыши на крышу и с превеликим трудом собирала срываемое ветром с веревок белье. Ованесову рубашку занесло на макушку грушевого дерева. А над садом пролетала воронья стая - чего доброго сядут на грушу и загадят Ованесову рубаху; "Кыш! Кыш!" - отгоняла старуха ворон, да и проснулась. С неспокойной душой выглянула на веранду. Маленькое квадратное окошко кухни как раз туда и

выходило, она заметила тусклый огонек и спустилась вниз. Шандал никак не мог ускользнуть от ее взгляда. Откуда он здесь взялся? Свеча была на исходе - значит, горит уже давно.

- Что тут у вас? - спросила она как ни в чем не бывало.

- Да так... Присаживайся, матушка, поболтаем.

- А подсвечник что здесь делает? - Она зажгла настенную лампу и взяла шандал. Потом спросила: - Есть не хотите? Мхи сегодня не ел ничего...

- Сыт я, матушка, - успокоил ее Мхитар.

Старуха не обратила внимания на его слова. Кто-кто, а уж она-то знала характер сына: может три дня маковой росинки во рту не держать и все равно откажется от угощенья; спросишь его: есть будешь? - а он: сыт, мол, матушка. А вот ежели без всяких расспросов поставить перед ним тарелку, съест за милую душу. Он такой, Мхо.

Господин Геворг хотел было сказать: "Давай чего-нибудь принеси", - но, заметив, что мать направилась в погреб, промолчал. Старуха вернулась, "расстелила перед сыновьями красную скатерть, расставила на ней лаваш, жареное мясо, подрумяненную курицу, бастурму, сыр, зелень и в нерешительности остановилась.

- Пить будете?

- Давай, матушка, чего-нибудь принеси, - на этот раз решительно вмешался господин Геворг.

На красной скатерти появилась бутылка красного вини и три стакана.

- Ну, ступай, матушка, ступай спи, мы тут перекусим, выпьем, потолкуем о том о сем, да и пойдем на боковую. Спи себе спокойно, - сказал Ованес-ага совершенно для себя неожиданно безмятежным голосом.

- Что-то вы от меня скрываете, - сказала старуха и заправила цветастую свою язму за уши, словно затем, чтобы получше слышать.

- Ничего мы не скрываем, матушка, спи себе спокойно. Сидим перед тобой живы-здоровы. Выпьем немного, что с нами случится? - снова успокоил ее Ованес-ага.

- Господи Боже! - промолвила старуха и воздела глаза к прокопченному дымом потолку кухни. И засеменила прочь. Господин Геворг наполнил стаканы.

- Ну, рассказывайте, - сказал Ованес-ага. Удрученный его голос совсем не походил на тот, каким он минуту назад говорил с матерью.

- За нас, армян! - возгласил господин Геворг и поднял стакан; братья невольно последовали его примеру и чокнулись. "Неужто выпьет?" - подумал Мхо, но господин Геворг не позволил младшему брату долго пребывать в сомнении и тремя глотками осушил стакан; Ованес-ага машинально сделал то же самое, а Мхо поставил стакан наместо и оторвал немого лаваша. Он и впрямь был голоден.

- Да что там рассказывать? Отдал я тебе записку, вышел, а сам успокоиться не могу: ну и наглость! Пятьсот золотых! Кому, с какой стати? Сволочи! Объясните, зачем вам эти деньги, на что их потратите, может, вы плохо посчитали, может, нужно не пять, сот, а пятьсот один, извольте... Папаха! Что еще за Папаха? Разбойничьи какие-то повадки, мыслимо ли это терпеть! - Господ дин Геворг перешел на крик, налил вина, чокнулся с братьями и быстренько выпил. Ованес-ага тоже выпил: авось, малость полегчает... - Надо, думаю, сказать брату. Нашел Мхо, выложил ему все, сели мы, помозговали, как нам быть, как пособить твоем горю, как залечить рану. Так прикинули, этак прикинули и решили: папаха это или феска, сбросим ее наземь, не дадим тебя грабить. Братья мы или нет?! - Он налил себе и брату вина. - Зашли ко мне. Вержин давно уже меня пилит: продай пистолей пару ботинок не на что купить, одежда истрепалась, продай, и все тут! Оставил Мхо у дверей, а сам захожу. Сидит чулки штопает! Вержин, говорю, я за пистолетом. Нашел богатого покупателе денег-то нет, а тебе туфли нужны, платье... Бедная Вержине! Кинулась мне на шею - и в слезы... - голос господина Геворг дрогнул. - Не могу сдержаться, - дрогнувшим этим голосом па жаловался он, поднял стакан и выпил, тяжело и медленно. Покуда пил перед глазами стояло: вот он заходит в дом, просит у Вержине пистолет, а она, Вержине, ни в какую - пропьешь, дескать в казино; он клятвенно ее заверяет, и наконец Вержине

бросает: послушай, лоботряс, вернешься без денег, на порог не пущу, ел пай куда знаешь... - Взял я, значит, пистолет, поцеловал Вержине не в лоб и пошел. Короче говоря, пробрались садами к тебе. Пошарили в ступе - пусто.

- А будь там деньги, что тогда? - спросил Ованес-ага, метнув на брата, у которого помаленьку стал заплетаться язык, испытующий взгляд.

Увлеченный своим рассказом, господин Геворг то ли не расслышал вопроса, то ли сделал вид, будто не расслышал; что Мхитар у него и в мыслях не было возражать брату - он не возражал бы, даже представь тот дело так, что заснул как раз он Мхо, а стрелял господин Геворг, и стрелял господин Геворг вовсе не в воздух, а уложил наповал двух злоумышленников; нет, о не стал бы возражать, пускай рассказывает так, как ему удобней как ему нравится. Какая разница?

- Ну вот, сели мы, стало быть, у стены и ждем" Мхо, говору Ованес не даст этим разбойникам ни гроша. Молодчина! Есть него такие деньги или нет, не наше дело. Но если даже есть... почему он собственными руками должен швырять их псу под хвою! ну почему, почему?! Он что, ни в чем не нуждается? Или его братья знать не знают нужды? - Господин Геворг наполнил стаканы. - Чем давать чужим, не лучше ли протянуть руку помощи братьям? Поелику "все земли обойди подряд - нет слова сладостней, - здесь господин Геворг сделал паузу, взял стакан и, растягивая гласные, произнес нараспев: - Сладостней, чем "бра-ат"". (*) - Выпил торжественно и медленно, провел указательным пальцем Левон руки по усам и губам и продолжил:

(*) Стихи Мкртича Пешикташляна (1828 - 1868).

- Мхо, говорю, отобьем у этих авантюристов охоту заглядывать в чужие ступы... А подонки-то авантюристы легки на помине. Выходят из-за деревьев двое - и к ступе... Ба-бах! Стреляю, ба-бах!..

- Ты стреляешь или Мхо? - со значением спросил Ованес-ага.

Господин Геворг отнюдь не смутился - опыт былого незавершенного учительства сослужил ему службу.

- Стрелять - неопределенная форма глагола, который спрягается следующим образом: стрелять, стреляю, стреляем... Но это неважно, важно, что проходимцы со страху кинулись наутек, к саду Ханикянов, а оттуда - куда ноги понесли.

Он тяжело вздохнул, как человек, исполнивший свой долг, и скрутил папироску. Воцарилось молчание.

- Окажись в ступе деньги, как бы вы поступили? - отчетливо произнося каждое слово, спросил Ованес-ага.

- Что за вопрос? - смутился Геворг-ага. - Как бы мы поступили? Разве не ясно?..

Ованес-ага не стал добиваться ответа, поскольку его мысль потекла по иному руслу.

- А ежели меня убьют?

- По какому праву, на каком основании? Да кто им позволит распоряжаться твоей жизнью?! Нет такого закона!

И, разволновавшись, господин Геворг снова наполнил стаканы.

Ованес-ага застонал, поднялся на ноги и молча вышел. Через пять минут он вернулся, сел, вынул из сюртучного кармана носовой платок, развернул его и едва слышно сказал:

- Вот вам по золотому... Берите тратьте, поглядим, чем все это кончится. Я по уши в долгах. Опозорился перед полисскими магазинщиками, того гляди, обанкрочусь. Если эти не отвяжутся, хоть стреляйся...

...Светало. На горе Вараг занималась заря. Взошла утренняя; звезда и бросила лучи на Пятничный ручей. Айгестан спал глубоким, сладким предутренним сном. Спал Мхо - как сидел, откинувшись на подушку, так и заснул. Не спал Ованес-ага - прислушивался к дыханию жены. Спал младенец. Не спала мать Ованеса-аги. Молилась, осеняла себя крестным знамением, закрывала глаза, но уснуть не могла. Не спал и господин Геворг. Он слил в стакан остатки вина, взглянул на спящего Мхитара, поднял стакан и пробормотал:

Все земли обойди подряд...

На память пришло лицо директора, злые слова Вержине, поддавальщик из казино, ступа у колодца, он ощупал карман и улыбнулся.

Нет слова сладостней, чем "брат".

Осушил последний стакан, приклонил на подушку отяжелевшую, затуманенную голову и заснул с пустым стаканом в руке.

Айгестан спал глубоким безмятежным сном. Легкий, ветерок веял из сада в сад, от дерева к дереву, от листка к листку, и слабое подрагивание крон казалось частицей тишины.

x x x

И жил-поживал мир, и жил-поживал Ван.

СКАЗАНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

Беспокойная деревенская жизнь Мхитара; ночные гости

Поздно вечером Мхитар добрался до села.

Погруженный в свои мысли, он и не заметил, как его осел миновал две темные деревенские улочки и остановился перед воротами. Он спешился и два раза стукнул палкой в дверь,

Ворота открылись, и в темноте показалась женская фигура.

- Добрый вечер, - с грубоватой нежностью произнес Мхо и прошел во двор, ведя за собой осла.

- Вечер добрый! Долго же ты ехал, - ласково попрекнула его Искуи, вынесла из дома каганец и провела мужа в просторный загон, где стояло на привязи с десяток коров. Они подняли было на свет встревоженные глаза и снова стали мерно пережевывать жвачку. Единственная белая лошадь коротко заржала и, фыркнув, уткнулась в ясли. Мхо привязал осла в углу, принес со двора большой пук зеленой травы и бросил в кормушку.

- Сатеник-то разрешилась, - разложив траву в яслях, сказал он наконец.

- Да ну? - Искуи преисполнилась бабьего любопытства. - Мальчик или девочка?

- Мальчик, - загордился Мхо и поглядел на лучившееся здоровой крестьянской красотой лицо жены; перевел глаза на ее потрепанное платье и вспомнил ткани, штабелями разложенные в магазине брата.

- Отметили?

- А то нет?! Попировали, поели, попили - все как у людей.

- Я-то когда в город поеду? - обиделась жена и поправила Фитиль у каганца.

- Когда осел Пасху справит, - отшутился Мхо.

- Ослу больше моего везет. Его ты с собой берешь, а меня нет.

- Вот так так! - укорил ее Мхо. - Не совестно тебе?

- А чего совеститься! Что у меня за жизнь...

Они пересекли подворье и вошли в такую же, как и загон, просторную "спальню", служившую еще и пекарней, и столовой, и гостиной, и отчасти кладовкой.

- Ты не голодный?

- Нет, - вполголоса ответил Мхо и полез в переметную суму.

- Отрез, что ли? - догадалась жена.

- Если бы только отрез! Бери... Дай Бог Ованесу здоровья! Это тебе на платье.

- Вручив жене подарки, Мхо достал из сумы груши, яблоки, пирожки. - Свекровь твоя дала.

Искуи взяла крестьянскими своими пальцами пирожок, надкусила и прошептала:

- Живут же люди, не то что мы...

- Чего тебе недостает? - вскинулся было Мхитар и тут же вспомнил огромные тюки в братнином магазине и расстилаются под аршином цветастые ткани.

Молчание.

Только размеренно дышали спящие дети да однотонно стрекотал сетующий на судьбу сверчок из стенной щели в глубине комнаты.

- Не к добру это, - вздохнула жена.

- Что?

- Сверчок стрекочет.

- Ну и что?

- Примета такая. К болезни.

- Типун тебе на язык!

- Я-то при чем? - хмуро сказала жена и сбросила с полного плеча густющие свои волосы. - Что слыхала, то и говорю.

И зевнула. Да и сам Мхитар как-то сразу почувствовал, что страшно устал, и принялся раздеваться. Искуи погасила каганец. Дом погрузился во тьму. Круглое оконце в кровле заполняла синева неба, а прямо посередке горела одинокая звезда. Мхитар взглянул на эту звезду, и его потянуло ко сну. На окраине сел глухо прокукарекал петух... За ним последовал второй, уже блюю затем, чуть подальше, третий. Закукарекали все деревенские петухи, а село знать ничего не знает - повернулось на другой бок и заснуло крепче прежнего.

...В дверь постучали. Сперва ладонью, потом кулаком. Стук становился все настойчивей.

- Мхо, эй, Мхо...

Мхитар всей грудью вдыхает воздух, поворачивается с боку на бок и бормочет:

- Два аршина... пятьдесят аршинов...

- Мхо, к нам стучат, вставай... Да проснись же ты!

- Почему стучат? - спросонок спрашивает Мхитар. - Дай мне поспать. Тук! Тук! Тук! Наконец Мхо просыпается.

- Искуи...

- Ну?

- Вроде как стучат.

- Целый час уже барабанят.

- Кто бы это?

- Откуда мне знать? Ночь на дворе.

Мхо осторожно встает с постели, босиком шлепает во двор и тихонько говорит:

- Кто?

- Открой! - слышит он зычный мужской голос. - Открой, человек Божий!

- Открой, не бойся! - вторит этому голосу другой.

Мхо осторожно приоткрывает дверь; первое, что он видит, - черные очки одного из незваных гостей. Другой, низкорослый, держит под уздцы двух коней и обращается к стоящему поодаль извозчику:

- Спускайся, выгружай по одному. - Потом велит Мхитару: - Дай огня.

Мхо машинально идет в дом и выходит - полуодетый, босой - с зажженным каганцом в руке.

- А теперь отведи лошадей в конюшню. Ячмень у тебя есть?

Мхо словно во сне ведет коней под уздцы и освещает каганцом хлев; привязывает коней и задает им ячменя.

"Гости, - думает он будто во сне, - что за гости такие? Ночью, с какими-то кувшинами, на коляске, с лошадьми..."

Он выходит. Извозчик разгружает коляску; очкастый указывает Мхитару несколько стоящих на земле пузатых, объемистых кувшинов для воды.

- Занеси их во двор.

Мхо пытается взять два кувшина зараз. Однако же странно! Сил у него не хватает.

- Бери по отдельности, - советует человек в черных очках.

- Что-что? - растерянно лепечет Мхо: подобного произношения и интонации ему никогда не доводилось слышать.

- Неси по одному. Тяжелые. Не понимаешь? По-армянски ведь говорит.

- Не наш какой-то армянский...

Очкастый улыбнулся. Собравшись с силами, Мхо обхватил кувшин и втащил внутрь; впервые в жизни он поднимал такой тяжелый кувшин. Тем же манером он втащил и второй, и третий.

С помощью низкорослого извозчик выгрузил также три продолговатых ящика; их тоже внесли за ограду и разместили во дворе, рядом с кувшинами. Затем человек в черных очках вложил что-то, должно быть деньги, извозчику в ладонь и негромко сказал:

- Если проговоришься, Шмо... видишь? - И, приподняв короткую куртку, кивнул на рукоять оружия.

- Да нет, все надежно, - уверил его низкорослый.

- Что я, господин, с ума спятил? - сказал извозчик, и лошади тронулись.

- Нам бы, братец, переночевать, - обратился низкорослый к Мхитару. - Старики в доме есть?

- Ребятишки...

- Мы на одну ночь, - отрезал низкорослый. - Как у вас дела?

- Яваш-яваш (*).

(*) Помаленьку (тур.).

- Как у Ованеса-аги торговля? Тебя ведь Мхитаром зовут?

Будто игла кольнула его в сердце; он вошел в дом и обнаружил жену за дверью, полуодетую, как и он сам. Все это время она слушала, о чем говорят во дворе.

- Постели...

- Кто такие? - шепнула, блестя глазами, Искуи. - Из города?

- Угу... нас знают... Постели получше.

Через три минуты за дверью раздался голос низкорослого:

- Мхитар! Готово, братец? Мхо жестом поторопил Искуи: ложись, мол! - а сам отвори дверь.

- Пожалуйте! - и указал пальцем на постель. Двое вошли в комнату; человек в черных очках коротко вздохнул и усмехнулся:

- Не роскошно.

- По-твоему, это Тифлис, - отозвался низкорослый, - отель "Орион"? Еще не то увидишь...

Постель была постелена прямо на полу: тюфяк без простыни тяжелое одеяло, подушка.

Сон у Мхитара пропал; Искуи тоже не смогла заснуть. Один из гостей, видит Мхо, зажигает спичку, Комната освещается слабым светом, Мхо поднимает голову. Свет гаснет, и во мраке искрится точка алого огня. Кто-то из них курит.

- Не спится? - раздается голос низкорослого.

- Кусают, безбожно кусают, - жалуется человек в черных очках. - Ох как кусают!

- Терпи, братец ты мой, краса армянского народа... Я всякого натерпелся, теперь давай ты...

- Черт бы их побрал! - злится очкастый и укладывается на бок.

- Не составить ли нам программу? - шутит низкорослый, пытаясь развеять хандру товарища.

- Давай лучше помолчим, может, засну.

- Спи, - соглашается низкорослый и улыбается в темноте.

Мхо мало что слышит и понимает из их беседы, Но одно знает наверняка: то, что первый недоволен, а второй его успокаивает, а еще то, что это необычные гости, какие-то темные, опасные люди...

Мхитару хочется пить, в горле пересохло. Он вспоминает, где стоят наполненные водой кувшины - там, у бочки. Мхитаровы веки набрякли от сна, однако жажда становится мучительной, неодолимой... И вот шагает Мхо по привольным полям, минует Биар, взбирается на Гядук. На макушку Гядука осели облака, облака осели на утесы Гядука, из которых так и выпирает зеленая трава. Мхо взбирается на Гядук. Там, наверху, есть граница, где утесы окутаны облаками и небо словно бы сровнялось с землей. Мхо добирается до границы облаков. С утеса струится прозрачная студеная вода, и кажется, будто она вытекает из облака. Облака отсвечивают золотом, и золотом отсвечивает вода. И, прижавшись губами к губам утеса, Мхо пьет, жадно пьет, но жажда неутолима. Под рукой стоит кувшин, крутобокий, пузатый. Он хочет наполнить его водой, поднимает и никак не может поднять. Собирается с

силами, сызнова пытается оторвать его от земли, а кувшин ни с места. Он хватает кувшин за горлышко и тянет что есть мочи. Кувшин раскалывается - половина остается в его руке, легкая-легкая. Мхо смотрит, кувшин-то, оказывается, пуст, а на дне лежат черные очки.

Мхо просыпается. В дымовое оконце падают ранние лучи. Оттуда, из дымового оконца, выглядывает круглое голубое небо. Мхо встает, одевается и направляется в угол - напиться воды; его ноздри улавливают табачный дым. Он бросает взгляд туда, где легли гости: один из них спит, а очкастый - сейчас он без очков - курит, лежа на спине. Вот он швыряет окурок за дверь, там уже бело от множества других окурков. Видно, он всю ночь промаялся без сна, знай себе курил. Без очков выражение его лица гораздо мягче и, вероятно, было бы совсем мягким, не будь этих густых черных усов. Напившись из маленькой крынки, Мхо в растерянности останавливается у постели гостей.

- Не выспались?

- Кусают, безбожно кусают. И как вы только здесь спите?

Мхо понимает его, но в то же время думает: "Не по-нашему как-то говорит... Из России, что ли, приехал? Кто его знает. Не из Стамбула, это уж точно, из России..."

- Мы привычные, - объясняет Мхо, - нас не кусают. А вот товарищ-то ваш спит же...

- Он толстокожий. Пожил среди вас и стал турецким армянином. В этом-то и трагедия турецких армян...

"Трагедия" он произнес по-русски, а единственное, что вполне понял Мхо, - "толстокожий".

- Откуда изволили приехать?

- Издалека, - коротко ответил гость и вытер белым носовым платком лицо.

Мхо выходит во двор, заглядывает в хлев. Два работника и их жены, спящие обычно прямо в загоне, уже поднялись. Спят они на нарах, поднятых метра на полтора над землей. Женщины доят коров, а мужчины ухаживают за скотом.

- Доброе утро! - приветствует их Мхо.

- Доброе! - излишне громко отвечают они.

Немного погодя в хлеву показывается Искуи и отзывает Мхитара в сторонку:

- Пора тонир затапливать... Эти-то еще не встали.

- Ты затапливай потихоньку, они встают. И Мхо занялся скотом. Он любил деревню, любил черную деревенскую работу, коров и овец, доле и берег. Ему и в голову ты, когда не приходило, что и он мог жить в городе, носить чистую одежду, спать в чистой комнате, поменьше работать и побольше радоваться жизни. Он человек воздержанный и старается привить воздержание и жене, и детям, дабы побольше добра везти в город и наполнять закрома и амбары материнского дома; ему и в голову никогда не приходило, что хозяйничают-то в материнском доме не он, а брат, не его, а братнина жена. Никогда.

Мхо подошел к коням незваных своих гостей, осмотрел их взглядом знатока и оценил: хороши; подправил ослабленную подпругу, вспомнил, что один из гостей, низкорослый, знает Ованеса-агу и его самого, и не понял - то ли радоваться этому, то ли тревожиться... Потом он проверил убранные в один из закутков подворья кувшины и ящики - все ли на месте, - но приблизиться к ним не посмел.

Снова появилась Искуи.

- Тонир я подготовила, только не разожгла - не встали ведь покуда. Молоко надо вскипятить, заквасить, хлеба испечь, всякой всячины настряпать... Что делать-то?

Мхо задумался.

- Разжигай, они встанут.

Другого выхода не было.

Искуи засуетилась, и минуты через три по дому повалил плотный удушливый дым.

Гости, кашляя, чихая и застегиваясь на ходу, мигом выскакивают во двор. Низкорослый смеется и, поперхиваясь, втолковывает спутнику:

- Так-то, брат! Когда мед из улья выбирают, дыму напускают, чтобы пчел отогнать, а потом уж их трудом лакомятся... Теперь... теперь вот и мы...

- Не понимаю, - сердито говорит другой, надевая очки. - Нашла время старуха огонь разводить. Едва сомкнул глаза...

- Какая еще старуха, - шепчет низкорослый. - Молодка... Кровь с молоком...

Подходит с виноватой улыбкой Мхо:

- Не дали вам выспаться. Да как быть-то, столько дел всяких...

- Не беда, братец. Принеси-ка воды умыться!

Умывшись, гости вышли на улицу, стали у ворот и внимательно огляделись. Село проснулось. Над всеми до единой крыши клубился дым, крестьяне и крестьянки выходили из дому и с озабоченными лицами спешили в разные стороны, кидая любопытные и, пожалуй, недоуменные взгляды на пришельцев у ворот Мхитара Мурадханяна.

- Похоже, зажиточное село, - заметил очкастый.

- С чего ты взял?

- С чего я взял? - поскучнел тот и махнул рукой. - В глазах резь от бессонницы...

Низкорослый достал из кармана записную книжку, перелистнул три-четыре страницы, что-то прочел, снова полистал и захлопнул.

- И вправду зажиточное.

- Ты разве не знаешь этого села?

- Откуда? Здесь у нас организации нет. Был тут разок пять лет назад...

- Не обеднеет же богатое село за пять-то лет.

- В Турецкой Армении, братец, деревни, случается, богатеют за десять лет, а разоряются за день, - сказал низкорослый.

- Это не закономерно, - рассудил очкастый.

- Какая уж тут мера, когда закона нет!

Они замолчали. Пробрело по деревенской улице стадо, из ворот гостеприимно приютившего двух собеседников дома вышло несколько буренок и мыча затерялись в стаде. Немного погодя над селом поплыл глухой церковный перезвон.

Подул ветерок, и колокольные звоны, словно капли дождя падали на кровли деревенских домов, на окрестные рощицы поля.

СКАЗАНИЕ ПЯТОЕ.

Об Ахтамарском монастыре и обо всем...

1

В полумраке кафедрального собора древнего монастыря колыхнулось напоследок и угасло перед выцветшим распятием маленькое, как язычок горлицы, пламя догорающей свечи. В смутном свете пробивающихся через узенькие окна высокой колокольни блеклых предутренних лучей вычерчивался темный силуэт коленопреклоненного черноризца. В одно из узеньких этих окон то ли влетел, то ли вылетел, взмахивая крыльями, голубь. Монах поднял голову, и его лицо озарилось слабым утренним светом. Из-под черных бровей смотрели черные грустные глаза.

Он молился.

В отворенную дверь церкви вошел рослый мирянин, неслышно приблизился к молящемуся и остановился на почтительном расстоянии.

- В чем дело, Мигран? - даже не повернувшись" недовольным голосом спросил тот.

- Парусник, святой отец, - доложил секретарь, и сам раздосадованный тем, что помешал молитве настоятеля.

Черноризец поднялся на ноги, размашисто перекрестился перед распятием и алтарем, и они вместе покинули храм.

- Парусник?

- Да, святой отец.

Светало. На широком дворе здесь и там попадались только что проснувшиеся монастырские служители. В Коровник и овчарни торопились с медными

посудинами пожилые и молодые доильщицы доить скотину; одна из них громко грозилась другой:

- Не болтай вздор, не то скажу святому отцу... - Она добавила бранное словцо; то, что оно означало, вовсе не входило в обязанности игумена.

Настоятель со своим секретарем вышли за ворота. Перед ними раскинулся большой монастырский сад, а за садом лежало море, синее-пресинее безмятежное море. По синему его зеркалу скользило к острову парусное судно.

- Ступай подготовь комнату, - распорядился настоятель.

- Вы полагаете... - указательным и большим пальцами секретарь взял, как берут папиросу, длинный свой ус.

- Да, это они, - отрезал настоятель.

Мигран деловым шагом устремился обратно, а настоятся медленно двинулся к пристани. С парусника спустились двое, один высокий, в черных очках, чьи черные, похожие на изогнутые рожки, усы резко подчеркивали белизну гладко выбритого лица; другой низкорослый, с негустой бородой... впрочем, мы уже однажды видели их, там, в селе, под гостеприимным Мхитаровым кровом.

Встречая гостей, настоятель заколебался: как, собственно, их принимать, по-мирски или по-церковному; ему помог человек в черных очках, - протянув руку, он поприветствовал настоятеля!

- Здравствуй, человече, как поживаешь?

- Здравствуйте, здравствуйте! - отвечал настоятель, пожимая обоим руки. - Добро пожаловать! Минас, - окликнул ой рулевого, - причаль судно и поднимайся в монастырь. Ну, пойдемте!

Миновав вслед за настоятелем монастырские ворота, гости поднялись по каменной лестнице в отведённые паломникам покои по левую руку широкого двора - комнату для них только что подготовили. Встретил гостей секретарь настоятеля гост подан Мигран. Он смиренно поклонился им и взял у каждого по маленькому саквояжу; саквояжи были маленькие, но увесистые.

Смотревшие на море окна просторной комнаты были распахнуты, и ее заполняли свежий воздух раннего утра и золото восходящего солнца. Синее зеркало воды казалось абсолютно недвижимым, однако ухо различало глухие накаты мелкий волны на прибрежную гальку - бульк, бульк, бульк... Зелень монастырского сада, живописная, сочная, сияла необычайно ярко. На вершине высоченного тополя, подле гнезда, по-хозяйски гордо стоял на одной ноге аист с отливающим позолотой клювом, словно сошедший с исполинского полотна великого художника.

- Завтрак! - приказал настоятель. Секретарь стремительно удалился.

2

Когда вечер спустился на море, остров и монастырь, а полумесяц вдребезги разбил голубое зеркало воды, секретарь тихонько приоткрыл дверь гостевой комнаты и неслышно вошел. Зажег спичку, затеплил пару свечей двухсвечового шандала, стоявшего на столе, и шагнул к выходу.

- Апостол Мигран!

- Слушаю, господин Арам.

- Во имя отца и сына вели поставить самовар.

- Будет сделано.

Он снова шагнул к дверям.

- Великомученик Мигран!

- Слушаю, господин Ишхан.

- А мне - рыбы.

- Этому рыбоеду рыбы. Да скажи настоятелю, пусть пожалует к нам.

Мигран выскользнул из комнаты. На веранде он минутку постоял, взялся до своего обыкновения большим и указательным пальцами за кончик уса, кинул взгляд на вздыбившиеся облака и сбежал вниз по лестнице,

- А если он не согласится? - Арам широко зевнул и закурил. - Сложности, проблемы, предубеждения. - Одна только пуля - и покончено с вопросами и предубеждениями.

- Топор?

- Я не говорил о топоре.

- Ну не топор, так пистолет или записка с угрозой... Понимаешь, я раздвоен. И с особой остротой чувствую это, когда приходится совать нос в такие дела.

Он умолк. Шум озера казался ближе и жалобней.

- Погода испортилась, - посетовал Ишхан, явно желая переменить разговор.

- Не отчаивайся, луна светит. А, впрочем, ты прав. - Арам улыбнулся про себя и продолжил приятным своим басом: - Верить этой луне все равно что верить в турецкую конституцию или во вмешательство Европы. С другой стороны, почему бы и не верить или не сделать вид, якобы веришь? Надо же выиграть время. Чем, по-твоему, царь лучше султана? Вооружи Кавказ, перебрось туда оружие, призови скинуть царя и провозгласить свободную Армению, и он не хуже султана утопит в крови кавказских армян. Ты скажешь, царь христианин, а султан мусульманин. Да не один ли черт гибнущему народу, режут его во имя креста или османского полумесяца...

- М-да, - сосредоточился Ишхан. - Почему же кавказские армяне не требуют свободы, не вооружаются?

- И почему же?

- Думаешь, турки режут армян оттого, что те требуют независимости и свободы? Дело не в этом.

- А в чем?

- Дело в том, что турки ре... ре...

- Скажи "режут армян". Язык, что ли, не поворачивается?

- Ре... ре... резня резне рознь. Царь уничтожает духовно, а наш... - Ишхан слева направо провел указательным пальцем по горлу, прищурился на свечу и продолжил: - Чего хочет армянин в Турции? Он хочет элементарной цивилизованности, хочет, чтобы его не резали как скот. Но когда его режут,

истязают и он! протестуя, стонет от боли Блистательная Порта вопит на весь мир, армяне, мол, требуют независимости. Пусть оставят нас в покое, не закрывают наших церквей и школ, не убивают, не no хищают наших женщин, не насилуют их, и мы будем жить спокойно и мирно, как на Кавказе. Да, армянин в Турции хочет свободы, хочет быть освобожден от резни. Он жаждет независимости от виселицы, жаждет, чтобы его не вешали...

- И во имя этого надо подняться против империи? Мы, дорогой, играем с огнем, и нетрудно предугадать, чем окончится наша с ним игра. - Помолчав, Арам добавил: - Огонь не игрушка.

Ишхан улыбнулся:

- Я поставил крест на рыбе, а ты, брат, поставь крест на чае. Пойдем-ка скажем Минасу, чтобы снарядил парусник, а?

- Выслушай до конца. - Арам встал и швырнул окурок в открытое окно. - Я ведь сказал, что раздвоен. Человек во мне думает так, а партиец - иначе.

- То есть?

- Ты и сам знаешь, как он думает. Нужно противостоять насилию, вооружить народ, поднять знамя восстания, захватить новый Оттоманский банк, совершить новый Ханасорский поход убедить Европу, что черпак у нас железный, а не бумажный. Н а не выйдет... Лучше уж умереть, умереть всей нацией, потом; что... потому что... потому что лучше умереть свободным, чем жить рабом. - Он умолк на миг и усмехнулся: - Красивые слова, верно?

- Это не слова. Нет, это не слова, это идеи, святые идеи, - воодушевился Ишхан.

- Черта с два, - парировал Арам. - Кому они нужны, твои идеи? Народу? Народ живет - когда лучше, когда хуже, но живет. А мы хвать его за горло и твердим: или смерть, или свобода. С какой стати? Кому охота умирать? Всякому и всегда хочется жить. Она ценная штука, жизнь, и дается только раз. "Умри героем, но не живи рабом". Почему? Не помню, где вычитал, что лучше быть живой мышью, чем дохлым львом.

Вошел настоятель, и разговор прервался.

- Садись, игумен, сядь и ответь на мой вопрос, - обратился к нему Арам. - Что лучше, живая мышь или дохлый лев? Настоятель сел и улыбнулся:

- По мне, лучше живой лев. Гости рассмеялись.

- Верно решил, игумен, - подтвердил зычным своим голосом Арам. - С тобой можно пускаться в путь. А сейчас перейдем к сути.

Он поднялся с постели, постланной на ковре, как заправский гимнаст, сделал широкие махи руками - сперва вправо-влево, затем вверх-вниз - и подсел к столу, оседлав простую четырехногую табуретку. Ишхан последовал его примеру, удовлетворившись только продолжительным зевком, который, однако, отнюдь не выражал усталости: так зевают после живительного отдыха.

Арам закурил, пристально поглядел на игумена и, выпуская дым то направо, то налево, сказал:

- Ты не спросил, отчего мы вспомнили о твоем острове, твоем монастыре и о тебе. Ищем ли мы под монастырским кровом защиты, привела ли нас сюда любовь твоих доярочек, или мы приехали исповедаться тебе в сладостных и горьких мирских преступлениях, и грехах? Так и не спросил...

Настоятель улыбнулся:

- Не спросил, ибо...

- Ибо?

- Ибо мне известно, какой ветер занес ваш парусник в наши края, - ответил настоятель.

- Тебе палец в рот не клади, - рассмеялся Арам. - Ну, Ишхан, он знает, зачем мы приехали. Что скажешь?

Ишхан попытался улыбнуться. Настоятель вынул из внутреннего кармана сложенный вчетверо лист бумаги и подал Араму.

- Договорились, утвердили список, и вот, извольте видеть! - сердито воскликнул Арам, прочитав бумагу. - Перегибают они палку, эти Папахи.

- Какая разница? - без всякого выражения спросил Ишхан в свою очередь пробежав бумагу глазами.

- Разница большая! - повысил голос Арам, чуть ли не вырывая бумагу из рук товарища. - Разница очень большая, пойми.

Он оборвал себя на полуслове и покосился на настоятеля.

- Оставьте нас на минутку вдвоем.

- Я выйду, - грустно улыбнулся настоятель, - но я все равно знаю, что вы скажете господину Ишхану. Вы боитесь, что записка этих Папах предупредила меня и что я укрою часть богатства, которым располагает монастырь. Я прав?

Арам снял очки, словно желая получше разглядеть собеседника.

- Допустим, - процедил он сквозь зубы и почти враждебно.

Настоятель поднял на Арама глаза и встретился с его холодным, точно кинжал, взглядом. "Этот человек не зря носит очки", - мелькнуло у него в голове.

- Вы напрасно беспокоитесь, господин Арам. Все монастырское состояние, в том числе и неприкосновенное, на месте. Я:

- Что это за неприкосновенное состояние? - с усмешкой перебил его Арам.

- Неприкосновенным мы зовем имущество, находящееся под контролем святого Эчмиадзина. Не забывайте, я не только настоятель монастыря, прежде всего я местоблюститель Ахтамарского патриаршего престола.

- Да у тебя, игумен, высокий сан, я и не знал, - иронически бросил Арам, взглянув на Ишхана.

- Что ваши Папахи перегибают, как вы заметили, палку - это не подлежит сомнению. Есть ли нужда в угрозах и - проста те мне великодушно - в шантаже? Почему они считают себя хозяевами и распорядителями великого дела, а мы, как они думают, способны, да и то под давлением страха и угроз, лишь на сочувствие в великом этом деле? Монастырские богатства принадлежат народу, и, если ради его победы в них возникает необходимость, настоятель не вправе противостоять воле народа. Спасение нации отнюдь не в руках тех, кто нахлобучил папахи, и не в руках какой-либо партии - это всенародное дело, господи! Арам, всенародное.

- Делом должна руководить партия, - едва слышно напомнил господин Арам.

- Право на руководство дает ум, а не устрашения и подметные письма.

Воцарилась тишина, и в нее вплетались все нарастающий гнев моря и его мольба, его ропот и гул. Должно быть, она долго бы еще тянулась, гулкая эта тишина, не появись в комнате секретарь с желтым, сияющим кипящим самоваром.

Неслышно ступая, настоятель вышел.

- Ну что, понял, с кем мы имеем дело? - сказал Ишхан после ужина, когда они с Арамом остались одни.

- Понял.

- А как тебе секретарь?

- Он из того же теста.

- Подметные письма, угрозы, шантаж...

- По существу-то они, конечно, правы, - улыбнулся Арам, поднося папиросу к узенькому пламени свечи.

- Они правы?! - изумился Ишхан.

- Чему ты удивляешься? Конечно, они правы, только вот... - Он выпустил дым, на миг умолк и задумался. - Только вот их правда не вяжется с нашей партийной линией.

- Стало быть, партийная линия не верна?

- У партии есть своя собственная, партийная правда, которая вовсе не тождественна правде местоблюстителя патриаршего престола и его секретаря.

- Значит?

- Значит, пусть каждая правда идет своей дорогой, а мы возьмем все прикосновенное и неприкосновенное и пойдем своей.

3

...Квадратный люк на палубе парусника откинулся, и оттуда высунулась голова, вернее, не голова, а смутная тень. Тень поднялась над палубой по плечи, затем по пояс, глубоко вздохнула, оглядела сгустившуюся тьму,

помрачневшее небо, Штормящее море, почти черные на фоне мрачно-темного неба очертания монастыря и пропала; люк захлопнулся.

- Светопреставление, не разберёшь, где небо, где земля, - сообщил человек, спустившись в трюм.

- Ну и черт с ним! - буркнул весь из себя черный юноша с черными как смоль волосами и черными как уголья глазами; он сидел на полу возле едва горящей жестяной печурки, уставившись в огонь.

Третий, длинный как жердь, растянулся у печурки и, подперев голову руками, пел:

В Стамбуле кровавое вспенится море,
Там схватка начнется смертельная вскоре,
О горе вам, недруги! Горе вам, горе!

- Учитель, скажи еще разок, что значит Васпуракан, - недопев, попросил длинный, которого звали Дуралеем-Шаваршем.

- Не разберешь, где небо, где земля, - повторил учитель Геворг, - а на горизонте ни капли водки... Как-то раз наш директор сказал: "Господин Геворг, - тебе бы жить в Ниле. Вообрази, - говорит, - там течет не вода, а водка, а ты крокодил". Не вылетели у меня из головы директорские благопожелания.

- Скажи лучше еще разок, что значит Васпуракан, - стоял на своем Дуралей.

- Так не пойдет! - закричал господин Геворг. - Без водки дело не пойдет. С каким уговором я сюда пришел? Поднеси водки - получи науку. На другие условия я не согласен.

- Дай ему, пускай лопнет, - лениво зевая, посоветовал тот, который сидел у жестяной печурки; все звали его Колочо, хотя настоящее его имя звучало куда как внушительно - Седрак Алеисалемян.

- На, пропащий, пей, нынче твой день... - Васпуракан, - воздев над головой указательный палец и чеканя каждое слово, начал учитель Геворг после того, как единым духом осушил средней величины стакан, - Васпуракан есть сложное слово, состоящее из трех частей: вас, что значит великий, величайший, пур, что значит сын, кян, что значит край; та ким образом, мы

получаем слово Васпуракан, которое переводится с язщка фарси как край величайших сынов. С фарси, не забудьте! Уразумели?

- Машалла! (*) - воскликнул Алемкалемян. - На тебя глядя, как не поверить: ты, учитель, и есть один из этих величайших сынов.

- Я, ты, он, мы, они... Понятно?

- Коли ты столько всего знаешь, чего ж тебя не зовут агой, как твоего брата? - уколол учителя Дуралей.

- Нас тут трое братьев, - осерчал господин Геворг, - Ованес - буржуй, а я и Мхо - пролетарии.

- Не понял, - прикинулся Колочо.

_____

(*) Здесь: молодец (араб.).

_____

- Тысячу раз втолковывал, - недовольно сказал учитель, - элементарных вещей не в состоянии взять в толк. Буржуи - это богатые, коммерсанты, откупщики, ростовщики, пролетарии же - обычный трудовой люд во главе с Хримяном. Следовательно, мы - я, Мхитар и Хримян, - все мы пролетарии. А старший наш брат ведет торговые дела в Полисе, следовательно, он человек состоятельный, то есть консервативный, а стало быть, и буржуй. Уразумели? Науку половником черпаете, а водку по ложечке цедите.

Наступило молчание.

В это время открылся палубный люк и по трапу в облаке влажного ветра и дождя проворно спустился в трюм господин Ишхан.

Он окинул троицу быстрым взглядом.

- Ступайте за мной. Погодите, объясню, что вам делать. Мы этого не хотели, но задача усложнилась.

- Без водки, господин Ишхан, никакие объяснения не дойдут! - возроптал учитель.

- Дело мокрое. Дайте ему, пусть выпьет, да и сами выпейте, - распорядился господин Ишхан.

- Дело мокрое, мокрое дело одна только водка мокрее сделает, - оживился господин Геворг и, лишь залив в глотку полный стакан, спохватился: - Не соображу, что такое мокрое, а что сухое?..

- Скоро сообразишь где что, пропащий, - пробурчал Дуралей, снова наполняя стакан учителя.

x x x

...Шагает по армянским полям патриарший местоблюститель Ахтамара и настоятель монастыря отец Арсен, идет сквозь историю и века.

- Ха-ха-ха, - смеется Айк, поглаживая подобную облаку бороду, - вот Арарат, а вот и родимая долина; повержен Бэл, дабы жили армяне, и страна армян, и сам первый армянин Айк. И он выживет, мой народ, проживет века и вечность, а все Бэлы будут сокрушены и развеяны во прах.

И видит местоблюститель, как двинулись Васпураканские горы. И крылатые девы низошли на храмы Варагский, и Красный, и Смиренного креста, и Смуглого отрока, на храмы священные и святые, и красно-зеленое воскресенье раскинуло свои крыла над Биайной. Вот Тигран Великий, государь населенной миллионами людей Великой Армении, и прочие армянские цари, строптивые и благоразумные, бесталанные и созидатели. Местоблюститель знает вас, знает всех до единого....

Вскочил армянин в седло - и позабыл Бога, спешился - позабыл коня. Возвращается вспять местоблюститель и видит страну. Армению, ставшую сплошным Аварайром. Нагрянули монголы, нагрянули татары и сельджуки, нагрянули арабы, нагрянули персы и византийцы - Ктесифон и Византии. Минули века, и явились турки-османы, покорили Великую Армению Малую Армению, и хозяин стал подданным, пленником и рабом, а пришелец - повелителем.

Море Наирийское, Биайнское море, Армянское море, Ванское море! Около тысячи лет назад царь Гагик из рода Арцруни взошел на ахтамарский берег и заложил здесь храм. И не был силы, которой бы покорился Ахтамар и ни один пришелец властвовал над Ахтамаром. А теперь... Армяне с Кавказа, деятели:

Что бишь они делают в наших краях? Несут свободу из Карабаха и Сюника? Пускай лучше защитят от царя первопрестольный Эчмиадзин и его владения. У нас были свои деятели, вожди. Были, но сложили головы. Пал Аветисян, пали Пето и Мартик, многие пали. А эти...

Кто они, эти гости, которые начали выходить на берег в урочное и неурочное время? Деятели. Ведь и у нас есть деятели, вожди. Ну а эти?

Ну а этим мало шагать по могилам всех святых, им еще надо властвовать над всеми святыми. Паломник принес в храм не жертвенного барашка, а записку с угрозой, оставил ее на алтаре - и был таков. Они, видите ли, спасают нацию, сеют семена свободы. А покамест подавай им богатства монастыря; не дам, ничего не дам, хозяин монастырским богатствам народ, а не безбожники-авантюристы.

- Не дам, ничего не дам!..

Идет армянскими полями патриарший местоблюститель Ахтамара отец Арсен, идет через историю и века и пробуждается от собственного голоса.

- Не дам!

В ахтамарской церкви святого Креста свадьба: поезжане, глазеющая толпа, горящие факелы и свечи.

И видится настоятелю Арсену, будто жених-то на этой свадьбе - он сам, ну а невеста - вот тебе раз, невеста-то не кто ma как дородная, ядреная и пышнотелая доильщица Дохик, чей муж, молодой монастырский работник Маргар, утонул прошлым годом в озере.

Несчастный случай. Несчастный?

Это ведь тот самый Маргар, который добирался вплавь от Ахтамара до Артамета; так что же стряслось, отчего он вдруг утонул? Нет, дорогие мои, что-то здесь не чисто, дело в статной и могучей красавице Дохик - кому-то в монастыре она приглянулась. Это ведь тот самый Маргар, который, оторвав супротивника от земли, закидывал его в море, да в такую даль, что и всплеска не услышишь... Стало быть... стало быть, женин дружок оказался Маргару не по зубам.

Игумен стоял рядом с Дохик, а венчавший их священник... вот так так! - венчавшим их священником был работник Маргар, Маргар с усами и бородой местоблюстителя и в ризе местоблюстителя. "Господи, грешен перед тобою!" - шепчет местоблюститель и с ужасом ощупывает свой подбородок, а потом щеки. Они гладки, они чисто выбриты!

"Грешен, Господи!.."

...Местоблюстителю почудилось, что дверь отворилась - он не имел обыкновения запираться; послышался глухой шорох дождя. До него донеслось чье-то тяжелое дыхание, он различил запах перегара, и шею обожгло немыслимой болью.

- Господин Арам! - крикнул местоблюститель, но не услышал собственного голоса. Затем он увидел, как Дохик всей своей тяжестью повисла у него на шее, а работник Маргар поднимает крест. С концов креста стекает алая кровь, капля за каплей, капля за каплей.

4

...Секретарю Миграну не спалось; он встал с постели и принялся мерить шагами вытянутую в длину келью. Чутье подсказывало ему, что два незваных гостя явились в Ахтамар с каким-то решительным намерением. Сила в их руках. Они могут сделать то, что хотят, и так, как хотят, в согласии со своими неписаными, тайными законами, во имя революционной целесообразности - лишь бы это служило порочной их цели.

Во имя революционной целесообразности они не гнушаются ничем; чтобы завладеть деньгами, готовы запугивать и шантажировать. Васпуракану грозит кровавый кулак, но над этим кулаком занесен другой кулак - некий карательный орган, исполнительный комитет, верховная тройка...

Секретарь подошел к окну и неслышно отворил створку; снаружи лило, все смешалось воедино: море и небо, ночь и дождь. У причала чернело судно с убранными парусами. Секретарю померещилось, будто на причале и на палубе

судна мелькают тени; он отпрянул назад и прикрыл окно. Какая глупость, воистину страха глаза велики. Но разве ему страшно - чего и почему он должен бояться? Ясно, что придется пойти на какие-то уступки, ну да утро вечера мудренее.

Настоятель тоже возмущен до глубины души. И придерживается того же мнения: придется им что-нибудь подкинуть; лишь сказать "что-нибудь", но попробуй-ка решить - что именно.

Ко всему вдобавок две доярки, Дохик и Антарам, поругали днем и уцепились друг дружке в волосы. Настоятель велел обеим явиться в церковь, исповедаться. Сперва принял Антарам и тотчас отпустил, а потом уже пошла Дохик. Эту святой отец не о пускал долго, должно быть, ее грехи оказались куда как соблазнительны.

Секретарь лег и уставился во тьму. Душно. За окном льет не переставая. Может, открыть дверь и проветрить? Но тут ему показалось, что за дверью кто-то есть. Опять страхи. В народе говорят: "Страх хуже смерти". Вспомнил тени. На палубе. И воз судна. Глупости. Он встал и распахнул дверь. Особой разницы Я было, и там и тут не видно ни зги, разве что там льет, а тут ness

Кто забудет 1896 год, третье июня, понедельник? Кто забудет мученическую смерть семерых братьев Семирджянов? А ведь они семеро храбрых братьев, рождены одной матерью. Армянские матери, несчастные матери...

Минул девяносто шестой год, но придет новый девяносто шестой; народ не нужно вооружать насильно, народ сам должен вооружиться, не надо торопить новый девяносто шестой, надо выиграть время; может ли какой-то Ван противостоять всей государственной махине? Пусть вооружатся вилайеты, пусть вооружатся стамбульские армяне и беженцы.

И секретарь Мигран еле слышно запел песню странника:

Подул над морем ветер, и море разыгралось,
Волна была зеленой, а красной показалась.
Волна была зеленой, соленой, как слеза,
И в море я увидела желанного глаза.

Я закричу, разжалоблю далеких гор отроги,
Скитальца одинокого верну домой с дороги.
Стамбул, веселый город, будь проклят навсегда.
Увел, увел желанного, и мой удел - беда.

Игра в прятки между непрошеными шефами и ахтамарской братией, в которой всего-то две души - чем-то же она кончится? Вооружить работников, вооружиться самим, поставить на пристани дозор, открыть огонь по паруснику шефов и выдворить их отсюда... или радушно, как дорогих гостей, принять, а ночью удавить, сунуть с камнем на шее в мешок - и в воду?.. Годится? Нет, не годится. Армянину поднять руку на армянина, армянину пожрать армянина? Не все ли тогда равно - Айк или Бэл, армянин или турок? Дай Айрапету из Мока, этому Приземистому, кряжистому, как пень, работнику два куруша - и он твой с потрохами. На все способен, ко всему гож. Может, разбудить его прямо сейчас, сунуть не два куруша, а пять, и да исполнится исполнимое: море - кладбище, преисподняя - обиталище. Годится? Нет, не годится.

Во тьме вспыхнула искра и словно замерла на миг точкой света. Через открытую дверь Мигран ясно и отчетливо разглядел устремленные ввысь очертания храма, колокольню и поблескивавший крест. И странная вещь, ему показалось, будто кряжистый коротышка Айрапет из Мока быстро прошел мимо его двери. И внутри и снаружи непроглядная темь, в тучах над морем погромыхивает. Секретарь Мигран ощущает укол болезненного страха, ему хочется встать и закрыть дверь. "Айрапет!" - силится он крикнуть, позвать силача-работника на помощь, но тут ему кажется, что Айрапет уже в келье...

- А-йра... - вырывается из стиснутого горла, и секретарь чувствует, как кипящая горько-соленая вода вздыбившегося моря захлестывает комнату и с бульканьем вливается в горло; в голове у него проносится: "Мне конец..."

Еще мгновение, и секретарь видит: высовывают головы из густой черной воды его знакомые: извозчик Мигран, Пузатый Нуриджан, вардапет Охаш, отец Аджале, Елиа Бабушян, Габо Танхусян... они в упор глядят на секретаря, и тот повторяет:

- Мне конец...

И все они, его знакомые, давясь смехом, рявкают единым голосом:

- Неужели?

x x x

Над миром, над Васпураканом и Ахтамаром занялось утро. Работники и доильщицы покончили с делами; распахнутая дверь гостевой комнаты яснее ясного говорила, что там нет ни души.

Парусника, причалившего давеча у пристани, и след простыл. Посреди ночи кое-кто из работников слышал сквозь сон тревожные шаги на монастырском дворе. Им даже чудилось, будто открывались и закрывались церковные врата. Айрапет из Мока не ночевал у себя, а теперь сидит во дворе на камне и без передыха дымит. Спичек не достает, искру кресалом не высекает - раскуривает цигарки одну от другой.

А настоятель и секретарь до сих пор не выходили; никогда еще они не спали так долго. Зашушукались" полные дурных предчувствий, работники и доильщицы. Айрапет из Мока неподвижно, точь-в-точь камень, сидит на камне и дымит.

Но вот, ощутив да себе множество испытующих взглядов, он вроде бы нехотя поднимается и, приземистый, кряжистый, направляется к лестнице; оказавшись на украшенной деревянными столбами веранде, он мельком заглядывает в открытую комнату двух давешних гостей, идет в конец веранды и отворяет келью настоятеля. Входит в нее и, выйдя, отворяет Мигранову комнату, входит и тут же выходит.

Под верандой, в монастырском дворе, столпились доильщицу и работники; затая дыхание, они глядят наверх, на Айрапета, следят за каждым его шагом, А тот неверно опирается о перила и не своим голосом говорит:

- Настоятеля ножом... секретаря удавили.

- Гости? - спрашивает кто-то.

- Гости сбежали, - отвечает Айрапет.

Раздаются плач и вопли, женщины голосят, рвут на себе волосы и царапают лицо, и душераздирающий этот вой перекрывают выше и надрывней других звучащие причитания Дохик:

- На кого же ты меня оставил, святой отец? Горе какое! К кому я теперь пойду, кому в грехах исповедуюсь? Святой отец, родной ты наш...

Мужчины, не сговариваясь, двинулись к церкви. Врата ее были распахнуты, сама церковь - ограблена.

Со стен и алтаря смотрели холодными рыбьими глазами угодники обоего пола.

СКАЗАНИЕ ШЕСТОЕ,
повествующее о новых тревогах Ованеса-аги,
или Где грешник, там и грех

1

Письмо из Стамбула. От кого ему быть, ежели не от Амбарцума, старшего в мурадханяновском дому сына, старшего брата Ованеса-аги, Геворга и Мхитара? Письмо от Амбарцума. С чего бы это? Все известия о нем приходили из Полиса с оказией; кому случалось побывать там, говорили: "Амбарцум-ага наказал: передай, живу я хорошо, дела у меня в порядке, в помощи не нуждаюсь, помогать не могу..." либо: "Передай, чтобы имени Мурадхана не уронили, перед чужаками, перед знакомыми и родней лицом в грязь не ударили..." Однажды приехал из Полиса господин Акоб Смсарян, явился к Ованесу-аге и без всяких там "здравствуй!" и "как поживаешь?" простер руки вперед и запел:

Все земли обойди подряд -
Нет слова сладостней, чем "брат".

- Акоб-ага, ты, часом, не спятил? - сказал Ованес-ага.

- Ошибаешься, господин Ованес, я не спятил и делаю так, как наказал Амбарцум-ага, - ответствовал господин Акоб.

- Сатеник, подай мам водки, закуски подай, приготовь кофе, наш Амбарцум-ага спятил, - от души посмеявшись, крикнул Ованес-ага.

И вдруг на тебе - письмо. С чего бы это, что он такого написал? Ованес-ага повертел конверт в руках, взвесил его на ладони и спустился вниз, к матери. Мать сидела на ковре и вязала чулок.

- Матушка, от Амбарцума письмо.

- Да ну? - удивилась старуха. - Случилось что?

- Я и сам думаю... Может, случилось что-нибудь, денег просит?

Мать забеспокоилась и почесала спицей за ухом.

- Амбарцум денег просить не станет.

Держа за руку пухлого, щекастого ребенка, вошла Сатеник.

- Твой деверь письмо прислал.

- Вот и хорошо.

- Хорошо-то хорошо, а ты скажи, что он пишет? Сатеник присела на тахту.

- Откуда мне знать, должно, нужда у него в чем-то...

- Видала? - Ованес-ага кинул на мать озабоченный взгляд. - И по-моему, так.

- Полно тебе! - осерчала мать. - Распечатай да прочти, и вся недолга.

- Прочесть-то прочтем, - буркнул Ованес-ага. - Только вот что он написал?..

Оно конечно, можно и распечатать, и прочесть. Ованес-ага, слава Богу, не из неграмотных, в школе учился, и букварь читал, и псалмы, и "Книгу скорби", "Отверженных" и тех читал, и Дурьяна тоже... Арифметику знает, все четыре действия, но, прежде чем прочесть письмо, ему во что бы то ни стало надо угадать, о чем оно, к чему клонит, и только потом - этак между прочим - браться за чтение...

Он подошел к выходящему в сад окну. Мороз разрисовал стекла тончайшими кружевами. Виден лишь сад, зимний сад, голые деревья среди плотного снега. На островерхих тополях сидят, тоскливо уставившись вдаль, вороны. Как тут поверишь, что в один прекрасный день и эти деревья, и все сады окрест оденутся зеленью, и зацветут розы, и поспеет абрикос... Ованесага поискал глазами абрикосовое дерево, у плодов которого сладкие-сладкие корточки.

Вот оно, любимое дерево Амбарцума. Амбарцум очень любил абрикосы... Интересно, что он там написал, чего ему надо, по абрикосам со сладкими косточками, что ли, соскучился?

- Прочел? - услыхал Ованес-ага вопрос матери.

- Сейчас, - смиренно, как человек, покорный судьбе, сказал Ованес-ага и распечатал конверт.

Подпись под письмом стояла не Амбарцума-аги, а его незнакомой жены ("Остаюсь ваша скорбящая Ноэмик"). Госпожа Ноэмик "с бесконечной горечью" извещала Ованеса-агу о смерти его "злосчастного" старшего брата, последовавшей в первый день нового года по причине банкротства, ибо первого января Амбарцум-ага проснулся бы совершенно нищим, и о том, что теперь сама Ноэмик, ее сын Левоник, двадцати лет от роду, и шестнадцатилетняя Нвардик остались без всякой поддержки и попечения... "Потому во имя всемогущего Бога прошу вас: или велите мне с детьми приехать под ваше покровительство, или назначьте какое возможно ежемесячное содержание, до тех пор пока я не выдам Нвардик замуж и не сделаю Левоника доктором".

- Машалла (*)... - прошептал Ованес-ага.

_____

(*) Здесь: Господи (араб.).

_____

- Случилось что? - встревожилась мать.

Ованес-ага не ответил и стал читать дальше; он чувствовал, что лицо у него горит.

"...кончаю это горестное письмо. Сердечные приветы Србуи-ханум, господину Геворгу, Мхитару-эфенди и вашему достойному семейству. Простите великодушно за беспокойство. Остаюсь ваша скорбящая Ноэмик".

Ованес-ага вздохнул и сглотнул набрякший в горле комок. Шутка ли, старший брат умер, плакать не стыдно, нет, стыдно не плакать. Но с другой стороны... с другой стороны, разве это по-людски - уйти из жизни и оставить семью без

куска хлеба? Коли в кармане у тебя ветер свистит, не женись, женился - не заводи ребенка, не говоря уж о двух. А теперь что ж получается - радуйся, Ованес-ага, шли денежки из Вана в Стамбул, покамест Нвардик не выйдет замуж, а Левоник не выучится на доктора. Дожили, нечего сказать, все с ног на голову стало - деньгам надо бы течь из Стамбула в Ван, а тут наоборот. Уволь, братец, ты как хочешь, но закона такого нет...

Ованес-ага поежился от внезапной дрожи.

- Затопи-ка печь, Сатеник, мне что-то холодно.

- Я, старуха, и то не зябну, - удивилась мать, - а ты озяб... Что в письме-то?

Ованес-ага собрался вложить письмо в конверт, как вдруг обнаружил там сложенный вчетверо листок бумаги. Он вынул его, развернул и узнал руку брата. В верхнем углу листа вдова Ноэмик уведомляла: "Покойный написал свое первое и последнее письмо 31 декабря в несерьезном расположении духа и не смог закон..." Как видно, и сама Ноэмик отчего-то не смогла закончить фразу.

- Так что там написано?

- Погоди, матушка, еще не дочитал.

Ованес-ага начал читать, вернее сказать, приступил к труду чтения, труду довольно-таки непростому; госпожа Ноэмик не погрешила против истины, утверждая, что покойный ее муж писал эти строки в несерьезном расположении духа.

"Вспоившая меня молоком дражайшая матушка, мои благородные братья, Ованес, Геворг и Мхитар, мой Ван, город-цветник, город-сад, мои соседи, родственники и знакомцы! Это письмо написал и подписал Амбарцум из рода Мурадханянов, которого наивные люди величали Амбарцумом-агой, меж тем как он был всего лишь обиженным Богом бедолагой Амбо. Амбо прикидывался, у меня-де все распрекрасно, а у самого на душе кошки скребли, и никто этого не раскусил, он горел и сгорал, но никому не пришло в голову плеснуть водицы. Угас твой очаг, Амбо, и никто не кинул щепочки затеплить его сызнова. Сидит Амбо в Стамбуле, и плачется Богу, и зовет на подмогу, ах,

Амбо, стосковался он по ванским цветам, по ландышам да фиалкам, по красным и белым и желтым розам, по касатикам и макам, по первоцветам и горицветам, по сирени и хризантемам, по бессмертникам и нарциссам, по родимой крови и, вы уж не взыщите, по дедовскому семени. Так вот и плачусь Богу и зову на подмогу, ах, стосковался Амбо по абрикосовому дереву со сладкими-сладкими косточками в плодах, по вязким грушам и терпким яблокам, по только что посаженной лозе, по колючему боярышнику и по алыче бабушки хаджи Наны, стосковался Амбо по ванскаму тареху, по процеженному мацуну, по сыру из закопанного в земле кувшина, по острому домашнему творогу, по суджуху и кавурме, по материнской арисе Амбо стосковался и по жареной тыкве; Господи, по чему только он не стосковался! Ах, пропади оно все пропадом: и Стамбул, и твое жилье и житье аляфранка - с изнанки навоз, снаружи католикос, - все эти кабаки, и срамные дома, и звери-людоеды, которые человечину сожрут, а кровушкой запьют; был Амбарцум-ага, а стал прах земной. Стыд-то какой, какой стыд!.. Прощайте же, Ванское море и Варагский монастырь, прощайте, Мгеровы врата, Араруцкий майдан, прощай, Ван, ни ты меня больше не увидишь, ни я тебя, прощайте, шумливые речки и студеные родники; на моих нечестивых губах..."

На этом письмо обрывалось. Ованесу-аге захотелось подняться к себе, запереться, обмозговать что и как, дать волю слезам, выплакаться и прочесть все заново, исследуя каждую буковку. Что-то вроде сомнения змеей шевельнулось у него в душе.

- Прочел, сынок? Что пишет?

- Ничего особенного, матушка, - ответил Ованес-ага, с немыслимым трудом изображая безразличие. - По Вану стосковался, по твоей арисе, по Вараг-горе... Почем мне знать...

- По родным краям заскучал, чужбина она и есть чужбина, - утерла слезу мать.

- Напиши, пускай приедет.

- Напишу, - сдавленным голосом сказал Ованес-ага и поспешил из комнаты. Поднялся к себе, подсел к железной печи и подержал замерзшие пальцы над

углями, припорошенными пеплом, словно снежком. "У кахмахского дерева пепел всегда белый", - подумал он и удивился собственным мыслям. Точно ничего не случилось.

Он вынул из кармана письмо брата и снова, на сей раз куда внимательнее, принялся читать его. Трезвый ум и чутье торговца подсказывали ему, что оно, это письмо, написано отнюдь не банкротом; если здесь и пахнет банкротством, то вовсе не финансовым. Кому бы его показать, с кем посоветоваться, чтобы прийти к твердому заключению? Он перебрал в уме всех своих знакомых.

Месяца два назад приехал к ним в город из Полиса молодой юрист Грант Галикян. Надо бы его отыскать. Живет он, помнится, на проспекте, ведущем от Хач-Похана к майдану, по эту сторону от французского консульства и по ту сторону от библиотеки "Свет свободы". Нынче воскресенье, может быть, он и дома.

- Сатен! - крикнул Ованес-ага, приоткрыв дверь и тут же ее закрыв, уверенный, что его оклик не останется гласом вопиющего в пустыне. Так оно и вышло. Через две минуты дверь отворилась, и в комнате показалась Сатеник.

- Принеси мне одеться.

- Что принести?

- Выходной костюм, - и, поколебавшись, поправился: - Да нет, будничный.

И с помощью жены Ованес-ага начал одеваться.

- Брат что пишет?

У Ованеса-аги мелькнула мысль рассказать жене о двух выбивших его из колеи письмах, однако... однако он кинул взгляд на узкие красные ее губы и пришел к выводу, что тайну она не сохранит, мать все узнает... а вот это уж лишнее, матери покамест незачем знать о смерти Амбарцума.

- Яваш-яваш, потихоньку-полегоньку, - вслух подумал Ованес-ага, рассматривая себя в настенное зеркало.

- Как это - потихоньку-полегоньку? - спросила Сатеник, проворно застегивая черные пуговицы на мужнином жилете.

- Все потихоньку, все полегоньку, - недовольно ответил Ованес-ага.

- Ладно, не серчай. Часы дать?

- Не надо.

- Четки?

- Давай. А теперь скажи "счастливо!".

- Куда идешь-то?

Ованес-ага положил конверт в карман.

- Тысячу раз говорено: мужчину не спрашивают, куда он идет.

- Калоши наденешь?

- Давай.

При самоотверженной помощи Сатеник Ованес-ага обул ноги в калоши, по обыкновению слегка щелкнул жену пальцем по носу и постарался выскользнуть из дому, не встречаясь с матерью.

2

...Никто бы не выдержал на месте Србуи, это уж как пить дать, железо расплавилось бы, камень - раскрошился в песок, собака - околела. Четверо сыновей. Четверо сыновей, настоящие мужчины. Успокой, Господи, душу Мурадхана, будто знал он, как оно обернется, вовремя покинул этот мир, расквитался с ним. Да будет тебе земля пухом, Мурадхан... Не увидал ты сыновнего раздела; Амбарцум взял свою долю и укатил в Полис, Геворг утопил свою в вине да водке, Ованес пошел по торговой части, что ни год, богател, Мхо... бедный Мхо, невинный, безобидный, уехал в деревню, привязался к полям и ручьям и, осев там, стал основой и опорой городского дома. Что творится в Ованесовом магазине, много ли у Ованеса золота, сколько он огребает, сколько теряет - все это для Србуи темный лес, зато в деревенских делах ей ведомы любые мелочи: она знает, что на каком поле уродилось, сколько молока дают коровы и сколько шерсти - овцы; как зовутся поля, и то она знает: Корозако, Хмук, Камут... Собственными глазами видела она эти поля.

Србуи-хатун как сейчас помнит день, когда Мхо с работником, айсором Ормзом, отправил в город одного из лучших своих коней, - хатун пожелала съездить в деревню. Рано утром Ормз провел коня по улице, остановил у каменной ступы и стал дожидаться появления старой хозяйки. К седлу была приторочена переметная сума. Вместе с матерью вышел и Ованес-ага. Он ласково потрепал мать по плечу.

- Так-то, значит, матушка, до моего магазина ни разу не прошлась, а к Мхитару на лошади готова трястись.

- Ничего, сынок, как вернусь, и к тебе схожу.

Ованес-ага, несмотря на свою дородность, поднял мать и поставил на ступу; коня подвели поближе.

Србуи-хатун закинула ногу и легко опустилась в мягкое седло. Ормз, держа коня под уздцы, шагнул вперед.

- Эй, Ормз! - окликнул его Ованес-ага. - Смотри в оба, не дай Бог что случится...

- Моя голова случится, с хатун никак не случится, - на ломаном армянском уверил айсор, и они тронулись в путь.

Ованес-ага провожал их глазами до тех пор, пока они не свернули к Хамуркасанову роднику.

Так - Ормз впереди, Србуи-хатун на коне следом - они миновали терлемезяновское и гондакчяновское подворья и, оставив за спиной Кандрчи, вышли в слободу, застроенную новыми домами с молодыми деревцами вокруг, пересекли ее, и лишь после этого Ван остался позади.

- Там дерэвна Алюр, - объяснял по дороге Ормз. - Хороший дерэвна, большой дерэвна, поп один глаз слепой, хатун, поп хромой...

- Да ну? - удивилась Србуи-хатун.

- Так поедешь, хатун, много не поедешь, мало поедешь - святого Григора святой монастырь. Там ключ. Холодный стена зовут, студеный вода, сладкий вода... арбуз опустишь вода, арбуз треснет... Два барана съешь, ковш вода выпьешь, опять голодный!

- Да ну?! - снова удивилась Србуи-хатун.

Она бывала в Варагском и Красном монастырях, а вот монастыря святого Григора ей видеть не привелось. И она твердо решила: на обратном пути... а почему, собственно, на обратном?

- Ормз!

- Слушаю, хатун.

- Поехали к святому Григору.

- Поехали, хатун, что ж не поехать?

Ормз повернул вспять, развернул коня и двумя пальцами поправил широкие, обвислые пепельные усы.

Он зашагал к югу по каменистой лощине, которая карабкалась на небольшой взгорок и пропадала из виду в ивовой рощице.

На поверку рощица оказалась одним-единственным исполинским деревом, давшим несколько мощных побегов - несколько новых, устремленных ввысь ив; два побега тянулись не вверх, а вбок, по-над землей, от них в свой черед отпочковались и пошли в рост толстоствольные ивы с молодыми ветвями; что же до самого дерева, то в его неохватном стволе - этом прямо-таки несказанном богатстве - зияло дупло, где преспокойно уместилось бы двадцать овец.

- Двадцать овца, - настаивал Ормз.

Тихо и неслышно бил из-под земли знаменитый ключ, прозванный Холодной стеной, а за рощицей высился, вернее сказать, сутулился монастырь святого Григора. Когда-то здесь жили братия, игумен, служки, паслись окрест монастырские стадо и отара, ломились от добра кладовые, но настал достопамятный девяносто шестой, турки разорили обитель, зарезали на самом ее пороге настоятеля, разграбили золото и серебро... И, словно чуя горькую свою судьбину, осел на маленьком взгорке, преклонил ч скорби колени монастырь святого Григора.

Ормз пособил Србуи-хатун спешиться, и она доковыляла на онемелых ногах до дверей обители, поцеловала гладкой тески камень в стене, помянула

покойного мужа Мурадхана, пожелал ему царствия небесного, потом вспомнила четверых сыновей - Амбарцума и Ованеса, Геворга и Мхитара, помолилась за их удачи и здоровье, подошла к роднику и, присев, умылась ледяной водой.

- Дай-ка сюда айбу, Ормз.

- Да, хатун.

Он отвязал переметную суму, или айбу, и положил к ногам Србуи-хатун. Србуи-хатун достала оттуда похинд, вареные яйца? сыр, посыпанный красным перцем, белый лаваш, мяту, тархун. Принялись за еду.

- Выпьешь стаканчик? - спросила Србуи-хатун Ормза. Предлагая выпить, она вовсе не выполняла долг вежливости, потому, как и на самом деле прихватила с собой бутыль водки.

- Зачем, хатун, этот сладкий вода бросить, водка пить?.. - Ормз тоже отказывался отнюдь не из вежливости, он и впрямь не был охоч до выпивки.

...Они собрались продолжить прерванный путь. Ормз подвел коня к валявшемуся у монастырской стены крупному камню И помог Сбруи-хатун взобраться на него, она высоко задрала правую ногу и уселась в мягкое седло; взяв коня под уздцы, Ормз зашагал по тропе, теперь уже спускавшейся вниз и вниз, и вскорости они очутились на большаке. Дорога долго тянулась по равнине, но вот начался подъем, и Ормз затянул песню. Сперва Србуи показалось, что поет он по-армянски, вслушалась - нету вроде бы по-курдски.

- Какую песню поешь, Ормз?

- Какой ни вспомнится, хатун, армянский, курдский...

- Спой свою.

- Нету ни одной, хатун, у айсоров песня нету, не осталось... - и провел зажатой в руке уздечкой по пепельным усам.

"Неужто плачет?" - подумала Србуи.

Они приближались к селу; уже показались возвращавшиеся с выпасов стада и отары, послышалось блеянье овец, глухое мычание коров, выклики людей.

Село было взбудоражено, все от мала до велика знали - сегодня приезжает старая госпожа. И вот с пригорка, что прямо за околицей, торжественно спускается Ормз, ведя под уздцы коня, на котором сидит госпожа в зеленой язме и черных начищенных мужских ботинках.

Первым подоспел навстречу Мхо, младший сын старой госпожи; он обнял мать и, подхватив, поставил на землю, та поцеловала сына в лоб; тут же явился священник-айсор Каша с лавашом в сите и солью в черепке от разбитого кувшина. Старая госпожа смутилась, не зная, как быть с хлебом-солью, но, вовремя сообразив, что айсоры такие же христиане, приложилась губами к руке священника. Следом подошли деревенские старейшины, все как один айсоры, и поочередно поцеловали старой госпоже руку. В почтительном отдалении толпились мужики помоложе, бабы, девушки и дети, во все глаза наблюдая за торжественной встречей. Иные женщины прослезились от волнения и теперь краешком головных платков утирали лицо.

Три с лишком недели пробыла Србуи-хатун в селе и за это время сполна разобралась в простых, а подчас и сложных тайнах большого деревенского хозяйства, внесла даже кое-какие поправки в установленный Мхитаром порядок ведения дел и... полюбила село. Отчего бы, собственно, и не полюбить? Она глядела на поля, и ей вспоминались доверху наполненные белой мукой лари в ее городском доме и белый же лаваш на столе; глядела на коров и овец, и ей вспоминался погреб в городском доме, битком набитый топленым маслом, сыром, мясом.

- Основа и опора городу - это и есть село, - что ни день, бормотала она, - и не будь Мхо, мы пропадем...

... Верно, жила матушка Србуи в достатке, но каких только напастей не выпадало на ее долю! И вот новая печаль - неможется Амбарцуму на чужбине, стосковался он по Вану, по материнским разносолам.

- Надо бы письмо ему написать, так и так, сказать, собирайся, сынок, и приезжай. - Она отодвинула каменную плиту, служившую крышкой для тонира, и принялась один за другим извлекать почернелые, закопченные

горшки, дотошно проверяя кушанья - готовы ли? Все было в порядке, только в соусе с айвой недоставало соли. Теперь надо дать еде потомиться. Она опустила горшки в тонир.

Горшки томились в горячей золе на самом донце тонира, а кухня тем временем полнилась аппетитными ароматами.

Куда его понесло, непутевого, когда воротится да пообедает?

3

Ованес-ага быстро прошагал по своей улице, вышел на улицу Санди и замедлил ход. По обе стороны стояли двухэтажные дома с плоскими кровлями, и мужчины с утра пораньше очищали их, широкими деревянными лопатами сваливая снег прямо в проход, и без того узкую улочку заполнила гряда снежных холмов, и прохожим, спешащим навстречу друг другу, недолго было и столкнуться. Миновав дом Срвандзтянов, он вышел на Хач-Похан.

Остановившись на площади, Ованес-ага огляделся. Несколько магазинов, пекарня, двуколки в ряд, облетевшие ивы. Мясник Мисак, которого все запросто называли Мисо, тащил за рога на бойню черного, со смертным ужасом в глазах козла; козел блеял что было мочи.

- Не нашел в воскресенье другого дела? - добродушно упрекнул мясника Ованес-ага.

- Ованес-ага, дорогой, ты по воскресеньям скоромного не ешь? - оправдываясь, на ходу бросил тот и потащил по снегу обреченную животину. Бойня была поблизости.

В какую-то минуту Ованес-ага забыл, чего ради, вместо того чтобы, сидя дома, покуривать наргиле, оказался на площади; он рассеянно озирался по сторонам, смотрел на прохожих; вот, заметил он, из бойни выглянул Мисак и, поспешно спустившись на площадь, заторопился к нему.

- Ованес-ага, дорогой...

- Что такое? - встревоженно спросил он.

- Скажи брату, пускай должок отдаст, мяса он у меня взял на четыре меджидие.

- Что еще за брат? - не повышая голоса, сказал Ованес-ага, однако лоб у него покрылся испариной.

- Господин Геворг.

Ованес-ага подошел к мяснику вплотную и каким-то сдавленным голосом прошептал:

- Слушай, я у тебя мясо покупал?

- Нет, Ованес-ага, нет...

- Так какого же черта тебе от меня надо? - сказал он и зашагал прочь, к Цитадели, к рынку. - Мясо... четыре меджидие... брат... - бормотал он по дороге. - Лучше бы он умер, лучше бы не родился... Умер?

И он вспомнил про Амбарцумову смерть, вспомнил, зачем вышел на этот холод из дому, нащупал в кармане письмо и повернул обратно. С перекрестья четырех улиц надо было пойти по направлению к майдану и отыскать дом Галикянов, находившийся по ту сторону от библиотеки "Свет свободы" и по эту сторону от французского консульства... Он двинулся по широкой улице, ведущей к храму.

Отдавай, Ованес-ага, все отдавай: отдавай свои кровные комитету Красных Папах, отдавай отрезы Мхитару, отдавай Геворговы долги, мало этого, шли теперь денежки еще и в Полис, Ноэмик-ханум, чтобы Нвардик вышла замуж, а Левоник стал доктором! Раскошеливайся, Ованес-ага, из любви ли к нации, из любви ли к братьям... раскошеливайся!

- Да пропади она пропадом... - он недоговорил; как ни крути, а сказать: пропади она пропадом, эта нация! - все равно что отречься от своего народа; и как, каким проклятьем проклинать Амбарцума, отдавшего Богу душу вдалеке от родимых мест; и велик ли убыток, ежели раз в год одаришь Мхитара несколькими аршинами дешевого ситца; что до Геворга...

- Пропади он пропадом, этот Геворг! - в сердцах вырвалось у Ованеса-аги.

Последнее время по городу ходила какая-то мрачная молва о Геворге Мурадханяне, толки, один другого чудовищнее, дошли и до Ованеса-аги. С

быстротой молнии облетел Ван и до глубины души взволновал людей слух об ограблении Ахтамарской обители, об убийстве местоблюстителя патриаршего престола и его секретаря; в разговорах о злодеях склонялось и имя бывшего учителя Геворга Мурадханяна. Ованес-ага чувствовал на себе некую железную руку, железными пальцами сжимавшую его сердце: убийца, разоритель монастыря - из мурадханяновского дома. Чуть позже до Ованеса-аги дошли пересуды о том, что Геворг теперь толстосум; уж не брат ли его озолотил? Почему бы и нет? Только если это и впрямь так, то брат дал маху: Геворг днями напролет пьет в казино, угощает проходимцев и прощелыг, разъезжает в коляске, кружит по улицам Айгестана, сорит деньгами, в церкви святого Знамения, что на Вараге, швырнул на праздник в блюдо для пожертвований пять золотых - для вящего процветания храма Божьего. Ночей небось не спит, думает о его процветании...

- Ованес-ага, откуда у Геворга столько денег? Неужто ты дал?.. -

Поди-ка ответь. Скажешь: да, я - люди сочтут тебя дураком. Скажешь: дурак я, что ли, давать деньги этому гуляке - сказать-то, конечно, можно - и люди, тоже ведь не дураки, тотчас сообразят: ага, ясно, Ахтамар ограблен, игумен убит, тьфу, стало быть, вор, тьфу, наемный убийца, тьфу...

- Да провались он сквозь землю, хватит мне из-за него перед людьми краснеть! - пробормотал Ованес-ага, достал из карман алый носовой платок и вытер вспотевший лоб.

В двух шагах от него возле двухэтажного дома остановился молодой человек, поднял дверной молоточек и дважды ударил Дверной этот молоточек совсем не походил на те, какими пользовались чуть ли не во всех ванских домах; он представлял собой металлический шарик в металлической руке с металлическими пальцами, который ударял по прикрепленной к двери плоской железке. Обычные молоточки вызывали резкий и глухой звук; от удара этого раздалось мягкое звяканье... Наметанным своим глазом Ованес-ага приметил, что у незнакомца пальто на велико лепном черном шелку и безукоризненной формы феска.

- Прошу прощения, молодой человек, - заговорил Ованес-ага. - Где здесь дом Галикянов? Молодой человек улыбнулся.

- Как только дверь откроется, мы войдем в дом Галикянов. Дверь отворилась, и они вместе вошли.

- Милости просим! - воскликнула открывшая им хозяйка, узнав неожиданного гостя. - Добро пожаловать, Ованесага, какими судьбами?

- Дела, сестрица, дела, - отвечал польщенный Ованес-ага.

- Вы знакомы? - спросил молодой человек.

- Ван один, и Ованес-ага Мурадханян один. Кто же его не знает? Пожалуйте, пожалуйте... ты к Гранту, Ованес-ага?

- Да, - вздохнул гость.

Они поднялись на второй этаж по окрашенной в красный цвет деревянной лестнице. "Нашу лестницу тоже не мешало бы выкрасить, - пронеслось в голове у Ованеса-аги. - Этот молодой человек и есть юрист Грант Галикян, - решил он. - Сын ювелира Серо".

Хозяйка прошла вперед и взялась за ручку остекленной двери на пружинах. Раз - дверь отворилась, и они прошли в комнату. Раз - и дверь за ними затворилась. "Да у них тут все аляфранка, - подумал Ованес-ага. - Ита бах!"

Это "Ита бах!", что означает "Вот сукин сын!", не было ни ругательством, ни выражением злости или презрения, скорее оно несло в себе восхищение: надо же, человеком стал, позавидуешь!

- Вы тут побеседуйте, а я посмотрю за обедом. Приготовить джлбур, Грант?

- А что это такое, мама?

- Господи, сынок, ты и джлбур забыл? Тархун, масло, яйца, вода, вот тебе и джлбур. Ты-то, Ованес-ага, знаешь, что это? Ованес-ага выдавил из себя улыбку.

- Смеешься надо мной, почтенная?

Хозяйка и впрямь рассмеялась, и вышла.

Ованес-ага огляделся. Прямо перед ним на стене висело большое зеркало, а над ним - чучело раскинувшего крылья орла с яростными, словно живыми

глазами. На другой стене - портреты Португаляна, Хримяна, Мартика и еще одна, вытянутая в длину картина: море, спокойное лазурное море, а на берегу - изумительной красоты дома, дворцы, мечети. "Это что, Ван? - подумал Ованес-ага. - Да нет, голубчик, в Ване таких домов не увидишь..." Перехватив пристальный взгляд гостя, господин Грант Галикян поспешил ему на помощь.

- Это Полис.

- Ах, Стамбул, вот оно что! - Ованес-ага восхищенно улыбнулся, но улыбка тут же исчезла с его лица: он вспомнил брата Амбарцума, нашарил в кармане письмо и хотел было приступить к делу, однако на глаза ему попался еще один, в коричневой рамке портрет; что это за человек, не мирянин и не священник...

- Карл Маркс, - снова пришел ему на помощь господин Грант Галикян.

- Не слыхал про него. Герой?

- Герой, великий герой, - не захотел распространяться хозяин. - Да вы снимите пальто, Ованес-ага, потом простудитесь. Они пересели за круглый стол, покрытый белой скатертью.

- Чем могу служить? Позвольте, позвольте, Мурадханян... В Полисе есть коммерсант родом из Вана, по фамилии Мурадханян. Имени не припомню...

- Амбарцум.

- Совершенно верно, Амбарцум!

- Он мой брат. Как у него дела, все удачно?

- Удачливее, чем он, среди ванцев нет никого... Пригласил меня однажды на обед, жаловался...

- Ты был у него дома?

- Нет, мы обедали в ресторане Токатляна. Щедрый, красивый человек... Пользуется у деловых людей большим доверием.

- А на что жаловался?

- Я к этому и клоню. Женою он не доволен, корыстолюбивая, говорит, деспотичная ... Амбарцум питает некоторую слабость к прекрасному полу.

- Будь добр, объясни,

- Видите ли, Ованес-ага, Полис не то что Ван - идешь по улице, а незнакомые женщины и девушки тебе на шею вешаются.

- Почему?

- Заработать хотят, - улыбнулся господин Грант Галикян.

- Да-а! - воскликнул Ованес-ага, поняв наконец, о чем речь. - Амбарцум с ними путался?

- Путался, Ованес-ага, был такой грех. В публичные дома захаживал, на панели цеплял. Всем полисским ванцам это известно.

Ованес-ага вынул из кармана конверт и протянул господину Гранту; рука у него подрагивала.

- Прочти, ты ведь юрист, - сдавленным голосом сказал он. - Прочти, разберись, что тут и как.

Господин Грант Галикян взял конверт, вынул из него письме! и погрузился в чтение.

- Такие, значит, дела, - раздумчиво промолвил симпатичный юрист, дважды перечтя письма. - Такие дела, - повторил он, складывая их.

- Ну? - спросил Ованес-ага, что означало: каковы твои выводы?

- Напишите Ноэмик, пусть берет детей и приезжает к вам, - сказал юрист, протягивая ему конверт.

- Ты шутишь?

- Какие там шутки? Пишите, пусть приезжают.

- И что потом?

- Не беспокойтесь, Ованес-ага. Заполучив состояние Амбарцума Мурадханяна, коренная константинополькая госпожа Ноэмик не променяет столицу на Ван.

- Она ведь пишет, брат обанкротился...

- Лжет.

- Для чего?

- А вот для чего. Покойный едва ли меня обманывал, госпожа Ноэмик и вправду весьма своекорыстна, это, во-первых. А во-вторых, вдруг вы

надумаете ехать в Полис и притязать на наследство. Да и что она потеряет, если будет ежемесячно получать от вас некую сумму? Ничего не потеряет, напротив, приобретет... Ованес-ага, - продолжал юрист, - на первый взгляд дело проще простого: человек обанкротился и умер от разрыва сердца или же покончил с собой, оставив жену и детей без куска хлеба. ак ведь? Но присмотритесь, - он взял конверт и извлек из него письмо, - покойный ни словом не обмолвился о материальных затруднениях; затруднения у него есть, серьезные затруднения, однако не материальные, а скорее нравственные... Эти стоны, эти приступы тоски вызваны не финансовыми неурядицами. Письмо написано на листке бумаги, но чем же оно кончается? Неизвестно. Я не сомневаюсь, он указал, как именно следует распорядиться его состоянием. Опять-таки не сомневаюсь, что это состояние завещано не только его семье... Покойный был очень богат, и невозможно представить, чтобы он не вспомнил о своих близких в Ване. Как говорят французы...

- Мне его богатства не надо, господин Грант, - жалостным голосом прервал юриста Ованес-ага, мысленно изумляясь его уму. - Со всем, о чем ты говорил, я согласен, у тебя светлая голова, машалла. Растолкуй мне еще, от чего он умер?

- Ованес-ага... - господин Грант на минуту смешался, вперив взгляд в свисавшую с потолка большую лампу под голубым абажуром. - Не знай я вашего брата, не ведай, что думают об этом полисские ванцы, мне бы не ответить на ваш вопрос. Однако... - он опять помолчал. - Однако, поскольку я был с ним знаком, могу уверенно утверждать, что он заразился дурной болезнью.

- Какой болезнью? - перешел на шепот Ованес-ага.

- Дурной, очень дурной.

- Как она называется, эта болезнь? Холера, или проказа, или, может, еще что? - начал выходить из себя несчастный.

- Нет, Ованес-ага, нет. Еще хуже.

Дабы внести наконец ясность, Ованес-ага спросил:

- Господин Грант, дорогой ты мой, скажи напрямую - что это за напасть, где у человека болит и есть ли такая хворь в Ване?

Юрист быстро-быстро замигал - верный признак того, что он растерян.

- Ованес-ага, - понизил он голос, - ее называют французской болезнью, должно быть, она пришла из Франции; она плохо поддается лечению и... ну, словом, постыдная болезнь.

Воцарилось молчание.

- Не пойму, и все тут, - словно из другого мира донесся голос Ованеса-аги.

Юрист снова замигал.

- Ованес-ага, ваш брат имел преступную связь с уличной женщиной, заразился и заболел...

По выражению лица своего гостя господин Грант догадался, что на сей раз один брат понял-таки, чем страдал другой брат.

Ованес-ага сжался, точно стал тщедушнее и меньше ростом, и чтобы хоть что-то сказать, промолвил:

- Можно подумать, в Стамбуле врачей нет...

- Почему же нет? Успешно ли, безуспешно ли, эту болезнь лечат, но ваш брат не пожелал ходить по докторам или ложиться в клинику - вдруг его увидит знакомый ванец. Болезнь-то постыдная, позорная, а ваш брат, хоть и жил беспутно, был честолюбив и самолюбив. Предпочел покончить с собой...

Ованес-ага оперся обеими руками о стол, встал на ноги и снова сел.

- Как же мне быть? - прошептал он. Было непонятно, к кому он обращался - к юристу или к самому себе. Ответил юрист:

- Иного выхода нет, надо примириться с несчастьем. Молчание нарушила хозяйка дома:

- Вставайте, перейдем в столовую. Обед готов. Ованес-ага тут же поднялся и взялся за пальто.

- Вы уж меня простите, я пойду. Большое спасибо, господин Грант...

- Словами сыт не будешь, - вмешалась хозяйка, стараясь отобрать у Ованеса-аги пальто. - Я тебя не пущу...

- Благодарствуй, почтенная, мне пора, дома небось заждались.

- Пожалеешь, Ованес-ага, у меня и рыба, и тан, и джлбур, и плов, и вино от Шахбаза... - Ованес-ага остался непреклонным.

- Благодарствуйте, в другой раз... И вы к нам заходите. Хозяйка уступила:

- Так добрые люди не поступают, Ованес-ага. Вернется Серо, пожалуюсь на тебя.

- А где он?

- По воскресеньям у него собрание, - посетовала хозяйка, но на лице ее была гордость. Она пошла вниз, чтобы отворить гостю входную дверь.

- Господин Грант, прошу тебя, отцу и матери пока что ничего не говори.

Господин Грант улыбнулся:

- Смело доверяйтесь юристу и священнику.

- Благодарствуй.

Хозяйка дома настежь распахнула дверь.

- Ну и кому же хуже, тебе или мне? - все еще не успокаивалась она. - Так и не отведал моего джлбура. Моего джлбура мертвец отведает - воскреснет.

- Как умру, приду поем... Хозяину привет! Заходите к нам.

Хозяйка обождала, пока Ованес-ага отойдет подальше, и только тогда закрыла дверь. Желанный гость не должен слышать, как за ним хлопают дверью. Зато неприятный гость еще и порога не переступит, а дверь за ним уже громыхнула.

Спустившись на Хач-Похан, Ованес-ага кинул враждебный взгляд в сторону Мисаковой бойни и зашагал к дому. По дороге он не встретился ни с кем из достойных внимания, если не считать почтового служащего Ваана Чапуджяна, который еще издали приметил Ованеса-агу и закашлялся, кашель его казался искусственным, деланным. Откашлявшись, он подошел и очень вежливо поздоровался:

- Мое почтение, Аханес-ага.

- Здравствуй, - сказал Ованес-ага, не замечая протянутой Вааном руки.

- Как живешь-можешь. Аханес-ага?

- Жив-здоров.

- Главное - здоровье, остальное пустяки. От Амбарцума-аги письма есть, у него все в порядке?

- Сегодня письмо получил. Здоров, на дела не жалуется.

- Вот как? - удивился почтовый служащий. - Сегодня получил? Все, значит, хорошо?

Ованес-ага прямо взглянул в эти бесстыжие глаза: будь у него в руке палка, непременно хватил бы почтовика по башке. "Что у тебя на душе, собачий ты сын, говори же!"

Чутьем угадав настроение собеседника, почтовый служащий счел за благо подобру-поздорову унести ноги; он нахлобучил феску на лоб и исчез. Не приходилось сомневаться, что весть о трагедии брата проникла в Ван, скорее всего, через письма из Полиса. Не приходилось также сомневаться, что эти письма прочитывались на почте и что один из тех, кто их читал, - именно Чапуджян Ваан, который при всякой встрече не упускает случая порасспросить Ованеса-агу о житье-бытье, как, например, сегодня. Причем вопросы он иной раз задает донельзя глупые; к примеру, выходя однажды из церкви, он пробрался к нему, поздоровался за руку и ляпнул:

- Вот что я тебе скажу, Ованес-ага: когда гости стучатся в дверь с улицы и поднимаются в дом, это еще куда ни шло, но вот когда они стучат в садовую калитку и прут внутрь через нее, то хуже этого ничего нет. Ованес-ага, ходят к тебе гости через садовую калитку?

Дурацкий вопрос. Можно обойти весь Ван садами, большинство садов не отделено один от другого стеной или же отделено низенькой изгородью, однако с какой стати уважаемый гость пойдет не улицей, а садом? Идиотский вопрос.

Бог весть сколько еще времени Ованес-ага занимал бы свой мозг этими равно абстрактными и бытовыми проблемами, не пройди мимо него рядом со старухой, по-видимому матерью" женщина в белой изящной накидке и не направь она его мысли в прежнее русло; женщина взглянула на Ованеса-агу черными горящими, как уголья, глазами и, суда по глазам, улыбнулась. Сердце

у Ованеса-аги трепыхнулось, и он вспомнил Амбарцума, злосчастного своего брата. "Полис не то что Ван, - тут же пришли ему на ум слова юриста, - идешь по улице, а незнакомые женщины и девушки тебе на шею вешаются..."

А я-то себя как бы повел, подумал он внезапно, возьми эта женщина с красивыми глазами в белой накидке и кинься мне на шею? Оттолкнул бы ее и закричал: "Прочь отсюда, срамница, прочь!" или размяк, точь-в-точь Амбарцум, и повернул бы за нею? Ованес-ага ускорил шаги с очевидным желанием избавиться от досаждавших ему мыслей. Он чувствовал, что вряд ли осмелился бы накричать на эту женщину в белой накидке, если б...

Если бы с понурой ветви одной из ив прямехонько на темя Ованеса-аги не плюхнулся комок смерзшегося снега величиною с пятикурушевую монету и не заставил его оглядеться, Ованес-ага и не заметил бы, что находится на своей улице и что до дома рукой подать. Он глубоко вздохнул, шагнул к двери и дважды - бум! бум! - стукнул по ней колотушкой. Так, выдерживая паузу между двумя ударами, стучал только он, и домочадцы знали, что пожаловал не кто иной, как сам глава семьи Ованес-ага.

Открыла ему дочка; Лия распахнула дверь шире, чем нужно, и, дожидаясь, покуда отец войдет, придерживала ее с уважительной улыбкой. Ованес-ага прошел в переднюю и, сняв феску, водрузил ее по своему обыкновению на голову дочери. Хорошенькой, белокожей, черноглазой и чернобровой Лии красная феска была очень к лицу.

СКАЗАНИЕ СЕДЬМОЕ,
где повествуется о наступившей вслед за беспокойным днем еще более беспокойной ночи и о других происшествиях

1

Отобедав, Ованес-ага прошел в свой убранный алятурка угол, уселся на один из шерстяных тюфячков, разложенных на большом ковре, и устало откинул

голову на мягкую подушку. Сатеник поставила перед ним круглый серебряный поднос с дымящимся наргиле. Ованес-ага взялся за мундштук, укрепленный на коричневом резиновом рукаве, длинном и изогнутом, расправил мундштуком усы, затем сунул его в рот и затянулся. Прозрачная вода в сосуде вспенилась, запузырилась, забулькала, и комната заблагоухала ароматом по-особому, для наргиле, приготовленного табака.

Во входную дверь постучали, причем постучали точно так, как это делал Ованес-ага, - бум! бум! Однако гость перенял только ритм, но отнюдь не суть стука - здесь не было присущей главе семейства самоуверенности, руку стучавшего одолевали робость и сомнения. Это означало, что в материнский дом явился учитель Геворг, более того, это означало, что он навеселе. Только в подпитии он делал попытки стучаться на манер брата, то ли насмехаясь над ним, то ли намекая: я, дескать, тоже имею в этом доме кое-какую власть.

Бум! Бум!

Ованес-ага услышал, что дверь отворили, услышал и голос Геворга:

- Если я не зайду, вы и не поинтересуетесь, жив я еще или умер...

Молчание.

"Видно, мать его одернула: говори, мол, потише, зверь, то бишь Ованес-ага, дома", - подумал Ованес-ага и не ошибся, ибо услыхал, как Геворг негромко возразил:

- Мало ли что. Он человек, и я человек... Все стихло. Мать с Геворгом, должно быть, прошли на кухню, однако и там им придется шептаться, потому как... потому как наверху - зверь. До Ованеса-аги не раз доходило, как говорят о нем посторонние:

- Мурадханян Аханес зверь, а не человек, истинный зверь. Не будь он зверем, разбогател бы так?

Что же получается, всякий богатый человек - зверь? Стало быть, и Гапамаджян, и Терзибашян, и братья Шахбазяны, и Юсяны, и прочие ванские торговцы - все они звери? Хотя, как знать, они-то, может, и вправду звери, но неужто он, Ованес, тоже?

"Собака лает, караван идет", - подумал Ованес-ага, распрямил спину и потянулся к наргиле; буль-буль-буль...

Со стены самоуверенным немигающим взглядом смотрел на него отец в сдвинутой на лоб феске, с широкими обвислыми усами, смотрел так, словно знал обо всем, что приключилось.

"Видишь, отец, что с нами сталось, чего твои сыновья натворили. Ты небось гордился, что у тебя четыре парня, четыре опоры мурадханяновского дома. Ну и что теперь? Амбарцум твой, блудодей, пропал через срамных женщин, - тут Ованесу-аге вспомнилась та черноглазая, в белой накидке, которую бы давеча видел... - Погляди на Геворга, вора и убийцу, на Аханеса погляди, городского зверя - люди зазря не обзовут, на Мхитара, деревенского зверя, - это же, отец, не дом, а звериное логово..." Буль-буль-буль, подтвердило наргиле.

Кто-то поднимается по лестнице; ясное дело, брат, походка мужская, а других мужчин в дому нет. Зачем он идет, чего ему надо, к чему руки тянет? За письмом он идет, вот зачем: снесу, мол, вниз, почитаю матери. Не видать тебе письма как своих ушей.

Дверь открылась. В дверях стоял... Ованес-ага глазам своим не поверил. В дверях стоял Геворг - в новом черном костюме, с черной бабочкой, словно вспорхнувшей с тугого накрахмаленного воротничка, из жилетного кармашка свисала не то золотая, не то позолоченная цепь от часов. Ну а феска... Ованес-ага тут же вспомнил феску юриста Гранта Галикяна. Больше же всего он был поражен коротко стриженной бородкой брата.

- Пальто я оставил внизу, с тем чтобы не задерживать тебя долго. Добрый вечер!

- Мог бы и бороду свою внизу оставить, - уколол Ованес-ага, стараясь в лад учителю говорить сугубо литературно и по-прежнему озирая его с ног до головы.

- До моей бороды тебе дела нет. Я ведь не касаюсь твоих торгашеских усов, и ты оставь в покое мою бороду национального деятеля. Матушка попросила взять у тебя письмо и прочесть ей.

- У меня для тебя письма нет. Господин Геворг понизил голос:

- Если б ты и дал, я бы его матери не прочел.

- Это еще почему? - с насмешливым любопытством спросил Ованес-ага, тотчас обеспокоившись. - Хочешь, возьми почитай, - и он сунул руку в карман, якобы за письмом.

- Не нужно притворяться, ты все равно не дашь мне этого письма, - господин Геворг перешел на шепот. - Я и без того все знаю. Амбарцум отравился, Амбарцума больше нет.

- А причина?

- Дурная, неизлечимая или с трудом излечимая ...

- Кто тебе сказал? - прервал его Ованес-ага.

- Полисские ванцы написали сюда родственникам... Амбарцум оставил крупное состояние, жена нехорошая женщина. Да еще сын и дочка...

Ованес-ага молча протянул брату конверт.

2

Сидя внизу, Србуи-хатун сама не своя дожидалась, чем закончится свидание братьев. Она с ужасом думала о шуме, перебранке, скандале, однако время шло, а сверху не доносилось не то что громких голосов - никаких звуков. В комнате по соседству заплакал маленький - Мурад, мать успокоила его, и он угомонился. Во дворе дети с криками играли в снежки, но вот замолчали и они; видно, перебрались в соседний двор. Установилась мертвая тишина, и эта тишина терзала старухе душу. Пускай братья орут, ругаются, пускай даже поколотят друг друга - только бы не молчали. Говори они обычными своими голосами, она бы их расслышала. Отчего они молчат или, того хуже, шепчутся промеж собой? Почему они шепчутся, о чем шепчутся? Она вспомнила свой сон.

Послышался негромкий кашель Ованеса-аги - и снова тишина. Теперь она уже не сомневалась, что они говорят шепотом. О ком, о чем? Дышать ей мешал ком в горле, из глаз полились слезы. Ее сон!

В дверь постучали. Утирая передником лицо и глаза, Србуи-хатун кинулась во двор.

- Кто там?

- Это я, Србуи-хатун, я...

Повивальная бабка Тарик! Хорошо, что пришла, угадала время. Она торопливо отворила дверь.

- Что это с тобой, хатун, почему плачешь? - прямо в дверях, не переступив порога, спросила повитуха. - С Амбарцумом-агой что-нибудь?

- Амбарцум-ага при чем? - с большим мужеством ответила маленькая старуха.

- Слыхала чего?

- Болтали, будто заболел, - пошла на попятную повитуха, почуяв, что матери неизвестно то, о чем говорит весь Ван.

- Нынче письмо получили, по Вану он стосковался, по моей арисе... Аханес написал ему: приезжай, мол, развей тоску.

- Дай Бог, чтобы приехал, дай-то Бог! - ухватилась за слово повитуха Тарик, и они вошли в дом.

Теперь старухе стало ясно, с Амбарцумом что-то случилось: не будь в сегодняшнем письме ничего особенного, зачем бы Аханесу столько времени с ним мудрить и, не прочитав матери, уносить куда-то. И воротился он как поздно. А Геворг, тот чуть ли не с порога спросил, какие вести от Амбарцума. Она ответила: нынче пришло письмо. "Что пишут?" - спросил Геворг. Она ответила, что пишет сам Амбарцум: так, мол, и так, стосковался по Вану. Геворг помолчал, потом хмыкнул и спросил: "Где оно, это письмо?" - "Где ему быть, - ответила она, - у Аханеса". - "Схожу погляжу", - сказал он и ушел. Ушел и пропал. Ни звука не слыхать, ни шороха. Понятное дело, шепчутся про Амбарцума, понятное дело, с Амбарцумом что-то стряслось. Повитуха Тарик и та прямо с порога: что, мол, с Амбарцумом-агой?

- Тарик.

- Да?

- Не мучай меня. Что слыхала?

- Ничего не слыхала, хатун. - Повитуха поудобней устроилась в кресле-качалке. - Знаешь, хатун, сказывают:

Ах, любимый, ах, желанный...

Заплету я длинные косы,

Вместо пуговиц - небесные звезды,

Вот увидит меня пастух

И захватит у него дух.

Кину я в огонь его палку,

И она запылает ярко.

Как сгорит, я возьму уголек,

Мастер сделает мне перстенек

И серебряный пояс резной

И постелет ковер предо мной.

- Завидую я тебе, Тарик, ни ума у тебя, ни грехов...

- Ну нет, хатун, - раскачиваясь, возразила Тарик. - И не дура я, и не безгрешная... Дай кончить-то...

Повитуха вскочила с кресла, уперла левую руку в бок, а правую подняла над головой и, приплясывая на месте, крикнула в полный голос:

- Шабаш, махлабаш!

В эту минуту наверху скрипнула дверь; потом дверь захлопнулась, и послышался голос Геворга: "Хорошо, хорошо".

- А я думала, дома ни души, - с комическим ужасом схватилась за голову повитуха Тарик. - Господи, вот опозорилась-то! Вошел Геворг и, не взглянув на Тарик, обратился к матери:

- Прочел я письмо, матушка. Амбарцуму чуть-чуть неможется, тоска его снедает, все из-за нее. Я бы на его месте давно к праотцам отправился. Слава Богу еще, столько крепился.

- Где письмо-то? - спросила мать изменившимся голосом.

- Зачем оно тебе? - замялся сын.

- Не обманывайте меня, обманывать грешно, - с надрывом укорила его старуха.

- Я сон видела, нету моего Амбо...

Србуи-хатун говорила правду: две недели тому назад...

Три исполинских тополя стояло в саду Ованеса-аги, прямо у входа, три исполинских тополя с тесно переплетенными ветвями, а четвертый рос немного на отшибе, отдельно от этих трех. Србуи-хатун заглянула в сад взять розу для чая, нарвать зелени для тана и глазам своим не поверила: четвертый тополь, рухнув, лежал поперек сада, словно в ногах у первых трех. "Грешна перед тобой, Господи", - прошептала Србуи-хатун и проснулась. Встала, посмотрела в окно: тополя стоят, где стояли, три исполинских тополя переплели голые свои ветви, а четвертый немного на отшибе, в сторонке от этих трех.

Она снова легла, но заснуть уже не смогла. Не случилось ли чего с Амбарцумом, пронеслось у нее в голове. Пустое, успокоила она себя и вспомнила мать: когда кто-то рассказывал о странном, нелепом сне, та минутку молчала, будто подыскивая подходящее толкование, а потом говорила: "Спал раскрывшись, вот и привиделось невесть что..."

- Не обманывайте меня, обманывать грешно! Нету моего Амбо...

Первой выдала себя повивальная бабка Тарик: заголосила и завыла так, что человеку постороннему почудилось бы, пожалуй, что она-то и есть мать покойника. Господин Геворг оцепенело глядел на Србуи-хатун, которая сидела на ковре и молчала, без единой слезинки, раскачивалась взад-вперед. Очнувшись, он метнулся к лестнице и заспешил наверх - известить брата о том, что произошло. Повитуха Тарик причитала в соответствии с нижеследующим текстом:

- Осиротил ты нас, Амбарцум-ага, наш ненаглядный, и зачем только ты в Стамбул поехал, Амбарцум-ага, говорят, Србуи-хатун, он от дурной болезни помер, а дурная-то болезнь никого другого не нашла, к тебе прицепилась-

прилипла, Амбарцум-ага, ой, Господи, беда какая, беда, Господи... Плачь, матушка, плачь, потому как в другой раз я не приду, ох и беда...

Увлекшись, Тарик не заметила, что Србуи-хатун перестала раскачиваться и словно бы силилась подняться на ноги, но, так и не найдя сил, распласталась с открытыми глазами на ковре.

- Воды, воды! - перепугавшись, крикнула повитуха; в комнату с блестящим медным ковшом в руках вбежала Сатеник, глаза у нее были заплаканные, видно, она уже знала про несчастье. Повитуха побрызгала на лицо Србуи-хатун. Та закрыла глаза. Ее ресницы подрагивали.

Братья уже спустились. Геворг взял ладонь матери, она была теплой. Он подхватил мать на руки.

- Постель, живо!

Сатеник быстренько постелила, и господин Геворг осторожно опустил мать на простыню.

Сцепив пальцы на животе, Ованес-ага глядел то на мать, то на повитуху Тарик, то на родинку над верхней губой жены, то на смешную бородку брата, глядел и внушал себе: нельзя волноваться, волноваться вредно для здоровья...

Наступил зимний вечер. Раскачивались под ветром четыре тополя, три стояли с переплетенными ветвями один подле другого, а четвертый на отшибе, одинокий и сиротливый.

3

Глубокая ночь. Из-за южного склона горы Вараг выкатывается огромная, полная ванская луна и медленно плывет над городом. Грустен зимний Ван, грустен, как сама зима. Летят лунные лучи, обшаривая все закоулки города, примечательные и ничем не примечательные. Один из лучей обнаруживает, что в поздний этот час еще бодрствует Ованес-ага Мурадханян, стоит у обращенного в сад окна.

Ему не спится; когда он разделся и лег, протекший день показался ему ужасным и невыносимо долгим.

- День какой-то нынче длиннющий, - пробурчал он, щекоча усами обнаженную шею жены.

Лунные лучи упали на Айгестан, и луна увидала, что от сада Шалджянов продвигается вперед группа людей. Они шагали по слегка подмерзшему снегу, и их тяжелые сапоги не оставляли следов. Они шагали размеренно и дружно, и замерзший снег поскрипывал под их ногами - скрип, скрип. Сами того не желая, они шагали четко и слаженно, потому что их обуревали одни и те же мысли и одни и те же - достижимые и недостижимые - мечты. Из шалджяновского сада они перешли в мурадханяновский и направились к калитке в ограде. Ованес-ага расслышал доносившиеся из сада мерные звуки и подошел к окну.

На снегу между деревьями чернели человеческие тени. Они приближались к калитке, они приблизились к ней и постучались.

Бум! Бум! Они стучались осторожно, однако решительно.

Ованес-ага тут же вспомнил Ваана Чапуджяна - на церковном подворье тот нес какую-то околесицу насчет гостей, входящих в дом через сад. Вот они, эти гости.

В комнате появилась наскоро одетая Србуи-хатун с черной шалью на голове.

- Сынок, Аханес, стучатся к нам...

- Ты чего поднялась? - рассердился Ованес-ага. - Ступай-ка ложись. Забыла, что с тобой было? Ступай ложись, без тебя управимся.

- Собака, сынок, от хромоты не околеет. Скажи лучше, это армяне или турки?

- Армяне ли, турки ли, открывать все одно надо. Иди к себе, я спущусь отворю, - сказал Ованес-ага и накинул на ночную рубашку пальто.

- Не твое это дело, - воспротивилась мать. - Я сама отворю.

Она с заметным трудом спустилась по лестнице.

Ованес-ага подошел к окну, которое смотрело на восток, в сад. Вот мать приблизилась к калитке и отворила ее; Ованес-ага принялся считать - зашли

шестеро, седьмой, потоптавшись у калитки, перекинулся двумя-тремя словами с матерью и только потом последовал за остальными. Мать заперла калитку, прошла вперед и провела гостей в комнату, убранную по-турецки, пол которой был устлан большим ковром со множеством подушек и подушечек. Один из пришедших чиркнул спичкой и зажег свисавшую с потолка лампу, и лишь когда стало светло, Србуи-хатун заметила, что гости вооружены.

"Комитетчики", - догадалась она.

Покуда гости с радостью людей, угодивших с мороза в теплое местечко, шумно раздевались и снимали с себя оружие, Србуи-хатун поспешила к сыну.

- Комитетчики, Аханес. С пистолетами, револьверами, в папахах, с патронташами крест-накрест. Армяне, по-армянски говорят, только у них другой армянский, не наш. Поняла я, что пробудут они у нас до завтрашней ночи - поедят, попьют, отдохнут и пойдут по своим делам.

- Интересно знать, что у них за дела такие, - с желчью процедил Ованес-ага.

- Комитетчики, разбойники, вот их дела.

- Разбойничьи дела, - пробурчал Ованес-ага.

- Не время болтать попусту, - встревожилась мать. - Надо их накормить. Подыми Сатеник, пускай мне поможет.

- Не хватало еще, чтобы эти псы на Сатеник глазели, - разозлился Ованес-ага.

- Они и не будут глазеть. Пускай она все приготовит, а уж я подам, - успокоила сына мать. - Потише, услышат!

- Что за день, проклятый! И ночь такая же, - вздохнул Ованес-ага, направился к спящей жене и ласково тронул ее за плечо:

- Вставай, Сатеник, вставай, моя хорошая...

4

Когда, по расчетам Ованеса-аги, гости поели, он вошел к ним в комнату. Большинство из них уже отсели от поместительного подноса с едой, один с

превеликим тщанием чистил оружие, другой читал вслух какую-то бумажку, третий его слушал, четвертый расхаживал по комнате.

Войдя, Ованес-ага молча поднес к феске четыре пальца.

- Здравствуй, здравствуй! - вразнобой поприветствовали его гости.

И тут же Ованесу-аге был задан вопрос:

- Ты хозяин дома?

- Он, он хозяин, господин Арам, - подтвердил Ишхан. - Брат Мхитара из села Эрманц. Помнишь?

- Помню, как не помнить, - зычным своим голосом отозвался господин Арам, подкручивая кверху усы. - Замечательный у тебя брат, господин...

- Ованес, - подсказал Ишхан, восхищаясь Арамовым умением прикидываться наивным и несведущим.

- Так вот, господин Ованес, замечательный у тебя брат.

"Мхитара-то они откуда знают? - подумал Ованес-ага. - И почему Мхо ничего про них не рассказывал? Неужто барашка не пожалел этим волкам?"

- Вас четверо братьев? - спросил длинноволосый, длинноусый и безбородый малый, улыбаясь Ованесу-аге улыбкой давнишнего знакомца.

- Было четверо, осталось трое, - ответил Ованес-ага.

- Ах да, верно, в Полисе... Гм, гм...

"Да они нас как облупленных знают, - мелькнуло у Ованеса-аги. - И пускай, чего мне бояться?"

Он достал листок бумаги и протянул длинноволосому:

- Это кто писал?

Листок переходил из рук в руки.

- Ну-с, дал золото? - прежней своей улыбкой улыбнулся длинноволосый, когда все прочли записку и вернули ему.

- Еще чего?! - вскипел Ованес-ага. - Что за способ такой деньги добывать? Эдак только разбойники поступают. Нужны деньги для дела - пришли бы по-людски, попросили, дали расписку, и вся недолга... Нет, это что за способ, а?

- Скверный способ, - сказал малорослый молодой человек с короткими усами и бородкой и в очках. - Надо, товарищи, положить конец этой истории, - обратился он к другим.

- Господин Врамян, - попытался вмешаться Ишхан.

- Что - господин Врамян! Во-первых, этот способ не принес нам, как известно, ожидаемых результатов, ну а во-вторых... Идите, господин Ованес, спите спокойно, а если снова получите такую записку, поступайте с ней так. - Он взял бумажку из рук длинноволосого, изорвал в клочья и кинул обрывки в угол.

- Молодец! - вскричал длинноволосый.

- Спокойной всем ночи! - умиротворенно сказал Ованес-ага. - Извините, у меня с утра дела.

Не все гости пожелали Ованесу-аге доброй ночи и спокойного сна.

Он прошел к матери. Мать еще не спала. Лежа в постели, она вспоминала жизнь Амбарцума со дня рождения и до дня отъезда, вспоминала самые ничтожные подробности. Вспоминала, как однажды - ему было тогда лет семь - к ним пришли родственники, и среди прочих розовощекая Чантикян Арменуи, только-только вышедшая замуж. Карапуз Амбо не отходил от нее ни на шаг. Гости заночевали, а проснувшись, обнаружили, что малыш Амбо спит под одеялом молодухи. Вот смеху-то было - ай да мальчонка, встал среди ночи, залез в постель к молодухе, и уснул!

- Чего не спишь, матушка? - спросил Ованес-ага, положи! руку на холодный и влажный лоб матери.

- Не спится...

- О чем думаешь?

- Да так, - кряхтя, проговорила мать, - про этих людей думаю. Длинноволосый сказал: "Они все, мамаша, твои дети. Тот - Врамян, тот - Ишхан, тот - Арам, тот - Арменак Екарян, тот - Болгарин Григор, ну а я - Парамаз..."

- Шестеро, - подсчитал Ованес-ага.

- Шестеро? Кого-то запамятовала...

- Сколько запомнила, и на том спасибо. Одного не пойму, Про Парамаза я слыхал, гнчак он, Арменак Екарян - рамкавар. Что у них общего с дашнаками...

Помолчали.

- А впрочем, - снова послышался голос Ованеса-аги, - начнется резня, турки не станут спрашивать, кто гнчак, кто дашнак, Должно быть, объединились. Сегодня объединились, завтра рассорятся...

Опять пауза.

- Ну, спи, я тоже лягу, с утра по делам идти... Тут уж, видно" не до шуток, коли... спи, спи. - И он на цыпочках вышел из комнаты.

Что до гостей, то они не спали; горела лампа, и звучал чей-т голос. Говорил только один, остальные хранили молчание. Ованес-ага крадучись приблизился к дверям и прислушался.

- По части организации мы достигли кое-каких успехов, - донеслось до Ованеса-аги. - Об этом говорят факты. Я назову деревни, где у нас есть сторонники: Аросик, Марцех, Цицанц Хндзорут, Ахт, Армшат, Норабер, Севан, Заронц, Ежинкерт, Аствацашен... - Раздались одобрительные восклицания. - Хараканц, Маштак, Ангх, Ишханигом, Хоргом, Севакрак, Кендананц, Шушанц. Такова, товарищи, ситуация. Вопросы?

Кто-то спросил:

- А деревня Алюр - какое там политическое положение?

- В Алюре у нас ничего не получилось. Там все рамкавары, - ответил докладчик.

- Эту деревню, Алюр, не трогайте, - послышался голос, принадлежавший, видимо, рамкавару Арменаку Еракяну; остальные захохотали.

Ованес-ага на цыпочках отступил от дверей. "Весь Васпуракан в свои делишки впутали, а нам и невдомек", - подумал он.

Пройдя в свою комнату, Ованес-ага разделся и осторожно, чтобы не потревожить жену, залез под одеяло. Сатеник спокойно спала. Ее волосы щекотали ему нос. Подмывало чихнуть, и Ованес-ага насилу сдержался. Ему почему-то вспомнилась женщина в белой тонкой накидке, ее глаза, улыбка.

Ованес-ага хотел перекреститься, чтобы отогнать наваждение, но глаза сами собой смыкались, и он стремительно падал в объятия Морфея.

5

"Сегодня понедельник" - такой была первая мысль, посетившая Ованеса-агу утром, когда он только-только проснулся; потом ему вспомнилось, что Амбарцума больше нет, а затем и то, что большая комната полна страшными людьми и что теперь нечего бояться ни Папах, ни их записок. Важнее всего было как раз это.

Покамест он с помощью жены одевался, дверь открылась и вошел брат, господин Геворг. Ованес-ага помрачнел: вот уж некстати так некстати; зачем он снова торчит здесь в новом своем костюме, с короткой бородкой, с ужасной своей улыбочкой; верно, накануне Ованес-ага долго и без всякой враждебности беседовал с ним насчет Стамбула, насчет болезни брата, и все то, о чем рассказал юрист Грант Галикян, известно теперь и Геворгу, но это еще не означает, будто он пошел с Геворгом на мировую и простил его смертные, именно так, смертные грехи.

- Спят? - спросил господин Геворг, ткнув большим пальцем правой руки назад, за спину.

- Кто? - вопросом на вопрос ответил Ованес-ага.

- Шефы.

Сатеник ушла готовить завтрак. Братья остались одни.

- Не сердись, - миролюбиво произнес господин Геворг, - я не к тебе пришел, у меня дело к ним. - И он снова указал большим пальцем за спину.

- Каким же ты стал дерьмом! - Ованес-ага красным носовым платком пригладил усы. - Неужто и в ахтамаровской истории без тебя не обошлось?

- Не выходи из себя и меня не выводи. Я тебе отчета давать не намерен, - заносчиво и с оттенком угрозы заявил господин Геворг.

В комнату вошла мать. Стоя за дверью, она с внутренней дрожью вслушивалась в перебранку двух братьев, но взяла себя в руки и вошла с таким видом, будто знать ничего не знала.

- Аханес, сынок, ступай поешь, поздно уже...

- Откуда у тебя столько денег?! Транжиришь направо и налево, - не унимался Ованес-ага. - Ахтамар грабишь, Варагскому. монастырю жертвуешь?

- И я и ты - оба мы дети одного отца. Почему, собственно, ты должен быть богатым, а я нищим? - крикнул господин Геворг.

- Да я в поте лица...

- У тебя лицо, и у меня тоже лицо, - оборвал брата господин Геворг и удалился. Мать спокойно вздохнула.

x x x

Позавтракав и потеплее одевшись, Ованес-ага спустился на задний двор, где стоял его белый с черными глазами осел; работник Усеп пособил Ованесу-аге сесть в большое седло и протянув ему поводья.

- Доброго пути, господин, доброго возвращения! - как всегда произнес Усеп, но не услышал всегдашнего ответа: "Спасибо на добром слове". Ованес-ага не без труда вытащил из внутреннего кармана кошелек, глубоко запустил в него руку, вынул серебряную монету и сунул Усепу. Он вспомнил в эту минуту покойного своего брата, вспомнил и то, что записки разбойников больше ему не страшны.

Осел Ованеса-аги двинулся вперед. Пораженный молодой работник с его пожеланиями доброго утра остался позади: стоял с серебряной монетой в руке как вкопанный, покуда не стихли колокольцы и Ованес-ага не свернул за угол. Гости, или, как называла их Србуи-хатун, комитетчики, заспались допоздна. Спускались по одному во двор, умывались возле колодца, брали с Лииного плеча полотенце, вытирались, снова набрасывали полотенце Лии на плечо, точно сговорившись, слегка щелкали ее по носу и поднимались в дом. Ишхан тоже щелкнул ее по носу, отчего девочка покраснела как маков цвет.

Завтрак был готов. На поместительный круглый поднос Србуи-хатун наложила припасов из погреба: меда, масла, вареных яиц, кавурмы, пахлавы, сыра, печений. Она хотела было покормить Геворга, но тот сказал, что сядет за стол с шефами.

И сел.

В комнату он вошел по-хозяйски уверенно, поздоровался с каждым за руку: милости просим, добро пожаловать, - кинул взгляд на угощенье и чуть ли не выбежал. На лестнице взял у матери желтый, отливающий золотом кипящий самовар и дал задание:

- Принеси водки, люди выпить хотят.

Когда бутылка водки, этаким царьком заняв место во главе прочих яств и, оглядевшись, улыбнулась персонально господину Геворгу, последний пригласил гостей к трапезе. Те, поджав ноги, уселись на ковер вокруг блестящего подноса, господин Геворг наполнил рюмки, и завтрак начался.

Господин Геворг поднял рюмку:

- Ну, с благополучным прибытием? За ваше здоровье!

Все вслед за господином Геворгом подняли рюмки, чокнулись с ним, затем поставили рюмки на место и молча приступили к еде. Господин Геворг сделал вид, что не заметил "неуважительного" поведения гостей, крепко, будто собираясь придушить, схватил бутылку за горлышко и сызнова налил себе водки.

Завтрак еще далеко не закончился, а господин Геворг был уже изрядно навеселе. Размахивая рюмкой над головой, он объяснял:

- Без дисциплины и конспирации нет революции. И без крови революции тоже нет. Долой бескровную революцию!

- Передохни немного, господин Геворг, - посоветовал Ишхан.

Присутствие бывшего учителя и его болтовня отчего-то действовали ему на нервы, больше того - угнетали.

- Время ли сейчас отдыхать? - улыбнулся господин Врамян, направляя на господина Геворга поблескивавшие свои очки. - Лучше мы с господином Геворгом поговорим с глазу на глаз.

- К вашим услугам.

Они отошли в угол, сели рядом, откинувшись на подушки, и начался тяжкий их разговор. Остальные комитетчики тоже покончили с едой; кое-кто, устроившись поудобней, даже задремал. Появилась Србуи-хатун и принялась убирать со стола.

- Я тебе друг, так что ничего от меня не скрывай, - начал господин Врамян. - Расскажи мне, как ты попал в Ахтамар.

Господин Геворг словно не знающий урока ученик, потер подбородок. Помолчали.

Врамян по-свойски положил руку на колено Геворгу и спросил:

- Кто тебе предложил поехать в Ахтамар?

- Господин Ишхан...

- Где вы впервые с ним встретились?

- В казино "Аскеран".

x x x

...Плачет, надрывается в казино "Аскеран" восточная музыка плывут по залу турецкие мелодии, и звучат турецкие песни. Выполняя заказы, официанты медлительно, словно в такт напеву движутся туда и сюда между столиками. Посетителей в субботний вечер хоть отбавляй, и кое-кто, порядком захмелев, подпевает по-турецки музыкантам, прищелкивая при этом пальцами:

Отвори мне, нежная ханум,

Я иду...

Войдя, господин Геворг бросил испытующий взгляд на три большие люстры под потолком, точно намеревался подтвердить а может, и оспорить их уместность, затем оглядел публику и, не обнаружив ни одного знакомого, сел за свободный стол у открытого окна.

Подавальщики дружно сделали вид, будто не заметили его по явления, ибо тотчас догадались, что в кармане у господина Геворга гуляет ветер и что он возлагает надежды или на случай, или в кредит.

В казино вошел малорослый мужчина с жиденькой бородкой и усами, и подавальщики засуетились. Новый посетитель окину! властным взглядом присутствующих и, к изумлению официантов! направился к столику господина Геворга.

- Вы позволите?

Господин Геворг удивленно взглянул на незнакомца и, нутро, почуяв, что карман последнего не подведет, весьма вежливо отозвался:

- Пожалуйста, пожалуйста, прошу...

- Вы меня не знаете, зато я вас знаю, - заговорил незнакомец, удобно устроившись напротив господина Геворга. - Как поживаете?.. Вы уже что-нибудь заказали?

Господин Геворг сделал один-единственный жест, означавший, да и нет: и не заказывал, дожидаясь вас, и у меня ни гроша, какие там заказы; однако красноречивый этот жест объяснил мужчине, что бывший учитель ничего не заказал, поскольку сидит на мели...

Следует предположить, что незавидная участь господина Геворга обрадовала незнакомца; так или иначе гость в мгновение ока обернулся хозяином и обратился к подавальщику, который давно уже стоял перед ним наизготове и ждал приказаний.

- Агавард!

- Буюрун, господин Ишхан.

- Что еще за "буюрун"? - поморщился незнакомец. - Тебе что, трудно сказать: к вашим услугам?

- Проклятая туркомания! - громогласно и победно воскликнул господин Геворг, понимая, что более подходящий случай поквитаться с этим Агавардом за множество больших и малых обид и подчеркнуть свое над ним

превосходство едва ли когда подвернется. - Туркомания! - повторил он, окинув подавальщика уничтожающим взглядом.

В глазах Агаварда бывший учитель стоил не дороже нуля, это и впрямь была ему красная цена, но вот по соседству с нулем нежданно-негаданно объявилась единица, и круглый нуль превратился в десятку... в десять. И, выражая почтительность к обоим клиентам, подавальщик выслушал их заказ и поспешил его исполнить. Точности ради надо бы сказать не их, а его заказ, потому как участие в нем господина Геворга ограничилось лишь одобрительным кивком головы. Вскорости стол украсили свежий хлеб, зелень, крутые яйца, рыба, бастурма, и надо всем этим царила длинношеяя бутылка водки.

Официант хлопотал у стола, а господин Геворг чувствовал себя на седьмом небе: "Господин Ишхан, знаменитый Ишхан, с чего бы это он подсел ко мне, что ему от меня надо?.."

- Теперь, брат, я тоже ванец, - сказал господин Ишхан, поднимая стопку. - Вообще-то я родом с Кавказа... да вот попал в революционный водоворот...

- Попасть в переплет неприятно, - рассудил господин Геворг, залпом опорожнив стопку.

- Разве я сказал "в переплет"? - улыбнулся Ишхан. - А впрочем, что водоворот, что переплет - все едино. Он помолчал и спросил:

- Почему вы оставили учительство, господин Геворг?

- Поинтересуйтесь у директора, - буркнул господин Геворг, наполняя стопки.

- Я интересовался, - Ишхан надломил скорлупу и принялся чистить яйцо. Господин Геворг поднял на собеседника глаза: ты что, дескать, серьезно?

- Интересовался, - повторил Ишхан.

- Чтоб ему пусто было, - уклонился от ответа господин Геворг.

- Говорят, много пил...

- Пил, не пил, - усмехнулся господин Геворг. - А кто не пьет, скажи на милость? Султан Гамид, или Батюшка Хримян, или Гапамаджян?

- Вот и я ему говорю! - воскликнул господин Ишхан. - Кто, говорю, не пьет, разве за это гонят человека с работы? А директор мне: нужно было прийти и объясниться, а он бросил все и ушел...

- Любопытно! - вскипел господин Геворг. - Это что, религиозно-политическое собрание или, может, Полисская патриархия - с какой стати я должен перед ним объясняться? Я, как-никак, Мурадханян Геворг, я троих таких директоров за пояс заткну:

- Да, - согласился Ишхан, - все верно. Но...

- Что еще за "но"! - перебил господин Геворг. - Нас четверо братьев, с нами не шути. Как заорем в четыре глотки - земля задрожит.

- Верю, верю, - очень мягко возразил Ишхан. - Но чтобы заявить о себе, глотки маловато. Орут и сумасшедшие. Я знаю твоих братьев. Один подает голос в Полисе, другой в деревне, третий в Ване, и все с умом, с толком... Люди зажиточные, состоятельные. А ты... ты-то на что рассчитываешь?

- Я пролетарий, - господин Геворг перешел в оборону.

- Пролетарий, буржуй... слыхал я эти байки. Потешились, и будет, теперь не до них. Хочешь стать человеком, вступай в наши ряды.

Плачет, надрывается в казино "Аскеран" восточная музыка, плывут по залу турецкие мелодии, и звучат турецкие песни; кое-кто из посетителей, порядком захмелев, подпевает по-турецки музыкантам:

Ах, доктор, душа моя доктор,

Беде моей помоги...

Так оно и есть: бесталанный взывает к Господу и святым, больной обращается к врачу, нищий просит милостыню, ну а Геворг, господин Геворг Мурадханян, сын богача, привыкший жить на широкую ногу, - ему-то как быть, на какие средства содержать дом и каждый Божий день поднимать себе настроение градусов этак на сорок, а то и поболе? Было время, он добирался от Хач-Похана до дому за четверть часа, ровно за пятнадцать минут, о чем свидетельствовал его хронометр "Зенит", заложенный ныне в ломбарде.

Теперь же ему, случается, не хватает на это и двух часов. Да и как прийти раньше, если, не миновав даже училища

сестер Кондакчян, он замечает, что навстречу ему спускается господин Семерджян, которому еще шесть месяцев назад задолжал четыре меджидие. И он отступает вспять, лишь бы не встречаться лицом к лицу с грозным заимодавцем, сворачивает на улицу, где живут Шатворяны, а поравнявшись с домом Аджем-Хачояна, направляется на площадь Норашенской церкви... Но из церкви - о ужас! - выходит Вувуникян Арменак, месяцев восемь тому ссудивший ему шесть меджидие. Не мешкай же, господин Геворг, при внушительном своем росте и стати хоронись за ивами и следи, куда он держит путь, этот Арменак Вувуникян, чтобы самому двинуть в противоположную сторону... Мудрено ли, что приходишь домой уставший, разбитый, проклиная на чем свет стоит всех, кто дает в долг, и всех, кто в долг не дает, а заодно и всех должников?

- Вступай в наши ряды, найди себе поприще, стань человеком. Еще немного, и мы займемся Ахтамаром, ты нам очень пригодишься.

- Буду рукоположен в вардапеты?

- Да при чем тут вардапет? Станешь национальным деятелем, и такого масштаба, что настоятель Ахтамарского монастыря будет трепетать перед тобой.

- Это невозможно! - воскликнул бывший учитель и поспешно налил себе водки. - Господин Ишхан, похоже, я один пью. А как же ты?

Ишхан сделал вид, будто не расслышал.

- Вот тогда-то ты и встанешь вровень со своими братьями. Я давненько к тебе приглядываюсь - бродишь по улицам как неприкаянный, на лице мировая скорбь. Опомнись! Что, собственно говоря, случилось? Ну ладно, учителем тебе больше не быть. Но ведь ты здоров как бык.

- Прикажешь в грузчики податься? - В голосе господина Геворга послышалось что-то вроде злости.

- Оставь, пожалуйста. Других занятий, по-твоему, на свете нет - либо учитель, либо грузчик?

- Что же мне делать, что?! - воскликнул господин Геворг, воздев руки к дощатому потолку казино. - Как скажешь, так и поступлю, только бы выбраться из трясины.

- Вступай в наши ряды и положись на меня, - тишайшим голосом посоветовал Ишхан.

- Будь по-твоему...

- Слово чести?

- Слово чести.

Господин Ишхан вынул из внутреннего кармана блокнот, а из блокнота - лист бумаги с печатью.

- Агавард! - подозвал он подавальщика.

- Буюрун...

- Провались ты со своим "буюрун"! Перо и чернила...

Господин Ишхан взял перо, осторожно обмакнул его в чернильницу и, только и приписав после "я" "Геворг Мурадханян", пододвинул бумагу к господину Геворгу.

- Будь любезен, распишись...

У бывшего учителя душа ушла в пятки: как-то есть "распишись", зачем, почему? Он взглянул на бумагу. Она была отпечатана на гектографе; вверху наподобие девиза значилось: "Будь скрытен и дисциплинирован". Затем он прочел: "без крови нет революции" - и эта самая кровь пришлась ему не по нутру. Далее следовало: "Я, Геворг Мурадханян, обещаю... обязуюсь..." Тяжкие обязательства, нелегкие обещания... "В противном случае..."

"Падающий с горы и за змею ухватится", - промелькнуло в голове господина Геворга; еще минута, и господин Геворг увидел свою подпись под размноженным на гектографе текстом (чернила были красные, это тоже пришлось ему не по душе); еще минута, и зловещая бумага исчезла в блокноте господина Ишхана, ну а блокнот - во внутреннем кармане. Может статься,

теперь он и найден, путь, на котором воплотятся в жизнь его воображаемые подвиги, верный путь великих деяний на благо народа, дарующий доброе имя?..

Воцарилось молчание - надо сказать, весьма кстати.

- Вот так, - промолвил господин Ишхан.

- Так вот, - на свой лад переиначил его слова господин Геворг, с тоской косясь на пустую бутылку.

- Теперь ты крупный деятель, революционный деятель, - отчетливо произнес господин Ишхан, глядя на бывшего учителя прямо-таки с восхищением, словно видел его впервые. - Хорошо, - добавил он по-русски.

- Харашо?

Господин Ишхан растолковал ему, что это значит.

- Ха-ра-шо, - по складам повторил господин Геворг, и оба они рассмеялись. - Харашо...

- Мне пора, - посерьезнев, сказал господин Ишхан. - Ты расплатишься.

Одна щека господина Геворга покраснела, другая побледнела, стул под ним качнулся, и, он, весьма вероятно, очутился бы на полу, не извлеки ловец революционеров из кармана несколько серебряных монет и не положи их перед ним.

- Три меджидие... можешь их истратить... когда ты нам понадобишься... мы... важные поручения... хорошая награда...

И был таков.

Господин Геворг огляделся по сторонам. Это не сон. Три меджидие. Так-то, господин Геворг, отесанный камень на земле не залежится, верно ведь?

Подняв отяжелевшую свою голову, господин Геворг увидел перед собою не одну лишь нетронутую бутылку, но и Габриэла-агу Демирчяна - тщательно одетого, румяного, с подкрученными усами и с местным еженедельником "Ван-Тосп" в руках.

- Ты, когда появился? - спросил господин Геворг, обрадовавшись собутыльнику.

- На свет? - белозубо улыбнулся Габриэл-ага. - В тысяча восемьсот семьдесят шестом году.

- Да нет же...

- Ах, здесь? Я здесь давно. Мы сидели в том углу: я, Гевонд-эфенди и Рубен-эфенди Шатворян.

- Словом, кто с тобой, тот эфенди, с другими ты не знаешься. Налей-ка, выпьем...

- Отчего же не налить, - повиновался господин Габриэл и наполнил стакан господина Геворга.

- Теперь себе.

- Я не буду.

- Почему? - несказанно удивился бывший учитель.

- У меня что-то с желудком. Да и мочевой пузырь...

- Что еще за пузырь?! Наливай.

Господин Габриэл вдоволь посмеялся про себя над господином Геворгом: даром что учитель, а в анатомии не смыслит. Он не налил себе. Для этого требовалось невероятное усилие воли, и оно оказалось Габриэлу-аге по плечу.

- Не морочь мне голову, наливай!

- Нет, эфенди. А вдруг заболею и умру...

Дело было в том, что Гевонд-эфенди и Рубен-эфенди поручили Габриэлу-аге подсесть к господину Геворгу и, капли в рот не беря, допытаться, какой разговор состоялся между непутевым учителем и будто с неба свалившимся Ишханом. Конечно, Габриэл-ага мог бы и нарушить обещание, но... после казино ему надлежало явиться к Рубену-эфенди Шатворяну, предстать перед двумя эфенди и дать им ответ. "Вздор, - подумал Габриэл-ага, - не будут же они ко мне принюхиваться. В конце концов, скажу, что опрокинул стопку уже после беседы с господином Геворгом..."

И рука Габриэла-аги сама собой потянулась к бутылке.

- Твое здоровье!

- Молодец! - пророкотал господин Геворг. - Терпеть не могу зануд, чуть было и тебя к ним не причислил. Однако же быстро ты возвратился на путь истинный... Ну, поехали!

И друзья единым духом выпили.

Господин Геворг со стуком поставил стакан на стол и, поводя плечами и закрыв глаза, принялся во все горло подпевать музыкантам:

Не верит мне любимая, не верит.

- Высоко взял, господин Геворг, - сделал ему замечание Габриэл-ага

- Это верно. А ну-ка чуть ниже... На сей раз он почти промурлыкал:

Ханум, не будь горда, хоть иногда

Ко мне ты приходи...

- Слушай, друг, - вновь повысил голос бывший учитель и нынешний деятель. - Хозяин здесь армянин, посетители армяне, музыканты армяне, зачем же петь по-турецки?

Габриэл-ага побледнел, хотел было тотчас убраться подобру-поздорову, но взгляд его упал на только-только початую бутылку, и ноги отказались ему повиноваться. Он заозирался. В дальнем углу сидели четыре чиновника-турка; им, конечно, не слыхать, о чем разглагольствует шалопай Геворг, но, как знать, не найдется ли среди армян какой-нибудь айени (*) (именно так сказал бы сам господин Геворг), который не преминет довести до их сведения возмущенный этот выкрик: "Зачем же петь по-турецки?" И тогда...

"Кто с ним был?" - грозно спросит начальник полиции Агьяг-эфенди подлого наушника. "Габриэл Демирчян". - "Демирчи-оглы (**) Габриэл?! - загремит Агьяг. - За решетку обоих!"

(*) Предатель (тур.).

(**) Демирчиоглы - сын кузнеца (тур.).

Габриэл-ага глазам своим не поверил: в казино вошел жидкоусый с землистым лицом начальник полиции Агьяг, и висевшая у него на боку до блеска

начищенная сабля в такт шагам постукивала его по колену; он приблизился к чиновникам-туркам, и те приветствовали его радостными возгласами:

- Буюрун, эфенди, буюрун!

- Агьяг, в лужу ляг! - силясь перекричать музыку и шум, что было мочи заорал господин Геворг.

Появление начальника полиции, злая шутка господина Геворга, известная всем, от мала до велика, ванцам - она шепотом передавалась из уст в уста, вызывая опасливый смех, - все это вконец выбило Габриэла-агу из колеи. Он поспешно сунул в карман еженедельник, с сожалением распрощался с недопитой бутылкой и бросился вон из казино, так и не выполнив важнейшей своей миссии...

Откинувшись на мягкие подушки, путая людей и события, учитель Геворг рассказал Врамяну, как его посвятили в деятели и как он попал на остров Ахтамар.

- Что ты там делал? - спросил Врамян. Лицо господина Геворга напряглось.

- Сидел в трюме, пил водку, на остров не выходил, - ответил он, словно подсудимый.

- Дальше.

- Подсел ко мне этот простофиля Габриэл-ага, хотел выведать, что и как, и донести своим эфенди. Да не на того напал... Будь скрытным, без крови нет революции...

- Ты сидел в трюме и пил. Дальше? - подгонял учителя господин Врамян.

- Я... я уснул.

- Дальше?

- Дальше ничего. Уснул и видел страшные сны.

- Что за сны?

- Мне снилось, будто я зарезал человека, человека с бородой, - выдавил из себя, глотая слезы, бывший учитель. Умолк, издал хрип и заснул, точь-в-точь упал в обморок.

И бывший учитель Геворг расплакался, как ребенок.

СКАЗАНИЕ ВОСЬМОЕ,
в котором описывается город Ван и вслед за тем приключения почтенных ванцев, жданные и нежданные

1

Звенят колокольцы, зимнее солнце нехотя пригревает затылок Ованеса-аги, сверкает ослепительной белизны снег, и сверкаем, позванивая колокольцами, поспешающий к рынку белый осел Ованеса-аги. Глянешь издалека, и почудится, будто одетый в черное Ованес-ага странным образом оторван от земли и в ослепительно белых скользящих по-над дорогой снежных облаках плывет к городу, к рынку.

Зимним утром проспект, который ведет к городу, полон прохожими. В собственных санях или на породистых ослах торопятся на рынок богатые торговцы, торжественно и неспешно шествуют пешком лавочники, а просто одетые ремесленники - столяры, и мебельщики, и сапожники - идут быстрым шагом, все больше поодиночке, и каждый погружен в свои заботы и раздумья, радости и печали. Со стороны может показаться, что они знать не знают друг друга, но стоит кому-нибудь из них чихнуть как на него отовсюду посыплются благопожелания:

- Будь здоров, Саак-ага!

- Саак-ага, будь здоров!

- Будь здоров, Саак-ага!

- Благодарствуйте на добром слове! И вам того же, - направо и налево, вперед и назад поворачивается Саак из рода Джанкоянов и силится если уж не совсем подавить, то хотя бы приглушить второй чих, чтобы не беспокоить лишний рад приятелей-ремесленников...

Удивительно ведет себя сегодня осел Ованеса-аги. Да и как, право, не удивляться: этот породистый белый осел то, закуси! удила, несется вперед -

если и не наподобие стрелы, так хотя бы наподобие крылатого отрока, ангела, то, наоборот, едва плетется, словно идет под нож на Мисакову бойню. И все же погодим обвинять безответную скотину; дело в том, что осел в свой черед дивится норову хозяина, потому как Ованес-ага то отпустит поводья и ну без всякого смысла лупить его по бокам, то натянет поводья изо всех сил, понуждая замедлить шаг, - и тогда на губах осла появляется кровь. (В скобках заметим, что внимательного читателя не должно поражать переменчивое поведение Ованеса-аги: совершенно ясно, что, когда наш эпический герой вспоминает про смерть брата Амбарцума и, опечалившись, сникает, он натягивает поводья, а как только ему на память приходит господин Врамян, в клочья разорвавший Папахову записку...

- У, Папахи, - в ярости бормочет Ованес-ага, - так вас и разэдак!

И он с легким сердцем, не страшась больше ничьих угроз, бросает поводья и продолжает свой путь.)

Показалась крепость - внушительная каменная громада, с востока на запад протянувшийся рыжевато-огненный величественный и тяжеловесный массив с зубчатыми извилистыми стенами, таинственными бойницами и колдовского вида каменными воротами, которые изукрашены клинописью и как никогда не открывались, так и не открываются.

Крепость немо взирает на город и безмолвствует, не внемля ни одному его звуку, и, достигая ее стен, городской шум умирает в ее мрачных халдейских вековых закоулках. И кажется, будто она никак не связана с живым, плачущим и смеющимся городом - это иной мир, это загадочный каменный исполин, и стоит человеку очутиться в его чреве, он тут же обратится в камень, в каменное изваяние, а парящий над этим исполином орел камнем же с ужасным клекотом рухнет на каменные зубья стен...

Ванская крепость!

С того самого дня, как на Ованеса-агу навалились угрозы Папах, один лишь вид крепости внушал ему диковинные мысли. Всякий раз, проходя мимо, он воображал, что Папахи живут за каменными воротами; глубокой ночью, когда

все окрест погружено в сон, каменные эти ворота открываются, оттуда выходят злодеи и Заговорщики, подбрасывают людям записки с угрозами, забирают золото, сызнова исчезают в каменных своих обиталищах и каменные ворота беззвучно закрываются за ними. Однако сегодня Ованес-ага кинул на крепость взгляд, исполненный глубочайшего презрения, и, мало того, еще и хмыкнул в усы. Его достойный всяческой хвалы бескрылый ангел рывком влетел в городские ворота. Оглянувшись напоследок, Ованес-ага посмотрел на потерявшую всякую таинственность крепостную стену, и тут ему подумалось, что ежели не полениться, слезть с осла и хорошенько ее пнуть, то крепость опрокинется, точь-в-точь спичечный коробок...

Ванский рынок!

Ты можешь находиться в каких-нибудь пяти шагах от этого; рынка и не увидеть его. Чудо, да и только! Сверху, что ли, надо смотреть? Тогда вскарабкайся, коли удастся, на минарет Ульской мечети и погляди вниз с самой верхотуры - рынка нет как нет." Единственное, что ты, может статься, и увидишь, - это плоские кровли, повсюду одни только плоские кровли со стеклянными окнами во всю длину. Вот-вот, под этими-то кровлями и шумит громадный крытый рынок, ванский рынок.

Если бы нам улыбнулась удача и мы вместе с Ованесом-агой очутились здесь, мы бы почувствовали себя в необыкновенном мире. Что и толковать, богат ванский рынок, богат, велик и удивителен. Пройдем для начала в крытый тупичок, по обе стороны которого протянулись портняжные мастерские; шум швейных машинок "Зингер" преследует тебя, покуда ты проходишь во владения сапожников. Здесь шума поменьше, чем у портных; тук-тук-тук! - постукивают молоточками сапожники, набивая подметки и каблуки; кое-кто поет, поет о любви, терзается народным,, горем и мукой и постукивает молотком, набивая подметки и каблуки, и сила удара зависит от глубины горя, и, бывает, удар приходится не по башмаку - каблуку или там подметке, - а куда попало.

Ну а где всего шумнее, так это, само собой, у жестянщиков. Тут стоит такой лязг и скрежет, что и револьверного выстрела не услыхать. И ты бросаешься, да-да, сломя голову бросаешься К столярам и плотникам и, глубоко вздохнув, вбираешь в себя чудный запах влажных или уже подсохших досок; здесь же, по соседству, ведет свое хозяйство единственный на весь Ван гробовщик, туговатый на ухо Патур, чья глухота обыгрывается великом множестве анекдотов. Со скоростью, которой позавидовало бы телеграфное агентство, эти анекдоты разлетаются по всему рынку, а дальше... вечером пешим ходом, а летом еще и на фаэтонах, а зимой на санях они, эти анекдоты, перебираются с улицы на улицу, из дома в дом.

Ованес-ага оставил осла у караван-сарая (это обошлось ему в десять пара) и прошествовал на рынок. Едва он поравнялся с гробовщиком Патуром, как тот засуетился - пожелав выразить свое почтение именитому земляку, вскочил с места, кубарем скатился и ногам Ованеса-аги, отвесил поклон и, благоухая водкой, спросил

- Чем могу служить, ага?

Ованес-ага посмотрел на гробовщика, на его всевозможных размеров изделия, смекнул, что Патур способен сослужить одну-единственную службу, вспомнил Амбарцума и доверительно и четко ответил:

- Служи себе, дружище, себе...

У магазина он увидел Сета и двух приказчиков. Ованесу-аге не понравились их взгляды; они как по команде внимательно уставились на хозяина, пытаясь по лицу угадать, в каком он настроении, и соответственно этому вести себя. Сомнений не было - они уже знали о смерти брата. Приказчиков удивило, что радость лице Ованеса-аги непрестанно сменяется грустью, удивило и обескуражило: им-то как быть, радоваться или грустить?

- Сет.

- Слушаю, господин.

- Как дела?

- Помаленьку. В Полисе...

- Что?!

- В Полисе... - и господин Сет запнулся. - Ну да неважно.

- Не заикайся при мне про этот город, - не повышая голоса, отчеканил Ованес-ага. - Полис... Гнездо разврата, вот что это кое. Даже не заикайся.

- Прошу прощения.

- Товар не поступил?

- Откуда?

Ованес-ага смутился, можно даже сказать, опешил, но с завидной легкостью нашелся:

- Не заставляй меня каждую секунду поминать этот проклятый город.

- Еще раз прошу прощения, Ованес-ага, не взыщите. Нет, тары... еще в пути. -

- Все?

- Все, господин.

- Выдай этим молодцам, - Ованес-ага покосился на приказчиков, - по три аршина ситца. А себе возьми три меджидие... - За что? - подумал он. - За упокой души Амбарцума или за освобождение от Папах?" Ответа на свой вопрос он так и не нашел.

- Благодарю, - склонил голову Сет. - Спасибо, что наличными.

- Наличность - это всегда хорошо... Прощай. И он медленно зашагал к рынку, одним отвечая на приветствия, другим не отвечая и вообще избегая смотреть людям в глаза. А вот и магазин Симона-аги.

Симон-ага сидит за массивным столом в небольшом кабинете, отгороженном от торгового зала стеклянной перегородкой одним глазом поглядывает на старшего приказчика, приказчика и кассира и на покупателей, а другим - с обычной своей криво усмешкой на костяшки черных счетов. Странное совпадение: эту минуту он как раз думает об Ованесе-аге, о смерти его брат! Амбарцума-аги, о втором брате, учителе Геворге, и о том, что О замешан в страшном ограблении Ахтамарского монастыря. Каково теперь Ованесу-аге показаться на люди: старший брат - распутник, средний - убийца. Тьфу!

Обеими ладонями Симон-ага гоняет костяшки счетов вправо-влево, потом отталкивает от себя счеты, точно желая тем самым отрешиться от гнетущих мыслей. Не надо об этом думать, говорит он себе и в то же мгновенье замечает сквозь стекло перегородки Ованеса-агу, который приближается к его кабинету то т небрежным, то ли скованным шагом. Покамест Симон-ага решает эту задачку - каким именно, Ованес-ага входит к нему.

- А я как раз о тебе думал... Добро пожаловать, садись, потолкуем. Востаник! - кличет он старшего приказчика. - Востаник!

- Два кофе? Сию минуту, - отзывается приземистый плечистый Востаник, полагая излишним заходить в кабинет; он и без того всегда угадывает желания и заказы хозяина. На этот раз, однако, не угадал.

- Садись, садись, Ованес-ага, собачий холод. Как говорится армянина - в дом, турка - в шею. Востаник! Вошел Востаник.

- Значит, так. Четвертинку водки, изюма, жареного гороха.

- И кофе?

- Слушай меня, - вмешался Ованес-ага. - Две чашки кофе и больше ничего. Водки не надо.

- Не встревай в чужие дела, Ованес-ага. Ты мой гость.

- Бога ради, не надо.

- Надо, надо, Ованес-ага. Холодно, согреемся... Востаник понял, что хозяин заказывает водку отнюдь не для вида, а всерьез намереваясь выставить угощение. И он еще раз пытливо посмотрел на него.

-Чего-чего, а опыта Востанику не занимать: бывало, хозяин требует водки, Востаник приносит, Симон-ага с гостем распивает ее и, когда последний в приподнятом настроении удаляется начинает распекать:

- Зачем принес водку?

- Вы же сказали...

- Мало ли что. Сказал приличия ради. Мое дело предложить, его - отказаться, а твое - принести кофе, и вся недолга.

Но нет, похоже, на сей раз Симон-ага требует водки не ради приличия. Он и впрямь намерен угостить Ованеса-агу...

Сидят и молчат. С чего бы это? Им что, не о чем говорить? Вздор, конечно, есть о чем, но они сидят и стараются перемолчать один другого, вовсе не считая (таково, по крайней мере, их мнение), что в этой игре в молчанку есть некая неловкость. Они ждут, вот и все, ждут Востаника, ждут, когда он подаст водку, изюм, горошек, ну а там... а там, глядишь, языки у них и развяжутся - язык, он ведь без костей. "Знает ли он про Амбарцума?" - думает Ованес-ага после первой рюмки. "Конечно, знает", - отвечает он себе и мнет, пальцами изюминку, стараясь поймать взгляд Симона-аги. Напрасные старания.

- Из Стамбула... - начинает он. - Кхе-кхе. - Он покашливает.

- Да что это? Кхе-кхе... Поперхнулся...

- Не беда, - улыбается Симон-ага, хлопая почтенного земляка ладонью по спине. - Так что, ты говоришь, из Стамбула?..

- Из Стамбула... письмо пришло.

- О чем? - с полнейшим безразличием спрашивает Симон-ага.

- Да так... - Ованес-ага вытаскивает из кармана платок, потом сует его обратно, глубоко вздыхает и чуть ли не кричит: - Наш Амбарцум!..

Не в силах продолжить, он снова достает платок из кармана и, подняв его над головой, взмахивает им, будто плясун.

- Что с Амбарцумом?

- Умер.

- Кто?..

- Амбар...

- И выпить-то не успел, а заговариваешься. С какой стати Амбарцуму умирать?

- Откуда я знаю, - разобиженным ребенком шепчет Ованес-ага.

- Быть такого не может, побойся Бога! С какой стати Амбарцуму-аге... Тут что-то не так.

- Все так. Нет больше Амбарцума.

Симон-ага протянул руку к столу и словно бы наткнулся на бутылку.

- Что тут скажешь, Аханес-ага... - Он поднял стакан. - И без того все понятно. Разве что одно: если бы Амбарцум, светлая ему память, не уехал в Стамбул, то и не умер бы. Вот говорят: город. Но ведь и Стамбул город, и Ван тоже город... Стамбул одно, а Ван совсем другое. В Ване парень и девушка за руки взяться робеют, а Стамбул - что твой Содом и Гоморра, Аханес-ага, вавилонское столпотворение... Два месяца прожил я в Полисе...

Симон-ага умолк, устремив взгляд невесть куда, и его лишь озарилось неясным внутренним светом. Он поспешно выпил и надвинул феску на лоб.

Проводив очередного покупателя, старший приказчик Востаник краешком глаза посматривает сквозь стеклянную перегородку и не верит себе самому. Гость и хозяин...

Старший приказчик Востаник впервые в жизни видит собеседников, о которых можно в прямом смысле сказать: говорят, глазу на глаз. Издали кажется, что они соприкасаются ресницу ми. Говорит - уточнение необходимо - Симон-ага. Сдерживая пыл, он о чем-то рассказывает Ованесу-аге, а тот увлеченно слушает. Вот Симон-ага смеется - ха-ха-ха! - вслед за ним посмеивается, покачивая головой, и Ованес-ага. Симон-ага кладет руку на колено Ованесу-аге:

- Так-то, Аханес-ага, в Стамбуле - настоящая жизнь, а где жизнь, там и смерть. Да что говорить, все и без слов понятно

Внезапно Ованес-ага явственно, точно при вспышке молнии, вспоминает вчерашнюю женщину с горящими черными глазам!

- Боже, Боже, - бормочет он и утирает сухим платком взмокший лоб. Медленно отпивает глоток-другой и между прочим бросает:

- Врамяна я видел.

- Во сне? Увидать во сне большого человека - к удаче.

- Вынул Папахову писанину - и ему.

- Славно, славно.

- Записка этих псов у тебя?

- Где ж ей быть?

- Дай сюда.

- Зачем?

- Не бойся, не съем.

Симон-ага, кряхтя, извлекает из кармана связку отливающих тусклым блеском ключей, выбирает из них один, не спуская Ованеса-аги глаз, ловко открывает правый ящик письменной стола, выдвигает его, легко находит нужную бумагу и протягивает гостю:

- На! Соскучился?

- И я соскучился, и ты тоже, - бурчит Ованес-ага, разворачивает бумагу, опять складывает и разрывает надвое, потом на четыре части; потом на восемь и наконец на шестнадцать...

- Ты в своем уме? - округлив глаза, с опозданием метнулся к нему Симон-ага.

- Выполняю приказ Врамяна... - Ованес-ага подбрасывает клочки кверху, они раскрываются и плавно опускаются на пол.

Проводив очередного покупателя, старший приказчик Востаник краешком глаза посматривает сквозь стеклянную перегородку. Картина изменилась. Теперь говорит Ованес-ага, а Симон-ага зачарованно слушает. Вдруг он вскакивает со стула, обнимает Ованеса-агу и целует. Ованес-ага пытается высвободиться из его объятий, но не тут-то было. В конце концов Симон-ага швыряет феску на стол и наполняет стаканы.

- Дай тебе Бог здоровья, Аханес-ага, хорошую ты весть принес.

- Не знаю, плакать мне или смеяться, - снова мрачнеет Ованес-ага.

- Парамаз в таких случаях говорит: не плакать, не смеяться, а размножаться.

- Размножаться?

- Ну да. Не знаешь армянской истории? При Тигране Великом армян было тридцать шесть миллионов. А теперь? Ежели ванцев вырежут, то и полмиллиона не останется.

- Тяжело, - подытожил Ованес-ага.

- Да, положение серьезное... Ну, еще по одной и пойдем... К Фаносу-аге.

Не идут, но стремительно мчатся по проулкам крытого рынка два почтенных ванца.

- Ты часом не вспотел? - заботливо спрашивает спутника порядком взмокший Ованес-ага.

- Я, по-твоему, такой немощный? Ты-то как?

- И я не вспотел, разве что от водки чуть-чуть. - И Ованес-ага вытирает влажный лоб.

Они мчатся, летят вперед, а справа и слева от них течет то ли живая лента, то ли река красных фесок.

В углу просторного магазина сидит за письменным столом Фанос-ага с неподвижным и выразительным, как у египетского сфинкса, лицом - этакий чисто выбритый Навуходоносор-ага с феской на голове. Хотя взгляд его и устремлен к входу, он, судя по всему, даже не замечает, что в магазине появились его друзья "по делу и по идее". Гости озираются по сторонам. Кругом ковры, ковры, они висят наподобие занавесей, висят на стенах, они, сложены друг на друга, сотни ковров, старинные и новые, широкие и узкие, и нет среди них двух мало-мальски похожих. Фанос-ага пребывает в своем магазине наедине с коврами; покупателей у него немного, бывает, он не видит их днями, но коль скоро посетит его настоящий покупатель, он оставит в магазине изрядную толику золота из своего кошелька. Керосиновая лампа под потолком освещает морщинистое лицо торговца коврами Фаноса-аги.

- Доброго здоровья, Фанос-ага... Фанос-ага не слышит.

- Фанос-ага, доброго здоровья! - громко приветствует хозяина ковров Ованес-ага.

- Не кричи, я не глухой, - недовольным и тусклым, словно из-под ковра долетевшим голосом отзывается тот.

- Фанос-ага, дорогой, что случилось? - спрашивает Симон-ага, шагнув к столу.

Фанос-ага вроде бы оживает, протирает ладонями глаза и только тут замечает гостей.

- Кого я вижу! Добро пожаловать, садитесь. А на меня не смотрите, моя песенка спета.

- Какая там песенка, у тебя и голоса-то нет, - решил обратить все в шутку Симон-ага.

- Это верно, у нас ничего нет, ни песен, ни славы... Все у них, у этих...

- Ты про кого? - уточняет Симон-ага.

- Про Папах! - кричит Фанос-ага. - Про кого еще? - Он сует руку в нагрудный карман. - Па-па-хи, - раздельно, с нажимом выговаривает он и, как игральные карты, бросает на стол лист бумаги. - Это не жизнь, это не интересы нации, это разбой.

Ованес-ага и Симон-ага с улыбкой переглядываются, Симон-ага подмигивает Ованесу-аге, тот подходит к столу и берет страшную эту бумагу.

- Как не позавидовать Амбарцуму-аге, ушел, отмучился... Что ты делаешь, сумасшедший?

Сумасшедший, то бишь Ованес-ага, тщательно разорвав записку, подбрасывает ее кверху, и на устланный ковром пол плавно и торжественно опускаются клочки бумаги.

- Приказ господина Врамяна выполнен, - комментирует Симон-ага.

Когда политический уровень Фаноса-аги достиг уровня двух его земляков, друзей "по делу и по идее", он сорвался с места, натянул пальто и объявил:

- Идем в "Аскеран". Угощаю!

Нет, не могли прохожие остаться равнодушными и не обратить внимания на шествие по лабиринтам крытого рынка троицы почтенных торговцев. Эти лабиринты многажды видели их, но лишь поврозь, а теперь... они шагают втроем, бок о бок, будто монолитная стена, украшенная тремя фесками, и порою мнится, что стоит ей потрескаться, расколоться натрое, как все трое каким-то чудом исчезнут, и только три фески с черными кисточками на макушке поплывут дальше и дальше по лабиринтам крытого рынка.

3

По Айгестанскому проспекту, удобно устроившись верхом на длинноухом своем транспорте, едут трое фесконосцев. Они молчаливы, как и подобает тем, чья жизнь должна отныне потечь по новому руслу, стать краше и теплее и заблагоухать ароматом яркого пламени. Они молчаливы, и это молчание стало осязаемей и красочней, когда крупными клочьями ваты повалил снег. Однако это же молчание было, надо полагать, непереносимым и губительным для благородных животных. Доказательства? Они не заставили долго себя ждать.

На Айкаванской площади хваленый осел Ованеса-аги чуточку замедлил шаг, повернул морду в сторону горы Вараг, глубоко вздохнул и заревел столь душераздирающе, что Ованес-ага аж подскочил. Не остались в долгу и два длинноухих сородича ревуна - они с не меньшим или, во всяком случае, незначительно меньшим пылом откликнулись на призыв заводилы и закоперщика. Однако минуту спустя на улице, как и прежде, царила полная тишина, если не принимать во внимание звон колокольцев, который был неотъемлемой ее частицей.

- Куда мы? - послышался вопрос Ованеса-аги, заданный, казалось бы, только затем, чтобы нарушить молчание, ибо и читателю, и Ованесу-аге доподлинно известно, что по предложению Фаноса-аги троица друзей направляется в казино "Аскеран". "Угощаю", - сказал Фанос-ага. И, однако, отнюдь не затем, чтобы нарушить молчание, задал свой вопрос Ованес-ага: ему ли не знать, как прижимист Фанос-ага, которому ничего не стоит остановить осла посреди Хач-Поханской площади и, схватившись за живот, пожаловаться: "Ох и скрутило меня, мочи нет. Отложим "Аскеран" до другого раза. А пока по домам. До скорого!" Словом, вопрос Ованеса-аги был своего рода искусом: не пожалел ли Фанос-ага об опрометчивом "угощаю"? Симон-ага мигом смекнул, что к чему, и поспешил Ованесу-аге на подмогу.

- Нет ничего лучше в зимний холод, чем посидеть в казино.

Но друзья напрасно заподозрили невесть что - сегодня Фаносу-аге и в голову не пришло пойти на попятную. Он избавился от страха перед Папахами, это главное, а коли так, можно и поистратиться малость, экое дело...

Вскоре, однако, мысли его переменились: почему, собственно, платить должен он, а не Ованес-ага или Симон-ага? Ведь и они тоже скинули с плеч жуткую ношу, и, стало быть, если по справедливости, раскошеливаться надо всем поровну. "Может, намекнуть? - терзался Фанос-ага. - Да нет, неловко. Лучше уж за столом, в последнюю минуту".

Чем ближе Айгестан, тем шумнее на проспекте. Вот турецкая баня, перед которой толпятся аскеры, поджидая своей очереди, а вот, напротив бани, - фотографический салон Дзетотяна Аршака, над которым красуется вывеска "Аршак Дзитуни". Все верно, ошибка исправлена.

Пекарня Минаса Палабехяна довольно-таки далеко, но воздух уже полон благоуханием свежеиспеченного хлеба. Шествие троицы фесконосцев набирает темп. Вот и пекарня. Минас-ага, должно быть оправдывая свою фамилию (*), отрастил на диво длинные рыжие усы. Глаза у него синие, улыбчивые, а взгляд мягкий.

- Минас-ага, - подошел к пекарю Фанос-ага. - Четыре горячих хлеба.

_____

(*) Пала - пышный (тур.), бех - ус (арм.).

_____

Минас-ага обеими руками потянул кончики своих длинный рыжих усов.

- Уж не свадьба ли у тебя, Фанос-ага? - Пекарь отпускает кончики усов, и те, наглядно демонстрируя двойное удивление скручиваются двумя вопросительными знаками. Свадьба?!

- Вот-вот, свадьба, я Иисус из Назарета, четырьмя хлебами хочу накормить всех своих гостей. Грешен, люблю свежий хлеб, а в казино он всегда черствый... Эй, что сравнишь с хлебом, когда он с пылу, с жару?! - воодушевился Фанос-ага.

- Приятного аппетита!

Взяв четыре горячих вкусно пахнущих хлеба и уплатив за них сорок пара, Фанос-ага присоединился к доблестной коннице в тот миг, когда мясник Мисо тащил на бойню очередного, на сей раз белого, козла. Эта Мисакова жертва была, видимо, от природы наделена оптимизмом, думать не думала, что ее ждет, и покорно следовала за палачом. Мисо и сам диву давался беспримерной этой наивности. Поражался он, однако, недолго: приговоренный к смерти козел дважды чихнул, и стало ясно, что он не страдает ни наивностью, ни излишним оптимизмом, а попросту простужен и не чует запаха крови, которой пропах Мисо.

Будь мясник Мисо политическим деятелем и публицистом, он, вне всяких сомнений, вечером же написал бы передовицу и послал ее куда-нибудь в Полис, Тифлис, Женеву, Бостон - конечно, не во все города разом, а в один из них - для обнародования. А почему, собственно, не в местный еженедельник h "Ван-Тосп" или, скажем, "Ашхатанк"? - спросит не то что простуженный, а по-настоящему наивный читатель. Мы вынуждены, почитая это своим долгом, пояснить, что в те поры истинные патриоты обретались исключительно в вышеупомянутых городах и в силу необходимости ввозились извне. Именно там, в дальнем далеке, они и печатали свои хлесткие и язвительные газеты.

Из-за импортируемых этих искусителей многие сложили во имя родины головы, ни разу родины не увидав. Чудеса, да и только! В истории человечества не зафиксировано доныне случая, чтобы молодой человек покончил с собой или же был убит из-за девушки, которой он в глаза не видел. Мы хотим сказать, что, будь мясник Мисо политическим деятелем и публицистом, он написал бы статью, да-да, пламенную статью и сравнил бы в ней армянский народ с простуженным козлом, не чуяшим адского запаха близкой крови. В общем, армянскому народу повезло, поскольку Мисо был просто мясником и не блистал грамотой, отчего зарубежные патриоты-редакторы так и не получили пламенной статьи, содержащей весьма и весьма горькую правду.

Но мы отвлеклись; я бы сгорел со стыда и, вероятно, залился бы краской, будь я единственным отвлекающимся и увлекающимся писателем и не почитайся отступление от темы добродетелью, философичностью и проч., и проч., и проч.

Пока суд да дело, мясник Мисо подошел, волоча за собою козла, к трем именитым и почтенным путникам, но обратился лишь к одному из них.

- Ованес-ага, - сказал он, - огромное тебе спасибо.

- За что? - искренне удивился Ованес-ага.

- Господин Геворг вернул долг. Ованес-ага все понял.

- Его и благодари, - ответил он.

Подъехав к особняку Врамяна, они натянули поводья и, словно по велению свыше или же по команде из-под земли, остановились.

Дом Врамяна, двухэтажный, белостенный, с крашенными синей краской дощатыми деталями, перед которым горел второй по счету в Ване газовый фонарь, а вернее, первый, поскольку второй газовый фонарь зажегся перед дверьми ванского наместника, когда до того дошли слухи, что Врамоглы (*) поставил у своего жилища этакое чудо, - дом Врамяна был известен всему городу. По утверждению приближенных к канцелярии наместника армян, фонарь перед дверью высокого начальства день горел, день не горел, и турецким специалистам никак не удавалось утрясти этот важный в техническом отношении вопрос. Поговаривали, будто наместник позвал своих людей, пристыдил их и между прочим сказал: "Армяне, не имея ни государства, ни государственности, не дают погаснуть фонарю Врамоглы, а великая Османская империя не в состоянии зажечь один фонарь... Бездельники! - крикнул наместник. Да-да, он так и крикнул: - Бездельники! - Нетрудно догадаться, отчего достопочтенная троица, предмет нашего внимания, остановилась у дома Врамяна. Он, этот дом, был для них сегодня поистине тем же, чем и церковь для богомольца. Их лица так и сияли радостью и восторгом.

(*) Врамоглы - сын Врама (тур.).

- Красавец дом! - прервал молчание Ованес-ага, обладавший (по вполне понятным причинам) большим, чем остальные, правом громогласно выразить свое к этому отношение.

- Не дом, а дворец, - уточнил Симон-ага, второй по части помянутых прав.

- А во дворце кто живет? Царь. В крайнем случае князь, - на высоком уровне подытожил обмен мнениями Фанос-ага, и друзья, погоняя четвероногих, на двенадцати ногах устремились на восток. И вот перед ними казино "Аскеран".

- Приехали, - вздохнул Ованес-ага и первым поставил ногу на землю. Остальные последовали его примеру, сплели поводья воедино и привязали трех ослов к иве не порознь, а вместе. Поднялись по лестнице и, стряхнув снег, вошли в казино. Они изрядно устали.

- Агавард!

- Буюрун, - вырос перед Фаносом-агой знакомый нам Агавард со своим буюрун, что, как мы помним, означает "к вашим услугам".

- Отнеси-ка этот хлеб, пускай нарежут, а мы пока что помозгуем...

- Слушаю.

Хлеба и Агаварда как не бывало.

- Что будем есть? - спросил Фанос-ага.

Как ни странно, никто из почтенной нашей троицы не думал ни о еде вообще, ни о том, что заказать, в частности Ованес-ага, к примеру, рассуждал про себя, что не мешало бы изредка заглядывать в казино. Он вспомнил: Симон-ага рассказывал, дескать, в полисских казино посетителей обслуживают красивые девушки. "Не девушки - алые розы", - уверял Симон-ага. "Съездить, что ли, в Полис? - думает Ованес-ага, воображая себе девушек, похожих на алые розы, но тут же себя одергивает: - Надо бы освятить могилу Амбарцума". Гм, панихида... алые розы...

Что касается Симона-аги, то он начеку. Фанос-ага пригласил их в казино в первый и последний раз. Чудеса не повторяются. Стало быть, грешно не отужинать пообильней и подороже, думает он. А Фанос-ага, разглаживая морщины на лице, мысленно составляет заказ, который не особенно чувствительно ударит по его карману.

Агавард поставил на стол большое блюдо с хлебом и замер в ожидании.

- Домашний творог у вас есть? - спросил Фанос-ага.

- И творог и сыр.

- Принеси.

Слово взял Симон-ага.

- Творог и сыр с красным перцем, суджух, рыбу, маслины, плов с курицей, тава-кябаб - все неси, - сказал он беспечно и словно бы, между прочим.

- Что Симон-ага сказал, то и неси, - согласно кивнул Ованес-ага, чтобы не оставаться безучастным, и снова погрузился в свои мысли. Панихида... алые розы... плов с курицей... Полис...

Нелепо предполагать, будто заказ Симона-аги не произвел на Фаноса-агу никакого впечатления, но никто и в микроскоп не углядел бы мимолетной судороги на его лице. Что греха таить, сердце Фаноса-аги жалостно затрепыхалось, но виду он не подал.

Обед прошел в дружеской обстановке и на самом высоком уровне. Подавальщик Агавард уставил стол не только тем, чего потребовали посетители, но и прочими закусками, каких ему не заказывали. Подавальщик Агавард раз за разом приносил водку, и должно заметить, что сотрапезники с редким аппетитом поглощали еду и с легкостью пили. О чем они беседовали? Да обо всем на свете - о хозяйстве и связанных с ним удачах и неудачах, о международных проблемах и Хримяне, о пришедших с Кавказа армянских деятелях и ошибочной их политике и, наконец, о Папахах, этих негодяях и разбойниках... И вот тут-то их лица засияли, засветились от счастья, они подняли бокалы, выпили за здоровье господина Врамяна, потом выпили за него еще раз и дружно воскликнули:

- Храни его Бог!

- Вот что! - выдохнул Ованес-ага с радостью человека, совершившего великое открытие. - Дом от нас не убежит, куры мы, что ли, - торопиться на насест... Пойдемте-ка лучше...

И он с загадочным видом умолк.

- Куда? - спросил Симон-ага.

- К Петросу-бею-эфенди-хаджи-аге Гапамаджяну.

Предложение было оценено по достоинству. Симон-ага и Фа-нос-ага с полуслова уловили всю его значительность. И то сказать, под каким еще предлогом могли они проникнуть в роскошный, укрытый сенью ив и тополей трехэтажный дом Гапамаджянов? В шикарный этот дом вели два входа: во-первых, парадная дверь, во-вторых, широкие металлические ворота, куда въезжали и откуда выезжали экипажи, а зимой сани. На воротах сидели два одинаковых, величиной с кошку, бронзовых льва с непомерно большими, почти человеческими усами. Случалось, иной прохожий остановится, не мигая, в упор воззрится на льва и смотрит, смотрит, покуда не заслезятся глаза, а лев, шевельнув усами, не примет облик Петроса-бея-аги. Первый ванский богатей, он держал в руках весь город, и его имя звучало везде, под любой крышей. У него было три горничных, трое слуг и повар. Сын бея-эфенди Сет ездил в школу и церковь на фаэтоне и на фаэтоне же, в сопровождении слуги, - купаться на озеро. У бея-эфенди, как и у львов на воротах его дома, каштановые усы, роста он среднего, с отличным солидным брюшком, у него двойной подбородок, маленькие черные глазки и крупные руки, белые и пухлые. Гость бея-эфенди с трепетом подходит к парадному и не видит обычного молоточка. Как же ему быть: неужели стучаться в дверь кулаком, а то, может, и ногой.

Боже упаси! Всему Вану известно, что справа в парадной двери Гапамаджянов имеется отверстие, откуда выглядывает проволока с закругленным буквой О концом. Проволока прикреплена к средней толщины веревке, которая тянется по усаженному деревьями двору до самого дома, до ярко поблескивающего

звонка, размером и формой похожего на ночной горшок. К язычку звонка и привязан конец этой средней толщины веревки. Гостю бея-эфенди надлежит раз-другой потянуть на себя проволоку, вслед за чем прозвенит звонок и прибежит слуга. Об этом чудо-звонке наслышан весь город, а вдобавок и окрестные села...

- Пошли к бею, не то обидится! - тотчас отозвался Симон-ага, пряча четки в карман. - Уж если мы получили от Папах по пять записок...

- ... то бей-эфенди - штук десять-двадцать, - довершил его мысль Фанос-ага.

- Поздравим бея-эфенди, пускай и он порадуется... Агавард, эй, Агавард!

Водка, с одной стороны, а перспектива встречи с Гапамаджяном-беем-эфенди - с другой вконец оторвали Ованеса-агу от грешной земли, и расплатиться за всех показалось ему плевым делом. Вот почему его обращение к подавальщику было исполнено чуть ли не отеческой теплоты:

- Агавард, сынок, долг платежом красен, сколько с нас? Оба сотрапезника Ованеса-аги пребывали в том же душевном состоянии и дружно, как один, полезли к себе в карман.

- Дайте расплатиться мне! - потребовал Симон-ага, выкладывая на стол золотой.

- Прекратите! - повысил голос Фанос-ага. - Я вас пригласил, мне и платить.

- Что значит пригласил? - раскраснелся Ованес-ага. - Казино - это тебе не дом.

- Не обижай меня, Ованес-ага, не трогай моего дома!

- Никто тебя не обижает, - вмешался Симон-ага. - Мы тоже люди, вот и весь сказ.

- Хватит! - вышел из себя Фанос-ага. - Что вы городите: люди, не люди... Я вас привел сюда, стало быть, мне и платить. И кончено.

- Может, втроем? - не сдавался Ованес-ага, но Фанос-ага уже протянул Агаварду деньги.

- Довольно? Пошли!

4

Троица наших героев с разгоряченными головами и разлитым по телу приятным теплом сызнова пускается в путь. На улицах темно, холодный ветер дует прямо в лицо. Ованесу-аге мерещится, будто колокольцы его осла звенят на шее осла Фаноса-аги. "Что за чертовщина!" - бормочет он, отыскивая ногами стреме на. Стремян нет. Тогда он нагибается и находит их ощупью. Стремена почему-то поднялись выше, словно подпрыгнули. Минутное размышление - и до Ованеса-аги доходит, что он сел на чужого ишака.

Схожие мысли не дают покоя и Фаносу-аге. Как человек худой, он предпочитает седла помягче, теперь же ему явно не по себе: седло под ним жесткое, слишком жесткое. К тому же прежде колокольцы вроде бы звенели на шее осла Ованеса-аги, а теперь... сколько ни слушай, ясно одно - это его, Фаноса-аги, осел позвякивает: дзинь-дзинь-дзинь...

Стало быть, он сел на ишака Ованеса-аги.

"Лишь бы Фанос-ага не догадался, - думает Ованес-ага. - Вот выйдем от бея-эфенди, тогда и сядет каждый на своего".

"Да он, оказывается, того, этот Ованес-ага, - в свой черед, размышляет Фанос-ага. - Едет на чужом осле и в ус не дует, Хоть бы уж не заметил..."

Однако в эту минуту Симон-ага сделал такое открытие, что оба они забыли обо всем.

- Братцы! - с тревогой в голосе произнес Симон-ага, тщетно пытаясь поспеть за друзьями. - Братцы, мой-то осел вовсе не мой!

Что за притча! Поди-ка реши на пьяную голову такую головоломку. Ованес-ага не на своем осле, Фанос-ага - тоже... что ж получается?

Симон-ага настиг друзей, и туг, словно по заказу, из-за густых облаков выглянул надломленный с края диск луны. Когда Симон-ага спешился, кое-что прояснилось: при лунном свете перед ним во всей красе предстал чужой осел - тощий, с измученной мордой, обрезанным хвостом, короткими ушами

торчком и ко всему под старым седлом. Его глаза полнились страдание всех ослов мира.

- Симон-ага! - задыхаясь от смеха, воскликнул Ованес ага. - Это что, осел твоего осла?

- Да нет, - возразил Фанос-ага. - Симон-ага по ошибке оседлал зайца.

- Смейтесь, смейтесь, - буркнул под нос Симон-ага, бессмысленно озираясь по сторонам, будто потерял что-то, и вдруг уставился на осла Ованеса-аги. Длинный белый в черную крапинку хвост животного был невероятно родным. С бьющимся сердцем Симон-ага шагнул к ослу, прижался к его морде, заглянул в глаза и улыбнулся: - Ованес-ага, милый, да ты же сел на моего осла. Он сказал это полушепотом; так говорят, чтобы не разбудить спящего в колыбели ребенка.

- Не может быть! - Ованес-ага тоже перешел на шепот: - Подо мной осел Фаноса-аги.

- Ованес-ага, - уперся Симон-ага, - теперь-то, слава Богу, не темно, луна светит... Я что же, своего ишака не признаю?

- А осел Фаноса-аги? - возопил Ованес-ага, заплутавший меж трех ослов. - Он-то где?

- Ясно где... Увели его у казино, а нам этого замухрышку подсунули.

Все стало на свои места. Ованес-ага слез со своего осла и зашагал в сторону Фаноса-аги, который свесил голову на грудь и преспокойно спал в седле.

- Каждый на своего ишака! - громко воззвал Ованес-ага, но призыв его остался гласом вопиющего в пустыне.

- На своего ишака! - эхом отозвался Симон-ага, поудобней устраиваясь в седле. Фанос-ага спал как ни в чем не бывало.

Ованес-ага хорошенько тряхнул его, а вслед за тем и обхватил двумя руками. Сразу же отметим, что это объятие отнюдь не выражало ни любви, ни дружбы. Без него Фанос-ага, не соображая, где он и что он, попросту бухнулся бы в сугроб, и вытащить его оттуда стоило бы огромного труда. Потому-то Ованес-

ага и обхватил его, изо всех сил поддерживая на своем собственном осле и одновременно пытаясь втемяшить ему в голову немудреную мысль:

- Эй, Фанос-ага, слезай с осла, слезай, ну слезай же... Фанос-ага, похоже, дал зарок не ступать больше по земле. Симон-ага не выдержал:

- Да вы что, думаете, бей-эфенди будет нас до полуночи дожидаться?!

И свершилось чудо: Фанос-ага вздрогнул, поднял голову, огляделся и по какому-то неизъяснимому наитию уловил всю важность момента.

- Чего мы тут торчим? - возмутился он. - Будем двигаться таким манером, никогда не доберемся.

- Слезь с осла, пускай каждый сядет на своего, - возобновил увещевания Ованес-ага.

- Хватит! - крикнул Фанос-ага. - Светопреставление, что ли? Слезай да слезай... Ну вот, слез.

Он и вправду спешился, не очухавшись ото сна, подошел к чужому ослу и на удивление легко уселся на него.

И три незадачливых всадника пустились в путь, и настал миг, когда, словно по велению свыше, их мысль заскользила в одном-единственном направлении: как отнесется к их визиту Петрос-бей Гапамаджян, какими словами, с каким лицом встретит он их?

Так, размечтавшись, миновали они дом Шатворянов и дом сестер Кондачкян. И вот наконец знаменитый дом Петроса-бея Гапамаджяна.

Друзья не удостоили вниманием две тени, которые выскользнули из казино и, мелькнув между обнаженными и заснеженными ивами, подкрались к левому крылу парадного входа, ибо гапамаджяновский дом сиял огнями и было не до теней, зато они ясно как Божий день увидели, что из боковых ворот выехали запряженные парой лошадей сани и остановились у подъезда. А дальше...

Остальное совершилось быстро и буднично: из парадного в сопровождении двух слуг вышел, запахнувшись в шубу, знаменитый и всемогущий Петрос-бей и загрузил сани своей некрупной с виду, мягкой персоной; слуги укутали ковром его уже укрытые шубой колени. Трудно сказать, о чем он думал в эту

минуту; он спешил в дом другого ванского богатея, Геворга-аги Джидечяна, где нынешней ночью имел быть пир, на котором помимо именитых армян ожидались также и турки; это долженствовало показать, кто именно представляет благоразумные армяно-турецкие круги. На дружеский пир пригласили оркестр Кушо и, специально для приготовления тава-кябаба, шеф-повара Симона. Знаменательно было также и то, что на пиршестве предполагалось присутствие американца доктора Ашера, представителя Германии герра Спери и итальянского вице-консула Спордо, перед которыми армянская и турецкая верхушка и намеревалась продемонстрировать свою дружбу.

Об этих-то государственно-политических материях и размышлял, видимо, Петрос-бей-хаджи Гапамаджян, по-хозяйски располагаясь в санях. Возница Аветис из Тимара уже занял свое место и, округлив губы, собирался свистнуть и тряхнуть поводьями, а слуги, давая саням дорогу, отступили на шаг, но тут из-за ив, росших по левую руку от парадного подъезда, одновременно грянуло два выстрела, и, пораженный в голову двумя пулями, всемогущий Петрос-бей-хаджи-ага Гапамаджян перестал размышлять. Лошади заржали и поднялись на дыбы, а ужас, испытанный возницей Аветисом из Тимара, выразило односложное восклицание:

- Ва!..

Что было потом, как именно трое слуг спешно переправляли на второй этаж теплое еще тело богатейшего, умеренно мыслящего и, скорее всего, консервативно настроенного Петроса-бея-хаджи-аги Гапамаджяна, каким воплем разразилась матушка хаджи-аги и как, перебивая рассказ душераздирающими криками, излагала она жизнеописание своего "бесценного Петроса" вплоть до внезапного появления "разбойников с большой дороги" и "треклятых" их записок, как без устали превозносила все физические, а равно и духовные добродетели своего "первенца", а также что сталось с тремя нашими всадниками, - живописать все это мы считаем излишним.

Скажем только, что той ночью они потеряли друг друга на безлюдных и пустынных улицах. Как могло такое случиться, об этом мы тоже предпочитаем умолчать, полагая, что читатель с легкостью решит простейшую, как дважды два, задачку, если учтет, в каком положении очутились наши герои и пережитое ими душевное потрясение, после которого трудно даже взглянуть друг на друга или перекинуться двумя-тремя словами. Можем лишь добавить, что один из всадников - то ли от изумления, то ли от ужаса, а вероятнее всего, от того и от другого разом - упал со всей высоты, не слишком, впрочем, большой, и мягко приземлился на мягком снегу. Опять-таки считаем излишним называть имя потерпевшего. Само собою разумеется, что подобную роскошь мог позволить себе лишь тот, кто чувствовал себя неуверенно на новой высоте.

Не станем говорить и о том, кто и как добрался до дому. Мы вправе утверждать только одно: положив голову на взбитую подушку, Ованес-ага подвел итог совершившимся за день событиям и не сдержал восклицания, ставшего заключительным аккордом известных читателю надежд и разочарований:

- Молодчина Врамян, машалла!

СКАЗАНИЕ ДЕВЯТОЕ,

в котором читатель проследит за различными событиями, познакомится с кузнецом Арабо, а также получит представление об осах и бабочках

1

Над миром и Ваном распустилась весна.

На открытой веранде, откинувшись на мягкие подушки ус, данной ковром тахты и расправляя мундштуком наргиле усы - то правый, то левый, - Ованес-ага покачивается на волнах мыса лей. Он так увлечен ими, что не слышит глухого бархатного клекота наргиле, не видит сизого его дыма. Воскресенье. Обычно по воскресеньям Ованес-ага выходил в синей полосатой ночной

рубахе из комнаты на веранду и, мурлыкая под нос свою любимую песню, спускался во двор.

Батюшка Хримян, родина твоя -

Наш Васпуракан, наш Васпуракан.

Подойдя к грушевому дереву по прозванию "хаджи Нана", о на миг останавливался, глубоко, словно постанывая, вздыхал, ему смутно, как сон, вспоминалась его бабушка хаджи Нана, которая, вернувшись из Иерусалима, посадила эту разлапистую грушу, с чьими плодами не могли тягаться плоды прочих грушевых деревьев.

Батюшка сказал: знаешь ли, земляк,

Острые шипы сладостнее роз...

Ованес-ага повышал голос и сам же удивлялся его силе. Потом оглядывался по сторонам, на соседние сады, страшно довольный, что вокруг ни души и никто не слышит его, надо полагать, не слишком приятного голоса.

На сей раз распорядок весеннего воскресенья, обычный дай Ованеса-аги, нарушен. Он и не думает спускаться в сад, а тем паче петь.

И он уже не чувствует себя защищенным, как прежде. Оно конечно, Папахи давненько не докучают ему посланиями, и все больше говорится об армяно-турецкой дружбе, и немало воды утекло после убийства Гапамаджяна, и, казалось бы, отсечена братоненавистническая кровавая рука заговорщиков - все это так, и, однако, воздух день ото дня становится удушливей и тишина грознее.

Тяжким ударом стала для него смерть матери. Пусть человек далеко не молод, но, когда у него есть мать, ему надежнее живется под крепким ее крылом и душу ему нежат высокие сыновние права. Рослый густоусый мужчина, Ованес-ага плакал, как двенадцатилетний мальчик, и понял, что такое сиротство.

В тот день маленькая старушка истопила, как обычно, тонир и попросила Ованеса: не ходи, мол, в магазин.

- Это еще почему? - воспротивился Ованес-ага.

- Раз мать говорит, что-то знает, - отрезала старушка.

- Скажи, я тоже узнаю. Мать сникла:

- Не ходи сегодня, сынок...

Это обезоружило Ованеса-агу. Он пристально взглянул на нее и через силу улыбнулся, надеясь вызвать ответную улыбку. Мать не улыбнулась.

- Нынче Мхо приедет, - убежденно сказала она.

- Может, и приедет, - с сомнением откликнулся Ованес-ага.

- Приедет, - повысила голос мать.

- Не сердись, приедет...

- И Геворг зайдет.

- Вот и хорошо.

- Одному Амбарцуму больше не прийти.

- Не прийти... Разговор переменился.

- Что тебе сегодня приготовить? - спросила мать.

- Все равно, - ответил сын.

- В детстве ты жареную тыкву очень любил, - оживилась старушка. - Пойду тыкву поджарю.

- Вот-вот, - как маленький обрадовался Ованес-ага. - Поджарь тыкву.

- Мхо, тот жареный тарех любит, - вспомнила маленькая старушка. - А Геворга чем накормить?.. Сатеник!

- Да? - отозвалась из верхней комнаты невестка.

- Достань кавурму. Угостим непутевого, пускай порадуется... Обед прошел великолепно. Наитие не обмануло старуху: из деревни приехал Мхо и, не успев сесть, сказал:

- Ей-Богу, не знаю, зачем приехал. Черт дернул, вот и приехал. Дел невпроворот... все бросил и приехал.

- Моя молитва тебя привела, сынок, - прошептала старуха, а Ованес-ага помрачнел. "Не понимаю, ничего не понимаю, - подумал он, - меня мать не отпустила в магазин, Мхо все бросил и зачем-то примчался в город... Не иначе что-то случится".

В дверях появился господин Геворг.

Обед прошел великолепно, особенно для господина Геворга. Стараниями старухи вино на столе не иссякало. К жареной тыкве, тареху и бараньей кавурме она добавила еще и айвовый соус.

- Любимое кушанье Амбарцума, - обронила старуха. Ованес-ага сделал вид, что не расслышал.

- Положение тяжелое, армяне, мы стоим на пороге больший событий, - заявил Геворг, в очередной раз наполняя стакан. Мать протянула Ованесу блюдце с двумя золотыми:

- Ованес, сынок, поезжай в Стамбул, поставь на могилу Амбарцума надгробный камень. Эти два золотых - от меня.

Последний кусок жареной тыквы изошел во рту Ованеса-ага горечью.

- Что ты такое говоришь? - возроптал Ованес-ага. - Я что же, в Стамбул на твои деньги поеду, надгробие на твои деньги поставлю?

- Слушай, что тебе сказано, - осерчала старуха. - Сегодня меня слушай... я, как-никак, твоя мать. - И прикурила папироску.

Чуть покачиваясь, задумчивая, она вышла из комнаты и вернулась с отрезом пестрого ситца в руках.

- Мхо, детка, отдашь этот отрез моей невестке. Пускай платье себе сошьет.

- Спасибо, матушка, - сказал Мхо, обрадованный и растроганный.

- Да что с тобой нынче? - искренне возмутившись, не сдерживая гнева, спросил Ованес-ага. - В магазине ситец вроде б не перевелся, что ж ты его из сундука-то вытаскиваешь? Мхо в магазине такой же хозяин, как и я, пускай берет что хочет и когда хочет.

- А этот кошелек, Геворг, - тебе. Говорят, сынок, у тебя денежки завелись...

И она протянула Геворгу украшенный серебром кошелек.

- Час от часу не легче, - пробормотал Ованес-ага. - Не иначе услыхала что-то.

А мать услыхала голос смерти; смежила вечером глаза, уснула крепким сном да так и не проснулась. Уснула вечным сном, уснула и затерялась среди сонма усопших.

Были похороны и многолюдные поминки. С расходами Ованес-ага не считался. Долгое время не мог он примириться со смертью матери, и горькое чувство - я сирота, - горькое это чувство не давало ему покоя.

Слов нет, смерть матери была для Ованеса-аги самым тяжким ударом, но затем на него обрушились удары не менее тяжкие.

По ночам у калитки его сада все чаще стучались; что же до хлева... впрочем; теперь это был отнюдь не хлев, а склад.

С шумом и скрежетом останавливалась у его ворот Бурназова арба, доверху груженная сколоченными из длинных досок ящиками, и рыжеватыми кувшинами из обожженной глины, и горшками. Здоровяк Даво обычно сидел на облучке, а на задке большой арбы устраивался бесшабашный и хмельной, безумный и совсем не глупый Хэж-Хэж.

- Кувшины, кувшины, покупайте кувшины! - выкрикивал он немного нараспев.

Если к арбе паче чаяния подходила наивная старуха и приценивалась, Хэж-Хэж мигом становился серьезным и тихо - никто, кроме старухи, его не слышал - говорил:

- Не продается, мамаша, не продается...

Арба подъезжала к воротам Ованеса-аги и останавливалась. Здоровяк Даво и Хэж-Хэж поспешно спрыгивали наземь и, достучавшись, принимались за компанию с тем, кто им открывал, молча и с натугой перетаскивать в хлев кувшины и ящики и укладывать их один на другой под навесом. Закончив тяжелую эту работу, они утирали вспотевшие лбы, заходили во двор, выпивали по кружке студеной колодезной воды, сызнова усаживались на арбу и уезжали Бог весть куда.

Оно конечно, Ованес-ага не был лишен гражданских чувств, подчас он даже гордился в глубине души, что удостоен "с их стороны" столь высокого доверия; ну а ежели правительственные ищейки пронюхают и все выйдет наружу?.. Стоило Ованесу-аге сосредоточиться на этой мысли, как он поневоле останавливался, - это когда он шел; когда же сидел, перебирая четки,

то швырял их в сердцах на ковер; когда же он ел, то замирал с набитым ртом, растерянно озираясь, а затем через силу, без всякого аппетита продолжал трапезу.

Поздней ночью являлись какие-то люди, просили тесло, клещи или что-нибудь в этом роде. И пошло-поехало. Тесло вдребезги раскраивало кувшин, внутри оказывались патроны или порох; из ящиков доставали маузеры, кольты, смит-вессоны, мосины и браунинги, страшное, смертью пахнущее оружие, какого Ованесу-аге сроду не доводилось держать в руках.

"Ворошат осиное гнездо, - думал Ованес-ага, - с осиным гнездом шутки плохи".

И вспоминает Ованес-ага. Он еще несмышленыш, лет ему о силы двенадцать. В глинобитной стене внешнего двора осы сладили себе гнездо и жужжа носятся туда-сюда, весело поблескивали под солнцем золотыми в черную полоску крылышками. Черт его дернул, взял он прут, стал у стены и ну лупить по деловито снующим осам. И все понапрасну; за час или два скинул наземь, раздавил едва ли трех ос - тонким-то прутом в осу не попасть. Он долго ломал голову и поменял прут на палку. Снова без толку. Палка тяжелая, ни быстроты, ни проворства. Выход он все-таки нашел - принялся орудовать школьной линейкой. И не зря. Теперь он почти не промахивался. Хлоп - и раненая оса дергается на земле; дави ее и лупи, лупи, лупи.

Его распирал азарт, ему хотелось уничтожить всех ос до единой. Осам, однако, не было конца, их даже не становилось меньше. Поутру он налил из самовара стакан кипятку и плеснул гнездо. Погибло лишь одно насекомое; через минутудругую осы сновали туда-сюда как ни в чем не бывало. Жужжа вылетали пропадали в нетях и, возвращаясь, устремлялись к отверстию стене, где поджидал их Ованес с линейкой.

Вечером он зачерпнул из оросительного ручья грязи и залепи ею вход в гнездо. Смекалистый, похвалил он себя, не сомневаясь, что взаперти осы передохнут. А утром обалдел - осы продырявив ли нашлепку и сызнова жужжали себе.

Застав его за этим занятием, бабушка несколько раз предупредила:

- Не играй с осиным гнездом!

Он пропустил ее слова мимо ушей.

Видя, что грязь не помогла, он опять взялся за линейку, Н переставая думать о более действенном средстве. Пока вдруг замер с линейкой в руке: гнездо затихло. Что за дела! Почему осы не носятся туда-сюда? Ни одной не осталось? Еще чего - вот сколько их влетело внутрь, а прибил он трех-четырех, не больше.

Хлоп, хлоп, хлоп.

И тут...

И тут осы, стремительно, будто пули, вылетев из отверстия, метнулись к Ованесу. Облепили шею, лоб, щеки, губы, нос.

Он истошно завизжал. На выручку поспешила бабушка; финал Ованесовой затеи ничуть, ее не удивил. Осы ретировались, лицо и голова затейщика распухли и были умащены уксусом первой помощи.

- Говорила ж я тебе: не играй с осами!

И ныне всякий раз, когда в саду слышатся глухие шаги, а затем осторожно, но решительно стучат в калитку, в ушах Ованеса-аги звучит бабушкина заповедь: "Не играй с осиным гнездом!"

"Ворошат, ох ворошат осиное гнездо", - думает Ованес-ага и потягивает наргиле. В булькающей воде плавают, то поднимаясь, то опускаясь, несколько красных ягод шиповника, единственное назначение которых - радовать глаз. Сегодня Ованес-ага в упор не видит красного этого шиповника.

А весна нынче... удивительная нынче весна! Плодовые деревья расцвели до того пышным цветом, что ветви, сдается, непременно обломятся под тяжестью фруктов. Яблоневые, грушевые, абрикосовые, персиковые, сливовые деревья словно снегом запорошены. А с трех сторон обрамляющие сад айвовые деревья? Зеленая их листва искрится так, будто бы сад освещен факелами. Но вот цветы осыпались, одни сразу, другие чуть погодя, и по завязи стало ясно, что год выдался неурожайный - обилие цветов было обманчивым.

- Чем это обернется? - чуть ли не вслух спросил себя Ованес-ага.

- Ты о чем? - услышал он голос жены, которая влажной тряпкой смахивала пыль с перил веранды. Перила вовсе в этом не нуждались - ошибиться было невозможно. Сатеник просто беспокоило мрачное настроение мужа, и она надеялась, что ее присутствие отгонит от него темные мысли.

- Очистили хлев? - ни с того ни с сего спросила она. Вопрос относился к страшным кувшинам и ящикам, которые привезли вчера вечером.

- Средь бела дня? Не беспокойся, никуда не денутся, унесут.

"Баба, она и есть баба", - подумал Ованес-ага и, оставив жену с ее проблемами, отдался своим мыслям.

Поиграли в конституцию, поп облобызался с муллой, армянин и турок поклялись в нерушимом братстве, армянские дети запели турецкие песни:

Отечество в сердце моем,

И кровь за него мы прольем.

Провались и вы, и ваше отечество. Вранье, сплошное вранье. Когда побратаются волк с ягненком, тогда и турок станет армянину братом. Опять оружие, оружейные склады. Резня в Киликии, резня, резня...

Ах, ягненок,

Ах, волчонок...

Ягненок остался ягненком, волк - волком.

Чего только не обрушилось на Ван, чего только на Ван не обрушили! Даво из Дхера, предатель Даво, что ты натворил! Подумаешь, девушка! Мыслимо ли из-за девушки предать свой народ. Тоже мне, девушка...

Он вспомнил Лию. "Пора ее замуж выдавать, - подумал он. - Дочка, дочка, свет в чужом дому, опора чужой семьи..."

Острый запах печенной на огне рыбы отвлек Ованеса-агу. Он почувствовал, что голоден.

Вот и Лия - легка на помине.

- Мама зовет обедать.

Ованес-ага поднял голову. Внутренний огонь только-только расцветшей девушки пылал на лице и в глазах дочери. Волосы заплетены в две косы, стройненькая. Ованес-ага улыбнулся ц сказал:

- Дочка, я тебя замуж выдам. Лия зарделась, но тут же ответила:

- Я из этого дома никуда не пойду...

- Да ну? - притворно удивился отец. - Примака в мужья возьмешь?

- Не хочу замуж, - заупрямилась Лия.

- Чего же ты хочешь?

- Хочу... - Девушка подумала. - Хочу есть. Пойдем.

- Ах ты проказница, - рассмеялся отец и, ухватившись за протянутую дочкой руку, поднялся.

Потянулся, несколько раз привстал для разминки на носки, снова вспомнил конституцию и жуткий свой хлев, зевнул и еще разок потянулся.

- Э-э, - вздохнул он напоследок и направился в дом.

- Сурик, обедать! - полуприказным, полупокровительственным тоном старшей сестры позвала Лия. Мальчик влетел в комнату, схватил спички и снова выбежал во двор. На главной, разделяющей сад пополам аллее он занимался чем-то непонятным.

Наконец он явился, лицо его было напряженным и воодушевленным. Через минуту из сада послышался довольно сильный взрыв: ба-бах!

- Ружье, что ли? - обеспокоился Ованес-ага.

Сурик чуть не запрыгал от радости, но сдержался. Только Лия знала о проделках брата, но она не из тех сестер, которые ябедничают.

Сурик время от времени таскал из хлева порох и собирал в жестяную коробку. Однажды в саду столяра Фаноса он видел, как Саак - тот был постарше года на два - демонстрировал свою сноровку оружейника. Взял стреляную гильзу, продырявил ее, набил порохом, накрепко заткнул отверстие тряпкой и щебнем, потом навощил бечевку.

Сурик прекрасно помнит: Саак положил патрон на садовую дорожку, один конец длинной бечевки подвел к заделанному отверстию, а другой поджёг. И заорал:

- Разбегайся! Сейчас как бабахнет!

Огонь подбирался по бечевке к патрону. Все кинулись наутек, бечевка тлела уже у самого отверстия и... случилось чудо. Бах! Порох взорвался. Сад заволокло сизым дымом. Гильзу выбросило за розарий. Они ее нашли. Гильза еще дымилась.

С этого дня Сурик потерял покой. По примеру Саака он с большим или меньшим успехом несколько раз испытывал изготовленные из гильз патроны, но отнюдь этим не удовлетворился. Он хотел поставить дело по-настоящему. Кто ищет, тот всегда найдет.

И он нашел запаянную с одного конца трубку шириною в трость и длиною в пядь. Оставалось просверлить дыру. На Хач-Похане была кузница. Прибежав из школы домой, Сурик наспех, стоя, запихивал в рот чего-нибудь пожевать, с трубкой в руках спешил к кузне и внимательно следил, как работает кузнец Ара-бо, благо тот был знакомый Мурадханянов.

Кузня у Арабо была маленькая - небольшая наковальня, молот да меха, - и это очень нравилось Сурику.

На третий или четвертый день кузнец обратил внимание на мальчика.

- Ты чей? - спросил он Сурика, расправляя усы с подпалиной.

- Мурадханяновский, - ответил Сурик.

- Да ну? - почему-то удивился Арабо. - Которого из Мурадханянов?

- Ованеса-аги...

- Да ну-у? - пуще прежнего удивился кузнец. - Стало быть, сын Ованеса-аги? Так бы и сказал... Гм, гм... Вырастешь, кем станешь? - спросил он, ткнув мальчика черным от сажи указательным пальцем в щеку.

- Кузнецом, - улыбнулся мальчик.

- Да ну-у-у? - вконец изумился Арабо. - Твой отец купец - богатей, а ты, значит, станешь кузнецом?.. Нет уж, не выйдет! - Арабо покачал головой, свернул цигарку и вдруг продекламировал:

Не станет человеком неуч, не станет никогда. Две книжки прочитав, ученым не станет никогда. Философ ровней богатею не станет никогда.

Кто это сказал?

- Ты, - снова улыбнулся мальчик.

- Эх ты, Колумб! Это сказал учитель Тигран, - рассмеялся кузнец и затянулся.

- А кто такой Колумб? - тоже засмеявшись, полюбопытствовал мальчик.

- Человек, который открыл Америку.

- А что такое Америка?

- Страна, - ответил Арабо и, бросив окурок в лохань, добавил: - Всем странам страна. Между прочим, побольше нашего Вана да Васпуракана. Понял?

Стоит Сурик перед кузней, пряча за спину бесценную трубку, и думает, пора или еще не пора признаться Арабо, зачем он сюда ходит.

- Ты зачем хочешь стать кузнецом?

- Чтобы продырявить эту железку, - ответил мальчик и показал наконец свое сокровище. Кузнец взял из рук мальчика короткую, запаянную с одного конца трубку и принялся вертеть ее так и сяк.

- Где надо продырявить?

- Вот тут, - показал мальчик.

- Зачем?

- Чтобы сделать патрон, - пояснил Сурик. Два несильных удара - и трубка продырявлена. Кузнец легко извлек металлический штырь и швырнул железку в воду. Вода зашипела, показался пар.

- Порядок? - спросил Арабо. Сурик потерял дар речи.

- Парень, - сказал кузнец, - поговорим-ка начистоту, покуда твоя железка остынет.

Он хотел что-то добавить, но в кузницу по-свойски вошел сверстник Сурика в залатанной и все же чистой одежде.

- Мама сказала, дай двадцать пари, схожу за хлебом, - протараторил он, сверкнув на Сурика черными глазами.

Кузнец тяжко вздохнул, вытащил из кармана пустой матерчатый кошелек и помахал им в воздухе.

- Передай матери, я с утра ни гроша не заработал. Ступай домой, хлеба я принесу.

И смущенно улыбнулся.

У Сурика в кармане было как раз двадцать пара. Он приберег их из денег на всякие там ручки-тетрадки. Куплю, мол, свинцовые бабки, а может, юлу.

Сын кузнеца отошел на каких-нибудь десять шагов, и Сурик быстро его нагнал, а нагнав, протянул черную монету:

- На...

Сын Арабо взял деньги, кинул взгляд на кузню, потом на Сурика и, не мешкая, побежал. Правда, разок он все-таки обернулся, похоже затем, чтобы узнать, не одумался ли этот хорошо одетый мальчик, не кличет ли его: дескать, вернись. Нет, хорошо одетый мальчик не одумался, не звал его вернуться.

- Ты что, денег дал моему чертенку? - спросил Арабо, понизив голос, точно боясь, что их кто-нибудь услышит.

- Какому чертенку? - Сурик избегал ответа.

- Сыну моему, Мукучу, я его чертенком зову. Сколько ты ему дал?

- Двадцать пара.

- Ну спасибо. Сегодня, стало быть, проживем. Благодаря тебе. Благодаря этой вот маленькой руке. Ты мне помог, как отец сыну помогает. Хоть и мал еще.

Сурик попрощался с мастером-чудодеем и, чувствуя себя на седьмом небе, вернулся домой.

Через несколько дней он снова появился в мастерской Арабо. Попросил у кузнеца мелкие кусочки металла - заткнуть проделанное в трубке отверстие после того, как набьет ее порохом. Десять пара, которые протянул Сурик, Арабо не взял.

- Куски железа ничего не стоят, а работы я никакой не сделал, за что же деньги? Ступай, сынок, ступай и мастери свой патрон. - И легонько щелкнул мальчика по носу.

Это-то новое оружие и испытывал маленький пушкарь. Отец, ни о чем не ведая, высоко оценил качество патрона:

- Ружье, что ли?

Покончив с обедом, Сурик встал, двинулся было к двери, но, что-то вспомнив, вытащил из кармана спичечный коробок, положил его на подоконник и только потом вышел. "Зачем ему спички? - подумал Ованес-ага, - может, он курит тайком?" Поднялся и последовал за мальчиком. Ему и в голову не пришло, что, если даже сын и впрямь покуривает, на месте преступления его все равно не поймать: спичек-то мальчик не взял, наоборот. Ованес-ага незаметно подкрался к Сурику в ту минуту, когда тот вытаскивал из травы металлическую трубку.

- Что это? - спросил отец, взяв ее из рук мальчика.

- Железяка, - с невинным видом ответил Сурик.

Железяка была еще горячая. Взрыв, мелькнуло у Ованеса-аги б мозгу, и он все понял. Мальчик играет с порогом. Он вспомнил свою детскую игру с пчелами. Порох, однако, не пчела, наказание за такие игры будет пострашнее. До добра они не доведут.

- Порох тебе не игрушка, - сказал Ованес-ага сыну и сунул железку в карман. И ничего больше. "Ну и поколение растет, - думал он, шагая домой. - Играют с порохом, делают оружие... Знамение времени? Дурное знамение!"

А Сурик, оставшись один, принялся изучать место взрыва. Земля кругом была опалена и приобрела рыжеватый оттенок; рыжеватый этот круг был не так уж и мал. Редкая растительность по обе стороны центральной садовой аллеи тоже обгорела. Ну а осколки? Мальчик невольно поднял голову: листья на нижних ветвях раскинувшейся над аллеей яблони висели клочьями, словно побитые крупным градом; тут и там валялись зеленые их ошметки. Неплохое оружие сладил маленький пушкарь! Что же до трубки, Сурик ничуть не огорчился, что

ее у него изъяли. Он найдет новую, побольше; когда она взорвется, прохожие вздрогнут? "Пушка, что ли?"

2

"Похоже, малец спелся с кузнецом Арабо, - пораскинув умом, решил Ованес-ага. - Где ж еще взять такую штуку, как ни у кузнеца? Гм, гм, кузнец Арабо..." И кое-что вспомнив, он улыбнулся в усы.

Кузнец Арабо жил на Круглом холме в одноэтажном глинобитном домишке. Он построил его своими руками, своими руками вставил окна, навесил двери и обустроил жилье нехитрыми удобствами, без которых в быту шагу не шагнешь. Не было на свете ран боты, с какой не совладал бы Арабо: он умел и столярничать, и плотничать, и слесарить, мог стать и землекопом, и оружейником.

Ованес-ага вспомнил - тому уже не один год, - как зашел к нему в магазин Арабо. Они поздоровались и...

Арабо участвовал в "великих событиях" 1896 года, тогда ему единственному у матери сыну, было лет двадцать, от силы двадцать два. Дрался он неподалеку от Круглого холма, и бил, и бывал бит. Днем сражался, а по ночам укреплял разрушенные позиции, стрелял без промаха и пел, пел; воевал с песней на устах, и его имя, оно тоже было на устах у всех. Арабо!.. Того, кто только лишь слышал о нем, а видел впервые, прямо-таки изумляла внешность этого паренька: среднего роста, худощавый, с неширокими - не шире пальца - усами и острыми черными глазами. Это - Арабо? Кто слыхал о нем, тот рисовал его себе огромного роста богатырем с густыми усами и мощными руками, а уж на коне он - что твой святой Саргис...

Нравится ли, нетели, он и был тем самым Арабо, и другого Арабо не было; вдобавок у этого паренька со звучным именем и неказистой внешностью имелся еще один изъян: в последний день роковых сражений его ранило в ногу, и, вылечившись, он остался все-таки хромым. Припадал на ногу чуть-

чуть, еле заметно, но хромой есть хромой. Как и в любом городе мира (это обстоятельство стоит подчеркнуть особо, дабы моим соотечественникам и землякам не было обидно), в Ване изредка попадались хромоногие, которых за глаза величали Хромой Седрак, Хромой Мкло, Хромой Аспатур, словно Хромой - это титул; но Арабо составлял исключение, к нему этот титул не пристал, никому и в голову не приходило подчеркивать его, скажем так, физический недостаток. Он был Арабо и остался им.

После событий девяносто шестого, говоря без околичностей - после войны, мать Арабо умерла. Вечером, когда сын вернулся с работы, сказала:

- Глаза у меня что-то помутились, Арабо, мальчик мой, и на сердце неспокойно. Свел бы ты меня утром в церковь, в Кармравор...

- Сведу, матушка, отчего не свести, - сказал сын, вглядываясь в бледное лицо матери и потухшие ее глаза, и душа у него обмерла, предчувствуя недоброе.

На рассвете мать скончалась.

Отца Арабо не помнил; он был еще мал, когда турки убили того по дороге в село Алюр, позарившись на лошадь. Утрату матери он пережил тяжело, очень тяжело подействовала на него эта смерть. Похоронил Арабо мать на норашенском кладбище, поставил надгробный камень, обнес могилу металлической оградой, а на камне велел высечь: "Антарам - безутешная мать безутешного Арабо".

Трижды зацвел маленький сад перед домом Арабо, и трижды снегом упал на зеленую траву абрикосовый цвет. Не было радетельных рук, дом стал походить на руины, сад зарос и одичал. Соседи и знакомые принялись убеждать-уговаривать: женись, мол, Арабо, женись. Однажды ночью он и сам подумал: оно и неплохо бы, жениться, да вот на ком? Заладили, понимаешь ли: женись, а с кем под венец идти, не с алычовым же деревом? Нет бы посоветовать: женись, дескать, на дочери такого-то. "Вот что, дурная голова, возьмись за ум, не то останешься бобылем. Ты женишься - тебе и решать", - заключил Арабо.

Когда Арабо признался себе, что не прочь жениться на чернобровой и черноволосой Мариам, дочери Седрака Пешовяна (сто в день поминовения усопших у могилы матери, он приметил Мариам - она плакала над могилой двоюродного брата, убитого в девяносто шестом; там же были ее отец, мать, две младших сестренки; грустные, заплаканные глаза девушки запали Арабо в душу; ее отца, старшего мастера ткацкой мастерской, он знал; "Не, плачь, милая, не плачь"), - когда он признался себе в этом, он послал в Мариамов дом на смотрины тещу брательника жены деверя дочери брата своей матери. Не было у Арабо близких родственников. Вся его родня, от мала до велика, была разом - в одном доме - вырезана в том же девяносто шестом. Обычная" самая обычная история...

Ну а когда чернобровой и черноволосой Мариам, дочери Се-, драка Пешовяна, тоже стало ясно, что Арабо хочет на ней жениться, она горько заплакала, вся изошла слезами... Сызмала, слышала она имя Арабо и легенды о совершенных и даже не совершенных им подвигах... Случалось, младшая сестренка хнычет" ее и пристращают: "Тихо! Придет Арабо и заберет тебя!" Сестренка тут же умолкала; а теперь этому страшилищу Арабо - средь бела дня! - норовят отдать ее, Мариам.

- Не хочу, не нужен мне герой, ваш Арабо мне все ребрышки переломает...

- Ты, девка, спятила! - наставляли ее на путь истинный. - У Арабо золотые руки, он мастер каких поискать. Без матери, бед родни, один как перст. В войну он вправду был Арабо, а теперь тише воды, ниже травы.

Так оно и было. Когда во дворе Араруцкой церкви Мариам впервые издали показали Арабо, сердце у нее сладко защемило, а то, что он слегка хромает, так ей это даже понравилось. Слава Богу, Арабо - обычный смертный, человек как человек, а не наводящий ужас крылатый всадник Саргис.

Перед свадьбой жениху захотелось привести дом в порядок: подновить его, починить, обзавестись желтым блестящим самоваром, покрыть пол в комнате - если не ковром, то на худой конец половиком, купить кой-какой посуды, ну и кольцо; сбережения у него были - что это за ванец, коли у него за душой ни

гроша?! - но они не покрыли бы расходов. Правда, ему кое-что причиталось: одному он сколотил мучной ларь, другому навесил дверь, третьему смастерил замки и ключи, а деньги - Бог с ними. Нужда, бывало, заставляла его заглянуть к должникам, и ни разу еще он не уходил от них с пустыми руками. Но теперь... теперь это было выше его сил. Ему казалось (и он не ошибался), что все знают о его женитьбе и к кому он ни зайди - предстоит смущаться, краснеть и покрываться испариной... "Лучше уж занять три золотых у кого-нибудь одного. Единожды смущаться, краснеть и покрываться испариной у одного лучше, чем много раз - у многих. Ну да, просить заработанное легче, чем просить в долг. Но, с другой-то стороны, проще один раз попросить в долг, чем много раз - свои кровные". В конце концов оставалось решить, к кому из знакомых обратиться со своей нелегкой, что там ни толкуй, просьбой.

Сказать, что Ованес-ага удивился, когда как-то после полудня Арабо возник в его магазине - сказать так было бы неверно. Арабо случалось бывать и дома, и в магазине у Ованеса-аги, и дома и в магазине выполнял он разные - полегче и потрудней - поручения. Однако когда Арабо попросил в долг три золотых, Ованес-ага... нет, не удивился, а так, что-то в этом роде. Мало-помалу приходя в себя, он вспомнил героическое прошлое Арабо, его золотые руки искусного мастера, исполненную им работу. Успокоился, взглянул в открытое лицо парня, в его острые, умные глаза и спросил:

- Ну что, Арабо, решился наконец?

- Через два месяца, первого сентября, я верну свой долг, - сказал Арабо и покраснел.

- Пора, пора, - одобрительно кивнул Ованес-ага, и воцарилось молчание. Арабо достал из кармана тяжелый медный портсигар с горой Вараг и парой парящих над монастырскими куполами птичек на крышке, раскрыл его, оторвал клочок папиросной бумаги, ловко вырвал из собственного уса волосок, бережно завернул его в бумагу и протянул Ованесу-аге:

- Слово мужчины, первого сентября.

Ованес-ага, которому был знаком этот старинный, благородный, почти уже забытый в обиходе обычай, рассмеялся:

- Да брось ты, парень, это лишнее. Я ведь тебя не впервые вижу. - Привстал, вынул из брючного кармана известный нам продолговатый кошелек, позвякал им на ладони, развязал, подтолкнул кверху увесистое его дно и, достав три желтые монеты, вложил Арабо в руку.

- Хорошему человеку не жалко, - сказал он. - А вот где мне держать твой вексель? В кошельке! - И, похоже, обрадовался своему открытию.

Через два месяца, первого сентября, день в день и чуть ли не час в час, Арабо пожаловал в магазин и положил подле дымящегося наргиле три золотых.

3

Вот, значит, с кем сдружился Сурен, сомневаться излишне. Помнится, проходя по Хач-Похану, Ованес-ага заметил Сурика у мастерской Арабо, но сделал вид, что не видит.

- Сурен! Появился Сурен.

- Мастерскую Арабо знаешь?

- Какого Арабо? - на всякий случай спросил Сурик.

- Сколько их на свете? Не морочь мне голову! Ступай и позови его, да побыстрее.

Сурик, однако, не стал спешить. Он задумчиво брел по Хач-Похану, соображая, есть ли какая-то связь между вызовом Арабо к отцу и взрывом его, Сурика, мины. И если есть, то к чему это приведет. Совесть Сурика чиста - он не произносил имени Арабо, не выдавал его; и, вообще, отец даже не спросил: откуда, мол, у тебя эта трубка? Да и не в первый же раз отец зовет к себе Арабо, рассуждал Сурик, мало ли в доме дел; он успокаивал себя, но в глубине души сознавал все как есть.

Тревоги его были ненапрасны. Будь у него возможность расхаживать взад-вперед по большой садовой аллее вместе с отцом и Арабо, он бы услышал, как,

порасспросив Арабо про житье-бытье, Ованес-ага вынул из кармана железную трубку и прямо спросил:

- Ты дал ее Сурену?

- Я, - невозмутимо ответил Арабо.

- Еще бы немного - и... Погляди сам.

Арабо осмотрел место происшествия, улыбнулся и сказал:

- Ну и молодчина же твой сын.

- То есть как? - опешил Ованес-ага, не зная, радоваться ему или сердиться.

- Мировой парень! - продолжал Арабо, взяв в руки железную трубку и взвешивая ее на ладони, будто впервые увидел. - Парень, он и должен быть парнем.

Тут Ованес-ага прикрыл глаза, открыл рот - и понеслось; кого он только не помянул: и Арама с Ишханом, и нынешних молодых, и других-прочих...

Арабо послушал-послушал впечатляющую эту исповедь, потом вдруг нагнулся, сорвал листок майорана и понюхал - листок слегка подрагивал на седеющих его усах, - а затем прищурился, точно силился что-то разглядеть в глубине сада... Иной раз, желая выделить особо важное место своего монолога или, быть может, для вящей убедительности, Ованес-ага останавливался - и тотчас же останавливался Арабо; и вот уже они опять вышагивают взад-вперед, взад-вперед...

Наконец настала тишина. Наша парочка прошла несколько шагов молча, и снова раздался голос Ованеса-аги, но теперь он звучал уже не по-ораторски, а вполне буднично и даже, пожалуй, жалобно:

- Воскресенье, а мне все неймется. От работы тебя оторвал... Ну ладно, иди. А что я тебе сказал, намотай на ус. Береженого и Бог бережет.

- Какая работа в воскресенье, Ованес-ага! Разве что крестьяне приедут в город и зайдут с каким-нибудь пустяком.

Ованес-ага полагал, что разговор окончен, что его речь произвела на Арабо должное впечатление и что его мудрые, дальновидные слова тот

незамедлительно намотал на ус и запечатлел в глубине души. Арабо, однако, замедлил шаг и произнес:

- Ованес-ага, я не осмелюсь поучать столь уважаемого человека, как ты. Ради Бога - не обессудь. Ты, например, говорил об осином гнезде. По-твоему, коли гнезда не ворошить и оставить ос в покое, они обернутся шелковичными червями и будут ткать шелковые нити? Держи карман! Осы только и умеют что жалить. Это тебе не пчелы, меда от них не жди. Трогай их, не трогай - все одно. Теперь про Ишхана с Арамом. Хочешь, Ованес-ага, поедем с тобой в Киликию. Там их и в помине не было, Ишхана и Арама, а людей все равно резали - что детей, что матерей. На свете много чего делается не так, как надо, всякий человек не без греха. Взять тебя. Все, за что ты берешься, хоть дома, хоть в магазине, - ты все правильно делаешь? Или, может, Господь Бог не ошибается? Отчего же тогда отдал нас варварам на растерзание? Не знаю, где его искать, а то схватил бы за грудки: Боженька мой хороший, это славно, что ты сотворил овечек и разную безвредную, полезную живность... а волка-то зачем? Чтобы овец пожирал? Овца ведь его не трогала, волка. Ну-ка, Ованес-ага, вспомни, почему ты, малый ребенок, враждовал с дикими пчелами? Наверно, жалили они тебя, ты им и мстил... Нет бы играть с бабочками - охотился на пчел.

В эту самую минуту белокрылая в черную крапинку бабочку вылетела из глубины сада, взмыла вверх, порхнула вниз и сели прямехонько на плечо Арабо.

- Видишь? - обрадовался кузнец, огрубелыми пальцами осторожно взял бабочку за крылышко и подбросил. Бабочка улетела в сторону айвовых деревьев и пропала из виду. Ованес-ага не мог не улыбнуться: не успел Арабо сказать про бабочку, она тут как тут.

- Какому ребенку вздумается губить бабочек? - продолжай! Арабо. - Теперь о нашем Сурене. Что случилось, какая беда? Играет парень с порохом? И пускай! Поди знай, что нас ждет завтра. Таким вещам сызмальства нужно учиться. Трогай волчье логово, не трогай - волку надо жрать. Ванец, слава

Богу, не овца. Нет, Ованес-ага, ванец не овца! Ты Сурена не обижай. Такое наше время, пускай и книжки читает, и с порохом возится... Не обольщайся хорошей погодой. Чистое небо, солнце, глядь - и льет уже красный дождь, и валит черный снег... Вспомни девяносто шестой. Что бы с нами сталось, не возьмись мы за оружие? И стар и млад вышли защищать себя, дрались и освободили Ван. Не трогай Сурена. Нам такие нужны.

- Оставь! - не выдержал Ованес-ага. - Сурен, что ли, сбережет Ван? По-твоему, играй с порохом и завоюешь свободу.

- Пускай привыкают, Ованес-ага, пускай знают что почем. Мы лишены всех прав, но защищать себя - этого-то права не лишены? Пускай с малолетства отличают белое от черного, холодное оружие - от пушек и ружей, пускай привыкают...

4

Когда Арабо ушел, Ованес-ага подумал: "А ведь он не дурак" совсем даже не дурак. Интересно, в какой он партии? Жаль, одного он не сказал: если в стране есть закон и порядок, а резни и смертоубийств нету, что делать там революционерам?" Сам не свой от нахлынувших мыслей, Ованес-ага вошел во двор. "Что делать, куда себя деть? - размышлял он. - Может, податься в кофейню, сыграть партию-другую в нарды? Только вот) с кем? - думал он дальше. - Впрочем, не все ли равно. Хоть бы и с Акобом Кандояном, благо он в кофейне завсегдатай. И в нардах он дока, считается, что один из лучших". Ованес-ага усмехнулся. Давеча он выиграл Кандо. И как выиграл - всухую!

Проходя мимо дровяника, он на минутку остановился, распахнул дверь и с размаху зашвырнул железку на самую верхотуру, в последний ряд умело уложенных дров. "На губах молоко не обсохло, - улыбнулся он, - а за какие дела берется... Ишь ты, Кандо!" Так Ованес-ага называл Сурика, когда того еще не оторвали от материнской груди; теперь он называет так младшенького, Мурада, который сейчас, отыскав во дворе укромный уголок, играет в камушки.

Ноги сами понесли его к хлеву. Черноглазый Усеп, сидя на камне у дверей хлева, починял обувку. Увидев, что хозяин направляется к нему, он встал.

- Что хорошего, Усеп?

- Все нормально, ага.

Ованес-ага вошел в хлев. С лицевой стороны к нему пристроен второй этаж, где высятся копны сена. Ованес-ага прекрасно знает, что спрятано в этом благоухающем невинном сене. Под пристройкой, то есть под навесом, собраны в груду большие и маленькие черепки поломанных кувшинов. Будь это обломки старой посуды, тогда еще ладно... А это? Кто ни увидит, спросит: зачем разбили новехонькие кувшины, а черепки собрали?

- Усеп!

- Слушаю, ага.

- Возьми-ка тесло, раскроши эти черепки.

- Хорошо, ага.

- В песок их преврати, в красный песок.

- Хорошо, ага.

- И посыпь этим песком главную аллею. Пускай среди зелени лежит красная дорога.

- Хорошо, ага. Красиво будет.

- Красиво не то слово. - У Ованеса-аги отлегло от души. Удачная придумка. Он вышел из хлева, напоследок метнув раздраженный взгляд на копны сена.

И перед ним встал все тот же вопрос: что делать, куда себя деть?

Онподнялся по лестнице на веранду. Устроился на тахте, взял в руки свежий номер "Ван-Тоспа". В городе издавались две газеты - "Ван-Тосп" и "Ашхатанк". Ованес-ага, как человек консервативных взглядов, получал "Ван-Тосп". На последней странице ему бросилось в глаза сообщение: в одном селе турки изнасиловали армянскую крестьянку.

- Ах варвары! - промычал он под нос, и его мысли снова потекли по прежнему руслу: "Чего им надо от бедных армян? Чего им надо от бедных армян, разве армянин не Божье созданье? Разве армянин не имеет права жить? Армянин -

горя сын. А вот стране "дядюшки", в России, армяне живут по-людски. Э, в христианских странах все иначе... Где ты, "дядюшка"? Обрушь свои пушки, свои бомбы, свою мощь на головы этих нехристей. Свой царь? Да не нужно нам своего царя. Свободная жизнь - вот чего мы хотим. Армянин не имеет права жить свободно? Другое выхода нет - кровь за кровь. Раз так, кровь за кровь. Как в писании - око за око! Сколько можно терпеть?

Довольно нежить, матушка, меня..." Он вспомнил бывшую у многих на слуху песню и промурлыкал!

Хочу упиться кровью - не водой,

И воевать, и умереть хочу...

"Глупые слова, - поморщился Ованес-ага, - глупость, да и только. Хочешь воевать - замечательно; похвально, что не желаешь околеть, как забитый осел, а вот "умереть хочу" - это под ный вздор. Дурак и тот помирать не хочет". Ованес-ага устрани! нелепость и спел по-новому:

Я воевать - не умирать хочу.

Улыбнулся, довольный собой, и пригладил усы. Посмотрел В окно и единым взглядом окинул свой сад и всю панораму раскинувшегося перед ним Айгестана.

"Чего им надо от бедных армян? - снова подумал Ованес-ага. - Хотят разрушить Ван, а людей - в озеро? Всех уничтожить, и матерей и младенцев!" - гневно прошептал он, и Бог весть как далеко бы зашли его мысли, если б не стук в парадную дверь.

В парадную дверь стучал незнакомец.

"Кто это? - спросил себя Ованес-ага. - Так к нам никто не стучит".

Дверь открыли. Ованес-ага услышал, как незнакомый голос произнес его имя. Засим обладатель этого голоса медленно, но твердо двинулся вверх по лестнице. И на веранде возник начальник полиции Агьяг.

СКАЗАНИЕ ДЕСЯТОЕ,

повествующее об осенившем Ованеса-агу озарении
и о странном его походе

1

...В тот день в армянской части города с самого раннего утра замаячила фигура начальника полиции Агьяга, или, как его почтительно величали, Агьяга-эфенди. Не в форменном мундире, а в обычном цивильном костюме и, похоже на то, без оружия беспечным прогулочным шагом поднимался он вверх по широкой, оживленной улице, протянувшейся от Хач-Похана до Араруцкой церкви. Те из прохожих, которые узнавали его, недоуменно пожимали плечами: что он тут, дескать, вынюхивает в воскресный-то день? - и терзались сомнениями, то ли им здороваться, то ли нет. И словно затем, чтобы избавить их от неопределенности, начальник полиции шел, не глядя по сторонам.

В это же самое время в дверь двухэтажного дома на одной из глухих улочек города постучал молодой человек. Ему открыли, он вошел, и, прежде чем дверь за ним захлопнулась, внутрь влетел второй молодой человек. Оба в один голос спросили господина Арама.

- Господин Арам находится в своей комнате, - на подчеркнуто литературном языке с улыбкой ответила хозяйка, из чего нетрудно было заключить, что она чрезвычайно горда своим именитым постояльцем.

Госпожа Заруи (так звали хозяйку дома) не впервые принимала двух этих молодых людей, которым вместе было едва ли сорок лет; оба отличались смуглотой и загаром, быстротой в движениях и ловкостью; обоих звали Пето. И чтобы отличать их друг от друга, одного прозвали Пето-монархист, другого - Пето-республиканец. Монархист был единственным сыном у матери, тогда как у республиканца имелось четверо братьев и столько же сестер.

Комната господина Арама обставлена аляфранка, если не принимать во внимание азиатскую тахту. Сидя за письменным столом, господин Арам

заносит в записную книжку свои впечатления о событиях дня. "Зашел сегодня в церковь, - пишет он, народу - яблоку негде упасть. Мое появление..."

- Войдите, - оторвался он от своего занятия, услышав стук в дверь, и продолжил: "...вызвало явное замешательство..." - А-а! - воскликнул он, оглянувшись и увидев в дверях Пето. - Проходите, садитесь. Что новенького?

ПЕТО-МОНАРХИСТ. Господин Арам, начальник полиций Агьяг...

ПЕТО-РЕСПУБЛИКАНЕЦ. Поднялся по Хач-Похану, оттуда... господин Арам...

ПЕТО-МОНАРХИСТ. Оттуда, господин Арам... свернул церкви.

ПЕТО-РЕСПУБЛИКАНЕЦ. И идет себе... идет...

ГОСПОДИН АРАМ. А вы, как слепые щенята, с перепугу прямиком ко мне... Чтобы духу вашего тут не было!.. С кем он поздоровается, к кому зайдет, с кем заговорит и даже, если удастся подслушать, о чем - вот что мне нужно. Хороши сведения - идет себе, идет... Какого дьявола, в самом деле!

Тезкам понадобилось лишь одно мгновение, чтобы растерянно переглянуться; они разом бросились вон из комнаты, кинулись на улицу и тут их, как пружиной, разметало в разные стороны - одного направо, другого налево.

Оставшись в одиночестве, господин Арам продолжил прерванное предложение: "... да, мой приход не остался незамеченным. "Что делает в церкви этот еретик?" - безмолвно вопрошали друг друга прихожане, не нарушая церковной тишины. Что он делает? Сейчас еретик сидит и пишет следующее: "Мы - в преддверии великих событий. И если Бога и правда нет, то незачем попусту тратить время, если же Бог существует, то мы и его должны впрячь в эту работу - во имя успеха нашего дела, нашей борьбы. Уроки Ахтамара..."".

2

... Поначалу Ованес-ага просто-напросто не поверил своим глазам. Это он, начальник полиции Агьяг собственной персоной, худосочный и сутулый, с обвислыми усами

- Добро пожаловать, - Ованес-ага поднялся и пошел навстречу нежданному гостю. Несколько раз Ованес-ага четырьмя пальцами правой руки провел от подбородка ко лбу, что было знаком величайшего почтения. Не отдавая себе отчета, он тоже чуточку ссутулился и подался вперед, дабы не выглядеть осанистее своего влиятельного и коварного гостя.

- Буюрун, Агьяг-эфенди, сядьте, пожалуйста, сюда, тут удобнее, мягче.

Но начальник полиции, видимо, не любил сидеть на мягком и предпочел стул перед маленьким круглым столиком на трех ножках; втайне он наслаждался растерянным видом хозяина.

- Как жизнь?

- Слава Аллаху, - ответил Ованес-ага, - слава Аллаху! Как изволите поживать вы?

- Э-э, что за жизнь у чиновника, состоящего на государственной службе? День на день не приходится... Не угостите ли чашкой кофе?

- Кофе? - улыбнулся Ованес-ага. - В кои-то веки заглянули ко мне - и кофе?.. Так не пойдет, бей-эфенди, так не пойдет. Что прикажете - коньяку, водки, вина?

- Кофе, Аханес-ага, только кофе. Прошли времена, когда мы пили коньяк и водку. "Гетди гюль, гетди бюльбюль, истер ахла, истер гюль (*) - нараспев произнес начальник полиции и, довольный собой, провел ладонью по стоявшему перед ним столику.

Ованес-ага оставил гостя в одиночестве, но через минуту вернулся, неся на сверкающем подносе кофе и стакан розового сиропа.

Настала тишина; не прерывая ее, начальник полиции маленькими глотками выпил кофе и, не удостоив внимания сироп, тотчас поднялся.

- Прошу прощения, Аханес-ага. Проходил мимо, дай, думаю, зайду проведаю. У тебя, я вижу, все в порядке. Кланяйся домочадцам. Прощай.

Ованес-ага проводил гостя до парадной двери. Когда же она закрылась за начальником полиции, он минутку постоял в раздумье. Зачем явился этот пес? И лицо его напряглось. Чахк-чухк, чахк-чухк! - это Усеп крошит обломки

кувшинов. Может, пронюхал, что в доме оружие? В таком разе привел бы своих ищеек и устроил обыск. Или задал бы этакий туманный вопрос, в крайнем случае, намекнул...

(*) Увяли цветы, улетел соловей, хочешь плачь, хочешь радуйся (тур.).

Сейчас Ованес-ага опять же стоит на давно знакомой нам веранде и сызнова обозревает панораму раскинувшегося перед ним зеленого Айгестана. В просвете меж раскачивающимися под легким ветерком ветвями на мгновение проглядывает конусовидная макушка мансарды на суджяновском дворе. И вдруг Ованеса-агу словно пронзает молнией, ударившей с конусовидной этой макушки, и на него нисходит озарение. Ну, подлец, ну, разбойник

- Сатеник, а Сатеник! - кричит Ованес-ага, точь в-точь е укусила змея, и сам же пугается собственного голоса.

- Что случилось? - торопится наверх Сатеник.

- Ничего хорошего не случилось, одежду неси!

Он поспешно одевается с помощью жены. Мысль работа четко и стремительно. Так оно и есть, никаких сомнений. Теперь-то ему как Божий день ясно, что Суджян Маргар невиновен. Бедный Маргар, огромного роста, пышноусый, чернобровый и черноглазый богатырь, улыбчивый и общительный, любимец ванцев, про которого говорили: рассмейся Маргар от души - смеялся он всегда от души, - его хохот разнесется по всему их роду и донесется до Варагского монастыря. Очевидцы сказывали, что за день до злодейской расправы к нему постучался начальник полиции Агьяг, вошел в дом, а через полчаса вышел. Теперь Ованес-ага не сомневался, что в хлеву или в дровянике у Маргара тоже был тайник. Ну и что? А вот что. На следующий же день явились к Маргару три армянина - молодые крестьяне или переодетые в крестьянскую одежду горожане, - домочадцев заперли в комнате, а богатыря-хозяина выволокли в сад и зарезали как барана. Теперь Ованес-ага подозревает, что и его ожидает такая же участь. Выродок Агьяг отыскал

отличный способ стравливать собак. Зачем наживать себе дурную славу, к чему все эти допросы и аресты... Куда проще постучаться к армянину, в доме которого, как поговаривают, хранится оружие, и выпить там чашку кофе. И быть уверенным: весть о том, что начальник полиции посетил такой-то дом, мигом дойдет до комитетчиков... а уж они в подобных случаях никого не щадят. И Маргара тоже не пощадили. Перед Ованесом-агой промелькнули друг за другом исчезнувшие либо при таинственных обстоятельствах убитые горожане: Петрос Бозоян, Натур Джанкоян, Седрак Пахризян. теперь... поздравляю, Мурдаханян Ованес, теперь и ты попал черный список.

- ... я твой список... твои обвислые усы... - без удержу поносит Ованес-ага начальника полиции, то и дело вытирая красным платком шею, - ни дать ни взять проверяет, на месте ли голова.

И вот, уже одетый, он быстро спускается по лестнице, за ним поспешает Сатеник - отворить мужу входную дверь.

- Да скажи ты наконец, что случилось? - спрашивает она, не на шутку растревоженная.

- Что случилось, жена, то случилось, - выдавил из себя Ованес-ага и выскочил на улицу.

3

Он на минутку остановился и перевел дух. К которому из троих идти - к господину Врамяну, господину Араму или к головорезу Ишхану? К Врамяну идти не стоит (он вспомнил убийство Гапамаджяна), к Ишхану... Боже упаси, только не к Ишхану (он вспомнил ахтамарские ужасы)... Остается Арам-паша. На ум пришла история вероломства Даво; по слухам, Даво опустился до чудовищной этой низости из желания отомстить за любимую - и все по милости Арама. Это он соблазнил девушку дхерца Даво; мало того, по городу ходят сплетни - он-де путается со своей хозяйкой, женой Седрака Япунджяна госпожой Заруи. Господи, подумал Ованес-ага, да мне какое дело, пускай путается с кем охота, политика тут ни при чем, это забота лопуха Седрака. А

ежели лопуху все едино, то мне и подавно, пускай прикидывается, будто знать ничего не знает... Мой выбор - жизнь или смерть, и я иду к Араму-паше...

И он свернул на малолюдную улицу, где жил Арам-паша.

Дверь открыла госпожа Заруи в пестром платье, плотно облегавшем ее фигуру с округлыми формами, и в пестрой же язме, кончики которой были перекинуты за спину.

Вряд ли бы она так удивилась, даже увидев в дверях собственного мужа, - лопух Седрак никогда не сидел днем дома; в будни он спозаранок уходил в магазин и возвращался затемно, а по воскресеньям с утра до вечера пропадал в кофейне "Ширак", играл в нарды, как ребенок радовался, когда удавалось победить. Вот отчего, приди муж в неурочный час, госпожа Заруи имела бы все основания удивляться; дела постояльца интересовали ее куда больше, нежели домашние или мужнины. У нее вошло в привычку: стоило кому-либо прийти к знаменитому ее постояльцу, она подкрадывалась к закрытой двери и прислушивалась, о чем речь. Чего только не знала госпожа Заруи, осведомленная о множестве серьезных дел, темных делишек и всевозможных сделок; жила замкнуто, наособицу, никого не принимала, к соседям не захаживала, боясь ненароком что-нибудь выболтать, - это означало бы потерю знаменитого постояльца. Очень, очень любила госпожа Заруи господина Арама; целый мир был для нее по одну сторону, а господин Арам - по другую. Как же госпоже Заруи не удивиться внезапному появлению Ованеса-аги Мурадханяна, коль скоро из разговора, состоявшегося за закрытыми дверями между Пето-монархистом, Пето-республиканцем и ее постояльцем, она уже знала о визите к Ованесу-аге начальника полиции? Кто-кто, а Заруи понимала, чем кончаются подобные визиты. И вдруг...

- Я к господину Араму, - сказал Ованес-ага без всяких предисловий.

- Важное дело? - спросила хозяйка, словно проверяя, кто перед ней - живой человек или призрак.

- Какие у меня важные дела?! Пришел поиграть в пятнашки. Сообразив, что вопрос был неуместен, госпожа Заруи предложила:

- Пожалуйте наверх.

Прежде чем подняться по крутой и широкой дощатой лестнице, Ованес-ага еще раз украдкой взглянул на хозяйку. В глаза ему бросилась белая шея госпожи Заруи с двумя черными родинками и рассеченные мочки ушей. Она, видимо, еще девочкой носила тяжелые серьги, которые и рассекли надвое мочки; рассеченные эти мочки заодно с родинками на шее придавали ей необъяснимую прелесть.

"А распутница-то недурна, - отметил Ованес-ага. - У этого типа - имелся в виду влиятельный постоялец - губа не дура..."

- Постучись тихонько, Ованес-ага! - догнав, предупредила хозяйка.

- Зачем же стучаться, а молоточек? - опешил Ованес-ага. Вместо ответа госпожа Заруи трижды стукнула в дверь указательным пальцем: тук-тук-тук. Из комнаты донеслось:

- Войдите.

- Войти? - прошептал Ованес-ага, которого сбила с толку эта таинственная церемония.

Госпожа Заруи открыла дверь, и посетитель проскользнул в комнату.

Господин Арам с прищуром взглянул на вошедшего и, как и хозяйка, глазам своим не поверил; он встал, провел ладонью по чисто выбритому подбородку и спросил:

- Мурадханян?!

- Мое почтение, господин Арам! Узнал?

- А как же. Я ведь у вас был. Как живешь? Садись, садись.

"Должно быть, его подослал Агьяг. Любопытно. Сейчас узнаем, что интересует господина начальника полиции", - думал видный политический деятель, улыбаясь присевшему на краешек стула почтенному ванцу.

- Я извиняюсь... Вы уж простите, господин Арам. - Красным платком он утер вспотевший лоб, шею, потом приподнял феску и вытер голову.

- Что скажешь? - опять улыбнулся господин Арам. - Спрашивай, не стесняйся. Что ты хочешь узнать?

- Нечего мне узнавать, господин Арам, я не за тем пришел, - точно оправдываясь, сказал Ованес-ага, нутром угадав, о чем думает прославленный деятель. - Наоборот, хочу, чтобы ты знал... сегодня ко мне приходил Агьяг-эфенди.

- Агьяг? К тебе? - прикинулся удивленным господин Арам. - Ну рассказывай же, рассказывай.

- Я и пришел рассказать, а рассказать-то нечего. Сел, спросил про житье-бытье, выпил чашку кофе, встал и ушел. Господин Арам помрачнел.

- Куда ушел? - спросил он, чтобы хоть что-то спросить.

- К черту на рога! Почем мне знать куда!

"Хитрюга ванец темнит, - подумал господин Арам. - Должно быть, прознал, что меня на мякине не проведешь, и теперь заговаривает мне зубы. Или... возможно, Агьяг велел: ступай, мол, сообщи, что я у тебя был, послушай его, а там придешь расскажешь..."

- Господин Мурадханян, - вкрадчиво обратился он к посетителю, - ты человек умный и рассудительный. На что это похоже: турок, да еще начальник полиции, является к такому горожанину, как ты, только затем, чтобы спросить про здоровье, выпить кофе и распрощаться? Поверь я тебе, ты первый сочтешь меня придурком...

- Стало быть, - задохнулся Ованес-ага, - стало быть, ты мне не веришь?

- Нет, не верю! - сказал видный деятель. - Не верю! - повысил он голос. И, вытащив из заднего кармана маленький пистолет, положил его на стол, сел, упер ладони в колени и, напряженно глядя на Ованеса-агу, спросил: - Ты зачем ко мне пришел?

Струхнув при виде пистолета, Ованес-ага и сам подумал: и вправду, чего ради он явился к этому человеку, который того гляди ринется на него и задушит.

- Ты пришел ко мне сообщить, что к тебе на чашку кофе за глянул Агьяг. Так? Если это правда, то к чему об этом сообщать?! Какое мне дело, кто к кому ходит пить кофе? Расскажи-ка лучше, как ты показал ему тайник с оружием,

что он при этом говорил и с чем отправил ко мне... У меня, по-твоему, нет сведений о том, что делается в вашем доме?

Ованеса-агу будто за горло схватили; он вскочил на ноги, снова сел и что было мочи заорал:

- У тебя не сведений, а совести нету, ты бессовестный революционер, вот ты кто! И вовсе ты не революционер, ты турок, ты хуже турка! И дело, каким вы промышляете, грязное! И действуете вы, как турки. С одной стороны турки, с другой вы. Вы народ поедом едите, поедом!.. - Он опять вскочил на ноги и опять сел. - Сказать, зачем я к тебе пришел? Чтоб и меня завтра не зарезали, как Суджяна Маргара. Пришел сказать, что этот сучий выкормыш, это исчадие ада заявляется к тому, с кем хочет расправиться... Зайдет и уйдет. А в остальном он на вас надеется. Вам что, вон сколько народу вы порешили. В злом деле мастак, в добром дурак - это про таких, как вы, сказано! Ешьте, ешьте поедом Ван, с одной стороны вы, с другой турки, а море - вот оно, запивайте... Авось не подавитесь!..

Наступило молчание. Слышалось только прерывистое дыхание Ованеса-аги. Но чуткое ухо уловило бы, что не менее взволнованно дышит кто-то за закрытой дверью.

Господин Арам словно очнулся. Шутки шутками, а Врамян всегда был против такого рода "чисток", он все время твердит: надо проверять донесения, а не поддаваться на любую провокацию; они же с Ишханом гнули свою линию - нужны крайние, меры. Неужели они ошибались? "Не ошибается тот, кто ничего не делает", - вспомнил он заголовок одной из редакционных статей выходящей в Женеве газеты, органа их партии. Сейчас он, пожалуй, не сомневается в искренности этого солидного ванца. А не приди этот ванец к нему? Ясно как день, Арам самолично бы приказал мстителям... м-да. "Не ошибается тот, кто..."

Господин Арам не обиделся на тяжкие обвинения Ованеса-аги. На приговоренного к смерти не обижаются, думал он. А какова речь: "В злом деле мастак, в добром дурак!", "Ешьте поедом Ван, запивайте водой из моря..." Что

ни говори, а народ мудр. Ну и как теперь быть с этим приговоренным к закланию ванцем? Известный и влиятельный политический деятель вспомнил кое-кого из отправленных на тот свет по его с Ишханом распоряжению. Хорошо, что Бога нет и нет потусторонней жизни, иначе ему с Ишханом не миновать преисподней. А Врамяну? Того ангелы, серафимы и херувимы наверняка вознесли бы в рай. Он улыбнулся: любопытно, в очках или без очков разгуливал бы Врамян по райским кущам?

Он подошел к двери, чуть помешкал и, приоткрыв ее, позвал:

- Госпожа Заруи...

Вошла госпожа Заруи, всем своим видом выражая готовность оказать услугу.

- Госпожа Заруи, если можно, две чашечки кофе.

- Отчего же нельзя? - молвила хозяйка и удалилась.

- Присаживайтесь сюда, к столу, господин Мурадханян, попьемте кофе, поговорим.

Ованес-ага послушно пересел. И глубоко вздохнул. Похоже на то, что его праведный гнев принес-таки плоды...

- Посоветуй мне что-нибудь, и я пойду, - поднялся он. - Я свое сказал, даже больше, чем надо. Что лишнее сболтнул, за это не обессудьте. Вам виднее - как ваша совесть, ваш Бог подсказывают, так теперь и делайте.

- Да вы садитесь, садитесь, господин Мурадханян! - господин Арам положил руки на плечи Ованеса-аги, усаживая его на место. - Сейчас будем пить кофе... Хорошо, что ты пришел ко мне, объяснился. Твои слова... гм... они разумны. Очень возможно, что этот негодяй нарочно на полчасика заглядывает к тем, кого подозревает и кого хочет опорочить в наших глазах... Кто бы мог подумать! Вот они каковы, турки! И впрямь исчадия ада.

- Они не исчадия, - воодушевился Ованес-ага. - Их бы туда, в ад, в бочку с кипящей смолой... и этого мало.

Кофе пили молча, маленькими глотками, сосредоточенно глядя каждый в свою чашку, однако мысли их витали далеко.

"Придется послать его к Ишхану и Врамяну, - рассудил великий человек. - Конечно, Врамян будет злорадствовать, с него станется, но на это необходимо пойти во имя дела и коллегиальности руководства. Да, во имя великого дела и коллегиальности..."

- Господин Арам, - услышал он голос собеседника, - могу я спокойно спать?

Господин Арам посмотрел на Ованеса-агу так, словно видел его впервые.

- Господин Мурадханян, ты армянин?

- А кто ж еще? - вопросом на вопрос ответил изумленный Ованес-ага.

- Тогда скажи, какой армянин может спокойно спать в нынешней обстановке?

И опять воцарилось молчание. С улицы донесся голос торговца: "Рыба, рыба, покупайте рыбу! Всего десять пара!"

- Беспокойство беспокойству рознь, - заговорил Ованес-ага. - Когда боишься турок, это одно, а когда своих армян...

- Понятно, - улыбнулся национальный деятель. - Что касается нас, можешь быть спокоен.

Ованес-ага вспомнил Врамяна, вспомнил Петроса-бея Гапамаджяна. Какое к черту спокойствие!.. Кто поручится, что Ишхан не подошлет к нему сегодня же своих головорезов... и прости-прощай...

- Пойти мне к господину Ишхану и к господину Врамяну?

- Да, сходи, - утвердительно кивнул господин Арам, - расскажи им все, что рассказал мне. По-видимому, нам придется кое-что уточнить, пересмотреть. Не ошибается тот, кто ничего не делает... Верно?

Ованес-ага встал.

- Счастливо тебе! Ты умница и настоящий армянин. Счастливо! В дверях похлопал по плечу Ованеса-агу великий деятель.

- Милости прошу, заходите еще, - отворяя дверь, улыбнулась Ованесу-аге госпожа Заруи. Дверь закрылась. Ованес-ага глубоко вздохнул, посмотрел направо, посмотрел налево, припомнил, где живет Ишхан, и направился на северо-восток.

Ишхан жил напротив женской школы Сандхтян, в двухэтажном доме, ставшем знаменитым благодаря знаменитому его хозяину. Дверь открыл молодой человек, обутый в сапоги. Он впустил Ованеса-агу и поинтересовался целью его визита.

- Хочу видеть господина Ишхана.

Молодой человек взбежал по лестнице, перемахивая через три ступеньки разом, и вскоре снова очутился внизу.

- Поднимитесь, Ованес-ага. Вторая дверь слева.

- Угу, - удовлетворенно хмыкнул Ованес-ага, польщенный тем, что молодой человек узнал его; подымаясь по лестнице, о" оглянулся и наткнулся на пристальный взгляд этого юноши. Ем .стало не по себе. "Видать, из ишхановской компании, - подумал он, - из тех самых..." Он снова вспомнил убитого Маргара Суджяна. Лоб покрылся испариной.

Стучаться не было нужды. В дверях Ишхановой комнаты ста яла высокая хрупкая женщина, белокожая, с черными печальными глазами; пропустив Ованеса-агу, она ушла. "Жена Ишхана", - подумал Ованес-ага.

В просторной, со вкусом обставленной комнате с двумя большими зеркалами Ишхан показался ему ниже ростом и коренастее.

- Входи, господин Ованес, присаживайся.

- Спасибо. Прости, господин Ишхан. Хочешь спросить, что меня к тебе привело?

"Сегодня у него был Агьяг, - подумал Ишхан. - А правда, чего ему от меня надо? Не иначе... Агьяг подослал!"

- Сядь сюда. Ну? Говори.

- Да что говорить, господин Ишхан. Сегодня ко мне приходил Агьяг.

Ишхан не ожидал такой откровенности.

- Да ну? - искренне поразился Ишхан - не самому факту, ему уже известному, а признанию Ованеса-аги. "Он тронулся", - мелькнуло в голове. - Впрочем, удивительного мало, - сказал Ишхан с усмешкой, - он ведь, кажется, не редкий

гость в вашем доме? Да и ты у него бывал... разве не так? Прекрасный человек, а с прекрасным человеком не грех и дружбу водить, верно?

Этого удара Ованес-ага не снес. И повел себя точно так же, как у Арама: вскочил на ноги, снова сел и, точь-в-точь обороняя голову, стиснул ее руками. Перед глазами возник юноша в сапогах, который впустил его сюда, внимательный, изучающий его взгляд. "Живым отсюда не выйти", - заключил он.

- Я был у господина Арама, - каким-то чужим голосом сказал Ованес-ага, - я ему все объяснил... воля ваша, хотите верьте, хотите нет...

- Что-о-о ты ему объяснил? - насмешливо протянул Ишхан. - Объясни уж и мне.

И повторился монолог, прозвучавший в кабинете господина Арама. Едва ли не теми же словами, с той же неукротимой яростью Ованес-ага заклеймил избранную партией тактику, говорил о невиновности жертв, таких, как он сам и Суджян Маргар, но, не в силах умерить гнев, под конец смешался, запутался и сказал:

- Довольно! Поедом едите Ванское море, а Ваном запиваете!..

Ишхан принялся вышагивать по комнате вдоль и поперек - сперва медленно, затем все быстрее; в памяти всплыли ванцы, чья связь с турецкими властями была доказана неопровержимо и которых боевики по распоряжению комитета отправили на тот свет. Что же до Маргара Суджяна... его и еще кое-кого и впрямь убрали только потому, что коварный Агьяг зашел к ним в дом или в магазин; этого считалось вполне достаточно, чтобы несчастных внесли в черный список предателей. Если Мурадханян не врет, значит, они неоднократно ошибались в своей террористической деятельности... Ишхан вспомнил Врамяна - тот без устали повторял: "Осторожней, ребята! Лес рубят - щепки летят? Так нельзя!"

И вот, пожалуйста, одна из "щепок" сидит перед ним; еще день, и этот человек отправился бы к праотцам; а может, он их разыгрывает? - нет, Ишхан чувствовал, что имеет дело с человеком порядочным. Настоящую тревогу ни

с чем не спутать; не угодив в западню, не станешь искать из нее выхода и добиваться справедливости. Ишхан снова вспомнил тех, кто пал жертвой начальника полиции. Они-то почему не пришли, не рассказали все как есть? Почему, почему... испугались - вот почему. А эта вот "щепка"...

- Говоришь, ты от Арама?

- Да.

- И что он сказал?

- Что касается нас, говорит, можешь быть спокоен. Сходи, говорит, к Ишхану и Врамяну и все расскажи...

Ишхан постоял у окна, выглянул на улицу. Они помолчали.

- Ладно, - повернулся господин Ишхан к почтенному гостю, почесывая указательным пальцем бороду. - Ступай и... живи спокойно. А насчет Врамяна... - Он на минутку задумался и махнул рукой. - Ладно, сходи и к Врамяну. Расскажи. Как говорится, лучше поздно, чем никогда...

- А еще говорится: лучше поздно, да лучше. - Ованес-ага встал. - Коли что лишнее сболтнул, не взыщи.

- Лишнее! Живого места не оставил, - криво усмехнулся Ишхан. - Ну да здесь - это полбеды, а вообще держи язык за зубами.

- Боже упаси! Я же понимаю, - заверил его Ованес-ага и направился к двери. - Я ведь не сумасшедший.

СКАЗАНИЕ ОДИННАДЦАТОЕ.

Поход Ованеса-аги продолжается, новые события и встречи

1

Ованес-ага миновал Норашенскую школу, водяную мельницу и кофейню и повернул на запад. На небольшой площади у Норашенской церкви шла бойкая воскресная торговля. Легким кивком головы он поприветствовал двух-трех шапочных своих знакомых и двинулся по Таза-Похану, улице, начинавшейся одноэтажными домишками и увенчанной радовавшим глаз двухэтажным особняком Тутунджянов. Вдоль всей улицы тянулся просторный сад, в конце

которого был заложен фундамент нового здания. Ованес-ага слышал, что здесь собираются строить "Дашнакский дом" с театральным залом, библиотекой, и бубнил про себя: "Отгрохают, их не убудет. Обирают народ и строят - смотрите, мол, на что мы горазды".

"Ох и воскресеньице нынче выдалось - сплошная нервотрепка! И какое длинное", - вздохнул Ованес-ага и мужественно продолжил свой путь. Прямо у школы ему повстречался Симон-ага.

- Здравствуй, Аханес-ага.

- Доброго здоровья, Симон-ага.

- Откуда идешь?

- От Арама-паши, от Ишхана...

- О...

- Теперь спроси: куда идешь?

- Куда же ты идешь?

- К господину Врамяну.

- О...

- Вот так-то.

- Ты часом не выпил?

- Выпил, как не выпить... спроси - чего... кофе. Спроси: с кем?

- С кем?

- С Агьягом-эфенди. И с Арамом-пашой тоже.

"Да он не в своем уме", - подумал Симон-ага.

- Не беспокойся: я в своем уме, малость даже поумнел, - разгадал Ованес-ага мысли Симона-аги. - Это долгая история, загляни вечерком, расскажу.

- Непременно загляну. А ты не шутишь?

- Какие шутки, Господь с тобой, какие шутки... Короче, приходи.

Ованес-ага вышел на Схгайский проспект и направился на запад. В глаза бросилась большущая вывеска. "Книжная лавка "Письмена"", - прочитал он. Во всю длину вывески красовалось огромное, трехаршинное перо. "Враки все

это, - подумал он, - тетради, перья... все вздор... они тут нелегальные газеты распространяют... Собирают деньги для своего революционного дела"

Он толкнул дверь магазина. За прилавком сидел молодой чёловек с папироской. Это был сын Акоба-аги Амсаряна красавчик Ара, только что вернувшийся из Полиса со свидетельством о высшем образовании.

- Прими от меня десять курушей.

- Как записать? - спросил молодой человек.

- Пиши, Смиренный.

Молодой человек заполнил квитанцию, взял деньги и суну! во внутренний карман Ованеса-аги газету.

- Только осторожно, - коротко предупредил он.

- О чем речь...

На улицу Ованес-ага вышел приободренный. С квитанцией на пожертвование "святому делу" денег и запрещенной, строжайше запрещенной газетой в кармане он чувствовал себя надежно защищенным и неуязвимым. Он даже принялся тихонько напевать под нос:

Свирепые исламские отряды

Зажали нас в горах кольцом осады.

Собственное исполнительское искусство не привело его в восторг. "Петь тоже надо уметь, - подумал он. - Не всякому это дано. - И сам же себя утешил: - Впрочем, песня-то не Бог вест! какая..."

Вот наконец и дом Врамяна. Дверь приоткрыта, и можно раз глядеть залитый солнцем дворик, небольшой водоем и цветы вокруг него - нарциссы и бархатцы, карабкающийся вверх вьюн Я алтей. Перед домом, заметил Ованес-ага, дожидается хозяин экипаж.

Врамян спускался по лестнице, в руке у него были свернутые в трубочку бумаги. Судя по всему, он узнал известного ванского торговца и поклонился в ответ на его приветствие.

- Вы ко мне? - спросил Врамян, внимательно глядя на Ованеса-агу поверх очков.

- Если вы не против.

Врамян бросил обеспокоенный взгляд на экипаж у ворот, на бумаги в руке, а там и на Ованеса-агу.

- Ну что ж, поднимемся.

Они поднялись на второй этаж. В углу открытой веранды стоял круглый стол, покрытый белой скатертью, а на нем - букет свежих цветов. "Видно, очень любит цветы", - подумал Ованес-ага.

Они уселись друг против друга.

- Сегодня ко мне явился Агьяг, - с места в карьер начал Ованес-ага.

- С полицейскими?

- Нет, один.

- И что сказал?

- Ничего. Выпил кофе и ушел.

- Хорошие, однако, у тебя гости.

- Не говори.

- А дальше? - обеспокоился Врамян.

- Дальше? Да вот пришел спросить, что бы это значило? Врамян улыбнулся:

- В этих делах хорошо разбирается Ишхан. А еще...

- Господин Арам, - добавил Ованес-ага.

- Вот-вот, и господин Арам.

С ветки шиповника сорвался листок и упал на белую скатерть. Врамян взял его, понюхал и осторожно положил на краешек фарфоровой тарелки, на которой стояла цветочная ваза.

- Я был и у того и у другого... Теперь пришел к тебе. Ты у нас великий истинаф.

"Истинаф" значит верховный судья. Врамян опять улыбнулся и прищурился.

- Расскажи по порядку.

Ованес-ага со всеми подробностями рассказывал о двух своих визитах. Врамян слушал, и лицо его постепенно мрачнело. Ованес-ага даже засомневался, на самом ли деле тот его слушает. Словно разгадав мысли собеседника, Врамян сказал:

- Продолжай, продолжай...

- Скажу тебе как брату... - и Ованес-ага продолжил свою одиссею. Он так увлекся рассказом, что напрочь позабыл, с каким человеком говорит; сиди Врамян рядом, Ованес-ага не преминул бы для вящей убедительности хлопнуть его по плечу, как делал это за беседой с Симоном-агой.

- И еще скажу тебе... Усаживаясь в экипаж, Врамян пожал Ованесу-аге руку.

- Все будет хорошо. Спокойно живи, спокойно работай. Я дам указания.

И экипаж тронулся с места.

"Какие это он собирается давать указания?" - подумал Ованес-ага, глядя вслед удаляющемуся экипажу.

Рассказывая о своих злоключениях, он напомнил Врамян про случай, происшедший несколько лет назад; тогда Врамян в доме Ованеса-аги торжественнейшим образом изорвал на мелкие клочки угрожающую записку Папах, сразу после этого пей следовало убийство Гапамаджяна... "Уж не собирается ли он дать указание воскресить Гапамаджяна?" - с горечью усмехнулся Ованес-ага. Врамян спросил: "Как там сейчас Папахи, по-прежнему... беспокоят?" Ованес-ага развел руками. "Ни слуху ни духу! - воскликнул он. - Но что проку, господин Врамян ведь никакой уверенности в завтрашнем дне, никакой!" "Может даст указание обеспечить мою безопасность?.." - размышлял почтенный ванец.

Трудно сказать, в какую сторону потекли бы мысли Ованеса-аги, не расслышь он вдалеке звуков строевого марша. Музыка приближалась. Он остановился, выжидая.

Показался военный оркестр, а за ним ряды аскеров. Они шагали с винтовками за спиной, топча главный проспект в такт мелодии. Аскеры казались неотличимы друг от друга; форма формой, но они были еще и на одно лицо. Однако, приглядевшись, Ованес-ага заметил, что они вовсе не схожи между собой, как вообще не схожи между собой люди. Особенно запечатлелся в памяти один из аскеров: востроносый, с тоненькими усиками, он заглядывал в окна домов и улыбался.

Отряд прошел, и стало тихо. Тишина привела Ованеса-агу в чувство, и он медленно побрел вперед. "Стращают людей", - усмехнулся Ованес-ага.

Проходя мимо казино, он уловил острый аромат шашлыка! Почувствовал, что голоден, вспомнил сегодняшние свои визит и что нынче воскресенье; на открытой веранде казино стучали в нарды, и он не долго думая, направился к входу.

Занял место за свободным столиком на той же открытой веранде. Потер ладони одна о другую, хрустнул пальцами - точь-в-точь как перед или после удачной сделки. Сделка хоть куда; он сдвинул феску на затылок и провел платком по сухому лбу; сделка хоть куда. В памяти всплыли обвислые усы Агьяга, рассеченные мочки ушей госпожи Заруи, тонкий палец Ишхана в бороде, экипаж, увозивший Врамяна... Какую, собственно, сделку провернул он сегодня? Никакой. Он ощупал карман. Вспомнил гигантское перо на вывеске книжной лавки. Ощупал карман. Газета. Нелегальная газета.

- Агавард!

- Слушаю, Ованес-ага.

"Выпить, что ли?" - заколебался Ованес-ага, не мигая глядя в миндалевидные глаза и тонкое лицо подавальщика.

- Кябаб на вертеле... с почками.

- Вина, водки?

Задачка упрощалась, вопрос ставился так, что если уж не то и другое, то одно из двух - всенепременно...

- Водки, только водки.

- А всякой всячины?

- Давай, - уступил Ованес-ага.

Агавард умчался.

На столе появилась водка и всякая всячина, то бишь тонкие ломтики суджуха, маслины, сыр, свежие огурчики.

Ованес-ага, с превеликим тщанием извлек из жилетного кармана складной ножик, взял огурец и с превеликим же тщанием принялся очищать его от

кожуры, которая заструилась тончайшей зеленой лентой; Ованес-ага положил огурец на краешек тарелки и, с удовольствием вдыхая его нежный и аппетитный аромат, закрыл ножик и сунул в карман, а кожуру сбросил на стол. Получилось нечто зеленое и извилистое.

"Змея, - решил измученный заботами ванец. - Дурная примета..."

Случалось, что при подобных экспериментах получалась подкова, считавшаяся приметой удачи, иногда нуль, суливший сокращение дохода, а подчас зеленый клубок какой-то мешанины, что также имело свое объяснение - стало быть, дела запутаны...

"Змея", - решил измученный заботами ванец и налил водки.

Тут подоспел кябаб, и Ованес-ага приступил к работе; он ел, изредка прикладываясь к рюмке, и безуспешно пытался вспомнить нечто важное. Водка действовала как должно, и, когда Ованес-ага почти уже вспомнил то, о чем некстати запамятовал, на веранду казино взошел...

Габриэл-ага Демирчян с "Ван-Тоспом" в руках. С первого же взгляда он заприметил Ованеса-агу, улыбнулся и, лавируя между столами и стульями, так и не убрал с лица улыбки.

- Приятного аппетита.

- Здравствуй! Присаживайся.

Как всегда, Габриэл-ага был одет с иголочки. Усевшись, он поправил галстук и краешком глаза примерился к размаху застолья и дальнейшим его перспективам.

- Недурно, недурно, - одобрил Габриэл-ага и холостяцкую воскресную трапезу Ованеса-аги, и щеголеватый свой галстук, и яства на столе.

Ованес-ага поймал взгляд застывшего в дверях Агаварда и поднял пустую стопку, что означало...

Агавард появился с чистой тарелкой, вилкой, ножом и стаканом.

- Что заказать, Габриэл-ага? - обратился Ованес-ага к гостю.

- Ничего, Ованес-ага, того, что есть, достаточно. Правда, такой плов с курицей, как у Токатляна в Полисе...

- Плов с курицей есть, - вмешался Агавард.

- Есть-то есть, - согласился Габриэл-ага, - но токатляновский плов здешнему не чета... Впрочем, надо же и вашего отведать...

- Неси, - распорядился Ованес-ага, - неси плов с курицей. Ну и водки добавь... Что нового, Габриэл-ага?

Веранду, где сидел Ованес-ага, отделяли от ресторанного зала казино четыре закрытых окна и дверь. Кто-то из посетителей открыл окно, и на веранду вторгся глухой шум ресторана, стамбульская песня под аккомпанемент канона и крик:

Откликнись, о море...

Откликнись, о море...

Ованес-ага не желал верить своим ушам, но и возразить - это, дескать, не голос моего брата - не мог; в ясный по существу вопрос Габриэл-ага внес дополнительную и даже излишнюю ясность - показал большим пальцем через плечо, в сторону открытого окна, и сказал:

- Господин Геворг, собственной персоной. Настроение у него, как видно, превосходное.

- Как видно... Так что нового? - снова спросил Ованес-ага, разливая водку. Поднял со стола зеленую змею огуречной кожуры и поискал глазами, куда бы ее бросить. Не нашел. Чуть ли не вровень с верандой лениво покачивались ивы. Огуречная кожура полетела в их сторону и натуральной змеей повисла на ивовой ветке.

Ованес-ага проигнорировал это сходство.

- Врамян на фаэтоне уехал в город. Неспроста.

- Что могло случиться?

- Кто знает? Уж не Джевдед ли позвал...

- Что он за человек, Врамян? - спросил Ованес-ага равнодушно. Габриэл-ага взял кружок огурца.

- Если среди них есть кто поприличнее, так это Врамян. Остальные...

- Остальные ничего не стоят?

- Остальных спиши со счета.

Агаварда принес плов с курицей, и тонус застолья существенно повысился.

- А Ишхан? - спрашивает Ованес-ага, прищурившись. Габриэл-ага отмахивается:

- Ахтамар...

Он не продолжает. Они друг друга поняли.

- А что скажешь про Арама-пашу? - с кривой, заговорщической ухмылкой интересуется Ованес-ага.

И опять им все понятно, но Габриэл-ага полагает нелишним хотя бы приоткрыть скобки.

- Какой из бабника деятель? Ованес-ага меняет тему:

- Скажи-ка, Габриэл-ага, как ты понимаешь революцию?

- Сперва выпьем... Революция - значит, изменение, изменение существующего порядка. Ованес-ага задумывается.

- Изменение... это понятно. А в какую сторону - к лучшему или худшему?

- Разумеется, к лучшему, Ованес-ага, разумеется, к лучшему.

- Допустим. Каждый хочет, чтобы его дела шли хорошо, ну а вдруг прогорит. Что тогда?

- Тогда, - улыбнулся Габриэл-ага, - тогда это уже не революция, а конституция.

- Ха-ха-ха! - расхохотался неизменно сдержанный Ованес-ага. - Здорово сказано... конституция... кон-сти... ха-ха-ха!..

Габриэл-ага тоже рассмеялся над своей для него самого неожиданной остротой.

- Мне добавить нечего, - заключил он и расправил усы зеленым шелковым платком.

Ованес-ага поднял стакан, и, не заставив себя ждать, навстречу ему поднялся стакан Габриэла-аги; полные до краев стаканы, чокнулись, возвысились и опустились на стол пустыми, словно глядя друг на друга и вопрошая: а дальше?

Дальше Ованес-ага то ли вобрал всей грудью воздух, то ли попросту вздохнул:

- Ах, Габриэл-ага, много ли дала нам конституция? Так чего ж надеяться на революцию?

- Мы не спорим, дорогой мой, армянский вопрос - трудный вопрос, нет, не спорим... - На мгновение Габриэл-ага потеря нить своих рассуждений, но тут же поймал другой конец потерянной этой нити и ухватил его. - На земном шаре обитает тьма племен и народов, и все радуются Божьему миру... Ну чего надо от нас турку?.. Ты-то, Ованес-ага, можешь взять в толк, чего ем от нас надо?

- Турку от нас ничего не надо, Габриэл-ага, - понизил голос политически подкованный ванец. - Кому надо, так это нам,

- Вот те на, - разгорячился Габриэл-ага и снова вытащил ид кармана шелковый платок. - И чего же нам от турка надо?

- Свободы.

- Это стыдно?

- Нисколько. Но... у него другие расчеты.

- Плевал я на его расчеты! Мы что, по его расчетам должны жить?

- А как же! Он - государство, ты - подданный.

- Ну ладно, подданный, согласен. А раз подданный - хватай его и режь?

- Зла не сделаешь - не зарежут.

- Какое ж я зло сделал?

- Свободы захотел.

- Ответь мне, Ованес-ага. Коли человек хочет свободы, режь ему горло?

- И Горло перережут, и на виселицу вздернут, и глаза выколют.

- И это правительство?

- А ты как думал, эфенди?- возвысил голос Ованес-ага, увлекаемый в выси водочными парами. - Будешь под носом у правительства привозить оружие, устраивать из домов и церквей оружейные склады, тайком получать подрывные газеты и книжки, подстрекать гайдуков, убивать начальство, день-деньской петь революционные песни и... - Он ткнул пальцем в окно. -... и

кричать: "Подай, о море, голос"? И чтобы после этого я гладил тебя по головке и приговаривал: ай молодец? Брось ради Бога.

Габриэл-ага и сам удивился, что мысли Ованеса-аги - точь-в-точь его мысли; когда при нем нападали на правительство и горой стояли за революционеров, он отвечал теми же словами. Не иначе водка перекинула его на противоположные позиции. Но сдаться или согласиться с Ованесом-агой - об этом и речи быть не могло. И он утвердился на чуждых позициях.

- Стань-ка на место революционера. Куда ни глянь, грабеж, убийство идей и людей, насилие над правами и женщинами, - как обиженный ребенок, жалуется Габриэл-ага. - Мы же не овцы - идти на заклание... Вардан Мамиконян! Андраник!

- Я об одном, ты о другом, так нам не столковаться, - огорчается Ованес-ага. - Если хочешь ясности, то, сказав "а", скажи "бэ". И так до конца алфавита.

- Врамян на фаэтоне вернулся, - будто издалека доносится до Ованеса-аги голос собеседника. - Уезжал с какими-то бумагами, а вернулся - руки пустые. Чем это все кончится?

Агавард поставил на стол бутылку, пробормотал что-то и был таков. Сотрапезники переглянулись. "Я и не заметил, как он водку заказал", - подумал Габриэл-ага. "А деньги-то у Габриэла есть?" - подумал Ованес-ага.

- Агавард, - подозвал подавальщика подозрительный ванец. - Счет.

- Счет оплачен, - последовал ответ.

- Кем? - опешил Ованес-ага.

- Учителем Геворгом.

...А дальше, дальше...

Он силится вспомнить. Он ли это говорит - или мудрствует Габриэл-ага:

- Давай рассуждать так. Старший в доме отец. Он - правительство, сыновья - подданные. Сыновья возьми и взбунтуйся: свободы, мол, хотим, и точка. Ты кто здесь такой? Здесь мы хозяева, и дом наш, и магазин, и сад. Не согласен - проваливай. Да здравствуют свобода и революция! Какой отец на это согласится? Стань-ка на место правительства.

- Так это и есть закон, это и есть логика? - Он это говорит или Габриэл-ага?- Это наша земля, хозяин этой земли наш народ, у нас было царство. Явился ты, отнял нашу землю и сделал нас рабами и пленниками и еще хочешь стереть нас с лица земли... по какому праву, по какому закону?

Он ли стукнул кулаком по столу - или Габриэл-ага?

- Ясно, дорогой мой, ясно, положение скверное, хуже не придумаешь, но что мы можем? Против нас государство, против нас армия! Сказано ведь, лбом стену не прошибешь. Европа?! Детский лепет. Она и не почешется ради тебя, Европа. Гнчак, арменист, дашнак - это три партии. Да еще пришлые - это четвертая напасть нам на голову. Пропади она пропадом, их революция! Народу надо жить. Черные ли дни, нет ли, только бы выжил. Пускай худо живет, но живет.

Приблизился с пустым стаканом в руке брат; подсел к столу, разлил водку, поднял свой стакан и продекламировал:

Их гонят в плен, как скот.
Они бредут,
Мать с дочерью, дитя и молодуха,
Претерпевая боль бессчетных мук
И наполняя плачем бездны слуха.

Левон рукой господин Геворг воздел трость на высоту стакана и прокричал, как пропел, или, может, пропел, как прокричал:

О горы и холмы армян!
Оплачь меня, мой древний Ван!

Что же случилось дальше?

- Уплатил бы лучше свои долги, беспутный! Чего тебе за моим столом?! Бери свою водку и убирайся!

- Неудобно, Ованес-ага, люди смотрят, - вмешался Габриэл-ага.

- Не суй нос куда не надо! - осаживает его Геворг-ага. - Говори, брат, говори...

- Провались ты!

- Провалюсь, провалюсь...

- Ни стыда у тебя, ни совести!

- Зачем обижать Габриэла-агу? Человек он неплохой, да и совесть у него есть.

Габриэл-ага вскочил как ужаленный.

- Речь о тебе, а не...

- Конечно, о тебе, я, по-твоему, не понимаю?

Дальше, что же дальше? Покачивалась на ивовой ветке пожелтевшая и пожухшая огуречная кожура, феска на голове Габриэла-аги съехала набок, а рот его исходил криком (что бишь он кричал?), поблескивала, рассекая воздух, трость брата, потом фаэтон, фаэтон свернул с площади Хач-Похана на широкую улицу... зеленые окна английского консульства... Посторонись!

Рядом, обняв его за плечи, сидит Габриэл-ага и просит, умоляет, заклинает не орать.

- Не надрывай горло, Ованес-ага, что ни скажи, я с тобой согласен, я тебе верю, только Христа ради потише.

- Веришь, что Агьяг приходил ко мне сегодня пить кофе?..

- Верю, верю, - усмехается Габриэл-ага.

- А я встал - и к Араму-паше.

- Само собой.

- Выпил там кофе.

- Ну а как же.

- Потаскуха Арама-паши сварила.

- Не ори!

- Потом... потом пошел к Ишхану.

- Вот и молодец... только потише.

- Да разве я кричу?.. Послушал бы, как я крыл Арама и Ишхана.

- Ты?! - притворно изумился Габриэл-ага, про себя удивляясь необузданной фантазии Ованеса-аги.

- Я с тобой - как на духу.

- Машалла!

- Я им всыпал, этим революционным деятелям!

- Так им и надо. Не ори.

Фаэтонщик Сено то и дело придерживает лошадей - уж не ослышался ли он - и подмигивает Габриэлу-аге: пускай, мол, болтает.

- Вышел я от Ишхана...

А Габриэл-ага между тем думает: "Этак он и до Врамяна доберется..."

- ... и тут я прямиком к господину Врамяну, - продолжает рассказ о геройских своих похождениях Ованес-ага. "Слава Богу, скоро доедем, иначе он и к Джевдеду заявится", - сдерживается Габриэл-ага.

Однако Ованес-ага не пожелал нанести визит к Джевдеду, а счел за благо вздремнуть. "Посторонись!" - доносится до него будто из глубины колодца.

x x x

...И теперь, проснувшись среди ночи от мучительной жажды и продирая во тьме глаза, он силится вспомнить, как попал домой и какие силы помогли ему благополучно донести голову до подушки. Последнее, что сохранилось в его памяти, - это зеленые окна английского консульства и зычное "Посторонись!" фаэтонщика Сено.

2

... Ованес-ага сидит у себя в магазине и перебирает тяжелые бусины четок: чк-чк-чк. Перед ним стакан крепкого чая.

Господин Сет широким шагом расхаживает по торговому залу, следит за работой, отдает распоряжения, приказчики снуют взад-вперед - перетаскивают тюки тканей, а рослый Амазасп, стоя на стремянке, принимает эти тюки и раскладывает по полкам. Голова у Ованеса-аги будто свинцовая, но бодрящий запах крепчайшего чая чуточку облегчает эту тяжесть; он глубоко вздыхает, меняет позу - во внутреннем кармане что-то шуршит. Ованес-ага вытаскивает оттуда две малоформатные газеты, напечатанные на чрезвычайно тонкой бумаге.

- Ясно, - бормочет он. - Сет!

- Слушаю.

- Ты очень занят? Присядь-ка.

- Сию минуту... только обслужу покупателя...

- Ну, обслужи, обслужи, - вроде бы улыбается Ованес-ага.

Наконец старший приказчик, или, как он сам себя величает, управляющий делами Сет, усаживается возле Ованеса-аги, однако же на весьма почтительном расстоянии.

- Сядь поближе... Взгляни на эту газету.

- Ованес-ага, - взяв газету, говорит Сет, - очень хороша идет простая бязь. Большой спрос. Разбирают, - он переходит на шепот, - турецкие чины.

- Как по-твоему, зачем им бязь?

- Разве не ясно? - не повышая голоса, говорит Сет. - Аскерам на белье...

- Надо, надо, как же иначе-то? - оживляется Ованес-ага. - Не оставаться же аскерам без исподнего...

- Это верно. Но... очень уж много берут. По мне, готовятся к чему-то серьезному.

- Просмотри-ка эту газету.

- Она не из Армении.

- Нет.

- И не из России.

- Нет.

- И не из Полиса.

- Нет, дорогой, нет.

- Эта газета из Европы.

- Точно, из Европы, - с непонятной гордостью подтвердил Ованес-ага.

- Ованес-ага, - тишайшим голосом воскликнул сведущий приказчик, пробежав глазами несколько заголовков, - это опасная, это вредная газета.

- Опасная - это верно, но почему вредная? - напрягся Ованес-ага.

- Это... это как посмотреть...

- Как ни посмотри, нужная газета.

- Может быть... Как пишут!

- Народ не должен спать.

- А зачем народу бессонница?

- Сон до добра не доведет.

- Напротив, медики считают...

- Ты спишь, а тебя прирежут.

- Если такие газеты... - он хотел сказать "читаешь", но поправился, - печатают...

Ованес-ага задумчиво размешал чай, отпил глоток, а господин Сет тем временем вглядывался в малоформатные страницы, читал и покачивал головой. Молчание нарушил Ованес-ага:

- Как ни прикидываю, как ни взвешиваю - не вижу, чем все это кончится.

- Женева, - прочитал господин Сет. - Женева, если не ошибаюсь, город швейцарский... Сидят в Европе, а в Турции воду мутят. Ворошат змеиную нору, недоумки. Видели список жертвователей? Сплошь псевдонимы...

- Ну-ка прочти.

- Сразу видно, что народ разделен на части: всякие там драконы, дьяволы и мирные, забитые люди. Вот послушайте: Курдоглотатель, Янычар, Лев, Могучий, Волк, Баран, Черный, Красный, Булава, Динамит, Смертоносный, Взрывчатка, Смерть, Копье, Пламя, Пика, Восставший, Топор, Грабитель, Апупелч (это что такое?), Сабля, Дракон, Яд, Тесло, Микроб, Хаос, Мрачный, Порох, Мститель, Ослик (это точно), Грохот, Бух (ох, как страшно), Черная вода, Переполох, Петух, Террор, Разрушитель, Колдун, Скорпион... Еще?

- Хватит, голова распухла.

- Кроме воинственных и смиренных, - продолжал свой анализ господин Сет, - есть люди нейтральные. Пожалуйста: Лучина, Светозарный, Кроткий, Благородный, Мирный, Земледелец, Любовь, Скромный, Роза, Справедливый... Довольно?

- А я в какой группе? - спросил Ованес-ага, допивая чай.

- Вот уж не знаю... И там и тут, - ответил господин Сет. - И вашим и нашим...

- Я - из второй группы, - к сведению господина Сета и всех прочих твердил и без колебаний заявил Ованес-ага.

День прошел тяжко, словно прополз. Никто из знакомых не появился, да никого и не хотелось видеть. Симон-ага, как и договаривались, заглянул к ним накануне вечером. Сатеник с явным беспокойством сказала ему, что муж как ушел с утра, так и не вернулся.

- А куда он отправился? - спросил Симон-ага, скрывая, что видел Ованеса-агу: надеялся кое-что выведать.

- Ничего не говорил, Симон-ага, ничего. Симон-ага вспомнил про Агьяга.

- К вам кто-нибудь заходил утром?

- Никого не было, - солгала Сатеник.

Симон-ага ушел, теряясь в догадках.

... Что-то важное, очень важное шепнула ему на ухо Сатеник. Он тщится вспомнить, что именно, но напрасно. Подходит господин Сет, в руках у него рулон только что поступившей шелке вой ткани.

- Красивая ткань... Как раз Лии на платье.

Ованес-ага вообразил Лию в этом наряде и вспомнил наконец. Сатеник шепнула ему на ухо, что от Манасерянов приходила неофициальная делегация в составе трех человек. На смотрины. "Манасерян Мигран? Гм, единственный сын у матери, монастырь, земли, богатство... но... но..."

Его размышления были прерваны. В магазин вошел Симон ага.

СКАЗАНИЕ ДВЕНАДЦАТОЕ,

в котором автор повествует о Хекском монастыре, монастырском "настоятеле", заблудшем Мигране Манасеряне, и о его нежданных гостях

1

После полудня из южных ворот города Вана выехал всадник. Под воротами подразумевалась короткая улочка, называемая Нахри-Похан, где стояло несколько убогих одноэтажных лачуг. Всадник проскакал мимо араруцкого кладбища и направился прямо на юг. Неподалеку от города была деревня

Курупаша. Всадник промчался по главной ее улице, не заметив или сделав вид, что не заметил почтительных приветствий редких сельчан. По одну сторону дороги высилась, преследуя его, то издали, то вблизи, гора Вараг; сейчас она отдалилась от него и исчезла из виду. На юг, только на юг! Дорога, на которой едва-едва разъедутся две телеги, временами тянулась по прямой, временами петляла вверх до той точки, откуда ничего уже не разглядеть и где она сливается с небом.

Достигнув этой точки, всадник осадил лошадь и спешился.

Это был Мигран Манасерян, он же "комитет Айоц-Дзора", хозяин Хекского монастыря и принадлежащих, а равно не принадлежащих монастырю земель.

Он разнуздал лошадь, стащил с нее переметную суму и положил на траву поодаль от обочины, снял из-под седла черный черпак, расстелил его среди зелени и похлопал лошадь по крупу. Ростом хозяин был не выше лошади, поверх черных городских брюк он натянул черные сапоги, на голове носил белую широкополую шляпу, которая подчеркивала смуглость и худощавость его лица с маленькими, короткими усиками. Немного отступив от дороги, лошадь фыркнула и принялась спокойно пастись.

Мигран - в городе его называли господин Мигран, а в деревне Мигран-ага - достал из переметной сумы лаваш, сыр, вареные яйца, похинд, свежий тархун, водку и, прежде чем есть, бросил с высоты птичьего полета взгляд на открывшуюся перед ним панораму.

С востока на запад раскинулся Айоц-Дзор; напротив закрывала горизонт высокая горная гряда, на востоке дыбилась безымянная гора, склон которой украшали руины монастыря святого Авраама, а на западе отливало синевой Ванское море - таковы, были естественные границы Айоц-Дзора.

Ел он без особой охоты. Нет, не еда занимала Миграновы мысли. Мюдуром Айоц-Дзора назначили турка из Полиса. С прежним мюдуром у них не было ни забот, ни хлопот, тот днями напролет пил и спал. За это его, наверное, и сняли. Появлялся он в селе со сборщиками налогов, останавливался у старосты, напивался и засыпал. Под стать ему были и его присные. Весть об

их приходе достигала в горах и пастуха Андро с подпаском Авдо. Они спускались в село, погоняя перед собой десяток-другой овец и две-три коровы, дабы сборщики налогов самолично увидели стадо. Те записывали что-то и, всласть напившись, убирались.

Так было раньше. Комитетчиками, "отрядами" эти пьянчужки, не интересовались. Вооружи до зубов Айоц-Дзор - мюдур пил бы себе да спал; провозгласи Айоц-Дзор независимой Арменией - все едино, мюдур спал бы да пил; перенеси, если хватит сил, Айоц-Дзор в Эрзурум или на Кавказ - мюдур не обратил бы внимания на подобные мелочи, пил бы да спал.

А вот новый мюдур... Мигран еще не видел его, но слышал, что приехал он из Полиса, говорит по-французски и, по сведениям господина Арама, являет собою "свободомыслящего" турка, Свободомыслящий турок... поди пойми, что это за чудо такое, свободомыслящий турок. Жена у него тоже "свободомыслящая" - одевшись по-мужски, катается верхом и, открыв лицо, без чадры гуляет с мужем под руку.

Занятый своими мыслями, Мигран, лишь наевшись, сообразил, что так и не притронулся к водке. Однако ничего из ряда вон выходящего не случилось. И дома, и собираясь в дорогу, он неизменно запасался всякого рода горячительным, но сказать, что он водил дружбу с выпивкой, было нельзя. Мигран вытянулся нас чепраке и даже задремал.

И даже увидел сон, сумбурный, бессмысленный, несвязный... Проснувшись, он обычно рассказывал матери привидевшуюся ему несуразицу. Мать верила в сны и умела растолковывать любой из них. Но от такой, по ее словам, "дурости", как Миграновы без начала и без конца сны, она отмахивалась:

- Раскрылся, когда спал...

Порою, однако, Миграну снились сны, которых никому и не расскажешь, - о сугубо личном, тайном, о женщинах или знакомых и незнакомых девушках, и он помалкивал об этом и, без того мрачный, мрачнел пуще прежнего и знай покусывал ус.

... Арам-паша сидит на письменном столе, положив ноги на стул, одно стекло его очков черное, другое - стекло как стекло, одна рука как рука, другая - вроде как медвежья лапа, и не говорит он, а хрипит, и не хрипит, а глухо взвизгивает, наподобие старой граммофонной пластинки:

- Каким образом? В том-то и дело... В настоящий момент самая насущная наша задача - лик-ви-да-ция арменистов. Ванец, а знаешь ли ты, что такое ликвидация? Нет? Вот тебе список - три человека. Твой революционный долг - уничтожить их. Свобода или смерть. Свобода или собачья смерть, ослиное издыханье...

Так или приблизительно так говорил Арам-паша, а Мигран стоял перед ним с тем пистолетом в руке.

- Что ты вертишь передо мной эту штуковину? Ею ты убил своего зятя? Но взамен ты получил от меня целый монастырь, угодья, стада. Целый Айоц-Дзор. Политическую известность и вес. Комитет Айоц-Дзора. Каково?

А теперь тот пистолет уже у Арама-паши. Он подбрасывает его и на лету ловит.

- Мигран, Мигран, - хрипит он, - бесхарактерный ты, безвольный, бесхребетный. И вообще нелюдь. И как у тебя рука поднялась корысти ради сделать вдовой сестру, осиротить ее детей? Во имя; идеи? Дис-ци-пли-ны? Но ведь твой зять был честный армянин, пусть и про-тив-ник...

- Я не убивал зятя, - протестует Мигран. - Чистил пистолет, а он и...

- Хо-хо-хо, - гогочет Арам. - Раз так, бери пистолет и список. Еще несколько случайных выстрелов. Ровно три. Нам не нужны арменисты, не нужны доморощенные дипломаты. Убрать! Убрать, и точка. Не то прощай монастырь, угодья и стада, не то выкину тебя из айоц-дзорского рая. Каин, презренный Каин.

...Похороны, многолюдные, пышные, торжественные похороны. Идут школьники и школьницы с цветами, букетами цветов и венками из живых цветов. Присутствуют представители всех партий. Движется вперед исполинская процессия, и движется, покачиваясь на людских плечах, гроб с

телом жертвы - то ли братоубийственной пули, то ли несчастного случая. Лицо покойника открыто - неестественно белая кожа, широкий лоб, черные усы. В задних рядах шагает и он и плачет взаправдашними слезами. Не в силах перенести направленные на него взгляды - недоуменные, вопросительные, а то и преисполненные злобы, - он старается незаметно затеряться в толпе и садами и глухими закоулка ми пробирается домой. А дома плач и стенания. Мать, овдовевшая сестра с четырьмя сиротами, соседки и родственницы - все они, как и полагалось, не пошли на похороны и подняли такой вопль, что издали сдается, будто это возгласы веселья и шум свадебного пиршества. Крадучись как вор, он проскользнул черв садовую калитку, взбежал по лестнице наверх и заперся у себя. Взглянул в зеркало и в ужасе отшатнулся - в лице ни кровинки На него смотрел муж сестры господин Григор. Отшатнулся, но, словно заколдованный, словно под гипнозом, вновь приблизился к зеркалу. Повернул голову - тот, в зеркале, остался неподвижным. Быстро, испуганно заморгал - и; зеркала вперил в него свой неподвижный и пронзительны взгляд господин Григор. "Комитет Айоц-Дзора" закусил губу чтобы не закричать, и в это самое время тот, в зеркале, заговорил:

- Ты, - сказал он, - конечно же, совершил великое злодеяние... Организованное ли это преступление или несчастный случай - мне все равно. Пускай разбираются живые. Меня уже нет - вот что важно. Я оставил после себя четырех маленький святых: трех мальчиков и самую старшую - десятилетнюю дочь Адрине. Нет на свете детей красивее и способнее моих. Моя дочка должна была стать армянской Жанной д-Арк, старший сын - армянским Ламартином, средний - Виктором Гюго, а младшенький - Цицероном. Учти это. Теперь вся ответственность на тебе. Не я, а ты поможешь им достичь своего предназначения, а нет - я не дам тебе покоя, и совесть... если б она у тебя была. Касательно же партийных проблем... Ясно, что вашей партии, партии сумасшедших и одержимых, - ей не победить. Вы будете похваляться своими поражениями и мертвецами, вашей любимой песней будет

похоронный марш, любимым цветом - черный цвет, любимым запахом - запах ладана. Нельзя покорить мир ненавистью, нельзя взрастить цветы рассолом и керосином, они цветут не для того, чтобы украшать гробы и могилы мучеников " замученных народов... И видит Мигран, каким небывалым блеском исходит зеркало он стоит перед ним, а отражения нет. Мгновение ока... и не кто иной смотрит на него из зеркала, как сам Арам-паша; с укором и сожалением качает головой и цокает языком.

Мигран проснулся.

Так и есть, неподалеку ржал его сытый конь и размахивал от скуки хвостом. Сон не освежил Миграна, куда там, как и всегда после испытанного в забытьи кошмара, он чувствовал себя разбитым и обессиленным. Подозвал коня, взнуздал, встряхнул, очищая от крошек, и накинул ему на спину чепрак, поправил седло, подтянул ослабленные подпруги... поглядел на солнце - времени прошло немного, он читал где-то, что даже самые долгие сны длятся на поверку совсем недолго.

Взяв коня под уздцы, он двинулся вперед и мелким усталым шагом стал спускаться по крутому склону.

Вот и село.

Проезжая мимо одноэтажной школы, он не мог сдержать улыбки. Стоя под окном, пожилая крестьянка умоляющим голосом кричала:

- Учитель, а учитель, отпусти нашего Сако домой, пускай супу поест, покуда не остыл!

В село входило стадо. Деревня ожила, зашумела, запылилась. День обрел смысл. Мигран выпил воды, на ходу поздоровался кое с кем и выехал из села. Солнце взошло, Айоц-Дзор полнился вечерними тенями. Всадник въехал в деревню Аратенц, лежавшую по берегу реки Хошаб. Он не собирался здесь задерживаться, но заметил сельского старосту Наго, старика с внушительной бородой; тот стоял в конце улицы, задрав кверху длинный, тонкий чубук.

Всадник натянул поводья.

- Добрый вечер, староста Наго.

- Вечер добрый, Мигран-ага.

- Как живем-можем?

- Слава Богу, - громко ответил старик и, понизив голос, сообщил: - Два всадника свернули в монастырь.

- Из города?

- Подъехали со стороны Эремери. По всему видать, городские. - Он дунул в чубук и добавил: - Точно говорю, горожане. Крестьяне так не умеют верхом ездить. - Он прищурился и глянул в отверстие чубука - чисто ли?

Сомнения всадника передались лошади, она неуверенно шагнула вперед, потом попятилась.

Из приземистых земляных лачуг высыпали дети в немарких холщовых рубахах, в дверях показались смущенные женщины с прикрытыми или полуоткрытыми лицами.

- Я поехал, - сказал Мигран, трогая лошадь.

- С Богом! - напутствовал его старик.

Когда за Аратенцем лошадь пересекала реку Хошаб, Мигран бросил взгляд на примостившийся в объятиях недалекого взгорка монастырь. Монастырская ограда тянулась, образуя прямо угол, с запада на восток и с севера на юг, а на углу выступала вперед округлая стена его комнаты; хотя сумерки только-только сгущались, оба ее окна были освещены. Значит, к ним пожаловал! гости. Обычно мать ждала сына, сидя на камне по правую руку от монастырских дверей. Нередко Мигран возвращался домой за полночь, и между ним и матерью, не знавшей, где он пропадал происходил один и тот же разговор:

- Чего ты сидишь, как сова, в темноте, почему не зажигается света?

- Мне свет ни к чему, - отвечала она. - Тебя дома нет, все уже спят, для кого мне лампу жечь?

Окна светятся, мать зажгла лампу, и зажгла раньше времен стало быть, гости...

Миграна встретила мать, легкая на подъем, поворотливая всегда чем-то озабоченная женщина между пятьюдесятью и шестьюдесятью.

- У нас новый мюдур, - сообщила она сыну.

- Один?

- Нет, не один... с ним какая-то такая... в мужских штанам! вроде бы жена. - Она улыбнулась и, кивнув в сторону дома, растопырила пятерню в знак проклятия. - И как их земля носит, таких жен...

- Что приготовила?

- Плов с курицей. Мигран не стал спешить в дом.

- Что за человек мюдур? - спросил он; мать - он был ранен - разбиралась в людях.

- На турка не похож, - ответила она шепотом. - Ступи. Ступай.

Он толкнул дверь. Что в доме нежданные и более чем необычные гости, это он раньше всего учуял носом. Воздух в комнате стал легким-легким от благоухания нежных духов. Его слуха достигли колокольчики женского смеха, и лишь вслед за тем он увидел белое, гладко выбритое лицо нового уездного начальника, удачно посаженный под носом треугольник усов, новехонькую ярко-красную феской его спокойный исподлобья взгляд. Похожая на девочку, молоденькая женщина с густыми мальчишескими волосами, в серое мужском костюме и изящных сапожках сидела на колене уже на молодого мужчины и блестящим пинцетом выщипывала волоски из его носа и ушей. Для удобства работы она тянула мужа то за правое, то за левое ухо; мюдур терпеливо подчинялся прихотям жены, всем своим видом показывая: попал в руки сумасбродки, терпи, делать нечего...

Увидев Миграна, женщина спрыгнула с мужниного колена, бросила пинцет на низкую, широкую и длинную, во всю стену тахту, захлопала в ладоши и весело, по-детски ликуя, воскликнула:

- А вот и хозяин дома, хозяин монастыря! А где же борода?

Она подошла к Миграну, вложила свою маленькую ручку в его ладонь и потащила Миграна к мужу.

Внушительного вида уездный начальник с вежливой и сдержанной улыбкой поднялся, и женщина соединила их руки.

- Камал, - назвался мюдур.

- Мигран.

- Мигран? - переспросила женщина и повернулась к мужу. - Помнишь, бей, у нас в Стамбуле был знакомый, Мигран-эфенди. Врач, верно?

- Нет, не врач, - поправил ее бей. - Владелец аптеки.

- Не все ли равно? - заключила жена. - От аптекарей, как и от врачей, пахнет лекарствами. Все равно.

Говорили они по-турецки: Мигран на своем провинциальном, но довольно гладко отшлифованном в школе языке, а гости на чистейшем стамбульском диалекте.

- А меня зовут Нана. Нравится вам мое имя?

Гость и хозяин посмотрели на нее с одинаковой по выражению улыбкой: так смотрят на избалованных, но любимых детей. Камал почувствовал, что разъяснять Миграну, что за птица его жена, нет нужды.

Мигран пригласил гостей на тахту. Они сели, скрестив ноги и облокотившись на мягкие подушки. И потекла беседа, поначалу о погоде, достоинствах и недочетах Айоц-Дзора, о городе...

- Мюдур-эфенди приехал из Стамбула? - спросил Мигран.

- Родом я из Стамбула, - ответил гость, - но учился в Париже... Вы, должно быть, думаете, каким ветром занесло меня в Ван? - Мигран улыбнулся. - Обыкновенная любознательность. Нана страстная путешественница.

- И модница, - добавила Нана, ударив себя по бедру, как это делают мужчины.

- Мигран-эфенди, дорогой, скажи матушке, пусть она поможет мне переодеться.

- Мама! - позвал Мигран. - Мама!

Вошла мать.

- Мама, - попросил Мигран, - отведи ее, пускай переоденется.

- Пойдем, пойдем, горе ты мое, - с деланной суровостью сказала старуха.

Нана вынула из мягкой кожаной сумки какое-то платье, обняла старуху за плечи, и они вместе вышли из комнаты. Нана горячо убеждала старуху, что

она вовсе не мужчина, а настоящая женщина, и сейчас она это докажет; старуха разве что чутьем угадывала смысл ее слов, но соглашалась:

- Верно, верно, чтоб тебе пусто было...

Через несколько минут, когда гость и хозяин молча курили, словно дожидаясь преображенной Наны, в комнату в коротком платье с обнаженными руками и шеей влетела юная женщина, скорее девочка с едва пробудившейся женственностью. Она вспрыгнула на низкую тахту, прижалась к мужу и спросила:

- Ты меня любишь, бей? Муж погладил ее по волосам.

- Точно сказать не могу.

- Не повторяй мои слова. - Она повернулась к Миграну: - Мигран-эфенди, три года назад, когда бей просил моей руки, он спросил: "Нана, милая, ты меня любишь?" Я ответила: "Точно сказать не могу..." А сейчас я могу сказать точно, что люблю... и Миграна-эфенди люблю, и матушку. Бей, матушка не знает по-турецки, но все, что я ей говорю, понимает. Вот ведь умница, верно?

Мать тем временем, улыбаясь, вошла в комнату.

- Есть будете?

- Неси, все проголодались.

Мать быстро и сноровисто постлала перед хозяином и гостями белую скатерть, расставила на ней вкусно пахнущий лаваш, сыр, маслины, затем - в честь гостей - вилки, ложки и ножи и наконец рисовый плов с куриным мясом на большом продолговатом, как ладья, блюде.

- Принеси нам коньяку, - улыбнулся Мигран и взглянул на Нану: как, мол, она отреагирует. Отреагировала она так: захлопала в ладоши:

- Бей, будем пить коньяк!

Нана наотрез отказалась сесть аляфранка; она брала плов куском лаваша, как делали это деревенские жители, и подносила ко рту, не обронив ни рисинки.

Коньяк оживил беседу; новый мюдур рассказывал о Париже и Стамбуле, Нана расцвечивала рассказ мужа подробностями, и Мигран слушал их с неподдельным интересом. Рассеялись последние воспоминания о кошмарном

сне. Женские странности Наны произвели на него большое впечатление. "Вот оно, свободомыслие турчанки", - думал он.

О чем бы ни говорил Камал, во всех его рассказах так или иначе фигурировали армяне. Он называл их имена с неизменной симпатией, вспоминал, кто чем занимался, обстоятельно обрисовывал их жизнь и быт и всякий раз добавлял:

- Хороший человек, очень хороший... Мать принесла еще бутылку коньяка.

- Я уже Пьяная, - сказала Нана, обняв и поцеловав старуху.

- Прости Господи! - пробормотала старуха, и слабая улыбка тронула ее озабоченное лицо. - Чего ей от меня надо? Нана чмокнула мужа, не пощадила и Миграна.

- Матушка, возьми меня куда-нибудь, пойдем погуляем... пускай мужчины посидят дома...

- Пошли, непоседа, знаю я, что у тебя на уме. Они вышли.

- Народы должны жить в мире и согласии, - услышал Мигран далекий голос Камала. - Армяне - великий народ-созидатель, и турки не могут без армян. Если по справедливости, хозяевами государства должны бы быть армяне, а турки - их подданными. Но вышло наоборот, и никому не под силу изменить положение вещей. Армяне должны понять эту ситуацию, и простую и сложную. За чем же дело?.. За чем же, стало быть, дело? - он закурил и выпустил дым в треугольник своих усов. - За тем, чтобы по справедливости разделить права и обязанности и уважать друг друга. Без этого жизнь не жизнь, Мигран-эфенди, без этого будет худо.

Камал говорил на стамбульском диалекте, и Миграну казалось, что он не говорит, а поет. В открытое окно влетел далекий звонкий смех Наны. А следом - тревожные увещевания матери:

- Да замерзнешь же ты, девка, ах, чтоб тебе! Судя по всему, Нана полезла купаться в реку, которая текла у подножия монастырского холма, мимо рощицы.

- Остановимся на местных чинах. Сами посудите, Камал-бей, более или менее человечных отзывают, а то и подвергают опале, взамен же направляют таких,

кому ничего не стоит подковать армянина. Да, да, вы не ослышались, они подковывают армян, как лошадей.

Мигран умолкает; так ли следует говорить с турком, да еще с уездным начальником, по сути дела, нынешним местным правителем, хотя он как будто и ни при чем?

- Разумеется... - продолжает Мигран, намереваясь отступить на полшага, но бей перебивает его:

- Необходимо учитывать политический климат. - И разъясняет: - Его создают армянские революционеры. Когда относительно спокойно, из центра направляют Таира-пашу... Каково ваше мнение о Таире-паше?

- Неплохое...

- Вот видите, - улыбнулся турок. - Значит, положение не столь уж безнадежно... Они рассмеялись и подняли бокалы.

- Что касается Джевдеда, на предшественника он не похож, это верно. Равно как нынешний политический климат уже не тот, что во времена Таира-паши. Какие краски на небе, такие и на море. Но это одна сторона вопроса, Мигран-эфенди, - понизил голос мюдур. - Во мне живет турок и человек. Турок думает так как я сказал. А человек... человек думает... - он умолк и, помолчав, добавил:

- Да мало ли что он думает.

Воцарилось молчание.

- Дело портит третья сила. - Камал заговорил каким-то чужим голосом. - Существует турецкое государство, а кроме того армяне, живущие в пределах этого государства. Если это так, то вмешательство третьей стороны излишне и даже опасно. Если пророки свободы и впрямь нужны, пусть народ породит собственных пророков, героев оружия и слова. Импорт иных товаров обходится слишком дорого.

Намек был прозрачен. Быть может, и неосознанно, уездный начальник нащупал ахиллесову пяту айоц-дзорского комитета и лично его, Миграна. Камал намекал на пришлых деятелей. Но не будь их, этих пророков свободы... А не будь истории с Оттоманским банком и Ханасорского похода?

Мигран снова вспомнил тот кошмарный, уже столько раз виденный сон, который, похоже, будет преследовать его всю жизнь Дорого, воистину дорого обходится ему монастырь.

За дверью раздались хорошо знакомые быстрые шаги.

- Мама? В дверях показалось улыбающееся лицо матери, в руках они держала белоснежное полотенце.

- Эта девка влезла в воду. Боюсь, простынет. Не девка - огонь. Не пойму, сынок, это мюдурова жена или дочка?

И, не дождавшись ответа, заторопилась.

Мигран со сдержанным смешком перевел вопрос матери.

Мюдур грустно улыбнулся и потер виски, где не слишком удачно укрывалась от посторонних глаз седина.

"Красивый мужчина, - подумал Мигран, глядя на мюдура, - но, видно, намного старше Наны... Интересно, дети у них есть?"

- У вас дети есть? - спросил он.

- Нет, - ответил Камал, - Бог не дал...

- Рано еще винить Бога.

- А вы верите в Бога? - спросил мюдур, в упор глядя на Ми-грана.

Вопрос застал Миграна врасплох. Верует он в Бога или нет - Мигран никогда над этим не задумывался. В школе он проходил закон Божий - Ветхий завет, Новый завет, Исаак родил Иакова, Иаков родил... кого родил Иаков, он уже не помнит, да и вообще, как Исаак и Иаков могли родить, чем же тогда занимались возлюбленные их жены?.. Гора Синай, картавый пророк Моисей, рожденный девственницей Иисус, верхом на осле въезжающий, словно на ванский базар Мухсаха, то ли в Назарет, то ли в Иерусалим. Какая-то Мария, какая-то Магдалина и толпа, побивающая ее каменьями... Какой-то Пилат. Пилат-милат.

- Вижу, что не веришь, - мягко и снисходительно заметил Камал, глядя в прищуренные глаза и насмешливо поджатые губы Миграна. - А я верую. Но я верую не в нашего Магомета или в вашего Иисуса, нет; если они и

существовали, то проводниками идей были неважными... Есть некая сила, великая, неизъяснимая, высшая сила... В нее я верю.

- А эта сила играет роль в политике? - спросил Мигран полушутя.

Камал улыбнулся:

- Политика - дело человеческое, земное.

- А как насчет небесной политики, она есть? И еще один вопрос, посерьезнее: в семейные дела эта неизъяснимая сила вмешивается?

- Бесспорно, - ответил мюдур.

В коридоре послышались шаги: в комнату влетела запыхавшаяся и счастливая Нана.

- Бей, я купалась в реке!.. Ах, какой восторг, какое наслаждение!..

Керосиновая лампа под потолком освещала ее смуглое лицо, и потемневшие зеленые глаза смотрели из-под длинных ресниц устало и радостно. Вслед за Наной в комнату вошла мать. Она взяла из рук Наны влажное мохнатое полотенце и протянула ей новое.

- Возьми, чертовка, вытри волосы. Так влазит в душу, что не хочешь, а полюбишь... Такую бы девушку в наш дом, - вслух подумала старуха.

- Бей, я спросила: будь я девушкой, взяла бы она меня в невестки, она говорит: да... Все понимает, все. Говорю: я ведь турчанка... Такой умной матушки и в Стамбуле не найти. Еще она мне сказала... Как ты мне сказала?

- Аплпоч, - смеется мать.

- Что это значит? - повернулась Нана к Миграну.

- Смышленая, сообразительная.

Нана обняла старуху, приподняла, оторвала от пола.

- А вот и нет, я как ребенок, еще глупее, не веришь, спросу у бея.

- Ох, в пояснице хрустнуло... чтоб тебе пусто было! - воскликнула мать, явно довольная столь необычным проявлением теплых чувств.

- А теперь, мужчины, прочь! Хватит пить без меня. Марш отсюда!

Камал и Мигран встали.

- Наша беседа не окончена, - сказал Камал. - Впрочем, ей и нет конца.

- Погостите у нас несколько дней, - сказал Мигран, подсластив улыбку, - и мы, бей, вволю наговоримся.

- Несколько дней! Нет, эфенди, увы. Мы завтра же уезжаем в Хоргом.

- Останемся, бей, давай останемся, твой Хоргом не убежит, - повисла Нана на шее мужа. - Мигран-эфенди каждый день будет угощать нас коньяком...

- Каждый день, - подтвердил Мигран.

- А теперь - прочь!

Ночь была безлунная, беззвездная, привольная. Они пересекли широкий двор, вышли за монастырские ворота и прогулялись вокруг ограды.

- В Беркри, - заговорил Мигран, - турок по имени Хтрик зарезал нескольких армян, собрал их кровь в корыто и выкупался. Выкупался в крови... Ах, какое удовольствие! Где же ваша высшая сила?.. Что тут скажешь, бей? Как говорится, песен-то много знаю, да голоса нет...

- Возмездие неминуемо, Мигран-эфенди, проливший кровь не будет жить спокойно и безнаказанно, - прозвучал в темноте голос Камала.

Сердце Миграна забилось так громко, что Камал не мог этого не услышать. Глупости, просто забил крыльями под карнизом голубь, перелетел с места на место, и снова все затихло.

- Пойдем в дом, бей, вы, верно, устали, пора отдыхать, - услышал Мигран свой надломленный голос.

Когда они вошли, фитиль в лампе был прикручен. Матушка и Нана лежали в отдельных постелях, но совсем рядом, еще две постели были постланы на тахте.

- Почему не постелила им вместе? - спросил Мигран.

- Она не захотела, - ответила мать, не раскрывая глаз. Мигран встал со стула и трижды дунул на лампу. Погрузившись во тьму, комната словно бы уменьшилась.

- Мигран-эфенди, не пытайтесь увидеть меня во сне... во сне я непривлекательная, - послышался сонный голос Наны.

Мигран улыбнулся в темноте.

Когда начали раздеваться, Миграну показалось, что новый мюдур поет.

- Вы поете, бей? Песнями мир не изменить, - пустился было он в рассуждения.

- Насчет мира не знаю, но иные песни способны разрушить очаг. Особенно если сочинены вдали. В Женеве, Тифлисе. Чем дальше зурна, тем завлекательней ее мелодия. Был в Стамбуле парикмахер, Аршак. Это его слова.

Мюдур достал из кармана небольшой пистолет и положил на подоконник. Мигран сделал то же самое. Церемония разоружения была проведена четко и просто. Каждый улегся на свою постель.

Наступила тишина.

В открытое окно проник легкий ветерок и словно осыпал их веки сонным порошком.

Айоц-Дзор погрузился в сон.

2

Миграну почудилось, что его разбудили. Никого. Рассвет только-только забрезжил. Сердце билось как-то по-особому. Что это, испарина?.. Постель матери, как всегда, уже пуста. Встает она спозаранок, быстренько одевается, убирает свою постель и, прихватив полотенце, мелкими шажками спускается через монастырские ворота к реке. Умывшись, поднимается к монастырю и заходит в церковь. Преклонив на сыром полу колени, молится. Если бы покровитель монастыря, звать его Георгием (фамилий святые вообще не признают), - если бы он услыхал ее молитвы, все было бы распрекрасно, все стало бы по местам - ни тебе убийств, ни Джевдеда-паши, ни притеснений, ни революций, ни" Арама с Ишханом... Но ведь никуда не денешься, все это есть, а вдобавок ко всему ломота в костях, бессонницы или, того хуже, несуразные сны - стало быть, молитвы ее не достигают небес. Однако она не отчаивается, вцепилась в своего святого Георгия (в городе она возлагает надежды на варагское святое Знамение) и дважды в день - утром и вечером - долдонит одно и то же от начала и до конца, вкратце же повторяет свои мольбы по всякому поводу - разжигая тонир, подметая пол, усаживаясь за вязание носков...

Святые ничем еще не обнаружили себя, но она не изменила своей вере, молилась им и боялась их, боялась и молилась, молилась и уверовала в загробную жизнь.

Откинув одеяло, ослепительно белая в своей наготе, поджав колени, как нерожденное дитя во чреве матери, лежит на простыне Нана. Впервые за тридцатилетнюю свою жизнь столь осязаемо и близко видит Мигран женскую наготу. Вот отчего он пробудился; так, должно быть, пробуждается человек, когда ему грозит опасность, когда к спящему подползает готовая ужалить змея, когда... когда в двух шагах лежит на белой простыне нагая женщина. Она не приближается, подобно змее, и не отдаляется; она спит. Вот оно что. Вот отчего как-то по-особому бьется сердце. И сладостно, и мучительно. Что это, испарина? Мюдур спит спокойно и безмятежно и не думает просыпаться.

Нана, бесстыжая Нана.

Мигран зажмурил глаза. Мигран решил отвлечься мыслями о другом. Безуспешно. Вечером, когда они с мюдуром беседовали, а Нана купалась в реке и весело вскрикивала (Нана шевельнулась, но Мигран еще крепче зажмурился), ему - да-да! - захотелось вообразить ее, обнаженную купальщицу, но тут же понял - это выше его сил. Незачем. Излишне. И неприлично. А, сейчас... Нана не шевелится, может... может, взглянуть на нее одним глазком? Краешком глаза? Может, она уже и закуталась?

И он таки взглянул - сперва краешком глаза, а потом, не сдержавшись, уставился на нее во все глаза.

Теперь Нана лежала на животе, обняв подушку, как пловец в море, когда борется с волнами. "Чур меня, злыдня сатана", - сказала бы мать, столкнувшись с такой напастью.

Миграну виден только один глаз Наны, и ему кажется... ему кажется, что ее веки подрагивают, похоже, она не спит, а притворяется спящей. Злыдня сатана! А может ли сатана быть добрым? Если да - то это он и есть в образе Наны, доброй, белой.

Белая, белая. Но са-та-на. А если прикоснуться к ней... со всей осторожностью... со всем... благочинием.

Глупости. Надо просто встать и укрыть ее одеялом, как подобает благопристойному, добродетельному, любящему порядок гостеприимному хозяину. Этак она, чего доброго, озябнет и заболеет. Он в ответе за здоровье и благопристойное поведение своей гостьи.

Мигран осторожно опустил ноги на пол. Его била дрожь. Вдруг она проснется? Ну и пусть, пусть даже и Камал проснется - Нана может заболеть, нельзя так спать, надо укрыть ее одеялом.

И он укрыл. Заботливо, легко и быстро. Внезапно... не открывая глаз и не меняя позы, Нана заговорила, заговорила горячо и по-свойски, и Мигран как нагнулся над ней, так и не смог разогнуться.

- Благодарю вас, но под одеялом слишком жарко... без него приятнее.

Мигран бросил обеспокоенный взгляд на мюдура.

- Не волнуйтесь. Можете взвалить свой монастырь на лошадь и уйезти в Битлис - он не проснется. - Нана улыбнулась и добавила: - Ему сорок пять, но спит он, как младенец, а мне двадцать три, и я не могу заснуть... Вы, Мигран-эфенди, еще молоды, откровенничать с вами небезопасно.

- Я старше вас, Нана, - шепнул Мигран.

- Неважно... на каких-нибудь пять-шесть лет? Вы холосты, значит, моложе меня...

Мюдур повернулся на другой бок. Мигран метнулся к постели, Нана рассмеялась. Рассмеялась беззвучно, заговорщически. Мигран мигом оделся и вышел.

Подальше от греха.

x x x

Выкатившись из-за Хекского монастыря на вершину горы святого Авраама, солнце еще только-только омывало лучами Айоц-Дзор, а монастырь уже жил повседневными трудовыми заботами.

Поутру, как и каждый день в этот час, пастух Андро погнал подоенных коров на пастбище. Его жена, скотница Наргиз, в полных до краев медных котлах - они стояли над огромным тониром на особых подставках - кипятила молоко, чтобы сделать из него сыр; ее свекровь месила ежедневное тесто для хлеба; отец знакомого нам Андро - за глаза все его звали не иначе как "тронутый Авдо" - с криком и бранью чистил хлев; работы в монастыре стало поменьше: несколько дней назад овцы ушли на летние пастбища, но Авдо злится пуще прежнего, ругается яростней и громче обычного:

- Да я этого настоятеля Мигрaна...

Перед ним как из-под земли вырастает "настоятель".

- Доброе утро, Авдо, что-то тебя не слыхать, не случилось ли чего?

- Утро доброе, - коротко отвечает Авдо. - Здравствуй, Ми-гран-ага!

- Говорю, что-то тебя не слыхать, - не отступает Мигран.

- Не пойму я, к чему ты клонишь. Слыхать, не слыхать... - защищается Авдо, сгребая деревянной лопатой навоз, и вдруг, не в силах себя перебороть, выкрикивает: - Так этот мир разэтак. Твою Бога душу мать!.. Это я ради тебя, - говорит он Мигрaну, выкатив на него огромные глазища и расправляя черенком лопаты седые усы.

- Где лошади мюдура?

- Я их помыл и привязал к дереву вместе с твоими. Мюдур мюдуром, а кто этот ладный парень, сын его? " Мигран улыбнулся:

- Какой сын, Авдо, что ты мелешь?.. Жена.

- Жена?! - опешил Авдо.

- А то нет.

- Незадача! - воскликнул Авдо. - А я-то, недотепа... - Он умолк, покачал головой: - Дурак ты, Авдо... Пойду-ка, Мигран-ага, да утоплюсь.

- За какие такие грехи? - полюбопытствовал Мигран. Авдо зашептал:

- Я, выходит, обнял мюдурову жену, Мигран-ага?.. Ты не смейся. Она с лошади слезала, вижу, парнишка еще, дай, думаю, пособлю. Взял в охапку да и поставил наземь...

Мигран со смехом вышел из хлева, а Авдо будто окаменел.

По невысокой каменной лестнице Мигран снова поднялся в монастырский двор. Держа в руках глубокую тарелку и деревянную ложку, мать коленом толкнула тяжелую церковную дверь и прошла внутрь. Мудрый житейский опыт стоил ей в свое время многих тревог, сомнений и душевных мук. В углу церкви она поставила большой медный котел и разную кухонную утварь. Здесь отныне хранились подверженные скорой порче продукты; в большом котле она отстаивала надоенное накануне молоко, чтобы утром собрать сливки. Мать стала у котла на колени, отложила в сторону медную крышку и начала, ловко собирая сливки, перекладывать их в тарелку.

В дверях она столкнулась с Миграном.

- Сделай яичницу, - сказал он. - Ну и сливки, масло, мед.

- Встали уже? - спросила мать.

- Пойду погляжу.

Камал и Нана были одеты. Мигран взял чистое полотенце и спросил:

- Пойдем умоемся?

- На реку, на реку! - захлопала в ладоши Нана, разглаживая на коленях мятый подол голубого в красный горошек платья. - Мигран-эфенди, найдется в вашем монастыре утюг?

- В нашем монастыре найдется все.

- Вряд ли. Бьюсь об заклад, Корана в вашем монастыре нет, - возразил Камал.

- Я хотел сказать, что можно исполнить все желания Наны, - оправдался Мигран.

Умывались на берегу кому как сподручней. Нана, та даже захотела купаться, но Камал был против:

- Вода холодная, деточка, вечером - другое дело. "Деточка, - повторил про себя Мигран. - Они и вправду как отец и дочь..."

- Значит, искупаюсь вечером.

- Но ведь сегодня же мы...

- Ни за что, бей! - прервала его Нана. - Мы никуда отсюда не уйдем, пока Мигран-эфенди нас не выгонит.

- Но Мигран-эфенди никогда нас не выгонит, - рассмеялся Камал.

- Это почему? - раззадорилась Нана. - Потому что ты мю-дур? Не забывай, .бей, Мигран-эфенди еще и комитетчик... В жизни не видела настоящего комитетчика!

Она подошла к Миграну, взяла его под руку и, заглянув в глаза, спросила:

- Мигран-эфенди, все комитетчики похожи на вас? Нет, я хочу спросить: вы способны убить человека?

В эту минуту Камал протянул Миграну полотенце, и он не мешкая принялся вытирать лицо; вопрос Наны остался без ответа.

- Вы мне не ответили, Мигран-эфенди, - сказала Нана, когда они возвращались.

Мигран бросил на нее умоляющий взгляд.

- Можете не отвечать. Я по глазам вижу, что вы и мухи не обидите, - рассудила Нана и взяла его под руку.

Завтрак прошел легко и весело. Незаметно выпили бутылку коньяка. Нана на все лады расхваливала вкус и аромат деревенской снеди:

- Мы, бей, сидим в городе и воображаем, будто это жизнь. Я никогда не ела с таким аппетитом. Бей, давай поселимся в монастыре. Пусть Мигран-эфенди станет мюдуром.

- Для этого нам с тобой придется стать вероотступниками, - рассмеялся мюдур.

- Ради таких сливок и яичницы, бей, поменять веру не такой уж грех...

Мюдур потер седые виски и спросил:

- Хорошо, мы поменяем веру ради сливок и яичницы, а Мигран-эфенди... он-то во имя чего?.. Нана даже не задумалась:

- Начнется резня, его никто не тронет. Разве этого мало?

Наступило гнетущее молчание; рассмейся кто-нибудь, слова Наны сами собой обратились бы в шутку, но все разом помрачнели. Даже Нана.

Положение спасла матушка Миграна.

- Наелись? - с порога спросила она сына. Мигран перевел ее слова, вместо ответа Нана вскочила с места, обняла старуху и спела по-турецки:

Матушка, любимая, красивая матушка, На свете ты одна такая, матушка...

- Оставь меня, девка, кости мне переломаешь. Обстановка разрядилась, и, воспользовавшись этим, Камал встал.

- Мы еще встретимся, Мигран-эфенди. Весьма благодарен вам за гостеприимство, - сказал он.

Нана оставила матушку и набросилась на мужа:

- Никуда твой Хоргом не денется! Прошу тебя, бей, останемся...

Бей посерьезнел.

- Нана, деточка, сегодня мне непременно нужно быть в Хоргоме - ко мне приедут из Вана. Не забывай, я на службе.

- Я никуда отсюда не поеду, - захныкала Нана и как ни в чем не бывало устроилась на подоконнике.

Мать переводила глаза с мужа на жену и, кое-как догадавшись, о чем речь, сказала Миграну:

- Чего он ее обижает? Пускай она остается...

Мигран перевел слова матери (глаза у Наны округлились) и добавил:

- Конечно, бей, воля ваша, но Нана может оставаться у нас сколько ей угодно. Как, впрочем, и вы. Бей взял с подоконника пистолет.

- Благодарю, - сказал он. - Но мне непременно нужно быть в Хоргоме... Нана, дитя мое, ты не будешь без меня скучать?

- Я буду ждать тебя, бей.

- Мама, скажи Авдо, пускай приготовит наших лошадей, мою и Камала-бея.

Мать выскользнула из комнаты.

- А вы куда собираетесь? - спросил Камал, заметив, что Мигран тоже взял пистолет.

- Провожу вас, бей, до монастыря Эремери.

- Не стоит беспокоиться, Мигран-эфенди.

- Пустяки, бей.

В красной феске мюдур выглядел и старше и внушительнее. У монастырских ворот их ждал Авдо, держа под уздцы двух оседланных лошадей. За Камалом шли Мигран, Нана и, наконец, мать. Увидев Нану, Авдо отвернулся. Мигран приметил это.

- А вот и сын мюдура, Авдо. Верно, красивый?

- Не говори, Мигран-ага. Меня аж пот прошиб, - буркнул Авдо.

Мюдур вложил в ладонь Авдо серебряную монету. Лошади тронулись.

- Вечером жду тебя, бей, - крикнула вслед Нана.

- Я постараюсь, - пообещал бей.

Всадники спустились с холма и по дороге, разделявшей рощицу надвое, выехали в открытое поле. Дорога вдоль берега ручья почти прямиком шла на запад. Вправо ответвлялась другая дорога, на Аратенц и Аствацашен. Напоенное солнцем, запахом трав и стрекотом кузнечиков, опьяненное светом, благоуханием, внятными и невнятными звуками, раскинулось утро над холмами Айоц-Дзора, над сжатыми полями и поросшими люцерной пастбищами и лугами. Всадники ехали молча, каждый думал о своем; а может, они попросту прислушивались к конскому топоту и старались ни о чем не думать?

Это-то как раз было невозможно.

- Красиво здесь, в Айоц-Дзоре. Да и весь Васпуракан очень красив, - нарушил молчание Камал.

- Красив, но проклят, - отозвался Мигран.

- Все зависит от человека, Мигран-эфенди.

- От человека? Не сильно ли сказано, бей? Мне кажется, не от человека вообще, а от каждого в отдельности - каждого мюдура, каждого вали, каждого Таира или Джевдеда-паши... И так повсюду, где царит не сила закона, а закон силы...

- Не спорю, - сказал мюдур. - Нам нужно получше узнать друг друга. Когда я решил съездить к вам, а не вызывать вас к себе, кое-кто советовал мне отказаться от этой мысли. Я не послушал их и, чтобы поездка не была чересчур

официальной, взял собой жену. Теперь я знаю, что подразумевается под словами "комитетчик из Айоц-Дзора Мигран". Да, да, не улыбайся, по головке меня за это не погладят, начнутся разговоры, но я не трясусь из-за своего места. В любое время - не захотят ли меня, сам ли не захочу - я без сожаления оставлю и Ван и Айоц-Дзор:

- Так оно и было всегда, - рассмеялся Мигран. - Хороший уходили, плохие приходили. Такому, как вы, бей, долго на это месте не пробыть. Не допустят.

Дорога лежала через зеленую ивовую рощу. Сырой свежий воздух приятно овевал лица всадников. Да и лошадям было приятно идти по прохладе; они замедлили шаг и, видимо от удовольствия, коротко заржали. Слабый порыв ветра принес запах лоховых деревьев; справа бежал ручеек, его вода вперемежку полнилась светом и тенями; протяжно и торжественно прокукарекал петух, закудахтали, проходя мимо каменной ограды, куры и перед всадниками возник сложенный из черного туфа Эремрийский монастырь.

- Манвел! - позвал Мигран и повернулся к бею: - Немного передохнем.

Из монастыря вышел молодой человек: выжженное до черноты лицо, короткая шея, а по одежде и не определишь - крестьянин или горожанин.

- Манвел, - обратился к нему Мигран по-турецки, - мы беем, нашим новым мюдуром, погостим у тебя полчаса.

- Милости прошу, - на чистом турецком языке ответил молодой человек и, взяв лошадь под уздцы, направился к роще. Не требовалось острого зрения, чтобы заметить, что Манвел хромает.

Под раскидистой ивой лежали гладкотесаные камни, приспособленные под сиденья. Мигран и бей устроились рядом, бок о бок.

- Манвел учится в Центральной ванской школе. Приехал на каникулы. Хорошо говорит по-французски, по-турецки... Кстати, в этом монастыре и Коран можно найти...

- Вот как? - рассмеялся уездный начальник. - В красивом вы месте живете, Манвел-эфенди, - обратился он по-французски к юноше; тот возвращался к

ним с хмурым лицом, но улыбчивыми глазами. - Готов поспорить, что вы и стихи сочиняете.

- Музам Ламартина, бей, сюда не пробраться, - по-французски же ответил Манвел. - Очень уж ненадежны дороги. Мюдур от души расхохотался.

- Чем попотчевать гостей, - спросил юноша, перейдя на турецкий.

- Дай нам, Манвел, холодного мацуна с водой. Камал пил медленно и с явным наслаждением.

- Нана права, когда восхищается. У вас, в деревне, все очень вкусно, - сказал мюдур и, поднявшись на ноги, вернул хозяину глубокую глиняную миску. - Большое спасибо. - Утер зеленым платком губы, улыбнулся и добавил: - Вчера, проезжая мио этого монастыря и еще издали заметив монастырь в Хеке, я был почти уверен, что и там и там засели кровожадные и вооруженные до зубов фидаи. Но мыслимо ли работать с такой предубежденностью? И я решил первым долгом побывать в главном, Так сказать, логове, а уж затем, если выберусь оттуда живым и невредимым, заехать и сюда, собственными глазами взглянуть на этих "зверей", о которых мне понарассказали столько ужасов. Теперь я знаю, каковы из себя Хекский и Эремерийский монастыри, в Хеке я оставил свою жену, а сюда готов перенести свою резиденцию. Стало быть... стало быть, людей надо знать.

Налетел прохладный ветерок, переполненный срочными, Необычайной важности вестями, закачались, перешептываясь, ивы, заспешила куда-то, всполошив кур, монастырская дворняга, и снова все угомонилось.

- Нам пора, - сказал мюдур. - Мне ехать на запад, вам - на восток.

Подошел с белозубой улыбкой Манвел, ведя под уздцы лошадей.

СКАЗАНИЕ ТРИНАДЦАТОЕ.

Новые блуждания заблудшей души;
новые, но отнюдь не нежданные гости

На восток, на восток! Мигран не спешит, и, учуяв это, лошади тоже идет неторопко, покачиваясь и словно бы подсчитывая собственные шаги.

Вот что это значит.

Вот что значит свободомыслящий турок. Да полно, турок ли Отсюда вывод: если турок из свободомыслящих, он Не турок. Вот Агьяг турок, и наместник Джевдед - турок, и все турки - турки кроме... кроме этого странного уездного начальника и его женщина у которой и имя-то не турецкое. Нана! Понятно, Париж, Европа... но кровь-то все-таки остается кровью. Придет час, когда этот свободомыслящий освободится от свободных мыслей и стад нет турком. Касательно же армян... кто не турок, тот армянин, все ли армяне впрямь армяне? Сам-то он...

Мысли Миграна смешались. Лошадь оживилась. Дорога запетляла. Вдали показался Хекский монастырь.

В последнее время Мигран стал раздражительным и беспокойным. С чего бы это? Тяжкие сны кажутся ему осязаемей и реальнее самой реальности. Часто, слишком часто воспринимает о явь как сон, а сон как явь. Он вспомнил... ну вот, пожалуйста, поди разбери, сон это был или явь? Нана, белая, нагая. Сатана!

Сон наподобие этого привиделся ему весной... Какой нынче день, пятница? Точно, пятница. Вот совпадение! Есть в окрестностях Вана Пятничный ручей, по его берегам изредка, то там, то сям, попадаются деревья, а вокруг него - от Вана к востоку, от монастыря Кармравор к западу - простираются луга, сюда-то и высыпают ванцы по пятницам на гулянье. Прихватив с собой еды - вареных яиц, острого, приправленного красным перцем сыра, кавурмы, жареных кур, водки, вина и даже самовар со всёми необходимыми для чаепития принадлежностями, - они целый день наслаждаются на лоне природы ее радостями. Тут тебе и зурна с барабаном, и оркестр Кушо, и песни с плясками, и даже училищный фанфар, то есть духовой оркестр. А еще - футбольный матч, организованный полисцем Егише Качуни. Вот что такое Пятничный ручей.

Сон ли это был, явь ли, одно он, по крайней мере, помнит - девушку, которую видел, белолицую и черноглазую девушку в розовом платье, с заплетенными в косы каштановыми волосами и взглядом, устремленным куда-то к Варагским горам. "Лия, сядь", - сказали ей, и она села на полосатый коврик, где уже устроилось все семейство. Отец - Мигран с ним знаком - Ованес-ага Мурадханян, мать, два брата. Лия... нет, это не Лия, это...

И когда спустя несколько недель его тетка Ахавни - видно, по наущению матери - затеяла разговор про женитьбу: неужто, мол, ни одна городская девушка не удостоилась высочайшего его внимания... он не выдержал и полушутя назвал дочку Мурадханяна Ованеса-аги. "Так чего ж тянуть, сынок? - сказала тетка. - Видишь, мать сама не своя - прямо птица с подрезанными крыльями. А за мной дело не станет, схожу с Арегназан на смотрины".

Она была сестрой матери, Арегназан - сестрой отца.

Ходили они на смотрины, нет ли, Мигран про это не знает; такими делами обычно занимаются осенью... Если чего Миграну и хотелось, так не жениться, нет, а бросить Ван и уехать все равно куда - в Тифлис, Полис, Варну... лишь бы уехать. Но куда же денешься - монастырь, мать... Пятничный ручей.

Он очнулся от резкого запаха лоха. Так пахнут плоды дерева, что растет в монастырской роще. Их запах острее всего после полудня, когда солнце...

Он спешился, привязал лошадь к дереву и с седлом в руках медленно поднялся на холм.

Навстречу ему вышел Авдо, взял из рук хозяина седло и, широко ступая, обогнал его. Потом замедлил шаг.

- Мигран-ага, мюдурова жена малость того, - сообщил он. Мигран улыбнулся.

- Чего смеешься? Вы про меня говорите, мол, с придурью - так я против нее... ягненочек.

"Ягненочек" с седлом в руках прошел вперед.

Нана встретила Миграна с радостью. Она следила за ним, да-да, она смотрела из окна и видела, как два всадника, один в красной феске, другой в белой широкополой шляпе, ехали по дороге. Они уменьшались, уменьшались и

наконец превратились в две точки, красную и белую. Нане очень-очень хотелось увидеть еще и возвращение Миграна, однако она не сидела без толку - помогала матушке по хозяйству. Нана очень, очень полюбила монастырь и готова провести здесь всю жизнь.

- А теперь, Мигран-эфенди, вам придется развлекать меня, а не то я заскучаю, - добавила Нана, размазывая пальцем сажу по носу, и без того черному от сажи. - Ну вот... пойду взгляну на свою рожицу:

Вбежала в комнату и выскочила оттуда с криком:

- В зеркале я увидела обезьянку. Не смотрите на меня, я скоро вернусь. И побежала к реке. ...Нана отказалась от еды. Нана сыта. Нана не хочет есть. Нана хочет гулять, все равно верхом или пешком, неужели в этих местах нет ничего интересного? Это невозможно... Святой Авралам? Что это? Разрушенный монастырь? Чудесно, я люблю старину. Недалеко? Значит, можно пройти пешком. Нана любит пешие, прогулки. Матушка, мы пошли. Не бойся, не съем я твоего сына. Изумительный воздух. А что там за бугры? Ах, кладбище, сельское кладбище. Почему же так мало могил?

- Потому что наши крестьяне умирают не от старости, - ответил Мигран. - Они умирают вдали от своих селений, Бог весть где, и могил у них нет.

- А зачем они уходят из дому?

- Они уходят в поисках справедливости и свободы, - отвечает Мигран, - и умирают на пути к справедливости и свободе,

Нана не желает слышать ничего грустного, она не желает думать ни о чем грустном. Какой горький запах у этой травы. Гроб, трава, могильница? Растет только на кладбищах? А этот цветок? Я знаю один цветок, по-турецки геджа сафаси, ночная отрада или что-то в этом роде. А бывают дневные отрады? День, он для работы, скучных, обыденных дел, ну а ночь... Какой ужасной была бы жизнь, не будь ночи. Вообразите бесконечный день. Самые красивые цветы раскрываются ночью.

Извиваясь, дорога поднимается выше и выше. Окруженный тремя крутыми холмами и укрытые густыми кронами старых ив лежат руины монастыря

святого Авраама. Здесь, как и в любом святилище, есть вода - бьющий из-под скалы ключ. Родничок стекает по холму вниз, и вдоль его пути стелется светло-зеленая травяная дорожка, которая мало-помалу сужается, а там и вовсе исчезает.

- Не делай мне больно, злой мальчик!

Нана бывала в больших городах. Знаешь, что такое Эйфелева башня, ночные кабаре, Собор Парижской Богоматери? Но мне по душе такие древние храмы. По крайней мере сегодня, сейчас. А какие роскошные мечети в Стамбуле!

- Их построили армяне.

- Что же получается? Когда армянин строит для других, творение его рук стоит в целости и сохранности, когда же для себя - оно поздно или рано обращается в руины. Кто в этом виноват?

Кто? История, география, религия и прочие элементарные школьные премудрости, которые оказываются на поверку страшной судьбой народа.

Дорога петляет, взбираясь все выше и выше по холму, широкое подножие которого служит этаким постаментом не для одного, а для трех холмов, вырастающих из него слева, справа и посередине; там, где все они сходятся воедино, приютился и грустит, укрытый ивами, древний монастырь, названный именем святого Авраама.

Нана не променяет эти холмы на все виденные ею города, не променяет этого утеса, этой дороги, этого жука, этих трав и удивительных этих запахов. Нет, правда, Нана с удовольствием бы тут жила. Одна? О нет, я боюсь одиночества. С Камалом? Боюсь, это будет скучно. Вот я тебя сейчас... больно? Поцелуй меня, пройдет. Прошло? Даже целоваться не умеешь. И все равно я не прочь жить здесь, вдалеке от городов, в диких этих местах. Мы жили бы втроем. Матушка нам тоже нужна: кто же нас будет кормить? Она очень хорошая, твоя матушка. Пить хочется.

- Хочешь холодного молока?

- В этой пустыни?

- Да, в этой пустыни.

- Очень хочу.

Еще поворот, и взору открывается грустный и одинокий монастырь, святой Авраам; в его стенах темнели местами зазоры - там выпали камни из кладки, черной пустотой зиял дверной проем, крыша поросла травой и полевыми цветами; вот он, старый и гордый святой Авраам. Вокруг него ивы, под ивами замер, словно и впрямь неподвижен, ключ, и только там, где он сворачивает, видно, что вода по руслу все-таки течет - беззвучная и прозрачная. В небольшом водоемчике, ближе к краю, стоит пузатый глиняный кувшин, наполовину погруженный в воду.

- Молоко?! Да ты, Мигран-эфенди, волшебник!

Какое уж там волшебство, молоко надоил монастырский пастух Андо, надоил и поставил в воду - пускай остудится. Андо пасет стадо где-то неподалеку и по нескольку раз на дню прибегает утолить жажду.

- Чудо, а не молоко!

Сейчас, когда перевалило за полдень, монастырская стена у рыта тенью. Внизу, под стеной, растет пожухлый уже мох, дальше идет полоска тепловатой земли, а за ней - постепенно густющая трава, пырей, цветы и стрекот сверчков. Сядь здесь, у моих ног, а голову сюда. Спать хочется. Да ты дрожишь? Ре-бе-нок, дитя, совсем дитя... Лохматым веником солнечных лучей перемешала невидима! рука поле, горы и долину, воздух и ветер; веник помалу истончился, державшая его рука испепелилась, и пепел, редкий и незримый, развеялся над землей.

Нана боится. Мигран-эфенди, ты не видишь - солнце па блекло за холмами? Небо, правда, ясное, но... Мигран-эфенди, тени исчезли, землю окутала серая дымка без конца и края. Ми-гран-эфенди, уже смерклось. Ты видишь хоть что-нибудь, кроме раскрытых моих глаз? Я не могу их закрыть. Звезды, я вижу звезды, много звезд. Я же говорила тебе, самые красивые цветы раскрываются ночью. Солнце погасло, Мигран. Луна... заслонила: солнце...

Что это благоухает - земля или горячие губы Наны, земля повернулась и затрепетала или же Нана? Утратившая строй стая диких птиц с криком и

клекотом устремилась под карнизы монатырских окон, с холма напротив со страшным ревом понеслось вниз стадо. Кто это застонал - монастырь или Нана?.. Мигран высвободился из цепких Паниных объятий, маленькие ее руки беспомощно рухнули в траву. Блестящая махонькая гусеница поползла по обнаженному бедру Наны. Край серого лунного диска, заслонившего было солнце, разлетелся вдребезги, и солнечный лучи опять устремились огненными стрелами к земле.

... На лугу у Пятничного ручья, где гуляют и веселятся ванцы стоит и смотрит вдаль, на гору Вараг, девушка, потом... потом прекрасная эта девушка исчезает, обратившись в белый дымок: Сердце Миграна сжалось. Это Нана, беспомощная и слабая, но властная и осязаемая во плоти, превратила в дым и рассеяла единственную в его жизни мечту, к которой ему на роду было надписано тянуться, чтобы так и не дотянуться, чтобы недостижимая эта мечта наполняла его жизнь и душу богатством и счастьем. Откуда она взялась, эта турчанка, - опустошила ему сердце, ограбила и обездолила?

- Поправь платье, - бросил Мигран, - светло.

- Какая короткая была ночь, - зевнула Нана. - Что это, затмение солнца?

- Затмение всего, - прозвучало в ответ.

...Затмение всего. Обратный путь показался Миграну долгим и, пожалуй, нудным. Легко и плавно шагала впереди Нана; временами сбегала с дороги, срывала и подносила к лицу цветок, временами, поотстав от Миграна, резво обгоняла его, мурлыча под нос тоскливую восточную песню, то без слов, одну лишь мелодию, то со словами:

...И оставлю я тебе на память

Сладостную рану, горький поцелуй, -

расслышал Мигран. "Душевные песни есть у турок, - подумал он, - хорошие песни. Как у варварского народа появились эти грустные, проникновенные песни? Не султан Гамид сочинил их, не Хтрик и не Джевдед-паша, это ясно. Какие сердечные слова! Их складывали простые, несчастные, безымянные

люди. Они выдыхали их, как стон, как боль души, и стон становился мелодией".

Горестным ливнем из глаз моих
Розы свои ты польешь.
Знаю, ты хочешь меня убить,
Дай наточу тебе нож...

Поет Нана и в конце каждой строки вздыхает: "Горе мне, горе..."

"Горе мне", - напел про себя Мигран и невольно огляделся; повсюду пылал бескрайний, беспредельный день, замешенный на солнечном золоте. Бессильная блеклая луна почти уже исчезла из виду и поглядывала на сияющее солнце в жалкой надежде сызнова подобраться к нему. Ну уж нет, больше этому не бывать, не затмить луне дневного солнца - этакое чудо случается, наверное, раз в сто лет.

Раз в сто лет. "Горе мне!"

И Миграну померещилось, будто блеклый этот месяц - он сам, а Нана - та, которая с ним рядом и так от него далека, которая резвится и беззаботно поет, - Нана это солнце, она близка и она далека, как далеки и близки сейчас друг от друга луна и солнце. Нет, сравнение никуда не годится. Миграну ничего не стоит - только захоти - догнать Нану, обнять и целовать, целовать, целовать. И обладать. На землю не опустится тьма, солнце будет сиять, как сияло, - это так, однако на Пятничный ручей ляжет густая черная тень, и в черной этой тени бесследно пропадет юная дочь Ованеса-аги Мурадханяна, которая стоит себе и смотрит вдаль, на гору Вараг... "Лия, сядь".

Нана как будто напугана неведомой опасностью и молча идет рядом с Миграном, но немного от него отстранясь.

- Почему ты замолчала? О чем задумалась?

- Песня кончилась.

- Вот как? - Он берет ее за руку. - Разве песни кончаются?

- Песня, которую пела я, кончилась. На свете много песен, все песни мне не спеть. А вот о чем я задумалась... Задумалась я о бее, о моем бее.

- Послушай, Нана, сойдем с дороги, поднимемся на тот холм, а оттуда спустимся прямо к монастырю.

Нана покосилась на него. Утром, когда они выходили из дому, она готова была пойти с ним куда ему заблагорассудится - спускаться в какие угодно пропасти, карабкаться на любые вершины; Нана не испугалась бы, не струсила, случись даже... случись солнечное затмение. А сейчас... Сейчас-то почему ей не по себе? Ей страшно. Но чего, кого?

- Поднимемся на тот холм, оттуда ты увидишь все, а нас не увидит никто. Там красивые цветы, и они раскрываются днем. Скатись с этого холма яблоко, оно угодит прямо в монастырь. Ну, поднимемся?

- Пойдем дорогой, по которой пришли, - просит она. - Жарко, я устала, нет сил подниматься.

- Я помогу тебе, - уговаривает Мигран, - я тебе...

Он обнимает ее и пытается увлечь с дороги. Нана упрямится. Нана устала. Оставь меня, жарко, пойдем дорогой, по которой пришли, бей, наверное, уже вернулся.

Он понимает, что его власть над нею кончилась, она приходит в себя и вновь обретает уверенность: да, она жена мюдура Айоц-Дзора, она холодна и, более того, о-фи-ци-аль-на. Одним рывком она высвобождает руку и смотрит на него отчужденно и удивленно, как незнакомка: простите, вы, собственно, кто?

Мигран поежился. И вправду, кто я?.. Я, милейшая сударыня, прежде всего армянин, это раз; далее, прошу вас не забывать, что если ваш муж мюдур Айоц-Дзора, то я - комитет Айоц-Дзора, это два. Подумайте сами, кто таков мюдур, уездный начальник, - сборщик податей, и только. Ничтожество. Я же - душа и дух Айоц-Дзора, его глаза и уши, все его органы чувств. Я и никто иной, - всемогущий владыка Айоц-Дзора.

Только сейчас Мигран чувствует то, что почувствовала Нана. Теперь он смотрит на Нану враждебно, ощущая себя безжалостно униженным, обобранным, нищим. Ему не дает покоя образ Лии. Кто он такой, Мигран, что из себя представляет? Ему ли не знать, какими глазами смотрит на него Ван?

Здороваются-то с ним приветливо, даже почтительно, потому что он богат и влиятелен, но в глубине души он не обманывается на этот, счет: его не любят и не уважают, а попросту боятся, потому что считают убийцей, братоубийцей, злодеем. Он берег для Лии мужскую чистоту и целомудрие, он ни разу не целовался с девушкой, ни разу не познал женщины. Не целовался? Перед ним осязаемая, как наяву, возникла девушка с розовыми, как артаметские яблоки, щечками и огромными глазами. Кармиле, дочь их постояльцев Сосоянов, с которой он вполне невинно любезничает. Но могут ли, с позволения сказать, любезничать брат и сестра? И снова в нем нарастает желание обладать Наной, но только не от любви, а из ненависти - чтобы оскорбить, осквернить в ней женщину, чтобы унизить ее...

Словно угадав все это по его глазам, Нана сбежала вниз по склону холма, как газель от охотника, сбежала и пропала из виду на первом же изгибе ведущей к монастырю тропинки.

Смешно даже помыслить, будто ее можно догнать. Если подняться на холм и спуститься к монастырю напрямик, тогда, пожалуй, обгонишь ее и встретишь у монастырских ворот.

Так он и сделал.

И когда он взобрался на макушку холма и огляделся окрест, ему, как и вчера, показалось, что он пробудился от тяжкого, кошмарного сна. Как и вчера, он облегченно вздохнул и точно впервые увидел праведную красоту природы. Айоц-Дзорская долина потянулась на запад, и в далекой дали западной ее оконечностью служило озеро Биайна-Бзнуни-Ван - Ванское море. Мирное зрелище сел и малых деревень, разбросанных вблизи и поодаль - у склонов или подножий холмов, прямо здесь, на берегу Хошаба, или чуть в стороне, - это зрелище исполнило Миграна сладкой и вместе тревожной тоской. Как могуча природа и как могуществен человек: на этом первозданном клочке земли он добывает золото хлебов, чтобы прокормить не только себя и семью, но и несметное множество людей, которые в глаза не видели ни деревни, ни пашни, ни серпа. Серебристой змеей извивается с востока на запад река Хошаб.

Словно мало было Айоц-Дзору красот, Господь Бог даровал ему и это чудо: бери, живи!

И Айоц-Дзор живет.

Внизу монастырь; отсюда он кажется приплюснутым к земле, этаким гномом. Оттуда, снизу, доносятся обрывки слов, звуки и гулы, и пространство от этого будто бы расширяется, углубляется и обретает наконец беспредельность. Взирают на мир холмы, и у каждого свой характер: одни задумчивы и печальны, другие веселы, легки, а то и легкомысленны, третьи озорно вам подмигивают; есть холмы наивные и есть хитроватые, есть старые, сгорбленные, усталые холмы, и есть холмы, которые только-только проклюнулись из-под земли и теперь по-ребячьи изумленно таращатся на мир, не опасаясь, что не ровен час - и они снова очутятся под землей; есть холмы-сони и холмы-притворы - они вроде бы мертвы или в обмороке; холмы, холмы, холмы... Чем дольше глядит Мигран окрест, тем несусветней, нелепей кажется ему то, что случилось, и особенно то, что могло случиться.

Теперь ему хочется найти Нану и попросить прощения, поцеловать ее в испуганные глаза и попросить прощения, на виду у всего этого огромного, безбрежного и доброго мира попросить прощения у самоуправной, своенравной Наны: прости, Нана, прости мне грех, который вольно или невольно, сознательно или неосознанно совершила ты.

Начался спуск. Мигран вспомнил Ветхий завет - сошествие Моисея с вершины Синая. Хорош Моисей, нечего сказать.

На дороге из деревни Нор в Хек клубилась пыль. На минутку остановившись, Мигран прищурился и внимательно вгляделся: стелясь по-над землей, облако пыли стремительно двигалось вперед. "Скачет отряд, - решил Мигран. - Так мчится только отряд всадников".

Он ускорил шаги - скорее вниз, вниз. Нана наверняка уже в монастыре. А вдруг... вдруг она пожалуется мужу, его матери, этим всадникам: "Вот он, ваш комитет Айоц-Дзор, полюбуйтесь..."

Мигран был в двадцати шагах от монастыря, когда от западной стены, из-за угла, отделилась Нана и направилась к дверям. Увидев Миграна, она подняла правую руку и звонко крикнула:

- Вы проиграли, я пришла раньше!

Как раз в эту минуту в монастырскую рощу въехала группа верховых. У Миграна отлегло от сердца, и, не заходя в монастырь, он стал спускаться дальше, навстречу гостям. Послышался выстрел, вслед за ним второй, третий. Прибывшие - они уже спешились - хором прокричали "браво!". Высокой этой похвалы удостоился Ишхан, на полном скаку тремя залпами подстреливший двух птиц.

- Отлично, сынок, меткий у тебя глаз! - издал одобрительный возглас Здоровяк Даво, коренастый крепыш с худощавым лицом, единственный в отряде фидаи крестьянин, одетый по-шатахски, с папахой на голове?

С пригорка сбежал Авдо, босой, в распахнутой на волосатой груди рубахе, и, даже не взглянув на гостей, одну за другой повел лошадей в рощу. Как и всякий, кто хорошо знает свое дело, он не мог передоверить его другим; недовольно что-то бормоча, он разнуздал лошадей и отпустил их на волю - отдохнуть и попастись среди деревьев.

- Браво и тебе, настоятель! - приятным своим басом поприветствовал Миграна Арам и пожал ему руку. - Не солнечное ли затмение привело в монастырь этого заблудшего ангела? Или ты, не сыграв свадьбы, обзавелся настоятельницей?

С несколько подобострастной улыбкой Мигран пожал всем руки.

- Это жена нового мюдура, - пояснил он. - Они остановились у нас на ночлег. Сам мюдур уехал в Хоргом.

- А волку доверил сторожить овечку, а? - усмехнулся Ишхан, теребя бороду. - Стало быть, его мусульманское величество соблаговолило провести ночь со своей супругой под сводами армянского христианского монастыря? Смело!

- Он, господин Арам, человек в высшей степени свободомыслящий, - заверил Мигран.

- В высшей степени сомнительно, - покачал головой Арам. - Хотя эти сведения дошли и до меня.

- А жена, она тоже свободомыслящая? - спросил Ишхан; прищурившись, он заглянул в дуло охотничьего ружья, словно искал там ответ на свой вопрос.

- Да, - слегка смутился Мигран.

- Ладно, еще наговоримся, - отрубил Арам, протирая белым платком темные очки. - Ребята проголодались.

Уже не в первый раз монастырские обитатели сбивались с ног, чтобы прокормить отряд, уже не в первый раз Авдо, ругаясь в уме, резал во славу революции кур, овцу и ягнят,

Не в первый уже раз...

Солнечное затмение прямо-таки потрясло Мигранову мать. Она сочла его недобрым, зловещим знаком, темным началом черных бедствий. Но она никому и ничего об этом не сказала, и даже когда верзила Авдо, став во весь свой рост посреди монастырского двора, протянул к небу длинные свои руки и не сулящим ничего хорошего голосом предрек светопреставление, не поддержала, а только осадила его:

- Не болтай глупости! Просто солнце и луна нагьястакан повстречались. Страшного в этом нет.

Монастырский народ принялся колотить в медные котлы и кастрюли; стоял невообразимый шум, оглушительный ржавый скрежет - так простой люд испокон веку встречал грозную стихию, будь то град или наводнение. Потрясенная до глубины души, внешне матушка держала себя в руках, успокаивала всех даже пробовала смеяться:

- Ничего страшного, это же нагьястакан... И вправду, нагьястакан, что означало внезапно, внезапность, продлился всего-то несколько минут. Солнце выкатилось из-за лунного диска и утвердилось в прежних правах. Объятые ужасом куры и петухи повылазили, ошалело озираясь по сторонам, из щелей монастырской ограды, но, убедившись, что опасность миновала, облегченно закудахтали. Из деревни донеслось протяжное и зычное кукареку; самый

сильный и красивый монастырский петух - Авдо прозвал его Статный - взлетел, как заправский прыгун, на ограду и в ответ громко, чуть ли не на всю вселенную закукарекал. Это никак не походило на крик петуха, будь он трижды статным, - скорее, вызволенное из темноты солнце голосисто возвестило миру о своей свободе.

- Вот и славно, - сказала мать.

Увидев Нану в монастырском дворе, она засокрушалась: почему-де ты одна, почему грустна? Тревога ее была искренней, и, сделав беспечное лицо, Нана растолковала матушке, что Мигран спустился вниз к гостям.

Нет, Нана не испугалась солнечного затмения.

2

Солнце клонилось к закату.

Поев, попив и отдохнув, гости занялись кто чем. Одни умывались, другие курили, третьи старательно чистили оружие. Ишхан и Арам лежали на траве; оба небрежно сунули под голову по переметной суме. Лежали они с закрытыми глазами, но не спали"

- Было бы неплохо... - бормотнул Арам и умолк.

- Что именно? - спросил Ишхан, не открывая глаз.

- Ты не спишь? Говорю, было бы неплохо воспользоваться нашим сбором и определиться с этим самым Мушегом. Наступают тяжелые времена.

- А ты помнишь легкие времена? - съязвил Ишхан.

- Во всяком случае, - продолжил Арам, - бывали тяжелый времена, которые рядом с еще более тяжелыми казались легкими

- Фило... философия, - зевнул Ишхан. - Что же до Мушега... зачем ставить его вопрос непременно сегодня? Да и вообще - что тут обсуждать? Все яснее ясного, вина налицо и подтверждена фактами. Неужели я и ты... - он испытующе посмотрел на Арама.

- Нет, - отрезал Арам, - не я и не ты... Я не желаю, чтобы ты слушал, как Врамян читает мне нотации. Я не желаю слушать, как он читает нотации тебе. В

последнее время он стал просто невыносим - злится, нервничает, скандалит. Это же пустая формальность, пусть будет так, как он хочет.

- Да будет так! - уступил Ишхан. - А сейчас...

- Сейчас... Давайте сюда, ребята! - подозвал Арам остальных и сел. Сел и Ишхан.

- Ты замечаешь, этот мусульманский ангел не отходит от окна, - сказал Ишхан.

- Прекрати, нашел время... Товарищи! - обратился Арам к усатым и бородатым мужчинам, рассевшимся кто где: на бурках, на пеньках. "Всех надо гнать в парикмахерскую", - подумал он и продолжил густым басом: - Товарищи, все вы знаете Балдошяна Мушега. Вам известно также и то, что из-за своих темных связей и сомнительных знакомств он попал в список подозрительных лиц... Теперь мы располагаем фактами, которые свидетельствуют: Мушег Балдошян - предатель и доносчик.

- И Бог с ним, - послышался голос.

- Мы не верим ни в Бога, ни в черта. - Арам намеревался пошутить, но лицо его стало еще строже, чем прежде. - Погос, это ты? Уж лучше бы сказал: черт с ним.

Погос, которого все звали увальнем, почесал затылок.

- Серьезно, ребята! Доказано, что этот человек систематически встречался с начальником полиции Агьягом... Не думайте, будто мы столь наивны, чтобы каждого ванца, который обменивается с Агьягом двумя словами, обвинять в измене. Тем более что Агьяг нередко ведет себя как подлый провокатор - заходит, словно закадычный друг, то к одному, то к другому из уважаемых горожан, пытаясь ввести нас в заблуждение. Если помните, так он однажды поступил с Мурадханяном... э-э-э...

- Ованесом, - подсказал Ишхан.

- Да, с Ованесом, но нам удалось вовремя разоблачить провокацию Агьяга и... э-э-э... не пролить невинной крови. Да, невинной крови.

"Врет, но не завирается", - подумал Ишхан и, скрывая улыбку, провел ладонью по бороде. Пока Арам держал речь, с помощью неопровержимых фактов

доказывая предательские происки отщепенца Мушега Балдошяна, Ишхан вспомнил день, когда Ованес Мурадханян вышел из себя и, ничуть не смущаясь, бросил ему в лицо такое, отчего он, мучимый ночными кошмарами, почти что лишился сна. Его изводила и терзала мысль: в самом ли деле те, кто, покинув отчий дом и родных и ежеминутно рискуя жизнью, пересекли границу и проникли в этот город, чтобы сеять здесь семена революции, - в самом ли деле они помогаю народу? Удастся ли им, всем вместе, стать Моисеем и вывести этот народ в обетованный Ханаан счастья? Захват Оттоманского банка, и Ханасор, и убийство какого-то паши, и прочие одиночные акции - способны ли они дать в сумме национальное освобождение от турецкого ига? Не грезы ли это? Европа? Но сколько раз на крови тысяч и тысяч жертв, на пепелищах городов и, деревень Западной Армении реяло знамя тревоги, а Европа... Цивилизованная Европа довольствовалась публикацией статей и фотоснимков. А мы пришли и расшевелили народ, привели его в движение, и он сложил и стал распевать песни свободы, он воспел славу павшим, с его уст слетели песни борьбы, ах, какие пес ни... Из них-то как раз и видно, что дело, за какое они взялись, безнадежно и народ, мечтающий "победить, умирая", умрет, не победит. Какие песни!

О жаркая любовь к свободе,
Моею ставшая судьбой.
Отечества святое имя
На бой зовет меня, на бой.

И вдруг в столь серьезном деле "тра-ля-ля-ля". Какой убогий придумал это "ля-ля", и разве это не насмешка над революцией! Разве не в насмешку народ поет: "Атаманы духом вооружены"?!

И что из этого вышло:

Пусть нет у нас ни сабли, ни меча,
Но мы кирками нашими, кирками
Мучителя убьем и палача...

Вот тебе! Видали "вооруженных духом"?

А турок? Ему не до пенья, какие песни, когда занят делом. И он занят делом, он режет и убивает. Армян режут, и они умирают с песней на устах...

И еще вопрос: любит ли их народ, особенно пришлых? Не на до быть семи пядей во лбу, чтобы понять, уловить, ощутить, что народ пришлых не любит. Народ их боится, и горе тем, кто пользуется этим, горе затее, в основе которой страх.

Страх, страх, страх.

Мурадханян Ованес не побоялся и чего только не наговорил. Но если народ не будет нас бояться, не подымется ли он в один прекрасный день и не скажет ли в голос: "Вот вам семена вашей свободы, ваши нелегальные листовки, газеты и тайники с оружием, уходите, доброго вам пути. На свете властвует закон силы, и нет ни счастливых подданных, ни справедливых господ. Плеть, она и есть плеть, если даже рукоять у нее позолочена. Нас хлестала одна плеть, а с вашим приходом их стало две, мы были под одним игом, а теперь оно стало двойным. Убирайтесь, убирайтесь откуда пришли!.."

- Надо раздавить всех Балдошянов и всех, кто стоит на пути священного нашего дела! - словно из другого мира доносится до Ишхана воинственная речь Арама. - Вот почему решено очистить наши ряды от Балдошяна. Эту задачу ставит перед вами карательный орган. Есть вопросы?

Есть. Слова просит Погос, ванец, телохранитель Ишхана.

- Очистить, конечно, можно, чистота штука полезная. Господин Арам говорил обстоятельно. Но о предательской деятельности Мушега Балдошяна мы по существу мало что узнали. Фактов нет. Агьяг, виделись, говорили, слышали... это не факты. Когда мы говорим: предатель Даво, - мы тут же вспоминаем раскрытые по его указке оружейные склады, обнаруженные по его наводке тайники...

- Нельзя допустить, чтобы дело дошло до этого, - вмешался Арам.

- Давайте-ка пораскинем мозгами: может ли Балдошян стать вторым Даво? Не может. Чтобы стать предателем, мало иметь уши, надо еще этими ушами

услышать что-то существенное, а потом уж выдать властям. Балдошян ничего такого не знает. Это не Даво, тут все по-другому.

- Выводы? - напрягся Арам.

Плечистый, кряжистый, низкорослый Увалень Погос шагнул вперед, к Араму, твердо упер короткие свои ноги в землю.

- Господин Арам, вы лучше моего знаете все, что связано и с Даво, и с Балдошяном. Их нельзя ставить на одну доску...

- Балдошян поносит нашу партию, оскверняет наши святыни, - возразил Арам.

- Господин Арам, ни я, никто другой ни разу не слыхал, чтобы он поносил партию, а что до остального - я не могу с этим согласиться. Где сказано, что критическое слово о том или ин партийце равносильно поношению партии или святотатству? Неудобно говорить об этом, просто неудобно...

Барабаня пальцами по колену, Ишхан раскачивается взад-вперед, должно быть, хочет сосредоточиться. Вопрос о ликвидации Мушега Балдошяна не кажется ему теперь таким уж легки почти что решенным, как представлялось раньше, когда он уговаривал Арама вообще не обсуждать его ни на этом, ни на каком другом собрании: они с Арамом, полагал он, могут сами руками любого террориста вычистить эту грязь, слава Богу, не впервые. Да, Ван встревожен, детские души, точь-в-точь подветренные сады, взволновались, но время - лучший целитель; протекало время, и приходил в людские души покой, как приходил он в сады, - до новых событий, до новой угрозы.

СКАЗАНИЕ ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ,
в котором Ишхан продолжает размышлять.
На ловца и зверь бежит, неожиданный исход
миссии здоровяка Даво

1

Из событий последнего времени самым значительным было, разумеется, дело Даво. Что оно из себя представляло? Даво был крестьянским парнем из Дхера, и кровь у него была горячая. Горячо любил родину. Горячо, без остатка отдал

себя "святой борьбе". Горячо влюбился в девушку по имени Марине. Щеки у Марине были прозрачны, как даласлийские яблоки, а глаза черны, как пещера Зымп-Зымп. Сейчас-то Ишхан не сомневается, что если бы отец Месроп в Араруцкой церкви или отец Хорен в Норашенской церкви, если бы кто-нибудь из них обвенчал Даво и Марине, если бы возбужденная молодежь пальнула в честь жениха и невесты из револьверов и спела свадебный гимн, если бы полные гостей фаэтоны последовали за фаэтоном молодоженов от Араруцкой церкви по Хач-Похану, то дела Даво не было бы и в помине. "Как по-твоему, Давид, кто из нас важней, я или отец Месроп?" - спросил как-то Арам молодого влюбленного. "Что за вопрос, господин Арам, конечно, ты", - ответил тот. "Стало быть, обвенчаю тебя я, и не где-нибудь, а в Ахтамарском монастыре, где правят дашнакские боги во главе со святым Ишханом". - "Великую честь окажешь мне, господин Арам, благодарствуй". - "Какие у тебя красивые носки, Давид, - прямо ковер". - "Что ковер против них! Нареченная моя связала". - "Да она у тебя мастерица, Давид. Как ее зовут?" - "Марине. Марине ее зовут, господин Арам. Скажу, и тебе такие свяжет". - "Пусть свяжет, Давид. О расходах на венчание не думай".

Злополучные носки! Связать носки можно и не зная размера ноги, но Даво настоял, чтобы Марине сняла с ноги господина Арама точный размер: пускай связанные ею носки будут не велики, не малы, не узки, не широки, не коротки, не длинны, пускай связанные ею носки будут господину Араму точь-в-точь впору. И пошла Марине к Араму-паше...

Прислушиваясь краем уха к разгоревшимся не на шутку спорам и перебирая в памяти былое, Ишхан усмехнулся про себя: и одному будущему историографу даже в голову не придет, что чудовищные события, связанные с именем Даво, начались в ту самую минуту, когда Марине, та, у которой щечки были прозрачны, как даласлийские яблоки, а глаза черны, как пещера Зымп-Зымп, да, чудовищные эти события начались, когда Мар не сделала на спицах первую петлю красными, что твоя крои нитками.

И снова Ишхан подумал, что последствия, к которым приводит Арамово женолюбие, вполне предсказуемы. Он сам однажды рассказывал, как, готовясь перейти границу, остановился на ночлег в селе Давалу и, заметив на себе неравнодушные взгляды гостеприимной молодой хозяюшки, вытащил взрывчатку и гранаты - якобы затем, чтобы навести порядок в вещах, а по сути ради одного - вконец свести с ума деревенскую красотку. И что же; Это Арам-то сохранит бдительность, когда рядом женщина?! Из-за грубого его промаха (какие глаза, какая шея!) одна граната взорвалась, ранив и его, и тех, кто его приютил. И ведь это на границе, когда он только еще пускался на поиски счастья и славы. А здесь? Народ почтительно прозвал его Арамом-пашой; нельзя сказать, будто его любили, но если не любили, то боялись, а страха - уважают, из страха - любят. И чтобы Марине устояла перед ним, который, небрежно развалясь в кресле, улыбается, говорит на грабаре (*) , перед обольстителем Арамом, и чтобы сам Арам-паша устоял перед соблазном, перед этаким бутоном, пере той, кто смиренно стояла на коленях, уточняя размер его ноги. Даже смешно. И Марине начала вязать.

Она начала вязать ему носки, примеряя то подъем, то пятки; кстати и некстати навещая его, и чем длиннее становились носки, тем короче и реже становились свидания Марине с Давида Пылкий и увлеченный юноша поздно сообразил, откуда дует ветер, погасивший огонь любви в сердце Марине. Вернее, огонь любви не угас - это тоже, Хотя и с опозданием, смекнул Д вид, - он разгорался все ярче и ярче, но грел-то огонь вовсе не Давида.

(*) Древнеармянский литературный язык; здесь имеется в виду восточноармянский, на котором, в отличие от других героев романа, говорят Арам и Ишхан, и который значительно разнится от западноармянского.

Ишхан прекрасно помнит тот вечер, когда он по важному делу поднялся по дощатой лестнице в комнату Арама. Не одолев и половины лестницы, Ишхан увидел, как дверь комнаты приоткрылась и оттуда выскользнула то ли

девушка, то ли молодая женщина и, сбежав вниз, устремилась к выходу в сад. Конечно же, это была Марине. Уж не начала ли она вязать вторую пару носков?

Арам лежал на садре и мечтательно разглядывал потолок, где тускло светилась лампа.

- Ты, я смотрю, серьезно занят, - говорит Ишхан, чтобы что-то сказать.

- Смеешься? - Арам приподымается. - Тебе хорошо, женился, и дело с концом.

- Вот и ты женись! Женись, и дело с концом, - советует Ишхан. - Не по душе мне эта связь. Марине - невеста Давида.

- Была, - зевнул Арам, - была да сплыла... Не люблю его больше, говорит... Послушай-ка, ты читал... э-э-э, такой роман, "Я человек", да, Георг Эберс, "Я человек". Читал?

- Нет, не читал.

- Непременно прочти, - Арам улыбается. - Кроме своих стихов, ничего не читаешь. Но мне кажется, что это твое стихотворение, "Ты тоже встал сегодня до зари, тебя ждала опасная дорога", оно останется в литературе. Ей-Богу, не шучу - отлично написано.

- Сейчас ты готов все плоды моего рифмоплетства счесть великими творениями.

- С чего ты взял?

- Нехорошо, Арам, нехорошо... - расхаживает по комнате Ишхан.

- Согласен. - Арам дотянулся до лампы и подкрутил фитиль, стало светлее и приятнее. - Я влип, понимаешь? А насчет хорошо-нехорошо, то какой из наших поступков так уж хорош? Давид пригрозил девушке убить себя, потом ее, потом меня.

- Это невозможно.

- Почему?

- После самоубийства никого не убьешь

- Шутки в сторону. Он обещал покончить с нами, потом с собой.

- Это другой разговор. И ты...

- Давид горяч, вспыльчив, от него всего можно ждать.

- Верно, всего.

- Словом, эту ночь я объявляю ночью раздумий и бессонницы.

- Какая же любовь без бессонницы!

- Любовь в таком деле - пятое колесо в телеге. Смерти я ни! когда не боялся, все мы народ обреченный, но пройти через огонь и воду и захлебнуться в корыте с мыльной пеной... Ладно, оставим это. Садись. Возьмемся за дело. И они взялись за дело.

Взялся за дело и Давид. Убедившись, что Марине для него потеряна, он придумал в слепой ревности страшную, немыслимую месть. Последствия ее были ужасны. Давид играл в партии важную и заметную роль, ни одна акция, ни одно предприятие не осуществлялись без непосредственного его участия. Ловкий и непреклонный закоперщик любой темной, любой секретной затеи, устроитель оружейных складов и тайников, он был пламенем, пылающим во имя великой идеи, и с этим-то пламенем так неразумно, так легкомысленно шутил Арам. И пламя, жегшее тут рок, резко повернуло свои языки: Давид явился к местным властям и предложил свои услуги. "Эфенди?!"

И громом средь ясного неба грянуло дело Давида. Ни за что ни про что пропали добытые ценой невероятны усилий боеприпасы и оружие, турки обнаружили тайники, хранилища и склады, составили список неблагонадежных; начались массовые аресты, подняли вой турецкие газеты: "При участии и под непосредственным руководством группы перешедших границу авантюристов в Ване готовился грандиозный заговор, направленный против Османской... такие же группы заговорщиков свили гнезда во всех вилайетах с многочисленным армянским населением... Отечество в опасности... Турки, держите порох сухим!"

А далее...

Чтобы избежать ответственности, ушли в подполье все шефы и все мало-мальски ответственные лица; в подполье они ушли отнюдь не в переносном смысле слова: известные в свое время на весь Ван землекопы вырыли яму, на

дне которой люди могли бы в случае чего жить наподобие змей или скорпионов. Один за другим спустились по длинной веревке под землю шефы и прочие ответственные лица; нашлась геройская старуха, которая переправляла туда на веревке корзины с хлебом и сыром, медные кастрюли с мацуном и обедом. Спозаранок на дно ямы следовал кипящий самовар - с пожеланием доброго утра жителям подземелья.

Ван между тем переживал кошмарные дни. После того как все оружейные склады были опустошены, начались повальные обыски в частных домах. Страх обуял всех, жестокость, насилие и побои никого не удивляли. И повсюду маячила зловещая фигура Даво из Дхера; под защитой особой группы турецких охранников он заправлял всем тем, что творилось в городе и наводило на людей ужас. И, однако, в одном можно не сомневаться: часто, очень часто, в любое время, а тем паче по ночам в нем просыпался прежний Давид, тот Давид, которому все доверяли.

В такие минуты Даво страшился самого себя, и его черные как уголь глаза становились еще чернее. Где он, с кем он, чем он занят? С того самого дня, когда он "сжег все мосты", то есть попросил у турок политического убежища, Давид жил в доме начальника полиции, в отведенной ему отдельной комнате, под защитой усиленной охраны, а по существу - под надзором. В минуты угрызения совести он не мог уже владеть собой и готов был сбежать среди ночи в армянскую часть города и предстать... перед кем?.. перед Арамом, перед Ишханом, перед этими пришлецами, которые загадили чистый дотоле Ван и, точно кукушки, забравшиеся в чужие гнезда, заразили здесь воздух? Ван - ванцам, и пускай сгинут эти чужаки, в особенности тот, у кого черные очки и черная душа, - он отнял у него скромную, лучившуюся светом Марине и сделал ее "свободомыслящей", а говоря как есть - своей любовницей, утехой своих ночей. Зверем в клетке метался Давид по комнате - шаги все быстрее, ярость все неистовей, - когда представлял себе, как входит Марине в Арамов дом, как уходит от Арама за полночь. "Ни возврата, ни сожалений! Идти до конца, до..."

В ночной рубахе, в домашней феске входит в комнату начальник полиции.

- Почему не спишь, о чем беспокоишься? Может быть, болен?

- Нет, эфенди, я не болен и ни о чем не беспокоюсь, просто не спится.

- И мне не спится. Ты думаешь, вали спит, ты думаешь, его величество султан спит? Султану тоже не до сна. Кто печется о своем народе, не может спокойно спать. Потому тебе и не спится. И все же, мой тебе совет, разденься, ляг и отдохни... Завтра у тебя много дел.

...Стоит Давид у потайной, прикрытой тяжелой каменной плитой ямы, стоит в окружении вооруженных охранников и полицейских во главе с самим начальником полиции.

- Шефы здесь, - заявляет Давид, постукивая ногой по плите.

Плиту сдвигают в сторону, начальник полиции самолично нагибается и смотрит в глубь ямы, но ничего, кроме кромешной тьмы, разглядеть не в состоянии.

- Они здесь, - говорит Давид.

- Эй, есть там кто живой? - кричит начальник полиции. И вспоминает Ишхан, каково им тогда было, обитателям подземелья.

- Голос начальника полиции, - сказал Хэж-Хэж.

- Нас предали, - сказал Арам. - Давид и нас не пощадил.

- Отвечайте, не то зальем яму водой, - грозит сверху тот же голос.

Выхода нет, надо сдаваться. Они могут утопить обитателей колодца, а могут поступить иначе: установить круглосуточный надзор и обречь их тем самым на голодную смерть.

Надо сдаваться. И затягивает Ишхан одну из любимых своих песен:

Полночь,

Новолунье,

Я брожу, не сплю

Нету мне покоя,

Я тебя люблю.

Ишхан поет звонко, во весь голос и вспоминает, как, бывало" скрываясь у кого-нибудь, он чувствовал, что не в силах удержаться, и вдруг запевал эту песню - громко, от души, - и, бывало, хозяин или хозяйка прибегали к нему в укрытие и умоляли помолчать, потому как по улицам и садам рыскают в поисках "беглых разбойников" турецкие аскеры. А сейчас... сейчас он поет ту же песню, давая понять, что они здесь, на сыром дне этого не знающего солнца колодца, и что у них нет иного выхода, кроме как сдаться: мы здесь, мы живы, мы сдаемся.

Переговоры длились недолго: сверху прокричали, снизу отозвались согласием, снизу прокричали, сверху отозвались согласием... Обитатели колодца пообещали оставить оружие на дне и выйти на свет Божий совершенно безоружными, возложив все надежды на спасительницу веревку, сверху им пообещали неприкосновенность личности и чести.

И начался исход просветителей начала двадцатого столетия из современного Хор-Вирапа. Важнейшее это мероприятие вскоре превратилось для турок в веселую забаву. Так, должно быть, радовались людоеды, извлекая из трюма корабля, затонувшего у берегов необитаемого острова, полумертвые тела мореплавателей. О том, чтобы сдержать слово и соблюсти личную неприкосновенность, не было и речи: когда на веревке вытаскивали из ямы очередного "просветителя", это всякий раз сопровождалось разнузданной бранью, гиканьем и насмешками. Особенно восторженного приема удостоился Арам: начальник полиции, тот даже схватил его за волосы, явно намереваясь вырвать их с корнем, и плюнул в лицо.

- Вы не имеете права унижать нас! - запротестовал Арам. - Вы дали слово чести.

Вместо ответа начальник полиции обратился к Давиду:

- Слыхали, Давид-эфенди, кто заговорил о чести?

Нельзя сказать, будто ко всей этой церемонии Давид отнесся с энтузиазмом и заинтересованностью; нет, он курил, сидя на отброшенной в сторону каменной плите, или прогуливался туда-сюда и вообще вел себя так, словно шум и

суматоха не имеют к нему ни малейшего касательства и он ждет не дождется, когда же они закончатся. Но когда из ямы выволокли исхудалого, небритого, какого-то помятого и вовсе не похожего на пашу Арама-пашу, его прямо затрясло. Чтобы скрыть возбуждение, он чиркнул спичкой и поднес ее к горящей папиросе. Вид Арама в домашних шлепанцах, в натянутых поверх цивильных брюк длинных узорчатых носках, чьи яркие краски несколько потускнели в подземелье, но которые, однако, были не узки и не широки, не малы и не велики, не коротки и не длинны, одним словом, были Араму в самый раз, - этот вид, судя по всему, не на шутку взволновал его.

А потом произошло неминуемое. Ранним весенним утром, когда окруженный охранниками Даво проходил по Хач-Похану, к центру города, не проявляя никакого интереса ни к толкотне на площади, ни к бойкой торговле в ларьках и лавках, беспечным шагом направлялся безвестный юноша с потертой переметной сумой на плече. Никто не сообразил, что произошло, но все услышали три револьверных выстрела.

Слух со скоростью звука полетел из квартала в квартал, с улицы на улицу, из дома в дом.

- Даво застрелили.

- Где?

- На Хач-Похане.

- Кто застрелил?

- Неизвестно.

- Дай Бог ему здоровья! О-ох...

Однако мнения разделились.

- Даво не виноват.

- Вот так так, столько народу предал, столько горя принес! и не виноват?

- Не забывайте, что у него творилось в душе. Есть и другие обстоятельства.

- При чем тут душа, при чем тут обстоятельства! Кто предал из-за девушки родину, тот не достоин жить.

- А другой, - намек на Арама, - другой, по-твоему, ни при чем?

- Человек проявил слабость...

- Ничего себе...

- В истории таких случаев сколько угодно. Убийство Даво да и вообще все эти события вызвали жаркие споры и бесконечные пересуды и среди женщин.

- Чтоб ей счастья не видать, этой Марине! Сколько из-за нее бед в Ване.

- Арам тоже хорош.

- Мужчина есть мужчина, какой с него спрос?

- Держал бы себя в руках.

- Ежели баба шлюха, мужику не удержаться. Хотите знать, тут ни Арам не виноват, ни Даво, одна Марине виновата, гори она в огне.

И что же? Недреманным апостолам великого дела на сей раз выдалась благоприятнейшая и верная возможность удалить злокачественную опухоль по имени предатель Даво; однако - ирония судьбы! - историческую эту миссию возложил на себя безусый и безбородый юнец, ничего общего не имевший с апостольским движением, коего звали Тачат Терлемезян.

Воспользовавшись паникой и переполохом в толпе, юный террорист благополучно метнулся в густые заросли садов и скрылся, а окровавленную жертву, дхерца Даво, доставили на коляске в дом начальника полиции.

Даво был еще жив.

Он разомкнул свои тусклые, с печатью смерти глаза. Покуда он не раскрывал глаз, последние остатки сознания вызывали у него иллюзию, будто он сражен турецкой пулей и погибает за великое и святое дело, как пали за него Пето и Родник Сероб. Но, разлепив усталые и влажные веки, он увидел, что его окружают не родичи, не боевые друзья, не Марине и армянские женщины, а турки, только турки - аскеры, полицейские и сам начальник полиции. Он тяжко застонал.

- Давид, огул (*), чего ты хочешь?

Давид качнул головой - ничего.

(*) Сынок (тур.).

- Потерпи, сейчас придет военный врач...

- Священника, эфенди, - насилу вымолвил Давид.

Начальник полиции уважил последнюю просьбу достойного человека. Полицейский побежал за священником.

Вскоре в комнату вошел отец Иусик, престарелый иерей одной из второразрядных ванских церквей. Ни на кого не глядя, он быстро приблизился к умирающему и заученно, как чинуша, собаку съевший в своем деле, достал из кармана небольшой требник, словно достал пистолет, и только тогда осмотрелся.

По знаку начальника полиции все покинули комнату, и дверь за ними затворилась.

Священник быстро-быстро задвигал губами, то заглядывая в открытый требник, то воздевая глаза к дощатому потолку, после чего извлек из другого кармана маленькую круглую жестяную коробочку, ловко открыл ее и, не выпуская из рук требник, двумя пальцами прикоснулся к содержимому коробочки, затем приложил пальцы к губам умирающего.

Свершилось то, что называется причащением и - в обычных условиях - отпущением грехов.

В обычных условиях.

- Святой отец, я умру как армянин? - из последних сил прошептал Давид.

Вместо ответа священник поднял и опустил требник, не дорисовав, однако, креста движением влево и вправо.

Умирающий величайшим усилием оторвал голову от подушки и произнес:

- Да здравствует...

На большее недостало сил. Давид вытянулся, глубоко вздохнул и угас. Смерть не позволила ему завершить последнюю мысль, сказать последнее слово. "Да здравствует..." Чему или кому здравствовать, уж не Тачату ли Терлемезяну?

Слухи, догадки и собственное воображение не раз заставляли Ишхана прокручивать все это в голове наподобие волшебных картинок. Благо судьба

смилостивилась над шефами, они снова на свободе, им есть что вспоминать. И вот Ишхан припомнил дело Даво, когда под председательством Арама решалось на открытом воздухе, жить или не жить очередному изменнику Мушегу Баддошяну.

Единодушия не было.

Арам то и дело посматривал в сторону Ишхана, стараясь поймать его взгляд и дать понять: вмешайся, скажи свое слово. Напрасные старания. Арам почувствовал, что Ишхан сейчас далеко и что впутать его в эту затею едва ли удастся. На душе у Арама было скверно: до чего дожили, мало того, что ликвидация какого-то Балдошяна должна обсуждаться, так еще и не заручишься общим согласием. Стоят на своем, артачатся. Армянский вопрос, да и только. Что-то ускользает из его рук, нет, не из его, а из их рук; они - шефы, руководители - теряют точку опоры и уже не в состоянии поступать так, как хотят, как представляется удобным и целесообразным. Скверно, очень скверно, так, чего доброго, они, революционеры, останутся без революции, а Партия Союза - Дашнакцутюн - без союзников. Где она теперь, их былая сила? Где прежнее доверие к ним? Увы, у них из-под рук ускользает и исчезает нечто такое, чему нет названия, но очень и очень важное.

Не то ли же самое переживал и Давид, чувствуя, как день за днем отчуждается, отдаляется, уходит от него Марине, не то ли же самое испытал на холмах подле святого Авраама Мигран, когда дотоле такая покорная и податливая Нана резко преобразилась и взглянула на него как чужая: простите, вы, собственно, кто? И правда, кто они?

Их родили матери и пели над их колыбелями колыбельные песни. Бедные, бедные матери, они видели в своих сыновьях будущую опору отчего дома, хранителей отчего очага. И когда будущее наконец настало, сыновья покинули отчий дом и очаг, оставили матерей в слезах и ушли в неведомый мир, чтобы донести до него свои идеи. Бедные, бедные матери!

И что же в итоге? Они обосновались вдали от родных мест - в Сасунских горах, на Мушских равнинах, в Багеше, в горах и долинах Васпуракана, они

проникали сюда поодиночке и группами, и многие пали, не пройдя и половины пути. Они принесли с собой искры, они принесли искры огня из тифлисских, женевских и прочих капищ и кузниц, чтобы разжечь пожар удивительной своей борьбы, чтобы мир увидел его, чтобы цивилизованное человечество, побросав все свои дела и заботы, сломя голову кинулось им на помощь, вручило им свободную и независимую Армению, земное царствие, рай. И настал бы, просто не мог бы не настать день и час, когда на вершине Масиса затрепетало бы видимое невооруженным глазом знамя и скитальцы-армяне вернулись бы из всех уголков мира на свою прекрасную, как Марине, родину...

И что же в итоге?

Взорвалась бомба, которая должна была унести в ад этого упыря, султана Гамида. Но она унесла в ад не султана, она унесла туда других. А кровавый Гамид, живой и невредимый, восседает на троне. И теперь, когда бедствие вот-вот распространится по всему миру и поглотит страны и народы, они почему-то обсуждают, ликвидировать или не ликвидировать какого-то Мушега Балдошяна. И впрямь - почему? Да потому, что он осмелился критиковать их, особенно Арама.

Увлеченный своими мыслями, Ишхан только по довольной физиономии Арама догадался, что на Балдошяне поставлен крест.

Воодушевленный успехом, Арам решил ковать железо, пока горячо, а посему предложил избрать из присутствующих того, кто приведет приговор в исполнение. Кто-то назвал Миграна.

- Только не я, - отказался Мигран, - это выше моих сил. И тотчас ощутил, какой прохладцей повеяло от сотоварищей. В густых Арамовых усах затерялась едва заметная улыбочка.

- Это выше его сил, - мягко сказал Арам. - Тут нужна крепкая рука солдата, а не ахи-страхи.

Послышались смешки.

Сошлись на здоровяке Даво: в ахах-страхах его не упрекнешь, и рука у него крепкая, солдатская.

- Что скажешь, Даво? - спросил его Арам.

Тот поозирался направо-налево, почесал затылок, со смаком про себя выругался, помянув и председателя собрания, и всех его участников, их предков и потомков, и ответил:

- Сам знаешь, паша, мое дело курдские песни сказывать. Но коли вы говорите - надо, стало быть, надо. Душа из меня вон, сделаю.

- Собрание закрыто, - объявил Арам.

Послышался лошадиный топот. "Мюдур..." - мелькнуло в голове у Миграна, и сердце у него екнуло. Справа, на извилистой дороге, делившей рощу пополам, показался всадник. Легко одет, простоволос, курчав, ворот рубахи распахнут, в руке хворостина, раскачивается в седле, будто в такт какой-то песне, лицо удлиненное, смуглое.

Мушег Балдошян.

2

Один только Ишхан этому не удивился. Он пребывал в такт состоянии духа, что, появись сейчас перед ним дхерец Давид верхом на коне, он бы и бровью не повел... "На ловца и зверь бежит", - подумал он. Не более того. Арам вынул из кармана белый платок и начал тщательно протирать стекла очков. Мигран решил было сходить в монастырь, но передумал, не было сил сдвинуться с места. На кого ни посмотри, на любом лице читались растерянность и неловкость, и приговоренный заметил это. Положение спас Даво.

- Спеть вам "Зиланское ущелье"? Мушег, ты тоже послушай. Тебя каким ветром сюда занесло? Стало быть, так. Два курдских племени спокон веку враждуют. Вождь одного племени Мсто осенью насмерть ранил младшего брата другого вождя, Джндо короче - убил. Пришла весна, все цветет. Спустился Джндо в Зиланское ущелье, в руках ружье, подстерегает Мсто... Я буду петь, а вы подпевайте: тау-тау.

Все, даже Арам, облегченно вздохнули.

Мушег лег в траву и недовольно сказал:

- Почему я ничего не знал, почему вы меня сторонитесь? Си? дел дома, стало мне не по себе. Выпил водки, не помогло. Дай думаю, наведаюсь к кому-нибудь. К кому ни приду, сказ один, оседлал коня и уехал. Нутром почуял, что вы тут. Не пойму отчего, муторно у меня на душе.

Как не подивиться, отчего это на душе у Мушега Балдошяна неспокойно?

Здоровяк Даво прикрыл правой рукой правое ухо, тряхнул головой, точно освобождаясь от лишних мыслей, и запел. Песня лилась местами неторопливо, с надрывом, местами курдские слова падали резко, как град. Даво пел страстно и самозабвенно, тс с мольбой и сожалением, то хлестко и жестко:

Надела весна свой зеленый наряд.
В ущелье спешит мстить за брата брат.
Кровью тянет оттуда, и, обидою пьян,
Ждет врага Джндо в ущелье Зилан.
Он один отомстит - и больше никто -
Вождю враждебного племени Мсто.
Он сидит в засаде, забыв про страх,
Чтобы душу Мсто обратить во прах...
- Тау-тау-тау, - подпевают все хором.
Мать бежит за сыном, не чуя ног:
- Не ходи в ежевичник в ущелье, сынок!
Не ходи, сынок, по ущелью Зилан,
На денек-другой отправляйся в Ван.
Я сон видала, а во сне дрожал
И дымился серебряный твой кинжал,
Черным дымом ущелье Зилан занесло,
Черный дым окутал наше село...

- Тау-тау-тау, - вступают Ишхан, и Арам, и Мушег...

- Четыре дня и четыре ночи маковой росинки не было у Джндо во рту, сидит он в засаде за громадным утесом, неусыпный страж Зиланского ущелья. Пришла весна, зазеленели горы и долы; не утерпит Мсто, придет за

козлобородником и ревенем, придет пострелять куропаток. Будто черная змея, будто злой волк, притаился в засаде душегуб Джндо...

- Тау...

- Не геройство разить врага в спину, Джндо, опусти свое ружье. Ежели ты смел, выйди на дорогу, останови Мсто и схватитесь в честном бою - кто кого. Который погибнет - земля ему пухом, который будет жив - живи сто лет...

- Тау...

- Горе твоему дому, Мсто! Скачет он на коне, ветер обдувает пыль с его папахи. Заколотилось у Джндо сердце, лег он на живот, прицелился... Вай, Зиланские горы, вай, ущелье зла...

Наступила тишина. Все, точно сговорившись, посмотрели на Мушега Балдошяна. Тот лежал на траве мрачнее тучи.

Что ни говорите, нынче Мушег Балдошян почему-то не в духе.

Ишхан и Арам, не сговариваясь, отошли в сторону.

- Что с тобой сегодня? - почти воинственно спросил Арам, прислонившись спиной к толстому стволу ясеня.

Ишхан сплел пальцы, повращал один большой палец вокруг другого и раздельно, по складам произнес:

- На-до-е-ло.

- Что надоело?

- Все это.

Арам улыбнулся. "Опять на него дурь нашла", - подумал он.

О, ваше сиятельство, как же нам быть, как рассеять вашу хандру? - спросил Арам тоном, каким обычно разговаривают с балованными детьми.

- Не знаю, я и сам не знаю, - серьезно ответил Ишхан. - Знаю только, что все это неверно. И путь, избранный нами, он тоже неверен. Или, может быть, мы не так по нему идем, не знаю...

- Знаю - не знаю, - снова улыбнулся Арам. - А я вот знаю другое: сегодня ты сам на себя не похож.

- Разве только я? По-моему, все мы мало-помалу становимся не похожи на себя.

- В каком смысле?

- В любом.

Ишхан пожал плечами, сделал несколько шагов вверх па склону холма, уселся на камень, где только что сидел Мигран, и обозрел открывшуюся перед ним панораму. Парни сгрудились на лужайке, кто стоит, кто сидит; на головах у всех красные фески и на фоне зелени они напоминают гигантские маки. Кое-кто бродит на тесном пятачке под деревьями с густой кроной, которые окаймляют лужайку, и что до них, то они напоминают этакие бродячие маки. Вот Магак - школьники зовут его господином Магаком - смуглый, с грустными глазами и короткой бородкой. Вот рыжеватый плечистый Барунак с серьезным взрослым лицом, но детскими синими глазами; у него хорошее перо и голос оратора. Вот Ованес, которого все зовут Оником и который декламирует стихи Сиаманто. Ованес-Оник тоже, как и Магак, прогуливается и поминутно поправляет при этом очки, водружая их туда, где им надлежит быть. Его лицо сегодня столь одухотворено, что кажется, будто он вот-вот встанет в позу, скрестит руки на груди и продекламирует: "Я с песней умереть хочу..."

Откровенная пропаганда смерти! Можно подумать, они посвятили себя великому делу не ради того, чтобы жить ярко и полг неценно, а чтобы погибнуть, обязательно погибнуть, иначе - без гибели - что за революция... Настоящая мания - непременно умереть, непременно пасть жертвой; они не в силах отрешиться от нее, даже достигнув изначальной цели, то есть когда надо не умирать, а жить, когда нет уже нужды причитать об Армении. А революция? Ведь эдак она того гляди кончится... нет уж, да здравствует революция, да здравствует смерть!

И распевается несусветная глупость:

Я все равно достигну цели.

Пускай накинут мне петлю,

Но с виселицы, задыхаясь,

"Ах, родина", - я прохриплю.

Какая чудовищная традиция - традиция умирать. Они готовы взойти на виселицу, даже обретя свободу, только бы получить возможность прохрипеть из петли: "Ах, родина". Если возникнет однажды Армения с собственными государственными символами - гербом и флагом, - если повлекутся туда со всего света скитальцы-армяне, то наши смертепевцы - вот она, насмешка истории - по-прежнему затянут свое боевое стенание: "Ах, родина".

У всех длинные волосы и непременно - усы, что до бороды, то она необязательна... Вот Амаяк, вот Вагаршак, Сет, Аршак, Хачик, Арсен - молодой, увлеченный, с верой в глазах народ; каждый из них порознь - мужественный и добрый боец, но вместе, да еще проголосовав, они вполне способны совершить зло.

Вот Арам подошел к Здоровяку Даво и отвел в сторонку. Ясно, о чем они говорят; Здоровяк Даво слушает внимательно и напряженно. Арам не из тех, кто откладывает сегодняшнее дело на завтра. Зверь прибежал сам, и ловцу грешно не воспользоваться этим. Здоровяк Даво стаскивает с себя остроносые чувяки и колотит ими по дереву, выбивая пыль; надевает и что-то говорит склоненному к нему Араму.

Арам распрямляется, и его напрягшееся было лицо снова становится спокойным и самоуверенным.

"Все ясно, убедил, - думает Ишхан. - Похоже, наш прославленный исполнитель курдских песен, наш неотесанный горец Здоровяк Даво тоже сознает, что революция... требует жертв".

Бедняга (Нана сказала бы: бедняжечка) Мушег Балдошян неприкаянно, как бедный родственник, слонялся среди парней; наконец подошел к Миграну и тихо спросил:

- Собрание провели?

- Собрание? - вопросом на вопрос ответил Мигран; сразу-то и не найдешься.

- Где Арам, там и собрание. Быть того не может, столько народу - и Арам не устроил собрания?

- Да что ты, какое собрание! - промямлил Мигран и добавил: - Так, разговоры в пользу бедных.

Мушег Балдошян поискал глазами и нашел увальня Погоса. Тот улегся в траве на спину - ни дать ни взять бревно - и, видно, был не в духе. Мушег хотел подойти к нему, сказать что-нибудь забавное, развеселить и услышать в ответ теплое слово, но оказалось, Погос лежит с закрытыми глазами: а может, он прикрыл их, заметив Мушега?

- Погос... Молчание. Мушег присел рядом, на траву.

- Погос, а Погос...

- Чего тебе? - сказал Погос, не открывая глаз.

- Ты что, не в духе? - спросил Мушег, чувствуя на себе пристальный взгляд Арама.

- Голова трещит, мочи нет, - застонал Погос, перевернула на живот и зарылся головой в траву.

Преступное солнце, соучастник заговора, уходило на запад, подбирая на холмах Айоц-Дзора свой закатный наряд; падали вечерние тени, река Хошаб стала совсем свинцовая и кажется ни движимой. В окне монастыря появляется Нана, это, похоже, замечает один только Арам; но вот и она исчезает в вечерни сумерках.

- Ребята, - слышится голос Арама, - пора. Спасибо и монастырю, и его настоятелю.

Из рощи вывели коней, подоспел Авдо, оседлал сперва Арамову лошадь, потом Ишханову и принялся помогать тем, кто замешкался.

- Отчего нынче парни не в себе? - полюбопытствовал он Миграна.

- С чего ты взял? - удивился Мигран.

- "Козла"-то не спели...

А ведь и верно, "Козла" они сегодня не спели. Авдо страстно любит эту песню.

Сбегайте, взгляните, кто съел моего козла.

Сбегали, взглянули - волк съел моего козла.

Арам подошел к Мушегу:

- Балдошян, у Гядука вы с Даво отделитесь и поедете в Вараг.

- Зачем? - Мушег не ожидал никаких распоряжений.

- Даво в курсе, - коротко ответил Арам.

Отряд тронулся. Обычно они запевали "Не было луны" или же другой марш, а теперь... ни у кого не лежала душа к песне. И не только к песне.

Мушег понукает лошадь и не отстает от Даво. Ему не терпится узнать, что им предстоит делать в Вараге, знал ли Даво об этом задании или тоже получил его внезапно? Когда это они надумали отправить в Вараг непременно его, Мушега, вместе с Даво?, Догадывались, что он приедет? Нет, конечно. Что-то тут не так темная какая-то история и неприятная. Да и вообще муторный день и непонятный, думает Мушег. Черт его дернул приехать из Вана...

Впрочем, светила луна, и назвать эту ночь темной было нельзя; отряд двигался неторопливо, и хотя все были вооружены - кто с револьвером, кто с маузером, Ишхан, тот с обыкновенным охотничьим ружьем, - внимательный наблюдатель заметил бы, что это не отряд храбреца Хана.

Когда Гядук остался позади, Здоровяк Даво отозвал Мушега:

- Поехали.

Мушег повернул за ним.

Отряд остановился. Всадники по-настоящему поняли это лишь тогда, когда разом, мгновенно, почти сверхъестественно стих топот копыт и в горах воцарилась поистине каменная тишина.

В последнюю минуту Мушегу Балдошяну захотелось взглянуть в глаза Увальню Погосу (почему именно Погосу?), но он не сумел того отыскать: на отряд пала густая тень большого холма. Подозрительным и зловещим показалось и то, что отряд остановился. Это еще зачем?

Они со Здоровяком Даво свернули налево, на тропинку, которая немного погодя поползет, извиваясь, вверх по склону Варага. До них донесся топот

копыт. Значит, отряд тронулся лишь сейчас? Они столько времени стояли и смотрели вслед? Почему?

Почему?

И в горной ночной тишине снова зазвучала песня Давида, и лошади придержали шаг, будто понимая, что свершилось в Зиланском ущелье.

Поднялся Мсто, оседлал коня.

- Матушка, - сказал, - не держи меня.

Я невестке твоей ревеня принесу,

А тебе подстрелю куропатку в лесу.

Мать повисла на шее коня: - Не ходи,

Растерзают тебя, чует сердце в груди!

Мальчик мой, мой сынок, сердца мне не унять...

Мальчик мой, мой сынок, ты послушай мать...

- "Мальчик мой, мой сынок", Мушег, подпевай, - напомнил Давид. - Тау-тау... А Мушег, кажется, смекнул где собака зарыта. Нас послали в Варагский монастырь, рассуждает он, ликвидировать директора монастырской школы Артака. Артак, он из последователей Португаляна и Аветисяна, рамкавар-арменист. Очередная жертва. Мушег никогда не вмешивался в такие дела. Час пробил... Вот почему они стояли и смотрели им вслед. А Даво почему молчит, почему не говорит, что им ведено? И Мушег дает себе зарок: ни в коем случае не обагрять руки кровью, ни при каких обстоятельствах не покушаться на жизнь Артака Дарбиняна, кровопролитие - не для него. Поручили Давиду, пусть Давид и выкручивается. "Даво в курсе", - сказал Арам. Вот и прекрасно. А он ничего не знает и знать не желает.

- Не геройство разить врага в спину, Джндо, опусти свое ружье. Ежели ты смел, выйди на дорогу, останови Мсто и схватитесь в честном бою - кто кого. Который погибнет - земля ему пухом, который будет жив - живи сто лет... Мушег, сынок, подпевай: тау-тау:

- Тау-тау, - подпевает Мушег; у него камень с души свалился. "А ведь ты, Даво, собираешься разить Артака в спину, - думает Мушег, - стыд тебе и позор".

И вот финал песни:

- Заколотилось у Джндо сердце, лег он на живот, прицелился... Вай, Зиланские горы, вай, ущелье зла...

У крупного утеса Давид остановил коня и огляделся; напротив, посреди небольшого леса, высится Варагский монастырь, на фоне горы резко проступают очертания церковных куполов. Доносится глухой шум монастырских водяных мельниц, а внизу - Ван, темный массив его садов, за которыми море, слившееся сейчас с небом, так что и не отличишь, где кончается море и где начинается небо.

Даво спешился.

Спрыгнул с коня и Мушег; отошел в сторонку к громоздящемуся в десяти шагах утесу и стал к нему лицом. "Мне везет", - усмехнулся Даво, снял с плеча ружье и направил на Мушега... кашлянул. Опустил ружье, уселся на камень и свернул папиросу. Оправившись, Мушег вернулся, тоже сел на камень и спросил:

- Что теперь? - Вынул из кармана спички и протянул Давиду.

- Мне моего огня хватит, сынок, - хмыкнул Давид и вытащил огниво. Покрепче прижал фитиль к кремню, трижды ударил по нему кресалом - раз, два, три, - высек искру, и фитиль задымил. Даво прикурил и глубоко затянулся. Мушег между тем раздумывал, как уговорить Даво не убивать Артака. А подумав, посмеялся над своей наивностью: такому дикарю ничего не втолкуешь, они и рождены-то для подобных вещей. - Что теперь? - наконец отозвался Даво, удобно устраиваясь на щербатом камне. - А ничего. Ты стоял у скалы, землю мочил, я выстрелил и убил тебя. Я со своим делом покончил, ты со своим тоже. Я сяду на лошадь, поеду домой, спокойно усну... а твое тело волки сожрут... Поутру встану, поем-попью, приду к Араму-паше и скажу: приказ выполнен, Мушега я убил. Ясно?

Мушег словно пробудился ото сна, и в то же время ему почудилось, что нет, не пробудился - страшный, нелепый сон еще длится...

- А-а-а! - только и смог выдохнуть он, и в этом хриплом выдохе звучали изумление и сомнение, гадливость и гнев.

- Ба-а! - передразнил его Даво. - Вот что, сынок, садись-ка на лошадь и езжай поверху, мимо Апаранджанского родника, мимо святого Григория. Через Тимар, через Ахбак гони лошадь в Салмаст, в Автван гони, глядишь, голова цела останется, а там видно будет. На этом свете, сынок, как ни крути, ни ума не надобно, ни храбрости. Коли умный, упекут в тюрьму, коли храбрый - не заживешься. Беги отсюда, сынок, беги подобру-поздорову!

- А ты? - спросил Мушег, насилу сглотнув слюну.

- Я? А мне что? Пойду скажу: убежал, не сумел я его убить, а то скажу: убил. Где, мол, тело - спросят, скажу: сожрал. Что армяноубийца, что людоед - не одно и то же?.. Деньги, сынок, есть?

- Есть немного, - ответил Мушег, ощупывая карман.

- И у меня немного. Два раза понемногу - получится много, возьми, сгодится. Там армян много, не пропадешь. Коли я тебя не убил, жить тебе да жить.

Из Варагского монастыря донеслось серебристое петушиное кукареку, повеял легкий ветерок, и ночь, сдвинувшись с места, пошла на убыль.

- Садись на коня, сынок, дай тебе Бог счастливого пути, а мне - выйти сухим из воды.

Мушег встал, затянул ремень, шагнул к Давиду, обнял его, поцеловал, хотел что-то сказать, но не смог.

- Беги, сынок, беги отсюда, Господь тебя не оставит...

- Повидай мать, объясни...

- Шепну два словечка. Садись, сынок, с Богом!

Так и не очнувшись от сна, Мушег сел в седло, тронул лошадь и двинулся к Апаранджанскому роднику. Давид поглядел ему вслед и - гора с плеч! - легко вскочил на коня и направил его к большаку, к Вану.

3

Сегодня, точь-в-точь вчера, Миграна словно разбудили. Нана спала, с головой укрывшись одеялом, и казалось, будто постель пуста. Куда подевалась та,

вчерашняя Нана? Постель-то вовсе не пуста, вон из-под одеяла видна прядь ее коротко подстриженный волос. Мюдур так и не вернулся. А вчера...

Мигран сомкнул глаза - надеялся еще уснуть, но через мину ту понял: не удастся. Глупости, надо спать. Спать, спать, поза! быть все. Заворочалась в постели мать и что-то скороговоркой пробор мотала сквозь сон. "Со мной разговаривает, - подумал Миг, ран, - во сне она только со мной и разговаривает. Другого собеседника Бог не дал". В деревне Хек прокукарекал петух, дождался отклика от главного монастырского сородича, и все смолкло. "Пу-у!" - вскрикнула в роще ночная птица. Потом еще. Спать, спать. Мигран зажмурился изо всех сил. В глазах поплыли зеленые круги. Голова Наны. Он улыбнулся? Нет, разозлился. И то и другое. Ни то ни другое, он попросту струсил. Ну и денек выдался. И все, все уместилось в какие-то сутки. Прав ли он был, наотрез отказавшись казнить Балдошяна? Конечно прав... Незачем ему специализироваться в убийствах. А если бы Нана согласилась давеча свернуть с дороги, подняться на холм? И откуда только свалился ему на голову этот свободомыслящий мюдур со своей свободомыслящей половиной? Что за напасть!

Да ты, Мигран, просто недалекий и убогий человек! Что, собственно, стряслось, из-за чего ты места себе не находишь?! Взять Аршака Мандабуряна. Жил несколько лет в Стамбуле. Вернулся в Ван. Ты только послушай его, послушай! "Верно, что в Стамбуле есть нехорошие дома?" - спросил как-то Мигран. Аршак не понял: "В каждом городе есть и хорошие дома, и нехорошие. - Аршак говорил по-армянски на полисском диалекте. - Если на то пошло, в Ване, за редким исключением, дома не Бог весть какие". Мигран выразился понятнее: "Верно, что там есть... ну..." - "Ах вон ты о чем, - рассмеялся Аршак. - Эти, говоря по-твоему, нехорошие дома - лучшие дома Полиса... Допустим, эфенди, ты молод, неженат и у тебя водятся деньги. Ты заходишь в храм Афродиты, как там это называют, усаживаешься за круглый столик. Тебе несут альбом с фотографиями девушек всех национальностей, любого возраста и на любой вкус. Выбирай, какая по душе. Бывает, на

карточке видишь одно, а в жизни перед тобой совсем другое. Нет, говоришь, так не пойдет. И снова ищешь, пока не найдешь, чего сердце просит". - "Но ведь есть же дурные болезни", - попытался возразить господин Мигран. "Нет болезней хороших и дурных, - оборвал господин Аршак Мандабурян, - все болезни дурные. В Ване не строят храмов Афродиты, а болезней сколько угодно". "А история Мурадханяна Амбарцума?" - не сдавался Мигран, на что фанатичный жрец храма Афродиты господин Аршак Мандабурян ответил: "Несчастный случай, эфенди, несчастный случай. От него никто не застрахован". На этом разговор не закончился, господин Мандабурян нагнулся и шепнул Миграну на ухо: "Вот что я тебе скажу: будь в Ване нехорошие, как ты выражаешься дома, не было бы дела Даво... Я тебе ничего не говорил, ты от меня ничего не слышал. Оревуар, месье Мигран! Милости прошу к нам в гости".

Вот она, жизнь. Возьми себя в руки, Мигран. Разве случилось что-то страшное? Ни Пятничный ручей, ни дочь Мурадханяна Ованеса-аги никуда не исчезли. ("Лия, сядь...")

Тот же господин Аршак Мандабурян, перебывав со столькими дамочками, преспокойно женился. Вот она, жизнь.

Здоровяк Даво, наверное, покончил со своим делом, вспомнил Мигран. Дело и есть, иначе не скажешь. Был человек, ел, пил, радовался, печалился, и вдруг его не стало. Можно подумать, Мушега произвели на свет Арам и Здоровяк Даво, они произвели, они и отправили на тот свет. Ужас, просто ужас.

Арам сказал про него - "ахи-страхи", дескать, интеллигент. А сам? Его называют пашой, но ведь он, в сущности, писака, даже дневник завел. Уже и статьи строчит под псевдонимом в "Азатамарт" и "Дрошак". Попробовал бы сам разок выстрелить в человека. Только речи произносить горазд. Ахи-страхи...

... Мигран срывает в большом саду ромашки, резко пахнет айвовый цвет, и Миграну жаль, что из айвовых цветов не составишь букета. Из-за невысокой ограды выглядывает дочь Мурадханяна Ованеса, наискромнейшая барышня

Лия. (Если Мигран когда-нибудь соберется написать ей, он так и начнет: "Наискромнейшая барышня Лия...") С охапкой ромашек Мигран подходит к ограде. Лия улыбается, Лия не убегает; Мигран протягивает девушке цветы. "Это тебе", - говорит он. "Нет, не мне, - говорит Лия. - Отдай их той, для кого нарвал". - "Для тебя", - твердит Мигран и настаивает: дескать, непременно возьми. "Напрасно стараешься, - мотает головой Лия. - И не подумаю брать, отдай этот букет своей Нане. Выбирал, выбирал и влюбился в какую-то турчанку, - смеется Лия, - в турчанку влюбился". По широкой садовой аллее едет верхом на коне грустный мюдур; поравнявшись с Миграном, останавливает коня и молча, в упор смотрит Миграну в глаза. И сумрачный, чернее тучи медленноудаляется.

Теперь-то Миграну видно, что за оградой стоит вовсе не Лия. Нет-нет, это не Лия, а Нана. "Сказать, чтоб он тебя убил? - говорит она, кивая на мюдура. - Сказать?" - "А что ты можешь сказать, тебе и сказать-то нечего, - возражает Мигран. - Это еще вопрос, кого он убьет, тебя или меня". "Зачем ему меня убивать, я его жена и преданно его люблю". - "Ха-ха-ха, - смеете Мигран, - "преданно люблю"". Мюдур уходит, и его плечи сотрясаются. "Погляди, - говорит Мигран, - мюдур хохочет над твоими словами". Нана смотрит вслед мюдуру и испуганно, как маленькая, хватает Миграна за руку. "Да он же плачет, Мигран-эфенди, мюдур плачет". Через минуту Нана говорит: "Дай мне эти цветы, я отнесу их мюдуру, и он подарит их мне... Любовь у нас есть, а вот цветов нет". - "Они для Лии, - противится Мигран, - Лия любит меня чистой, непорочной любовью". - "Чистой, непорочной любовью, - звонко смеется Нана. - Такой же чистой непорочной любовью Марине любила дхерца Даво".

... Мигран проснулся. Рассвело. Матери уже не было, она, как всегда, встала спозаранок. Прядь Паниных волос исчезла, теперь из-под одеяла выглядывают тонкие длинные пальцы.

Приснится же такая чушь. В последнее время - только ли в последнее? - ему не дают покоя глупые, тяжелые, прямо-таки кошмарные сны. Может, обратиться в американский госпиталь, к американскому врачу доктору

Ашеру? Но что и как ему сказать? Говорят, у него удивительные инструменты, с их помощью он обследует больных и ставит диагноз. Забавные истории рассказывают про этого доктора Ашера. Арам жаловался на боли в суставах, и его уложили в американский госпиталь. Как-то в палату заходит осмотреть больных доктор Ашер. Доктору, как и всем в Ване, имя Арама знакомо, и доктор решает проверить нервы своего больного. После обстоятельного осмотра он заключает на своем неповторимом армянском:

- Господин Арам, ты умру...

- Я умру или вы? - подскакивает Арам.

- Ты, ты, - уточняет врач, - я не болеешь.

Арам в обмороке.

- Ты недостаточно храбр, и тебе не освободить Ван от турок, - примерно так, если не считать простительных иностранцу ошибок и согласований, говорит Ашер, приводя Арама в чувство. Когда больной пришел в себя, доктор пояснил: - Я сказал, что ты умрешь, но не сказал, что немедленно, сию минуту; я хотел сказать, что ты когда-нибудь умрешь.

- Когда-нибудь, доктор, умрет каждый, - стонет Арам.

- Это-то я и хотел сказать, - заключает доктор Ашер.

Уже не раз Мигран собирался пойти к доктору Ашеру, к этому знаменитому врачу, и поведать, что его мучает. Однажды он даже направился к нему, но... во сне. Ему приснилось, что он зашел в приемную Доктрашра, как говорят ванцы. В приемной длинная очередь, в ней турецкие аскеры. Арам-паша, монастырский Авдо, Ишхан... Он повернул было обратно, но в приемную выглянул сам Доктрашр.

- Входи, - сказал он, - тебя я приму без очереди. Мигран вошел в кабинет.

- Что у тебя? - спросил доктор.

- Мать, дом, земля, - ответил Мигран.

- Что за болезнь? - рассердился врач. Мигран объяснил:

- Вижу тяжелые, отвратительные сны и хожу сам не свой, сделайте что-нибудь...

Доктор Ашер открыл железную дверцу вмурованного в стену шкафа, нажал кнопку, и шкаф со всех сторон - справа, сверху, слева - осветили яркие огни.

- Войди сюда, я закрою дверцу и через это круглое отверстие посмотрю, что у тебя в голове, а через другое отверстие, вот это, увижу, что у тебя в сердце и животе, а потом...

Сама мысль, что этот человек способен осветить проклятыми своими лучами его внутренности и распознать его нутро, эта мысль его ужаснула.

Мигран проснулся.

"Глупо, конечно, думать, будто впрямь существуют такие чудодейственные лучи и такой шкаф, - размышляет Мигран, - а сходить к этому американцу не мешает, может быть, избавлюсь от ночных кошмаров".

Вчерашнее собрание. Что ж это творится? Чем озабочен мир и чем - пришлые наши шефы. Впрочем, поди знай; чем дальше зурна, тем завлекательней ее мелодия. Может, и эти, когда умрут, станут на нашу голову святыми.

Нана шевельнулась, вернее, шевельнулось одеяло, и пальцы Наны скрылись под ним. Теперь ее нет. Он вспомнил свой сон, вспомнил все, что случилось вчера, и затосковал по Нане. Подойти бы к ее постели, откинуть одеяло и проверить, там ли она. Она не спит, он в этом не сомневается. Ей к лицу все, буквально все, но сон?

Итак, сегодня приедет мюдур. Может быть, они распрощаются с монастырем вечером, а может быть, и переночуют. О чем ему говорить с мюдуром после вчерашнего? Так или иначе эта встреча сулит мало приятного; что уж тут хорошего - беседовать и поминутно ощущать на себе взгляд детских, но умных Няниных глаз и знать, что она все слышит, смеется про себя и не верит ни единому его слову. При своей непосредственности она вполне способна оборвать его: э, дескать, Мигран-эфенди, лжешь ты все, расскажи-ка лучше, как вчера... с нее станется.

Так что же, выходит, это он кругом виноват, это ему надо стыдиться? А Нана? Ведь случилось лишь то, чего она хотела. Как все странно, скверно и нелепо; Нана, этакий невинный ангелок, парит сейчас в небесах, а его изводит

бессонница. Миграну снова вспомнился господин Аршак Мандабурян: а ведь верно, будь в Ване храм Афродиты, между ним и Наной ничего бы, пожалуй, и не произошло.

А чтобы оградить себя от подобных казусов, нужно жениться. И чем скорее, тем лучше. Конечно, дочка Ованеса-аги Мурадханяна для него слишком молода, но разве это так уж важно? Главное - любить друг друга; зачем далеко ходить - мюдур много старше Наны... и что из этого?

Мигран повернулся на другой бок, пример ему не понравился.

... На лугу возле Пятничного ручья, где по праздникам шумно веселятся ванцы, стояла девушка и смотрела вдаль, на гору Вараг. Эту девушку зовут Лией. И когда пойдут пересуды: на ком-де женился Манасерян Мигран? - прозвучит короткое: на Мурадханян Лии.

Так-то вот.

Мигран вспомнил одну любовную песню, к которой особенно неравнодушен Ишхан. Он уставился в потолок и спел про себя:

- Эй, горянка-девушка, девушка-красавица,
Выйди за ворота, покажи лицо.
- Эй, армянский юноша, эй, отважный юноша,
Ты на кровле не был, не видал луны?
- Эй, на лань похожая девушка пригожая
Выйди, дай на брови погляжу твои.
- Эй, армянский юноша, недовер ты, юноша,
В церкви не бывал ты, сводов не видал?

Он мог бы долго еще петь про себя эту песню, если бы Нана не повернулась опять в постели. Повернулась и снова замерла. И никаких перемен.

Мюдур, мюдур... Что больше всего тревожило сейчас Миграна, так это встреча с ним. Конечно, чем бы она ни кончилась, она минет, останется позади; все на свете рано или поздно остается позади. А если встать, оседлать лошадь и махнуть в город? Кто его упрекнет? Упрекнуть-то не упрекнут, но все же неловко, не-лов-ко... Мигран потянулся, зевнул, напрягся, опять расслабился.

Глаза сами собой закрылись.

x x x

Все оказалось куда проще, чем он ожидал. Мюдур не приехал, вместо него появился хоргомец Тигран с двумя записками, одна из которых адресовалась Миграну; написана она была по-турецки, справа налево: "Уважаемый Мигран-эфенди, мне не удалось сдержать обещание, вернуться и вновь насладиться Вашим гостеприимством и дружеским ко мне расположением, а также заехать за Наной. Пусть она приедет с подателем письма. Полагаю, Нана уже успела наскучить Вам. С пожеланием всех благ и надеждой чаще с Вами видеться Камал".

Прочитав врученную ей записку, Нана побежала в комнату, передумала и вернулась. В дверях церкви показалась Мигранова мать.

- Матушка, мюдур прислал за мной, - сказала Нана. - Я уезжаю.

- Ах, ослепни мои глаза, что я без тебя делать буду! - комически серьезно изображая отчаяние, ударила матушка ладонями по коленям.

Остальное произошло очень быстро. Из комнаты в мужском костюме вылетела Нана, Мигран вынес ее вещи и ковровую переметную суму, Авдо оседлал лошадь и подвел ее к каменному выступу. Вещи надежно и удобно приторочили к седлу. Хоргомец Тигран с весьма впечатляющей экзотической наружностью - черными как смоль густыми усами, наголо бритой головой, в крестьянской одежде, - Тигран лишился дара речи, увидав Нану в мужском костюме. "Господи помилуй, неужто призрак?" - шепнул он Авдо. "Никакой не призрак, - ответил тот, - а мюдурова жена. Целой-невредимой свезешь ее к мужу. Понял наказ?" Слова Авдо прозвучали деловито и куда как авторитетно. Нана обняла и поцеловала матушку, легко вспрыгнула на каменный выступ, а оттуда - в седло. Было мгновенье, когда Мигран ощутил на себе ее холодный взгляд. Сделал вид, что не заметил. Теперь его одолевала новая забота: что Нана расскажет о нем мюдуру. Его и забавляло, и злило, что сама-то Нана ничуть не боится Миграновой откровенности, а ведь он много чего может порассказать ее мужу.

Лошади тронулись. Медленно и спокойно двинулись они вниз по склону монастырского холма.

- Вот и все, - сказала матушка. - Было и прошло. - И почему-то испытующе взглянула на сына. Авдо хотел было что-то добавить, но только махнул рукой. Мигран смотрел вслед удаляющимся всадникам, и тут его наконец осенило. "Хочет Нана или не хочет, ей придется молчать", - подумал он.

СКАЗАНИЕ ПЯТНАДЦАТОЕ.

О городе, видных его гражданах и о весьма знаменательных событиях. "Васпура-а-а..."

1

У города, о коем мы ведем, забросив все иные дела, наш рассказ, были, разумеется, свои центры. К таковым следует отнести площадь Арарк, или, как ее называли горожане, Араруцкий майдан; ее, мы имеем в виду площадь, окружали магазины и лавки. Подлинный же торговый и ремесленный центр располагался, как мы уже говорили, в другой части Вана, именуемой попросту Город или же Цитадель, что, однако, не мешало Айгестану иметь свои, так сказать, торговоремесленные подцентры. Здесь же, в Айгестане, находилась и Араруцкая церковь со своей приходской школой, маслобойней и кладбищем за церковной оградой. Араруцкий майдан тяготел вырваться за пределы вмещающего и обособляющего все это круга.

Рядом с многочисленными бакалейными лавками здесь можно было увидеть небольшие мануфактурные магазинчики, торговцев скобяными изделиями - серпами, замками, крюками, мастерскую, где изготовляли сальные свечи и мыло, парикмахерскую, пекарню. Тут же располагалась и маленькая кузница Арабо. Радовал глаз магазин школьных принадлежностей, где помимо всего прочего продавались еще и сводившие с ума мальчишек резиновые мячи. Иногда, преимущественно летом и осенью, площадь Арарк превращалась в основной центр города; происходило это по воскресным дням, когда сюда стекались из окрестных деревень крестьяне на волах, ослах, больших и малых

арбах, доверху груженных всевозможной снедью и плодами. Там и сям громоздились горы арбузов и дынь, стояли корзины, полные свежей рыбой, персиками, виноградом, яблоками, грушами, и среди этого пиршества красок и запахов царил аромат дынь. Да, по воскресеньям воздух на майдане был наполнен дынным благоуханием.

Здесь же, на майдане, находился и маркьяз - двухэтажное здание полицейской управы.

Была на площади Арарк и небольшая кофейня. Что до игорных заведений, то их здесь не держали. Зато именно на майдане размещалось единственное в городе одноэтажное дощатое строеньице, где за десять пара можно было увидать карагёз (*); в темной комнате на белом освещенном полотне смешно двигались тени людей и животных.

_____

(*) Черный глаз (тур.).

_____

Говоря современным языком, площадь Арарк могла похвастаться единственным в Ване кинотеатром.

Невзирая на все помянутые достоинства площади, ее обитателей невесть почему называли майданскими скупердяями; с какой стати? - спросите вы, но об этом следовало бы полюбопытствовать у жителей Норашена, которых майданцы в свой черед именовали ни больше ни меньше нищими, но гордыми норашенцами.

Норашенская площадь была куда меньше майдана. По правде говоря, здесь и площади-то никакой не было: Норашенская церковь, рядом кладбище того же имени и несколько лавчонок перед ним. Вот и все. Но как раз в Норашене обитали самые зажиточные и состоятельные ванцы. Неподалеку стояли дома Гапамаджянов и Терзибашянов, неподалеку же - школы норашенская и Сандхтян, первая мужская, вторая - женская. И опять-таки неподалеку - дом Симона-аги Тутунджяна с разбитым перед ним огромным виноградником, Американская миссия с училищем, которое посещали и мальчики и девочки, с

протестантской молельней, госпиталем, аптекой и гигантской, видной из любого конца города ветряной мельницей, имевшей, кстати сказать, скорее рекламное, нежели практическое назначение: знай, мол, наших; так вот, все это или почти все входило в зону влияния Норашена. Если же присовокупить к сказанному, что прямо напротив женской школы Сандхтян жил не кто иной как господин Ишхан, то мудрено будет не усмотреть у Норашена известного превосходства над прочими кварталами. По соседству с норашенской школой стояла мельница, а рядом с мельницей кофейня, примечательная тем, что была только кофейней и более ничем.

Против кофейни стоял двухэтажный дом Аджем-Хачояна с просторным двором и выходящими во двор длинными открытыми балконами, прозванными оросбац. Фасадом для подобных домов старой архитектурной школы служила глухая стена с входной дверью, непременно снабженной гнутым молоточком и квадратным окошком на самом верху, дабы можно было узнать, кто стучится в дверь. Надо полагать, что название выходящего во двор открытого балкона - оросбац - это название происходило от ересбац, что значит открытое лицо, потому что лишь балкон словно приоткрывал лицо старых, "закрытого" стиля домов.

Засим, после краткой архитектурной характеристики дома, мы не можем лишить себя удовольствия отметить, что в этом, именно в этом доме живет господин Карапет Аджем-Хачоян - один из добросовестнейших учителей школы при Араруцкой церкви. Будь, однако, данное обстоятельство единственным, оно едва ли заставило бы нас вспомнить этого маленького смуглолицего человека с большими черными глазами и густыми черными же усами. Господин Карапет Аджем-Хачоян снискал широкую и шумную известность исполнением роли сельского старосты Мно в "Долине слез" (*), игумена в "Старых богах" (**) и Яго в "Отелло". Особенно взбудоражил ванцев Яго господина Карапета. Кое-кто не в силах совладать с эмоциями, пытался швырять в коварного клеветника стулья, нашлись горячие головы,

готовые подстеречь подлеца на улице и дать ему хорошую взбучку, но зрители поумнее решили воздействовать на ход спектакля выкриками с места:

- Не верь этому мерзавцу, болван!

- Платок у него, у негодяя, дурья башка!

- Дездемона не виновата, зверюга ты этакий!

- Сгори он, твой платок!

(*) Пьеса Аветиса Агароняна (1866 - 1948).

(**) Пьеса Левона Шанта (1869-1951).

В первом ряду сидел Саргис-ага, отец господина Карапета, то бишь мерзопакостного Яго. Душа его не вынесла сыновнего позора, Саргис-ага ушел со спектакля, так и не узнав, чем он завершился, сконфуженный вернулся домой и рассказал жене, краснощекой Катик-хатун, сколь постыдно ведет себя их уважаемый сын на глазах у честного народа. Катик-хатун донельзя расстроилась и тут же обвинила во всем мужа: надо было, мол, не бежать домой, а растолковать сыну, что к чему. Увидев сына наутро после спектакля, отец сказал ему всего лишь одно слово:

- Стыдись!

Господин Карапет Аджем-Хачоян, разумеется, не счел за труд обстоятельно разъяснить отцу, что это театр, что "Отелло" написал Уильям Шекспир, что у каждого актера своя роль, что Дездемона, госпожа Соломе Трчунян, ушла домой жива-здорова, и далее в том же духе, однако отец ему ответил:

- Ты меня дураком не выставляй! Этот Шекспир или как там его, когда писал, у него свои счеты-расчеты были. А твое дело, раз ты артист, играть роли хороших людей - и сам станешь лучше, и народ порадуешь. Пускай того бесстыжего играет кто другой, тот же Карапет Дантоян, кроме тебя некому, что ли?

Мы не располагаем сведениями о том, сколь развиты и устойчивы были эстетические взгляды Саргиса-аги и способны ли они были выдержать

критику, но мы можем доподлинно, твердо и доказательно говорить, что сын Саргиса-аги выдержал критику отца.

- Этому новому поколению, ему все нипочем!

Сообщим непосвященному читателю еще одну деталь. В городе функционировали три партии, и у каждой была своя театральная труппа. Отметим также, что партия, которой на сцене жизни досталась наиболее важная политическая роль, не смогла блеснуть в храме Мельпомены, зато из недр двух других партий, чьи политические роли едва ли не сводились к ролям бессловесных статистов, вышли такие величины, как Арташес Солакян, Абраам Брутян, Карапет Аджем-Хачоян... всех не перечислишь.

В Ване было три клуба-библиотеки, среди них прежде всего выделялась библиотека "Свет свободы". Заметна была и библиотека "Воин".

Библиотека "Аветисян" находилась у родника Мец-Кяндрчи. Вокруг родника шелестели раскидистые ивы, придавая этому тенистому уголку необычайную прелесть, а библиотеке - особую привлекательность. Библиотека "Аветисян" размещалась на втором этаже здания, тогда как на первом - популярная кофейня "Ширак". Разница между кофейней и расположенной над ней библиотекой заключалась единственно в том, что библиотека, как правило, пустовала, а в кофейне отбою не было от посетителей. Буквально в нескольких шагах отсюда жил господин Ованес Кулоглян, видный оратор и историк, личность, выдающаяся в среде рамкаварской интеллигенции; необходимо, однако, заметить, что корабль его жизни подвергся серьезным испытаниям. Господин Кулоглян преподавал в школе при Варагском монастыре и пользовался там немалым авторитетом. Увы, на поприще народного образования нашлись свои Яго, не жалевшие усилий, дабы опорочить господина Ованеса и изгнать из монастыря. Поначалу их труды пропадали втуне. Мутные волны злословия как накатывали, так и разбивались, не достигая ног господина Кулогляна. Тогда его противники прибегли к крайним мерам. В один прекрасный день (прекрасный, разумеется, вовсе не для господина Ованеса) в полисском "Бюзандионе" или, может быть, "Жаманаке"

появилась корреспонденция из Вана ("Наш корреспондент сообщает..."), согласно которой Ованес Кулоглян...

Удар был страшен, страшен, подл и низок. И противники добились-таки своего. Господин Ованес Кулоглян оставил Вараг, спустился в город и направился к епархиальному начальнику его преосвященству Сараджяну.

- Ованес, сын мой, что случилось, отчего ты чернее тучи? - спросил епископ, ухмыляясь в усы.

- Святой отец, мои недоброжелатели...

- Знаю, знаю, - прервал его Сараджян, - читал.

- Что посоветуете, святой отец, как мне быть?

- Что тебе сказать, сын мой? - погладил бороду глава епархии. - Впредь будь осмотрительней.

- Но, святой отец, я, право же, ни сном, ни духом! - пылко воскликнул оклеветанный.

- Будь осторожен с врагами, сын мой. Ступай в женское училище. А осторожность никогда не повредит...

Дорога в частное женское училище сестер Кондакчян пролегала для господина Кулогляна мимо кофейни, и он имел обыкновение выходить из дому на полчаса раньше, чтобы выпить чашку кофе в компании с Португаляном, Хримяном и Аветисяном, а то и посидеть в качестве искушенного советчика возле игроков в нарды.

Со стороны Хамуркасана появился учитель анкуйсдзорской школы и по совместительству бухгалтер господин Мкртич Аджемян с несколькими непременными гроссбухами под мышкой.

- Сегодня господин Мкртич отлично выглядит, - не упускал случая отметить записной весельчак Микаэл-ага Пароникян. - Господин Мкртич, чашечку кофе?

- Благодарствуйте, я, к сожалению, опаздываю, - отвечал господин Мкртич и так покачивал головой, что это означало и "нет", и "здравствуйте", и "до свидания".

Коль скоро ухо уловило стук костяшек домино, можешь не сомневаться - в кофейне пребывает Гевонд-эфенди Ханджян, высокий, одетый в военный мундир, с умными светлыми глазами и улыбчивым лицом человек, являющий собою дипломатическую мысль рамкаварской партии. Стука домино сегодня не слышно, зато слышны гомерический хохот и громкие восклицания. Компания молодежи перелистывает отпечатанную на гектографе группой тило (иначе говоря, представителями нового поколения) сатирическую газету "Антихрист", где помещены весьма удачные карикатуры на Гевонда-эфенди.

Только этой и никакой другой дороге отдавал предпочтем еще один не менее влиятельный в городе эфенди - статны красивый Рубен Шатворян, имевший в качестве не столь уж мелкого чиновника определенный вес в административных кругах. Всякий раз, проезжая мимо верхом, он, предупредительный любезный, поднимал плеть и взмахивал ею, что означало: привет вам, бездельники, привет!

Здесь коротали долгий досуг рядовые рамкавары - Мартир Парикян, Амаяк Чортанян, Арам Мартикян и многие другие, но одно лишь упоминание их имен отняло бы у нас столько времени...Царившая в кофейне теплая приятельская обстановка нарушалась разве что тогда, когда мимо проходил один из тило, то бишь, напомним, человек новейших воззрений, Грант Багратуни-Каринян, еще издали кричавший:

- Пламенный привет классу невежд! Все, разумеется, дружно отмалчивались, и новопоколенец Грант Багратуни-Каринян удалялся, скаля зубы над собственной остротой. Мало кто сомневался, что он держит путь к Черной воде по ту сторону Анкуйсдзора, где на каменистом взгорке обычно собирались новопоколенцы. Чего только не натерпелся Ван от этих доморощенных экстремистов, этих духовных разбойников, для которых не было на свете ничего святого и которые отрицали все и вся...

И еще натерпится. Многое предстоит претерпеть Вану... У рамкаваров тоже появился шеф издалека, и дашнаки не преминули два-три раза сделать на этот счет маловразумительные намеки. Суть, однако, в том, что рамкавары

импортировали своего шефа не с Кавказа, то есть из-за границы, а всего лишь из Арабкира. Молодой, всего-то двадцати четырех лет от роду, Сепух приехал из Арабкира; когда, садами уходя от преследователей, он вскочил на каменную ограду юсяновского сада, чтобы махнуть дальше, его наповал уложила пуля турецкого аскера, засевшего на крыше армянского дома.

Весь Ван оплакивал Сепуха, народ сложил "Песню матери Сепуха", и она пелась везде, где было людно, - неважно веселый к тому повод или грустный. На похороны юноши явились даже дашнакские шефы. Похоронили его во дворе Араруцкой церкви, положив начало ванскому пантеону. Чем Ван хуже Парижа? Вот и пантеон у него есть.

Теперь Сепух смотрит со стены библиотеки "Аветисян" - у него густая черная борода, черное пальто и галстукбабочка; снят он под высоким кустом сирени в розарии мугсагяновского ада, и, право, не верится, что этому человеку с серьезным лицом и строгим взглядом всего-навсего двадцать четыре года.

Слово "пантеон" появилось в лексиконе ванцев совсем недавно. Они уже знали, что такое "пропаганда" ("дашнаки пропагандируют отдавать на выборах голоса за Врамяна, а не за Парамаза"), они прочно усвоили слово "террор", хотя частенько с умыслом перетолковывали его ("дашнаки терроризировали Гапамаджяна"), а вот новоприобретенное понятие "пантеон" жарко обсуждалось везде, стало быть и в узком кругу рамкаваров.

- Говорят, Сепуха похоронили в пантеоне. Что это значит? - вопрошал Арменак Сосян, у которого выпало джаар-се, то есть четыре-три.

- Пантеон, - авторитетно разъяснял господин Ованес Кулоглян, - это место, где хоронят известных деятелей... Ну же, дуралей, не бойся!

- Почему в таком разе не сделали пантеон Гапамаджяну? - бросив ду-шеш, встрял в разговор Григор Манасерян, не имевший, заметим, родственных связей с Миграном Манасеряном.

- Тогда пантеона не было, - терпеливо объяснил Кулоглян. - Хватит с тебя, Григор, ступай домой, тебе бы не в нарды играть, а в пятнашки.

- Стало быть, если Арам с Божьей помощью умрет, его тоже похоронят в пантеоне? - спросил Арам Маркитян, допивая кофе и желая, видимо, уточнить границы понятия "известный деятель".

- Дорогой мой! - рассердился не Ованес Кулоглян, чего следовало бы ожидать, а завсегдатай кофейни господин Акоб Кандоян. - Сепух это человек, а твой Арам - г...!

И значение слова "пантеон" было разъяснено исчерпывающим образом.

Куда невзрачнее и непригляднее выглядел гнчакский клуб-библиотека "Воин", помещавшийся в центре города, на Хач-Похан, на втором этаже дома Терлемезянов. Единственным человеком, который сидел здесь утром и вечером, всегда в одни и те же часы, был господин Амазасп Гндстанцян, молодой человек с рыжеватой, разделенной пробором слева направо шевелюрой и длинными заостренными усами. Кроме него в клубе бывало всего несколько человек, в основном школьники.

Каталога в библиотеке не было. Школьники брали здесь детские журналы "Аскер", то есть "Колосья", и "Ахпюр", то есть "Родник", взрослым же выдавали иллюстрированный журнал "Тараз" и что попадет под руку. Один из посетителей, Гегам Бабушян, вернув как-то иллюстрированный журнал, поинтересовался:

- Господин Амазасп, что значит Тараз? Библиотекарь уставил взгляд в потолок, перевел его на читателя и добродушно усмехнулся:

- Название реки. Помнишь песню: "Мой Тараз, вода твоя бурлива"?

Гегам тоже уставился в потолок.

- Сколько я помню, - не без сомнения сказал он, - там поется Араз (*), а не Тараз.

(*) Народное название реки Аракс.

- Араз, Тараз ... - с минуту поколебался библиотекарь. - Все равно. Что такое одна буква?

Гнчакская партия была невелика, малочисленна и состояла из одних только шефов. Отменные командиры - и ни одного солдата. Вот, скажем, Абраам Брутян - шеф от рождения, с крупными чертами и мелкими глазами, всегда тщательно одетый и выбритый, первый номер в этой партии печального образа. Абраам Брутян улыбался редко, почти вовсе не улыбался, любил одиноко вышагивать взад-вперед по комнате (глянешь направо - лицезреешь Мартика на портрете, глянешь налево - восхищаешься бородою Маркса), затем воодушевленно подсесть к столу и продолжить работу над недописанной статьей. Да, дорогой, не кто иной, как Абраам Брутян, редактировал гектографическую газету "Кайц", то бишь "Искра", на первой странице которой красовался лозунг: "Лютые цепи разбей - новое солнце взойдет". А вот Арташес Солакян, блестящая внутренне и наружно личность, одареннейший человек, учитель, театрал, актер... ну и, разумеется, шеф, еще какой шеф.

А вот Карапет Дантоян, с монументальным серьезным лицом, медлительными, но решительными жестами, - учитель, общественный деятель и... шеф, истинный шеф. А юрист Грант Галикян? Шеф! А златоуст Жирайр Мирзаханян? Опять-таки шеф. Был, правда, среди гнчаков господин Айкак Еремишян, который мог бы сойти за рядового, но в результате женитьбы на сестре Абраама Брутяна Ноэмик он, увы, тоже стал шефом.

Мало того, гнчаки ввезли еще одного шефа, вдобавок из-за границы - из Карабаха. Ладно б арабкирца - нет, именно карабахца, Ишханова земляка.

...До здешних гнчаков не сразу дошло, что с того самого дня, как в Ван прибыл шеф Парамаз, с этого дня местные шефы стали не более чем рядовыми. Вот так, дорогой.

Блистательнейшей страницей истории гнчакской партии в Ване стало, разумеется, венчание Абраама Брутяна. Родись Перч Прошян волею случая не в Аштараке, а в Ване, наша литература навеки обессмертила бы ванские свадьбы, тем паче свадьбу Абраама Брутяна. Несчастный они народ, ванцы: судьба обделила их многим, заодно и Перчем Прошяном.

Один только торжественный ритуал, именуемый бритьем жениха, продлился два с половиной часа. Гости, а вернее сказать - гостьи насчитали двадцать пять холодных и горячих, сухих и заливных блюд, приготовленных специально приглашенными искусными поварами, а под занавес было подано такое аляфранка сваренное кушанье из айвы - оно, шептались, способствует пищеварению, - о каком Ван и слыхом не слыхал. "Пищеварительное" это кушанье называлось...

- Барышня Веруник, как называется это пищеварительное кушанье? - обратилась к сестре жениха самая смелая гостья - тетушка невесты Мариам-хатун Суджян.

Веруник и сама не знала. Она сбегала на кухню, спросила у поваров название пищеварительного кушанья аляфранка, но, покуда шла в залу, упустила его из памяти.

- Забыла, - смеясь, шепнула она на ухо Мариам-хатун, - язык сломаешь...

Гости были вконец заинтригованы.

- Недотепа, - упрекнула девушку Мариам-хатун. - Возьми карандаш и бумагу да запиши.

Вооружившись карандашом и бумагой, Веруник снова сбегала на кухню, а вернувшись, по слогам прочитала Мариам-хатун на ухо:

- Ком-по-сто.

"Компосто" - прошелестело над столом. Придумают же люди - компосте...

Особо домовитые гостьи тут же попытались проникнуть на кухню, наиболее проворным это удалось, и они из первых уст - у самого повара - вызнали желанный рецепт. Вскорости "пищеварительный" этот десерт стал мерилом всех свадеб и застолий, пирушек и кутежей.

- Компосте подавали?

- А как же! По нынешним временам без компосто не обойдешься...

Да, дорогой ты мой, свадьба Абраама Брутяна стала заметной вехой не только повседневного быта ванцев, но и политической их жизни. На нее пригласили не одних лишь гнчаков, но и рам. каваров. Она, эта свадьба, показала, каких

успехов способны добиться две партии, если составят блок против третьей, ведущей партии. Они выведут ведущую партию из игры. Правда ведь, что однажды они уже объединились и выдвинули Парамаза своим единым кандидатом в депутаты турецкого парламента; правда и то, что победителем вышел Врамян, кандидат ведущей партии, однако осечка-то случилась лишь оттого, что Парамаз оказался не турецким подданным, а, представьте себе, русским, вдобавок нейтралы вообще не стали голосовать... Не зря же Парамаз исходил в ту пору криком со всех трибун:

- Нейтралы - никчемный народец!

Число экипажей на свадьбе, как утверждал Акоб Кандоян, превысило семьдесят пять. Главною же фигурой здесь был сам Парамаз, и каждый его тост имел силу и значение политической программы и морального кодекса. Да и вообще, дорогой ты мой, разве назовешь свадьбой это воистину вселенское представление! В церкви и возле нее толпилось столько народу, что яблоку негде было упасть. По свидетельству все того же Акоба Кандояна, в церкви горело пятьсот, "нет, вру, пять тысяч свечей!". Когда, рассказывает тот же Акоб Кандоян, новобрачная чета вышла из церкви и молодежь вместо венчальной песни грянула гнчакский гимн, под видом приветственного салюта началась такая пальба, что "турки решили, будто в городе бунт". Из достоверных источников - от того же Акоба Кандояна - известно:

- Вали в страхе зовет к себе Агьяга. "Эфенди, - выходит он из себя, - в Айгестане бунт, а мы тут сидим как ни в чем не бывало... Немедленно выясни размах повстанческого движения и доложи, сколько полков послать". Агьяг садится в фаэтон, доезжает до Айгестана, вынюхивает, что к чему, и возвращается к вали. "Паша, - докладывает, - в Айгестане вовсе не бунт". - "А что там за шум?" - спрашивает вали. Наклонившись, Агьяг шепчет ему на ухо: "Свадьба шефа гнчаков Абраама Брутоглы..." - "А-а, - облегченно вздыхает вали, - пускай женится, в свободной Османской империи жениться не запрещено". Так-то, дорогой.

Нельзя сказать, а тем более утверждать, будто все, что случилось-приключилось на знаменитой этой свадьбе, так-таки вызвало всеобщее изумление и восторг, Боже упаси; мы уже говорили, что среди гостей было много рамкаварских шишек с женами и детьми - могло ли это не иметь серьезных последствий? Блок блоком, но поступаться убеждениями? Никогда! Отдельные эпизоды свадебного торжества подверглись резкой критике, в особенности со стороны женщин; вот они, эти эпизоды: молодежь во главе с дружкой Аршаком спела не венчальную песню, а гимн гнчаков - раз; Парамаз расцеловал невесту в обе щеки - два; и, наконец, опять же Парамаз произнес за столом пространную речь по поводу "роли армянской женщины" и выразился в том духе, что недалеко время, когда в армянском парламенте наряду с мужчинами займут свое достойное место и женщины...

- Подавись он этим парламентом!.. Какое женщине дело до парламента? - возмутились жены консерваторов.

Особенно же суровой критике подверглась невеста, дочь знакомого нам Аджем-Хачояна красавица Рипсиме, - подумать только, не прикрыв лица густой вуалью, села во главе стола между мужем, Абраамом, и Парамазом и вдобавок поминутно склоняла голову на плечо мужа, а с Парамазом премило беседовала. Стыд и срам!

В числе культурных центров Вана отметим и библиотеку "Свет свободы", которая была, можно сказать, своего рода штабом - если не военным, то по крайней мере гражданским. Там постоянно находились люди, которым вменялось в обязанность научать заезжих провинциалов видеть свет свободы. Эти люди отличались редкой искусностью и сноровкой, хотя покамест ниоткуда и никому, даже самому востроглазому, не удалось бы ни через очки, ни в Ишханов бинокль высмотреть вдали проблески этого света. Три этажа было в этом известном всем доме, три этажа и множество комнат, и ни одна из них не пустовала и не простаивала зря. Так, на втором этаже располагалась типография. У открытого окна прохожие видели с улицы наборщика Амаяка Мирахоряна, совсем еще юношу, уже, однако, вооруженного очками, - он

набирал, стоя у окна, местную, а для него так и наследственную газету "Ашхатанк".

По нашему скромному мнению, непогрешимая принципиальность последовательность и неуступчивость ванцев доныне остается непревзойденной. В городе, напомним, издавались два еженедельника - "Ван-Тосп" и "Ашхатанк", и ни один приверженец "Ван-Тоспа" сроду не заглядывал в "Ашхатанк", равно как Н один читатель "Ашхатанка" не открывал "Ван-Тосп".

Что уж говорить об этом доме, являвшем собою цитадель не погрешимой принципиальности, - сюда, как в сказках, не проникал ни гнчак на крыле, ни рамкавар на животе. Партии быт непримиримо размежеваны и в быту: рамкавары и гнчаки не отдавали своих дочерей за дашнаков и не сватались к их дочерям Ситуация крайне обострилась после того, как "Свет свободы" начали посещать девушки и Елине, сестра Амаяка Манукяна, спесла здесь, в затемненном зале, "Словно орел". Зачем затемнили зал? Ясное дело, лишь затем, чтобы с помощью магического света продемонстрировать на белом полотне портреты умерших и здравствующих деятелей. Разумеется, это вам не карагёз, зазывавший публику по воскресеньям на площадь Арарк в знакомое нам дощатое строеньице, - сходства никакого, зато разница колоссальна, ибо если зрители карагёза смеялись, то здесь плакать, может, и не плакали, но хранили благоговейную тишину, какая царила разве что на заутренях и обеднях отца Месропа.

И что же? Едва во мраке появился на освещенном полотне некто верхом на лошади, едва прозвучали первые строки песни "Словно орел", как в зале установилась тишина, на смену которой пришло замешательство, потому что послышалось шушуканье.

Голос парня:

- Не так... Голос Елине:

- Я ошиблась... Снова голос Елине:

- Так нельзя. И голос парня:

- Я ошибся...

В сущности, ничего особенного не случилось, и если бы Елине не стала по глупости рассказывать об этом каждому встречному, то по Вану вряд ли бы поползли слухи, к тому же очень и очень далекие от правды. Оник Мхитарян, который вел вечер, одернул девушку: не так поешь; девушка признала: я ошиблась... Вспыльчивый Оник в наказание ущипнул ее за руку, всего лишь за руку. Девушка рассердилась: так нельзя. Оник попросил прощения: я ошибся, мол, не стоило так делать... виноват.

Вот и все. Случай совершенно невинный, а из него раздули невесть что, и совершенно невинный -этот случай еще больше углубил пропасть между либералами и консерваторами.

Там и сям шушукались, будто в подвалах "Света свободы" хранится оружие и боеприпасы, что молодые люди приезжают сюда из деревень вовсе не за книгами - это так, для отвода глаз; на самом-то деле они получают здесь маузеры, привяжут их прямо к голому телу, наденут сверху рубахуи уйдут как ни в чем не бывало. Мало того, говорили, будто в этом доме созываются тайные подпольные собрания и сходки...

Много чего рассказывали об этом доме, много чего видели там те, кому доводилось переступать его порог, но никто, никто и никогда не утверждал, что там и впрямь живет свет свободы, потому как ниоткуда и никому, даже самому востроглазому, не удалось ни через наисильнейшие очки, ни в Ишханов бинокль высмотреть вдали хотя бы проблески этого света.

Да, дорогой ты мой.

Всему миру известно, что гнчакским гимном была песня "Дальняя земля", а вот у рамкаваров гимна не было - кишка тонка, - точнее, служившая им гимном "Песня матери Сепуха" была никаким не гимном, а воплем скорби:

Ах, на сердце моем рана глубока, Кто же весточку доставит от сынка?

- Что это за партия? - кривился Арам. - Вместо гимна у них песня про горе. Горе, а не партия!

Ну а дашнакский гимн? О, этот дашнакский гимн! Когда дашнаки запевали его, "Свет свободы" сотрясался до основания.

Батрак, рабочий, землепашец! Брат,
Давай плечом к плечу отныне станем.
Защитнику трудящихся армян,
Дашнакцутюну здравицу мы грянем.

Этот воинственный клич не достиг, однако, ни батрака, ни рабочего, ни землепашца, а поскольку дашнакцутюн не обременял себя защитой трудящихся, то никому и в голову не приходило грянуть ему здравицу, а если бы и пришло, то не иначе как со страху. Арам поздоровается с Ишханом, Ишхан с Саргисом - вот и вся здравица.

Нельзя забывать также об уже помянутых нейтралах - к ним мы вправе, в частности, отнести Ованеса-агу, Симонаагу, Фаноса-агу, - которые довольно пессимистически взирали на все три партии, хотя частенько, таясь друг от друга, выказывали свои симпатии то к одной из них, то к другой, то к одному, то к другому партийному мероприятию. Так, несколько лет назад Ованес-ага Мурадханян вошел, как нам известно, побуждаемый неведомым порывом, в книжную лавку "Письмена" и пожертвовал под именем Смиренный невеликую толику денег во имя победы великого дела, после чего стал следить, когда же газета сообщит с его пожертвовании, но так и не распознал себя - среди жертвователей было слишком много Смиренных.

2

Говоря о достойных упоминания заведениях и лицах и в числе оных о нейтралах, нельзя равнодушно пройти мимо негласного лидера последних господина Амбарцума Ерамяна и его средней школы. Господин Ерамян самолично основал школу, назвал ее своим именем - "Школа Ерамяна" - и самолично назначил себя, господина Ерамяна, ее директором

Господин Амбарцум Ерамян был одарен природой лишь четырьмя чувствами вместо пяти. Зрения он лишился в раннем детстве. Черные очки, которые он носил, являли собою не средство, улучшить зрение, а всего лишь стеклянные

колпаки и могли быть сделаны посему из какого угодно стекла, а равно из жести или еще чего-нибудь. Для господина Амбарцума это не имело значения. Видимый глазами мир для господина Амбарцума попросту не существовал.

Однако судьба, по слепой своей прихоти лишившая его глаза света, самого-то Ерамяна - о чудо природы или добрая ее воля! - света не лишила. Покинув его глаза (отметим как исходящее), свет озарил его мозг (оприходуем как входящее), вот именно - озарил мозг. И двум этим простейшим арифметическим действиям - вычитанию и сложению - город премного обязан.

Светом и оружием этого как обделенного, так и одаренного природой человека стала память. Вооруженный светом памяти, он и выбрал себе поприще.

В школе он был первым учеником, а на улице и дома - примерным мальчиком. Колос налился соком, настал час - и нива созрела.

Блестящий знаток армянского, турецкого и французского языков, блестящий знаток истории и географии, а также экономики и политики, он открыл собственную школу и строго, со знанием дела подбирал преподавателей. Да, дорогой мой. Он достиг всего и раз за разом повторял:

- В марафонском беге всеобщего просвещения надо либо не участвовать, либо быть первым.

И грозился:

- Я им глаза выколю, всем этим зрячим деятелям просвещения!

Ужасный Амбарцум Ерамян!

Ростом повыше среднего, но пониже высокого, всегда аккуратнейшим образом одетый и застегнутый снизу доверху на все пуговицы, грустный этот человек знал сотни своих питомцев, различая их по голосу или просто на ощупь. Помимо директорства он занимался и учительством. Появление его в классе можно сравнить с появлением на арене цирка отважного древнеримского гладиатора, а искусство, с каким он обращался со своим предметом, не уступало искусству, с каким современный футболист обращается с мячом; впрочем, его-то удары по воротам, то бишь попытки

вложить в голову ученика урок, так вот, его удары по воротам, сколь бы узкими эти ворота ни были, то есть сколь. бы ни был ученик твердолобым, его удары не знали промаха. И неспроста в старинном этом городе многие и многие говорили о нем с восторгом. "Он расплавляет знания, как свинец, и вливает их ученику в ухо" - вот что говорили о господине Амбарцуме Ерамяне. В свободное время он заходил то в один, то в другой класс и слушал. За год он умудрялся запомнить всех школьников, первым долгом тех, кто в чем-то отличился, неважно, в хорошем или дурном. Он знал, кто и где сидит, кто чей сын, внесена ли у того-то и того-то плата за обучение. К преподавателям он в присутствии детей обращался в высшей степени уважительно и деликатно, но в учительской или директорском кабинете бывал строгим до беспощадности.

Да, милый мой, Амбарцум Ерамян - великий педагог. Господин Ерамян был примерным семьянином, и у всех его детей были красивые как на подбор глаза. Старший сын Вачаган читал ему газеты, местные и полисские, и нужные, как полагал отец, книги. Все, что достигало слуха господина Ерамяна, все, что он узнавал из книг крупных и малых авторов, его мозг преобразовывал в своего рода газеты с чистенькими целехонькими страницами; эти газеты накладывались одна на другую и преобразовывались в солидные книги - экономические, исторические, географические, политические, художественные, и каждая такая книга становилась на свое место. И когда он вел урок, произносил речь или диктовал статью для полисской газеты, то мысленно брал необходимую книгу, листал ее и безошибочно цитировал - словом, расплавлял материал и вливал куда надо.

Да, милый мой, Амбарцум Ерамян - великий эрудит.

Его дом отделялся от школы собственным садом. Ранним утром, когда школьники торопились на урок, по широкой садовой аллее расхаживал взад и вперед любитель и хранитель порядка директор Ерамян, увлеченно декламируя под нос стихи Виктора Гюго или составляя в уме речь, которую предстояло произнести во время визита вежливости к только что прибывшему наместнику.

Случалось, он слышал на перемене ругань; как только звенел звонок к началу урока, суровый директор безошибочно открывал дверь нужного класса и, молча проследовав мимо застывших мальчишек, опять же безошибочно останавливался возле незадачливого сквернослова, обеими руками брал его за уши, поднимал с места и, одной лишь правой, - раз! два! три! четыре! Засим спокойно и невозмутимо выходил и направлялся в свой класс.

- В прошлый раз мы с вами узнали, что Александр Македонский...

На перемене по всей школе, а вечером по городу разносился слух о расплате, постигшей виновника.

- Ох и задал ему Амбарцум жару! Машалла Амбарцум Ерамян!

Амбарцум Ерамян придерживался нейтралитета в строжайшем смысле этого слова. И поскольку он был доподлинным нейтралом, то чувствовал себя всегда и во всем свободно и непринужденно. И хотя среди нейтралов не было фигуры более заметной и он, следственно, вполне мог бы считаться их шефом, сплоти он вокруг себя всех известных и безвестных приверженцев нейтралитета, этого, слава Богу, не произошло. Ибо в противном случае в древнем урартском городе действовало бы не три, а четыре партии. Нет, притязаний такого рода у незрячего педагога не было совершенно. Но стоило объявиться в Ване новому наместнику, или новому инспектору по образованию, или иному высокого ранга чиновнику (все три партии незамедлительно созывали в связи с этим закрытые собрания "для уточнения своих позиций"), - как господин Ерамян, подхватив под руку кого-нибудь из учителей своей школы, господина Мартироса Налбандяна или господина Егише Терлемезяна, шел в воскресный день домой к новоприбывшему начальству, дабы поприветствовать его, засвидетельствовать свое почтение, заверить в своих верноподданнических чувствах, подчеркнуть необходимость мирного сосуществования армянской и турецкой общин и пригласить в свою школу - познакомиться с проводимой работой и просто выпить чашечку кофе.

- У меня нет ничего общего ни с одной из партий, - говаривал господин Ерамян. - Моя партия - это бескорыстная и преданная покорность армянского

народа великой Османской империи, а моя мечта - быть доверенным лицом правительства и защищать высочайший авторитет его величества не за страх, а за совесть, dene e ungubus (*)...

Да, милый мой, Амбарцум Ерамян - великий политикачи (**). Подобные визиты протекали обычно в теплой и дружеской атмосфере и в обстановке полного взаимопонимания. Кое-кто по наивности пытался перекрестными, но по сути бесхитростными расспросами выпытать у господина Ерамяна хоть что-нибудь существенное, но тут же отступался от своих намерений, увидев перед собою железный занавес, надежно закрывший от посторонних глаз душу господина Амбарцума. Винить любопытных, конечно же, нельзя: на подобных встречах наш достославный ванец умел создать иллюзию, будто он полностью в руках своего собеседника-турка и что тот может вести себя с ним как заблагорассудится, но стоило прозвучать малейшему, ни под каким микроскопом не различимому, отдаленнейшему намеку или вопросу...

_____

(*) Зубами и когтями (лат.).

(**) Политик (тур.).

_____

Мгновение назад добродушный, чуть ли не простодушный Ерамян-эфенди и даже Ерамян-бей бесследно исчезал, вместо него собеседник оказывался лицом к лицу с защищенной черными очками, загадочной, закрытой со всех сторон, непроницаемой, замкнутой, неприступной силой, покориться которой неловко, а пренебречь - немыслимо.

В таких случаях эта колдовская личность уподоблялась затерявшейся под панцирем черепахе: господин Амбарцум с величайшей осторожностью подавал признаки жизни, мало-помалу, очень бдительно и осмотрительно высовывал голову из-под панциря, улыбался так, как улыбалась бы только черепаха, а спустя минуту...

Это опять же он, общительный и доступный всем и каждому Амбарцум-эфенди Ерамян с его блистательным остроумием, с его безукоризненным

турецким языком, с его изысканными и всегда уместными французскими изречениями, историческими анекдотами, притчами и присловьями. Когда ему удается создать, а вернее, в полной мере воссоздать обстановку дружелюбия, он живо и с чрезвычайным достоинством поднимается, готовясь распрощаться с хозяином, искренне благодарит за теплый, едва ли не братский прием, заверяет, что до конца дней не забудет этот исторический день, желает плодотворной деятельности во славу османского отечества и просит пожаловать к нему с ответным визитом.

Да, милый мой, господин Амбарцум знает свое дело...

Ответный визит не заставляет долго ждать; Ерамян-эфенди принимал высокочтимых гостей у себя в директорском кабинете. А затем сопровождал их, успевших с удовольствием выпить по чашечке кофе, в экскурсии по школе и, пока они прослушивали уроки, особо подчеркивал, на каком высоком уровне преподается здесь турецкий язык, и непременно показывал химическую лабораторию, руководимую и контролируемую Мамбре Мкряном.

- Эфенди, ваша школа ни в чем не уступает стамбульским, наоборот - превосходит, - обычно говорили ему.

- Стараемся в меру наших скромных возможностей, во славу османской...

- Отлично, эфенди, аферим (*).

- Этот Амбарцум и вправду неглуп, - заключали, расставшись с ним, именитые турецкие чиновники. - Машалла...

Но кто-нибудь непременно возражал:

- Змея, змея...

(*) Превосходно (тур.).

Внешне любезный и вежливый, в душе Амбарцум Ерамян н выносил других деятелей, подвизавшихся на ниве просвещения, в особенности школьных директоров. Больше всего высмеивал он сестер Кондакчян и их школу, хотя

сестры - признаем это тихонько, чтобы не услышал господин Амбарцум, - отдавали все. силы воспитанию молодого поколения, и работа их снискала, признание. В своей идейно-агитационной войне против директора школ Норашен и Сандхтян господина Григора, которая велась с неуемным рвением, он не гнушался ничем, даже непроверенными слухами о том, что Марине Кондакчян и господин Григор обмениваются любовными посланиями. К чести господина Григора следует сказать, что он ответил лишь на одно из трех писем Марине, хранил их - все три - во вместительной шкатулке, на которой собственноручно начертал карандашом "Пакостный ларец". Господин Григор пользовался репутацией порядочного человека и, конечно, не распространял по городу смешные, неприличные, а местами непристойные выдержки из писем госпожи Марине. Ясно, что это было ее рук делом - таким манером она силилась утвердить в общественном мнении версию о якобы существующей между ними любовной связи.

Чего стоят хотя бы эти строки госпожи Марине, адресованные господину Григору; "Ты мой Григорий Просветитель, так освети же пресветлым своим светом плоть страдающей твоей Марине"?! Это ли не позор? Добро бы плоть была, а то ведь тощая, длинная, плоская!

В другом письме эта общественная деятельница написала фиолетовыми чернилами на белом листе бумаги: "Я всей душой и телом - заветный твой вертоград, храни меня и лелей..."

Ну, не совестно ли? И было бы что хранить и лелеять - черная, большеротая, как говорится, ни кожи ни рожи.

Господин Амбарцум Ерамян...

В дверь постучали. "Кандояновский стук", - определил господин Ерамян, и верно, со двора уже доносится голос Акоба-аги Кандояна:

- Давненько не виделись, дай, думаю, зайду проведаю...

Между тем дальновидный слепец прекрасно знает, что привело сегодня к его порогу пресловутого Акоба-агу. Ясно как дважды два, что он препожаловал

выведать, как прошла очередная встреча, о чем на ней говорилось... любопытно только, кто его послал - Арам, Терзибашян или Парамаз?

Дело в том, что Акоб-ага Кандоян служил верой и правдой всем трем шефам, ни одному из них не отдавая предпочтения. Не желая грешить против истины, сразу же заметим, что у Акоба-аги Кандояна не было ни родных, ни семьи, ни дома. Он принадлежал к тому немногочисленному разряду горожан, которые жили по найму. Опять-таки истины ради скажем, что его положение отличалось от положения, допустим, Арменака Сосояна: тот вместе с матерью, младшим братом и сестрой Кармиле жил в доме Миграна Манасеряна в качестве квартиранта, или, как принято говорить, постояльца. Они снимали большую комнату с двумя окнами в сад и тремя - во двор, имели отдельный подвал и пользовались кухней, то есть тониром и очагом. Что до Акоба Кандояна, то его дела обстояли иначе. Жильем ему служила каморка с земляным полом, смотревшая во двор через подслеповатое квадратное окошко и пригодная разве что для ночлега, а если откровенно - непригодная и для него. Хозяин дома Хотемкян Артак не брал с Акоба-аги ни гроша - человек, мол, бедный, пускай себе живет, - а соседка, вдова Ангарам, раз в две недели стирал ему белье. Оставалось питание: время от времени он заглядывав в кофейню "Ширак", иногда наведывался в ту или иную пекарню, нет-нет да появлялся в казино, заходил скоротать часок-другой за беседой к знакомым, а бывало, посещал и незнакомых - познакомиться... Его кормили, кто охотно, кто нехотя, кто по обязанности, но кормили непременно и, надо сказать, неплохо. Акоб-ага пришел в дом господина Амбарцума Ерамяна прямо к обеду. За долгие годы он назубок выучил часы обедов и ужиной десятка с лишним известных в городе семейств и почти не ошибался. На этот счет ванцы не прочь были побалагурить. Шахбазян Маркос-ага спрашивает у матери, Наны-хатун: "Матушка, ужин готов?" А та шутит. "Ужин-то готов, - говорит, - вот только Кандо еще не видать..." И в ту же минуту появляется улыбающийся Акоб-ага Кандоян с четками в руках: проходил-де мимо, дай, думаю, зайду, узнаю, как живете?

Если завтрак, обед или ужин подан, а к столу никто не торопится, старший в доме обычно говорит: "Почему не садитесь, не Акоба ли Кандояна ждете?"

Господин Амбарцум Ерамян принял гостя настороженно, но вполне любезно:

- Добро пожаловать, Акоб-ага, присаживайся.

- Удачи тебе, господин Амбарцум, и дому твоему, и твоим делам. Нынче в городе только о тебе и разговоров, - не теряя времени, кинулся в лобовую атаку Акоб-ага. - Ну, как сходил, благополучно? Рассказывай, не томи.

Увы, натолкнувшись на стойкую оборону, лобовая атака захлебнулась, после чего инициатива перешла уже к господину Ерамяну.

- Садись, отобедаешь с нами, - предложил он с холодноватой снисходительностью.

- Благодарствуй, я сыт.

- Я же не сказал, что ты пришел поесть. Садись, у нас сегодня айвовый соус.

- Айвовый соус я очень люблю.

- Вот и садись.

Сели за стол. Чего-чего, а чувства меры Акоб-ага лишен не был; ел он сдержанно, молча, а если и говорил, то лишь о редкостном кулинарном искусстве хозяйки, одновременно подбираясь к основной своей цели - выудить кой-какие сведения о визите к вали, потому как лобовая атака ни к чему не привела.

- Голову даю на отсечение, у вали не было таких изысканных блюд...

- Мы пили кофе.

- Только-то?

- Я же шел не на пир, - приоткрыл завесу тайны господин

Амбарцум. - Так, визит вежливости...

- Понятно, - кивает Акоб-ага, приканчивая угощенье. - Кофе чуть-чуть, беседы - досыта.

- Да нет, не досыта, - улыбнулся Амбарцум Ерамян, снял с шеи белую салфетку, положил ее на стол и добавил: - Сколько длится перемена, столько я там и пробыл.

- Не так уж и мало...

- Как посмотреть. Акоб-ага прищурился.

- Говорили о чем-то важном или так... по пустякам? По моему разумению, говорить и слушать не всякому дано. Ни Арам, ни Терзибашян, ни Парамаз по этой части не мастера. Благодарение Богу, ты человек дальновидный, подкованный...

Амбарцум Ерамян беззвучно рассмеялся, все его лицо расплылось в улыбке, но глаза остались безучастными.

Теплая волна патоки опять же разбилась о твердокаменный утес души господина Ерамяна и откатилась назад.

Любой другой на месте Акоба-аги наверняка затрубил бы отступление и воротился восвояси несолоно хлебавши. Но наш отважный разведчик, специалист по мыслям и душам, только поближе подсел к Амбарцуму Ерамяну и приготовился действовать дальше. Однако в эту минуту Амбарцум Ерамян совершил нечто такое, от чего Акоб-ага сник, сжался и словно бы вовсе исчез. Амбарцум Ерамян откинулся на подушку, беспечно зевнул и столь же беспечно попросил:

- Ну, рассказывай, что новенького?

Мало того, Акоб-ага почувствовал, что этот ужасный и загадочный - книга за семью печатями - человек и не думает его слушать; нет, он поерзал, устраиваясь поудобнее, обложился подушками, и через какую-то минуту Акоб-ага содрогнулся от директорского храпа господина Амбарцума Ерамяна...

Томиться здесь было уже бессмысленно. Акоб-ага вознамерился встать и, признав свое поражение, покинуть поле брани, как вдруг заметил на лице спящего некое подобие улыбки. "Да он просто прикидывается, - мелькнуло у него в голове, - чтобы я поскорее убрался... Я тоже хорош! - из последних сил пытался сосредоточиться Акоб-ага. - Видишь, тебе его не раскусить, приоткрой дверцу, замани его к себе и потихоньку все выведай... Какая близорукость! Поди теперь проверь, взаправду он спит или морочит меня..."

- Аветис-эфенди ходил сегодня к епархиальному начальнику, - медленно и отчетливо проговорил Акоб-ага, вглядываясь лицо спящего:

- Аветис-эфенди? К епархиальному начальнику? А что он там потерял? - полюбопытствовал господин Амбарцум, будто продолжая прерванную беседу.

- Ты не спал? - ошарашенно вопросил Акоб-ага.

- Нет, не спал, - ответил господин Амбарцум.

- Ты же храпел.

- Просто прикрыл глаза, - ответил господин Амбарцум так словно у кого-кого, а уж у него-то глаза есть и он очень и очень этим доволен. - Зачем же Аветис-эфенди ходил к епископу?

- Аветис-эфенди? К епископу? Ты о чем?

- Сам же сказал.

- Это я проверял, спишь ты или нет.

- Сейчас как раз и посплю, у тебя ведь никаких новостей. Свое разочарование, свою обиду на весь белый свет и на пх подина Амбарцума Ерамяна Акоб-ага решил обратить в шутку:

- Новости, господин Амбарцум, такие: что было, того нет, ничего не было, то есть!

- Ну-ка, ну-ка... Что, например, было, чего сейчас нет?

- Шефы у гнчаков были? Были. А сейчас их нет.

- Куда же они подевались? Вознеслись на небеса?

- Еще дальше.

- Куда это?

- Поговаривают, в Констанцу ушли.

- Зачем?

- И сам не пойму.

Воцарилось молчание. "От него никакого толку, - подумал Акоб-ага Кандоян, - схожу-ка я лучше в "Ширак". Попью кофейку, а оттуда к Мурадханянам".

- А чего не было, что сейчас есть? - будто издалека послышался голос господина Амбарцума.

Акоб-ага подумал, усмехнулся в рыжие свои усы. И нашелся-таки с ответом:

- Раньше между Арамом и Ишханом никогда не было разногласий, а теперь есть.

- Разногласия? Между Арамом и Ишханом? - навострил уши господин Амбарцум.

- Эвет, эфенди, эвет (*). Ты мне не веришь?

- И на какой почве раскол? "Раскол" напугал Акоба-агу.

- Откуда мне знать? Говорят, дуются друг на Друга, - отступился он.

- Э-э, мало ли что говорят! - сказал господин Ерамян, опять обкладываясь подушками. "Не стоит тратить время на этого прилипалу, - подумал он, - лучше и вправду поспать". - Что еще новенького? - на всякий случай спросил он.

_____

(*) Да (тур.)

_____

Акоб-ага вспомнил, что интерес, который привел его сегодня в этот дом, остался неутоленным. Собственно, поручений у него не было, ибо никто не поручал ему выпытывать у господина Ерамяна подробности последнего визита. Он сам проявил инициативу. Так случалось частенько. Завладев, как пропуском, ворохом важных и прелюбопытных новостей, он без колебаний переступал порог очередного дома и обеспечивал себе хлеб насущный на день, и даже не на один.

Свое дело Акоб Кандоян знал не хуже Амбарцума Ерамяна. Пределы его общественных, общественно полезных и общественно приятных занятий были куда как широки. Не ограничиваясь лишь общественно-политическим поприщем, он вникал также в крупные и мелкие бытовые, семейные и матримониальные проблемы: служил посредником, доставлял сторонам сведения, помогал благополучно разрешить или свести на нет конфликт в

зависимости от его сути, места и времени. Проделывал он все это в высшей степени тонко, хитроумно и беспристрастно. По возможности не наживать врагов, а приобретать друзей - таков был девиз Акоба Кандояна, поскольку дом каждого ванца хотя бы на несколько часов становился его домом.

Разумеется, Акоб Кандоян был обыкновенный человек и ничто человеческое не было ему чуждо: ему тоже случалось вспылить или дать маху. Но, наделенный даром, если не талантом, искусно предотвращать неизбежные и не неизбежные крайности, он не позволял, чтобы допущенный промах разрастался как снежный ком и достигал катастрофических размеров. Нанеся удар ножом, он умел тут же заткнуть рану ватой.

К примеру, нам уже известно, однажды в кофейне "Ширак" он сгоряча бросил реплику, которая мгновенно сделала его любимцем рамкаварской партии и столь же мгновенно восстановила против него всех дашнаков. Произошло это, если нам не изменяет память, в день, когда в кофейне обсуждалось слово "пантеон" и вопрос о том, кто достоин упокоиться там вечным сном.

Один из присутствующих спросил тогда, достоин ли этого Арам, заслужил ли он право покоиться в пантеоне... именно тогда Акоб Кандоян закрыл глаза и открыл рот: "Сепух - человек", ну и так далее, вследствие чего восстановил против себя дашнаков, и снискал расположение рамкаваров. Что было, то было, слово не воробей, но истинный рыцарь или, может быть, жрец взаимоуравновешенности и нелицеприятной беспристрастности Акоб Кандоян не был бы Акобом Кандояном, брось он дело на самотек и лиши не одну сотню домов своей дружбы. Нанеся удар ножом, остаток того и три последующих дня он тем только и занимался, что затыкал рану ватой. Чтобы уладить досадное недоразумение, он мысленно составил список, сообразуясь с которым посетил нескольких влиятельных приверженцев Арама, благодаря чему восстановил нарушенное равновесие, а заодно обелил себя в глазах дашнаков.

Тяжелую эту задачу Акоб-ага решил с завидной легкостью неоспоримым блеском. С выражением безбрежной радости на лице он поведал главным из

Арамовых сторонников, что в кофейне "Ширак" обсуждали: если, мол, Боже упаси, Арам умри? хоронить его в пантеоне или не хоронить; сам он, Акоб-ага Кандоян, стоял на том, что Арам достоин спать вечным сном в пантеоне, но особенно отрадно, что рамкавары с ним согласились. Каково?

...А с этим визитом у него не клеится. Хозяин дома не только не желает говорить о том, что нужно гостю, но и настырно выспрашивает: что новенького да что новенького?

- Ходят слухи, что Манасерян Мигран сватается к дочери Ованеса-аги Мурадханяна. - Из вороха многоразличных новостей Акоб-ага недолго думая вытянул первую попавшуюся.

- Девушка-то хороша собой? - довольно равнодушно спросил господин Амбарцум.

- Что твоя роза, - довольно равнодушно ответил Акоб-ага. - По мне, ничего из этого не получится. У Манасеряна Ми-грана шуры-муры с их жиличкой Кармиле, дочерью Сосо. Как тут выкрутиться?

Ответа на этот крайне важный вопрос не последовало.

- В народе разброд, - сел на своего конька Акоб-ага и опять умолк, выжидая.

- В народе? Разброд? - проявил едва уловимые признаки интереса господин Амбарцум.

- Одни считают, что твоя встреча ничего важного не дала: полюбезничали и разошлись.

- Верно, - согласился Амбарцум-ага.

- Другие уверяют, будто было много важного...

- И это верно. Ступай скажи: того, чего зрячий Батюшка Хримян не смог добиться на Берлинском конгрессе, добился незрячий Амбарцум Ерамян. Кончено. Отныне армянского вопроса не существует, армянский вопрос решен. Всё?

3

Нет, не всё. "Амбарцум-ага взбесился, - блеснул голубыми глазами знаток человеческих душ Акоб-ага Кандоян, не столько приглаживая, сколько

взлохмачивая рыжие свои усы. - Упаси нас Бог от ярости слепца. Успокою его да и пойду". И он прибег к испытанному и неотразимому оружию.

Он запел "Песню отца". Высоким серебристым голосом обладал Акоб Кандоян, красивым голосом и богатым репертуаром как армянских, так и турецких песен. О да, Акоб Кандоян многим был обязан певческому искусству, без него он никогда бы не одолел бесчисленных препон, точь-в-точь верблюд, который никак не мог пройти через игольное ушко. Акоб-ага Кандоян никоим образом не принадлежал к сонму несуразных, бестолковых и недовершенных божьих тварей, нет, это было тщательно исполненное, всесторонне и до мелочей продуманное, безупречное и цельное создание.

Он запел так, как поют для себя, ради собственного удовольствия, тихо-тихо, так тихо, что и мухи не спугнешь, так, что не смутишь поющего за окном, в розарии соловья-дебютанта. Отец, отец, твоя отчизна...

Первая строка, положим, еще куда ни шло, ее можно спеть сдержанно, спокойно и ровно, на полутонах, ну а со второй-то как быть?

Васпурак-а-а-а-ан... наш край родной...

Чтобы вытянуть в такой манере это "Васпура" и тем паче "к-а-а-а-ан", нужны нечеловеческие силы и потуги, неослабное внимание и бдительность. Да и возможно ли произнести "Васпурак-а-а-а-ан" сдавленно и приглушенно, когда в одном этом слове бьется целая страна, целый мир, целая, не устыдимся сказа! вселенная?

Попробуй-ка отрази в малом, пусть даже наичистейшем зеркале все изъяснимое и неизъяснимое, живое и безжизненное, реальное либо фантастическое очарование и прелесть этого волшебного края, страны, мира, этой, скажем не устыдясь, вселенной; "Васпурак-а-а-а-ан" - край величайших сынов, где в целости и сохранности стоят бесчисленные урартские и халдейские памятники с их на веки веков непостижимой клинописи с таинственным и темным орнаментом, где, венчая все это, гордо вздымается славная Ванская твердыня с зубчатыми стенами, в монолитных каменных жилах которой обитали и созидали Сенекерим и Гагик, великие венценосцы

рода Арцруни, где высится Вараг - вечное свидетельство их могущества, Вараг с его церковью, в которой помещена усыпальница царя Сенекерима, воистину спящего там вечным сном после кончины в году... впрочем, об этом надежнее справиться у бывшего учителя, позже общественно-политического деятеля, а ныне лица без определенных занятий Геворга Мурадханяна или же, на худой конец, у господина Петроса, эконома одноименной церкви.

Так как же, как же не кричать "Васпурак-а-а-а-ан", коль скоро видишь на Вараге крепости Астхик и Ваагна, а с вершины Астхик, да-да, с вершины Астхик, кажется, рукой подать до Арарата. Сапожник Саак Бурназян, почему-то прослывший вралем, уверяет, будто отец ему рассказывал, как разглядел в свое время из крепости Астхик флаг, водруженный Хачатуром Абовяном на вершине Масиса. "Кто он, этот Хачатур?" - спросили его недоверчивые слушатели, а Саак Бурназян, хватив башмаком о табурет, возмущенно воскликнул: "Как вас только земля носит? До сих пор не знать, кто такой Хачатур Абовян!"

Что вам еще рассказать?

Вообще-то народ относится к Бурназяну Сааку несправедливо, называя его вруном. Он, бывало, и не заикнется, а ему уже все, кому не лень рот затыкают: не ври. Как-то в этих краях появился полоумный человек из России, только и знавший, что орать направо и налево: "Пашол" в смысле "Пропади ты!" Его так и прозвали - Пашол; так вот, особого внимания Пашола, и не одного Пашола, но и учителя русского языка ерамяновской школы господина Рафаэла (господину Амбарцуму Ерамяну с большим трудом удалось ввести у себя в школе уроки русского языка - кто знает, с каким политическим прицелом?), да, внимания господина Рафаэла удостоилось это самое "не ври". Он утверждал, что по-русски эти слова звучат почти так же, как на ванском наречии, - русские говорят "не ври", а ванцы "ми врри", а поскольку армяне древнее русских, не приходится сомневаться, что те, на время позаимствовав это словцо у ванцев, присвоили его. Вот и попробуй, сделай одолжение, вполголоса спеть "Васпу-рак-а-а-а-ан", вполголоса воспеть красоту и гордость

Васпуракана - Ван, который издревле прославился своими благородными ремеслами; не оттого ли многочисленные ванские семейства носят фамилии, восходящие к роду занятий далеких предков: Воскерчян - потомки золотых дел мастера, Дерцакян - потомки портного, Юсян - потомки столяра, Брутян - потомки гончара, Неркарарян - потомки красильщика, Солкарян - потомки башмачника, Бамбакгзохян - потомки трепальщика ваты, Титехагорцян - потомки жестянщика, Канканян - потомки колодезного мастера, Ацагорцян - потомки пекаря, Вормнадирян - потомки каменщика, Патшарохян - потомки кладчика стен, Манацманохян - потомки прядильщика... Довольно? Эта прослойка выдвинула не только рядовых ремесленников, но и тех, кто их возглавлял: Терзибашян - что в переводе с турецкого значит "глава портных", Бербербашян - "глава брадобреев", ну и так далее в том же духе.

Не станем говорить о знаменитых ванских золотых дел мастерах с их поистине золотыми руками, не станем говорить об изобретателе Вардане Гуюмджибашяне, который столь мастерски оформил представления "Долины слез" и особенно "Старых богов", что, когда Назе, сидя у колыбели, спела:

Слепые журавли со стонами и плачем
По нашим черным небесам летели вдаль, -

когда она спела это, над сценой и впрямь пролетели журавли и зал замер от щемящей тоски и восхищения, а сидевшие в первом ряду турецкие чиновники аж почернели от зависти. А как бежали по Севану волны в "Старых богах"...

Поговорим о простых, обыкновенных ремесленниках, хотя бы о валяльщиках. Пять-шесть парней из Шатаха от темна до темна равномерно, вперед-назад катали в небольшом помещении продолговатый - вроде цилиндра - мягкий комок, катали до тех пор, покуда толстый слой разноцветной шерсти не затвердевал...

Когда цилиндрический этот ком расплетали и раскрывали, наружу извлекалась и раскладывалась под солнцем на просушку уже не мягкая шерсть, а узорчатый войлок.

Ванские ремесленники... Слава о них давно шагнула за пределы Вана и Турции и пошла гулять по свету...

Именно они, ремесленники, эти усердные и безотказные труженики, обеспечивали городу благоденствие и процветании именно они, эти неприметные люди, с виду спокойные и мирные, а в душе исполненные тревоги, даже в шуме и горячке будней различали зловещие шорохи великой опасности. Они были прочны и чутки под стать орудиям своего труда, и, почуяв опасность, серьезна и гора Вараг во мгле, а стало быть, супостат за мыслил недоброе, эти рыцари кропотливых мирных дел, отложили свой инструмент, брались за оружие, выходили постоять за себя и геройски дрались.

Так было и так будет.

Посудите сами, можно ли пропеть "Васпурак-а-а-а-ан" вполголоса, если, по авторитетному утверждению учителя Геворга Васпуракан, с точки зрения грамматической, сложное, чрезвычайно сложное слово, состоящее из трех частей: вас, пур, кян, что значит край величайших сынов. Это, по-вашему, шутка? Весь мир в конце концов пришел к тому убеждению (весь мир, понятно?), что там, на небе, - рай, а тут, на земле, - Ван... Был ли на земле со дня творения город такой же красивый, как Ван, такой же добропорядочный, как Ван, такой же богатый, как Ван, такой же эдемоподобный, как Ван, такой же естественный, как Ван, такой же благоразумный, как Ван, и, наконец, такой же логичный как Ван? - назови его и будь благословен. Речь не только о природных богатствах, природные богатства своим чередом, но не забывайте, что здесь жил и творил великий сын Нарека Григор Нарекаци; а где, скажите на милость, не ведая устали, трудились писатели Киракос Авандеци, или Месроп Хизанеци, или, скажем, художник Игнатиос? Ну а Хримян? А Гарегин Срванздтян, Манвел Мирахорян? А прославленная героиня Мариам-паша? А Заруи Тероян? А наш Сепух? - он, правда, родом был не ванец, но погиб-то за Ван и тем себя обессмертил...

Рано поутру, когда солнце озарит верхушки айгестанских тополей, а по морю пройдет легкая золотистая зыбь, встань, ванец, встань, армянский юноша, и погляди окрест. Какой еще город может похвастать пещерой Зымп-Зымп, подземным ходом, вырытым много веков назад, который, как свидетельствует Саак Бурназян, достигает чуть ли не крепости? Здесь жила, однако же по вполне уважительной причине не творила, ибо была женщиной, царица Шамирам. Творить-то, положим, не творила, но вовсе не сидела сложа руки. Что висячие сады вокруг крепости разбиты по ее указанию, это моя собственная догадка, но что текущая по городу с запада на восток Шамирамова вода ее рук дело - это факт; она провела ее, дабы ежедневно принимать ванны во имя драгоценного своего здоровья.

А величественные и таинственные врата Мгера; а наводящие ужас изваяния жениха и невесты между скалами, а камень Раффи на ахтамарском берегу, тот самый, сев на который писатель вынул из кармана бумагу и карандаш, подпер рукой щеку и запел: "Откликнись, о море, зачем ты молчишь?"

Так можно ли, друг мой, голосом тихим и приглушенным произнести "Васпурак-а-а-а-ан", когда сердце Васпуракана - Ван, а чтобы перечислить красоты и достоинства этого города, потребны тысяча и одна ночь, а сверх того - еще тысяча и еще одна ночь?

Особую прелесть придавали этому городу праздники. Праздником праздников, конечно же, был Новый год.

Холодно. Навалило столько снега, что узкие улочки почти непроходимы. Будь в те времена в Ване метеорологическая станция и радио, непременно бы прозвучали сообщения о сильных осадках и резком понижении температуры. Но это было бы, пожалуй, излишним, и без того у каждого ванца, возвращающегося 31 декабря после трудового дня домой, читались на лице точные метеорологические данные, чего никак не скажешь о нынешних метеорологах с их станциями и наукой. Домовитые ванцы все как один нагружены узелками и свертками.

- Добрый вечер, господин Огсен!

- Добрый, добрый, Мелкон-ага, как твой нос?

- Вроде бы на месте. Ну и холод!

- Чуть не запамятовал! С наступающим!

- Запамятуешь в такую-то холодину. Спасибо, и тебя тоже. Прощай!

- Прощай. Мои приветы семейству...

С тем и расстаются, один идет направо, другой налево.

В окнах зажигается свет. Веселятся все, и богатые и бедные. Кто как может. В мирные годы, друг мой, в Ване совсем не осталось нищих. У самой захудалой семьи были клочок земли да пара коз... разве это нищета? Попадались, правда, земляные лачуги и хижины, где за неимением постели спали, не раздеваясь, на войлоке; встречались босые, полуголые дети, которые бегали за стадом, подбирая навоз - топить зимой тонир, и обездоленные крестьяне, целыми семействами заполнявшие город: мужчины шли в грузчики, батраки и на иную черную и не очень-то прибыльную работу, женщины стирали белье у имущих или попросту попрошайничали; жили они в хлевах у тех, кто побогаче, под одной крышей с домашней скотиной, и могли не заботиться о поисках топлива на зиму. Фруктов их дети не знали и лакомились разве что дикой ягодой, которая звалась пхишк и которую летом по воскресеньям привозили в город их односельчане. Но разве ж это не так? Все в Ване жили неплохо, кто похуже, кто получше...

И не надо удивляться тому, что Дед Мороз не мог сполна исполнить свои обязанности и зайти во все дома до единого. Дед Мороз тоже знал свое дело, знал, куда заходить, а куда - нет, мимо какой двери незаметно проскользнуть, а в какую легонько постучать и тут же скрыться: долг исполнен... "Васпурак-а-а-а-ан"

На курси уже готово новогоднее угощенье. Большой круглый поднос уставлен тарелками и вазами, доверху наполненными сухофруктами. Чего тут только нет: и хурма из Багдада, и изюм и Персии, и грецкие орехи и орешки из Шатаха, и дары местных садов - всего не упомнишь! А ахандз...

Самая же волнующая минута новогодней ночи - на детей он производит неизгладимое впечатление - это, конечно, явление "Аллилуйи". Где, кроме как в Ване, сыщешь "Аллилуйю"? Нигде

На лестнице слышатся шаги - идет "Аллилуйя". Вокруг стола зажигаются свечи. Обстановка в доме, и без того праздничная подчиняется радостному ожиданию.

Наконец двери распахиваются и в комнату, дрожа от холода вваливаются один за другим подростки лет пятнадцати - шестнадцати, один из которых, заводила, стоит впереди, раскачивая взад вперед, будто кадило в церкви, укрепленные на веревке горящие фонарики, и поет вместе со всеми:

Нынче, нынче праздник рождества, аллилуйя...

До чего же чудесно поют!

Где теперь сыскать таких певцов как ванские аллилуйщики? Нигде.

К яслям в хлев Мария пошла, аллилуйя,

Задом стукнулась о крест, вот дела, аллилуйя,

Сына Иисуса родила, аллилуйя...

И наконец наступает долгожданный миг: песня обрывается, фонарики не раскачиваются, и верховод серьезно и строго спрашивает:

- Как зовут вашего сына?

- Агавард, - отвечает глава семьи.

Агавард, аллилуйя, аллилуйя...

Возникает веселый переполох, певцы вознаграждаются серебряными монетами и сухофруктами; через минуту они уходят и стучатся в соседнюю дверь...

... То в одном, то в другом доме гаснет свет; город погружается во тьму без конца и без края; только ветер перелетает с крыши на крышу, с улицы на улицу, это он, ветер, на тысячу ладов распевает теперь в дымоходах "Аллилуйю". Город-то спит, а вот горожане, лежа в постелях, никак не могут уснуть. "Еще один новый год, - думает хаджи-ага Бозоян. - Что нас ждет завтра? Господи, если тебе не под силу даровать мир всей земле, дай покой

хотя бы Вану, маленькому, прекрасному Вану, отведи от него беду!" - "Васпурак-а-а-а-ан..."

Серьезно, с чувством глубокой ответственности и на высоком идейном уровне отмечается Пасха, и длится это три дня. Три дня кряду все хозяйки в городе тем только и заняты, что принимают гостей, а все мужчины в городе ходят по гостям. Жены составляют списки тех, кто пришел к ним с визитом, дабы предъявить их вечером мужьям, мужья же составляют списки домов, которые им надлежит посетить. Обедов не подают, гостей потчуют водкой, легкой закуской и непременно турецким кофе. И как все в этом городе, гостеприимство тоже возведено здесь в ранг искусства, которое, однако, дается не всем хозяйкам.

СКАЗАНИЕ ШЕСТНАДЦАТОЕ,

в котором читатель узнает о многоразличных и весьма удивительных, вещах

1

... Такой, ради примера, несравненной, неподражаемой, изумительной женщины, как Калипсе Ачмонян, вы бы не нашли Н только что в Ване, но даже и в Стамбуле. Во всех своих манера: и повадках была Калипсе с головы до пят изысканна и благородна: как никто, умела принять гостей, развлечь их беседой, проводить. Знала, с кем и о чем говорить, кого чем угостить, кого куда усадить. Особенно щепетильным, требовавшим изрядной такта был вопрос, кого как встретить, ибо кем-то из посетителей следовало дорожить как зеницей ока, от других - терять голову третьим указать на садр с подушками, четвертым - опять-таки это садр, но без подушек, многим - на диван, а большинству - на стулья, им и этого довольно.

- Милости просим, господин Парамаз, я вам так рада, так рада! Позвольте на вас взглянуть. Все замечательно. Пожалуйте сюда, угощайтесь, вот вино, водка, отведайте суджуха. Отчего не женитесь, господин Парамаз? Вас никто

не любит? Вы заблуждаетесь, право, заблуждаетесь. Ван один, и Парамаз один Кто же не полюбит такого человека, как вы?

- Милости просим, господин Арменак, счастлива вас видеть: Как поживаете, господин Арменак? Как поживает госпожа Ангарам, как дети? Как ваши дела? О, разумеется, вы безумно заняты. Партия рамкаваров одна, и Арменак Екарян один... О чем вы?.. неужели вы допустите, чтобы Ван разрушили? Не они его строили, не им его рушить. А вы покажите свою силу... Зачем же Вану скорбеть? Чего желаете, господин Арменак, вино, кофе?

- Наконец-то и вы пожаловали к нам, Рубен-эфенди! Лучше поздно, чем никогда. Присядьте же, присядьте на садр, подложите подушку, вот так... Мкртич-ага вчера интересовался: где, говорит, господин Шатворян пропадает? Что дома? Агаси перешел в Центральную школу?.. Вот и замечательно. Центральная школа она и есть Центральная школа, тут и спорить не о чем. Господи, скоро ли лето - соберемся в вашем саду, полакомимся виноградом. Как бишь называется тот сорт? Виноградины черные мелкие... Лолик? Не угодно ли кофе?

- Милости просим, Карапет-ага, садись, коварный Яго, садись! Как поживаешь? Выходит, если мы к вам не придем, так ты нас и не вспомнишь? Вставай-ка да приготовь кофе, выпьем по чашечке. Именно так, это твой братский долг. Ах перестань, Бога ради, ты сегодня не в духе? Когда ставите "Старых богов"? Не принесешь билетов, я тебя больше на порог не пущу, противный Яго... Ну, кланяйся своим...

Если гость не пользовался всеобщим уважением и любовью, Калипсе опять же отлично знала, как с ним обращаться.

По заснеженным улицам, утонув в просторных черных пальто, идет в красных фесках ванская молодежь. Многие уже основательно навеселе, остальные если и отстают от них, то не слишком. Калипсе стоит у окна и сквозь нежные ледяные кружева на стекле смотрит на улицу.

Пускай приходит всякий, кому заблагорассудится, Калипсе знает, кого как принять, только бы не приходил Сюсли Тер-Аристакесян; имя-то у него Саак,

но весь Ван зовет его Сюсли, что означает щеголь и даже фат. Он живал в Тифлисе и теперь говорит не по-вански, а на языке российских армян. Сюсли смазлив, галантен, сладкоречив и ко всему волокита. Только с ним Калипсе затрудняется взять верный тон.

"Поубавилось в Ване молодежи, - размышляет, стоя у окна, Калипсе. - Прежде красных фесок было столько, что за ними и снега не увидать. Да и откуда ей быть, молодежи? Всех позабирали в турецкую армию. Изредка на улице попадаются армянские юноши в форме аскера. Наверное, служат поблизости, в зимних лагерях, и получили по случаю праздника трехдневный отпуск..."

Калипсе не успевает додумать. В дверях стоит Сюсли Тер-Аристакесян, его большие глаза на гладко выбритом розовощеком лице улыбаются, усы заострены, как штыки.

- Мое почтение, госпожа Калипсе! Позвольте ручку... С Рождеством вас! Благодарение Иисусу, если б он не родился, я не удостоился бы чести лицезреть вас. Спасибо, мне и так хорошо. Садитесь, не нужно беспокоиться... Я ничего не хочу, лучше поболтаем. Смелый, однако, человек господин Мкртич. Почему? Не будь смелым, не оставил бы в одиночестве такую красивую женщину. Ах, он не боится разбойников вроде меня? У Сиран все в порядке, здорова. Отчего же нет, женщина она хоть куда, но, знаете ли, соседские курочки петушку всегда симпатичнее. - Последнее слово он произнес по-русски, объяснил его значение продолжил: - Я, конечно же, не петух, но и мне...

Внезапно вспомнив о чем-то неотложном, Калипсе быстро вскакивает и выходит из комнаты. Сюсли остается один. Он встает, приближается к зеркалу на стене, смотрится в него и понимает, что попал в довольно глупое положение. Он переводит взгляд на висящие рядом с зеркалом фотографии. Долго стоит пере, снимком Сепуха, напевает под нос "Песню матери Сепуха", мне мол, все нипочем, но ему явно не до песен. "Дурак ты, дурак, - ругает он себя по-русски, - пойми ты наконец, Ван это тебе не Ереван и не Тифлис. - Он вспоминает английский сад в Ереване Муштаид в шикарной грузинской

столице, и на душе у него становится муторно. - Как все-таки темны и отсталы ванские женщины, разве они способны оценить настоящий комплимент!"

Даже мысленно он произносит это слово по-русски, берет пальто и собирается потихоньку исчезнуть, но тут появляется Калипсе.

- Вовремя спохватилась, - говорит она. - Рыба чуть не под горела... В России есть хорошая рыба?

"Она смеется надо мной", - думает про себя господин Сюсли, однако отвечает с большим достоинством:

- Есть. Но самой знаменитой, севанскому ишхану, по-моему далеко до ванского тареха...

- Рыба так и называется - ишхан? - проявляет любопытство Калипсе.

- Ну да... - по-русски отвечает Сюсли.

- И его едят?

- Потрошат, моют, жарят и едят...

- Как интересно! - говорит Калипсе.

- Там много интересного, госпожа Калипсе. - Сюсли вое прянул духом и почувствовал себя в своей стихии. - Придешь Муштаидский сад, мужчины и женщины гуляют под руку, а то в обнимку...

Калипсе делает вид, что не слышит.

- Ишхан крупнее тареха? - спрашивает она.

- Крупнее, - упавшим голосом отвечает Сюсли. - Это ни чего не значит, тарех все равно вкуснее...

"Пора кончать с этой ихтиологией", - думает он, но госпож; Калипсе опять вспоминает о неотложном:

- Пойду погляжу, не подгорела ли рыба...

- Я тоже пойду, - вскакивает с места Сюсли и надевает пальто. - Мои приветы господину Мкртичу! Прощайте.

И, не осмелившись во второй раз попросить "ручку" госпожи Калипсе, Сюсли выбегает на зимнюю улицу, красный, как рыба на сковородке. "Васпура-а-а-а..."

Наконец-то Калипсе с облегчением переводит дух. "Не успела вспомнить о нем, а он тут как тут!" - думает она и снова подходит к окну. По улицам, утонув в просторных черных пальто, идет в красных фесках ванская молодежь. Опять прошел аскер-армянин; какое знакомое лицо! Она не ошибается, это Амаяк Сосоян, младший брат Арменака и старший брат Кармиле, той самой Кармиле, у которой "шуры-муры с Миграном Манасеряном".

Солдаты-армяне так и не подладились к службе в турецкой армии. Это ясно как дважды два. Турецкое командование не доверяет им оружия, их используют на строительстве дорог. Чтобы убедиться в этом, не нужны факты, достаточно взглянуть на проходящего по улице Амаяка Сосояна. Из армии бегут всеми правдами и неправдами, сыновья богачей откупаются от службы, не жалея денег. И правильно делают. Турки, те защищают отечество, а что армяне? Только крепят свои цепи.

Нет, не популярен в народе турецкий сеферберлик, то бишь мобилизация. Не популярны у армян турецкие марши. Не хочет ванец воевать. Золотоделье, ремесла, торговля - это по нему, и ставить на сцене "Долину слез" - это тоже по нему; трудиться в поте лица, как трудится муравей, созидать - вот что ванцу по душе, а воевать он не хочет. И против кого воевать? Заодно с мусульманами против христиан - армянину это подобает? В русской-то армии армяне тоже служат, и не только не дезертируют, но и вступают в нее добровольно. Так что же, армянину воевать против армян? Да никогда! Пустая затея. И не потому что ванец трусит - какая там трусость! - но это война без цели и без смысла, сумасшествие, а не война. А ванец - он не сумасшедший.

А вот еще один аскер-армянин. Настроение у него хоть куда. Рад-радехонек, что на нем сапоги, а не ботинки. Рад, а глаза все равно грустные. Парень явно навеселе и не в пример прочим прохожим, идущим вслед друг другу по протоптанной на улице тропинке, топает по снегу напролом. День праздничный, но многие заняты делом - очищают плоские кровли домов, сбрасывая снег лопатами прямо на улицу. Армянин-аскер топает по нему

напролом и веселым от вина голосом поет грустную-прегрустную, щемящую душу песню, которая после сеферберлика была у всех на слуху:

Вот пришли, собрались.

Поглядели на нас,

А потом зачитали аскерам приказ.

- Ухожу, ухожу я...

Аскер умолк. Сверху на него обрушился снег. Он удивленно задрал голову, перебрался на проторенную тропинку и облегчен; но, но и тяжело, будто задохнувшись, допел:

Ухожу, ухожу я в солдаты...

"...к-а-а-а-ан!" - приглушенно дотянул Акоб Кандоян, но в минуту этого решающего, весьма сложного пассажа зарывшийся в подушки господин Амбарцум Ерамян как будто бы шевельнулся и нездешним, потусторонним голосом проговорил:

- Погромче... очень уж тихо...

Неприступная, жуткая, подавляющая своей мощью и почти враждебная крепость была-таки завоевана - если не полностью, то отчасти; Акоб-ага дал волю гортани:

Родимый край Васпуракан,

Шипы нам дарит...

- Так не пойдет, - прервал его господин Ерамян. - Давай сначала, с самого начала.

Это была победа! Акоб Кандоян сдвинул феску на затылок, устремил глаза к свисавшей с потолка лампе, отнюдь не по тексту, выдохнул: "Ах!" и возвысил серебряный свой голос:

Отец, отец, твоя отчизна,

Родимый край Васпуракан,

Шипы нам дарит вместо розы,

И ты тоскою обуян.

- Продолжай, - до самозабвения растроганно прошептал господин Амбарцум. Сердце истинного художника Акоба Кандояна возликовало на гребне успеха, и он отдался песне:

Отец сказал: - Шипы отчизны
Всего на свете мне милей,
Среди шипов найду я розу
В стране истерзанной моей.

Все кончается в этом мире, кончилась и песня Акоба-аги, и на минуту воцарилось полнейшее безмолвие. В лад угасшей мелодии Акоб Кандоян все еще раскачивался на месте взад-вперед, а господин Амбарцум Ерамян внезапно распрямился среди подушек и воодушевленным, не терпящим возражений тоном воскликнул:

- Такой народ не должен исчезнуть! - Он нашарил в кармане платок, приложил его к сухим глазам и добавил: - Мне отчет-диво, как Божий день, видно наше завтра. Ван будет жить!

- Конечно, конечно, - подлил масла в огонь Акоб-ага, перебирая черные бусины четок. "Мне видно, - усмехнулся он про себя. - Избави нас Бог от того, что тебе видно". - С какой стати Ван должен исчезнуть? Ван, слава создателю, не иголка. И не перстень вардапета Арсена, ахтамарского настоятеля, упокой Господи его душу... Перстень-то, кстати, тоже не исчез, говорят, его видели у Геворга Мурадханяна, учителя. С какой стати Вану исчезать, в конце концов, все зависит от таких политиков, как ты, от вашей дальновидности - семь раз отмерь, один отрежь...

- Будь верховная власть в моих руках, - сказал господин Амбарцум Ерамян тем же непререкаемым тоном, - я бы назначил тебя министром иностранных и одновременно внутренних дел будущей Ванской республики. Вообще-то так не положено, но ради тебя я утвердил бы новый закон. Далее, ты любой ценой хотел выведать у меня, как прошла встреча с важным турецким чиновником и о чем я говорил. Я решил было ничего тебе не открывать, но ты взял верх...

- Господин Амбарцум... - попытался возразить Акоб-ага.

- И слушать не хочу, - осадил его господин Амбарцум и продолжил: - Положа руку на сердце, могу сказать, что сегодня, как и всегда, я остался верен своим политическим принципам - я поборник того, чтобы общий язык искали и находили либо не находили дипломатическими средствами, мирным путем, и, как ни горько говорить об этом, не могу не заметить, что часто мне легче найти общий язык с турецкими должностными лицами, нежели с армянскими шефами. В этом духе и прошел сегодня мой визит вежливости. Ты доволен?

Акоб Кандоян прищурился - если бы не зрение господина Амбарцума Ерамяна, вернее, если б не его отсутствие, Акоб-ага никогда не позволил бы себе подобных ужимок - и сказал голосом смиренным и мягким:

- Не утруждай себя понапрасну, господин Амбарцум. Разве я посмею сунуть нос в твои дела и расчеты? Я заурядный ванец, обыкновенный дервиш, бродяга, шучу, балагурю, так и коротаю дни... Соскучился по тебе, вот и решил зайти да проведать. Пора и честь знать. Схожу-ка я к Манасерянам. Поговаривают, будто их Мигран сватается к дочери Аханеса Мурадханяна...

- Пускай себе сватается, - с философским равнодушии! сказал Амбарцум Ерамян; казалось, он разыгрывает собеседника.

- Впрочем, ходят слухи, будто у Миграна шашни с дочерью Сосоянов, их постояльцев. Не знаю, что и выйдет...

- Либо мальчик, либо девочка, - прежним тоном произнес господин Амбарцум.

- Одно из двух:

- Да что ты! - оживляется Акоб-ага. - У них ничего серьезного, играют себе в айлоз-пайлоз.

- Что еще за айлоз-пайлоз?

- Ну вот! - радуется Акоб-ага. - Оказывается, и ты не все знаешь. - И смеется тоненьким своим голоском: - Хи-хи-хи.

- На самом деле, впервые слышу...

- Это загадка, - объясняет Акоб-ага. - Айлоз сидит против пайлоза и ждет...

- И что это значит?

- Кошка сидит перед мышиной норой и ждет, когда выглянет мышь.

- Замечательная загадка! - искренне восхищается господин Амбарцум и добавляет: - Что ни говори, Ван будет жить!

- Верно, - подтверждает Акоб Кандоян со скромной гордостью или же горделивой скромностью. - Одним словом, у наших Миграна и Кармиле айлоз-пайлоз, в кошки-мышки играют.

Со двора слышатся голоса:

- Дома хозяин? Он один?

- Дома, но не один.

- А-а, назойливая муха?

Так называли нежданных, непрошеных, но неизбежных, неминуемых гостей. Вопросы задавал заместитель господина Амбарцума Ерамяна Мартирос Налбандян, а отвечала ему госпожа Амаспюр. И гость, и хозяин сделали вид, что не слышат. При этом господин Амбарцум решил, что слуха Акоба Кандояна и вправду не достигла обидная, неуважительная характеристика. То же самое решил и Акоб Кандоян в отношении гостеприимного хозяина.

- Стало быть, так, - сказал, поднимаясь, Акоб-ага. - Я пошел.

- Заглядывай почаще.

- Благодарствуй.

В дверях показался господин Мартирос Налбандян, тоже в черных очках. Акоб-ага Кандоян прошел мимо него, не удостоил его приветствие ответом, попрощался с госпожой Амаспюр и вышел на улицу. Тут о" на минуту остановился и задумался. Он силился вспомнить то обидное словцо, которое, по его мнению, великолепно характеризовало Мартироса Налбандяна. "Как бишь оно? Недоносок? Недоумок? На языке вертится..."

Внезапно его лицо озарилось радостью. Вспомнил. Акоб-ага воздел клюку кверху, повернулся к двери и сквозь зубы процедил одно лишь слово, адресуя его заместителю директора ерамяновской школы:

- Лизоблюд!

... Жарко. Солнце облило золотоструйными своими лучами сады, дома, улицы. Жарко. В такой день сходить бы на море, искупаться, освежиться, проветриться, а вечерком - не раньше - потихоньку вернуться в город. Жарко. От такого зноя не спасает ни тень густолиственных ив, ни ручейки воды на улицах. В такой день побыть бы в саду, поваляться на разогретой и все ж таки прохладной траве, подышать воздухом, настоянным на запахе петрушки и абрикосов, подремать.

Рассекая ногами, а в придачу и клюкой уличную жару, Акоб Кандоян героически продвигается вперед. "Солнце как с цепи сорвалось, - размышляет он. - В такой бы день - в кофейню "Ширак"".

Из дома напротив - это дом Максапетянов - вышел Симон-ага Тутунджян и широким шагом двинулся к коляске, стоявшей чуть ли не посреди пустынной улицы. Усевшись, он громко приказал вознице:

- К Геворгу Джидеджяну!

Акоба-агу то ли не заметил, то ли сделал вид, что не замечает. Это ни в коей мере не польстило, а, напротив, уязвило самолюбие Акоба-аги Кандояна. "Там слепой Амбарцум обещает мне два министерства, иностранное и внутреннее, а здесь стяжатель-торгаш даже не желает кивнуть: здравствуй, мол. Да я и тебя , и твою коляску..." - не сдержав возмущения, выругался Акоб-ага. И еще он подумал, что ежели, чем черт не шутит, в один прекрасный день Ван получит-таки независимость, то бразды правления возьмут в свои руки именно богатеи - торговцы: Гапамаджян, Терзибашян, братья Шахбазяны, Тутунджян и Джидеджян... Кто же подпустит к власти слепого Амбарцума? Как он выведет в министры Акоба-агу - без власти-то? Так что пиши пропало, бредни все это. А шефы, их куда девать?

Там, где берет начало майдан, он сворачивает налево, на узенькую улочку, и шагает к востоку. На узенькой улочке живая Ханикян Аханееага, тоже торговец и тоже обладатель толстая усов и все понимающих глаз. Улицу называют Ханикяновской, или попросту Ханке. За узенькой этой улочке стоит

и другой известный и заметный в городе дом, дом пятерых братьев Юсянов. От того эту улицу называют еще Юсянской. На этой же улочке живет знаменитый отец Месроп, священник Араруцкой церкви знаменитый своими вдохновенными, искусными проповедями, мудрой режиссурой всенощной на Страстную пятницу и в Вербное воскресенье и всех вообще церковных служб. Оттого прихожане Араруцкой церкви называют улочку улицей отца Месропа, На этой, многоименной улице живет также библиотекарь гнчакской библиотеки "Воин" господин Амаяк Гндатанцян, однако его местожительство никоим образом не коснулось названия этой узенькой улочки, более того - лишь очень немногие из ее обитателей знают, что здесь находится дом небезызвестного библиотекаря.

Акоб-ага Кандоян, будущий министр будущей Ванской республики, остановился перед закрытой дверью Манасерянов, удобно расположенной в высокой; монолитной стене и снабженной самым обыкновенным, простым молоточком. Прежде чем постучаться, он снял феску и, вытирая серым платком вспотевший лоб, голову, шею, подумал, "Так и не выяснилось, то ли непутевый Мигран убил зятя, то ли это несчастный случай", Акоб-ага взял молоточек и трижды стукнул в дверь, но тут же сообразил, что в эту пору Манасерянов дома не застать, ведь живут-то мать с сыном в монастыре. Впрочем, на нет и суда нет.

Высоко над дверью в квадратном Окошке на втором этаже показалась женская голова. Как видно, нежданный гость остался неузнанным, и прозвучал вопрос:

- Кто там? Акоб-ага глянул наверх.

- Это я, Кармиль, не узнала?

- Ты, Акоб-ага? Сейчас открою.

Зашаркали по деревянным ступенькам легкие домашние тапочки, щелкнула задвижка, и дверь отворилась

- Манасерянов дома нет? - спросил гость, исправляя клюкой сдвинутый в сторону железный дверной молоточек.

- Еще не возвращались из монастыря в город, - ответила Кармиле с вышиванием в руках. - Пожалуйте в комнату, Такуи лежит больная.
- Да что ты? - всполошился Акоб-ага. - Пойдем к ней, надо проведать.
Такуи была матерью Кармиле.
На веранде, в постели, расстеленной на войлоке, лежала не старая но в летах женщина с лицом цвета незрелой айвы и огромными, глубоко посаженными испуганными глазами.
- Здравствуй, хатун! Чего это ты расхворалась? - наклонившись над больной, участливо спросил Акоб-ага.
- Худо мне, Акоб-ага, умру я, должно, - ответила больная, и было видно, что она смирилась с мыслью о смерти.
- Не умрешь, хатун, в такое пекло и захочешь - не умрешь...
- Э, Акоб-ага, смерти что пекло, что стужа - все одно, настал человеку срок - умирай. Уйду я, уйду к отцам нашим и дедам"
Обмен мнениями, судя по всему, завершился; стороны не пришли к согласию, Кармиле проводила Акоба-агу Кандояна в их единственную просторную комнату, два окна которой выходи-" ли в сад, а три - во двор. Кармиле хотелось поговорить с Акобом-агой не меньше, чем ему с ней; девушке не терпелось узнать у этого дотошного человека, этой "назойливой мухи", что ему известно о женитьбе Миграна, сына их домохозяйки, на дочери Ованеса-аги Мурадханяна скромнейшей барышне Лии.
Они устроились на пестром карпете, не близко и не далеко друг от друга и не облокачиваясь на подушки, чтобы не запариться и одновременно соблюсти приличия, Кармиле потупила свои огромные, как и. у матери, глаза я склонилась над рукодельем. Этому ремеслу, доведенному ею до уровня искусства она выучилась на курсах вышивания в американской протестантской миссии; она окончила их, выказав блестящие успехи, но не став, однако протестанткой. В одном только смысле встретившая двадцать шестую весну и краснощекая, как артаметское яблочко, Кармиле была-таки протестанткой: в ней рос протест против ее судьбы, и это недовольство не

назовешь беспочвенным - многие ее подружки-сверстницы родили кто по двое, кто по трое детей, тогда как она...

- Ай да Кармиль! Какая же ты, дочка, мастерица! - похвалил Акоб-ага девушку, потрогав пальцами цветки на белом кружеве.

- Э, Акоб-ага, а кто ценит? - пожаловалась Кармиле, перекусывая белыми, здоровыми зубами нитку, - Горе, оно вместе с девочкой родится:

Акоб-ага поставил вопрос ребром.

- Что такое девушка? - он водрузил феску на колено и вытащил из кармана платок. - Девушка - это безвкусное, пресное мясо, не посолишь в срок - испортится ... словом: надо вовремя сказать "да"... выйти замуж, вассалам.

- Да я ведь не против, - сверкнула Кармиле огромными своими глазами на гостя, который мог, пожалуй, заткнуть за пояс любого проповедника. - Но ведь должен же кто-то тебя спросить, прежде чем сказать "да" или "нет"...

Они приближались к существу вопроса.

- Оно-то так, - шепнул Акоб-ага и кивнул в сторону двухэтажной, с мансардой части дома, занимаемой, Миграном Манасеряном, - она виднелась в открытом окне:

- Ничего не обещает: Кармиле не только не сделала шага навстречу, но и попятилась назад.

- Акоб-ага, ты-то почему не женишься? - спросила она, вдевая нитку в иголку.

Акоб-ага надел феску на голову и задумался, глубоко задумался.

- Ты что, милая, рехнулась?

- Отчего же, - возразила Кармиле. - Мало ли вдовушек с домом, с налаженным хозяйством? Пойдешь в примаки...

- В примаки? - переспросил Акоб-ага. - Жить у жены? Ты что, истории не знаешь?..

- Истории Ассирии?

- При чем тут Ассирия? Истории лиса. Спихнули его в горящий тонир и спрашивают: каково, мол, тебе, месье лис? Как примаку, отвечает лис... Короче, мое время кончилось, тут и говорить не о чем. Расскажи-ка лучше про

Миграна. И вообще... Здесь лобовая атака увенчалась успехом. Расслышать, о чем они говорили, и с надлежащей точностью записать, увы" не удалось. Неизвестно почему (очень даже известно чего тут неизвестного?) голоса собеседников упали до самых таинственных нот, к тому же иносказания, и двусмысленности, и односложные вопросы с ответами, и утверждения, и опровержения, и признания... И лишь в предсумеречный час, когда раскаленное, усталое после дневного путешествия солнце окунается в Ванское море, чтобы отдохнуть, когда верхушки айгестанских деревьев освящаются, как елеем, розовым блестящим закатом, а благоухание лоха у входа в сад неизвестно почему (сейчас и впрямь неизвестно) становится все острее, но и навевает сон, - в предсумеречный этот час Акоб-ага собрался откланяться.

- Не унывай! - наказал девушке искушенный и незаменимый в подобных делах указчик Акоб-ага Кандоян и не погнушался объяснить: - Уныние вредно для здоровья...

Они вышли на веранду; больная закрыла глаза, должно быть уснула. Они на цыпочках прошагали мимо постели, спустились по дощатой лестнице вниз, и Кармиле, пройдя вперед, отворила входную дверь.

- То, что ты здесь услышал, Акоб-ага, - сказала она вполголоса, - должно остаться между нами...

- О чем речь, дочка? - насупился важный гость и вышел на улицу. - Счастливо!

- И тебе счастливо!

Акоб-ага отошел от дома на порядочное расстояние, когда услыхал, а вернее, учуял, что дверь за ним захлопнулась.

"Две партии в одном доме, - размышляет Акоб-ага Кандоян, постукивая клюкой о крупные и мелкие камни на дороге, и направляется по улице, называемой Миравн-Чадр, в сторону Норашена. - Две партии в одном доме, - повторяет он про себя, обусловливая реальность политическими предпосылками. - Братья Кармиле, Арменак и Амаяк, - рамкавары, а Мигран Манасерян - ярый дашнак. Будет ли в доме, где сошлись две партия, мир, а тем паче любовь? Конечно же, нет".

Мигран, как правило, поздно ложится и поздно встает. Он поднимается, когда его мать уже хлопочет по хозяйству: стряпает, стирает, подметает. Да и зачем Миграну вставать спозаранок, дел-то у него никаких нет - ни лавки, ни магазина. Его дело - монастырь, Айоц-Дзор и занят он всего лишь с конца весны и до начала осени. В остальное же время свободен как птица, Адом его в срок и бесперебойно полнится пшеницей, мукой, маслом, сыром и, прочим добром. И, не в пример Мурадханяну Ханесу, он не алчен: тот и с деревней связан, и в городе торгует. Мигран - человек идейный, у него и душа, и дом - нараспашку перед товарищами-единомышленниками, и те по нескольку раз в месяц частят в монастырь: едят, пьют, поют "Мой козел" или "Пропал платок". Почему бы и нет? Мурадханяну Ханесу земля досталась от отцами деда, ну а Миграну? За что, спрашивается, Арам одарил его монастырем и монастырской землей, за какие такие заслуги?

В разговоре с Кармиле Акоб-ага сызнова, вроде как невзначай полюбопытствовал, при каких обстоятельствах, в какой обстановке был убит Мигранов зять - господин Григор. "Это же рядом случилось, а вы даже не разобрались, как было дело!" - возмутился Акоб-ага, не повышая, однако, голоса. "Дело было так, - сказала Кармиле. - Пистолет находился в руках у Миграна". - "В руках у Миграна?! - ахнул искусный следователь. - Говорят, будто у него самого". Кармиле улыбнулась; "Мало ли что говорят. С какой стати господин Григор стал бы чистить пистон-лет Миграна, делать ему, что ли, Нечего?" - "Так все же несчастный случай или?.." - в который уже раз допытывался господин Акоб Кандоян. Прежде Кармиле всегда отвечала утвердительно: "Конечно, несчастный случай, ты бы видел, как плакал Мигрант Теперь же, по-видимому, расстроенная слухами о женитьбе Миграна, девушка не ограничилась чрезвычайно важным уточнение ем - пистолет, оказывается, находился в руках Миграна, а не у покойного - и я дала новый нежданный - негаданный ответ: "Мое дело сторона. Не заставляй меня говорить лишку. Я в партийные рсспри не вмешиваюсь...". Ясно?

Что же до взаимоотношений Кармиле и Миграна, то можно уверенно утверждать, что между ними ничего нет. Так, игра в кошки-мышки, хотя объективности ради нельзя не отметить: то, что для кошки игра, для мышки - трагедия. "Кармиль, милая, он уже встал, ты бы убрала постель", - допросила однажды мать Миграна. Кармиле беспрекословно повиновалась. С тех пор каждое утро, когда Мигран, перекинув через плечо полотенце, шел к реке умываться" она подымалась наверх и прибирала его комнату, стараясь поспеть и уйти, прежде чем он вернется. Как-то раз, покончив с уборкой, она собралась было выйти, но тут в комнату вошел Мигран и так протянул "ну-у", там потрепал ее по щеке, как это делают взрослые, обращаясь к детям. С этого "ну-у" все и началось...

Сказав "началось", не стоит предаваться серьезным размышлениям: разве виноват кто-то, что душа девушки, выросшей, будто в пещере Зымп-Зымп, в четырех стенах, даже от еле слышного шепота готова встрепенуться, как от раскатов грома? Мог ли Мигран знать, что бесхитростные его шутки западают в душу Кармиле,, как семена вьюнка в плодородную почву, - потом эти семена. Прорастут и расцветут, вьюнов вскарабкается вверх и оплетет Мигранову шею, как оплетает все, что попадается ему на пути, было бы за что цепляться... Мигран не видел или прикидывался, что не видит, как неотступным прожектором следит за ним то пристальный и внимательный, то печальный взгляд огромных глаз Кармиле. Он и не подозревал, что не был у девушки минут счастливее тех, когда она наводила порядок в его комнате, где за двадцать четыре часа успевает воцариться полный кавардак - неважно, приезжали к нему накануне гости или нет. После невзрачного своего жилища она ощущала себя в этой по-европейски, аляфранка обставленной комнате на верху блаженства.

Но что больше всего восхищало Кармиле в Миграновой комнате, так это лежащий на столе, по соседству с большущей, тяжелой Библией в кожаном переплете, продолговатый альбом, на многочисленных страницах которого красовались яркие почтовые карточки с удивительными картинками. Здесь

Можно было полюбоваться пасхальными открытками с вылупившимися из красных яиц крохотными девчушками и мальчишками и открытками семейными с изображением спящего в колыбели красивенького младенца и молодой пары у изголовья; мать приложила палец к губам, всем видом предупреждая: тихо, не разбудите. Однако самыми среди всех искусительными казались ей так называемые любовные открытки. Девушки - те с обнаженными руками, полуоткрытой грудью, пунцовыми тубами, кто с длинными, а кто и с короткими волосами, молодые мужчины - чистенько одетые, в белоснежных рубашках с крахмальными воротничками и пёстрыми галстуками, гладко выбритые, с маленькими усиками и, это уж непременно, бесстыжим взглядом... Смотрит Кармиле и глазам своим не верит: парочки целуются, губы в губы, а вон тут, надо же, девушка сидит у мужчины на коленях... С ума сойти, неслыханно и невиданно! Кровь приливает к ее щекам, сердце колотится сильнее и беспокойней, и она закрывает альбом. Она взволнованна сверх всякой меры еще и потому, что воображает себя... на коленях у Миграна.

Нет, Мигран здесь ни при чем. Об этом и думать нечего, ведь оба ее брата рамкавары, а Мигран умрет дашнаком...

Коль скоро речь зашла о поцелуе, то однажды случилось вот что - как именно случилось, Кармиле и сейчас не может понять. Мигран щеткой смахивал пыль с одежды. Кармиле решила, что это не его дело, а ее; Мигран, однако, щетки не отдал, девушка вознамерилась непременно ею завладеть... и вот в разгар возни Кармиле почудилось, что губы Миграна коснулись то ли ее уха, то ли шеи. Девушка, взволнованная и счастливая, выскочила из комнаты, а Мигран как ни в чем не бывало продолжал напевать свое любимое:

Не проси меня, я петь не стану...

- Говоришь, не стану, а сам поешь, - сказала ему как-то Кармиле и улыбнулась.

- Слова у песни такие, - пояснил Мигран.

Чего-чего, а дотошности Акобу-аге Кандояну не занимать; будь в этой истории хоть что-нибудь, он бы докопался до сути, можете не сомневаться. На

бурназяновскую улику Акоб-ага свернул, придя к твердому и бесспорному выводу, что связь Миграна и Кармиле не зашла дальше игры в кошки-мышки.

У дома Шалджянов его привлекло зрелище, очевидцем которого он становился не впервые. Ватага мальчишек бежала за густоусым человеком в годах, одетым в заношенное тряпье, и кричала: пенься, пенься, заплатил..." Это был знаменитый ванский безумец Левон, все безумие которого сводилось к тому, что он вечно слонялся навеселе и ежели приспичит, среди бела дня "орошает землю" на любой улице и у любого дома. Этим, однако, дело не кончалось, свою непристойную "выходку Левон сопровождал громогласными возгласами безудержного воодушевления: "Пенься, пенься, заплатил, у Шахбаза вино пил!" Срам, ей-Богу. Ну а теперь дурной Левон уносит ноги, спасаясь от ребятни, подбирает на, ходу камни, швыряет их в "сукиных детей", осыпает мальчишек отборной, расцвеченной тончайшими подробностями бранью-т и ну бежать.

Как всегда, в подобных случаях, Акоб-ага угрожающе поднял клюку и прикрикнул на сорванцов.

- Загнали старика, совестно! Живо по домам, спать пора!..

И как всегда в подобных случаях, вмешательство Акоба Кандояна возымело действие: мальчишки недовольно отступили, а Левон уже не бегом, а шагом торопливо продолжил свой путь, то и дело оглядываясь назад.

У дома Мурадханянов Акоб-ага остановился, снял феску, обдул ее со всех сторон, должно быть, очищая от пыли, затем аккуратно надел на голову опустил кисточку на правое ухо и взялся за дверной молоточек.

Тук. Тук-тук.

СКАЗАНИЕ СЕМНАДЦАТОЕ.

Вечер и ночь Ованеса-аги

1

"... Вес Миграна Манасеряна в обществе равен нулю - учтем и это, а коли так, то плевать мне и на его богатства, и на его землю. У меня есть и земля, и

богатство. С другой стороны... Кто поручится, что он и вправду замешан в том давнем скандале? Может, суд вынес ему приговор? Может, его упрятали в тюрьму? Ничего такого не было, выходит, дело замяли, и он вышел сухим из воды. Еще вопрос. Сколько я знаю, этот Мигран Манасерян был библиотекарем в "Свете свободы", откуда у него теперь земля, откуда состояние, с неба, что ли, свалилось? Поговаривают, будто он любимчик Арама. Благодаря какой такой доблести? И еще важный вопрос напоследок: ты-то чего места себе не находишь? К тебе что, приходили на смотрины дочери, сделали предложение, все честь по чести? Нет, нет и нет. Во дворе Норашенской церкви Мигранова тетка Ахавни подошла после службы к Сатеник и Лии, похвалила Лию; "Какая ты хорошенькая! - и добавила: - Найти бы мне такую красавицу для нашего Миграна - и гора е плеч". Только и всего, а сказать вернее - всего ничего".

Охваченный этими раздумьями, Ованес-ага дожидается ужина. Сидит он в саду, "а шире, обложившись подушками, по ту сторону от розария, по сю от большой яблони. В эту пору года он неизменно проводит досуг на открытом воздухе, так и приятнее, и, главное, здоровее.

"Все идет вверх дном, а ты воду в ступе толчешь", - думает Ованес-ага и перебирает в памяти нынешний день.

Нынче сызнова состоялась не предусмотренная, как и заведено, загодя и никак не подготовленная встреча большой тройки - Ованеса-аги, Фаноса-ага и Симона-аги. После той достопамятной ночи они, можно сказать, рассорились. Чуть ли не три года продолжался этот странный, этот непонятный разрыв. Почему? Что, собственно, случилось? Они ведь не виноваты в том, что Петрос-бей Гапамаджян пал на их глазах, обливаясь кровью, и трем нашим запоздалым рыцарям так и не удалось хотя бы раз в жизни пожать мягкую и пухлую, как свидетельствуют многие, руку этого человека. Ссора не ссора, а нечто иное, безымянное, непонятное... нет, все же ссора.

Скорее всего, странная эта история объяснялась стыдом. Им было стыдно друг перед другом, и они стыдились, что им друг перед другом стыдно.

Дьявольщина, право слово, не они же стреляли в именитого коммерсанта, не им и стыдиться содеянного.

Должно было пройти несколько лет, чтобы они, сойдясь на улице, не притворились, будто не замечают друг друга, чтобы они не избегали один другого, а вспоминали и искали встречи.

И вот сегодня они вновь встретились на самом высоком уровне, "а веранде второго этажа казино.

- Нельзя утверждать, что они бросили пить, это не так. Не они бросили пить, а питие бросило их. Увы, теперешние их встречи согревал только черный кофе или розовый сироп. Минули те времена, когда водку они запивали водкой, а вино - вином, а потом водку вином, а вино - водкой.

- Сатеник, - хмуро кликнул Ованес-ага жену, - эй, Сатеник!

- Что? - откликнулась со двора Сатеник, которая жарила на очаге под открытым небом соленый тарех. Острый запах рыбы витал над жаровней, над садом, надо всей улицей, и каждая хозяйка полагала, будто на всему Айгестану разносится запах именно ее тареха, тогда как в предобеденный этот час почитай из любого дома разило рыбным духом, витавшим над дворами, садами, надо всей улицей. Меню у ванцев было разнообразнейшим, что да, то да.

Сатеник прикрыла за собой садовую калитку. В руке она держала зажженную лампу. Подвесила лампу к ветке сливы, а сама наклонилась к мужу, который откинулся на подушку. Глаза Ованес-ага смежил, а под правую щеку подложил ладонь.

- Если уж Акоб Кандоян начнет, то семь дней и семь ночей пропоет, - умиленно прошептала она, стараясь не потревожить мужа.

- Вот встану, покажу тебе Акоба Кандояна, - не разлепляя век, улыбнулся Ованес-ага; рука его игриво теребила женин подол. - Давай побыстрее! Водки неси, рыбы, яиц свари.

В эту минуту в дверь постучали.

Тук. Тук-тук.

- Не балуй, - отстранилась от мужа Сатеник. - Зачем тебе водка? Ты что, спишь еще? Кого это нелегкая принесла? Лия, открой!

- Твоего любимого Кандо, вот кого, - осклабился Ованес-ага. В ту же секунду в проеме садовой калитки четко, несмотря на ранние сумерки, обозначилась фигура Акоба-аги Кандояна.

- Тьфу, нечистая Сила! Ты, Кандо, прямо как привидение, - перекрестилась Сатеник, Ованес-ага даже остолбенел от внезапности, но быстро пришел в себя.

- Заходи, Акоб-ага, гостем будешь! - воскликнул он, хотя в глазах у него все еще светилось изумление. И повернулся к жене: - Я жене сказал, неси водку, рыбу, отвари яйца...

- Добрый вечер, - шагнул вперед Кандо, не усматривая ничего для себя хорошего в этом бурном приеме и заметив растерянность хозяйки дома, надо брить быка за рога, решил он. - Был у Манасеряна Миграна, дай, думаю, и к вам зайду:

Вот оно. Это и околдовало хозяина и хозяйку; Акоб-ага Кандоян ни за что и ни к кому не постучится, если у него нет новостей.

- Садись, Акоб-ага, садись, давненько тебя не видать. То-то мы думаем, куда Акоб-ага одевался, нет его и нет.

- Вот я и пришел. Как живете-можете, как дела, как дети?

- Детям что? - ответил Ованее-ага и взял у Акоба-аги четки. - Посмотри - один, два, три, выгода, напасть, Бог. Это Лия, это Сурик, а это меньшой Мурад... С Лией все просто, не хочу хвастать, но девочка она удачная, Дома не засидится. Сурик - тут разговор иной, с утра до ночи какие-то темные дела, что Он, что кузнец Арабо, Их водой не разольешь... В общем... так... Ну а Мурадом я доволен, Складно читает, пишет.

- Люди - они разные, Ованес-ага! - развел руками Акоб-ага Кандоян. - Что Тут скажешь...

Прямо у ног собеседников Сатеник постелила на кошму белую, пропахшую хлебом скатерть, расставила лаваш, рыбу, яйца, свежие огурцы...

- Акоб-ага, выпьешь? - предложила Сатеник, но тут же подтолкнула гостя отказаться. - Выпивка вроде бы ни к чему...

- Это верно, - отозвался Акоб-ага, - пускай дурной Левон пьет.

- Дурной Левон - пьяница, забулдыга. А гостя не спрашивают: выпьешь, не выпьешь? По стаканчику пропустить не мешает...

- По стаканчику - пожалуй. Даже и по два... А глушить водку, как Левон, - глупость, дурь.

- Ты это с утра надумал? - мягко укорила мужа Сатеник

- Ах ты! - воодушевился Ованес-ага. - Вот у меня какая женушка. Что ни надумаю, она все знает.

- Шолофик! - польщенная и довольная собой, бросила Сатеник мужу и этакой особой женственной поступью поплыла дому. Ее шолофик, надо полагать, означало баловник, беспутник ну и вообще:

- Да будет свет! - возликовал Ованес-ага, когда посреди вей ческой снеди появился стеклянный поднос с бутылкой водки стопками, которые весело засверкали подсветом лампы. - Дар, но я не пил...

- И я, - подхватил Акоб-ага, - Какое теперь питье! Тяжелые времена, Ованес-ага, бог весть чем все это кончится...

- Бери, бери свой стакан, выпьем, - с горечью сказал Ованес-ага. - Можно подумать, Ван видел легкие времена... Будь здоров!

- Будь здоров!

- Ну, что новенького? - спросил Ованес-ага, выпив, словно они встретились сию минуту. Ему не терпелось перейти к главному: шла ли в доме Манасерянов речь о женитьбе Миграна?

- Новенького? - отозвался Акоб-ага, надламывая яичную скорлупу. - Что было, того нет, чего не было, то есть...

- Например.

- Мушега Баддошяна знаешь?

- А как же.

- Ну вот, например, твой Мушег Балдошян - он был, а теперь его нет, - сказал Акоб-ага и тут же подумал: "Если господин Амбарцум слышал об этом, то почему ни словечком не обмолвился?"

- Как так? - обмер Ованес-ага. - Как это его нет?

- А вот так, - беспечно произнес Акоб-ага. - Мушег Балдошян убыл в горний Иерусалим.

- Умер, что ли?

- Ц-ц, - цокнул Акоб-ага, отрицательно помотал головой и ловко снял с кончика языка рыбью косточку. - Умер он или нет, неизвестно, но... жив ли он - тоже неизвестно... словом, исчез человек...

Воцарилась гнетущая тишина. Ованес-ага задумчиво наполнил стопки и, не канителясь, одним духом выпил; Акоб-ага, должно быть, из вежливости также, не мешкая, последовал его примеру.

- Ты расстроился, Ованес-ага. Разве вы были близки? - спросил Акоб-ага.

Глаза у Акоба Кандояна были цвета разведенной синевы, это верно, однако от их взгляда ничто не могло ускользнуть - все равно, важное ли, нет ли. Не станем скрывать, Мушег Балдошян являл собою одного из вероятных Лииных женихов и в качестве такового имел шансов даже больше, чем Мигран Манасерян. Почему бы и нет: единственный сын у матери, первостатейный часовщик, дом - полная чаша, фруктовый сад... Вопрос о возможном и, по-видимому, желанном сватовстве Мушега Балдошяна рассматривался и согласовывался на высшем уровне - на ночных переговорах и совещаниях Ованеса-аги и госпожи Сатеник был утвержден единогласно, без противников и воздержавшихся.

- Сатеник, - позвал Ованес-ага, - Сатеник!

В проеме освещенной луной садовой калитки показалась Сатеник в новом наряде, вся с головы до ног в зеленом. Она медленно приблизилась и стала под лучами прикрепленной кверху лампы.

- Чего изводите, господин? - обратилась она к мужу.

- Ну и ну! - опешил Ованес-ага и улыбнулся. - Молодость вспомнила?.. Послушай, Мушега Балдошяна не стало...

- Господи, - как стояла, так и села рядом с мужем Сатеник. - Кто сказал?

Ованес-ага кивнул на Акоба-агу.

- Не преувеличивай, - запротестовал Акоб-ага. - Ничего еще не ясно. Я не говорил "не стало"... Два-три дня назад сел о на коня и поехал в Айоц-Дзор. Поехать поехал да не вернулся.

"Ей-Богу, это Арамовых рук дело, - осенило Ованеса-агу. - Покойный его не жаловал..."

- Я зашел к ним, - перелистнул страницу бесписьменного своего справочника Акоб-ага.

- Мать видел? - не вытерпел Ованес-ага.

- Само собой. Для чего же я шел?..

- Плакала? - расчувствовалась Сатеник.

- Как раз нет, - ответил Акоб-ага Кандоян. - Задумчивая

была, вот и все.

- Что ж она за мать? - удивилась госпожа Сатеник. Ованес-ага потянулся за бутылкой.

- Хватит с вас, - недовольно сказала госпожа Сатеник. - Что это на тебя напало?

- Что напало?! Крепкий, здоровый парень средь бела дня как в воду канул, - с чувством ответил Ованес-ага и наполнил стопки.

- Теперь об Амбарцуме Ерамяне, - объявил Акоб-ага Кандоян. - Сегодня он нанес, по его словам, визит вежливости назначенным к нам то ли просвещенческим, то ли финансовым псам.

- Видали? - восхитилась госпожа Сатеник,

- Старому ослу да новые уши! - по-своему оценил новости Ованес-ага. - Коли он такой дипломат, пускай нанесет визит сарайскому кузнецу.

Сарайский кузнец, то есть кузнец из Сарая, был не кто иной как сын Тайси-бея, ванский наместник Джевдед. Этой клички ой удостоился в бытность свою сарайским наместником. Он делал не так уж и много - всего-навсего

подковывал армян. "Недостойный сын достойного отца", или сарайский кузнец, - так прозвал народ последнего наместника Вана Джевдеда.

- Чтобы Ерамян да не пошел, когда подвернулся случай? Теперь небось составляет ванское правительство, - понизил толос Акоб-ага.

- А главой правительства будет он сам? - полюбопытствовала госпожа Сатеник.

- Кто же еще.

- Если мир ослеп, все возможно. Слепой стране - слепой царь, - опрокинул стопку Ованес-ага.

- Да хватит тебе! - рассердилась госпожа Сатеник.

- Теперь поговорим о Манасерянах, - не удержался Ованес-ага.

- Поговорим, отчего не поговорить? - повиновался Акоб-ага. - Особых новостей нет. Мать и сын по-прежнему в монастыре, в город не спускались. Сосоян Такуи тяжело больна. Посидел с Кармиле, посоветовал ей кое-что... вот и все.

- Поговаривают, что у Манасеряна Миграна с этой самой Кармиле шуры-муры, - приглушенно пропела госпожа Сатеник.

- Этот вопрос я изучил, - спокойно и самодовольно доложил Акоб-ага, - и пришел к выводу, что у них ничего серьезного. На самом деле! Вы что, не знаете ванцев? Их послушать, так парень с девушкой и через замочную скважину милуются.

- Не скажи, - возразила госпожа Сатеник. - Свободомыслие, оно мало-помалу и к нам проникло.

- Это как посмотреть. Вроде бы так оно и есть, а приглядишься, пораскинешь мозгами - ничего похожего. Ну, Аршак Мандабурян, ну, Пятничный ручей, ну, "Старые боги"... и это свободомыслие? - разглаживая рыжие усы, посмотрел, пригляделся и пораскинул умом Акоб-ага Кандоян.

Ночь сделала еще один шаг. Ее шаги не могли не достичь чрезвычайно чуткого к ходу времени слуха Акоба-аги Кандояна, его большущих с виду, но тончайших по сути ушей. Он положил в карман четки с черными бусинами,

оперся кулаками о покрытую кошмой и поросшой травой землю-мать. И, крякнув, поднялся.

- Вам - доброй ночи, мне - доброго пути, - сказал он. - Как Лия, многие сватаются?

- На ветхом мосту только верблюда недоставало, - возмутилась госпожа Сатеник. - Время ли сейчас свадьбы играть?..

- Это верно, - согласился Акоб-ага. - Спокойной ночи.

- Такие дела, Сатеник-ханум, - то ли облегченно, то ли, напротив, огорченно вздохнул Ованес-ага после ухода гостя. - Убери на быструю руку, постели и спать... Нет, погоди, с чего ты вдруг вырядилась?

- Взяла и вырядилась. Нельзя, что ли, в кои-то веки раз? Кто знает, что нас ждет...

- Верно, жена, еще как верно! Смутные нынче времена. Пожалуйста, Балдошян. Надо же, как сквозь землю провалился...

- Наступит день, и весь Ван сквозь землю провалится, - возвестила Сатеник. Ованес-ага вышел из себя;

- Типун тебе на язык! С какой стати Вану сквозь землю проваливаться?..

- Ладно, не сердись, - смягчилась Сатеник, вернувшись с постелью. - Когда война, всего жди.

Ованес-ага снял с дерева лампу, погасил и опять повесил на место. Потом разделся и лег.

- Дети спят? - спросил он, укрывшись одеялом.

- Давно.

На Айгестан неотступно взирает огромная-преогромная луна. Одному ее лучу удалось пробиться сквозь плотную листву, и теперь он трепещет на лбу Ованеса-аги. "Нет сна лучше, чем на чистом воздухе", - думает Ованес-ага, и его ноздри улавливают приятный аромат.

- Вон ты какая стала, - говорит он, - лавандовым мылом моешься...

- Спи! - окорачивает его Сатеник.

В ночной тиши слышен какой-то шорох; это не вода, похоже на то, как сыплется песок. В саду живут ежи, появилась даже черепаха. Днем они, должно быть, спят, а ночью выходят на промысел. Звучно хлопают крылья: на зеленой макушке исполинского... нет, не орехового дерева, а тополя свил гнездо аист. Наверное, пробудился от страшного сна и взмахнул крыльями, Интересно, что за сон ему привиделся?

Итак, сегодня на веранде казино состоялась встреча больше тройки. Все трое поклялись, что давно не пьют, разошлись по домам; и наверняка, как и он, заложили за воротник. Долго они судили-рядили, взвешивали так и эдак, и вывод оказался единодушен: скверно. Фанос-ага сказал: "Гори оно огнем, кто родился, тому и помирать". Сказать-то сказал, но глаза выдали и страх его и горе. Симон-ага сказал: "Бейся не бейся, а стену лбом не прошибить". Сказать-то сказал, но по глазам видно, он готов биться головой о стену: будь что будет... Ованес-ага смолчал, ничего не сказал, а вернее, обронил: "Кровь, она не водица", - на что Симон-ага ответил: "Это верно, кровь не водица, но водица, она, того гляди, станет кровью..." Поди знай, что он хотел сказать, Симон-ага. Но если уж начистоту, Ованес-ага прекрасно его понял: Симон-ага хотел сказать, что в воздухе запахло резней. А резня эти нечто омерзительное, гибельное, противное здравому смыслу. Даже в самом этом слове - резня - слышится какая-то гадость.

"Всякое может случиться, - думает Ованес-ага и по старой привычке щекочет усами шею Сатеник. - Только бы пронесло, только бы не резня".

Ему опять чудится, что где-то течет вода, нет, все-таки сыплется песок. Сатеник уснула? Он и не упомнит, когда она спала глубоким сном.

- Еж, - шепчет он в ухо Сатеник: спит или не спит?

- Еж? - шепотом же спрашивает Сатеник.

- Ну да, обыкновенный еж, который колется...

- Сам ты колешься, - сонным голосом бормочет Сатеник. - Еж...

В бархатных шлепанцах, неслышно, крадучись, ночь делает еще шаг и навостряет уши. А потом...

- Чуяло мое сердце, что у тебя на уме... Зачем, спрашивается, пил? - откуда-то издалека доносится недовольный голос Сатеник; такой голос бывает у того, кто только что уснул или только проснулся. В недрах Айгестана пламенем вспыхивает петушиное кукареку, тянется, как огненная лента, и угасает.

Ованес-ага угадал; из-под земляной ограды айвового садика выбрался страшно любопытный непосредственный и - чего уж там! - глуповатый ежик; пересек грядку люцерны и заспешил дальше, привлеченный храпом Ованеса-аги. И вот уж его иглы ощутили нечто неведомое, но весьма и весьма приятное. Надо полагать, то была мягкая подушка Ованеса-аги, к которой еж подошел вплотную.

Должно быть, в эту самую минуту Ованес-ага, великий искусник по части нелепых сновидений, и увидел свой очередной сон: они с Симоном-агой и Фаносом-агой пьют в большой комнате вино, Акоб Кандоян поет, входит разодетая в тонкие шелка Сатеник и, не стесняясь посторонних, с веселым смехом тянет Ованеса-агу за руку:

- Вставай, муженек, потанцуем, резня началась, ужасная резня, пускай армяне плачут...

СКАЗАНИЕ ВОСЕМНАДЦАТОЕ.

Доверительная беседа с читателем. Тревожная для Арама и беспокойная для Седрака-аги ночь

1

Ты, Васпуракан страна величайших Сынов, с твоим Биайнским морем и доблестным твоим Ваном, это ты, по слову замечательного поэта, спишь сейчас, как нежная царица. Тебя не предали по-царски земле, а подло втоптали в грязь, дикие орды прошли по тебе огнем и мечом и залили кровью, И мне суждено сегодня на берегу далекого Балтийского моря спеть тебе колыбельную. "Ни жалобы, ни ропота", - сказал тот же поэт; "Ни просьбы, ни мольбы", - говорю я, ничтожный, ибо... ибо (я скажу вам всё, всё) нужно не только слушать голос минувших и нынешних поколений, творчески следуя

ему и совершенствуя, нужно еще и предслышать голос поколений грядущих. Отчего можно предвидеть, а вот предслышать - нельзя?

И что я отвечу дарителю земли и цветов? Нет! Дарителя земли и цветов я, положим, обману, и все ж таки, все ж таки - что я отвечу грядущим поколениям, если не смогу довести до них стремительный ход дальнейших событий и внушить им сопричастность к судьбе моих героев, великих и малых, именитых и безымянных? Как легка была бы ноша и моя и грядущих поколений, будь у нас всего лишь один, да к тому же лирический герой; но в нашем повествовании что ни Божья тварь, то герой, и все они без разбора обладают правом на необходимое для жизни и смерти пространство и вдобавок шансом на бессмертие.

Денно и нощно, не считаясь ни с праздниками, ни с воскресеньями, если не пять, то уж по меньшей мере четыре десятилетия самолично стучатся они в мою дверь и просят, приказывают, повелевают и требуют, чтобы я написал о них, чтобы запечатлел их имена и деяния в книге славы. Они искали и находили меня, невзирая на то, дома я или в дороге, богат или сир, трудоспособен или разбит параличом. Спасаясь от них, я на долгие годы сменил местожительство, обретаясь за колючей проволокой и ржавыми запорами, но тщетно.

Однажды ночью, когда я, вовсе не устав от сладостных дневных трудов, тем не менее отдыхал, когда делалось все, дабы ни один посторонний не нарушит моего "часть" и покоя, и когда я, короче, беззаботнейшим образом почивал, внезапно, с сухим и влажным, острым и тупым скрежетом отворяется дверь и - не чудо ли? - первым появляемся Акоб-ага Кандоян, за ним Ованес-ага и Фанос-ага, мои ужасные, а не только лирические герои, следом ;торговые, партийные, семейные, духовные, педагогические, финансовые, военные, консервативные, монархические, республиканские то словом, все мои герои обоего пода, кто почитал меня своим клятвопреступным должником.

Свидание, а точнее, встреча была теплой и более чем сердечной. Не столь уж недостойный их, соотечественник и неплохой дипломат, я сделал вид, будто

безмерно рад им и будто без них мне, что называется, жизнь не в жизнь. Эта, с позволения сказать, компания разместилась в тех же апартаментах, что и я, но число обитателей от этого не увеличилось. Появление разношерстных моих героев не повлекло за собой никаких административных Выводов, поскольку видел их только я; они не работали и не требовали ни хлеба, ни воды, однако без устали твердили о ванских кушаньях, особенно о тарехе и джлбуре. Они сопровождали меня на работу, частенько мешали, а подчас и помогали... Когда я изнемогал от неимоверныс усилий и падал от усталости, кто-нибудь из них затевал разговор о давних минувших деньках; прошлое воодушевляло меня, придавало новых сил, и я опять принимался за работу. За добрые дела их не вознаграждали, а за проступки не наказывали, потому как они были. Не люди, а более чем люди - тени и воспоминания, бестелесные души и призраки, пережитки и эхо, своего рода несуществующие существа и нереальные реальности.

Они преследовали меня годы и десятилетия кряду и преследуют доныне. Даже ныне, когда я полон отчаянной решимости раз и навсегда покончить с ними счеты, они и ныне меня преследуют. Я в ответе перед грядущим поколением. Скрепя Сердце можно согрешить перед прошлым и настоящим, но тот, кто не слышит голоса будущего либо слышит его, но прикидывается глухим, сам лишает себя голоса и обрекает на бесправие. "Бесправные - никчемный народец!" - сказал бы, наверное, Парамаз.

И правда, был город и нет города. Можно ли за пятьдесят лет отстроить Помпеи или Ани? И что это за Помпеи, что это за Ани, если один из граждан разрушенного вконец города достопочтенный Микаэл-ага Пароникян и столь же достопочтенный ага Вардан Мириджанян играют сейчас в Ереване в нарды и жалуются на жару?

И точно так же, как слепец Амбарцум Ерамян видел наше доблестное будущее, я слышу ныне голос грядущих поколений.

"Что сталось с Ваном? - вопрошают они. - Отчего Вана больше нет, неужели Ван был только лишь перстнем вардапета Арсена или Мушегом Балдошяном, почему он исчез?"

Подумаешь, перстень, так ведь и он не исчез, его видели на пальце учителя Геворга; что до Мушега Балдошяна, то он открыл в Тебризе часовую мастерскую и налаживает перепутанное время Ирана.

Поздняя ночь, но Араму все не спится. Он чутьем знает, что разряди чёрных молний вот-вот рассекут политический небосвод, вот-вот громыхнет громки разразится страшный ливень Не тот дождь, которого ждет Не дождется выжженная земля дедов и прадедов, Не тот дождь, после которого поднимается над садами солнце, а рощи и цветники наполняются запахом влажной земли и птичьим гомоном, пьянящим ароматом чабреца, майорана и сирени, нет, совсем не тот, Надвигающийся ливень чреват градом, разрушительным, бедственным красным градом.

Уже восемь месяцев бушует мировая война. Если в иные времена еще можно было надеяться привлечь внимание "великих союзников" к "малому союзнику" - армянам то теперь смешно даже думать об этом. Европейские державы, включая Россию и Турцию, заняты войной. При этом российские армяне воюют в рядах русской армии, турецкие - в, рядах турецкой. Такова прав да; в нелепой этой ситуации опять же страдают армяне. Армянин должен воевать против армянина. Это же не по-человечески, не по-людски. Солдат-армянин должен вместе с турками драться против русской армии; мало того, турецкое правительство замыслило выставить против русских отряды армян-добровольцев" чтобы натравить двуглавого орла на армян - и турецких, и своих, российских...

Арам сел за письменный стол, достал из ящика записную книжку и принялся ее листать.

Младотурки потребовали у нас добровольцев, мы наотрез отклонили это требование. Тут не о чем говорить, мы поступили правильно. Предоставить туркам добровольцев означает, во-первых, настроить русское правительство

против российских армян и, во-вторых, позволить турецкому командованию контролировать вооруженные отряды армян, что приведет к массовому их разоружению и "мирному" уничтожению...

Ишхану не нравится мой... (он читал, сокращая фразы, глотая слова), я тут ни при чем, таким создала меня природа. Будь я святым, что мне было бы делать в грешном этом мире? Мне, между прочим, претит полубуржуазная семейная жизнь Ишхана. Чего ради, мы приехали сюда - делать дело или вить семейное гнездышко? История с Даво печальна и неожиданна. Не случись она, я бы знал, как разговаривать с Ишханом:

...Разве не я с песнями и фанфарами привел правительству несколько тысяч призывников и связал их, молодых вооруженных парней, с казармой? А что толку? Что из этого вышло? Они не влились, как я рассчитывал, в регулярную армию, им в руки всучили кирки и погнали на каторжные дорожные работы.

Мне зачастую казалось, что Врамян, депутат османского парламента, не умеет использовать по-настоящему своих высоких полномочий. Однако, присмотревшись к ходу событий, нельзя не убедиться, что и османскому султанату, и "новой", "конституционной" Турции все эти парламенты нужны только для блезира. А раз так, депутатство Врамяна - тоже фикция... Что они могут, Зохраб в Стамбуле, а Врамян в Ване? Ровным счетом ничего...

Ван повеселел. Русская армия достигла Башкале и Сарая, затем двинулась по линии Алашкерт - Басен - Баязет - Башкале - Тутах. В Арчаке появился Андраник. Турки помрачнели.

Ван помрачнел. Что произошло? Русские оставили занятые позиции, отступили и опять остановились на линии Башкале - Сарай. Везде, где русские отступают, армяне в панике. Бегство... Как же так? Воздух в Ване наэлектризован, пахнет грозой и бурей...

Турки повеселели.

Турок повеселел и пополз вперед. Продвинулся на два шага, и из разверстой его пасти уже ощутимо разит кровью... День за днем, час за часом кольцо вокруг Вана сжимается: красный дракон мало-помалу подтягивает голову к

хвосту, а посередке - Ван. Если бы я верил в Бога... Я бы молился, чтобы тяжкое это испытание минуло нас, не обрушилось на наш народ. Что нам остается?.. Обороняться, защищаться от ударов целого государства. Надо, чтобы каждый, у кого в руках оружие, понимал: наша борьба справедлива. Любая пропаганда тут излишня. Народ хочет жить и вынужден драться за право на жизнь. Подумываю оставить и этот дом, пора. Лучше поздно, чем никогда...

Теперь о внутренних разногласиях. Вспоминать в нынешних обстоятельствах, кто был умеренным, а кто радикалом, кто был прав в том или ином конкретном деле, а кто виноват, - значит попусту тратить время. Какая турку разница, правый ты или левый, дашнак или рамкавар, гнчак или нейтрал? Пускай истории очистит зерно от плевел; сейчас нужно, чтобы народ бил един Ну а мы, шефы... Хоть когда-нибудь были руководители достойны своего народа? Народ обычно выше своих вождей, он и добр, и справедлив не в пример им.

... Зачем ходить далеко, обернемся на себя... У деятелей вроде нас нет минуты тяжелее, чем та, когда чувствуешь, что ты уже не властен над событиями, не ты направляешь их, а наоборот, они тебя увлекают туда, куда не надо. Сейчас именно такая минута. Мы бессильны. Руль не подчиняется рулевому.

... "Слава побежденным!" По-моему, это смехотворное самоутешение. Пока еще рано говорить о поражении, но, если нас осилят, будет не до славы. Горе побежденным! "Слава павшим"? Это другое дело. - Мучеников, павших за свободу, причисляет к лику святых. Отсюда не следует, будто надо приближать мученическую смерть. Не будем рваться в святые. Слава несгибаемым, слава бойцам!

... Не упускать землю из-под ног - вот что важно, причем не в переносном, а в прямом смысле. Ездил по деревням. Ситуация тревожная, но крестьяне все равно готовятся к севу. Над деревенскими домами поднимается, мирный дымок. Райская страна под беззаконной властью дьяволов и одноглазых драконов. И тьма все гуще.

Когда же наконец рассветет?

Араму не спится. "Ах, если бы в этой дыре был телефон, - думает он, сидя за письменным столом. - И кому бы я тогда позвонил?" - спрашивает он себя и не находит ответа. Вспоминает Ишхана, Врамяна... С ними ему говорить не о чем. Будь у них телефон, они бы тоже ему не позвонили, в чем-чем, а в этом Арам уверен.

Что случилось? Почему пути неразлучной некогда троицы шефов - бывшего, нынешнего и будущего - разошлись? Почему они встречаются теперь только на собраниях, открытых и закрытых. Три единомышленника не смогут одинаково ответить даже на эти три вопроса.

Поздняя ночь. Если судить беспристрастно и прямо, то придется сказать, что эта большая тройка не знала ни особых размолвок, ни стычек, ни вражды. Нет. Просто изменилось время. То, что казалось прежде близким, теперь далеко, неуглядимо, недосягаемо, а то, что было далеко, сейчас рядом, в двух шагах; на поверку оно вовсе не привлекательно и лишено волшебного золотого нимба, которым обладало в недосягаемой дали.

- Отзовись, о море, - мурлычет по привычке Арам, но чувствует, что песня потеряла смысл, ибо море, того гляди, разомкнет уста и впрямь отзовется, но как оно отзовется, не так уж и важно: Что бы оно ни сказало, все и без слов ясно и понятно. Суета сует и ложи лжей. Нет ни цивилизованной Европы, ни прав малых наций, ни справедливости - все это сказки. "Нас обманули, - размышляет Арам, потом уточняет: - Кто нас обманул? Мы сами обманулись!.. Он опять открывает дневник, берет синий химический карандаш и мелким своим почерком пишет: "Не станем уверять себя и народ, будто нас обманули. Мы сами обманулись". Он перечитывает запись и не верит своим глазам, так истинны и страшны его слова.

Когда нас не было, народ проливал слезы, мы пришли и сказали: "Все это глупости, надо проливать кровь, а не слезы". Неужели мы ошибались? Неужели лучше было отсиживаться в Баку, Елизаветполе, Тифлисе, Александрополе, Карее и Ереване и спокойно взирать на муки и пытки своих собратьев в Турции?

И они пришли. Вмешались. И назвали пройденный ими путь дорогой свободы, и обагрили ее кровью самоотверженных героев, однако та" и не встретили ничего похожего на свободу. Нет, проторенный ими путь был дорогою не свободы, но крови.

"Без крови нет свободы" - начертано на их знамени; когда же их спросили: "А есть ли кровь без свободы?" - они не ответили, но ответ напрашивался сам собой: сколько угодно...

И была кровь, и не было свободы. Впрочем, зачем скромничать, без свободы не обошлось - свободы фантазий, свободы произвола, свободы честолюбия. Фантазируй, воображай: налет на Оттоманский банк потряс мир, ханасорский поход перевернул вселенную" вождь курдского племени Шариф Мазрикский почти что Александр Македонский...

Короче говоря, погоняй своего ишака, заставь его, презрев мост, геройски полезть в разлившуюся реку, когда же мутные воды унесут и скотину, и поклажу, обнажи голову, почти память осла-мученика минутой молчания, назови его гибель исторической необходимостью и преспокойно пройди по мосту. Хочешь прослыть героем, будь честолюбив, поскольку с некоторых пор стало ясно, что люди удостаиваются венца славы вовсе не за геройство - о нет, они добиваются славы, обретают ее, а там уж размышляют: совершать героический поступок или не совершать? А бывает, и не размышляют. Так-то...

Не спится. Он перебирает в уме всю свою жизнь, вспоминает, как еще юношей чувствовал - священное Имя отечества зовет нас к войне. К войне? Признаться, эта самая война отнюдь ему не по сердцу, куда лучше драка, тоже своего рода война, но все-таки менее опасная. Ведь подраться может не только армянин с турком, но и муж с женой, теща с зятем, невестка со свекровью, случается, дети между собой дерутся... Нет, что ни говори, драка куда предпочтительнее войны.

Разумеется, кому что больше нравится. Ишхан, тот склонен воевать, а не драться. Врамян не признает ни того ни другого. Когда-то они, Ишхан и Арам,

не называли Врамяна по имени, а говорили "учителишка", за глаза конечно. Он всегда был против их политической линии, их ра - ди - каль - ных мероприятий, одно слово, - учителишка. Так-то оно так, но он пользуется авторитетом, причем немалым, - с этим не поспоришь. В Женеве и Тифлисе. Даже бытует мнение, что ванских патриотов возглавляет Врамян, а Ишхан и Арам - его правая и левая руки. Ну-ка стерпи: Ишхан - и правая рука! О, Ишхан не из тех, кто вынесет такое бесчестие. Он рвал и метал, пошел на все, лишь бы доказать, что он левый Истинно "левый, полевее иных-прочих, потому как правые - это жалкие примаки революции. Ахтамарские события показали, что Ишхан и вправду левее всех левых. Конечно, Арам тоже не стоял в стороне от этих событий, но он ведет себя гораздо сдержаннее, его позиция куда правее. Хотя в одном из своих тайных посланий то ли в Тифлис, то ля в Женеву Врамян просил, предлагал, требовал и приказывая решиться на какую угодно, даже самую тяжкую операцию, но избавить его от обеих рук, потому как обе его руки - левые и не способны управиться ни с пером, ни с ножом, ни тем паче с вилкой. Можно не сомневаться: пожалуйся Врамян на то, что обе руки у него правые, неотложная помощь не опоздала бы ни на минуту и решительное хирургическое вмешательство удовлетворило бы его просьбу, предложение, требование и приказ...

Чего только не делает всесильное время; с его течением "учителишка" не смог, это верно, заменить себе руки, можно сказать, он свыкся или, скорее, примирился с ними, примирился ропща, примирился возражая, примирился протестуя и трагической своей гибелью доказал, что сам он вовсе не учителишка, но доподлинный герой, с открытыми глазами встречающий смерть.

Не спится.

Женщины - всегдашняя его слабость, это неизменно отмечали и как одно из индивидуальных его свойств и в то же время как серьезный недостаток. Он учитывал это - факт есть факт, но протестовал, когда ничтожная по сути мелочь вменялась ему в вину.

Оставаясь в одиночестве, с глазу на глаз с совестью, он анализировал свои короткие, но абсолютно неуправляемые и непредсказуемые романы с очередной Евой или феей и приходил к выводу, что наказан природой. Его сердце по ошибке вложено не, в ту грудь, или, точнее, в его грудь по ошибке вложено не то сердце. Увы, природа наделила его сердцем скорее поэта, нежели национального деятеля. Прискорбная, история, в которую вылилась его связь с Марине, лишний раз показала, как зло подшутили над ним небеса: он, орел революции, завидев любую красотку - и если бы только красотку! - мигом превращается, в заурядного петуха: кукареку!

За дверью послышался шорох. Арам знает, это хозяйка: едва встав с постели, она босиком спешит проверить, спит он или шт. Само собой, заглядывая в замочную скважину. Если свет горит, она не заходит, а вот если света нет, на цыпочках проникает в комнату, смотрит, не раскрылся ли знаменитый ее постоялец, и, когда в этом есть нужда, бережно его укрывает. Бывает, Арам хватает ее за руку, "Ах, ты не спишь!" - шепчет молодая хозяйка, не в силах унять дрожь.

Так оно и есть, за дверью что-то шуршит. О выпил бы сейчас чашку кофе, больше, ему ничего не хочется. Впрочем, нет, он хочет почувствовать, что в эту полночь, в этом мертвым сном спящем городе бодрствует еще одна душа. Хочет, хочет!.. Арам встает и рывком распахивает дверь. Он был прав, а если и ошибался, то чуть-чуть: о дверь, мурлыча, трется белая ванская кошка.

Шаркая шлепанцами, он возвращается к письменному столу. "Кто думает, будто в Ване только три партии, тот очень наивный человек. По сути дела, в этом удивительном городе целых пять партий: наша партия, руководимая Врамяном (зачеркнуто), Ишханом (зачеркнуто), мною (зачёркнуто после минутного раздумья) - нами; рамкавары, руководимою, судя по всему, Терзибашяном или Екаряном; гнчаки, руководимые Абраамом Брутяном; кроме того, существует партия так называемых нейтралов под руководством Амбарцума Ерамяна..." В парадную дверь тихонько постучались - или ему показалось? "... и, наконец, партия, я бы сказал, ванских женщин, в которой

состоят все, начиная от Мариам-паши и Заруи Тероян и кончая старшей матушкой Манасерян и моей..."

Входную дверь отперли. Кого это принесло? Почему-то вспомнился давний визит Ованеса-аги Мурадханяна. Кто-то легко поднимается, нет, взлетает по лестнице. Подходит к двери. И оказывается Пето-республиканцем.

- Что случилось, Пето?

Опытный конспиратор снимает феску, вынимает из нее вторую, точно такую же по величине, извлекает вчетверо сложенный лист бумаги - он был спрятан между двумя фесками - и протягивает Араму"

- От господина Врамяна.

"Дорогой Арам!

Завтра утром мы втроем должны явиться к Джевдеду. Он нас вызывает. Ишхан с несколькими парнями едет в Хирч пресечь армяно-курдские стычки и успокоить людей. Какая роль отводится нам с тобой, неизвестно. Я пойду и все выясню, а ты пока что никуда не отлучайся. До свидания. Врамян".

- Хорошо, ступай, - отпустил Арам гонца.

Подошел поближе к лампе и поднес записку к глазам. Она была написана фиолетовыми чернилами, на простой бумаге, ровным, даже, пожалуй, тщательным почерком. Подпись венчалась извилистой закорючкой наподобие вопросительного знака... В сущности, и сама-то записка была не чем иным, как Тревожным вопросом: с какой стати Ишхану ехать в Хирч и пресекать "стычки"? Нелепая миссия - тушить огонь, который раздували годами, а то и веками. Тушить "искры", о которых столько говорено? А наместник, зачем он их вызвал? Соскучился, что ли? Слепому видно, дело тут нечисто.

Арам открыл окно. Ночь благоухала ароматом ранней весны, и сердце как-то странно защемило. Жизнь, жизнь... Ему почудилось, будто горло сжимает чья-то рука. Какова она, жизнь революционера? На память пришли десятки имен, перед глазами встали лица тех, с кем он встречался, играл в нарды, пил кофе... Сейчас их нет... Они, как принято говорить, пали на пути к свободе и своею кровью... ну и так далее. Путь к свободе не заказан, он открыт, путь к свободе,

однако, требует новых жертв. Что ж, теперь их черед. Господи, как это странно, как ужасно... Умереть и не узнать, чем кончилось дело, которому отдана не что-нибудь - жизнь. Умереть и стать заголовком газетной статьи, портретом, который развесят по стенам. Что и говорить, перспектива хоть куда.

Хозяйка пришла, изрядно задержавшись. Задержалась она, надо сказать, по уважительной причине: ее Пузатик никак не засыпал...

- Признавайся, - твердил Пузатик, - есть между вами что-то? По крайней мере буду знать.

- Не мели чепухи.

- Весь город говорит...

- Ван один, и Арам один, еще бы не говорили...

- Нет, ты правду скажи, что-то ведь есть?

- Что-то есть и еще кое-что в придачу... все?

- По крайней мере буду знать, - униженно бормочет муж. - Как же не знать?

Словом, хозяйка задержалась по более чем уважительной причине.

- Приготовь мой черный костюм, - говорит ей Арам.

- На ночь глядя? Согласбвывать свои поступки с хозяйкой, а равно показывать ей важные или не слишком важные бумаги отнюдь не в правилах Арама, но на сей раз он по-гамлетовски протягивает руку к лежащей на столе записке: прочти.

Госпожа Заруи, ушедшая из третьего класса школы Сандхтян, неловко берет Записку, подходит к лампе, читает, смотрит, нет ли чего на обороте, а увидев, что нет, читает записку сызнова, кладет на стол и говорит:

- Тебе, паша, незачем туда идти.

- Как так? - удивляется Арам. - Неужели ты позволишь, чтобы я... когда мои товарищи... подло предать?.. Никогда! - Тем не менее он по-гамлетовски скрестил на груди руки, и глаза его за черными очками заискрились - так, во всяком случае, показалось госпоже Заруи!

- Не тревожься, - сказала ванская Далила своему карабахскому Самсону, - на дворе ночь... Спуститесь, спуститесь, о сны...

- Приготовь мой черный костюм, - с не меньшей решимостью повторил Арам.

"Я знала, что этот человек герой, но не знала, что он такой герой", - "Подумала госпожа Заруи, и ее сердце переполнила безмерная, беспредельная и умильная гордость.

- Чего пожелает мой паша перед сном? - спросила она, шагнув к предмету умильной своей гордости.

- Ничего, - сказал Арам, глядя пустыми глазами в никуда. - Ничего...

- Предположим, - попробовала предположить госпожа Заруи.

- Не нужно предполагать. Приготовь черный...

- Кофе, сейчас.

Она вылетела из комнаты, как девочка.

Арам проводил ее взглядом и подумал: "В самом деле, если Врамян идет на смерть, мне, что же, идти следом за ним: умрем, дескать, вместе? Так ведь это не геройство, а чистой воды глупость. Надо ли суетиться и нарушать дисциплину? Написано ясно: никуда не отлучайся, приду и все расскажу; значит, не стану отлучаться, пусть придет и расскажет. Нельзя перечить ему, приказ есть приказ. В Женеве и Тифлисе не дураки, а они его считают главой ванских патриотов..."

Вот так. В итоге затребованный Арамом черный костюм был заменен черным кофе.

То да се, слово за слово, и, как все в этом мире, завершилось и Арамово кофепитие, после чего он вновь обратился к верной своей хозяйке с просьбой:

- Не знаю, какая ночь меня ждет, но, как бы то ни было, непременно разбуди меня рано утром. Даже если...

Покуда ванский Самсон господин Арам с помощью немыслимых, невообразимых картин убеждал свою хозяйку разбудить, всенепременно разбудить его рано утром, ванская Далила, впившись взглядом в его губы, слушала эти речи своими маленькими белыми ушками и диву давалась, как

она до сих пор не обезумела от счастья, обитая в теплом своем гнездышке со столь выдающейся личностью, вверенной судьбою ее заботам; а раз так, она обязана следить за каждым шагом великого человека, тем более в эти роковые часы. Видя, что изустный экспромт Арама отнюдь еще не излит до конца, тогда как время идет и идет, она неуловимо быстро приготовила постель тему, кто вознамерился встать спозаранок, пальчиком указала на постель.

- Спать, да-да, спать! - сказал Арам, верно поняв безмолвный приказ хозяйки.

- Но как уснешь, когда эта сволочь...

Одновременно с "этой сволочью" (аттестовавшей, можно не сомневаться, Джевдеда-пашу) с первого этажа донесся голос хозяина:

- Заруи, эй, Заруи!..

Хозяйка удивилась; зачем это она понадобилась законному супругу?

- Интересно, что ему взбрело в голову посреди ночи, - с усмешкой и довольно громко пробормотала она и вышла.

- Aluas anaum, - говоря по-нашему, суета сует, - прозвучало ей вслед. Не поняв ученой этой латыни, хозяйка изумилась: "Что он сказал: в Ване таз, в Ване Татул? Господи, неужто тронулся?"

А в супружеской спальне ее поджидал другой сюрприз.

2

Как назло, этой ночью сон Седрака-аги также умчался невесть куда.

Будь сои живым существом, Седрак-ага поставил бы об этом в известность свою благоверную, благоверная - всемогущего их постояльца, тот подмял бы на ноги обоих Пето - монархиста и республиканца, а те из-под земли достали бы и вернули беглеца законному владельцу. Уж Арам-то не пожалел бы сил, чтобы обеспечить своему хозяину покой и, больше того, глубокий, а еще лучше - беепробудный сон. Полагаю излишним пространно разъяснять, как и почему, и усложнять без того сложную ситуацию. Она, эта ситуаций, известна лишь ему, Седраку-аге, да еще Всевышнему, если, конечно, забыть про госпожу Заруи и Арама - пашу, а также проигнорировать весь Ван. Но пусть эти простофили не считают простофилей его. Бывало, он прикидывался

спящим, а сам следил, как его ханум проверки, ради шептала: "Эй, Седрак, кажется, стучат... Эй, Седрак, хватит дрыхнуть..." Он отмалчивался или. даже, начинал храпеть, и тогда ханум осторожненько вставала, открывала сундук с приданым, долго в нем копалась, что-то на себя надевала и, все равно полуголая подымалась на седьмое небо...

Только ему, Седраку-аге, известно, что он пережил; неспроста вот уже который год излюбленным его присловщм, к месту и не к месту, повторяемом, остается поговорка: плюешь вверх - Бог, плюешь вниз - борода.

Вот ой и молчал, скрежетал зубами и молчал. "Безумцу" стыдно, стыдно его родне", - думал он, однако доныне не уяснил, кто в их доме безумец - жена или почтенный постоялец, ли же последний, то с каких пор Седрак-ага стал его родней?

Нет, Седрак-ага вовсе не наивен, он прекрасно понимает, ч его и Господа Бога великая тайна давно перестала быть таков и в неприкрытой своей наготе гуляет по городу - из дома в до из кофейни в кофейню. Порою, чувствуя себя лишним в собственном доме, он заглядывал в кофейню, и там разом стиха шумные разговдры, которые он слышал еще на улице, и воцарилась какая-то ненормальная тишина. Удары такого рода он принимал с хладнокровием философа и героя. Садился на первый попавшийся стул, заказывал кофе и громко говорил:

- Чего воды в рот набрали, услыхали, что молла - турок? Шумно и со смаком отхлебнув первый глоток ароматного кофе, он дополнял свою мысль:

- Вот жизнь: плюешь вверх - Бог, плюешь вниз - борода.

Дабы не погрешить против истины, отметим, что науки, чьим пристанищем стал дом Седрака-аги: история ("У госпожи Заруи с Арамом шашни"), география (пространство между хозяйской и Арамовой комнатами - открытая зона для хозяйки и запретная - для хозяина), простые и сложные премудрости арифметики (лучше их не трогать) и геометрия (Седрак-ага - Заруи - Арам...) - все эти науки доставляли Седраку-аге не только горечь. Нет. Когда город охватывала тревога, когда он переживал тяжелые, смутные дни, Седрака-агу,

можно сказать, рвали в кофейне на части. Едва он переступал порогу отовсюду неслось:

- Седрак-ага, милости просим за наш столик!

- Сюда, сюда, Седрак-ага, присаживайся к нам! Кофе Седраку-аге!

- Седрак-ага сам знает, где ему сесть. Садись, Седрак-ага! Ну, как дела, что нового?

Седрак-ага прекрасно понимал, чего стоил оказываемый ему почет. Всем не терпелось узнать, что думает его многоавторитетный постоялец о создавшейся обстановке, насколько она сложна, что Арам намерен предпринять и что уже предпринял... Всех до единого интересовало, соответствует ли истине слух, согласно которому Дядюшка пустился в путь и пожалует не сегодня завтра. Найдись паче чаяния в кофейне непосвященный, кому неведомы пути-дороги жизни, и спроси он удивленно: "Какой еще Дядюшка? Что за Дядюшка?" - кофейня подняла бы его на смех: "Ну и дуралей же ты! Про Дядюшку не слыхал! Дядюшка - это русские".

Сегодня Седрака-агу больше, чем когда-либо, а сказать вернее - как никогда, одолевают всевозможные мысли. Ничего нового он не знает. Правда, возвращаясь домой, он зашел в кофейню и чуть не ахнул: посетители сидели сами по себе, поврозь - ни тебе игр, ни тебе разговоров. Но значит ли это что-то? Пойдем дальше. Все, кого он встречал на улице, были чем-то озабочены или до того заняты собой, что проходили мимо, никого не видя, и не здороваясь... Впрочем, и это еще куда ни шло. Хуже то, что Седрака-агу прямо-таки замучили тревожные мысли и он никак не уснет. Причем тревога эта не. от рассудка, а от какого-то нутряного чутья. Он чуял в воздухе, в атмосфере неопределенную, бесплотную и безымянную угрозу. Временами ему мерещилось, что эта угроза притаилась на улице и норовит проникнуть в дом, иногда чудилось - она уже за дверью, ухе вошла, ищет его, вот-вот войдет и схватит за горло. Он садился в постели, стараясь уловить хоть звук, хоть шорох, но везде было тихо, и тишина казалась ему Подозрительнее любого подозрительного шума..

Нет, не зря говорят, что крысы раньше всех на корабле чуют приближение шторма и в первом же порту бегут на берег. Крысы бегут тонущего корабля. В свое время в городе только и разговоров было, что господин Амбарцум Ерамян уехал на Кавказ, чтобы уплыть из Батума в Египет. "Слепец знает, что к чему, Вану несдобровать", - шептались люди. В пользу Амбарцума Ерамяна говорили, дескать, первым в лесу бурю чует Лев... А Седраку-аге деваться некуда. Надо же, под одной с тобой крышей живет такой влиятельный человек, казалась бы, не валяй Дурака и ничего не бойся. Одного его присутствия в доме довольно, чтобы тебе, Седрак-ага, было так же покойно и безопасно как орленку под крылом орла. Так Седрак-ага думал всегда, до нынешнего дня. Теперь же все изменилось, теперь все наоборот: этот знаменитый человек не ровен час накликает беду и на хозяина дома, и на дом...

Жена по привычке спит на садре, а может, и не спит - ждет не дождется, когда раздастся мужнин Храп, чтобы пойти, как она говорит, "глянуть" на того. Пускай сходит и глянет и еще кой-чего вдобавок, лишь бы... лишь бы был мир и покой, лишь бы дом Седрака-аги и он сам подольше укрывались под сенью этого человека. Так он думал прежде. Но сегодня ему мнится, что спасительная тень черна и зловеща.

В дверь стучат или ему кажется? Жена поднялась, спросила:

- Слышал, Седрак?

Ему не хотелось прикидываться спящим, напротив, ему хотелось всячески, подчеркнуть, что он не спит и спать не намерен,

- Стучат, - уверенно сказал он. - Посмотри, кто там... а потом я тебе что-то скажу.

"И он туда же, - мелькнуло у госпожи Заруи" - Что-то скажу..."

Она вышла.

Он услышал, как входная дверь открылась, и кто-то поспешно взбежал по лестнице наверх. Вернулась жена и прижала к губам палец, хотя в темноте Седрак-ага вряд ли это заметил.

Кого принесло? - спросил Седрак-ага притворным безразличием.

- Тсс, - осадила его жена.

Сердце Седрака-аги екнуло сердце - не напрасны, стадо быть, его сегодняшняя тревоги, его тяжкие предчувствия, его бессонница.

Послкщадчсь шаги; кто-то спускался по лестнице. Жена снова вышла, заперла дверь и вернулась в комнату.

- Ну, кого принесло? - повторил строгий и бдительный муж свой вопрос.

- Курьер. Видно, по делу.

Седрак-ага не имел понятия об Отелло, и неистовый и ревнивый мавр не проснулся в его душе в этот поздний час. Нет, он просто хотел показать, что ему нет дела до курьера и вообще он неплохо себя чувствует. Жизнь течет по старому руслу, он хозяин этого дома и у этой женщины, он даже вправе потребовать отчета, он вправе и порассуждать. И между супругами произошел тот самый диалог, который мы уже слышали:

- Что-то еще есть и еще кое-что в придачу... все?

По крайней мере буду знать... Как же не знать?

На, этом, однако, беседа не завершилась. Госпожу Заруи так и подмывало подняться на седьмое небо.

- У тебя все?

- Нет, не все, - угрожает Седрак-ага.

- Ну, говори, схожу гляну, что наверху. Не тяни, слушаю.

- По-моему, кавурмы, в этом году надо приготовить побольше, - говорит он, медленно выговаривая слова, и ждет ответа. "Да он спятил", - думает госпожа Заруи.

- Спи! А я схожу на голгофу, гляну, что там.

- Распятие, что же еще - уверенно говорит Седрак-ага. - Распятие!.. Ступай, только не задерживайся. Я тебе что-то скажу. Госпожа Заруи поднялась на седьмое небо.

Так оно и случилось.

И теперь Седрак-ага опять один. Он окрестил комнату постояльца седьмым небом, а голгофрй называет ее госпожа Заруи. Нередко, заметив, что жена

слишком рассеянна, места себе не находит, кстати и некстати раздражается, он с ласковой деликатностью внимательного мужа, а скорее, любящего отца подсказывал ей: "Поднимись на седьмое небо, успокойся, узнай, что нового. Молодая женщина глядела на мужа большими карими глазами и по привычке ныла: "Думаешь, мне очень приятно? Поднимайся, спускайся..."

И все-таки она поднималась, злая и раздраженная, тяжело ступая, поднималась наверх, а через полчаса легко сбегала вниз, подобревшая, приветливая, мягкая и сладкая, как рахат-лукум....

"Интересно, что случилось, зачем среди ночи пришел курьер и почему ушел? Ну, кто пришел, тот и уйдет, это, ясно, но приходил-то он зачем? Куда ни погляди, везде война, бойня. Пошел слух, в Анатолии резня, армян выселяют, Анатолия, - задумался он, - где она, Анатолия? А что с, революцией, почему больше не поют: "Братья, на врага, в Турцию идем, турка разобьем, родину спасем". Видно, получилось наоборот - "разобьем армян, Турцию спасем".

- Господи, Господи! - воскликнул Седрак-ага вслух и силком заставил себя думать о другом. Стена погреба по соседству с ледником набухла, от влаги, надо бы ее подновить. Работу по дому каждый должен делать сам, никто ее за тебя не сделает, не Араму же паше заниматься твоим хозяйством. Господь наказал Седрака-агу за грехи его - знать бы, за какие? - не дал детей, благословенна воля Господня, жена на, тринадцать лет моложе его, все равно что дочка. Интересно, когда он умрет, выйдет Заруи замуж? Отчего ж? нет? В доме все честь по чести, найдет какого-нибудь Акоба Кандояна, Правда, Седрак-ага и не думает умирать. Покуда стоит Ван, Седрак-ага будет жить. И почему ему, собственно, не жить? Главное, стена погреба по соседству с ледником набухла, пора ее чинить.

Он сел в постели, петом поспешно поднялся и босиком решительно прошлепал к дверям, распахнул их и крикнул в темноту:

- Заруи, эй, Заруи! - После чего бегом кинулся, обратно и влез под одеяло. Тут-то, опьяненная красноречием Арама, госпожа Заруи и поняла, что не витает в эфире, а стоит на земле и зовет ее не кто-нибудь, а муж; она вышла, услыхав

за спиной слова великого деятеля: "anas amaun", которые, как на них ни взгляни, не имели ничего общего ни с тем, что "в Ване таз", Н с тем, что "в Ване Татул"

- Чего тебе? - недоуменно бросила госпожа Заруи в сторону мужниной постели, - Что за крик?

- Садись, что скажу, - послышался из темноты голос Седрака-аги, ничем не похожий на тот голос, который расслышал и коему воззвал с мольбой прославленный в ту пору не только на Кавказе, но и в Ване поэт с большими глазами бородкой и горбатым носом:

Голос твой звучит нам из темноты.
Смилуйся, святая истина, явись...

- Стена погреба, которая по соседству с ледником, набухла влаги, надо что-то делать, - сказал Седрак-ата, раздельно, со значением выговаривая каждое слово, и умолк; это значило, ожидая твоего ответа, остаюсь твой законный супруг такой-то такой-то, или попросту Седрак-ага...

Ответ изрядно задержался, Законная ханум Седрака-аги поняла, что не только спустилась с небес на Землю, но и шмякнулась о ту стену погреба, которая набухла от влаги из-за Соседства с ледником.

- Ты спятил? Или, может, бредишь? - всерьез рассердилась она.

- Это почему же? - невозмутимо прозвучал голое Седрака-аги. - Ежели заговорил о хозяйстве, стило быть, спятил?

- В доме пожар, дом, того гляди, рухнет, а ты ищещь дверной молоточек?

- Что стряслось? Гамид - турок?

- Джевдед вызвал Арама и Врамяна.

- Раз вызвал, надо идти" он ведь не кто-нибудь, а вали. Вот я тебя позвал, ты и пришла. Что тут такого?

- Врамян написал Араму, никуда, мол, не отлучайся, сам, говорит, пойду и все разузнаю.

- Вот и пускай не отлучается, Врамян не станет болтать попусту.

- Революционная совесть Арама не дает ему покоя.

- Так и должно быть, все как полагается.

- Он тоже хочет пойти.

- Тогда это не революция, а баловство. Не пускай!

- Знаешь, как он мучается, - прослезилась госпожа Заруи. Наступила тишина, и посреди темноты и тишины прозвучало авторитетное резюме Седрака-аги:

- Э-э, что за жизнь у революционера!..

- Боюсь, как бы он умом не тронулся, - прошептала сквозь слеш опекунша Великою деятеля. - Вздыхает и приговаривает: "В Ване таз, в Ване Татул"...

Седрак-ага глубоко и основательно задумался.

- Одно из двух, - сказал он, - или ты не расслышала, "или плохи его дела. Что за бред - в Ване таз, в Ване Татул... Спроси кого хочешь, нет в Ване Татуяа" о котором стоит говорить. Может, в Трабзоне есть такой деятель или в Самсуне, но не у нас. - Он умолк, потом вспомнил: - Кстати, епроси-ка у него, где Анатолия?

- Зачем тебе Анатолия? - не на шутку испугалась госпожа Заруи: что это вдруг ее муженька осенило?

- Собираюсь попутешествовать, - Небрежно бросил Седрак-ага. - Там, говорят арбузы преогромные - усядешься "а арбуз верхом, а ноги до земли не достают... - Он помолчал и, довольный своей выдержкой, спел:

- Поднимайся, глаз не прячь,

- Приказал султан-палач...

"Везет же мне, - промелькнуло в голове госпожи Заруи, - оба свихнулись".

- Ума не приложу, что делать, - спокойно сказала она. - Я бы легла, поспала, да боюсь - вдруг он уйдет. Никак не угомонится все говорит, говорит...

- Может, у него жар? Хотя кто их, революционеров, поймет, когда им жарко, а когда холодно... Подымись, что-нибудь придумай, - наказал жене Седрак-ага.

- Только бы он из дому не ушел...

- Уговори, пускай разденется и ляжет. А как ляжет, возьми одежду и башмаки, сунь себе под подушку и спи. Другого способа нет.

- А если не разденется?

- Не разденется по доброй воле, силком раз... заставь раздеваться, - поправился Седрак-ага, чувствуя, что хватил через край.

- Говоришь так, будто он малое дите, - пожаловалась госпожа Заруи.

- Дите и есть, - сказал Седрак-ага и остался доволен своей мыслью. - Все революционеры как малые дети...

- Господи, - с досадой отмахнулась госпожа Заруи, - ну что ты мелешь? И вышла.

Теперь его больше не мучают непонятные страхи", нет, теперь ясно, откуда ждать беды, Джевдед вызвал к себе Врамяна и Арама, в Анатолии режут армии. Раньше был один султан Гамид, и все армяне от мала до велика проклинали его. Гамида скинули кого проклинать сейчас - столько даразвелоеь, - гамидов. Не знаешь, как быть, может, сходить в Варагский монастырь да свечку поставить?

Интересно, успокоился наш национальный герой? - подумал Свдрак-ага, не зря Ван прозвал Заруи Арамовым ангелом-хранилем. Каково сейчас ангелу-хранителю? Про кровопийцу палача Гамвда говаривали, будто у него не то шестьсот, не то семьсот жен. У нас тут одна жена - ни дать ни взять Божья кара, как же этот зверь с семью сотнями управлялся?!" - неизвестно на кого досадует Седрак-ага: на себя ли, не способного управиться с семьюстами женами, на жену ли, припозднившуюся, наверху... Он даже подумал было, не встать ли ему, не подняться, ли тихонько по лестнице, не приложить ли ухо к дверям: чем они там заняты?

- Этого только не хватало! - разозлился на себя Седрак-ага. - Коли ты мужчина, держись с достоинством, - вслух подумал он и гордо пригладил усы.

И еще одна мышь гусеницей шевельнулась в дальней извилине его мозга: "Играешь с Бошяном Аветисом-агой в тавли - гляди в оба, мухлюет... Так я и не узнал, где Анатолия?.. Анатолийских армян ре... режут... резня... свечку поставить..."

И Седрак-ага заснул.

... В Варагском монастыре праздник. Ив города и деревень в фаэтонах, повозках, верхом на лошадях и ослах, а кто и пешим ходом стекается и стекается народ, стекается и заполняет монастырскую рощу и сады, большое подворье, комнаты и кельи паломников. Стекается народ, поет и приплясывает на ходу, стекается, прихватив на два-три дня съестного, и самовары для чаепитий, и постели, стекается отовсюду народ.

Бум-бум-бум! - того гляди разорвется от восторга сердце, так громко бьет огромный барабан, и так высоко и пронзительно поет рядом с ним, взвизгивая, зурна, и болят, болят и глохнут от этого уши. Паломники сидят и лежат, кто на траве, а кто на коврике, или паласе, или циновке; у входа в монастырь режут баранов и ягнят, кур и петухов, и поднимается дым от сложенных на скорую руку очагов, и стелется сизый этот дым над зеленью ярко-зеленой рощи, над монастырскими полями и пастбищами.

Праздник святого Знамения Варагского.

Над большаком все ближе и ближе клубится пыль, и летят, летят верхом на скакунах три всадника: господин Ишхан, господин Арам и господин Врамян, все трое революционеры.

И полный шума и гомона монастырь и все окрест обмирает в каменном безмолвии, в безмолвии горы Вараг. Умолкают люди, умолкают песни и музыка, умолкают приведенные на заклание к стенам монастыря ягнята и бараны, умолкает скрипучий, влажный, пахнущий мукой гул семи мельниц.

А три всадника все ближе и ближе, и теперь великое это безмолвие нарушает только лишь топот двенадцати копыт трех близящихся скакунов.

Каменными изваяниями каменного Города окаменели люди: кто плясал - замер, одноногa на земле, другая в воздухе, кто окликал кого-то или разговаривал - остался с открытом ртом, кто раздувал огонь самовара - склонился над самоваром с надутыми щеками, разливавшая чай девушка так и стоит: в одной руке чайник, в другой - стакан, одна палочка барабанщика застыла в воздухе, другая - на барабане, кто пил водку, держит у губ пустую стопку, уставясь на монастырский купол, кто играл в нарды, сжимает в кулаке

игральные кости, кто лежал, окаменел лежа, кто сидел - сидя, кто шагал - на ходу, кто молился - за молитвой, окаменели жених и невеста, старик и юноша и малышка Сирвард с букетиком первоцвета, окаменел и ручей меж берегов, и неподвижно стоит над густолистой рощей, над монастырскими, долями и пастбищами дым жертвенного костра. Один только Седрак-ага не окаменел, сидит на валуне у входа в монастырь и в ужасе взирает на жуткую эту картину, и сердце его отчего-то не разрывается на части.

Всадники подъехали и остановили коней. Жеребец Ишхана дважды поднялся на дыбы и заржал. И вот голосом грохочущих туч заговорил Арам:

- Почему испугались? Да, мы не здешние, и что же? Вся Анатолия в огне и пожарищах, и Айгестан в Ване тоже потихоньку занимается, горят в Айгестане молодые сады. Джевдед-паша вызвал к себе Врамяна и Арама пить водку, а Ишхана - петь... Это последний праздник Варага, пляшите и веселитесь, Варагу пришел конец.

Так говорил Арам, а Ишхан и Врамян понуро слушали верхом на конях. Арам спрыгнул наземь, простер руки вправо и влево, воздел их вверх, опустил и крикнул

- Барабан и зурну! Я буду танцевать!

Едва сказал, как Седрак-ага увидел со своего валуна - что же он увидел? - а вот что; бум-бум-бум! грянул барабан, одна палочка барабанщика роднилась вверх, другая опустилась вниз, надутые щеки зурнача опали и сызнова надулись, и пронзительно, взвизгивая, запела зурна, люди задвигались, плясун заплясал, девушка стала различать чай. Бражник поставил пустой стакан подле себя, жертвенные ягнята и бараны заблеяли" и исполинские жернова семи монастырских мельниц закрутились с влажным, скрипучим, пахнущим мукой гулом.

И народ, захлопал в ладоши, и Арам пустился в пляс и Седрак-ага видит: Врамян и Ишхан камнем замерли на конях и вместе с конями. Не шелохнутся, не вздохнут. Каменные статуи, да и только. И пляшет Арам, и вот-вот начнет плясать вокруг окаменелых всадников, а всадники все так же понуры, не

шелохнутся, не заговорят. И заходила ходуном земля, и выбилась из ее недр огромная, гладкотесаная, квадратная глыба, и подняла Ишхана и Врамяна кверху. Неподвижные, окаменелые всадники стоят сейчас наверху, и это так поразительно и прекрасно, что Аршак Дзетотян спешно устанавливает свой аппарат, торопится запечатлеть небывалую картину. Арам юлой вертится вокруг статуй, гремит барабан, плачет зурна. И вдруг...

И вдруг из монастырских врат выходит и, едва не коснувшись Седрака-ага, шагает дальше похожий на мертвеца и смердящий мертвечиной человек непонятного возраста, высокий, косматый и полунагой; да, полунагой, но Седрак-ага явственно видит, что жалкое его рубище было некогда драгоценным шелком. На голове человека сбилась набекрень то ли железная, то ли золотая, то ли жестяная, то ли серебряная, какая-то рогатая, вся в земле, короноподобная ермолка или, может статься, ермолкоподобная корона. На голых ногах зеленые сандалии с красно-зелеными пряжками; человек не сделал и двух шагов, как сандалии рассыпались в прах, и он остался босиком.

- Горе мне, горе мне, горе мне! - приговаривал безумец и бил себя по голове, а со всех сторон неслось;

- Царь Сенекерим!.. Царь воскрес!..

- Горе мне! - повторил страшный и злосчастный Сенекерим. - Вы покинете меня и уйдете в чужие края, вы оставите мою могилу нехристям, а как мне над ними царствовать?

Арам заметил наконец царя, подбежал к нему, обнял и сказал:

- Братец Сенекерим, не тревожься, я продолжу твое дело. Царь рассмеялся, и смех его был смехом безумца; похлопал Арама по плечу:

- Нет, сынок, нет, с моим делом покончено, коли можешь, начни свое. У Седрака-аги погреб отсырел, почини, если сумеешь.

- А-а! - завопил в ужасе Седрак-ага. - Все, что творится в моем доме, дошло до царя Сенекерима. Горе мне!

... С востока весеннее солнце льет в; окна... короче говоря, когда Седрак-ага очнулся от своего нелепого сна и обвел мутными глазами комнату, было уже

утро. Жена как легла на садр, так, видно, и уснула в нарядном платье. Когда это она его надела?

- Жена! - позвал Седрак-ага. - Заруи! Она повернулась на бок, неудобней устроившись в объятиях Морфея.

- Жена, - не сдавался Седрак-ага, - эй!

- Дай же поспать, - буркнула госпожа Заруи, не отрывая головы от подушки. -

- Вставай, жена, я дурной сон видел... Ушел?

- Прямо извелась вся, пока уговорила, уломала. Сходи к наборщику Амаяку, выясни... Про Врамяна Ишхана... Узнай, что происходит:

- К наборщику Амаяку? Пускай он сам придет ко мне и выяснит:

- Опять ты за свое? Дай поспать.

- Спи себе, кто тебе не дает... ваши, делишки уже до царя Сенекерима дошли.

- Ты сон, что ли, видел?

- Не сон, а черт-те что.

- То есть?

- Снилось мне... у Варагского монастыря народу тьма-тьмущая...

И, глядя в потолок, Седрак-ага добросовестно, со всеми подробностями и без всяких прикрас изложил свой сон. И покосился на жену, проверяя, какое впечатление произвел на нее рассказ, а покосившись, понял, что она опять пребывает во власти непобедимого Морфея и что свой ужасный, нелепый и несуразный сон он рассказывал единственному слушателю - самому себе. Седрака-агу захлестнула волна злости; не столь громко, сколь внушительно он наградил жену довольно-таки неприличным и некрасивым да к тому же и неармянским эпитетом... неприличным вообще, но, может быть, вполне приличествующим данному случаю.

3

Выйдя из дома, Седрак-ага направился в кофейню "Ширак". Свежий воздух молодой весны так и распирал его удивительной гордостью. Но стоило ему припомнить несуразный свой сон, и на смену гордости пришла горечь. Какая бессмыслица какая нелепость. Но сон сном, а явь явью, и она в том, что им

надо любой ценой удержать Арама, не выпустить его на улицу. Когда Седрак-ага выходил из дома, великий революционер и его ангел-хранитель сладко спали. Он хлопнул дверью и двинулся вперед. По дороге ему повенчался Акоб-ага Кандоян. Еще издали приметив его, Седрак-ага решил ничего не говорить этому ходячему телеграфу. Да-да, ничего, ни словечка. Но ведь Акоб-ага проныра каких поискать, - ты и глазом не моргнул, а-он уж" вытянул из тебя это самое словечко. "А ты что, малец неразумный? Держи язык за зубами", - попрекнул себя Седрак-ага и, набравшись духу, пошел навстречу Акобу-аге.

Поравнявшись е Акобом-агой Кандояном, он нехотя бросил ему свое "доброе утро" и двинулся было мимо, но тот преградил ему путь.

- Какое же оно доброе? - спросил он возмущенно и чуть ли не разгневанно.

- Что стряслось? Мола - турок?

- Молла что! А если священник? - Так ведь... В чем дело?

- А ты ничего не знаешь? Откуда тебе, недотёпе, знать? - всадив Седраку-аге в мягкое место толстую эту иглу, Акоб-ага пошел от него прочь.

Седрак-ага оцепенел. Так его оскорбить?! Он сник и метнулся за ходячим телеграфом.

- Постой, потолкуем!

- Ночью к вам приходили? - спросил, не сбавляя шага, исчадие ада Акоб-ага. - Приходил один...

- От Джевдеда?

- Какого еще Джевдеда? Курьер:

- Вот оно что - сделав удивленное лицо, остановился Акоб-ага. - Курье-е-ер? А в городе чего только не болтают. Дай, думаю, схожу к наборщику Амаяку... Да какое мне до него дело? Бросить серьезного человека и бегать за мальчишкой? Э, нет! Вот и пошел к тебе. Хорошо, что встретились.

Сердце Седрака-аги растаяло как масло, и он поведал Акобу-аге то, что знал, но, разумеется, без ссылок на жену: он-де сам все видел, сам все слышал. Он поведал про письмо Врамяна и о чем оно, а еще про то, как расстроился Арам,

как решил посреди ночи пойти к Джевдеду и душу из него вытрясти и как он, Седрак-ага, самолично прикрикнул на этого большого дитяпи и приказал ему, вот именно, без всяких там околичностей приказал раздеться и лечь, после чего запер дверь снаружи, временно отняв у великого революционера право на свободное передвижение.

- Так он сейчас под замком? - озабоченно спросил Акоб-ага.

- Под замком, - подтвердил Седрак-ага.

- Ошиблись вы... очень ошиблись. Не так все сделали, - устремив глаза далеко-далеко, проник в самую суть Акоб-ага.

- Это почему? - ошеломленно спросил Седрак-ага.

- А потому, - понизил голос Акоб-ага. - Вдруг человеку приспичит...

- Э, Акоб-ага! - от души рассмеялся Седрак-ага. - Шутник ты, ей-Богу. Если ему и вправду понадобится...

- Что значит - если? - прервал его Акоб-ага. - Человеку, сам говоришь, тяжело, как же не облегчиться...

- Да разве я против? Ну, постучится он в дверь, Заруи-то ведь дома. Увидит, что причина уважительная, и выпустит его...

- Стало бьпъ, ключ у госпожи Заруи?

- Ну да, - довольный своей находчивостью, Кивнул Седрак-ага.

Между тем мысли Акоба-аги потекли по другому руслу. "Осел ты, Пузатик, - подумал он. - Жена твоя с Арамом-пашой заперлась и в революцию играет, а ты, как дурной Левон бродишь по улицам, чалму продаешь".

- Это хорошо, но... - Акоб-ага снова нащупал ускользающую было нить разговора. - Выйдет он под этим предлогом и сбежит оттуда Джевдеду...

- Не сбежит, - посерьезнел Седрак-ага.

- Почему не сбежит? Еще как сбежит.

- Раз говорю, стало быть, знаю, - стоял на своем Седрак-ага.

- Ну так скажи. Седрак-ага потянулся губами к уху Акоба-аги, но отнюдь не перешел на шепот:

- Его башмаки в надежном месте, не побежит же он к Джевдеду в шлепанцах?

- Это другое дело, - отступил Акоб-ага, но все же не признал себя побежденным. - Я бы на вашем месте отпустил его. Пускай делает, что хочет... хочет - идет, не хочет - не идет

- Нельзя, Акоб-ага, олмаз (*). Врамян написал: сиди дома и ни с места.

- Вот И хорошо, пускай сидит и ни с места, - не стал артачиться Акоб-ага, а про себя добавил: "Чтоб ему с этого места не встать.

- Не сходить ли нам в кофейню? - предложил Седрак-ага, каясь в глубине души, что не устоял перед ходячим телеграфом и все ему выложил.

- Нет, спасибо, мне в казино, - сказал Акоб-ага и зашагал прочь

- Акоб-ага, - догнал его Седрак-ага, - о нашем с тобой разговоре - никому.

Вид у него был такой, будто он вмиг лишился своего добра и подчистую разорен.

- Займись делом, - сердито бросил Акоб-ага, не останавливаясь и даже не оборачиваясь. - Я что, по-твоему, сплетник?

И, кинув клику на плечо, он направился... куда, в казино? Отнюдь. "Время к обеду, зайду-ка я к Манасерянам", - наметил он план.

Седрак-ага грустно смотрел ему вслед. В кофейню уже не тянуло. "Время ли сейчас сидеть по кофейням. Лучше пойти домой у. растолковать этой девчонке, - он имел в виду госпожу Заруи, - не суй нос в революцию. Хочет - пускай идет, не хочет - пускай не идет, нам-то что за дело? Кандо прав", - подумал он и повернул обратно.

Он еще издали заметил у своего дома мальчишку, одного из курьеров и разведчиков; тот стучался к ним. Дверь отворилась, и курьер скрылся внутри. Седрак-ага приблизился и весь обратился в слух. Из-за дверей - ни звука. "Что я потерял дома? - подумал он. - Пускай делают что хотят, Схожу-ка я лучше в араруцкую кофейню. Что это за жизнь, в собственном доме как чужой. Э-э, плюнешь вверх - Бог, плюнешь вниз - борода..." Лам по сию пору неизвестно, достиг Седрак-ага араруцкой кофейни или же, передумав, свернул с полпути в другую сторону. Но говорят, кое-кто его в этой кофейне в тот день видел. Говорят, сел он на отшибе, заказал чашку кофе, и если и подходил к нему с

вопросом, даже самым невинным, тот или иной знакомый, он отвечал одним только словом, и слово это;

- Не знаю.

(*) Не удастся (тур.).

СКАЗАНИЕ ДЕВЯТНАДЦАТОЕ.

О событиях тяжких и не очень
и о темных ночных делах Ованеса-аги

1

По вечерам ветром тянуло с моря, а когда восходила утренняя звезда - с гор... Мы с превеликой охотой, поистине любовно и умиленно, так и начали бы это сказание и по-прежнему умиротворенно, поистине без устали стояли бы подле Ованеса-аги Мурадханяна на старой веранде его родового дома и смотрели на едва распустившиеся в садах бутоны и молодую листву, на белый пламень цветущих абрикосовых деревьев, но увы.

Ночью шел дождь, и водосточные трубы то ли плакали, то ли пели во тьме. Холодным ветром ворвалась в каждый дом и каждое сердце весть об аресте гнчакских шефов, и люди оцепенели от страха, Джевдед вызвал к себе Врамяна, Врамян ушел и больше не вернулся. Ишхан с несколькими парнями отправился по приказу Джевдеда в Хирч положить конец армяно-курдским стычкам.

Удивительно, Ишхан там и сям всячески провоцировал эти стычки, а теперь отправился уничтожать им же посеянные всходы. Хороша логика.

Ходили слухи о съезде гачакской партии в Кеостенче, в котором участвовали и ванские гнчаки.

Съезд принял решение ликвидировать ряд турецких руководителей: Энвера, Талаата, прочую швалъ. Однако способен ли ванец взяться за дело и тщательно довести его до конца? Копию протокола съезда перехватили в Полисе список участников - в Ване. Жуть!

И как Седрака-агу изводила мысль о том, где находится Анатолия, точно так же Ованеса-агу донимала сейчас географическая точка, именуемая Кеостенче, - где она и что она? Кеостенче... ничего себе названьице!

"Допустим, узнаю я, где оно, это местечко. Ну, допустим, у Черного моря... Толку-то что от этого. Факт есть факт: гнчакские шефы, все как один молодые, крепкие ребята, за решеткой". Перед глазами Ованеса-аги встали кряжистый, как пень, рослый и немного грузный Карапет Дантоян, рыжебородый, с ясными и умными синими глазами Арташес Солакян, мрачноватый широколобый и тонкогубый Абраам Брутян, худой, сутулый Айказ Еремишян, в глаза не видавший этого самого Кеостенче, но тоже арестованный, потому как... стоит ли повторяться?

Сегодня Ованес-ага не пошел в город. Так решил тройственный совет. И Фанос-ага, и Симон-ага стояли на том же: гори они синим пламенем, прибыль и барыш, нажитые в эти дни! Положение тяжелое, очень тяжелое. Арам сидит дома и носу никуда не кажет. Толкуют, это Врамян приказал ему не отлучаться из дому: жди, мол, пока я не вернусь. С каких пор Арам стал подчиняться приказам Врамяна? Просто ему это на руку...

Послышался голос Сатеник:

- Лия, набери воды из колодца.

И Ованес-ага задумался о другом. "Лия еще ребенок, совсем еще девочка, рано ей замуж". Ованес-ага человек свободомыелящий. Когда прошлой осенью родственницы Миграна Мадаееряна. Честь по чеети пришли на смотрины, Лию стали готовить к этой церемонии накануне, Попытались растолковать: есть, мол, некто Мигран, и он хочет, чтобы ты... Лия удивилась: иго этот Мигран и чего он от нее хочет? Ей объяснили, что она станет его женой и будет жить в Миграновом доме, с Миграном. Лия расплакалась и объявила: "Никуда я из нашего дома не уйду и ни с кем без вас жить не стану!" Когда же пришли родственницы Ми-грана, три его посланницы, в их числе и мать Миграна, на нее так и не смогли надеть новое платье. "Старые боги? Нет. Застолье? Нет. С чего это мне наряжаться?" Но и это еще не все. Она сбежала из дому к соседям,

спряталась в семье своей подружки Арпеник. Когда мать "невесты" без утайки рассказала гостям о ее проделках и добавила дескать, девочка слишком юна, ничего не смыслит и не доросла до замужества, мать Миграна сильно огорчилась, решив в глубине души, что все это неспроста, все это - вид отказа... Миграна она любила без памяти, и худая его слава ранила ее материнское сердце.

Однако самое удивительное случилось вечером, после ухода гостей. Когда беглянка вернулась домой Ованес-ага подозвал ее к себе.

- Ничего лучше не придумала? - накинулся он на дочку, втайне любуясь ее невинными, испуганными глазами. - Осрамила родителей перед людьми!

Лия обняла отца и... что бы вы сказали на ее месте?

- Не сердись, я больше не буду...

- Сумасшедшая! - воскликнул Ованес-ага, едва сдерживая смех. - Таких связывают.

- Этого Миграна, или как его там, я не люблю, - оправдывалась Лия, повиснув на шее отца,

- Ах, подумайте! А кто, барышня, ваш избранник, позвольте полюбопытствовать?

- Я Ишхана люблю, - призналась Лия. Ованеоу-аге показалось, что ой ослышался.

- Кого-кого? Ну-ка повтори...

- Ишхана нельзя любить? - испугалась девочка.

- Глупышка, - объяснил отец, - у Ишхана жена, сын.

- У кого жена, сын, того нельзя любить? - удивилась девочка. "Дитя, ей-Богу, дитя", - подумал Ованес-ага, взял дочку за ухо и затеял игру, в какую играют с детьми.

ОВАНЕС-АГА (дергая Лию за ухо). Осла напоила?

ЛИЯ. Напоила.

ОВАНЕС-АГА. Теплой Водой или холодной?

ЛИЯ. Холодной.

ОВАНЕС-АГА. Подогрей.

ЛИЯ (кривясь от боли). Подогрела.

ОВАНЕС-АГА (не переставая дергать за ухо). Горячая, остуди.

ЛИЯ. Остудила.

ОВАНЕС-АГА. Сильно остудила, подогрей...

И так все время, пока Лия не вырвалась.

- Ты что? - по-детски строго выговаривала она отцу. - Я не маленькая в такие игры играть. Я Ишхану скажу...

Вот тебе и невеста.

Да вообще, здраво рассуждая, нынче не до свадеб. Ван стонет, как тяжелый больной, как тяжело, нет, как смертельно раненный" что ли час, что ни день, ему все хуже, в доме покойника не до веселья.

Бах! - ухнул в глубине сада выстрел. Ясное дело, Сурен. И где он только раздобыл кольт? Их с кузнецом Арабо водой не разольешь, Арабо, должно быть, и дал. Ованес-ага вздумал рассердиться и на Арабо и на Сурена, но не смог. "Знамение времени, - размышлял он, - Время требует, чтобы и стар и млад взялись да оружие. Настал роковой день. История их немало видела, таких дней".

Тук... Молчание. Тук-тук. Опять молчание. Тук-тук-тук.

Стучат в парадного дверь. Так стучатся либо нищие, либо дети, которые с трудом дотягиваются до дверного молоточка. Так может стучаться еще и пьяный. "Уж не Геворг ли? - подумал Ованес-ага. - Геворг, никчемный пустоцвет нашего поля. Нет, не он, Геворг чем пьянее, тем громче колотит".

- Сатеник, стучат! - крикнул он вниз и сам удивился: в голосе звучала тревога. Он слышал, как; "отворилась дверь и гость, тяжело и грузно ступая, стал подниматься по лестнице. Неприятное, тягостное предчувствие подтолкнуло его в комнату, к открытому окну: не терпелось увидеть, кто к нему пожаловал. "Уж не Агьяг ли?" - промелькнуло в голове.

В ту же минуту Ованес-ага облегченна вздохнул: на веранде появился Фанос-ага. Однако его вид и походка не понравились Ованесу-аге. "Пьян он, что ли?" - подумалось ему.

- Входи, я тут! - с деланной радостью крикнул Ованес-ага в открытое окно.

Фанос-ага вошел - в лице ни кровинки, взгляд потухший. Не поздоровавшись, он с порога бросился на диван, дрожащими руками достал из кармана платок и вытер лоб.

- Что стряслось, Божий человек? - хрипло спросил Ованес-ага.

- Ничего не слышал?

- Нет, а что?

- Счастливец, - сказал Фанос-ага. - Вели воды привести.

Счастливец.

- Лия, - крикнул Ованес-ага в окно, - принеси воды, да похолодней.

Через минуту показалась Лия с кувшинчиком холодной воды в руке, протянула кувшинчик отцу, Ованес-ага взял егб И передал Фаносу-аге. Буль-буль - через узкое горло кувшинчика заструилась вода в гЪрло Фаноса-аги.

- Счастливец, - в третий раз сказал горевестник, возвращав почти опорожненный кувшин блаженному в своем неведении Ованесу-аге, и платком вытер рот. Полагая, что у гостя личньк невзгоды, Ованес-ага надел на себя хламиду утешителя:

- Не убивайся так, Фанос-ага, сам знаешь, несчастье - для человека, а человек - для несчастья. На то мьг и люди, чтобы переносить беды, хладнокровно переносить. Ну, успокойся, возьми себя в руки. Расскажи, в чем дело, может, придумаем что.

- Несколько армян возвращались в город из Айгестана, турки схватили их и зарезали. Знаешь, кто был среди них? Наш Симон-ага...

- Да ты что?! - ахнул Ованес-ага и так ударил Фаиоса-агу по бедру, что у того физическая боль пересилила на миг боль утраты" - Наш Симон-ага?!

- Наш Симон-ага, - сокрушенно подтвердил Фанос-ага, поглаживая ушиб. - Это еще не все. Эта скотина, этот выродок Джевдет живьем бросил в море Врамяна, утопил его. И это не все:

- Не все?!

- А ты думал! В Хирче Ишхана и его телохранителей расстреляли поодиночке. За прикрытой дверью зашуршало - кто-то пошевелился или всхлипнул. Потрясенный внезапным горем, Ованес-ага ничего не услыхал. Открой он дверь, увидел бы Лию: стоя с кувшинчиком в руке на коленях, девочка глухо рыдала. Она подслушивала и вести, которые принес Фанос-ага - одна страшнее другой, - подкосили ее. Не иначе гибель Симона-аги сбила ее с ног, а мо жет, смерть Врамяна?.. Как знать.

- Неправда, быть такого не может! А если правда, что же это, конец света? Может, и нам кинуться в море, и всё, отмучились? - взволнованно выкрикивая Ованес-ага. Но к кому он взывал: к Господу Богу? к миру? Фаносу-аге? к себе самому? Фанос-ага искренне испугался, что Ованес-ага и впрямь побежит топиться, оставит его одного, одного - одинешенька, - с кем же ему тогда сидеть в казино, пить водку, отдыхать в розарии за чашкой чая с розовыми лепестками и рассуждать о добре и зле, о нынешнем и минувшем, да мало ли о чем... ну с кем?! И он почти слово в слово повторил давешнюю тираду Ованеса-аги:

- Не убивайся так, Ованес-ага, сам знаешь, несчастье - для человека, а человек - для несчастья. На то мы и люди:

- Не представляю! Симон-ага!.. Мы же тогда решили...

- Как ты ушел, он вспомнил: бумаги, мол, страховые остались в магазине. Симон, говорю, дружок, какое в этой стране страхование, с ума сошел! Брось ты все это, говорюйе ходи. Не послушал, не послушал совет - держи ответ.

- Ни за что пропал человек...

- Ни за что ни про что...

Тишина.

- Гнчаки в тюрьме - раз, - и Ованес-ага загнул палец на правой руке. - Ишхан с телохранителями убит - два. Врамян утоплен - три. Симон-ага и еще несколько человек зарезаны - четыре. - Он поднял правую руку с четырьмя загнутыми пальцами и оттопыренным большим, помахал ею в воздухе и воскликнул: - Конец света!

- Свету не конец, а вот Вану - конец, - возразил Фанос ага.

- Конец Вана и есть конец света, Фанос-ага, какие еще счеты-расчеты, - мгновенно парировал Ованес-ага. - и опять тишина.

- Свет велик, - нарушил ее прерывистый голос Фаноса ага, - что с ним творится, не моего ума дело, но что Вану быть втором Ани - это точно. Выпить у тебя найдется? - неожидан" но спросил Фанос-ага.

- А то нет, - оживился Ованес-ага, будто вспомнил былые времена, и, подойдя к открытому окну, почти таким же, как в былые времена, голосом приказал:

- Сатеник! Водки, кавурмы, рыбы! - И, помолчав, - выпалил напоследок: - Похинд!

Сатеник накрыла на стол. Ованес-ага спросил, что делает Лиж и она .ответила: "Хандрит". Сама Сатеник ни о чем мужчин не спросила, мужчины ничего ей не сказали. Они не знали, что ей все уже известно: бледная, как полотно Лия спустилась вниз, с кувшином в руках и со слезами на глазах рассказала матери все. что слышала. Пока Сатеник хлопотала у стола, два почтенных ванца думали о третьем ванце, которого им никогда больше нет увидеть и голоса которого им никогда больше не услыхать.

- Что-то Симон-ага запаздывает, - с горечью усмехнулся Ованес-ага. - Господи, избавь нас от напастей!

- Симон-ага больше не придет, - прослезился Фанос-ага и потянулся к бутылке.

- За упокой твоей души, Симон-ага!.. Они выпили.

- Город Ани - счастливый город, - развил свою мысль Фанос-ага. - Над ним склонилась Мать-Армения, оплакала его. - И он ткнул пальцем в картину на стене. - У Вана судьба другая. Никто не оплачет его руин, никто не утешит его: "Не плачь, не плачь"...

Ани льет слезы, горек его плач,

И некому сказать: не плачь, не плачь... –

спел, нет, со страстью и пылом самодеятельного актера продекламировал Фанос-ага, и снова наступила тишина, уже несколько отличная от прежней;

И пришел черед Ованееа-аги:

- Я сказал: конец света? Не взыщи, эфенди, ошибся, ни белому свету конца не будет, ни Вану. Погибнет ванец, как погиб Симон-ага, но Ван - никогда. Для нас с тобой весь белый свет это Ван, а Ван - весь белый свет. Вот говорят: моря, океаны... они, по-твоему, больше нашего Ванского моря? Или говорят: гора Масис". она что, выше нашей горы Вараг? А эти Полис и Париж, неужто они краше нашего Айгестана? В океане, положим, воды побольше, чем " Вадском море... Но не то важно, что короче, что длиннее, что больше, что меньше, важно то, какой в этом смысл. Соглашайся со мной - не соглашайся, но в нашем Ване - большой смысл, очень большой... Выпьем за Ван, долгих ему лет и белому свету с диад вместе!

Бах! - ухнул в глубине сада глухой выстрел.

- Пушка?.. - обмер со стаканом в руке Фанос-ага.

- Нет, что ты! - успокоил его Ованес-ага. - Наш Сурик пистолетом балуется",

И, утерев рот платком, сказал Фанос-ага: - Не думай, Ованес-ага, не думай, дорогой, я не против. Долгих ему лет, нашему городу, и белому свету с ним вместе, но где он, наш старый, добрый, дедовский Ван? Сколько тысяч лет - от царя Сенекерима и до Симона-аги - Ван жил и держался. Какие ветры "и дуди над Ваном какие воды ни заливали его, а Ван жил и держался... Огнепоклонство, христианство, набеги кочевников, турецкое иго, насилия, грабежи, смертоубийства... Бели Ван и вздохнул единожды: "Ах", то семижды сказал; "Прочь, страх!", Ван жил и держался... Покуда не явились эти революционеры, не перевернули все с ног на голову, так что не осталось ни святынь, ни чести, ни товариществ, ни человечности. Говоришь, Ван, а где он, наш Ван, неужто Ван - это рыба - тарех, дадаслийские яблоки да Акоб Кандоян?.. Библиотека-читальня, Пятничный ручей, "Девушка с велосипедом

красным", "Спуститесь, о спуститесь, сны..." - это и есть Ван? Если да, то пропади он пропадом, не хотим его!

И тотчас взял слово взволнованный и растревоженный Ованес-ага:

- Удивил ты меня, Фанос-ага, очень удивил и, честно сказать, возмутил, Чего ради злиться, зачем выходить из себя, что плохого в библиотеке-читальне, с каких пор ты стал врагом грамоты и книг? Ты же умный человек, какой тебе ущерб от Пятничного ручья, пускай народ подышит свежим воздухом, кроме пользы, вреда не будет, пускай поет "Девушку с велосипедом красным", только "Город Ани" надо петь? И чем тебе не угодил Левон Шант? "Спуститесь, о спуститесь, сны" - уж, наверно, о это не от нечего делать написал. Когда герой кричит: "Раской свои обьятья, Седа!" и бросается в море - это почище хорощё басни. Надо просвещаться, Фанос-ага, дорогой...

- Я, значит, темный, олды (*), а ты - просвещенный, биды (**)? - вскипел Фанос-ага и поднялся. - Вот вы нас до чего довели. А теперь настал час расплаты. Правду говорят: не руби сук, на котором сидишь. Я пошел, извини за беспокойство.

И зашагал прямо к двери.

- Фанос-ага, даты спятил! Куда ты?

- К Симону-аге! Устраивает тебя?

Трудно угадать, чем и как завершилась бы бурная эта сцена, не раздайся в ту самую минуту, когда Ованес-ага обеими рукам удерживал Фаноса-агу, не давай ему уйти, а Фанос-ага, судя по гримасе на лице, прилагал нечеловеческие усилия, дабы вырваться из комнаты, - не раздайся в ту самую минуту громкий и торопливый стук в парадную дверь: бух-бух-бух! Этот стук магически подействовал ни схватившихся в борьбе старых друзей, отрезвил их и вернул обоим чувство реальности, мрачной реальности. "Кто бы это мог быть?" Они оставили друг друга, Сделал по шагу назад, переглянулись, как набедокурившие дети, И застыли ли на месте, - как усталые, обессиленные борцы в ожидании беспристрастного судьи.

Кто подымается по лестнице? Симон-ага? Э-э нет, Симон-ага запаздывает, Симон-ага больше не придет. Его нет на свете, Симона-аги!..

Дверь тихонько отворилась, и на пороге возник бывший учитель и бывший общественный деятель, а ныне лицо без определенных занятий господин Геворг Мурадханян собственной персоной.

(*) Здесь: ладно (тур.).

(**) Здесь: так (тур.).

- И сказал Господь: не токмо в радости вино нам друг, но и в печали и в горести. Ваш выбор Справедлив, мудр и прекрасен! В иных обстоятельствах господин Геворг едва ли оказался бы желанным гостем, однако в уже известной нам ситуации его приход был поистине спасителен, более того, появись в этой взрывоопасной атмосфере не господин Геворг, но сам сатана, его тоже приняли бы с распростёртыми объятьями - словно беспристрастного судью. В самом деле, что за дьявольская сила закрутила в водовороте "неизменно осмотрительного Фаноса-агу с его правилом: десять раз отмерь, а потом режь, - что за наваждение поставило пая: угрозу его проверенную многими годами беззаветную дружбу и близость с Ованееом-агой, да еще и час, когда оба они скорбели на тризне по свежи доблестной незаменимой троице? Именно теперь, когда надлежало стать плечом к плечу, идти рука об руку и жить душа в лущу во имя доброй памяти трагически усопшего Симона-аги, черт знает отчего создалась" обстановка, когда их дружбу, того и гляди, затопят мутные воды вражды. Несомненно, что для столь грандиозных сдвигов необходим некий вулканический центр. Темна, загадочна, непостижима душа человеческая, и необычайно трудно проникнуть в ее глубины. Как-то раз по Вану разнеслась ошеломляющая новость: Ишхан обзавелся карманным фонариком! "Чем-чем?" - cnросит непосвященный читатель. Повторяем: карманным фонариком, занимательной вещицей Бог весть какой формы и с матовым стеклом, с которой Ишхан не разлучался.

Очутившись в темноте, он вытаскивал из кармана волшебную эту вещицу, нажимая на какое-то колечко или на кнопку, фонарик загорался во тьме светом, на который нельзя было смотреть незащищенным взглядом; как нельзя смотреть на солнце. Благодаря этому свету Ишхан и видел все на своем пути, а сам оставался невидимым... Да-да, он мог видеть всех, но его не видел никто. Почему мы заговорили об этом? Будь у нас фонарик, способный озарять лучами человеческую душу, освети мы им душу Фаноса-аги, мы бы с легкостью нашли, а вернее, увидели те движущие силы, которые довели его до крайней непримиримости. Дело в том, что Фанос-ага с не меньшим, чем Ованес-ага, успехом мог блеснуть свободомыслием и одним мизинцем отбросить своего друга в трясину, невежества. Сколько раз тот же Ованес-ага допускал резкие нападки на библиотеку-читальню (вспомним хотя бы вечер в "Свете свободы" и непристойный диалог между устроителем вечера Оником Мхитаряшш и Елине, певшей песню об Андранике) и на песню "Девушка с велосипедом красным", и на монолог "Спуститееь, о спуститесь, сны"! Фаносу-аге и в голову бы не пришло, покритиковав Ованеса-агу, делать выводы ксасательно его гражданского облика. А тут, извольте видеть, в запу-таннейшей ролитической ситуации, когда гнчаки брошены в тюрьму, когда Врамян к Ишхан вероломно убиты, а на улице, соединяющей Айгестан с городом, зарезан один из троицы, когда весь Ван встревожен " преддверии новых, еще более ужасных, но и великих исторических событий, он, Фанос-ага, оказывается невеждой, а Ованес-ага этаким просветителем: "Я темный, олды, а ты - просвещенный, битды?"

- Что ни говорите, господин Геворг появился вовремя. Темный Фанос-ага и просвещенный Ованес-ага разом позабыли о свои? идейных разногласиях, стали на единую платформу и вполне приязненно приняли бывшего учителя, бывшего деятеля, а ныне лицо без определенных занятий и лрй всех случаях родного брж та Ованеса-аги господина Геворга Мурадханяна.

- Вы чего стоите? В йогах правды нет. А-а, понял, решили стоя почтить память Симона-аги... Вы слышали? Слышали, конечно. Жаль, очень жаль нашего

Симона-агу. Он подошел к столу, взял один из двух стаканов с водкой, слегка откинулся опершись о трость, и сказал:

- Помянем великого патриарха патриархального дома, достопочтенного и:". Он уставился в потолок и с поразительной ловкостью нашел нужное слово: - убиенного. Помянем искушенного в делах и мудрого члена процветающей семьи ванских торговцев и коммерсантов, коего Ван лишился во дни варварских злодеяний. Воздадим дань уважения двум его осиротевшим сподвижникам, которым предстоит продолжить его дело.. если позволят условия. Ну, выпьем и сядем,

Выпил, сел и скупым жестом предложил или даже приказал следовать его примеру. Ничего удивительного, что в данных обстоятельствах два осиротевших сподвижника последовали, его примеру. Но двум осиротевшим сподвижникам пришлась не по душе оговорка "если позволят условия".

- Ну, с чем выг остались? Что домой унесу, а что под хвост псу? - серьезным задушевным тоном спросил господин Геворг.

- Ты о чем? - вопросом на вопрос ответил Ованес-ага, и вправду не понимая, на что намекает брат, который, кстати, пребывал в превосходном расположении духа. - Какой дом, какай пес?

- Псу под хвост то, что осталось в городе, в ваших магазинах, - с похвальным усердием пояснил господин Геворг. - На этом поставьте крест. А домой, унести можно то, что при вас, в ваших кошельках. ,

Осиротевшие сподвижники переглянулись; шум и ахинею он несет...

- А с какой стати ставить крест? - снова спросил Ованес-ага, исходя из принципа: брат да поймет брата.

- Неужели не ясно? - даже рассердился господин Геворг, восторгаясь в душе неведению двух друзей-банкротов. - Связь между городом и Айгеетаном прервана, большой ванский рынок в руках турок. Большой привет большому рынку!

Ованес-ага и Фанооага хотели было снова переглянуться, но нет: это показалось им неудобным, более того - невозможным.

- Пустое! - воспользовавшись неотъемлемым правом богатого брата, Ованес-ага не смирился с верным провалом. - Конец света, что ли? Еще день-два, жизнь войдет в колею...

- Ван обезглавлен, - продолжил свою речь господин Геворг, не удостоив ответом слова брата. - Врамяна утопили, Ишхана застрелили в Хирче, гнчакских руководителей нет. Где это видано и слыхано - Ван без шефов?! Арам объявлен вне закона, поскольку не явился к Джевдеду-паше... Джевдед отправил епархиальному начальнику послание и потребовал у ванской молодежи сдаться с оружием и боеприпасами и пообещал не трогать народ. Тоже мне, лиса! Хочет облегчить себе дело, взять народ голыми руками. Словом, вперед, час пробил. Война неминуема. Скажите большому рынку прощай-прости, теперь вы не торговцы, а обыкновенные солдаты. Йа атар, йа батар... (*) Ну, много добра вы оставили Османской империи?

Занавес поднялся. Во всей своей наготе предстала перед двумя несчастными торговцами страшная действительность. Мысленно оба они на минуту перенеслись в свои магазины, еще раз оглядели товары в том порядке и .виде, в каком их оставили, затем Фанос-ага покинул свой магазин и вошел в магазин Ованеса-аги. Точно так же поступил Ованес-ага; они понаблюдали друг за другом, Но так и не уразумели, чьи же потери больше.

- Однако, - воздев над головой указательный палец, проговорил господин Геворг твердым и внушающим кое-какие упования голосом, и взоры двух бывших торговцев, а ныне рядовых солдат устремились, на указующий перст господина Геворга, - однако, как поется в песне "Не падай духом, товарищ...". Да, мы попали в серьезную переделку, но надежда не потеряна. Ван должен продержаться до прихода Дядюшки:

ФАНОС-АГА (со стоном). Пока ручей наполнится водой... (Вытирает вспотевший лоб.)

ОВАНЕС-АГА (со стоном). ... нам с матушкой не справиться с бедой, (Вытирает вспотевший лоб.)

ГОСПОДИН ГЕВОРГ. Вот так. Что хотите, то и делайте (Ованесу-аге). Не знаю, как быть с нашим Мхо. Если в Ване начнутся бои, То Джевдед и в деревне не станет раздавать изюм. Может напишем, пускай приезжает с женой и детишками?

(*) Здесь: или то или другое (тур.).

Ованес-ага сверкнул глазами на жестокого горевестника.

- Ты в своем уме? А куда девать скот, зерно?

Господин Геворг совершенно отчаялся.

- Фанос-ага, - сказал он, - мы с ним не понимаем друг друга. Растолкуй этому человеку, что со скотом, зерном, движимостью-недвижимостью покончено. Битды. Сейчас надо думать, как спасти собственную шкуру.

Фаносу-аге стало ясно, - что потери Ованеса-аги превышав его потери; на душе полегчало, и он сказал:

- Что верно, Ованес-ага, то верно. Скот, зерно, движимость, недвижимость - этого нет. Пропало наше добро. Не до жиру, быть бы живу. Надо просвещаться, - нанес он последний удар и совсем успокоился, словно ничего с ним не случилось, ничего он не потерял если кто что и потерял, так это Ованес-ага, который теперь мысленно перенесся в Эрманц и глазами души взглянул на недавно засеянные поля, коров с полными выменами и вздымающие клубы пыли отары овец. Вслед за тем он взглянул на опечаленного Мхо, бедолагу Мхо, одиноко и беспомощно замершего на пороге дома.

И Ованес-ага подумал:

"Фанос потерял магазин со всяким добром и чуть на тот свет не отправился с горя, а как понял, сколько чего потерял, так сразу повеселел. Как ни крути, оба мы погорели, пропали. У меня, допустим, было десять, И Мои десять позмиш (*), от десяти отнять десять будет нуль. У него было два, было и не стало, от двух отнять два опять-таки нуль. У обоих по нулю, чему тут радоваться? А

наш пустоцвет Геворг? Как был при нуле, так и остался, от нуля отнять нуль нуль и будет. Возьмем теперь каждый свой нуль, сунем в него голову, удавимся, и дело с концом..."

Бух! - ухнул в глубине сада глухой выстрел.

- Что это? - поспешил к окну господин Геворг. - Маузер, браунинг, кольт? Наши стреляли или?..

- Не бойся, пустяки, - успокоил Фанос-ага взволнованного господина Геворга, - наш герой Сурен играет с огнем.

- Аферам (**), Сурен! - воскликнул господин Геворг. - Все равно что пушка... вот сорванец! Я чуть было тоже не начал пальбу, - и словно невзначай ощупал задний карман. Нельзя сказать, что жест господина Геворга не произвел впечатления на двух бывших торговцев, а ныне двух рядовых безоружных солдат" хотя при иных обстоятельствах этот жест вызвал бы разве что смех. Излишне говорить, что в кармане господина Геаорга не было ничего похожего на пистолет.

_____

(*) Здесь, пришел конец (тур.).

(**) Здесь: браво (тур.).

_____

...А сейчас глубокая ночь. Все уснули, слышится мирное дыхание Сатеник. Раз спит Сатеник, можно смело сказать, что спят все, весь дом, и не только дом - весь квартал, весь Ван, весь белый свет.

Фваносу-аге не спится.

Немало бессонных ночей выпало на долю, Ованеса-аги, бывало, он не спал от радости и не спал от печали, не спал, терпя убыток, и не спад, подсчитывая прибыток. Ему нравилось, когда Сатеник, а теперь и Лия пели "Умчался сор от глаз моих...". Вторая строки этой песни вызывала горячие споры между отцом и дочерью.

В саду откроется калитка.

Такова вторая строка, смысл ее вполне понятен: в саду снова должна открыться калитка. Так нет же, Лия считала, что смысл тут иной: откроется калитка зари, то есть займется заря. Что еще за калитка зари? Другое дело - калитка сада. Ованес-ага ясно представлял себе: отворяется садовая калитка, и он вбирает в се бя чудный аромат майорана, "мяты, персика, эстрагона...

Сегодня же в голове Ованеса-аги вертится одна из последних строк этой песни: "И горькую сглотну слезу..." Нынче эти слова сродни сердцу, мыслям, душе Ованеса-аги. Ованес-ага не плачет, Боже" упаси, он просто сглатывав! слезы.

Он снова перебирает в памяти минувший день, припоминает разговоры, их подробности, взвешивает каждое слова и приходит к прежнему выводу: магазин и деревня, иначе говоря, все, что у нет есть, все это пропало, мало того, может начаться резня. Чем ванские армяне лучше армян из прочих вилайетов? Они что, другого поля ягода?

... В разгар спора, когда Геворг энергично доказывал, что в осажденном городе золото и гроша ломаного не стоит и что важно запастись оружием и продовольствием, отворилась дверь и в комнату тихонько вошел господин Сет, старший приказчик Ованеса-аги, так сказать, управляющий его торговым домом. "Как он умудрился войти, не постучавшись в парадную дверь?" - недоумевал Ованес-ага. Вскоре выяснилось, что господин Сет вошел через садовую калитку и что улицы почти обезлюдели. Через садовую калитку проник в дом и Хачатур-ага, единственный и постоянный для Ованеса-аги поставщик продовольственных товаров. "Ну, хорошо запер свой духан?" - засмеялся господин Геворг. "Нет, - ответил Хачатур-ага с доброй своей улыбкой, - оба замка с ключами при мне". И он на самом деле вытащил из кармана два черных замка. "А как же товар?" - изумился Ованес-ага. "Товар? - ответил Хачатур-ага. - Что было, погрузил в Буразову арбу, перевез домой, а чего не было, оставил туркам..."

Машалла, Хачатур-ага!

Что до господина Сета, он, видно, пришел за жалованьем. Обычно взамен денег он брал товар со скидкой или по себестоимости. Должно быть, уловив, что Ованес-ага не в духе, да и вообще обстановка неподходящая, он отказался от мысли предъявить какие-либо счеты. Ему явственно слышался ответ Ованеса-аги: "Господин Сет, я когда-нибудь отказывался от своих обязательств? Бог даст, откроется Дорога в город: жизнь войдет в колею... рассчитаюсь сполна".

Господин Сет не ошибся. Точь-в-точь такой ответ и подготовил в уме Ованее-ага, чтобы закрыть рот господину Сету, если тот его откроет. И господин Сет с природным своим благоразумием не стал открывать рта, а ограничился по-полисски изысканно вежливыми расспросами о здоровье Ованеса-аги, о настроении Ованеса-аги. Прощаясь, он сказал:

- Хотя мне и не подобает давать вам советы, однако не принимайте все близка к сердцу. Есть парадный ход и есть черный. Один из них, я думаю, откроется. Непременно.

Геворг вконец свихнулся: золото, дескать, не имеет теперь цены. Ну и осел, прости Господи! Чтобы золото да не имело цены! Вай, ишак Иисуса Христа, вай! Любопытно знать, если золото обесценилось, что же тогда в цене, может, башка твоя дубовая? Золото не имеет цены: вай, пустомеля, вай!

Давненько не заглядывал Ованес-ага в свои шкатулки, припрятанные в темном уголке громоздкого стенного шкафа, где, как нам уже известно, он хранил, говоря его же словами, "жалкую сумму на черный день". Из месяца в месяц, из недели в неделю юн бросал туда по две-три "желтеньких", да так, чтобы услыхать звон монет, и не решался, а может, попросту не хотел пересчитывать их, "Считай не считай, что есть - есть, а чего нет - нет" - говорил он про себя и радовался: какая у меня сила воли!

"На черный день, - думает Ованес-ага, - Вот он и настал, черный день, куда уж чернее..."

Ованес-ага ворочается в постели, слышит ровное дыхание Сатеник и все глубже погружается в свои мысли. Если это и есть черный день, стало быть,

пришла пора тратить жалкую сумму из громоздкого встроенного в етену шкафа. До сих пор он складывал, изредка умножал, а теперь, оставшись ни с чем, будет вычитать и делить. И вся арифметика!

Вдруг Ованес-ага отчетливо слышит: "Хирч, что такое этот Хирч, где он, этот Хирч?" Сон не сон, явь не явь. Ованеоага вздрогнул. Чей" это голос? И тут же вспомнил, что сегодня, кроме него и Сатеник, на садре спит еще и Лия. Так распорядилась Сатеник: "Девочка хандрит, хворает, пускай спит с нами. Верно, у нее жар, бредит во сне. "Хирч, что такое Хирч, где он, этот Хирч?" - задумался в свой черед Ованес-ага, но так ничего и не надумал.

"Мучные лари полны мукой" - вернулся он к своей арифметике, - Слава Всевышнему, маело есть, кавурма есть, разные крупы, сыр, чечевица, соленая и свежая рыба... еды хватит на несколько месяцев, слава Аллаху. Пока запасы кончатся, либо осел околеет, либо, его хозяин, в худшем случае - оба".

Это так, но, надо вот о чем додумать: вдруг турки не сегодня завтра издадут на армян? Предусмотрительность - штука хорошая. Начнутся грабежи, резня... Что будут искать перво-наперво? Ясное дело золото. А его жалкая сумма спрятана в таком месте - не то что турок, любой армянин найдет, любой ребенок. Ах, дурень, дурень, как же он до сих пор об этом ты подумал? А если турки нападут этой же ночью или на рассвете?

Ованес-ага сел в постели, поморгал в темноте глазами и почувствовал, что покрывается испариной. Как быть? Разбудить Сатеник, поделиться с. ней? Без толку. Сатеник начнет усдокаивать его, уговаривать. "Да ты спятил! Ложись и спи, утром решим", - вот что она скажет:

Он ощупью нашел одежду и принялся медленно одеваться. Старался не шуметь и одевался довольно долго, потому успел хорошенько поразмыслить и решил, что нужно сделать. Начав одеваться, он еще не знал, чем займется, а сейчас, обувая вместо домашних тапочек башмаки, завязывая шнурки и поднимаясь с постели, ясно и четко, во всех деталях представил план предстоящих действий.

Взял со стола подсвечник, спички и бесшумно выскользнул из комнаты.

Прежде всего Ованес-ага вынес из погреба новенький кувшин.

средней величины и щелкнул его по крутому боку. Кувшин отозвался гулом. С подсвечником в левой руке и кувшином в правом Ованес-ага поднялся по лестнице в большую комнату и подоив к стенному шкафу. Поставив кувшин на пол, поближе к стене и отпер дверцу. Дверца издала знакомый скрип. Пристроив пор свечник на одной из полок шкафа, Ованес-ага достал обыкновенный деревянный ящик, в котором хранилась жалкая сумма.

Работа продвигалась довольно-таки быстро. Отсчитав сто золотых, Ованес-ага завернул их в платок и сунул в глубь шкафа, остальные монеты - по две, три, четыре - принялся опускать горлышко кувшина. Поначалу. Ованес-ага считал монеты, потов сбился? со счета и махнул на это рукой. "Считай не считай, - по думал он, - что есть, то есть. А если не судьба сберечь эти золотые, то какая разница сколько терять - полторы тысячи или три. У дохлой лошади зубы не смотрят".

- Господи, убереги нас от напастей! - пробормотал Ованес-ага вслух и бросил в кувшин последние монеты. Оторвал кувшин? от пола, тот был заполнен наполовину. "Увесистый", - подумал Ованее-ага.

Итак, первую часть своего плана он успешно выполнил.

Ованес-ага крепко сжал в руках подсвечник и отяжелевший кувшин с таким привычным и таким непривычным содержимым, осторожно; но твердо ступая, спустился по лестнице, заглянул в сарай, выбрал самую удобную из трех имевшихся в хозяйстве лопат, задул свечу; оставил подсвечник в сарае и с лопатой и куй" шиной в руках уверенно и бесповоротно вступил в сад.

Сад.

На широкой аллее, которая делила сад надвое, Ованес-ага остановился и осмотрелся. Весенняя ночь безмолвна, и чудится, жаждет уловить хоть один шорох, но шорохов не слышно. Ованес-ага прошел вперед и остановился у грушевого дерева с мощным стволом и разлапистыми, ушедшими не вверх, а в стороны ветвями. Здесь и только здесь! Это дерево посадила еще его бабушка, Искуи-хатун, когда вернулась из Иерусалима и стала для всех хаджи

Наной; дерево так и называли - дерево хаджи Наны, и после ее смерти оно много лет почиталось чем-то вроде святыни - в другие фруктовые деревья можно было, к примеру, запустить камнем, но в алычу и ryuy" посаженные хаджи Наной, - никогда.

Ованес-ага поставил кувшин в сырую канаву, вырытую вдоль айвовых деревьев, и, еще раз обойдя вокруг приземистой и мощной груши, принялся копать. Долго ли он копал, коротко ли, копал, копал и устал. А как устал, минутку передохнул и снова за лопату.

Пропитанная бесследно сошедшим снегом, земля была мягкой, податливой. Вдруг ему показалось, будто в соседнем дерцакяновском саду что-то шуршит и в юсяновском тоже. Прислушался. "Нет, ошибся", - и опять воткнул лопату в землю.

Хрт-хрт-хрт - не так трудно копать, как очищать дно вырытой ямы, Ованес-ага спрыгнул вниз, яма была ему по пояс. Чем глубже опускается дно, тем тяжелее становилась лопата. Он копал уже на коленях, согнувшись в три погибели.

Со стороны шелковицы с широкими свежими листьями до Ованеса-аги долетел слабый свист - сью-сью-сью - так точат нож на оселке. Он прервал на минуту работу и улыбнулся. "Тута еще не посмела, а синица уже ест ее во сне", - подумал Он. А еще Он подумал, как было бы славно, цари по всему свету дружба и мир, - человек тогда не убивал бы человека и не хоронил бы своего золота по ночам от грабителей. "Врамян любил цветы, очень любил, - вспомнил он. - Мыслимое ли дело, топить в море человека, который так любит цветы..." Вспомнил Ованес-ага и Ишхана, вспомнил его лицо, когда тот, повернувшись к окну, смотрел ид улицу. "Йшхана застрелили в Хирче", - сказал е-ворг. QH отставил в сторону лопату и напрягся. "Хирч", - повторил он про себя и снова, явственно услышал горячечный Лиин бред: "Хирч" что такое Хирч, где он, этот Хирч?" Вспомнил Ованес-ага и день, когда Дня не то в шутку, не то всерьез призналась: "Я Ишхана люблю".

"Черт меня, грешника, попутал", - заключил Ованес-ага, отказываясь от мысли усмотреть между всем этим явную связь

Богоугодное, судя по всему, дело Ованеса-аги подходило к концу. Он вышвырнул наверх последние комья влажной земли и нагнулся, разглядывая дно ямы, но не увидел ничего, кроме темноты. Распрямился, прислонил лопату к грушевому дереву, отряхнул вымазанные землей колени и двинулся на одеревенелых ногах к канаве. Потянулся за кувшином, и по спине побежали мурашки - кувшин исчез.

- А-а, - поперхнулся Ованес-ага и услышал свой голос: - Дьявольщина, синицы унесли?..

Надо было что-то делать. Он наклонился и пошарил рукой по дну канавы. Тьфу ты, кувшин стоял на месте, попросту Ованес-ага...

- Старый осел, куда ставил, там ищи! - сплюнул он. - Чуть было тампла не хватила.

Тампла, надо думать, - то же, что удар, паралич. Что же еще! К счастью, все обошлось. Не стоит об этом распространяться, не признаем - нащупай он пропажу минутой позже... Однако не будем об этом, не надо...

Ованес-ага ухватил кувшин покрепче и направился к яме. Драгоценная ноша показалась ему на сей раз тяжелее; он бережно опустил ее на дно ямы, поднялся" взял в руки лопату.

- Пресвятая богородица варагская, - еле слышно произнес он, - сохрани этот кувшин от чужих глаз!

И стад засыпать яму землей.

Засыпав яму, он принялся разбрасывать остатки земли на все стороны света - восток, запад, север, юг. Полная луна, не в силах сдержать любопытства, выкатилась из-за вершины Варага и в просветы между деревьями наблюдала за работой Ованеса-аги. Под приземистым мощным грушевым деревом хаджи Наны круглилась среди зелени совсем круглая латка. Об этом Ованес-ага не подумал, но, чтобы найти выход из положения, особой премудрости не понадобилось. Он опять взял лопату и пошел за дерном по всей длине низкой ограды, разделявшей два сада - его и дац-ковяновский, росла густая ровная трави. Ованес-ага нарезал разных кусков дерна, покрупнее и помельче, в

несколько приемой перетаскал их и покрыл голую латку молодой зеленью. Только оченьприметливый глаз углядел бы теперь эту, уже зеленую, заплату.

Он отходил от ограды с последним куском Дерна, когда ему померещилось, будто по ту сторону ее что-то шевельнулось. Приподнялся на цыпочки, посмотрел...

Вот так так! Он увидел окутанного лунным светом Сирака Данковяна, который, должно быть, услыхав шаги Ованеса-аги, тоже решил глянуть за ограду. Так они и встретились - можно сказать, нос к носу.

- Сирак?! - изумился Ованес-ага. - Ты что, привидение?

- Я Сирак, Ованес-ага, - тихо отвечал Сирак. Пока еще Сирак, а там, кто знает, глядь - и стал привидением.

- Хорошо сказано, - оценил Ованес-ага неурочную, полуночную остроту Сирака. - Что делаешь?

- Ерунда, - так же тихо отвечал Сирак. - Тут, там повозился в розарии навел порядок, пускай Джевдед посидит здесь со своими гуриями, попрохлаждается, чай с розовыми лепестками попьет.

- Ты всерьез? Может такое случиться?

- Почему же нет? Ованес-ага огорчился:

- Что же нам делать?

- Драться, Ованес-ага, драться до последнего, - ответил Си-рак и собрался уходить.

- Где война, там и победа, - сказал Ованес-ага, чтоб осветить мрачный разговор искоркой надежды.

- Не могу взять в толк, - угрюмо сказал Сирак, - что может ванец, когда против него целая армия?

- Знаешь, что должен делать ванец? - взяв на тон выше, решительно ринулся в атаку Ованее-ага. - Держаться, пока не придет Дядюшка...

- Блажен, кто верует, Ованес-ага, я ведь того же самого хочу, - смиренно согласился Сирак, не уступая, однако, своих позиций. - А вдруг не продержимся? Камня на камне от Вана не оставят.

- Дома, может, и "разрушат, а сады-то зачем губить? - забеспокоился Ованес-ага.

- Сады высохнут, - предположил Сирак.

- А земля?

- Безводная, бесплодная, неухоженная... Земля камнем станет.

- Пожалуй, попытаешься ее вскопать... лопату обломаешь, - вынес окончательный приговор Ованес-ага, и два ванца поняли друг друга.

- Спокойной ночи, Ованес-ага... скоро светать начнет.

- Спокойной ночи, сосед. Не мучайся так. Бог, он все-таки на небе есть.

- Верно, - согласился Сирак, направляясь к дому. - Да на земле-то Джевдед.

- Я этого Джевдеда... - чуть не закричал Ованес-ага и, мысленно досказав все то, чего недосказал вслух, зашагал с лопатой в руках по аллее, которая вела к дому и делила сад надвое.

Расстанемся с Ованесом-агой, расстанемся с его растревоженным домом и садом, и пусть над Ваном и над домом Ованеса-аги с его чадами и домочадцами займется заря, и Сатеник удивится поутру, обнаружив перепачканные землей башмаки Ованеса-аги, перепачканную землей лопату и подсвечник в сарае, и подумает над этим, поломает голову и не придет ни к какому выводу, и не станет ни о чем спрашивать Ованеса-агу, не станет задавать вопросов, так и не узнает, куда ходил ее муж посреди ночи. Спрашивать - как? зачем? почему? - спрашивать Ованеса-агу бесполезно, Сатеник и без того известно, что ей ответит ее любящий, но скрытный муж:

- Тысячу раз говорено, не вмешивайся в мужские дела.

Нет нужды таить от читателя, что утром, без всякого аппетита позавтракав, Ованес-ага набросил на плечи пальто и, вроде бы, невзначай заглянул в сад. Было не холодно, но после ночного дождя в воздухе ощущалась свежесть. Ованее-ага вспомнил умершего несколько лет назад хаджи-агу Мухсояна. И ему в который раз почурилось, будто он;сяышит хрипловатый с утра старчески голос хаджи-аги: "Доброе утро, Ованес-ага: ну как, свежо?" - "Свежо, но приятно", - отвечал обычно Ованес-ага, на том беседа и завершалась. Вопреки

скучным и бездушным своим делам, Ованес-ага - и это вне сомнений - обладал душою поэтической, ранимой, и в ней тяжело отозвалась смерть хаджи-аги. Грустно, Ованееу-аге, но его слуха достигают клики и стрекот сверчков, и жучков, и весенних птиц.

На память приходит стишок, который в детстве очень любил. Сурик:

Март минул, и пришел

Красавец апрель...

После ночного дождя зеленая латка почти неприметна даже для Ованеса-аги. "Слава Богу, - думает он. - А что до красавца, апреля, кто знает, какой апрель выпадет нам нынче... Покойная" матушка..."

Но если продолжать в том же духе, нам не расстаться с Ованесом-агой. Распрощаемся с ним и заглянем к Манасерянам.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТОЕ.

Поиски и сомнения монастырской матушки. Разбитая жизнь. Предапрельские тревоги

1

Осенью тысяча девятьсот четырнадцатого года дом Миграна Манасеряна в последний раз наполнился щедрыми дарами айоц-дзорской земли и монастырских угодий. Когда лари засыпали пшеницей и мукой, в большие глиняные горшки доверху наложили масла и сыра, когда тяжело навьюченные волы и ослы, сбросив во дворе поклажу, покинули его, мать Миграна Манасеряна, или, как ее называли, старшая матушка-хатун, заперла входную дверь и остановилась в раздумье. "Что я хотела сделать?" - силилась она вспомнить, но нет, не вспомнила.

Она рассеянно забрела на кухню - просторное помещение с высоким потолком, круглым слуховым окном, прокопченными стенами и бревенчатыми подпорами, помещение, где варят и пекут в больших и малых тонирах и даже обедают, особенно зимой, - огляделась, извлекла из квадратной ниши в стене недовязанный шерстяной носок с клубком ниток,

вышла во двор, уселась на пороге садовой калитки и принялась быстро-быстро - спицы так и мелькали - вязать.

Осень. Сады оделись в золото, оделись в золото фруктовые деревья и виноградники, травы и кустарники, оделись в золото цветники и солнце. И подсолнух, и кукуруза у калитки, и конский щавель все это в золоте, в золоте. А сейчас солнце примостилось на кровле дарбиняновского дома, помазало елеем своих лучей матушкины спицы, и они сами стали лучами и светятся, искрятся.

Мрачно только на душе у матушки. Такой осени она и не упомнит - столь изобильной и щедрой и столь тягостной.

На веранде стонет больная. Все больные на свете хотят жить, в этом смысле Такуи ничем от них не отличается: она поминутно просит воды, и непременно холодной, прямо из колодца, и Кармиле несет ей колодезную воду.

После того как они перебрались из монастыря в город, мюдир несколько раз наведывался к ним. Они с Миграном уединялись наверху, пили водку и негромко переговаривались. Сходки и се собрания в монастыре, и солнечное затмение, и день ото дня мрачнеющее лицо Миграна, и главное - ее сердце, ее чутье подсказывали: случится что-то неслыханное, небывалое, очень, очень тяжкое.

И матушка подгоняет время: пускай пролетает побыстрей, пу екай случится то, чему суждено случиться. И Господь внемлет голосу матушки и исполняет ее желаний дуют северные ветры, обнажаются сады, матушка разжигает тонир, и дым из слухового оконца клубами поднимается ввысь, престолу Господню. И, вместе с дымом взмывает из глубины матушкиного сердца молитва: "Господи Боже, сотвори нам добро!

Все реже и реже собирается у Миграна шумная компания. Было время, встретятся они где-нибудь и после одной-двух рюмок захотят покутить по-настоящему, так у них только одна дорогу "Завалимся к Манасерянам!"

И они заваливались, будь то утром или вечером, днем или за полночь - все равно. Пили-ели, пели "Мой козел", плясали, целовали матушке руку и

уходили восвояси. Теперь они захаживали редко, а когда зайдут, Мигран из кожи вон лезет, чтобы стол ломился, чтобы выпивка не кончалась, будто виноват перед ни ми и заглаживает вину.

Зимней ночью их постоялица Такуи умерла. Оплакивали покойницу два взрослых сына, Арменак и солдат турецкой армии Амаяк. Кармиле рассыпала волосы по плечам, голосила и причитала по сиротской своей доле Морозным утром пришли старухи-умелицы, вынесли иссохшее тело Такуи и омыли посреди большого двора, и у нее было при этом такое лицо, точно она говорила: "Кончайте, Бога ради..." Те же старухи-умелицы завернули Такуи в саван, тщательно и заботливо его зашили. Тело положили в дощатый некрашеный гроб, а крышку прибили мелкими гвоздями, чтобы, когда вселенская труба архангела Гавриила призовет Такуи, она легко выбралась наружу и не опоздала на последний суд. Бедная, бедная Такуи! Ни жизни у нее не было человеческой, ни внуков. Собрались соседи, собралась родня, вынесли на плечах гроб с покойной на улицу, и ни дома, ни на кладбище не было надгробных речей. Разве что, когда гроб вынесли во двор, матушка прикрыла входную дверь и вещим, пророческим голосом сказала: "Счастливая ты, Такуи-хатун, умерла у себя дома и спокойно ляжешь в землю. - Кто знает, под какой горой и в каком краю какие волки да собаки обгложут наши кости:" Вот так все и было.

Что же до недавних событий в монастыре, то и о них матушка вспоминает нынче с тяжелым сердцем. Она ничего не знает о том, что приключилось между Наной и Миграном; но внутри чувствует: случилось что-то неладное. После отъезда Наны Мигран совсем ушел в себя и замкнулся. Матушка раз за разом, пыталась завести о ней разговор, но Мигран или не слушал, или переводил разговор на другое. Вдобавок ко всему Мурадханяны отказались отдать им свою дочь: она, мол, еще не доросла до замужества:

Нет, что ни говори, а народ Мигрaна не любит. С того самого дня, когда у них в доме погиб ее зять Григор, с того самого дня Мигран стал среди дашнаков

своим, это верно, но взамен на го свалилась всеобщая неприязнь. "Будь проклят этот черный день!", - бормочет матушка и еще больше мрачнеет.

А то, что происходит сейчас матушке и вовсе непонятно: Мигрaновы дружки-приятели отвернулись от него. Непонятно? О нет, как раз наоборот, и вот что она про это думает? Добились своего и бросили парня". Вот и все! Матушка очень надеялась, что Мигран женится и жизнь пойдет налад, так ведь и это неполучилось. Ладно, Лию за него не отдали, но разве на ней свет клином сошелся? Мигран хотел именно ее, другие ему не по душе:

Чем плоха та же Кармиле - домовитая, расторопная, руки золотые? Так нет же, уперся - и ни в какую, не маленький, не прикрикнешь на него, силком не женишь. Бедная Кармиле, как увидит его, так вся и обмирает. А что толку?

Беда Кармиле в том, что ее братья - оба они плотники - рамкавары. Матушке запал в голову разговор, когда Кармиле и Мигран обменялись многозначительными намеками; они не знали, что матушка их слышит.

- Ты, конечно, роза, но расцвела среди шипов, - сказал Мигран.

- Возьми розу, а шипы обломай, - посоветовала Кармиле.

- Нельзя, - возразил Мигран. - Где роза, там и шипы. - Тут все ясно, шипы - это рамкаварское родство Кармиле, проще говоря: девушка ты хорошая, да братья у тебя - рамкавары. "Гнчак, дашнак, арменак - кто их придумал, эти партии, от них в Ване один только разброд и смута; три головы, три дороги, провалиться им всем трем", - думает матушка.

Из-за этого разброда погиб зять. Нет, ее сын не убийца, теперь матушка в этом уверена. Она допускает, что его уговаривали пойти на это злодейство, но он не поднял руки на зятя. Нагьястакан, да-да, пистолет выстрелил нагьястакан, и случилось то, чего они добивались. Дочь осталась вдовой, а четверо малышей - сиротами. Правда, благотворительное общество в Египте назначило им пенсию - двенадцать золотых в год - и каждую зиму шлет эти деньги, но Господь ведает, что Мигран не бросил сестру в беде и не позволит, чтобы маленькие его племянники кому-нибудь завидовали или были чем-то

обделены. "Подрастут мои внуки и заменят отца, кровь, она не водица, даром не прольется", - думает матушка.

Каждой осенью матушка сама относила Араму масло сыр, куропаток - так велел Мигран. Всякий раз Арам радовался, как ребенок. "Матушка, - говорил, - ты - мать всей дашнакской партии, ты моя мать". А минувшей осенью, когда матушка напомнила сыну: "Пора уж отнести Араму гостинцы", - Мигран прямо почернел: "Не надо никаких гостинцев". И весь разговор. И теперь уже матушка не мать дашнакской партии. "Пропади эти дашнаки со своей партией, нужны мне такие сынки!" - думает она.

Первую недобрую весть принес Кандоян Акоб. Пришел вчера к обеду, посидел, порасспросил о том о сем - как живете? как здоровье? что хорошего у Миграна-аги? - и наконец выложил Джевдед вызвал к себе Врамяна и Арама, а Ишхана с его парнями послал в Хирч. Врамян пошел, Арам - нет, от Врамяна до сих пор ни слуху, ни духу, а Арам ходит по острию ножа...

- Чем ходить по острию ножа, лучше сходить к Джевдеду, - сказала матушка.

- Врамян наказал Араму не отлучаться из дому, - ответит Акоб-ага, уплетая за обе щеки картофельный соус. - Ну а мы ушами не хлопали... Заставили его сидеть и ждать.

- Кто это - мы? - чуть не засмеялась матушка, на что Акоб весьма определенно и откровенно ответствовал:

- Мы... наши парни... организация...

Матушка помолчала и тихо сказала:

- Врамяна и Ишхана нет в живых, ушли к праотцам.

- А? - чуть не подавился Акоб-ага. - Кто сказал?!

- Я сказала, - еще тише проговорила она. - И еще кое-что скажу... Арам спас свою шкуру.

Акоб-ага засобирался; похвалил Миграна-агу, похвалил картофельный соус ("мертвый поест - оживет"), арест гнчаков назвал новой притчей во языцех, Амбарцума Ерамяна причислил к хитрым, искушенным дипломатам ("бросил Ван в беде, а сам сидит на берегу Нила и льет по Вану крокодиловы слезы").

- До свидания, матушка-хатун, всех вам благ!

Акоб-ага поспешил в казино сообщить знакомым и незнакомым, что Врамяна и Ишхана нет в живых, ушли к праотцам и что Арам спас свою шкуру... а матушка, закрыв за ним дверь" подумала: "Раз уж Кандоян Акоб стал организацией, то Ван спасен... Гром ее разрази, твою организацию!"

Она попыталась вспомнить что-то важное, очень важное, но не смогла. Какая-то сила подтолкнула ее, и, сама, не зная, зачем и почему, она поднялась в комнату Миграна. Со стены из-под тончайшего голубого тюля на нее, поодиночке и группами, сидя верхом и сидя в креслах, наподобие скромных, робких женихов смотрели геройски Павшие воины и знаменитые революционеры. Матушка никогда особо ими не восхищалась: люди и люди. Вдруг она вспомнила то, что долго и безуспешно пыталась вспомнить, - заклеенный белый конверт без всякой надписи. Утром они услышали несмелый стук. Пока Кармиле высматривала через квадратное Оконце, кто это, матушка открыла дверь. В дом поспешно вошла укутанная в белое покрывало женщина. "Мигран-эфенди вар? (*) - спросила она. "Йек, нету", - ответила матушка. "Матушка вар?" - спросила желтолицая черноглазая женщина. "Вар, - ответила матушка. - Это я". Незнакомка извлекла спрятанный на груди конверт, передала матушке, сказала еще что-то. Матушка с грехом пополам поняла, что письмо очень важное я его нужно передать Миграну-эфенди, и никому, кроме него.

И вот сейчас матушка берет конверт, вертит его в руках, и ее охватывает тревога. Она уверена, что письмо от Камала: нет ли какой связи между этим письмом и вызовом Арама, Ишхана и Врамяна к Джевдеду? Мигран вот уже три дня не появлялся. Уехал в Востан якобы затем, чтобы купить у какого-то курда вороного коня. Это его слова, но кто их разберет, мужчин, время ли сейчас уезжать из города. Провались он, вороной конь, и пегий и придачу!

Мигран пришел только тс вечеру, поставил коня В конюшню, насыпал в ясли ячменя и попросил:

- Дай поесть.

(*) Мигран-эфенди дома? (тур.).

Матушка протянула ему белый конверт. Мигран вскрыл его, прочел письмо, и черное его лицо вконец почернело.

- От Камала? - спросила матушка. Мигран кивнул.

- Что пишет?

- Так, ничего, замялся решив что-то про себя. - Пустяки.

- Женщина сказала, что письмо важное.

- А я говорю, пустяки, - нервно сказал Мигран. - Когда его принесли? - Сегодня утром, - ответила матушка.

... Письмо, конечно, было важное, более чем важное, чрезвычайно важное, и мы вправе настаивать и - даже утверждать, что с того дня, когда пало Армянское царство и взамен на трупах армян встал сельджукский, а затем - османский трон, ни один турок не писал ни одному армянину ничего подобного. Письмо было написано так, чтобы понять его смог только Мигран. Смысл его заключался в том, что ситуация крайне напряжена, что турки, очень вероятно, собираются напасть на армян и что, если Джевдед вызовет к себе Ишхана, Арама и Врамяна, пускай они не идут... "Поздно, - подумал Мигран, - двоих уже нет".

Мигран поднялся к себе; Кармиле приготовила ему постель, одно одно она оставила открытым. Он подошел закрыть то и увидел - Кармиле сидела в своей комнате с вышивкой в руках, Девушка подняла голову и взглянула на Миграна с грустной улыбкой. Он сделал вид, что не заметил ее, затворил окно и опустил занавеси на всех четырех окнах, выходивших во двор. Теперь закатный свет проникал в комнату через два других окна, которые смотрели в сад.

"Письмо принесли утром, - думает Мигран, - сегодня утром". Или он не расслышал? Странно, непоправимое случилось еще вчера, так что его предупреждают, когда все уже кончено" Странное предупреждение...

По дороге домой он заглянул к наборщику "Ашхатанка" Амаяку разузнать, что нового. Амаяк рассказал все то, о чем еще вчера было известно всему городу. Д письмо принесли сегодня утром. Запоздалое, загадочное письмо. Больно и резко, как бьется о стекло черный крупный жук, в голову ему ударила мысль. Он вспомнил кое-какие детали своих встреч с мюдуром, взаимную между ними симпатию, беседы - все это обрело теперь иную окраску...

"Неужели, неужели? - без конца задается он вопросом и тут же отвечает: - Никаких неужели".

Он отворил окно и позвал мать.

- Да? - отозвалась та со двора.

- Конверт принесли сегодня, сегодня утром?

Ему хочется, чтобы мать сказала: нет, не сегодня, ну, хотя бы вчера, а лучше всего было бы услышать: с чего ты взял, что сегодня, разве я сказала сегодня, нет, два дня назад, его принесли два дня назад... Тогда виноват был бы он сам - уехал из города и не успел отвести от шефов нежданную-негаданную беду.

- Я тебе армянским языком сказала, - слышится голос матери, - еегодня утром... - Вот так...

Мигран вдавил в пепельницу недокуренную папиросу и взглянул в зеркало - точь-в-точь как тогда...

Они тогда долго беседовали. Хмельной от коньяка мюдур о чем-то его расспрашивал (сейчас Мигран не может, а скорее, не хочет припомнить, о чем вопросы надо думать, были не такие уж пустячные), но ничего серьезного в ответ не услышал. Не стоит приписывать это бдительности Миграна, таким образом, наделять его качествами, которыми он не обладает. Нет, просто... просто они много пили и говорили и у него разболеяась голова; последний вопрос мюдура: "Часто твои парни оживляют однообразную монастырскую жизнь? - запорхал мотыльком да так и повис в воздухе. Мигран почувствовал дурноту (перепили? заболтались?), повернулся открыть окно и ненароком глянул в зеркало. Оттуда на него смотрел "другой" мюдур - высоко вздернутая бровь и уничтожающий, презрительный взгляд в спину. Застигнутый врасплох

Мигран быстро обернулся и поразился пуще прежнего - мюдур сидел перед ним с обычной, чуть вкрадчивой и вполне приятной улыбкой на лице. "Такие дела, Мигран-эфенди", стоит у него в ушах невозмутимый голос мюдура. Он вспоминает все это сейчас поразительно ясно и отчетливо. Он старался забыть этот эпизод, выкинуть его из памяти; слава Богу! не забыл. А ведь "и внушал себе, будто "другой мюдур, мюдур ив зеркала, всего лишь иллюзия, больная фантазия нетрезвого человека - и ничего больше...

Мигран решил сходить было к Араму и показать ему письмо. Ну, допустим, покажет, а какой прок? Арам, чего доброго, взбесится: где, мол, ты был раньше?! "Меня не было, я только что приехал из Востана". "А что ты там потерял?" Мигран, конечно, найдет отговорку: "Письмо, господин Арам, принесли сегодня". Тем хуже для него, Арам издевательски ухмыльнется: "Свободомыслящий мюдур! Лиса твой мюдур, понял теперь? Доброе дело задним числом! Скажи-ка лучше, часто ли вы встречались, о чем говорили?" Мигран поежился. Нет! Лучше молчать, а письмо сжечь.

Он взял с, круглого столика спичечный коробок, чиркнул спичкой и поднес написанную фиолетовыми чернилами бумагу к пламени. Кончено.

Жук, метавшийся в голове Миграна, тоже угомонился. Вдобавок, похоже, он, как и письмо, загорелся голубым фосфоресцирующим огнем. В отблесках этого огня Мигран вновь увидел полные презрения и ненависти глаза мюдура а через миг - его спокойное улыбчивое лицо. Спустя еще миг до него явственно и отчетливо донесся голос мюдура:

- Такие дела, Мигран-эфенди!

Мигран закурил и огляделся. Подошел к столу, принялся перебирать в беспорядке разбросанные книг" Отделил дама Раффи, сборники Сиаманто и Варужана. Получилась довольно солидная стопка. Он быстрым деловым шагом вышел да комнаты и спустился В дровяник и вынес оттуда пустой объемистый ящик. В комнате он бережно уложил в него отобранные, книги большие и маленькие; ящик наполнился почти доверху.

Мигран стал снимать со сиен фотоснимки и картины и укладывать в тот же ящик, вспотел, вытер пот.

В комнату вошла матушка, увидела, чем занят сын, и неодобрительно сказала:

- Не дай Бог придут. Не спросят гнчак ты или дашнак, - и добавила:

- Оружие у тебя есть, сынок?

- А тебе зачем знать? - уклонился Мигран от прямого ответа.

Матушка объяснила:

- Вы день-деньской пели: "Сражаться, а не плакать, сражаться, не плакать!" Время приспело.

Когда, не дожидаясь ответа, матушка ушла, Мигран открыл шкатулку, вынул кольт с пачками патронов, уместил все это в ящик и прикрыл газетами.

- Кармиле, Кармиле! - кликнул он девушку, приотворив дверь.

Вид оголенной комнаты застиг Кармиле врасплох, но она ничего не сказала. Вдвоем они вынесли тяжелый ящик, поставили в темном углу дровяника, заложили поленьями и досками.

- Все? - спросила Кармиле.

- Все, спасибо, ответил Мигран. - Братьям ничего не говори...

- Ты что, боишься?

- Лишние пересуды, - дожал плечами Мигран. "Ну и деньки настали, - подумала Кармиле, сидя у себя в комнате. - Дашнак, а боится лишних пересудов..."

Мигран сходил умыться, вернулся к себе, разделся и лег. Недавно он слыхал, что рамкавар Гевонд Ханджян назвал его бесхарактерным и беспозвоночным; А знаменитый шут, достопримечательность чуть ли не веех ванеких кутежей Крке Тигран на пирушке в доме Симона-аги Тутунджяна после очередного блистательного тоста господина Акоба Амсаряна с места крикнул: "Господин Акоб, не говорите так умно! Узнают, что вы человек толковый, и отправят в Горний Иерусалим". Все покатились со смеху, раздались аплодисменты, однако господин Амсарян не остался в долгу. "К счастью, мой шурин рамкавар", - парировал он и произнес новый тост.

Что им от него надо, почему ее оставят его в покое? Пусть- Ге-вонд Хаиджйй рамкавар, пусть его сын первый ученик не только Центральной школы, но и всего Вана, пусть он свояк Карапета Адажм-Хачояна и Мкртич Аджемяна, пусть так, но какое он имеет право оскорблять меня? Все они, эти волкодавы, а вместе с ними и юрист Рубен Шатворян, инспектор Артак Дарбинян, неистовый Арменак Екарян, буржуа Аветис Терзибашян - все они, в прошлом арменисты, а ныне рамкавары, только тем и заняты, что терзают его заживо.

А в чем его вина? Он ни в чем не виноват. Он жил во имя идеи, во имя великого дела.

Стояли в точности такие же дни, война только-только набирала силу. Его позвал Арам. "Поговорили о том о сем, потом Арам начал жаловаться на "наших противников", в их числе на "твоего достопочтенного зятя". Так дальше работать невозможно, следует нейтрализовать оппонентов. Тут Арам откупорил бутылку коньяка. Знаком ли Мигран со всемирной историей, знает ли он, сколько раз во имя великого дела брат уничтожал брата сын отца, отец сына? Миллионы людей приходят в мир и бесследно уходят, но эти люди остались в истории, они никогда не канут в Лету. Выпьем же за этих бессмертных!.. Сколько тебе лет? Двадцать четыре? В том возрасте каждый стремится к подвигу. А каков твой подвиг - заведовать библиотекой?..

Беседа тянулась долго пили коньяк, говорили. Собственно, говорил Арам, а Мигран открывал рот, лишь когда надо было ответить на вопрос.

- Кое-кого нужно убрать с дороги, в первую очередь твоего зятя. Правда, у него дети, но наша партия их обеспечит. Ты сам, Мигран, найди подходящего человека - бесстрашного, честного, идейного, способного справиться с этой задачей. Ты знаешь; сколько у нас монастырей и земель, мы сделаем его помещиком, богачом, он обеспечит и тебя, и твою сестру с детьми. Подумай, Мигран... И бессмертное имя, которое войдет в историю, и богатство - чего еще желать этому человеку? И возможно, будущий историограф изобразит жертву не нытиком и болтуном, а предателем, оге же, кто его уничтожит, - героем!.. Подумай, Мигран!

И он потерял покой. Слава и богатство - вот что ему предлагали Какой дурак откажется и от лаврового венца, и от набитого ларца? Венца славы и ларца с золотом.

Зять часто наведывался к нему. Они без конца и без устали спорили, пили кофе и возобновляли спор.

Пока не наступил тот роковой вечер.

Вся семья сидела за столом; только что поужинали и пили кофе, а они с зятем еще и водку. Посреди стола горела лампа. В тот день он был необычно возбужден. В Карджкане убили турецкого офицера, турки отомстили, их жертвой пало несколько армянских семей.

- Это не революция, это идиотство, - говорил он. Нет, то, что случилось, не замышлялось загодя. Правда, эта мысль неотвязно терзала Миграна, но в тот день он об этом не думал.

Он просто вытащил из кармана пистолет и стал его чистить.

- Нашел время, - встревожился зять.

- Он не заряжен, - улыбнулся Мигран, а пистолет возьми и выстрели... так и только так злая шутка судьбы сделала его идейным убийцей.

То, что было потом, несущественно: сейчас Мигран не помнит, когда именно потух свеи - до, после или в момент выстрела. И кто зажег свет, он тоже не помнит. Он помнит только крик сестры и матери и открытые, но погасшие глаза зятя.

Мигран встал, прикурил, сел на тахту и принялся сосредоточенно курить.

Теперь он богат, помогает и сестре, и племянникам... Но смотреть на них он не в силах. Он добр и предупредителен с ними, однако иной раз ему кажется, что эти дети, эти сироты - обретшие плоть угрызения совести. "Старшего через два-три года надо послать в Карин, в школу Санасарян, или в полисскую Центральную школу", - думает он, и муки совести слегка ослабляют свою хватку.

Почему он не бросил все не сбежал из Вана, не уехал на Кавказ или в Полис? Закрутился в этом водовороте и обессилел душой? Нет бы спокойно жить в

Тифлисе или Полисе, открыть магазин и выбросить из головы тревоги и треволнения. Глядишь, и вернулось бы к нему душевное равновесие, если б... если бы только...

... Она стояла на лугу у Пятничного ручья и смотрела вдаль, на гору Вараг. А теперь ее нет.

Какой еще Пятничный ручей!

Со стороны древней, обнесенной крепостной стеной цитадели тянется к востоку черный, густой, тяжелый и удушливый дым, и кажется, будто это без огня и без пламени горят сады.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЕ,

или Начало конца. Раздумья доктора Ашера

1

Поздно проснулся в то утро Ованес-ага. Солнце устремилось уже с горы Вараг к ванским садам. Торговцы и ремесленники не пошли в тот день работать, двери школы не открылись, пастухи од погнали скот на пригородные пастбища. Только звонари истово звонили в церковные колокола; одни колокола грустно молили о пощаде, другие тревожно возвещали недобрую весть. И лишь колокол на высокой башне американской миссии издавал звуки будничные, деловые, бодрые и размеренные: бим-бам-бом, бим-бам-бом...

В ту минуту, когда, наскоро и без аппетита проглотив завтрак, Ованес-ага вызвал к жизни первые пузырьки наргиле и выпустил дым, в ту самую минуту со стороны Пятничного ручья...

Ударил церковный колокол, точнее, прозвучал, сошлемся на старинную песню, некий голос, но не со стороны Эрзурумских гор, а со стороны Пятничного ручья и солахяновских садов, и воистину с первыми же выстрелами последнего и решительного боя крепостью исполнились сердца армян.

Бух-бух-бух! - донеслись до Ованеса-аги далекие залпы, за ними последовали новые, затем они раздались с севера и юга, востока и запада. Теперь выстрелы взяли город в кольцо. В кольцо!

Крепостью исполнилось и сердце Ованеса-аги. Он быстро и легко вскочил с места, подошел почему-то к окну, которое выходило в сад, и поискал глазами Грушевое дерево хаджи Наны. О чем он подумал бы, куда потекли бы его мысли, сказать об этом затруднительно, потому что в миг, когда он отыскал взглядом кудлатые ветви заветного грушевого дерева и волна самодовольства, вздымаясь, захлестнула его сердце, в тот самый миг с севера, с турецких позиций, расположенных на каменистом холме Топрак-Кале, который словно надзирал за городом, раздались один за другим трилушечных залпа, перекрыв громовым своим грохотом всю прочую пальбу. Послышался глухой гул снарядов, и Ованесу-аге почудилось, что один из них, а может, и вес три летят прямо на него. Сердце зашлось от ужаса, и все же он успел подумать, что под грушевым деревом надо бы вырыть две ямы: одну для кувшина, другую - для себя, для собственной безопасности.

- Ты чего в окно выставился? - услыхал он встревоженный голос жены, поспешно вбежавшей в комнату. - Расхрабрился?..

Последнее слово Сатеник вывело Ованееа-агу на верный путь. Расхрабрился? Почему бы и нет? Он, Ованес-ага, не баба, и ему не к лицу праздновать труса. Он обернулся, намереваясь отшутиться, сделать вид, что ничего не случилось, но насилу выдавил изеебя

- Суренова пушка бабахнула?

- Ненормальный, ей-Богу! - воскликнула Сатеник. - Какой Сурен, война началась! Спускайся вниз, бери свое наргиле и спускайся, здесь опасно!

- Вправду ли война или ты меня стращаешь? еще раз попытался пошутить Ованес-ага.

- О Господи! - осерчала Сатеник. - Шути, да знай меру.

Они спустились вниз.

А теперь, когда, устроившись в углу кухни и откинувшись на подушки, подобающие восточному уголку второго, а то и третьего разряда, Ованес-ага попыхивает своим наргиле и отчетливо слышит вблизи и вдали самые разные залпы самых разных орудий, - теперь ему хочется кратко воспроизвести на бумаге историю Вана от царицы Семирамиды и царя Сенекерима вплоть до Аветисяна, Батюшки Хримяна, и, далее, до страстотерпцев последнего времени, воспроизвести историю Вана - с иллюстрациями и без... впрочем, он понимает, что иные страницы его летописи останутся белыми. Увы, для сложнейшей этой работы ему недостает исторических познаний и конкретных данных, а без них он не сможет, дойдя до судьбоносного апреля 1915-го, ни подвести некоторых итогов, ни предугадать ход грядущих событий... Сейчас он, пожалуй, обрадовался бы появлению никчемного пустоцвета, своего брата господина Геворга, засыпал бы его вопросами, спросил бы, к примеру, есть ли на свете страна, где народ довольствуется одной, только одной партией и потому единым сердцем, единой душой и единой волей решает все свои проблемы, и не оставить ли и в Ване - только одну партию вместо трех, чтобы она в одиночку вела народ к сияющим вершинам? Вполне логичный вопрос.

Другой вопрос, не менее логичный: кому руководить обороной? Кто будет воевать, ясно - народ, а вот кто будет командовать - гнчак, дашнак, рамкавар или какой-нибудь никудышний нейтрал?

- Нейтралов спиши со счетов, - вслух размышляет Оваие ага, и тут, направляясь в погреб, на кухне возникает госпожа Сатеник.

- Что ты сказал?

- Я сказал: нейтралов спиши со счетов, - повторяет мудрый свой вывод Ованес-ага.

- Кури наргиле и не суй нос в политику, - опять рассердилась жена.

- Гнчаков тоже отставим в сторону - сколько их ни была все в тюрьме... Остаются дашнаки и рамкавары,

- Что ты прикидываешь? - заинтересовалась Сатеник.

- Прикидываю, кто будет нами руководить

- Тебе не все равно? Кому охота, тот пускай и руководит.

- Ба! - удивился Ованес-ага. - Преступное равнодушие. Решается вопрос жизни и смерти...

Громыхнула пушка, и снаряд с воем рассек воздух. Супруга" показалось, что он влетит в дом и Ованесу-аге так и не вычислить, кто возглавит оборону Вана. Нет, снаряд пролетел над его крышей, его гул отдалился и вовсе заглох. Зато повсюду - близко и далеко гремят взрывы - Где дети? - вспомнил Ованес-ага.

- Ушли, все трое.

- Зачем отпустила? - забеспокоился Ованес-ага.

- Ушли садами к бабушке Сатен.

- Дома надо сидеть, когда война, - раздраженно сказал от семейства.

- Они еще до войны ушли...

- До войны, - повторил Ованес-ага, как будто только-только понял, что происходит. - До войны. А сейчас - война.

Война, самая настоящая. Сколько раз за свою не короткую не длинную, такую и сякую жизнь видел он во сне этот день и не дождавшись рассвета, счастливый оттого, что пребывает в безопасности, будил жену и рассказывал: "Войну во сне видел". Во она наяву, война, вот то, чего он всегда боялся, что не давало ему спать по ночам. А теперь... может, это и теперь ему примерещилось, может, он еще проснется и пробормочет: "Войну во сне видел"?

- Сатеник, - позвал он. - Сатеник!

Сатеник вышла из погреба.

- Ну?

- Дерни меня хорошенько за ухо...

- Зачем? - удивилась Сатеник.

- Дерни за ухо, ущипни, может, все это во сне привиделось?

- Хорош! - всплеснула руками Сатеник. - Все кругом вверх тормашками, а тебе шуточки...

- Какие шутки, жена! - с чувством сказал Ованес-ага, бросив трубку наргиле. - Хоть бы мне это снилось: Так ведь нет...

Сатеник взглянула в исполненные боли глаза мужа и поняла: Овйнес-ага принимает ужас происходящего гораздо ближе к сердцу, чём она со своими ахами да страхами. Она поняла: он, как и всегда, обволакивает трагедию дымком наргиле и туманом пересмешек, только бы скрыть, что творится у него на душе, и если всерьез рассуждает, кому брать на себя руководство, то лишь затем, чтобы легче перенести тяжкую ношу событий. Ей вдруг тоже померещилось: пускай себе поутру с Первыми же залпами и разрывами снарядов приказал долго жить их набитый товарами магазин, во-первых, и, во-вторых, вся движимость и недвижимость в селе Эрманц - это неважно; важно совсем другое - кто возглавит или кто должен возглавить оборону: дашнак, гнчак, рамкавар или какой-нибудь нейтрал... И уж если этот невероятной важности вопрос прояснится... Теперь Сатеник самой хочется, чтобы Ованес-ага подольше оставался на канате, где он с трудом удерживает равновесие, но где ему покойней и уютней, чем на твердой, однако же горящей под ногами земле.

- Командовать должен Арам-паша, больше некому. Ишхана нет, Ерамяна нет, стало быть, Арам, - говорит Сатеник тоном, каким говорят с ребенком: чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.

- Арам-паша? - давится от смеха Овадес-ага. - Арам-паша? Спиши его со счетов. Арама-паши уже нет.

- С ним-то что случилось?

- Того, что случилось, довольно. Чего стоит Арам без Врамяна и Ишхана? - спросил Ованес-ага, и понимать его следовало так: данный вопрос отнюдь не требует ответа, ответ ясен как Божий день - без Ишхана и Врамяна Арам гроша ломаного не стоит...

Ответ, однако, оказался иным. Госпожа Сатеник высказала дерзкую мысль, что Арам, наоборот, не стоил ломаного гроша, пока рядом были Ишхан и Врамян, а теперь, когда их не стало ему цены нет, теперь он пойдет в гору, а

его ангел-хранитель госпожа Заруи будет блистать и заливаться на все голоса...

Ованес-ага удивился про себя женину уму, но не сдался:

- Арама-паши нет, Арам-паша пустое место.

Не исключено, что как раз в эту минуту Арам-паша в костюме и при галстуке подходил к зданию штаба. Его сопровождали четыре телохранителя, которые поспешили вперед, пролагая дорогу через теснившуюся перед штабом толпу; однако их усилия были излишни: при виде Арама толпа расступилась сама.

Арам выглядел мрачным и, усталым, и казалось, что голову понурил под тяжестью надвинутой на лоб красной фески. Странное впечатление производила и портупея с маузером, надетая поверх цивильного костюма. Он был уже в дверях, когда из нее вышли трое военных - единый и неделимый командный орган, если, угодно, триумвират: Арменак Екарян, Григор Болгарин, Молния Аракел.

Арменак Екарян, с коротко стриженными усиками, колючий глазами, нимало не стесненный оружием и военной формой нервный и чем-то обеспокоенный, мельком взглянул на толпу перед штабом и что-то шепнул подошедшему Араму, Болгарин Григор, скромный на вид человек с мягким взглядом умных глаз в отличие от Арменака Екаряна чувствовал себя в военной форме не очень уютно. В облике Молнии Аракела ничего не напоиминало молнию, разве что длинные с заостренными кончиками усы да сверкающие над ними глаза. Он пожал Араму руку и застыл с ним рядом в торжественной позе.

Хотя штаб находился в центре города, рядом с Норашенской площадью, воздух и здесь сотрясали мощные и едва слышные, далекие и близкие взрывы и ружейная стрельба. Особенно пугали ванцев пушки на холме Топрак-Кале, который господствовал над городом: чтбы посеять панику, страх и обреченность, они вели огонь не только по укрепленным позициям, но и по жилым кварталам, церквам, даже садам.

Из соседних и отдаленных улиц и переулков народ стекался к штабу. Еще минута - и опять заволновался, заколыхался лес красных фесок. На этот раз

толпа давала дорогу четырем мужчинам с носилками. На носилках лежали первые жертвы - двое павших у Пятничного ручья. Опустили носилки прямо перед штабом. Лица погибших были спокойны и безмятежны; один был чисто выбрит, другой небрит, у одного глаза были закрыты, у другого открыты, один был Елия Нахшунян, другой Акоб Дурзян, но оба были мертвы.

И от сердца к сердцу, как стон, прокатилась волна.

Из толпы вышел маленький, сгорбленный старик и, без чьей-либо помощи, опираясь на трость, поднялся на каменный выступ.

- Ванцы! - крикнул он, и все как один ванцы вздрогнули.

То был воспитатель, учитель, историк, оратор, поэт и первоклассный специалист по игре в тавлу Ованес Кулоглян - верный ученик Португаляна и неколебимый арменист.

- Ванцы! Сегодня мы стоим...

- На каменном выступе, - шепнул весельчак Крке Тигран на ухо учителю Геворгу. Тот чуть было не прыснул, но вовремя проникся драматизмом момента и прошипел:

- Веди себя пристойно!

- Ванцы! - продолжал оратор. - Здесь, где мы стоим, стоял некогда наш славный Айк - прародитель армян, здесь, на этой земле, он сразился со злобным Бэлом и одолел его...

- Прародитель Айк был ванцем? - наисерьезнейше осведомился Крке Тигран у господина Геворга.

- По всей вероятности, - ответил учитель.

- Араркец или норашенец?

- Не мешайте! - одернули их сзади.

- Ванцы, мы с вами граждане одного из древнейших городов мира; Ван древен, как Ниневия и как Рим. В нашей цитадели и вокруг нее жили халдеи и урарты, здесь жила царица Семирамида, совершала жертвоприношения в храме богини Астхик и, устав от языческих пиршеств, входила в море и вверяла голубым волнам свою грешную душу и тело...

- Позавидуешь, кто видел ее, - хмыкнул Крке Тигран.

- Ванцы, из древности и средневековья смотрят на нас храбрые армянские венценосцы; из Варага на нас смотрит царь Се-некерим, из Нарека - Григор Нарекаци, из Харакшиеа - Наапет Кучак; на нас смотрят бессмертные мученики девяносто шестого - Аветисян, Пети и Мартнк; на нас смотрят новые жертвы - Ишхан и его отважные телохранители, на нас смотрят еще не остывшие тела нынешних патриотов, тела первых сегодняшних героев; вот они перед вами, Елйя Нахшунян и Акоб Дурзян. Ванцы!..

Слышны были только орудийные раскаты и громкий, вдохновенный голос оратора; народ внимал ему напряженно и взволнованно. Разволновался даже неисправимый весельчак Крке Тигран: он тяжело вздохнул и провел ладонью по влажным глазам.

- Плачешь? - шепнул ему учитель Геворг.

- Сердце защемило, - пожаловался Крке Тигран.

- Человеком потихоньку становишься, а? - хихикнул учитель Геворг.

Разволновался и оратор, его слова утратили былую чеканность, и наступила минута, когда гром пушек грозил и вовсе заглушить его голос.

- Ванды (бум!), поклянемся именами наших мучеников (бущ бум-бум!)... осознанной смертью (бум-бум-бум!)... умереть зо свободу (бах-бах-бах!)... чем жить в неволе (бах!)... как один человек: ванцы.. Аварайрское сражение... Вардан (бах-бах-бах!).., вперед... во имя матерей, потерявших сынов... вперед... вдов и сирот... отомстим в священном бою... вперед... - смерть или свобода (бу-бу-бу!)...

Оратор покачнулся, лицо его побледнела, горящие глаза затуманились. Две сильных "руки оторвали его от выступа, где он стоял, и поставили да твердую землю. Справа и слева его поддерживали, учитель Геворг и Крке Тигран. Учитель был одет... но говорить об этом не время и не место.

- Успокойся, господин Ованес, - ободряюще шепнул оратору учитель Геворг.

- Побереги сердце, - обосновал совет приятеля Крке Тигран.

Возможно, по чистой случайности, а возможно, и по вызову, прорвавшись сквозь толпу, подъехала коляска.. Два телохранителя в гражданском усадили в нее оратора, Крке Тигран устроился от него, справа, а учитель Геворг обогнул коляску, чтобы сесть слева и в целости и сохранности доставить коллегу домой. Жена господина Овацедаа госпожа Марине, иди Марина-хатун, или Марина-ханум, несомненно, пригласит гостей за стол. Водка, суджух, бастурма. Уже весна, но в погребе Марины-хатун еще свисают с потодка груши, яблоки, виноград - дары их собственного большого сада. Прибежит и усядется к нему на колени младшая дочь господина Ованеса, хорошенькая Пупуш. Тигран начнет балагурить, а он, учитель Геворг, осадит его: "Не болтай! Положение тяжелое, стаканы полные..."

Пока господин Геворг огибал коляску, пленительная эта перспектива молнией пронзила его мозг и его ноздри уже обоняли несравненный запах водки и басгурмы. Наконец он завершил свой путь, оказался по левую от господина Ованеса руку, собрался уже сесть в коляску: и увидел, что его место занял Кандо Акоб. Задача истории выяснить, что сталось с учителем Геворгом - остолбенел он на месте или рухнул без чувств; мы со спокойной совестью покинули бы его и двинулись вослед коляске, но как раз в это мгновение случилось нечто, заставившее остолбенеть и нас.

Ту-ту-ту-цмба-цмба!..

Едва ли не заглушая залпы орудий, слепя глаза переливами меди, сверкавшей в лучах солнца, под звуки громовой, как частенько выражаются, музыки к штабу приближался знаменитый училищный фанфар, а говоря попросту, духовой оркестр.

Чего-чего, а духовых оркестров на свете предостаточно, однако ни одни духовой оркестр не имел в своем репертуаре того, чем славился ванский фанфар. Это был тот самый фанфар, который... да, можно, ничуть не преувеличивая, сказать, что это был тот самый фанфар, которого... и, наконец, это был тот самый фанфар, которому... и если иные - а таковых немало - утверждают, что ни одна партия - ни рамкавары, ни гнчаки, ни тем паче

дашнаки - не сыграли в жизни Вана той роли, какую, блюдя нейтралитет, сыграл училищный фанфар, - поверьте ему. Это был тот самый фанфар, который...

На минуту толпа позабыла все и вся. Она не слышала, не воспринимала яростные перестрелки, она не видели спокойных, просветленных лиц павших героев. Она встрепенулась и заволновалась, готовая на любые подвиги и любые жертвы.

Наши позиции надежны, - взял между тем слово Арменак Екарян, - но необходимо крепить их еще и еще, наши тылы дисциплинированны, но нужно еще и еще повышать дисциплину... без различия пола и возраста... партийной принадлежности... записаться... кто как... кто чем... "

Печально и устало смотрит Арам на толпу, запрудившую подходы к штабу. Неужели к этому стремился он с юных лет, неужели ради этого на пути, названном дорогой свободы тало столько самоотверженных и отважных воинов? Это и есть его и его живых и павших товарищей высшая цель? Вот он, великий бой, бой всех боев, битва всех битв.

... Екарян говорит, что общее число ружей и маузеров не достигает и тысячи, патронов - двадцати тысяч" А против них - целое государство. Бойцов-ванцев - несколько сот, а против них - целое государство. Восточное бюро - в Тифлисе, западное - в Женеве, а здесь, на западе и на востоке, на севере и на юге, - Джевдед, османец Джевдед. Сражайтесь, парни, храбро сражайтесь! Кто пал, тот свободен от всех долгов. А кто остался жив - извольте дать ответ и за мертвых, и за себя! Так не лучше ли умереть и обрести святость, чем жить и...

- Арам, в последние дни тебе досталось, ты на пределе, - говорит Екарян. - Ступай домой, отдохни денек.

- А потом? - спрашивает Арам. Видимо, Молния Аракел понял его:

- А потом либо смерть, либо победа.

- Допустим, мы победим. А потом? - упорствует Арам. Вмешивается Болгарин Григор.

- А потом мы провозгласим тебя царем Вана, - сухо, но зло говорит он.

- Ради того и воюем, - комически серьезно заключает Арменак. - Ступай, ступай, отдохни...

2

Доктор Ашер устало закрыл за собой, дверь. Он жил в так аде нзываемой Американской миссии, расположенной в восточной части города. Их было здесь несколько душ, американцев и американок, и эти несколько душ были душой миссии. А доктор Ашер был душой этих душ, добрым духом этой души. Много лет назал связал, он свою судьбу с этим древним восточным городом и его обитателями. Врач, хирург, он не ограничивал себя узкими рамками профессии и был также общественным и даже пелитическим деятелем в самом широком, но сугубо американском смысле этих слов. Не жалея усилий, он выучил армянский язык, изучал армянскую историю. Врач есть врач, он был вхож во многие дома - богатые и небогатые" ибо по его словам, "богач иди бедняк, ванец прежде всего ванец".

Ночью обстрел ужесточился. Доктор Ашер разместил еще нескольких раненых, перевязал их и, уходя, наказал;

- Привезут новых раненых, зовите, сплю или не сплю, скажите!.. я приду...

Он в жизни не имел дела с оружием, но под белоснежным медицинским халатом носил военную форму цвета хаки и сапоги Доктор Ашер был рыжеват, синеглаз, бороду стриг коротко, что же до возраста, то было ему за тридцать, но не больше тридцати пяти, никак не больше.

Ом растворил в стакане чайную ложку соды, добавил щепотку лимонной кислоты, выпил и несколько раз повторил: "Хорошо".

- Хорошо, хорошо, - повторил доктор и сел за письменный стол. Задумался. "До чего же война... - Он поискал слово: - Нецивилизованна...

Извлек из ящика дневник. Это была аккуратно переплетенная, не тоньше сокращенного варианта Библии, наполовину исписанная тетрадь, куда доктор, с тех пор как поселился в Ване, изо дня в день заносил свои мысли и впечатления. Несколько лет назад он получил письмо из Чикаго; его университетская приятельница спрашивала: "Итак, ты, дорогой друг, решил

обосноваться в Ване? Доктор Ашер записал в дневнике: "Обосноваться - чисто американское понятие. В Ване нельзя обосноваться, как нельзя обосноваться на Везувии..."

Он прирялся перелистывать дневник. Наткнулся на давнюю запись:

"Этот город древен, как египетские пирамиды, а история его длинная запутанна, как борода фараона Рамзеса. На восточной окраине Вана возвышается гора Вараг у подножья которой удобно примостился одноименный монастырь" Под гладкотесанными камнями алтаря вечным сном спит один из царей..."

Он снова перелистал страницы и прочел: "...существование золотого рудника вполне возможно. Возвышенность, где расположилась наша Миссия, называется "Стальной век", ее впадины покрыты мелким белым, как мука, песком, в котором "поблескивают отливающие золотом крупинки. Местные жители посыпают этим золотистым песком письма, чтобы быстрее высыхали чернила..."

"...На севере возвышаются на редкость естественные фигуры "жениха и невесты", высеченные в скалах Акрпи. С этими фигурами связаны трогательные легенды. За "женихом и невестой", далее в скалах, обращает на себя внимание тесаная дверь, называемая "вратами Мгера" легендарного армянского богатыря. Мгер сам себя замуровал в этих скалах и поклялся не выходить оттуда, пока в мире не исчезнут насилие и несправедливость. Насколько мне дано судить о проблемах этой страны, благородному джентльмену Мгеру придется долго, очень долго томиться в своей каменной тюрьме... Далее на восток..."

"Что же касается архитектуры этого древнего города, те она выдержана в восточном стиле, а если здесь и есть строения западного типа, то они никоим образом не меняют облик города. Дома в городе построены из кирпича-сырца, у них плоские кровли, на которых летом и осенью местные жители днем сушат фрукты, а ночью спят. Помимо очевидной целебности, этот обычай несет в себе и несомненную романтику".

"... Озеро Ван, которое местные жители называют морем, одно из красивейших озер, какое мне когда-либо доводилось видеть. На озере четыре островка - маленьких и совсем крошечных. И побережье, и острова самой природой предназначены дли! дачного отдыха. Я бы очень советовал моим соотечественникам пожить здесь хотя бы месяц, пусть даже в палатках, без привычного для них американского комфорта. Они почувствовали бы себя счастливыми. Что же касается здешней рыбы, тареха:"

"Похороны здесь не отличаются помпезностью, зато свадебнные обряды шумны и пышны..."

"... Если справедлива поговорка "На том свете - рай, а на сем - Ван", то надо отметить, что в этом земном раю делами вершат не ангелы, как в небесном Ване, а высокопоставленные и рядовые дьяволы. Вот их имена; вали, каймакам, мюдур, аскер и т.д. Дело подданных - не покладая рук строить, созидать, дело властителей - разрушать и опустошать".

"... Ванцы чрезвычайно трудолюбивы и весьма даровиты. В учености, ремеслах, искусствах они на голову превзошли народ! под господством которого пребывают. Поддаяные-чармяне сути овцы и коровы, куры, то есть полезны и безвредны, тогда как властители - волки, гиены, лисы... Вспомним Ветхий завет..."

"... У этого города какой-то особый аромат, который можно почувствовать в любое время года - весной или летом, осенью или холодной зимой. Его можно почувствовать в любой час - и утром и вечером. Не понять, что же так благоухает: море или сады, бегущие по улицам ручейки или мерный благовест многочисленных церквей? Девушки поливают водой улицы перед своими домами и старательно подметают. Может быть, благоухает земля? Не знаю, может быть, на горе Вараг..."

"... Мне лично доводилось встречать высокопоставленных турок, которые бпят и видят очистить свою страну от армян. Ума не приложу, что станется с Турцией, осуществи они свое намерение. Земной фай наверняка станет адом".

26 декабря.

"По малоприятному поводу я посетил сегодня армянского революционера господина имярека. "Для чего вы вооружаете народ - для нападения или самообороны?" - спросил я. Ответ: "Это зависит от того, что нам подскажет стратегия свободы". Я спросил: "А нельзя ли призвать на помощь дипломатическую стратегии, выиграть годы мира, собрать силы?" Ответа я не получил".

"... Да, Джевдед злобен и ненавидит армян, и его далеко не случайно назначили сюда именно сейчас. Известно, что этот джентльмен оказался столь изобретательным, что придумал для армян особое наказание: он их подковывал, как подковывают лошадей, и заставлял бегать на четвереньках. Не знаю, удавалось ли жертвам исполнять этот его приказ, но знаю, что сейчас готовится кровавое злодеяние. С прекрасным народом, попавшим между двух огней, хотят окончательно свести счеты. Назначение Джевдеда и его приезд в Ван не случайны. Сегодня..."

"... Имел, встречу, с его злодейством Джевдедом. Если верить ему, армяне свирепы, как звери, а турки - охотники поневоле. Новый наместник превосходно изучил исторический период, когда армаде, запамятовав, что они армяне, спокойно и безмятежно процветали под высоким покровительством Османского султаната. Следовательно, армяне преступники уже потому, что вспомнили о своих корнях и сущности, армяне виноваты в том, что не забыли свою веру и национальность. Если бы они отуречились, то жили бы спокойно и счастливо, Я спросил правителя: "Вы не находите, что древнему народу слишком трудно решиться на это?" В ответ я услышал: "Нет ни древних, ни молодых народов, есть национальное меньшинство в подданстве государства. Армянам не надо забывать, что у гусей не больше прав, чем у прочей домашней птицы, их режут, чистят и жарят, как кур, уток и индюшек, не считаясь с тем, что их предки спасли Рим..." Таков цинизм. "Значит, по-вашему, армяне - гуси?" - спросил я. "Как и все малые народы. Войдите на минутку в наше положение. Турция бьется с таким медведем, как Россия. Будь она благословенна, война, турок - против русского. Не в первый раз и не в

последний. Но суть не в этом. Суть в том, что российские армяне создают свои национальные легионы добровольные дружины, как они говорят и эти дружины направляются в Турцию, чтобы освободить здешних армян. Каково? Скажите, пожалуйста, будь вы на нашем месте, как бы вы поступили? Усадили бы армянина в мягкое кресло, поставили перед ним орешки с изюмом и погладили по головке: не сердись, отдохни, вот-вот явится твой брат и освободит тебя; кушай орешки с изюмом, а вот и ружье с патронами, придет братец - убейте меня, а? или нет? Мы не христиане, возопил его бешенство наместник, мы сделаем иначе: пока доберется братец из России, на турецкой земле не останется ни одного армянина"..."

"...Пришельцы - молодые чистые мечтатели, полагающие себя лидерами и апостолами. Беспристрастно глядя на их дела, нельзя не заметить - они честны и наивны до глупости. Они живут великим прошлым своего народа, мечтают о столь же великом будущем, однако им не хватает чувства реальности. Местные складывают о них песни, но им было бы спокойнее без этих песен. Однажды..."

"... Весна мановением руки открыла свои тяжелые ворота. Сегодня воскресенье. Пошел в молельню и помолился..."

"... События принимают трагический оборот... Ишхан убит. Сегодня я буду молиться о спасении его души. Однажды он посмеялся надо мной. Я как-то ехал в Вараг. Два курда преградили мне путь, заставили спешиться, отняли лошадь, пальто и часы. У меня над головой не было американского флага, и они не конфузились. Вытащили из кармана пальто маленький молитвенник; вежливо вернули его мне. "Не нужно, - сказал я, - возьмите его себе, прочтите и положите конец своим бесчинствам. Услышав мой рассказ, господин Ишхан от души посмеялся. Бедняга, наверное, вспомнил меня в последнюю минуту; если бы турки, убившие его и его друзей, читали Евангелие, они убоялись бы Всевышнего. Английский консул..."

"... Скверно, что Арам и его товарищи также не согласны с образом действий их партии в Тифлисе, особенно по вопросу создания национальных армянских дружин..."

"... А сегодня правитель Джевдед попросил или предложил, чтобы ему позволили разместить турецкий Полк в Американской миссии, разумеется для нашей же безопасности. Я посоветовался с представителем новоизбранного военного командования господином Екаряном. Как я и предполагал, он категорически против, потому что, по его мнению, Джевдед печется вовсе не о нашей безопасности... Он справедливо заметил, что Американская миссия господствует над Айгеетаном. Начнись бои, они забудут об американцах и возьмут под обстрел бедных армян. Не следует забывать, что и Джевдед не читал Евангелия. Я снова вепомнил несчастного Ишхана..."

x x x

До Американской мисеии доносились, ни на минуту не смолкая, далекие раскаты канонады и стрельбы. Ашер взял ручку и написал:

"7 апреля 1915 г., Ван.

Сегодня утром началось то, что подготавливалось. Как и следовало ожидать, войну начали турки. Если армяне мечтали об этом, то их мечта сбылась. Однако они об этом не мечтали. Последнее время даже самые горячие революционные головы проводили осторожную политику. Легко воевать в книгах, газетах и песнях, тем паче такого рода войны неизменно завершаются победой добра...

Теперь ванцам предстоит сражаться с регулярными войсками государства и с самим этим государством. Страшный, жуткий сон. Армяне всегда мечтали о героических сражениях, однако обстоятельства всегда вынуждали их вести оборонительные бои. Страшная, жуткая явь...

... Поздняя ночь. Кажется, пришел день светопреставления; город сотрясается от грохота взрывов. Выстоят ли армяне? В подобных случаях... я думаю так: ванцы победят, если почувствуют страх перед турками. Страх заставит их защищаться и биться изо всех сил... до победного конца.

Какой парадокс - устрашись, чтобы победить..."

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ВТОРОЕ.

Дни сражений и повседневные заботы. Ованес-ага и Библия

1

... А в это время Ованее-ага сидит в облюбованном уголке кухни, прислушивался к близким и далеким взрывам и, перебирая четки, размышлял о событиях перввго дня войны.

И когда, недовольный неизвестностью, он вознамерился одеться и выйти из дому (было это около полудня), в садовую калитку громко постучали.

- Жена, стучат! - забеспокоился Ованес-ага. Сатеник пошла открывать калитку и немного погодя появилась с Мурадом, или, как все его называли, Востаником.

- Кто привел мальчика? - спросил Ованес-ага, и словно в ответ на его вопрос в дверях показалась Ноэмик - высокая, пышущая здоровьем, крепко сбитая молодая женщина, которой куда больше подошло бы зваться Ноэм и которая приходилась Ованесу-аге двоюродной племянницей, сестрой шефу гнчаков Абрааму Брутяну и женой рядовому гнчаку Айкаку Еремишяну. После ареста брата и мужа Ноэм жила у родителей.

- Где Лия и Сурен? - спросил Ованес-ага.

- В штабе, - коротко бросила Ноэмик, сверкнув черными грустными глазищами. Села, скрестив ноги, рядом с дядей, взяла у него четки и стала перекидывать с места на место желтые костяшки: - "Выгода, напасть, Бог, выгода, напасть, Бог..."

- В каком таком штабе? - спросил Ованес-ага.

- Бог... сегодня три раза вышел "Бог", - воспрянула духом Ноэм и повернулась к дяде... - В штабе, военном штабе... - Она осторожно положила четки на колени Ованеса-аги.

- Что они в штабе забыли? - с досадой спросила Сатеник.

- Ничего не забыли, - отрезала Ноэм. - Лия записалась сестрой милосердия, а Сурена послали на Чантикяновские позиции. Этот пострел тоже хотел идти, я не пустила.

- Тоже хотел? - одобрительно закивал Ованес-ага. - Из Мурада выйдет мировой пушкарь... одно имя чего стоит: пушкарь Мурад...

Всем было не до смеха, только Мурад хихикнул: хи-хи-хи...

- Кто руководит людьми? - спросил Ованес-ага.

- Арменак Екарян.

- Да ну?! - удивился и обрадовался Очванес-ага. - Один?

- С Молнией Аракелом и Болгарином Григором.

- Слава Богу! - воскликнул Ованес-ага - А Арам?..

- Арам не в духе, появился с телохранителями, постоял среди народа, перекинулся словечком с Екаряном, потом...

- Что потом?

- Потом ушел с телохранителями, важный такой...

- Куда?

- Ясно куда, на поле боя! - ответила вместо Ноэм Сатеник.

- Тебе самой-то нравится, что говоришь? - осерчал Очванес-ага. - Что еще за поле воя? Ван, по-твоему, Аварайрское или Шаваршанское поле? Или, может, Арам и Джевдед должны биться у Пятничного ручья, как Давий Сасунский Мсра-Мелик?

- Нахшунян Елия и Дурзян Акоб погибли у Пятничного ручья, - вспомнила Ноэмик.

Эта весть поразила Ованеса-агу но он, как всегда, сдержался. Она сразу же к напрочь отметала его насмешки. Пятничный ручей? мол, не Аварайрское поле, а значит, какие там бои! Чтобы уберечь свои позиции, он счел за благо свести поразившую всех, а не его одного новость к шутке

- Нашли время купаться...

Засим выступила Ноэм и подробно и всесторонне осветила последние события, не забыв и про торжественный митинг перед зданием штаба. Ованес-

ага был до глубины души растроган ее рассказом, но никоим образом, не пожелал выдать свою слабость. Потому извлек из кармана красный шаток, сделал вид, что вытирает нос и расправляет усы, приложил платок к глазам, избавляя их от густого влажного тумана, и... и, всерьез разволновавшись, решил отыграться на Ноэм.

- Ты-то что потеряла в штабе?

Выяснилось, что Ноэм записалась в портняжный отряд - шить для раненых и больных, солдат белье.

Ответ вконец подкосил Ованеса-агу. Поняла это только Сатеник. Чтобы муж не обнаружил перед племянницей своего смятения, она быстренько переменила разговор:

- Какие вести из тюрьмы?

- Какие из тюрьмы вести, не будет оттуда вестей. Калипсе Солахян и нашарила теперь наплачутся" Бедные...

"Нашей Рипсимэ Ноэм звала свою невестку, жену Абраама Брутяна и дочь Аджем-Хачояна красавицу Рипсиме. Недолгим, очень недолгим оказалось замужество этих женщин; они даже не успели обзавестись наследниками, которые продолжили бы незавершенное дело несчастных своих отцов" Злосчастные партии! Девизом своей размноженной на гектографе газеты гнчаки взяли слова "Лютые цепи разбей - новое солнце взойдет", асами, скованные цепями, попали в тюрьму, куда не проникает солнце. И чем бы ни кончилась суровая, героическая битва ванцев, солнца они уже никогда не увидят.

Все трое задумались, и Бог весть сколько времени тянулось бы их молчаливо" раздумье, не появись в дверях кухни... аскер, унесший ноги из турецкой армии. Да, да, аскер, во вполне сносных еще сапогах, совершенно несносной феске и безоружный.

- Свят, свят, уж не призрак, ли? - первой подала голос Сатеник, узнав в аскере-дезертире учителя Геворга, Последний между тем медленно вошел в кухню, мало-помалу привыкая к ее полутьме.

- Что за маскарад? - только и выдавил из себя Ованес-ага.

- Нечему удивляться! - отбил атаку бывший учитель и общественный деятель господин Геворг. - Я - проповедник.

- Католический или протестантский? - с издевкой поинтересовался Ованес-ага.

- Не католический и не протестантский. Моя обязанность переходить с позиции на позицию и воодушевлять бойцов.

- Выгодное дельце, - буркнул Ованес-ага.

- Дело жизни... Сатени, дай чего-нибудь перекусить, спешу на позиции.

Сатеник посмотрела на мужа, стараясь перехватить его взгляд.

- Накорми его, пусть бежит, не дай Бог опоздает - сдадут все позиций одну за другой, - распорядился Ованес-ага и взялся за четки.

Ноэм распрощалась и, бросив на проповедника недоброжелательный взгляд, вышла.

- Захаживай, Ноэм! - крикнул ей вслед Ованес-ага. - Особо не горюй, бу да гечер... и это пройдет.

- Пройдет, конечно, пройдет, - потирая руки, сказал господин Геворг, - сколько бурь прошло над Ваном, пройдет и эта.

Он поджал ноги и уселся рядом с братом на набитый шерстью тюфячок. В мирное время он вряд ли отважился бы на это, но ведь время-то военное... в мирное время надо все прикидывать да взвешивать, сто раз отмерь - один отрежь, ну а сейчас, в неразберихе войны, все наоборот: один раз отмерь - сто раз отрежь; можно и вовсе не мерить, режь напропалую, один черт...

Сатеник поставила перед проповедником низенький Круглый столик, разложила на нем лаваш, сыр, холодное мясо.

- Приятного аппетита, - добавила она. Господин Геворг даже не шевельнулся.

- Принимайся за дело, - приободрил его Ованес-ага.

- Ованес, братец, - невнятно произнес господин Геворг. - Время военное, без доброго глотка кусок в горле застрянет.

- Я тебя и в мирное время видал, огул (*), - посетовал Ованес-ага. - Вина тебе иди водки?

- Только водки, - просиял господин Геворг. - Вино - напиток мирный.

- Жена, принеси водки, - тяжело вздохнул Ованес-ага; внезапно ему неодолимо захотелось выпить, и он машинально продолжил: - Две рыбины, бастурму, суджух, кавурму...

- Благополучия твоему дому, брат! - возгласил бывший учитель, и Душа его исполнилась радости, а глаза слез. В мирные дни Ованес-ага, насколько мы его знаём, не позволил бы подобного расточительства, да еще в честь учителя Геворга. Но глухие раскаты разнокалиберных орудий непрестанно напоминали, что жизнь покинула привычное русло и мчится к чему-то страшному. Бум-бам? Трах-трах-тра-ах! Сатеник поставила на стол бутылку водки и сверкавшие чистотой стопки; она задумчиво обсмотрела на мужа, но не успела открыть рот; как деверь опередил ее.

- От Мхо никаких вестей? - сказал он, наполняя стаканы. - Третьего дня сон видел...

Он осекся, ибо случилось нечто небывалое: Ованес-ага поднял стакан и молча осушил его. Господин Геворг опешил: всегда и за любым-столом первым поднимал стакан он.

- Короче, - он очнулся от неожиданности, выпил и, закусывая, продолжил; - Входит Мхо, прощай, говорит. Я ему? куда это ты, забросив дела? А он: еду, мол, в Стамбул. Что тебе, говорю, в Стамбуле? Меня, говорит, Амбарцум зовет, надо ехать... - Он наполнил стопки и подытожил: - Нехороший сон.

- Так чего ж ты его смотрел? - всполошился Ованес-ага. - Ну, это еще ладно, а рассказал-то зачем?

- Ты же не веришь в сны, - оправдывался господин Геворг.

(*) Здесь: парень (тур.).

- Но ты же веришь?

- Верю, - признался господин Геворг,

- Вот! А может, прав ты... Я не верил снам, пока войны не было, а теперь я всему верю и: и ничему не верю...

- Сон отнеси к тому, во что ты не веришь, и хватит об этом.

- Ответь-ка мне на вопрос: сколько дней продержите! Ван? - спросил Ованес-ага и впился глазами в брата.

Господин Геворг даже растерялся. Брат никогда еще не удостаивал его такой чести. Мало того, что он сидит с ним рядом, ести пьет, он еще и задает вопрос, который впору задавать членам военного командования - Екаряну, Болгарину, Аракелу или на худой конец тому, кто близок к руководящим кругам.

Сатеник поставила на стол испеченный на огне тарех. Чтобы рыба удобнее уместилась над огнем и равномерно испеклась, хозяйка свернула ее колечком и сунула хвост в рот. Таков был неписаный закон: чтобы прославленный ванский тарех хорошо пропекся, ему затыкали рот собственным хвостом. Точно таким же манером Джевдед хочет испечь на огне самих ванцев.

Упреждая обвинения в плагиате, спешим заявить, что эта мысль - параллель между печеным на огне тарехом и ванцем - принадлежит не нам.

- Да, брат, - подняв очередной стакан, развивал свои соображения, опытный военный теоретик господин Геворг, - подонок Джевдед точно так же хочет испечь и слопать ванцев. Теперь вернемся к твоему разумному, содержательному вопросу: сколько дней, или недель, или месяцев, или часов продержится Ван?

- Часов? - забеспокоился Ованес-ага.

- Напрасно удивляешься, - изумился наивности Ованеса-аги теоретик. - Сейчас мы с тобой сидим за братской трапезой и обсуждаем волнующие вас вопросы, верно? А кто поручится, что в эту самую минуту турецкие части, а за ними и сброд, разрушив Чантикяновекие позиции, не вторглись в Айгестан? Никто!

Он умолк и, пока молчал, медленно подвигал свою стойку Ованесу-аге; последний мысленно оказался ни Чантикяновских позициях. Одна за другой прогрохотали три пушки. Наверное, там, на Чантикяновских позициях.

Турецкие солдаты и вооруженный кривыми саблями и ножами сброд вторглись в Айгестан. Погромы, резня... Салават (*)!

_____

(*) Здесь: Бог нас простит (араб.).

_____

- Но-о-о! - пророкотал новоявленный проповедник, и это "но" в мгновение ока развеяло меланхолию Ованеса-аги. Он чокнулся с братом и поспешно выпил.

- Ты недоговорил, - поторопил Ованес-ага.

- Но Ван должен выстоять! Он выстоит! Почему? - господин Геворг наполнил стопки. - Почему? - повторил он, глядя (на Ованеса-агу, как учитель смотрит на ученика.

- Почему? - точь-в-точь ученик, повторил Ованес-ага.

- По-тому... во-первых, во-вторых, в-третьих, в-четвертых, в-десятых, в-двадцатых, в-сотых... причин сколько угодно, но все эти бесчисленные причины меркнут перед одной, перед главной причиной, перед причиной причин... что же это за причина? Ну? - вопросил господин Геворг и, подняв стопку" взглянул на Ованеса-агу не просто как на ученика, но как на бестолкового ученика.

- Ну? - повторил вопрос Ованес-ага и тутже подумал: "Уж не считает ли Меня этот выпивоха дураком? Может, взять его за шиворот да вытолкать в шею?" Словно прочитав мысли брата, военный теоретик чуточку умерил свой пыл.

- Ван должен выстоять, потому что Ван остался без шефов. Где шефы, там жди беды. Ван должен выстоять без шефов, народ без них способен на чудеса!..

"Ловко он одно с другим увязая", - подумал Оваиес-ага, одобрив вывод брата, и все-таки решил возразить. Что же до господина Геворга, то, начав объяснять, почему Ван выстоит, он понятия не имел, о чем будет говорить, и смахивал на человека, который прыгнул с высоты во мрак и теперь рад-радехонек, что удачно приземлился.

- Ван должен выстоять без шефов, народ без них способен на чудеса... - Довольный собой господин Геворг осушил стопку, бережно взял рыбу, разделал ее, положил на лаваш, завернул и...

- Без шефов мир не мир и война не война, - четко и уверенно произнес Ованес-ага. - Что за стадо без пастуха!

- Народ не стадо, человек не овца, - возразил теоретик.

- Человек, он хуже овцы... Не стало Ишхана, Врамяна, на смену пришли Екарян, Болгарин, Молния Аракел... какая разница? Шеф есть шеф.

- Есть шеф и шеф, - возразил проповедник.

- Ясно: есть пастырь и пастырь, есть пастух и пастух... Ты вот что забыл: один из нынешних пастырей коренной ванец. Арам, видно, не у дел, главный теперь Екарян, это хорошо... Пришлые что - ни дома у них, ни семьи, глядишь, сядут ночью на коней, перемахнут через гору Вараг, уйдут в Персию, поминай как звали. А у Екаряна семья, дети, он природный ванец, ванец - Ван турку не отдаст, ванец умрет, а Ван - не бросит...

Водки в бутылке незаметно поубавилось, а настроение братьев Мурадханянов заметно... сказать поднялось - значит согрешить против истины. Выпей ода столько в мирные дни, вполне возможно, затянули бы "Батюшка Хримян, родина твоя" или, тоже, возможно, рассорились бы, однако в новых условиях у них изменилось и восприятие мира и соответственно мера, ибо в условиях военного положения подключаются некие новые органы чувств и отключаются иные из старых:

- Мы с разных сторон подошли к одному и тому же; Ван - ванцам! - возликовал господин Геворг. - Ван - ванцоам! - Он повысил голос: - Пусть грохочут пушки, пусть враг засыпает нас тысячами и тысячами пуль. Вам будет жить! Он будет жить со своими веснами, когда исчезают последние островки снега, когда да торопятся из-под земли зеленые стрелы молодой травы, когда заливаются в садах и рощах веяние птахи, когда крепкий и работящий ванец вонзает лопату в землю и роет ее, роет... когда улавливаешь. запахи и ароматы роем того, что заблагоухает позже, - моркови, и абрикоса, и груши. Ван будет

жить со своим летом, когда небо и море сини, а Айгестан зелен, тогда солнце отдает свой вкус и силу душистым фруктам, и манящим ягодам и овощам, и цветам. Ван будет жить со своей осенью" когда из деревень и монастырей в город везут пшеницу" и муку, и мед, и чего только не везут, когда сладостен звон церковных колоколов, когда дети с шумом и гомоном бегут в школу, когда...

Господин Геворг умолк, сцедил остатнюю водку в стопку брата и понурился; должно быть, вспомнил школу и тот роковой день, когда - давным-давно! - сгорая от стыда, вышел за школьный порог, чтобы никогда уже не переступать его... Поднял голову и позвал:

- Лия, Лия!

- Лии нет. А в чем дело? - ласково спросил Ованес-ага, все еще дивясь красноречию брата, этого "никчемного пустоцвета".

- Сурен! - отнюдь не отчаялся господин Геворг.

- Сурена тоже нет.

- Где они? - удивился брат.

- В штаб ушли. Они теперь штабисты, - ответил Ованес-ага то ли с гордостью, то ли с насмешкой.

- Шутки в сторону, - улыбнулся господии Геворг.

- Какие шутки! - чуть не, возмутился Ованес-ага. - Какие шутки во время войны? Лия сестра милосердия, а Сурен бегает с позиции на позицию...

- Он что, посыльный?

- Видимо.

- Машалла, барышня Лия, машалла, господин Сурен! Тегда скажи Сатеник, пускай принесет водки. Выпьем за Ван, за Лию, за Сурена!..

Ованеес-ага не возражал, разве что спросил себя: "Во имя чего пить? - и тут же ответил: - Во имя того, что мир перевернулся, а Гедррг занимает меня своим красноречием и познаниями. Вот только не продешевить бы. Водка стоит глубоких познаний и мудрых мыслей".

И сказал Ованес-ага:

- За водкой дело но станет, но ты, по-моему, не то говоришь..,

- То есть как?! - вскипел господин Геворг. - Сколько лет, в скольких домах, на скольких застольях произносил я эту речь и не слыша в ответ ничего, кроме восторгов, а ты?!

- Вот! - искренне обрадовался Ованес-ага. - Как сказано в Писании: и осудят тебя уста твои.

- Нет, - возразил господин Геворг.

- Обожди, - твердо сказал неумолимый брат, - ты из дома в дом, от стола к столу носил этот свой товар в мирные дни, и теперь, когда началась война, ты подсовываешь это старье мне?

- Послушай... - сник оратор.

- Нет, ты меня послушай! Вот ты говоришь: придет весна, растает снег, распустятся цветы, придет лето, зацветут сады, созреют плоды, с деревьев попадают созревшие яблоки и груши и всякое такое, А в России, в Англии, в других странах снег по весне не тает, цветы не распускаются, птицы не поют?.. А летом в других странах плоды не созревают, сады не поливают, яблоки и груши наземь не шлепаются? Ты говоришь: запах моркови. Подумаешь, морковка, какой там у нее запах! Только от ванских дынь и арбузов пахнет дыней и арбузом?.. Мы знай себе твердим: Ван, Ван, это и есть твой Ван? Осенью из деревень в город пшеницу и Муку везут. А что, в других странах пшеницу весной жнут и мелют? На земле тысячи городов, в городах церкви, везде в церквах колокола, колокола везде звонят, а дети ходят в школу... Это и есть твой Ван, ванская весна, лето, осень?..

- Дай кончить, а там и критикуй, - разгневался господин Геворг не только потому, что Ованес-ага грубо и беспощадно развенчал, и растоптал Созданный им романтический мир, но и потому, что пустая бутылка глядела на него с откровенной издевкой. Он пожалел, что сцедил остаток водки в стопку брата. В раздражала полная эта стопка.

- Хочешь, повитийствую вместо тебя? - предложил Ованес-ага, удивляясь тому, как легко он опровергает Геворга. - Ван будет жить со своими зимами,

когда сады и гора Вараг покрытый снегом, когда над крышами домов клубится и поднимается к небу дым, когда ванцы - и стар, и млад - пробираются вокруг теплого курси, едят изюм, горох и поют... Это и есть твой Ван?..

- Так не пойдет! - мотнул головой, оскорбленный до глубины души вития, стараясь незаметно отодвинуть от себя к бра свою пустую стопку и завладеть его полной. - Сам играешь, са поешь. Так не пойдет.

- Прикажешь, эфенди, петь под твою дудку? - довольно ухмыльнулся Ованес-ага и, движимый неведомой силой, подавая весьма и весьма отдалившуюся от него стопку и с маху осушил ее. Голова его запрокинулась вместе с полной стопкой подалась вниз вместе с пустой. Некий рефлекс запрокинул и опустил также и голову господина Геворга. Вслед за водкой Ованее-ага от правил в рот кусок кавурмы, а господин Геворг взял в руки ny тую бутылку и тревожно позвал: - Сатеник!

- Сатеник внизу, зачем она тебе? - спросил Ованес-ага, пре красно понимая, чего хочет брат. Искоса взглянул на него, опираясь кулаками о тюфячок, встал, надел серые тапочки и взял бутылку.

- Смысл Вана совсем в другом. Я спущусь в погреб, а ты ш ка подумай! - проговорил он и, шаркая шлепанцами, вышел.

Оставшись в одиночестве, господин Геворг задумался: "Мое го братца надо огорошить. Если он ничего не поймет или пойме самую малость, вот тогда он тебя зауважает. Скажи ему: дважда два - четыре, он скажет: я это и без тебя знаю. А скажешь: дваж ды два - четырнадцать, он скажет про себя: кто его знает, вой на, цены подскочили, может, дважды два и подорожало до четыр надцати. Скажешь ему: дважды два равно Иерусалиму, о выкатит глаза и сочтет тебя великим умницей. Надо начинать Ветхого завета..."

Ованес-ага вернулся из погреба, крепко держа полную бутылку за горлышко, чтобы она не вздумала поднять вой и будоражит Сатеник. Жены не любят, когда мужья пьют просто так, без по вода. Вот на свадьбе или на поминках - пожалуйста.

Ованес-ага сбросил тапочки на краю потертого ковра, уселся на свое место, поджал ноги и поставил водку на столик: Побежденный, но не сдавшийся вития почувствовал: пора черпать из заготовленных впрок умственных припасов. Пора пустить в ход Ветхий завет. В школьные годы он всегда получал по закону Божьему пять с плюсом. Наконец-то этот самый закон Божий ему пригодится.

- Начнем с древности. - Господия Геворг прикрыл глаза и открыл рот. - Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его, Иуда родил Фареса, Фарес родил Есрома, Есром, родил Арама...

- Арама? - удивился Ованес-ага.

- Не удивляйся. В истории и вне истории - тысячи Арамов.

- В истории - это понятно, а что значит вне истории? - копнул глубже Ованес-ага.

- Объясню: есть Арам-паша и есть Сапунджян Арам, верно?

- Верно...

- Арам-паша так или иначе войдет в историю, а Сапунджян, тоже Арам, никак в нее не лезет.

- Допустим. Ну а мы с тобой - в истории или вне ее?

- Смотря кто станет ее писать. Потом, после вавилонского пленения, Иехония родил Салафииля, Салафииль родил, кажется, Елеазара, Елеазар родил Матфана, Матфан родил Иакова, Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. В ту пору не было фотографа Дзетотяна Аршака, который" сфотографировал бы Иисуса, посему армянский царь Абгар послал Иисусу через гонца белую плащаницу. Иисус завернулся в нее, и на ней отпечатался его облик. Так царь Абгар получил изображение Христа, принял христианство и начал его пропаганду среди язычников армян.

- А город Ван в то время существовал? - спросил Ованес-ага.

- Когда родился Христос, Вану было уже две тысячи лет.

- Здорово! - обрадовался Ованес-ага. - А турки были?

- Какие турки! В те времена ни турок не было, ни Франции, ни Англии...

- А Америка?

- Там жили людоеды.

- А кто, кроме ванских армян, жил на свете?

- Римляне, византийцы, Египет, Ассирия, Вавилон, Галатия, Персия и другие народы. Армения - страна древней цивилизации... ну а потом...

- А потом?

- Пришли татары, сельджуки, Хромец Тимур... Армянские цари заключили союз с Византией, и у них испортились отношения с Персией, попытались договориться с Персией, византийцы пошли походом на Армению... Безвыходная ситуация, невыносимое положение.

- Не заключала бы союза, договорилась бы и жила сама по себе, развивала бы ремесла, хозяйство, - засокрушался Ована ага.

- О другой стороны, раздоры и усобицы между армянский князьями, вельможами и царедворцами...

- А партии тогда тоже были?

- Что же это за народ без партий!

- Тьфу!

- Таким образом, с одной стороны, Армению топтали и с Востока, и с Запада, с другой - измотанная междоусобицами духовно и физически, Армения утратила силу, уменьшилась, из тридцати пяти миллионов армян осталось тридцать, потом двадцать, десять, пять... уж и не знаю, сколько нас осталось: покуда Пасха не кончилась, красных яичек не считают.

- Страшная у нас история! - воскликнул Ованес-ага. - Ка же ты спишь спокойно, столько всего зная?

- Я и сам удивляюсь. Впрочем, от невежества тоже немудрено сна лишиться. Когда все знаешь, можно все-таки спокойно уснуть... Смотря по обстоятельствам.

Не только Ованес-ага, но и сам господин Геворг изумился своей осведомленности в истории и красноречию, до такой сто пени изумился, что счел неприличным взять бутылку и разлив водку по стопкам; полагалось бы,

чтобы брат, осознав наконец превосходство господина Геворга, собственноручно наполюц стопки. Что до Ованеса-аги, то его мысли витали и близко, и далеко; он думал об историческом прошлом армянского народа, о его судьбе, о его настоящем (бум-бум-трах-трах-з-з-з!) и неясном будущем.

- Может, выпьем? - спросил господин Геворг между прочим и с таким видом, который означал: мне-то самому не так уж и охота, я ради тебя...

- Выпьем, - сказал Ованес-ага, очнувшись, - когда ж нам и пить, если не сегодня.

Он потянулся к бутылке и впервые в жизни налил брату. Господин Геворг взял стопку с большим достоинством, поставил на колено и сказал:

- Силы воюющих сторон неравны. Джевдед со своим вооружением и регулярными частями в несколько раз сильнее нас. Но наше положение благоприятнее, потому что наступают они. Мы же должны защищаться. Мы должны намертво засесть на своих позициях, а им надо оставлять свои, пытаться занять наши и ворваться в город. И наконец, ими командует Джевдед, он может в любую минуту бросить все и уйти, а мы защищаем свой дом, у нас только два выхода - либо умереть, либо победить. И поскольку умирать тяжелее, чем побеждать, надо предпочесть победу! Ван победит! Вот наше последнее слово!

Они выпили.

2

...Поздняя ночь. Ованес-ата сидит на кухне, в своем уголке, там, где днем они с братом опорожнили две бутылки водки, и прислушивается к далеким и близким взрывам. Перебирая желтые бусины четок, он подводит итог событиям первого дня войны.

- Ладно, - сказал Ованес-ага, ставя на место пустую стопку, - когда говорят: родина, родина, - что под этим подразумевают? Родина - это хорошо, если живешь в безопасности, благополучии, изобилии, если расцветают ремесла, ширится торговля, стада и отары наводняют пастбища, жизнь дешевеет, ставят "Старых, богов", стучат в нарды... такой должна, быть родина. А у нас что за

родина? Грабежи" насилия, обыски, убийства, погромы... это и есть родина? На нто она прхожа, такая родина? Жить под ярмом, под угрозрй реани и называть это родиной! Не согласен. Где хлеб найдем, там и дом, где жизнь, там и родина, это мне понятно. - Ованес-ага ткнул обеими руками в воздух, указывая на невидимые ему пушки. - Это, по-твоему, родина? - повысил он голос и нервно дрожащей рукой наполнил стаканы. - Хватит, не могу, к черту!.. Где мой магазин, где наши земли? Вчера были, а сегодня нет, ничего себе родина!..

- И тем не менее это родина, - важно и весомо произнес господин Геворг.

- Это?! - разъярился, прямо-таки рассвирепел Ованес-ага, будто вместо ста золотых ему всучили несколько жалких курушей.

- Это, это, - упорствовал брат.

- Будь ты неладна, родина голодранцев!

- И все-таки это родина...

- Боже мой! - запричитал Ованес-ага. - Почему я не продал вовремя все товары и земли и не убрался из этого ада?!

- Те, кто уедали, по-твоему, в выигрыше?

- А по-твоему, в проигрыше?

- Вспомни последнее письмо Амбарцума.

- Оставь ради Брга! - закричал Ованес-ага. - Разве Амбарцум нам указ? При чем тут он? Он сам влип, сам кругом виноват.

- Сидел бы в Ване, тогда никуда бы и не влип.

- Еще как бы влип! Не в ту историю, так в другую, не вее ли равно?.. Если хочешь знать, та лучше, чем эта, наша нынешняя.

- Дело вкуса, - возразил господин Геворг. - Я предпочту погибнуть в Ване, защищая свой дом, чем в Полисе от срамной болезни.

- Что ж ты не погибаешь? - зло спросил Ованес-ага.

- Откуда тебе знать, может, еще погибну, - торжественно с достоинством встал с места господин Геворг, впервые в жизни, не допив свою водку. Шагнул к двери и сказал: "До свидания". Ованес-ага оторопел. Ему хотелось вскочить,

схватить брата за руку, вернуть обратно, усадить рядом и продолжить беседу, начать сызнова, спросить, где похоронена царица Семирамида, кт такой царь Навуходоносор.

После полудня появиласв Лия, а к вечеру Сурен. Ованесу-аге показалось, что и сын и дочь за один день повзрослели и отдали лись от него. Он, конечно, слегка захмелел, не без того, но быстро понял, что Ван полностью окружен и турки пытаются отыскать лазейку, чтобы ворваться в город, однако бойцы на позициях раз за разом отбивают турецкие атаки. Созданы различные комиссии и группа Красного Креста во главе с доктором Сан-Фани. Членами комиссий стали также и коммерсанты. ("Машалла! Аветис Терзибашян!" - воскликнул Ованес-ага).

- Кйэ руководит боями? - спросил Ованес-ага.

- Арменак Екарян.

- Молодцы рамкавары! А что Арам?

- Арам появился с телохранителями... пошел в штаб.

- В штаб он не вошел. Поговорил с Екаряном, повернулся, увел телохранителей, - поправил сестру Сурен, уплетая обед.

- О чем он говорил с Екаряном? - полюбопытствовала Сатеник.

- Военная тайна, - с непроницаемым лицом отозвался Сурен. - Знаю, да не скажу.

- Знаешь - говори! - обозлился Ованес-ага. - Молокосос! Бегом побегу выдавать твою военную тайну Джевдеду...

Арам-паша сказал: господин Арменак, ты тут повоюй, а я малость отдохну; как война кончится, дай мне знать: приду царствовать... "Ладно, - согласился Екарян. - А телохранителей куда уводишь? Пускай сражаются. Арам-паша насупился. Это, говорит, министры, если их нагьястакан убьют, кто будет в Ванском царстве править?

Вспоминая эту "военную тайну", Ованес-ага думает: "И в кого Сурен уродился - языкастый, за словом в карман не полезет? В меня конечно... Такое скажет, не поймешь, правда ли, нет ли".

Он вздремнул, проснулся, снова задремал, привалившись к подушке, и увидел во сне Мхо: Мхо просит у него несколько аршинов ситца, Ованес-ага знает, что началась война, и не отказывает младшему брату. "Отчего же нет, бери, - говорит он, - бери, сколько надо, бери больше, чем надо..."

Потом он увидел во сне Амбарцума. Тот теребил золотую цепочку часов "Зенит" и говорил: "Какой такой Ван, что еще за Ван? Плоский городишко с плоскими кровлями и вконец плоской жизнью. Ванец до самой смерти ни одной женщины, кроме собственной жены... а я в Стамбуле такого навидался, ей-ёй, Ованес, такого..."

- Да уж... - хмыкает Ованео и открывает глаза. Перед ним стоит управляющий Сет. Это не сон.

- Хорошо придумано, эфенди, тяжелый день только и проводить в легком сне, - говорит он, поглаживая щетину на лице.

- Ни сна, ни покоя, - жалуется Ованес-ага. - Садись. Что нового?

- Все о же, - сказал господин Сет. - "Иттихат ве теракки", "Иттихат ве теракки"...

- Это еще что? - удивился всегда готовый удивиться Ованес-ага.

- Как - что? Партия младотурок "Иттихат ве теракки", в переводе это означает "Единение и прогресс"... Такое, у них единение и такой прогресс, такая у нас доверчивость и такая у них конституция; свобода, равенство, братство: Ловко?

- Да-а. "Иттихат", между прочим начинается с ит, - усмехнулся Ованес-ага. - Ит - по-турецки собака.

Господин Сет продолжил игру:

- А "теракки" очень напоминает дураки.

- Вот видишь! - обрадовался Ованес-ага этим словообразовательным изыскам.

- Короче, удивляться нечему.

- Удивляйся не удивляйся, но патриарх Измирлян оказался прав. Он сказал: - "Чему быть, того не миновать, и все мы готовы к мученичеекой смерти". Так и сказал.

- Да? Но есть и другое изречение...

- Верно, кто-то сказал: "Во время всеобщего восстания армяне еще раз будут вырезаны - ради окончательного освобождения".

- Так и сказал?

- Да, Я не придумываю,

- Красивые слова, но глупые, - оценил услышанное Ованес-ага. - Какая еще свобода после резни?

- Смысл вот в чем: половину вырежут, а другая Половина обретет свободу, - разъясняет господин Сет, удобно облокотившись на подушки.

- Вздор! - сердится Ованес-ага. - Нас и так уже половина народа. Если погибнет половина этой половины, кому же нужна такая свобода?

- Есть еще песня: "Нам желанна всегда благородная смерть! Слыхал ее, эфенди?

- Слыхать-то слыхал, но не пел и петь не буду, желанно смерти нет, есть желанная жизнь.

- Но при иных обстоятельствах человек готов предпочесть смерть.

- Никогда! - стоял на своем Ованес-ага.

- Ну, к примеру... язык не поворачивается сказать... - господин Сет внимательно посмотрел на свои ногти, сплел пальцы, хрустнул ими и нашел нужные слова: - Допустим, Ван потерпел поражение, турки вошли в город, всех вырезали, Ван разрушили, сожгли, превратили в развалины...

- Типун тебе на язык, - забеспокоился Ованес-ага.

- Я к примеру... а ты остался жив... Разве ты не предпочел бы тогда умереть.

- Нет! - не сдал своих позиций упрямый ванец.

- А что ж ты будешь делать? Ованес-ага задумался.

- Сяду на развалины и буду плакать, покуда есть слезы... Видел картину "Мать-Армении"? Почему может быть скорбящая мать, а скорбящего отца быть не может?

Оба умолкли. Господин Сет вспомнил картину "Мать Армени". В руинах города, монастыри, стены, крепости. Карин, Ван, Тигранакерт, Вананд. Среди развалин сидит на камне молодая женщина в черном с печальным взглядом и

распущенными волосами. Господин Сет вообразил на месте этой женщины, скорбящей матери-Армении, Ованеса-агу. Скорбящий отец! Губы господина Сета тронула едва заметная улыбка.

- Маши беды начались тогда, когда Армения стала матерью-родиной, а не отцом-отечеством, - изрек мудрый ванец.

- В этой разбойничьей стране никому нет дела ни до матери, ни до отца, - сказал "господин Сет, и снова воцарилось молчание, которое следует понимать в самом узком смысле слова - постольку, посколъку оно относится к нашим собеседникам, ибо снаружи бум-бум-з-з!

- Стреляют, стреляют, патроны-то у них есть? - спросил Ованес-ага.

- Стреляют турки, наш девиз - "береги патроны!"

- Почему? У нас что, мало патронов?

- Не много, - коротко ответил господин Сет, рассматривая свои ногти.

- Сколько лет играют в революцию, увозят оружие, привозят. Куда все подевалось?

Господин Сет промолчал.

- Мельтешили, мельтешили, - огорчился Овайес-ага - Господи Боже, спаси нас и избавь от напастей!

- Все городские церкви кроме Норашенской, в руках у турок. В церкви святого Вардана хранится перст Ваана Мамиконяна.

- Одним перстом дела не сделаешь, - с горечью сказал практичный ванец.

- Хотя бы варагский монастырь не отдать врагу. Знаешь...

- Знаю, знаю, там могила Сенекерима Арцруни.

- А еще?

- Там еще кто-то ерть?

- А прах царицы Хушуш, а прах Петроса Гетадарца?

- Подумай о живых, господин Сет, что нам проку от мертвецов, которые тысячу лет в земле?

- Это же наши национальные святыни, эфенди.

- Мертвая святыня, бесполезная.

- Иные мертвецы полезнее живых.

- Нет и нет.

- Где же тогда живая, полезная святыня?

- Наш Ван, - ответил, Ованес-ага. - Будет жить наш Ван, будут жить все твои свяяые мертвецы, а умрет Ван, не станет ни царицы Хушуш, ни перста Ваана Мамиконяна... Теперь понял?

А сейчас поздняя ночь. Дети спят в нижней комнате. Себе и мужу Сатеник постелила в кухне, в том углу, где сидел днем Ованес-ага. На стене слабо светится керосиновая лампа, вокруг огня летает крохотная мошка. Перебрав всечто произошло за день, Ованес-ага вернулся к последним, минутам своего рааговора с господином Сетом.

- Оружие — это не проблема, - сказал грсподин Сет. Продовольствие - вот с чем худо. Может начаться голод. Ованес-ага словно поклялся ни в чем ре соглашаться господином Сетом.

- Ц-ц, - цокнул он и помотав головой, - голода не будет. В каждом доме что-нибудь да отложено про запас, на черный день, перебьемся:

- Что отложено, деньги?

- Деньги, съестное...

- Съестное мало у кого хранится, из ста у пятерых. А деньги? "Торговля прекратилась, что с деньгами делать? Хач-поханский и араркский рынки у турок, а Норашенскй закрыт.." Город в осаде, какому сумасшедшему придет в голову торговать? Деньга сейчас не в цене: за золотой и куска мяса не купишь. Мука, хлеб - вот сегодняшнее золото.

Новая, военная обстановка застигла Ованеса-агу врасплох: он, опытный коммерсант, пока что не извлек из нее ни одного правильного или хотя бы неправильного вывода, наподобие тех, какие" извлек его управляющий господин Сет. Впрочем, стоит ли ему ломать голову? Пусть ломает голову тот, кто прозябает в нужде. Хлебом и вообще съестным до нового урожая Ованес-ага обеспечен. На худой конец, заскучает он по свежему мясу, и только.

Велика беда! Да чем кавурма хуже свежего мяса? Не будет тава-кябаба, будет сакли, вот и все.

Увлекшись своими мыслями, Ованес-ага прослушал, о чем говорит господин Сет, а что он не молчал - сомневаться в этом не приходились. Губы у него движутся, а лицо жалкое, лицо просителя.

- Никаких запасов у нас нет... Хлеб всегда покупал... Хоть немного муки...

Ованес-ага не дал господину Сету муки, но и не отказал ему в нижайшей просьбе; он вспомнил жену господина Сета Хушуш - ее красивое лицо, ее крупную черную роднику на бело-розовой щечке. Когда Ованес-ага заходил к управляющему на Пасху, Хушуш с величайшей заботливосью усаживала его на садр, а поправляя подушки, касалась его тугой своей грудью, дышала близко-близко, прямо лицо, я от этого ли, от выпитой ли уже водки сердце Ованеяа-аги начинало стучать чаще обычного, и это было приятно. Так же приятно становилось Ованесу-аге, когда Хушуш подавала ему пальто, а он, сунув руки в рукава, слегка передергивал плечами, поправляя пальто на себе, и снова ощущал близость ее Тела. Уже на улице он пъггался про себя осудить красавицу Хушуш, ибо непорочная, так сказать, нравственность не дозволяет вести себя подобным образом, пытался осудить, но, увы, это было выше его сил его сил.

"Что значит живала в Полисе, - Думает Ованес-ага, - вот как он, проклятый, кружит человеку голову".

Полис Полисом, ну а женущка брата учителя Геворга? Она-то и близко к Полису не подъезжала. Откуда же в рей столько дерзости? Однажды, рано утром (случилось это год назад) Ованес-ага шел по улице Чахли. Стояла весна, день был воскресный. Он, наравлялся Симону-аге - вместе наслаждаться чаем с розовыми лепестками. Ованес-ага отлично знал, чнто розовым чаем дело не ограничится и его ждет завтрак с куда более обширным меню. Раздумывая над этим, он неспешно шагал ио мостовой и еще издали заметил крепко сбитую женщину или девушку, которая подметала пятачок перед домом, предварительно полив землю водой, чтобы не подымалаеь пыль.

Приблизившись к чистоплотной хозяйке, он вдруг сообразил, что эта ладно скроенная женщина хлопочет переддомом, где живет его брат. Кто эта соблазнительная чертовка" - подумал Ованес-ага, не в силах оторвать глаз от искусительницы. Должно быть, заслышав шаги, та выпрямилась, и Ованес-ага нос к носу столкнулся с женой своего брата Вержине. Давненько Ованес-ага ее не видел, за это время Вержине похорошела, тело налились, она стала женственней и взрослей.

- Вержин? - оторопел Ованес-ага. - А я никак в толк не возьму, кто эта... красивая девушка?

- Доброе утро, Ованес-ага! - как маковый цвет вспыхнула Вержине под выразительным взглядом почтенного деверя. - Пожалуйте в дом:

- Нет, я спешу, - отказался Оварес-ага, и в голове у него тут же мелькнуло; а Геворг дома? - Как же ты - зацвела...

Иные растения спрсобны за ночь вымахать ввысь и зацвести, это в основном сорняки. Когда ванец говорит: "Грядка зацвела", - зрачит, пора ее полоть. Вот что имел в виду Ованес-ага, и Вержине тотчас его поняла.

Она дважды ударила пыльным веником по стволу ивы - ивы росли по обе стороны журчащего рядом ручейка, смахнула с плеча Ованеса-аги ивовый листок и по-детски капризно сказала:

- Если грядку не обработаешь, она зацветет, что ж ей еще остается?

Сказано это было до того откровенно, что в душе Ованеса-аги что-то оборвалась и кугщ-то рухнуло.

- Ничего, пройдет, - чужим голосом брякнул Ованес-ага.

- Пройдет, конечно, - согласилась Вержине, грустными глазами глядя "на веник, потом улыбнулась невесть чему и добавила: - Жизнь тоже пройдет...

- Совсем к нам не заходишь, - сказал Ованес-ага.

- Привет Сатеник, - сказала Вержине.

Вот тебе и Вержине!

Вспоминая все это, Ованес-ага сожалеет, что тут же не отсыпал муки господину Сету ("Приходи денька через два, может, что и придумаем", - сказал

он своему управляющему и проводил его); надо бы брату помочь, думает Овакес-ага муки подбросить, а может, и сыру, масла...

Прощаясь, господин Сет сказал: "В Библии есть одйо место..." Ованес-ага не дослушал его, и напрасно. Сейчас ему очнь хочется узнать, что за место есть в Библии?

Сидя на расстеленной постели, Сатеник пришивала пуговицы к рубахе Сурена. (З-з-з- бум-бум!)

- Чем занимаешься? - спрашивает Ованес-ага далеким голосом

- Пуговицы нащему гоццу пришиваю... Господи, кошмарная ночь!

- Будь добра, принеси Библию.

- Зачем тебе Библия? - удивилась Сатеник, перекусывая черную нитку.

- Нужно.

За окном стоял мрак, орудийные выстрелы казались еще страшней и зловещей. За Библией надо было подняться в верхнюю комнату. Взойдя по лестнице, Сатеник постоял у входа на веранду и решила вернуться. Над Айгестаном здесь и там свистели пули. Но, сделав над собой усилие, Сатеник заставила себя войти в комнату, схватила Библию и опрометью кинулась назад. Уже на веранде она услыхала звон разбитого стекла. Враг старался посеять панику.

Сатеник положила на колени Ованеса-аги огромную, тяжеленную Библию.

- Подкрути фитиль.

Стало светлее. Теперь вокруг лампы метались две маленькие крылатые твари.

"Какая она большая, какая тяжелая, эта Библия, - подумал Ованес-ага. - Поди да узнай... одно место..."

Ованес-ага наугад раскрыл Библию и не без труда принялся читать на первой же попавшейся странице:

- "Кожа наша почернела, как печь... Жен бесчестят на Сионе, девиц - в городах Иудейских... - "Это про турок", - решил Ованес-ага. - Дети и старцы лежат на земле по улицам; девы мои и юноши мои пали от меча, никто не спасся, никто не уцелел... тех, которые были мною вскормлены, враг мой истребил". - "Погромы в Адане?" - заколебался Ованес-ага.

Он перелистывал книгу, заглядывал то вперед, то назад, открыл какую-то страницу! и прочел:

- "О как прекрасны ноги твои в сандалиях, дщерь именитая! Живот твой - круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино; чрево твое - ворох пшеницы, обставленный далиями; два сосца твои - как два козленка, двойни серны..." Ух ты! - фыркнул Ованее-ага и с шумом захлопнул книгу.

- Не совестно такое читать, - сказала Сатеник, которая краем уха прислушивалась к бормотанию мужа.

- В Библии написано, - оправдался Ованес-ага.

- В Библии! - недовольно повторила Сатеник. - Давай лучше ложиться, время позднее.

Всю ночь гремели выстрелы и рычали пушки. Спал Ованес-ага беспокойно. Во сне он видел Вержине, Хушуш, потом обеих вместе. Они держали пальто Ованеса-аги, помогали ему одеться. А оц, никак не мог лопасть рукой в рукав. Хушуш смеялась сатанинским смехом, а Вержине сказала: "Привет Сатеник!" Ованес-ага просыпался и ласково поглаживал спящую жену, совсем как в Библии. Сатеник не спала, но притворялась, что спит.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЕ.

Героическое сражение в цитадели. "Я скажу пять, а ты скажи - десять". Конец Полада-бея

1

... Земной рай, сотворенный Божьей десницей и руками ванца и называемый Ваном, как уже не единожды творилось и подчеркивалось, состоял из двух частей - городской - центра, или Города, и, Айгестана. Была ли граница, разделявшая эти; два района? - спросит любознательный читатель; незамедлительно ответим: нет, границы между двумя частями города не было, напротив их связывала соединительная линия, которая являла собою не что иное как длинную улицу, скорее даже проспект, тянувшийся с востока на запад, я скажу, пяты километров по прямой, ну ты скажи - десять. Что за

манера? - усомнится и разгневается читатель, - я скажу пять, ты скажи Десять... ведь наверняка найдется третий, который скажет: восемь или одиннадцать... Мыслимо ли описывать таким образом место действия? Увы, мы вынуждены остановиться именно на этой описательной манере: я скажу пять, ты скажи десять, я скажу черное, ты скажи белое... Прошло уже более пяти десятков лет, и в голове всякого ванца его город остался таким, каким именно он его увидел и запомнил, и каждый Ван отличаете от другого, они разнятся меж собой, как Ван и Степанаван и больше того - как Зангезур и Занзибар, Вдали от родных мест всякий ванец десятилетиями вспоминает свой Ван и рисует его и расцвечивает его облюбованными им одним красками и картинками, и когда один ванец рассказывает другому ванцу про свой Ван и видит обескураженное лицо собеседника, он тут же отступает: я скажу пять, ты скажи десять, я скажу черное, ты скажи белое...

Сейчас, десятилетия спустя, во многом можно усомниться многому можно верить или, наоборот, не верить, но что Ван со стоял из двух частей - Города и Айгестана - это не подлежит не малейшему сомнению. Ни малейшему сомнению не подлежит то, что из-за исполинской старинной крепости Город называла также Цитаделью; нельзя отрицать и того, что не где-нибудь, а Цитадели находились такие важные учреждения и присутственные места, как наместничество, много чего повидавшая на своем веку городская тюрьма, суд, полицейское и городское управления, земледельческая, врачебная (да-да!) и общественная управы, Оттотманский банк, почта-телеграф, арсенал, казармы... всего не перечесть:Над Цитаделью возвышались также минареты нескольких турецких мечетей; минаретов было... я скажу пять, ты скажи десять, и они надменно посматривали сверху вниз на купола семи армянских церквей - святого Знамения, святых Петра и Павла, святой Богоматери и прочих - и на скромные строения их приходских школ, а также училище Шушанян, которое помещали и мальчики и девочки, мужской Иисусовой школы, американской женской школы, детских садов, протестантской миссии.. Да! "Бытие определяет сознание", - задолго до того сказал великий

марксист Маркс. В дни, предшествовавшие началу военных действий, в Цитадели как и в Айгеетане, был образован свой штаб; в сосдав военного командования входило семь человек. Интересен и весьма показателен социальный состав этой, мы бы сказали, отважной семерки. Вот он:

Айкак Косоян - учитель,

Давид Саргсян - лавонник,

Арутюн Неркарарян - лудильщик,

Левон Галаджян - коммерсант,

Митран Тороманян - мыловар,

Михридат Мирзаханян - помещик,

Саргис Шагинян - торговец.

Вот он, воистину единый национальный фронт, и это единство было не случайным, потому что стреляющий с крепостной стены турок не интересовался классовой борьбой, и попадись в руки турецкому аскеру любой без разбора армянин, он замучил бы его, не вдаваясь в анкетные данные. И так же как в Айгестане, люди в Цитадели отрешились не только от своего социального происхождения, но и от партийной принадлежности и все как один встали под священное знамя самообороны, потому-то помнили о погромах девяносто шестого и аданской резне.

Плачь, армянин! Погромы и резня.

И Киликия стали как пустыня.

Огонь и меч, разбой средь бела дня,

И трона Рубинянов нет в помине.

Такие вот дела, дорогой. И еще:

Хочет султан вырезать нас,

Встань, мой сынок, свет моих глаз...

Если даже не брать в расчет всех преимуществ турок, одного того, что господствующая над Цитаделью крепость находилась в их руках" было достаточно, чтобы в "течение Двух дней вырезать всех армян Цитадели. Элементарная арифметика, такая же простая, как дважды два - четыре. Но...

ванец не ванец, если не способен превратить простейшую арифметику в алгебру и в неотвратимо справедливую высшую математику, которая впоследствии будет именоваться героическим Ванским сражением.

И чтобы не случилось новых погромов и резни, и армянин не проливал слез, и прекрасный Васпуракан не стал пустыней, как стала ею прекрасная Киликия, и огонь, и меч, и разбой средь бела дня не истребили следов трона Арцруни, как истребили они следы трона Рубинянов... проснись и встань, ванец, свет моих глаз!

Сколько писателей, сколько красноречивых ораторов сквда ко застольных златоустов на протяжении последующих деятилетий писали и вещали об этом событии и торжественно отмечали, и все пришли к единому выводу - ванец проснулся, потому что не мог ванец не проснуться.

Итак, согласно письменным и устным свидетельствам очевидцев, бои в Цитадели были тяжелее и фатальней боев в Айгеетане. Причина тому одна: Цитадель занимала территорию существенно меньшую, чем Айгестан. Войной была объята вся Цитадель! тут не было ни мирных, ни нейтральных зон. Здесь бились Каждый дом, каждая стена, каждый житель. И потому армянские позиции в Цитадели определялись по названиям кварталов и домов, названиям, которые доныне переполняют сердце любого ванца волной сладостных и горьких воспоминаний.

Любопытно и трогательно, что штаб военного командований находился в покоях епархиального начальника. Вернее сказать, маленький, выстроенный из гладкотесаного камня в духе армянского зодчества замок, где помещалась армянская духовная епархия, превратился в военный штаб, под сводами которого вмести слов "Мир каждому входящему" звучали страшные, суровые лозунги "Смерть подлому врагу!", "Свобода или смерть!", а сам епархиальный начальник вардапет Езник принужден был, засунув черную ризу священнослужителя в штаны и повесив на шею десятизарядный маузер, стать на защиту укреплений.

И все же... И все же военное командование не хотело брать на себя ответственность за начало боевых действий и поручил предводителю епархии вардапету Езнику лично предстать перед Джевдедом и уяснить, на самом ли деле тот намерен... не поперхнувшись, сожрать ванца или?"

Какие еще "или"! Связь между Цитаделью и Айгестаном прервана, Ишхан со своими телохранителями убит в Хирче черкесским атаманом Поладом-беем и его шайкой. Врамян утоплен в море.". Какие еще "или"!..

И все же, поглубже схоронив в душе мрачные свои думы, вардапет Езник предстал перед черным ликом Джевдеда и вернулся ни с чем.

- Я предложил Ишхану поехать в Шатах пресечь армяно-курдские стычки. Он обрадовался: "Давненько не бывал я в Шатахе, съезжу поохочусь на медведя". Мне стало ясно, что "поохочусь на медведя" - значит "перебью курдов". Я приказал Поладу-бею с его черкесами задержать Ишхана, а будет сопротивдяться убить.

Так сказал Джевдед.

- Член Османского парламента Врамян-эфенди? Его личность неприкосновенна. И чтобы с ним ничего не случилось, я отослал его в Стамбул.

Так сказал Джевдед.

- Эта страна должна принадлежать либо армянам, либо туркам, либо мусульманство, либо хриетианство... Третьего не дано.

Так пролаял Джевдед. А вардадет Езник, со своей стороны, сказал военному командованию так:

- Я пессимист. У меня сложилось впечатление, что этот взбесившийся турок разрушит Ван.

2

И в то самое время, когда в Айгестане, прислушиваясь к далеким и близким, сильным и слабым взрывам, Ованес-ага бился над вопросом о руководстве и пытался разрешить неразрешимое, в то самое время в Цитадели, со стороны мечети Ули раздались два ружейных выстрела, а вслед за ними третий,

четвертый... И начался такой адский концерт, что мигом заглушил доносившуюся из Айгестана пальбу. А если чего недоставало, то нехватку восполнили пушки с крепостного вала, которые обрушили на Цитадель смерть и ужас, страх и кошмар Цитадель, однако, не потеряла голову.

Тяжким, тяжким и фатальным оказалось боевое крещение первого дня битвы. Турки, по всей видимости, наметили в первый же день покончить с Цитаделью, и вот регулярные части вместе с чеченцами и черкесами во главе вооруженного до зубов сброда с четырех сторон верхом и пешим ходом двинулись к армянским оборонительным рубежам. Наше перо бессильно нарисовать картину героических боев начального дня апрельской бит вы. В глазах сражавшегося ванца мир исчез или, скажем так, уменьшился, сузился и обратился пробитой в стене круглой бойницей, через которую он следил за атаками отлично вооруженных турецких орд и стрелял, укладывая врага наземь и отбрасывая его вспять.

Это не сказка и не легенда; регулярным и нерегулярным турецким войскам с их неограниченными боеприпасами военное командование Цитадели могло противопоставить лишь девяносто маузеров и сто одно ружье, сто одно ружье всех мыслимых и не" мыслимых систем и калибров, сто одно ружье, если считать таковыми берданку и дробовик... Не забудем и шестнадцать гранат различной величины и мощности, невинное охотничье ружьецо и пистолеты. Сколько было патронов? О, несметное число, а именно двенадцать тысяч триста, тогда как с турецких позиций толлько за один час производилось десять тысяч выстрелов. Всего двенадцать тысяч, всего:

...Только недели две прошло посте убийства Ишхана и его парней, а казалось, утекли годы. Так по крайней мере казалось Пеладу-бею, который объезжал на коне позиции, кого-то воодушевлял, кому-то приказывал, а вечером в урочный час являлся с докладом о положении дел - к наместнику. Сыщется ли должность легче и почетнее?

В послужном списке Полада-бея во множестве числились дела как сухие, так и мокрые. Многие годы он участвовал или возглавлял карательные набега

разбойничьих отрядов на армянских фидаи, охотился за ними и отправлял на тот свет, обеспечивая себе вечное блаженство в мусульманском радо под тенистыми опахалами прелестниц-гурий. Но наиглавнейшим его свершение стало убийство Ишхана с телохранителями.

Джевдед сидел, в своем разностильно - аляфранка и алятурка - убранном кабинете и, зажав в желтых зубах желтый янтарный мундштук, выпускал дым прямо в лицо Поладу-бею.

- Ты знаешь, кто таков Ишхан, что он из себя представляет?

- Знаю, мой господин.

- Ну так скажи.

- Ишхан... комитетчик?

- Комитетчик, - усмехнулся Джевдед. - Комитетчик комитетчику рознь. Ишхан - комитетчик из комитетчиков, Полад-бей, главный комитетчик.

- Да падет "проклятие Аллаха на головы комитетчиков и главных, и неглавных, и самое страшное - на самого ничтожного! - пропел Полад-бей, то повышая, то понижая голос. - А не настало ли, мой господин, время всех их... прижать к ногтю? Не пора ли успокоить мерзких армян!

Джеадед помрачнел, выпустил клуб дыма и изрек:

- А они успокоятся? Это сейчас-то?.. Армянин не успокоится, Полад-бей. У армянина теперь есть право избирать и быть избранный, у него есть Врамян, член турецкого парламента. Каково, Подад-бей? Вместо того чтобы вешать, мы избираем их в парламент... Нет, бей, нет, пошутили и хватит. В этой стране жить либо христианам, либо мусульманам. Чае настал, бей. Секретные циркуляры из Стамбула тому свидетельство. Правильно пишет айоцдзорский мюдур Камал. Он втерся в доверие к комитетчикам и многое у них выведал! Bow его последаяя докладная: "Мой господин, подтверждаю прежние свои докладные и хочу добавить, что я совершенно убежден - уцелей на нашей земле хоти бы три армянина, армянский вопрос останется. Выводы вы сделаете без меня..." Видишь?

- Так - пропел Полад-бей.

- Слушай, зачем я тебя позвал, - понизил голос Джевдед. - Сегодня вечером Ишхан едет по-моему приказ в Шатах чтобы подавить волнения. Вполне возможно, волнения там и вправду начнутся. Но это не важно, важно то, что Ишхан не должен доехать до Шатаха. По дороге он остановится на отдых в одной из деревень... Выбери несколько повидавших крови человек, и где застанешь Ишхана... кто покончит с пастухами, управится и с баранами...

- Ишхан поедет один? - задумался Полад-бей и сам себе ответил: - Конечно нет.

- Конечно нет, - подтвердил Джевдед. Прихватит кое-кого из своих храбрецов. Ни один из них не дойдет до Шатаха, ни один не вернется в Ван... Ясно?

- Ясно, мой господин.

- Вот и хорошо. Приступай. Никому другому я не поручил бы это очень и очень ответственное дело.

- Благодарю за доверие.

Наверху Полад-бей столкнулся с озабоченным сутуловатым начальником полиции Агьягом. Видимо, тот собирался сообщить Поладу-бею нечто необычайно важное, но, взглянув на его лицо, понял, что Полада-бея сегодня не удивишь, он знает что-то похлеще, знает большую тайну, которой никогда не поделится. Начальник полиции сник и уступил Поладу-бею дорогу, а Полад-бей...

Скачет Полад-бей от позиции к позиции, кому приказывает, кого-то воодушевдяет, одного последними словами бранит, другому говорит "аферим!". Турки не любят воевать, турок турком, а - война войной; убивать, грабить - это за милую душу, это он веегда потов, а воевать... Турецкий солдат, спит и видит: в бескрайнем, открытом поле стоят, понурившись, армяне безропотные, покорные, армянский народ - только женщины да дети и ни одного мужчины. Какому турку не люб такой армянский народ? Той же ночью Джевдеду снится Ван без Ишхана, Арама и Врамяна, и он решает за один присест слопать всех троих,

И вспоминает Полад-бей ту темную, мрачную ночь (всего-то недели две прошло с тех пор, но ему кажется - века), когда он с оравой "повидавших крови" и по-прежнему жадных до нее молодчиков поскакал по следам Ишхана к Шатаху, чтобы сбылись слова Джевдеда: до Шатаха они не доедут и в Ван не вернутся. Топча копытами влажную весеннюю землю, вздымая за собой влажную дорожную пыль, двигались они из села, в село, останавливались в каждом, заходили в дома, спрашивали: проезжали ли здесь всадники? Всадники проезжали, отвечали им, отсюда приехали, а туда уехали."

- Следующая деревня Хирч, мы в Айоц-Дзоре, - объявлял курд Абдал, который скачет впереди. - Перед нами Хирч.

Перед ними тьма, густая тьма, недружный собачий лай, но вот впереди двухэтажный каменный дом; окна у него квадратные, а в окнах свет. Из освещенных окон вырываются глухие звуки пей ни, разговоры по-армянски, турецки, курдски, хдопки, смех.

- Дом курда Рашида, - шепчет Абдал.

- Это они, - говорит Полад-бей, - отряд Ишхана. Кутят...

И вспоминает Полад-бей: всего несколько минут длилась кровавая расправа; и особицей от прочего вспоминает Полад-бей последний взгляд Ишхана: сверлящие Полада-бея, полные бессильной ненависти черные глаза, похожие на черные ночи. Полада-бея бьет дрожь, но ведь хозяин-то положения он. Оружие армян висело на стене. Ишхан... Ишхан потянулся было к верному своему маузеру, но громыхнула винтовка Полада-бея, и рук Ишхана бессильно упала на грудь.

- Ишхан сидел грустный, - докладывал Полад-бей Джевдеду, - мы подкрались незаметно, заранее высмотрели в окно, кто где сидит. Ишхан не притрагивался ни к еде, ни к вину, уперся кулаками в подбородок... удобно сидел, очень удобно, Его телохранители: А утром мы вобрали всех мужчин старше пяти лет, втолкнули в чей-тог дом подожгли. Незабываемое, восхитительное зрелище, мой господин. Мы не тронулись с места, пока все не сгорело дотла. А остальных...

Высоко, чрезвычайно высоко оценил Джевдед чистую, до мелочей продуманную работу Полада-бея, и не ограничившись денежной мздой, назначил на ответственный пост войскового инспектора, сделав его своей правой рукой, своим глазом и ухом. Командиры ему не подчинялись, это верно, но боялись пуще огня, и стоило ему показаться вдалеке, как поднимался переполох, все вытягивались в струнку, чтобы вечером, представ перед Джевдедом, Полад-бей сказало они доброе словечко, на худой конец - не ругал...

Полад-бей: Все сильнее день ото дня тяготила Полада-бея "легкая" его должность. Не было ничего утешительного, он ничем не мог похвастать перед Джевдедом, обрадовать жаждущего крови наместника. Армяне сражались с дьявольской силой и ловкостью, защищали свои позиции отчаянно и храбро: Они ухитрялись выводить из строя турецкие укрепления и вынуждали турок отступать, а значит, отдалаться от оборонительных рубежей и ослаблять силу своих ударов. Каждый раз когда, сидя напротив наместника, Полад-бей докладывал о событиях последних двадцати четырех часов, он чувствовал, что Джевдеду прекрасно обо всем известно, но тот внимательно его выслушивал и не перебивал, словно выслушивал новость, а под конец хмурился, упрекал, поносил:

- Вот как вы блюдете честь и славу великой Оттоманской державы, эфенди!

Или:

- Холуи, осрамились перед всем миром и перед историей, позор!..

Большой ванский рынок спалили, конечно же" не армяне - не мог ванец собственными руками предать огню свое добро, это турки ограбили и подожгли базар и проложили тем самым дорогу огню. А защитники Цитадели сожгли, не сумев захватить, стратегически важные укрепления турок. Захватить или сжечь - такой была задача, под таким девизом начала действовать группа поджигателей во главе е Аро. Где Аро - там огонь, где огонь - там победа.

А где Аро, там и Арам, пылкий шестнадцатилетний юноша Арам Капарукян. Автор этих строк всей душой сожалеет, что великий языковед Рачия Ачарян ие уточнил в свое время этимологию слова "капарук". Сколько я помню, "капарук" означает приблизительно... я скажу: упрямец, ты скажи: неслух. Очень подходила Араму его фамилия: он упрямо доводил до конца опасные свои затеи и, не зная страха, не слушал призывов к осторожности. Самым серьезным и дерзким среди ночных подвигов группы Аро был поджог государственного оружейного склада, и осуществил его Арамик. Это он, держа в одной руке банку с керосином, а в другой спички, бросился в изрешеченную градом пуль темноту и через несколько минут вернулся невредимы взмокший и счастливый. Чуть погодя ненавистное ванцам здание арсенала лизнули громадные языки пламени. Ночь обернулась днем, освещенная взрывами снарядов, пороха и патронов: бум-бум, трах-татах, бах-бабах... ух!.. - выл, голосил, чудовищным филином ухал чудовищный арсенал...

Чем порадовать наместника?

Чего хотелось ванцу? Держаться и сопротивляться. Чего хотел турок? Победить и предать Ван огню и мечу. Какому безумцу охота пасть под мечом кровожадного турка? Так рази, ванец, рази и держись, вспоминай свой пятивековой плен и рази, вспоминай неисчислимые именитые и безымянные жертвы и рази, вспоминай 96-й и рази, вспоминай Пето, Аветисяна и Мартика и рази, вспоминай залитую кровью Киликию и рази, рази!

Полад-беи устал; после убийства Ишхана он надеялся отдыхать и почивать на лаврах, а дело-то вон как обернулось. Конечно, его вознаградили, но награда оказалась похуже кары. Зачем ему каждый Божий день видеть то кислое, то взбешенное лицо Джевдеда, говорить о неудачах и чувствовать себя виноватым, будто это и впрямь его грех, что ванцы дерутся на зависть и турецкие войска и оружие бессильны против них, - зачем ему это надо? Разве он виноват, что, потеряв Ишхана и Врамяна, ванцы не потеряли голову, наоборот, приобрели какую-то сказочнуютысячеглавую мощь? И дерутся,

дерутся не одни только мужчины, но и женщины - Ахавни, Арусяк, - дерутся, как настоящие мужчины, и не только женщины дерутся, но и ребятня лет по восемь-десять. Они, эти детишки, бомболовы (а не какие-то рыболовы): бегают по армянским позициям и кварталам, выискивают неразорвавшиеся бомбы и вытаскивают из них запал, а сухой порох сдают на оружейный склад - набивать патроны. И не только дети, дерется каждая принадлежащая армянину стена, каждая дверь, каждый камень. Это что, война? Не война, а происки шайтана, колдовство, наваждение.

Невесело скачет вдоль позиций Полад-бей, покачиваясь на своем гнедом с подпалинами коне. Ночью он так и не поспал, а ведь сомкнул глаза с единственной мечтой - уснуть, уснуть беспробудным сном и проснуться, когда ванские армяне покорно склонят головы перед Джевдедом, а турецкие аскеры ворвутся в армянские кварталы и начнут прочесывать дом за домом, - и не раньше. Уж тут-то... тут-то Полад-бей показал бы свою силу и удаль...

Сейчас он стоит возле мечети Ени-капу; турецкие артиллеристы продырявили стену мечети, поставили пушку и без передыху бомбардируют здание Текалиф-и-Арбиени, еще день-два назад турецкое, а теперь армянское укрепление. Окна здания вышиблены, кирпичная кладка порушена, и на месте кирпичей зияют какие-то пустые, слепые глазницы.

Бесконечно сотрясаясь от выстрелов, мощный ствол пушки мало-помалу расширил амбразуру в стене; торопливо шедший по коридору Текалиф-и-Арбиени вардапет Езник бросил взгляд в высаженное окно и остановился - не потому, что умолкла страшной разрушительной силы пушка, не потому, что в широкой круглой амбразуре видны как на ладони пятеро пушкарей, а потому, что вдруг заметил турецкого командира: тот сидит верхом, поводья в одной руке, и, куда-то тыча плетью, что-то приказывает. Похоже, он распорядился прекратить огонь и заложить непомерно широкую бойницу. Вардапет Езник напряженно вглядывался и напряженно думал. "Провалиться мне на месте, если это не тот самый Полад-бей, убийца Ишхана..." Он быстро опустился на колени и направил маузер на Полада-бея. В тот же миг взгляд Полада-бея упал

на выбитое окно неприступного бастиона, и ему померещилось, что выбитое окно стремительно, с какой-то колдовской скоростью надвигается на него, а оттуда, из темного провала, в глаза ему смотрят грустные глаза Ишхана, точь-в-точь так же, как той роковой ночью. Но вот... грустные глаза посуровели, преисполнились лютой ненавистью, задымились... Полад-бей не двигался, словно окаменел, словно загипнотизирован, громадная волна воды вперемешку с пеплом захлестнула его, придавила, тянет вниз. "Убили", - смутно пронеслось в голове, и все покрылось волной воды вперемешку с пеплом и тяжелым, свинцовым, удушливым дымом.

Полад-бей не ошибся. За безбожника Ишхана отомстила праведная пуля священнослужителя; все известные и неизвестные небесные силы - от халдейских идолов до нынешних богов - поднялись помочь ванцу в его изнурительной, в его роковой битве за жизни.

Вот так оно было, дорогой.

Согда Джевдеду сообщили о смерти Долада-бея, он криво усмехнулся: "Одним Поладом больше, одним меньше, этого добра у нас, слава Аллаху, хоть отбавляй"...

И сказал:

- Похороните его без шума... Если так пойдет, мы еще ему позавидуем.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТОЕ,

или О том, как... Рождение и воскресение учителя Геворга

1

С первого же дня боев жизнь и весна выбились из привычной колеи и устремились черт-те куда. Была весна, и не было весны. Люди жили в такую пору, которую не назовешь ни весной, ни летом, ни осенью, ни зимой, люди жили вне времен года.

Вне, но и внутри - внутри сжигающего, стреляющего, душащего кольца.

Как и прежде, как и всегда, солнце восходило из-за горы Вараг, но никто и смотреть туда не смотрел, особенно с того дня, когда гору Вараг захватил враг.

Армянские бойцы не выстояли и отдали гору, село Шушанц, монастыри Варагский и Кармравор.

Не выстояли.

Не слышно птичьего пения. Сады зазеленели, деревья расцвели и опали, и вот уже набрала силу недавно еще слабая, клейкая листва и набухают завязи. Но никто этого не замечает. Грядки не окучены и не возделаны, сорняки зацвели, как Вержине, которая уже вторую неделю. после загадочной, а скорее бессмысленной гибели господина Геворга по распоряжению Ованеса-аги и с согласия Сатеник живет в их беспокойном и гостеприимном доме. ... Выйдя от Ованеса-аги, господин Геворг понял, что идти ему некуда. Никто не поручал ему и не поручит ходить по позициям и воодушевлять бойцов. Передовая не казино, и застольные речи там не пройдут. Господин Геворг, однако, полагал, что такому человеку, как он, не дело устраняться от всего и всех наподобие Манасеряна Миграна. Он сам придумал себе эту полезную и скромную работу. Разумеется, будь передовая кофейней или винным погребком, господин Геворг блистательно осуществил бы свою проповедническую миссию.

То, что причиталось ему за Ахтамар (господин Геворг и поныне не хочет об этом вспоминать), растаяло, не успел он оглянуться. Вообще, ахтамарские события сломали в нем нечто очень важное. Он почувствовал после них, что потерял свое место в жизни, которого у него и без того-то не было. Он твердо стоял на ногах только в пьяном застолье, когда же случались сухие дни, он боялся и себя, и людей, и утреннего света, и ночной тьмы. Особенно болезненная тревога обрушивалась на него в дождливые ночи. До самого восхода, наяву ли, во сне ли, маялся он, вздыхал и стонал над ухом Вержине. А она свыклась со всем этим, как хромрй свыкается со своей хромотой, как свыкается мать с увечным сыном.

Однажды, войдя в дом, он положил на колени жены бумажный сверток.

- Это тебе фстаниу (*).

(*) Отрез на платье (тур.).

Дорогой отрез не на шутку напугал Вержине.

- Ованес-ага дал? - спросила она.

- Как же, - усмехнудся господин Геворг. - Ованес-ага о тебе лишь и думает.

- Ованес-ага меня любит, - сказала Вержине, поглаживая ткань и вспоминая тот день, когда она подметала на улице и перед ней вдруг очутился деверь и посмотрел на, нее такими глазами, смысл этого взгляда дано донять только женщине.

- Точно, - подтвердил господин Гецррг, - ночами из-за тебя не спит...

Тем разговор и закончился. Вервдне не заходелрсъ, выпытывать, откуда взялась эта ткань, ей приятно было думать, что Ованес-ага пожелал увидеть ее в новом нежно-зеленом платье.

После этого муж какое-то время возвращался домой- хоть и слегка навеселе, но всегда с покупками. Тогда же до нее дошли пересуды о событиях в Ахтамаре. Особенно интересовалась ими Киновабе Араркцян. Однажды она удивилась, что Вержине ничего не знает и что муж не рассказал ей всего в подробностях. Пришей черед удивиться Вержине: мужу-то, мол, откуда об этом знать? На что Кйновабе словно бы между прочим сказала:

- Что слышала, - то и говорю! Он вроде как был на острове!..

На острове или в преисподней - не важно; важно, что Вержине вспомнила: не так давно муж несколько дней кряду домой не являлся. Постучался он поздней ночью и едва стоял на ногах. Вержине спросила, где, мол, ты прбпадал, и он, насилу ворочая языком, объяснил, что был в Шахбахе.на чьей-то свадьбе. Слов нет, веселенькая была свадьба.

Потом наступила пора "подъема". Муж хорошо одевался, отпустил щегольскую бородку, взял в руки трость и ударился в бахвальство:

- У нашего Арама глаза болят, схожу погляжу, чем бы помочь.

- У Мартикяна Арама? - спрашивает Вержине.

- Какого еще Мартикяна! - сердится господин Геворг. - У Арама-даши... Или:

- Ишхан за мной послал, схожу погляжу, чего ему не хватает...

А однажды не, на шутку расхвастался:

- Врамяну вздумалось проверить, умею ли я держать язык за зубами, я ему так ответил, он собственный язык прикусид...

Знавшая мужа как облупленнрго, Вержине не удивилась, когда он преобразился, и не огорчилась, когда от его надутости и следа не осталось и он принял, так сказать, свой обычный прежний облик. Невооруженным глазом было видно, что двойное это преображение подорвало силы мужа - не физические, а душевные. Он становился невыносимым, если ему не удавалось, раздобыть выпивки, - мелочным, подозрительным, чуть ли не полоумным. Он даже попробовал поднять на жену руку, но, когда Вержине обошлась с ним, как здоровая кошка с хилой мышью, готов был локти кусать от бессилия и чуть ли не заплакал, правда, без слез..

Вержине сделала вид, что ничего не замечает, когда на его пальце засверкало золотое или позолоченное кольцо, сделала вид, что не заметила, когда оно исчезло. Как-то раз, Вернувшись Домой после нескольких дней отлучки, он дал жене десять золотых, а наутро спросил:

- Деньги на хлеб есть? - и дал еще два куруша.

"Помещался, - решила Вержине, - совсем спятил..."

Наступил день, когда пропал из сундука и недавно подаренный фстанцу. Краска прилила к щекам Вержине, но она и слова не проронила. Чутье подсказывало ей, что жестокая игра в супружескую жизнь близится к концу.

... Выйдя от брата, господин Геворг обошел почти все главные улицы города, хотя это было далеко не безопасно, посетил все мало-мальски заметные злачные места. От города, можно сказать, ничего не осталось. Все известные, а равно и безвестные кофейни, и харчевни были закрыты, закрыты были и магазины. На лицах редких прохожих читалась тревога и озабоченность.

У дома Хотемкянов ему попался Акоб Кандоян. Он хотел было пройти мимо, но Акоб-ага стукнул клюкой о землю и остановился.

- Здравствуй, господин Геворг.

- Доброго здоровья.

- Куда это ты так важно?

- На передовую.

- Где же твой револьвер?

- Одни стреляют, другие намечают, куда стрелять, поднимают дух.

- Ерунда все это!

- У нас разные взгляды, - укрепил шаткие свои позиции господин Геворг. - Оставайся при своем мнении, а я останусь при своем...

Акоб-ага вплотную подошел к господину Геворгу, впился в него голубыми глазами и сказал:

- Сейчас у всех одна мысль и одно мнение: сражаться... и погибнуть!

- Зачем непременно погибать? - раздраженно спросил господин Геворг.

- А как же иначе? - удивился Акоб-ага. - На передовой не
изюм с орешками раздают.

- Я понимаю, - с видом профессионала сказал господин Геворг, - но так бойцов не воодушевляют. Сражаться и победить - вот что им надо внушать! Ну да Бог с ним. А ты почему не сражаешься и не погибаешь?

- Да ты, оказывается, ничего не знаешь! - озираясь по сторонам, перешел на шепот Акоб-ага. - Оружия нет, чем сражаться?

- Как это?

- Так это... - Акоб-ага принюхался. - Хлещешь водку и понятия, не имеешь, что кругом творится. Я был у Терлемезянов, господин Фанос жаловался: слушай, говорит, турецкое правительство обвиняет нас, будто мы получаем из-за границы оружие, готовим всеобщее восстание; теперь, говорит, мы собрали все, что у нас есть, и выяснилось, что оружия в Ване меньше, чем людей на позициях. Чего же, говорит, дашнакские шефы столько шумели: мы, мы...

Господин Геворг провел по лбу пальцем, словно вспоминая нечто важное. И вспомнил:

Хоть нет у нас ни сабли, ни меча,
Но мы кирками нашими, кирками
Насильника убьем и палача.

- Что ты хочешь сказать? - усмехнулся Акоб Кандоян. - Возьму кирку - и в бой? Кто ее сочинил, эту песню, пускай тот и идет с киркой против регулярных войск.

Господин Геворг приободрился.

- Стало быть, если я сейчас попрошу оружие, чтобы сражаться и победить или погибнуть, мне его не дадут?

- Конечно нет. Сказано же тебе... армянского языка не понимаешь?

- Позор! - возмутился господин Геворг. - Сейчас же иду на позиции, и пусть попробуют не дать мне оружия!..

И уверенным шагом двинулся вперед, совершенно ошеломив Акоба-агу Кандояна. При этом господин Геворг думал: "Получил мат, Кандо? Вот и стой как пень..."

Он прошел по Ханке-Похану с востока на запад, миновал дома Гарбузянов, Балдошянов. В конце улицы, перекрывая ее, высилась только-только сложенная стена. Свист ружейной перестрелки раздавался теперь прямо у него над ухом. Он оказался возле Араруцкой позиции - квадратного сооружения с толстыми стенами, где еще несколько дней назад варили мыло и отливали свечи.

Собравшись с духом, господин Геворг вошел со двора в дом.

Первое, что он ощутил, был острый и неприятный запах пороха. В бывшей мыловарне царил полумрак. Большие окна были сплошь заделаны необожженным кирпичом, если не считать квадратных проемов-бойниц. В бывшую мастерскую и нынешнее укрепление свет падал через дверь - она выходила во двор - и эти проемы. Бойницы смотрели прямо на Араруцкую площадь и полицейское управление, иначе говоря - на турецкие позиции, откуда беспрерывно стреляли. У каждой бойницы стояло по бойцу.

На яростную турецкую пальбу они отвечали редкими выстрелами.

Вообразим на минуту, что это не перестрелка, а беседа, - получится, турки без умолку говорят, шумят, кричат, орут, а армяне предпочитают либо отмалчиваться, либо изредка бросить сухое "да" или "нет".

Первым господина Геворга узнал Амбарцум Лорто, или просто Амбо, славный боец девяносто шестого, командовавший, по-видимому, здешним отрядом. Это был крепкий мужчина лет сорока пяти-пятидесяти, большеголовый, с широкими вислыми усами, густым басом и умными грустными глазами. Усевшись на верстак под стеной бывшей мастерской, он с аппетитом поглощал хлеб с сыром. Казалось, будто ест он не только ртом, а всем лицом: усы поднимались и опускались, щеки подрагивали, морщины на лбу то разглаживались, то снова собирались.

- Учитель, - сказал он, проглотив последний кусок, и принялся сильными толстыми пальцами скручивать такую же толстую цигарку, - пришел учить нас?

- Нет, пришел учиться, - ответил господин Геворг.

Бойцы рассмеялись.

- Машалла, - похвалил его Амбо. - С чего начнем, с азбуки? Или азбуку ты знаешь? - спросил он вполне деловым тоном; трудно было понять, всерьез или в шутку задан вопрос.

- Если азбука - это уметь заряжать ружье, то знаю.

- А целиться?

- Не пробовал.

- Дело прошлое, верно говорят, что в Ахтамаре без тебя не обошлось? - смешивая табачный дым с пороховым, спросил Лорто.

- Что за Ахтамар? - удивился господин Геворг.

- По майдану кто-то ползет, - прервал невыносимую для господина Геворга беседу высокий, длиннорукий и длинноногий боец у центральной бойницы; то был Сосоян Амаяк, которому удалось вовремя сбежать из турецкой армии. Все знали, что турки не доверяют солдатам-армянам, не выдают им оружия; из них формировали рабочие батальоны, их отправляли строить дороги, их мучили, истязали, унижали. Амаяку повезло.

- Армянин или турок? - засомневался тот же Амаяк.

- Что потерял армянин на Араруцком майдане, в церковь, что ли, собрался? - усмехнулся Амбо; подошел к бойнице, выглянул, взял из рук Амаяка обрез, прицелился, выстрелил, отпрянул назад, еще разок выглянул и вернул оружие Амаяку. Тот, на майдане, не двигался. Безлюдная и пустынная Араруцкая площадь, окруженная закрытыми и разграбленными лавками, приобрела вконец зловещий вид.

- Ты, учитель, наверно, знаешь, долго ли добираться отсюда до мусульманского рая? - громко, чтобы все слышали, спросил Амбо.

- Нет, не знаю, - ответил господин Геворг, сокрушаясь, что не улучил минуту и не исчез с мыловарни, как исчезал из казино или кофейни, когда нечем было расплатиться. - Не знаю, не бывал в тех краях...

Примостившиеся тут же на досках бойцы - они чистили и приводили в порядок свое оружие - снова рассмеялись. В распахнутую дверь влетела со двора пуля... нет, не так, со двора пулей влетел Сурен. Было видно, что он всю дорогу бежал. Привыкая к потемкам, парнишка быстро-быстро моргал глазами; наконец, приглядевшись, подошел к старшему отряда, Амбо, вытащил из кармана и протянул ему бумагу:

- Господин Екарян велел передать.

Взяв толстыми пальцами бумагу, Амбо шагнул ближе к свету, а Сурен поздоровался с дядей.

- Сурен? - обрадовался тот. - Ты посыльный? Бегать на посылках - дело для девчонок. Взял бы свою взрывчатку - и на позиции.

- Господин Екарян уже обещал, - так и засиял Сурен. - Дня через два получу оружие.

- Молодчина, Гаврош! - похлопал племянника по спине господин Геворг, а Сурену показалось, что дяде грустно.

- Семь человек мигом на Шахпендеряновскую позицию! - распорядился Амбо, помахивая в воздухе приказом из штаба. - Саак, Айрик, Агавард, Арут, Хриси, Абет... и ты, черный дьяволенок... мигом слетать!

И семерка действительно полетела.

Вместе с ними неприметно выскользнул из бывшей мыловарни и господин Геворг - он боялся, что Амбо повторит свой вопрос, - а за ним и Сурен.

2

На третий день боев голодный и обессиленный господин Геворг направился к Ованесу-аге. Настал миг, когда показаться на глаза Вержине стало невыносимей, чем явиться к брату, чем посмотреть на избегающую его взгляда настороженную Сатеник. С некоторых пор ему чудилось, что дома и сердца всех знакомых и тем более незнакомых - это мрачные неприступные твердыни и проникнуть туда невозможно. "Военное, осадное положение, - не раз и не два бормотал он себе под нос, - схватка не на жизнь, а на смерть. А вдруг турки победят? - вновь и вновь задавался он неотступным вопросом. - Вырежут всех ванцев до последнего, не различая пола и возраста..."

Ночевал он на ацамброхяновском сеновале. Сам дом, заброшенный хозяевами, превратился в бастион. Чтобы заглушить голод, господин Геворг курил папиросу за папиросой. Над ухом гремели выстрелы. Он пытался думать о вещах мирных, невоенных. Ну, например, как возникла фамилия Ацамброхян? (*) После долгого и скрупулезного анализа господин Геворг заключил, что родоначальники этого семейства отличались скупостью: выпекая, продавая или покупая хлеб, они его считали, что по неписаному закону почиталось грехом. Считать хлеб - грешно. А теперь, в тяжкие эти дни, все ванцы стали хлебосчетами. Действуют лишь те пекарни, где пекут хлеб для ополченцев, беженцев из деревень Васпуракана и госпиталей. "Не пойти ли рабочим в пекарню? - подумал он. - Но кто меня возьмет... А если и возьмут - удобно ли? Что скажут люди?"

(*) От армянских слов "ац" - хлеб и "амбрел" - считать; буквально считающий хлеб.

Нет, надо сходить к Ованесу - такой ли сякой ли, а брат.

По дороге он обдумывает, что сказать. Едва ступив за порог, он признается как на духу: "Ованес, братец, я пришел допить недопитую водку, нет... осушить ее... я голоден, Ованес. Скажи Сатеник, пусть покормит меня..."

Идет господин Геворг и раздумывает: "А может, лучше быть серьезным, печальным, отрешенным, завести разговор о династии Аршакуни, об их царстве, бросить легкий обзорный взгляд на наше историческое прошлое, перекинуть мостик к нашим дням, обсудить деятельность гнчаков, угодивших один за другим в тюрьму, обрушиться на дашнаков, отвратительно подготовивших самооборону, ведь сегодня таким, как я, нечем сражаться..."

Садовая калитка была заперта. Он трижды стукнул ладонью: тук-тук-тук.

Отворила ему Сатеник - с засученными по локоть рукавами, мокрыми руками. Ясное дело, занята стиркой. Ованеса-аги нет дома, сказала она, ушел к Мухсахянам.

- А я стираю, - добавила она с нажимом, что означало лишь одно: мне не до тебя.

Колени господина Геворга задрожали от досады, но он пересилил себя:

- Ничего страшного... загляну завтра, если найду время...

Третьего дня встретил Сурена. Приходил на Араруцкую позицию с бумагой от нашего Екаряна... посыльный.

- Со вчерашнего дня воюет в отряде Арабо, - с беспокойством и гордостью сообщила мать и тихонько притворила калитку.

Стоя перед закрыггой калиткой, господин Геворг почувствовал, что силы изменяют ему. Куда деваться теперь? В ту же минуту, догадавшись, что деверь как стоял, так и стоит, Сатеник снова открыла дверь:

- Хочешь что-то сказать?

- Вовсе нет, - ответил господин Геворг, силясь выглядеть равнодушным, и неестественно громко объяснил: - Стою и думаю, куда идти - к Терзибашянам или на Чантикяновские позиции.

- Иди к Терзибашянам, - серьезно посоветовала Сатеник, и опять, уже окончательно, дверь перед господином Геворгом захлопнулась.

На охваченный страхом город опускался третий вечер боев.

Выбравшись из пустынных садов, господин Геворг вступил в еще более пустынное Лисье ущелье. Он заставлял себя идти только вперед и, все еще огорченный и разочарованный, сам не заметил, как очутился на знакомой Араруцкой позиции.

В свете висевших на двух стенах фонарей Амбо увидел измученное лицо занятного посетителя.

- Пришел? - спросил старший отряда. - Между прочим, без дела ходить по позициям нельзя. Это не кофейня. Здесь воюют.

Слова были строгие, но произнес их Амбо так мягко, будто разговаривал с ребенком. Это придало господину Геворгу смелости.

- Дай мне оружие, я тоже буду воевать, - сказал он, как ребенок.

- Не торчи там, не мишень, - осадил его Амбо. - Иди сюда, ежели что случится, мне отвечать... смотри!

Он показал на стену, сплошь исщербленную влетевшими через бойницу пулями. Пулевые отверстия располагались прямо против бойницы.

- Так тебе нужно оружие? - спросил Амбо.

- Нужно, - ответил большой ребенок.

- Два дня назад у Алеса тоже не было оружия, а теперь есть... - Две пули, одна за другой, со свистом врезались в противоположную стену. - Алес, дай-ка свой кучук-чапли. Это ружье так называется, турецкая штука, старинная. Помнишь того турка, которого я подстрелил? Его ружье. Ночью Алес пополз на майдан, добрался и принес его ружье. Сможешь так?

Господин Геворг не ответил.

- Есть приказ - поджечь оружейный склад... сможешь?

- Если выпить, отчего же нет, - сказал господин Геворг и тут же пожалел.

Амбо рассмеялся, его густые усы скрутились, как рога барана драчуна.

- Вараздат, дай учителю стакан водки.

Когда полный до краев холодный стакан оказался у него в руке, господина Геворга слегка затрясло. Он поднес ко рту подрагивающий в руке стакан,

потянул в себя воздух и смешно скривил лицо. Почему-то ему вспомнилась в эту минуту последняя встреча с братом, Ованесом. Вспомнилось, как патетически он воскликнул, что предпочтет погибнуть, защищая Ван, чем...
Вспомнилось, как зло спросил Ованес: "Что же ты не погибаешь?" Что бишь он ответил? Ах да, вспомнил, он ответил вопросом: "Откуда тебе знать, может, еще погибну?" Так он ответил и впервые за всю свою сознательную жизнь совершил героический, да-да, героический для себя поступок - отказался от водки и встал из-за стола. "Что за чудо?" - яснее ясного читалось на лице брата. "Чудо ты еще увидишь, ты еще услышишь голос Геворга Мурадханяна", - сказал он про себя и вышел.
И вот, голодный и измученный, после долгих и пустых блужданий, он снова на Араруцких позициях. Зачем он здесь? Он знает зачем. Ему осточертела его нелепая жизнь, и сам себе он тоже осточертел. Даже ей, Вержине, он противен не так, как себе... Неужто ему на роду написано стать пьяницей? Конечно же нет. Неужто его брат Амбарцум затем только и явился на свет, чтобы позорно и бесславно умереть? Конечно же нет. Большой город закрутил провинциала в своем водовороте и надломил его, да что там надломил, сломал нравственный его хребет. Брат не устоял против искусительных и на поверку гибельных соблазнов. А он-то, он? Он не нашел своего места в жизни.
Из четырех братьев, выпускников Араруцкой школы, он один выбрал тернистый путь провинциального интеллигента, решил стать воспитателем и просветителем. Однако решить и суметь разные вещи, очень разные. Ночами он дерзко замышлял великие деяния и подвиги, а днем мрачно и отчаянно курил: ему слишком многого недоставало, чтобы осуществить донкихотские эти планы. Отважные полеты его мысли то и дело натыкались на тесные стены школы, а для широких горизонтов его крылья были чересчур слабы. Он слышал, как стонет под игом турецкой деспотии его народ, и мирная учительская кафедра уже не вызывала у него ничего, кроме смеха. Он родился для иных, для великих дел, но с какого боку подойти к себе и как выбраться на широкую дорогу великих подвигов, этого он не знал.

Когда опускалась ночь, все становилось проще и легче. Он воображал себе, как он сидит с Батюшкой Хримяном под старым ореховым деревом и решает с ним важнейшие национальные проблемы; и как, раненный в грудь, он лежит у подножия горы Караисар после героической битвы; и как, осужденный на смерть, он произносит, стоя под виселицей, последнюю гневную и пламенную речь. Ночью все как-то упрощалось и невозможное становилось возможным. Но вот рассветало, приходили обычные серые будни, таяли в небытии чудные ночные фантазии...

Помогла водка. Неважно, как они нашли друг друга, важно, что, единожды сойдясь, они поклялись любить друг друга любовью верной и безраздельной. В водке он обрел и неисполненные свои мечты, и недостижимые фантазии, и несовершенные подвиги. Его любовную связь с водкой укрепило горе - бездетность.

Кто же продолжит великие его дела, если он паче чаяния не доведет их до конца, кто унаследует его духовные и умственные богатства и воображаемые поместья, кто восславит его имя на благо грядущих поколений, кто?..

Что до ахтамарских событий... Сейчас он попросту не знает, что же, собственно, произошло, где был сон, а где явь; может быть, эти обрывки смутных, путаных эпизодов - из его фантазий и кошмаров? Говорят, что Ишхан открыл на острове Ахтамар школу, пригласил учителей и закалял там воинов, и многие из их защищают теперь Ван. Стало быть... стало быть, верно говорят: нет худа без добра.

Как знать...

Годы, годы... Появилась лживая конституция, и кровожадные турецкие правители использовали ее как оселок, на котором оттачивали свой преступный меч. Кольцо все сжималось и сжималось, над Турецкой Арменией сгустились тучи, и над головой армян молнией блеснул ятаган. Погибли Ишхан и Врамян, и ванцы поднялись на защиту своего города. А что же он... он, витавший с неразлучной своей водкой в мире совсем уж болезненных фантазий? Но в тот знаменательный день, когда он, словно просветленный,

покинул дом брата, ему почудилось, что он нашел свой путь, он знает, как спасти себя - и духовно, и физически. На самом же деле все пути перекрыты, не осталось ни одного пути, разве что один-единственный - самоотречение, самопожертвование; он проходил по этому пути тысячекратно и должен пройти еще раз - теперь уже не на словах, а на деле.

Так чего же он стоит, слабый и голодный, с дрожащими коленками, зачем он держит в руке эту треклятую водку? Пить или не пить - вот в чем вопрос. Пить? Он нутром чует: выпей онгорькую эту чашу, как тут же упадет и ни за что не поднимется, он умрет, правда, умрет на Араруцких позициях, но не от вражеской пули, а всего лишь от водки. Стыд-то какой, какой позора.

Неужто он затем только и явился на свет, чтобы бесславно жить и столь же бесславно умереть?..

Он швыряет в открытую дверь, в залитый солнцем двор полный до краев стакан водки. Слышится звон вдребезги разбитого стекла.

- Машалла! - восклицает Амбо. - Молодец, учитель! Теперь я верю, что ты герой!.. Есть хочешь? - И, приняв молчание господина Геворга за согласие, приказывает: - Вараздат, накорми учителя!

Он поел и твердыми шагами направился во двор, к колодцу, откинул ногой круглую дощатую крышку и опустил вглубь блестящее медное ведро на длинной веревке. Вот веревка перестала скользить в ладонях - значит, ведро достигло воды. В глубине колодца слышится глухой всплеск, и веревка в руке натянулась.

Готово. Он вытянул наполненное водой ведро и, подхватив его обеими руками, поднес к пересохшим губам. Пил он большими жадными глотками. Напившись, огляделся. Солнце клонилось к западу, а на юге собирались тучи. В углу двора стоял дровяник.Наверняка он служит еще и сеновалом. От одной мысли, что можно лечь на сухое, мягкое сено и поспать, веки у него подрагивают, глаза слипаются. Спать, спать. Он подошел к сараю - тот сложен из сырцового кирпича - и со скрипом открыл дверцу. Так и есть, это дровяник и сеновал. Солнечный луч долькой спелой дыни лег на сероватую стену

против двери, воздух благоухает сухим сеном. Глубоко вздохнув, он рухнул на сено и заснул сном Мсра-Мелика, громко и мощно всхрапывая.

... Когда он проснулся, в дровянике-сеновале стояла кромешная тьма. Он поморгал глазами, силясь вспомнить, где находится. Вспомнил, и подобие улыбки тронуло его губы, и он вскочил бодро и легко. Потом на ощупь нашел дверцу.

Пропитанный сыростью воздух ласково тронул его лицо. Моросил мелкий дождь. Он услышал мокрые, как ему почему-то показалось, выстрелы. "Стреляйте, разбойники, мерзавцы! Стреляйте, оружия у вас много, патронов полно!.." - господин Геворг осекся, потому что вспомнил: старший отряда говорил, надо взорвать оружейный склад - это настоящее дело. Стало быть...

И он вошел в бывшую мыловарню.

- Где ты, учитель? - В голосе старшего господин Геворг услышал симпатию и что-то вроде покровительства. - Поел-попил и пропал, сбежал.

- Я не сбежал, поспал на сеновале.

- Знаю, знаю, - улыбнулся старший в свои витые, как рога, усы. - Что дальше?

- С силами я собрался.

- И что будешь с ними делать?

- Что прикажешь... Протяни веревку от земли до неба, я взберусь, принесу горящую звезду.

- А с горящей звездой что будем делать?

- Речь о звезде свободы, - пояснил господин Геворг. - - Да-а, звезда свободы, - повторил Амбо и на миг помрачнел. Из его груди вырвалось что-то вроде стона, но он ловко обратил этот стон в глухой смех. - Вот что, учитель, не станем браться за невозможное: во-первых, дождь, на небе ни звездочки... Во-вторых, где мне достать длинную веревку - время-то какое! - в-третьих, как подвесить? Говори-ка лучше о земных делах, о земных, небо оставь в покое.

- Хорошо, старший. Надо поджечь турецкий арсенал, верно?

Доверь это мне, - сказал господин Геворг и провел ладонью по небритому подбородку.

- Боюсь, учитель, не по плечу тебе это, - сказал Амбо. -

Полицейское управление тоже учитель поджег, учитель Тигран.

Только ведь учитель учителю рознь.

- А чем я хуже учителя Тиграна? - насупился учитель Геворг. - У него две ноги, две руки - и у меня тоже.

Бойцы рассмеялись.

- Оно конечно, - кивнул Вараздат, - но ведь и пара ног паре ног рознь.

- Ну, знаете, - искренне рассердился господин Геворг, - испытайте разок мои руки и ноги. Если я ни на что не гожусь, плюньте, и дело с концом. И выбросьте меня на свалку истории.

Старший отряда вновь призвал на помощь свои густые усы, внимательно посмотрел на господина Геворга, окинул его взглядом с ног до головы и повернулся к Вараздату:

- Приготовь банку керосина, - а сам вышел во двор и тут же вернулся.

- Ночь подходящая... дождь, тьма кромешная...

Господин Геворг... Он сел верхом на верстак, одной ногой

оперся о земляной пол, а другой болтал в воздухе. И тихонько напевал песню.

- Учитель, чем ты занят?

- Пою...

- Сейчас не время петь... слушай меня. Знаешь, что тай змея?

- Пресмыкающееся.

- Молодец. Где оружейный склад, тоже знаешь?

- За сгоревшим полицейским управлением...

- Молодец. Ползком, на животе, как пресмыкающееся, дои решься до него и ползком же вернешься.

- Я не пресмыкающееся, - возразил господин Геворг, - стану ползти. Я пойду быстро с песней "вперед, вперед!" и, высоко подняв голову, подожгу и вернусь обратно... Олды (*)?..

- Нет, учитель, олмады (**), - серьезно сказал старший отряда. - Охнуть не успеешь, убьют... Тысяча пуль летит, одна из тысячи найдет тебя.

- Тогда я спою "Нам желанна всегда благородная смерть"....

- Послушай, учитель, - резко сказал Амбо, - если твоя цель - умереть, сиди здесь. Ты должен выполнить задание и живым-невредимым, как учитель Тигран, вернуться обратно.

- Конечно, - присмирел господин Геворг, - конечно...

- Так вот, - смягчился Амбо, - возьмешь с собой банку с керосином и тряпку, пропитанную керосином, весь керосин до донышка выплеснешь на дверь арсенала, подожжешь тряпку, как растопку... Знаешь, что такое растопка?

- Знаю, знаю.

- Ну-ка? - не отставал старший отряда. Господин Геворг, точь-в-точь ученик, сглотнул слюну и ответил:

- Когда растапливаешь печку... когда печку растапливаешь, то кладешь под поленья, которые плохо загораются, стружку или всякие щепки... и зажигаешь. Этот легковозгораемый материал и называется растопкой, - четко закончил господин Геворг.

- Молодец, учитель, ты хороший ученик! - воскликнул старший отряда. - Как только растопка загорится... спички у тебя есть?.. кидайся в развалины полицейского управления и ползком, понял? - только ползком возвращайся обратно. Обратно ползти будет куда легче - в руках-то ни керосина, ни тряпки. Ну, дай тебе Господь сил! Да, вот еще что: как кончишь свое дело, не задерживайся в развалинах. Не ровен час заметят тебя - пламя будет сильное, светло станет. Ну!..

Амбо шагнул к учителю, обнял его, неловко поцеловал - не понять, губами или усами - и почувствовал, как того бьет дрожь. "Неужто трусит?"

(*) Здесь: хорошо (тур.).

(**) Здесь: не хорошо (тур.).

Новоявленный поджигатель Геворг Мурадханян пожал всем руки, взял банку с керосином, нащупал в кармане коробок спичек, прихватил "растопку" и

вышел во двор. С ним вместе вышли старший отряда и несколько бойцов. Дождь по-прежнему лил на осажденный город, в кромешной тьме потрескивали мокрые, как чудилось господину Геворгу, выстрелы, ночь полнилась надеждами и тоской. Поджигатель твердыми шагами обогнул полуразрушенную стену и растворился во мраке. Он легко унял нежданную-негаданную дрожь - разволновался, когда старший отряда обнял его и поцеловал.

Сколько он себя помнил взрослым, никто и никогда не обнимал его и не целовал так горячо и сердечно.

3

Непреклонна воля ванца, если ванец сказал "да", стало быть, да, если "нет" - нет. Ванец упрям и стоек, как стены Ванской крепости, столь же многотерпелив, сколь многоводно Ванское море, и прозревает даль лучше Ишханова бинокля, вдобавок ко всему он находчив и ловок. Ровесники Мурада, не говоря уж о детях постарше, подбирали турецкие пули, а на позициях - пустые гильзы и сдавали все это на оружейный склад; ванец изготовляет бездымный порох, а Болгарин Григор изобретает первую армянскую пушку, которая, правда, мало чего стоит по части стрельбы, зато громыхает ничуть не хуже настоящей. Наделать шума - вот что важно. Глубокомысленный оружейник Болгарин Григор неукоснительно выдерживает стиль, присущий великому делу. Да, важно наделать шума. Важно также и то, что эта дерзкая мысль принадлежит не мне, я, право же, на нее не отважился бы. Итак, вынужден признать (лучше поздно, чем никогда): эту мысль высказал в одной из знаменитых своих работ знаменитый ванский интеллигент - правда, рамкавар - господин Артак Дарбинян.

Однако, как ни дальновиден ванец, он не предусмотрел того страшного удара, который готовил для него Джевдед. Джевдед не смог прорвать цепь оборонительных укреплений, опоясавших город, в ней не оказалось слабых звеньев: ванцы дрались - один против десяти - с дьявольской изощренностью и выдумкой; вчера еще мирные граждане, сегодня они противостояли

артиллерии и регулярным частям турецкой армии и при ничтожных потерях наносили туркам значительный урон. Пушки всю ночь рушили армянские позиции, а едва рассветало, турки с ужасом и суеверным испугом обнаруживали новые бастионы, стены, укрепления. На армянских позициях трубил знаменитый их фанфар, и казалось, что там, за кольцом осады, не война, а развеселая свадьба.

Пахло происками нечистой силы.

Наступила эпоха, когда не стало ни дашнаков, ни гнчаков, ни арменистов - все они исчезли, - а был только лишь ванец, воин и боец.

И проходили дни. Ованес-ага, как все ванцы, не расслышал голоса весны. Тихий этот голос утонул в грохоте канонады.

Проклиная тот день, когда его назначили наместником Вана, Джевдед закурил папиросу и приказал своим батальонам прекратить резню мирного населения, не трогать детей и женщин, оберегать их жизнь, аккуратненько выселить всех жителей Васпуракана с насиженных мест и направить их усталые шаги в сторону Вана. Как только он раньше до этого не додумался? Пусть тучи этой голодной, остервенелой саранчи налетят на Айгестан и Цитадель, истребят всю провизию, уничтожат все припасы. Только так можно поставить Ван на колени.

Выпущенные из тюрем опасные преступники выслушали приказ Джевдеда хмуро и недовольно. С жестокостью заплечных дел мастеров они насиловали и грабили обитателей больших сел и малых деревень. Один из головорезов, которые стояли сейчас перед Джевдедом, одноглазый онбаши (*) Ахмад расправился три дня назад с Эрманцем. Спастись удалось лишь нескольким айсорам! Лютый десятник Ахмад с двумя подручными вломился в дом Мхо. В полутьме сеновала они надругались над Сираком и Мариамик, а потом зарезали их, Мхо привязали к столбу, на его глазах изнасиловали по очереди хорошенькую Искуи, потом посадили его на кол, да еще надавили на голову, чтобы не дергался. Дом сожгли.

(*) Десятник (тур.).

Тянутся к Вану по всем дорогам Васпуракана толпы голодных, изможденных беженцев. Медленно бредут они, глядя перед собой невидящими глазами. Стонут взрослые, плачут и не слышат собственного голоса дети. Турки поначалу в штыки приняли приказ Джевдеда, это правда, но когда доброжелательный наместник и командующий разъяснил им свой хитроумный замысел и нарисовал заманчивую картину: действуйте по-моему, и все богатства города и любая армянская ханум будут ваши, - они воодушевились и, с дикими воплями вскочив на коней, двинулись к селам. Они поступали так, как ведено, - пальцем не тронули оставшихся в живых армян, выгнали их из родных мест и выпроводили в Ван.

В Ван, в Ван!

Увидев первых стариков, женщин и детей, чудом спасшихся от огня и меча, ванцы обрадовались. Но когда стало ясно, что этому потоку нет конца, когда те, как овцы в загон, вошли в сады и дворы и, как саранча, принялись грызть все, что мягче камня, и требовать куска хлеба, горсть ячменя, просить, просить... На смену радости пришел ужас. Военное командование поняло, какую ловушку поставил Джевдед и каковы ее роковые последствия.

Ван содрогнулся. Выяснилось, что вооруженная до зубов, сжимающая город в кольце свирепая турецкая армия не страшнее, чем безоружные, немощные толпы требующих воды и хлеба армян.

Когда Ованес-ага узнал о смерти брата Геворга и о ее подробностях, ни один мускул не дрогнул на его лице, разве что глубже заклокотало наргиле да сильнее заволновалась вода. Это означало, что в душе, да, в душе он потрясен... По слухам, погиб Геворг случайно, чего другого можно было ожидать от этого говоруна, этого со всех сторон Богом обиженного учителя? Весть принес в дом Акоб-ага Кандоян, который сидел сейчас напротив Ованеса-аги и перебирал его, Ованеса-аги, четки. Случилось еще кое-что:

когда Сатеник спросила, что приготовить на обед, Ованес-ага оставил ее вопрос без ответа. Он вспомнил свою последнюю встречу с братом, когда тот, по мнению Ованеса-аги, явно перегнул палку, заявив: лучше, мол, погибнуть, защищая Ван, чем умереть, как Амбарцум... Вспомнил и свой желчный вопрос: "Что ж ты не погибаешь?" И его ответ, теперь уже исполненный глубинного смысла, в сущности, не ответ, а опять-таки вопрос: "Откуда тебе знать, может, еще погибну?" Вспомнил, как брат поднялся, а водки на столе оставалось полбутылки, не меньше, - сказал: "До свидания" - и ушел. Ушел насовсем. "Задохнулся парень, сунулся прямо в огонь..." - думает сейчас Ованес-ага, и наргиле клокочет еще сильнее.

Так и не поняв, что готовить, но узнав про смерть деверя, Сатеник не удержалась и рассказала, как тот заходил к ним под вечер, и...

- Проходи, говорю, а он: нет, дескать, пойду, только вот Н решил куда - на позиции или к Терзибашянам... Иди, говорю, к Терзибашянам. А он, видно, пошел на позиции...

- А что он у них забыл, у Терзибашянов? - сказал Акоб-ага. - Очень уж покойный любил прихвастнуть. Я тоже его видел, - добавил он. - Нервничал, почему оружия недостает. И растерянный был какой-то...

Глубоко в душе опечаленный Ованес-ага вспомнил вдруг про Вержине. Она внезапно предстала перед ним, и он услыхал ее голос: "Пожалуйте в дом". Мысли его переменились. Вержине осталась одна; муж так и не понял, чего она стоит; такую жену, как Вержине, надо одевать в шелка, курить ей ладан, молиться на нее, на руках носить. Только так... А брат - как он с ней обошелся? Детей не завел, отцом семейства не стал, не взвалил на себя это бремя, одну жену - и ту не смог сделать счастливой. Полез в огонь, а голодную, раздетую жену бросил... бросил на него.

- Сатеник! - крикнул он, разом избавляясь от тяжелых раздумий и не считаясь при этом... впрочем, нет, очень даже считаясь с присутствием Акоба Кандояна.

- Эй, Сатеник!

В дверях появилась Сатеник.

- Что случилось? - спросила она.

- Женушка ты моя, красавица, накинь шаль, сходи садами, возьми эту девочку, эту сиротку и приведи к нам...

- Какую сиротку? - искренне изумилась Сатеник.

- Сколько у нас сироток? - спросил Ованес-ага. - Нашу Вержин. Приведи, если она еще жива... Овдовела, бедная, пускай живет у нас, а там поглядим, что Бог даст...

- Бог тебе это зачтет, благое дело делаешь, - защелкал четками Ованеса-аги Акоб-ага. - Так или иначе...

Среди своих знакомок и родственниц Сатеник почему-то - она и сама не смогла бы толком объяснить - не жаловала двух: жену управляющего магазином Сета "свободомыслящую" госпожу Хушуш, которая на пирушках вьюном вилась перед Ованесом-агой, и жену деверя, Вержине. Это верно, подозревать или обвинять ее Сатеник, в сущности, было не за что, но голодные глаза, которыми эта здоровая женщина посматривала на Ованеса-агу, очень ей не нравились. Ох и глаза! Вот что значит поедать глазами! Все это так, но, когда Сет увез вчера на ручной тележке чувал муки, чтобы прокормить свою кралю, Сатеник звука не издала и ничем не выказала, что недовольна. Слово Ованеса-аги - закон. Сейчас она тоже понимает, что будет так, как он сказал, но...

- Я одна не пойду, боюсь, - едва слышно вымолвила она.

- Трусливый зайчишка, - улыбнулся Ованес-ага, считая про себя, что жена вправе бояться. - А почему революционерка Заруи Тероян не боялась?

- Я не революционерка, - оправдалась Сатеник.

- Права Сатеник, - подоспел ей на помощь Акоб-ага, - не стоит идти одной садами. Хочешь, я схожу за Вержин?

Так Акоб-ага помог Сатеник. Попросту говоря, он обеспечил себя обедом.

- Ладно, не к спеху, - сказал Ованес-ага, мысленно поблагодарив Акоба-агу, чье присутствие очень и очень помогло решить столь трудную и щекотливую

задачу. Тут он наконец и ответил на давешний вопрос Сатеник: - Приготовь плов с кавурмой, давно не ели...

Когда раздосадованная Сатеник спустилась в погреб - нужно было выполнять приказ мужа, - Ованес-ага, не любивший оставлять на завтра то, что можно сделать сегодня, как бы между прочим обратился к Акобу-аге:

- Не к спеху, конечно... но, если хочешь, сходи приведи... Что можно сделать сегодня...

- ... не оставляй на завтра, - докончил Акоб-ага, ловко нацепил четки на изогнутый рукав наргиле и встал.

В дверях снова показалась Сатеник; она, должно быть, не упускала из виду ход событий. На сей раз вопрос был поставлен так:

- А дом, вещи, с ними-то как быть?.. Все бросить и прийти?

- Дом, вещи, - насмешливо повторил Ованес-ага. - Какие там у них вещи? Пускай только одежду прихватит, бельишко. Дверь заприте, и все. Одежду, бельишко.

Акоб-ага ушел. Сатеник разожгла очаг: пора было ставить плов. Ованес-ага чуял, что домашняя атмосфера наэлектризована, то есть вдали погромыхивают тучи, поблескивают слабые отсветы молний, а дождя нет как нет. Ованес-ага прикрыл веки. Не хватало воздуха. Он притворился, что спит: и время скоротает, и лишних разговоров с Сатеник избежит. А все-таки, о чем она думает? Догадки догадками, но не мешало бы узнать наверняка - по крайней мере будешь соображать, как себя вести. За окном стреляют ружья, грохочут пушки, Ованес-ага ничего этого не замечает. Дело привычки. Года два назад Ованес-ага заглянул в ткацкую мастерскую Дарбинянов. Пронзительно жужжали станки, челноки, что-то визжало. А люди вокруг как ни в чем не бывало работали. Он спросил Лирика Дарбиняна, как можно все это выносить с утра до вечера, Айрик прокричал ему прямо в ухо: дескать, дело привычки.

И вправду, дело привычки.

- Хватит хлопотать, посиди со мной, - сказал он вдруг и открыл глаза.

Сатеник вытерла руки цветастым фартуком, сбросила тапочки у ковра и села рядом с мужем. Ее лицо ничего не выражало.

- Сурен сказал, военный завод откроется, они с Арабо будут там работать под началом Болгарина Григора.

Сперва Ованесу-аге показалось, будто его бросили в холодную воду, но через минуту почувствовал - вода теплая, приятная.

- Ну и хорошо, - сказал Ованес-ага, поглаживая шею Сатеник, - лучше работы и не придумаешь. Они помолчали.

- С утра не присела, - сказала Сатеник, - дела да дела. И Лии нет. Целая гора стирки набралась. Вержин придет, пускай поможет.

- О чем речь?! - оживился Ованес-ага. - Я, по-твоему, не вижу, как тебе тяжело. Я ведь и о тебе думал, когда...

Ованес-ага не нашел в себе сил продолжить: Сатеник уставилась на него чуть насмешливым, недоверчивым, примирительным взглядом.

- В общем, - сказала Сатеник и, опершись о колено мужа, встала. - Рыбу поставить?

- Поставь, - сказал Ованес-ага. - И вино не забудь...

- Словом, нынче свадьба в нашем доме, - пропела она, да так, что и не поймешь: то ли шутит, то ли недовольна.

И Ованес-ага опять смежил веки.

Сколько он продремал, неважно, важно, что проснулся он от голоса Акоба-аги:

- Вот и мы. Встречайте гостью!

Ованес-ага увидел в дверях статную фигуру Вержине, ее грустные, но внимательные глаза; ее тугую плоть обтягивало черное платье, на белый лоб выбилась из-под черной шали черная прядь. Сатеник не показывалась. По-видимому, она вовремя выскользнула в кладовку и следила оттуда, как развиваются события.

Но ничего особенного не произошло. Вержине положила узелок, который держала в руках, поспешила к Ованесу-аге, упала перед ним на колени, поцеловала руку и, омыв ее слезами, прошептала:

- Я твоя служанка, господин, спасибо, что взял меня под свое крыло...

Ованес-ага сглотнул слюну. Его смутила близость Вержине. Он с трудом высвободил руку, погладил Вержине по голове и насилу проговорил:

- Что за слова такие?.. Ты моя славная дочь. - Заметив, что Сатеник стоит в дверях, Ованес-ага добавил: - Не плачь, слезами горю не поможешь...

Вержине поднялась, подошла к Сатеник и пролила последние слезы в ее объятиях. Прослезилась и Сатеник, неизвестно, впрочем, что оплакивая - судьбу Вержине, погибшего ее мужа или?.. Кто поймет женскую душу?

Они сели обедать.

4

А после обеда появился Сурен:

- Ничего не слыхали?

Со слов Акоба Кандояна все знали, что на Араруцких позициях... Геворг Мурадханян... случайно... Все вспомнили об этом, но промолчали.

- Нет, а что? - сдавленным голосом спросил Ованес-ага.

- Дядя... дядя поджег ночью турецкий оружейный склад...

- Трудно поверить, - вслух подумал Акоб-ага.

- А на обратном пути... его убили... - Сурен повернулся к окну и, не совладав с собой, в голос зарыдал.

- Какой склад, какой поджог? - почти что рассердился Ованес-ага. - От шальной пули...

- Сначала так и говорили, потом выяснилось... я сбегал на Араруцкие позиции, старший отряда сказал: "Слов нет, как жалко нашего учителя. Умер смертью героя... Не надо было, - говорит, - отпускать его, да что я мог? Очень уж он меня просил..."

Произошло нечто удивительное. Все увидели перед собой не падшего в глазах Божьих и людских, а героя и мученика господина Геворга, озаренного неким

нездешним, нежданным, внезапным и невообразимым светом. Вержине прижала платок к глазам и медленно вышла из комнаты, горькие слезы навернулись и на глаза Сатеник. Перед ней в растворе полуоткрытой садовой калитки стоял деверь, голодный и жаждущий, тоскующий о крыше над головой и сердечном участии. Да, она была занята стиркой, но разве трудно было принять его по-людски, накормить, а там и постирать? Чего уж трудного. А она...

Акоб Кандоян... Акобу Кандояну показалось, что он, лично он утратил нечто важное, крайне важное. Странное ощущение Какое ему дело до неожиданной кончины учителя Геворга? Погиб как герой, вот и замечательно (учитель Геворг... как герой! гм-м...), каждый ванец обязан пожертвовать собой ради Вана; естественно, разумно, логично. Что ж это за ванец, если Вану от него никакой пользы? И чем больше героев, тем лучше для Вани! А чтобы освободиться из-под гнета турецкой тирании и освободить Ван, нужны только герои. И теперь сам Ван - это воплощенный героизм, который противостоит турецкому государству Ц его регулярным войскам и защищает свои высокие, свои человесческие права. Турок - волк, это верно, но ванец... ванец вовсе ягненок. И ежели учитель Геворг в одиночку разделался с турецкой джабаханой (*), то где уж турку одолеть ванца? Думай не думай чеши за ухом не чеши - все едино.

Так-то оно так, но Акоб Кандоян отчего-то чешет за ухом и думает, думает. А дело в том, что часто, очень часто, когда он, усталый и измотанный дневной суетой, встречами, спорами-разговорами, возвращался в свою конуру и без сил валился отдохнуть на соломенную подстилку, в нем часто, очень часто - откуда что бралось? - пробуждался дух самоконтроля, самоанализа, самсн критики и он пытался определить свое место и роль в общественной жизни этого вечно беспокойного города. Порою ему казалось, что он и только он есть воплощенный дух Вана, что он придает ванской повседневности важные, даже очень важны! краски и что, не будь его, Вану, конечно, не придет батмиш (**), он, разумеется, не сгинет с лица земли, но лишится чего-то незаменимого,

неповторимого и необходимого, имя чему - Акоб-ага Кандоян. И когда он слышал, как если не с насмешкой, то этакой полунасмешкой говорят: "Ван один, и Акоб Кандоян один", он ничуть не оскорблялся и в его светлых глазах поблескивали искры ублаготворенности и самодовольства.

_____

(*) Оружейный склад (тур.).

(**) Здесь: конец (тур.).

_____

Случалось и обратное.

Порою, как он ни ухищрялся, как ни пускался во все тяжкий ему тем не менее приходилось ложиться не подержав маковой росинки во рту, и тогда он падал в собственных глазах, клял себя его жизнь представлялась ему пустой, бесполезной, излишней. "У каждого ванца есть дело; когда говорят "ванец" - это, стало быть, либо ремесленник, либо интеллигент, либо торговец. Других ванцев, почитай, и нет. Три уклада, три порядка, три класса. Ремесленник, тот что-то создает искусными своими руками, интеллигент преподает, защищает в суде, пишет прошения, врачует, как доктор Огсен, торговец продает-покупает, привозит товар, увозит товар, без него, без торговца, никуда... А ты, Акоб Кандоян, ты-то кто? Ни дома у тебя, ни семьи, ни дела! Какой ты ванец? Ты никчемный, бесполезный, лишний человек. Никчемнее тебя в Ване не сыщешь".

Когда же его дела складывались успешно, то есть живот не сводило голодом, его посещали иные мысли: "Что у нас было сегодня? У Терартнянов пообедал, поглядел на молодые деревца в саду, поел винограду, у Амирханянов выпил кофе, встретил адвоката Гранта Галикяна, я ему "здравствуй", он мне "здравствуй"; живем не в пример дурному Левону или мурадханяновскому Геворгу. Нет, слава Всевышнему, кое-кто и похуже моего живет..."

Так рассуждал про себя Акоб Кандоян, великий оптимист, однако недолгим бывало видимое его равновесие. Один неверный шаг, одна промашка, и он сызнова терзал себя: "Олан (*), ты, стало быть ... докатился: равняешься с

дурнем Левонрм и утешаешься - у дурного Левона дела похуже. Позор на твою голову! Учитель Геворг еще куда ни шло, человек все-таки начитанный, образованный. Да какой от него прок? Ты, к слову, интеллигентом, как учитель Геворг, не умрешь, но когда надо будет, заткнешь его за пояс, так что... так что равняйся не на дурного Левона, а на учителя Геворга и знай себе цену..."

А теперь... извольте учитель Геворг пошел среди ночи, взорвал турецкую джабахану и погиб как герой. А с чем остался Акоб Кандоян? Не то важно, какой жизнью живешь, а то важно, какой смертью умрешь! Учитель Геворг умер геройской смертью и отбросил Акоба Кандояна назад - с кем теперь тягаться Акобу-аге, выше кого стать и смотреть вниз? Чтобы смотреть на учителя Геворга сверху вниз, одним арсеналом уже не обойтись, нужно, чтобы два арсенала взлетело в воздух, и дважды нужно погибнуть смертью героя. Ведь Акоб Кандоян если и умрет, то уж никак не дважды геройской смертью... Потому-то ему и показалось, что он, лично он утратил нечто важное, крайне важное. Он утратил право на чувство превосходства.

_____

(*) Здесь: эй (тур.).

_____

- Никак не возьму в толк, - четко выговаривая каждое слово, сказал Акоб Кандоян. - Учитель Геворг - и поджог турецкой джабаханы. Учитель Геворг - и смерть героя... не понимаю?.

- Что тут непонятного, - взыграло в Ованесе-аге родовое самолюбие. - Разве он не Мурадханян?.. В девяносто шестом меня ранило, отсюда вошло, отсюда вышло, - он два раза ткнул пальцем в бедро. - А если бы я умер?..

- От этого не умирают, Ованес-ага, шальная пуля...

- Как так - шальная? - озлился Ованес-ага. - Я дрался на Круглой горе.

- Какое у тебя было оружие? - смягчился Акоб-ага, чтобы полюбовно завершить недоразумение.

- Боевое! Боевое! - с нажимом раз за разом повторил Ованес-ага, но мысли его были далеки от этого разговора. Ему не давала покоя новость, которую принес

Сурен. Хотелось все узнать про смерть брата, даже подробности подробностей: как пошел на задание, что сказал напоследок, сыт был или голоден, где его тело; тот, кто погиб как герой, достоин торжественных похорон, он готов понести все расходы, иначе какой же он брат?

- Сатеник, подай башмаки.

Сатеник не поверила своим ушам: с того дня, как начались бои, муж из дома не выходил и, кроме шлепанцев, другой обуви не надевал - и вдруг... башмаки. Если бы хоть полуботинки.

- Что ты попросил? - уточнила Сатеник, вытирая слезы.

- Свои башмаки.

- Зачем они тебе?

- Надо.

- Надень полуботинки.

- Не на свадьбу иду, давай башмаки... рабочую одежду.

Кряхтя и пофыркивая, он оделся с помощью Сатеник и направился к выходу. Сатеник проводила его. В последнюю минуту набралась смелости и спросила:

- Куда собрался-то?

- Взорву еще одну турецкую джабахану, чем я хуже твоего деверя? - ответил Ованес-ага. Вышел на пустынную улицу и зашагал в сторону Араруцких позиций. "Э-э, - буркнул он под нос, - когда умрешь, тогда тебя и полюбят". Огляделся по сторонам - ни души. Он глубоко вздохнул и дал волю слезам. "Чего плачешь, Аханес? - укорил он себя и тут же сам себе ответил: - Что мне делать, если не плакать? Столько потерь... Мертвых слезами не воскресишь, утешься живыми. Живыми... глаза бы мои на них не смотрели, Кто остался в живых... Вредно так нервничать, действует на здоровье", - подумал он и, стараясь успокоиться, вспомнил стишок, который кто-то из детей - то ли Сурен, то ли Лия - очень любил. Но почему вспомнился именно этот стишок?

Отчего ты плачешь, сын, мое сердечко?

Ах, меня побили, матушка-овечка.

Кто побил, ягненочек, кто, мое сердечко?

Старая колдунья, матушка-овечка.

Покажи, где больно, сын, мое сердечко?

Лапкам очень больно, матушка-овечка.

Как ты плакал, бедненький, как, мое сердечко?

- Ме-ме-ме, - я плакал, матушка-овечка.

"Ме-ме", - терзается сердце Ованеса-аги; успокоиться он не успокоился, а только сильнее разволновался.

Старший отряда встретил Ованеса-агу вежливо и со сдержанной грустью. "Да, так все и случилось... Прискорбно, что и говорить, но еще прискорбней, когда человек живет без всякой пользы и без всякой пользы умирает. ("На что он намекает?" - мелькнуло в голове у Ованеса-аги.) Дай Бог каждому такой смерти... Нет хороших и плохих людей, это ложь, в каждом хорошем человеке есть что-то плохое, в каждом плохом человеке есть что-то хорошее... Нет, ни капельки, не думайте, будто он полез в огонь под хмельком, по пьяной лавочке. Такого не было, а было вот что: попросил он у нас водки и полный до краев стакан вышвырнул во двор... Видно, голодный был, плотно поел, поспал до темноты. Банка с керосином прокеросиненная тряпка... попрощался он с нами, я его обнял... Десять минут... и десяти минут не прошло... раздался взрыв... Я ему сказал: туда идти труднее, чем возвращаться... ошибся... Возвратиться ему не удалось... Все время стоит перед глазами..."

- Господи, Бог всех армян, на тебя уповаю, - пробормотал Геворг и... Пополз по-пластунски? - нет; зашагал с песней "вперед, вперед"? - опять же нет; а вот согнувшись - в самую точку (он выбрал золотую середину); так вот, согнувшись, он осторожно шел во тьме. Дождь не переставал, дождь целил ему прямо в затылок. "Упавший в море дождя не боится, - усмехнулся он. - Не боится, не боится!" Но эти слова относились уже не к дождю, а к свистевшим над головой и рядом пулям - з-з-з!

Конечно, он мог бы выбрать путь покороче: пересечь Араруц-кую площадь и сразу очутиться перед двухэтажным зданием арсенала; на первом его этаже помещался оружейный склад, а на втором - укрепились турецкие аскеры, те

самые аскеры, которые бежали из подожженного полицейского управления. Наученные горьким опытом, они день и ночь пеклись о своей безопасности, тем более что заботиться приходилось не только о собственной шкуре, но и о богатом оружейном складе. Турецкое командование решило в кратчайший срок ликвидировать этот склад и перебросить оружие в Шамирамский квартал, подальше от глаз неприятеля, но выполнение этого важного приказа почему-то откладывалось со дня на день.

Вот книжная лавка братьев Мкртчянов, вот столярная мастер-скай Сафаряна, парикмахерская "варвара" Минаса, по соседству с ней кофейня коротышки Арута, а вот и дощатое строеньице, где притулился "карагез", то бишь ванское кино. Пусть читатель, родом не из Вана, не думает, будто о настоящем кино ванец и понятия не имел. Некстати помянули мы кино, не могу я сейчас забыть о трудной миссии поджигателя Геворга Мурадханяна, бросить его посреди тернистого, а вернее, слякотного пути и рассказывать, как...

(Благословен день, когда на стену большого зала Центральной школы повесили белое квадратное полотно, погасили лампы и... случилось чудо. Луч упал на квадратное полотно и высветил армянские буквы; "Похороны отца всех армян Хримяна" - вот что; было написано там; а потом возник народ - движущиеся, шагающие, скорбные толпы. На экране появились купола Эчмиадзинского собора, какой-то человек пересек полотно, загородив собой все остальное; он шагал быстро-быстро, неся на голове крышку гроба. Потом показался гроб на плечах понуро идущих людей; весь зал встал в надежде увидеть лицо Батюшки Хримяна, но лица не было видно. Подумать только - сидишь себе в Ване и смотришь, как хоронили в Эчмиадзине армянского католикоса. Женщины прослезились, мужчины скорбно опустили головы. Чтобы развеять мрачное настроение всего зала, после похорон Батюшки Хримяна прокрутили смешную картину: муж и жена поссорились и с яростью швыряют друг в друга что ни попадя - бутылки, обувку, стол стулья, зеркало... удивительно и забавно - никто никого никуда не ранил, и оба супруга, судя по всему, не испытывали боли даже от удара тяжелым предметом. Теперь уже

зрители от души и самозабвенно хохочут, слезы скорби сменяются безудержным смехом... Да что толковать, где вы были, когда ванец уже видел своими глазами настоящее кино?! Вот так, дорогой!)

Из двух дорог - одной короткой, но опасной, другой длинной, но сравнительно безопасной - поджигатель Геворг решил выбрать вторую. И двинулся вперед, хоронясь под стенами магазинов, лавок, подсобных базарных построек. Она исхожена им вдоль и поперек, эта площадь, - сперва ходил по ней школьником, потом учителем; брился в парикмахерской "варвара" - Минаса, пил кофе в кофейне коротышки Арута. Вспомнил Геворг и о том, как... над головой, вернее, над красной феской прожужжала пуля и вернула его к действительности. До него дошло, что он продвигается вперед не ползком, не пригнувшись, а выпрямившись во весь рост. "Дурак! - выругал он себя, - нашел время предаваться воспоминаниям, кончай свою миссию, а там как хочешь, так и шагай, что хочешь, то и вспоминай..." Геворг лег на живот и пополз со всей осторожностью, на какую был способен, стараясь не упустить из рук тяжелую посудину с керосином и прокеросиненную "растопку".

Добрался. Сейчас можно выпрямиться во весь рост, не опасаясь стать добычей пули: со второго этажа его уже не видно. Его могли бы заметить из Араруцкой церкви - там тоже турецкие позиции, - да и то лишь днем. Черт возьми, приятная это штука - безопасность! Двустворчатая некрашеная дверь укреплена железными засовами. К делу! Он выплескивает все содержимое посудины сверху вниз, расстилает на пороге прокеросиненную тряпку, дрожащими руками вытаскивает спички.

Тряпка задымилась и тут же занялась. Языки огня лизнули дверь, и ее охватило голубоватое пламя. С турецких позиций - в Араруцкой церкви и в школе - грянули тревожные залпы. Минута, и наш поджигатель увидел свою удлиненную тень на стенах сгоревшего полицейского управления. На втором этаже, над оружейным складом, поднялся переполох. Слух Геворга улавливал какие-то краткие приказы, отрывистую ругань по адресу "гяуров-комитетчиков". Неточный адрес: уже не существовало ни комитетчиков-

дашнаков, ни рамкаваров, ни гнчаков. Были ванцы, был единый армянский народ, единою силой восставший против деспотии и смерти. Должен был прийти новый поэт (*) и через восемнадцать лет заповедать армянскому народу, в чем его спасение; это спасение, сказал он, в единстве. Ванец восемнадцатью годами раньше понял это.

_____

(*) Имеется в виду Егише Чаренц (1897 - 1937) и его стихотворение "Завет".

_____

- ... Недоля наша, - выдохнул Ованес-ага, утирая большим красным платком, может, пот, а может, слезы. - Амбарцум в Полисе умер, на чужбине похоронен, Мхо, наверное, в Эрманце загубили, сгинул без следа, без могилы, и вот Геворг, неприкаянный... хоть бы тело найти... предать земле с почестями, со священником, крест поставить...

Старший отряда горестно улыбнулся:

- У кого сейчас есть могила? Ишхана и его парней растерзали на куски и бросили в колодец. Такому человеку, как Врамян, Ванское море стало могилой... всех не перечесть. Как в "Песне Назе":

Сколько их, без могил, без пригляда...

Ованес-ага продолжил:

Ты не плачь, много слез я пролил...

Оба умолкли, и слышалась только неутихающая стрельба.

- На площади тоже валяются трупы. Хочешь, пойди посмотри...

Ованес-ага не без страха подошел к бойнице и широко раскрытыми глазами взглянул на грустное зрелище, которое являла собой Араруцкая площадь. Напротив стояла церковь, плененная турками Араруцкая церковь, и двухэтажная школа.

Ованесу-аге почудилось, что и школа и церковь уменьшились, сжались и лишились былой значительности. Ованес-ага видел разграбленные магазины и лавки с разбитыми дверями и запорами, ну а сама площадь... сама площадь, показалось Ованесу-аге, увеличилась, расширилась. Видимо, оттого, что она

стала безлюдной и пустынной. Таким Араруцкий майдан Ованесу-аге видеть еще не доводилось. Сказав, что площадь была безлюдна, мы хоть и совсем немного, но все-таки погрешили против истины. Ованес-ага быстро насчитал семерых; они лежали поврозь, кто где. Тяжелое зрелище подействовало на Ованеса-агу; он отпрянул назад: как знать, может, один из этих несчастных - его брат...

- Неделю назад их тоже было семеро, - словно прочитал мысли Ованеса-аги старший отряда, - стало быть, нашего... -

Он хотел сказать "учителя", но передумал, - господина Геворга убили не на площади, скорее всего, на развалинах полицейского управления.

- Злосчастная судьба! - проговорил Ованес-ага, ни к кому не обращаясь. - Сделал дело и довольный, с легким сердцем хотел уже вернуться. Нет, у него на роду было написано: "Уйти и не вернуться"... Что он вспомнил в последнюю минуту, о чем подумал?.. - Дело сделано, - пробормотал он, - теперь, Геворг, милый ты мой, давай Бог ноги!.. И он бросился к обгоревшим развалинам полицейского управления. "Уходить надо по короткой дороге, - подумал поджигатель, - сейчас безопасных дорог нет, везде огненный град... Вержин?" Он не слышит голоса Вержине и только по движению губ догадывается, что она говорит: - Бе-ги! Бе-ги!

- Я и так бегу, - сердится Геворг и силится оторвать ноги от земли, но внезапно ощущает, что он и без того от нее оторвался: по спущенной сверху веревке он взбирается ввысь, к небу, чтобы принести на землю звезду свободы...

Две пули, в голову и в сердце. Довольно было бы и одной.

Стреляйте, стреляйте, сволочи!

Он не услышал, как чудовищной силы взрыв потряс арсенал.

... С разбитым сердцем возвращался Ованес-ага с Араруцких позиций. Не может он не признать в глубине души, что его мучает совесть. Почему, что он такого сделал? Он-то чем виноват, что Геворг по ветру пустил свою долю отцовского наследства, отдал ее зеленому змию и остался ни с чем. Перед глазами Ованеса-аги прошла вся жизнь Геворга с детских лет до их последней

встречи, до его трагической и геройской кончины. Нет, он не был обыкновенным пропойцей, забулдыгой. Он был рожден, по всей видимости, для больших, для великих дел, но судьба обделила его силой воли. И оттого большие, великие дела обернулись большими, великими словами. Он стал большим, великим говоруном, но кому могло прийти в голову, что великий этот говорун и впрямь способен на великую смерть?

... Былые невозвратные годы. Вспоминается Ованесу-аге то далекое-далекое зеленое воскресенье, когда они, еще юноши, надумали запастись едой, отправиться вдвоем в Варагский монастырь и провести там выходной день. Накануне они рано улеглись спать и проснулись еще затемно. Ощупью оделись, прихватили два загодя приготовленных узелка и выскользнули из дома.

Они впервые шли по ванским улицам ночью. Незабываемая ночь! Со временем Ованесу-аге многажды случалось ходить по улицам спящего города, но то, что отпечаталось в душе в самую первую ночь, осталось неповторимым. Бродячий ночной ветерок перелетал в Айгестане с улицы на улицу, непостижимым, колдовским шепотком шушукались по берегам бегущих ручейков ивы и тополя, а под ногами у них струилась вода, взахлеб говорила что-то и пела странные, ни разу неслыханные песни. Улицы спящего города были исполнены неизъяснимых шорохов и волшебства. Над Айгестаном стояла полная луна, и, казалось, она завораживает, чарует, притягивает лучами спящий город - вверх, вверх. Чудилось, что луна добилась-таки своего: сады на две пяди оторвались от земли и потянулись к ней. Вдали ширился и набирал силу какой-то гармоничный, да-да, гармоничный шум - не море ли там вдали, за Цитаделью, заговорило со звездами, луной и прибрежным песком, или это старое, но не обветшалое сердце славной наирийской столицы бьется с неослабной страстью, наполняя кровью зеленые артерии города и ночи?

Ван не спит, он отсыпается днем под гам и гомон суеты своих вечно озабоченных жителей и глухой шум их утомляющих будней... и когда поздно вечером в больших и малых окнах бесчисленных домов гаснут большие и

малые огни, когда засыпают наконец усталые, измотанные горожане, вот тогда-то и пробуждается древний, вековечный город, моргает своими вековыми каменными ресницами и начинает жить, жить новой, сверхъестественной, нереальной жизнью...

- Какая ночь, брат, какой Ван! - первым пришел в себя Ге-ворг.

- Вот он, Ван, - задохнулся Ованес, - дневной Ван — это не Ван.

Вволю набрызгавшись, они умылись у родника, вытерли носовыми платками лица, бодро пересекли улицу Мирави Чадр и стали подниматься на Стальную гору. Минут через десять онщ вышли из рощицы, которая звалась Солахян, очутились в открытом поле и двинулись дальше, в сторону церкви Кармравор. Перед ними высилась гора Вараг, окутанная синеватой дымкой и окропленная влажной лунной пыльцой, похорошевшая во предутреннем забытьи гора Вараг. По левую руку от них катился окаймленный по берегам тополями Пятничный ручей, а по пра вую, к югу, тянулись без конца и без края поля, стремясь кверху к айоцдзорской горе Гядук.

Шли два брата, опьяненные чистейшим воздухом полей и луной, шли весело и легко, шли молча, тихо; разве что переглянутся иной раз, улыбнутся - и снова идут на восток, все больше и больше отдаляясь от Вана, все ближе и ближе подходя к селу Шушанц.

Вспоминает Ованес-ага, вспоминает до мельчайших подробностей идущую по подножью горы дорогу к Варагу и ее последний извив к монастырю. Вспоминает Геворга, смуглолицего, черноволосого юношу Геворга с огромными светлыми глазами. Вспоминает, как из-за вершины Варага взошла утренняя звезда и на минуту, пока сполохи зари не осветили небо, показалось, что гора стала еще темней.

Неподалеку от монастыря, за дорогой громоздится большой утес, огромная скала, словно бы установленная тут человеком. Кто сейчас узнает, в каком веке исполин-ваятель отломил эту скалу от горы Вараг, взвалил на плечо и притащил сюда, возжелав высечь из нее статую? Что или кого хотел он высечь, этот безвестный ваятель - может статься, царицу Семирамиду или же богиню,

а верней, небогиню Астхик?.. Потом, видимо, наступил черед войнам, дикие племена напали на мирные эти селения и долины, на землю и землепашцев, вместе с другими погиб и ваятель-исполин, а камень так и остался камнем, бездыханным и бездушным. Братья взобрались и уселись на этот утес лицом к востоку.

Занялся рассвет. Перед ними простирались обширные поля, дальше - широченный зеленый пояс Айгестана, еще дальше - крепость и Цитадель и, наконец, море, Ванское море, синий сон - ты скажи: сказка, а я скажу: легенда. Перед ними стояла монастырская стена, за стеной - монастырь с его устремленными ввысь куполами, над куполами возвышалась гора Вараг, а над горой багряным светом отливала заря. Из боковых ворот монастыря высыпали коровы и овцы, позади них в клубах пыли висело их далекое от гармоничности и все-таки на диво гармоничное мычание и блеяние, а для братьев даже и в самой этой пыли было что-то приятно пьянящее.

Из-за южного горба горы в небо устремилось солнце. Море местами накинуло на себя оранжевый наряд, местами покраснело - не иначе от блеска красных артаметских яблок, - а местами неуступчиво оставалось мрачным и свинцовым. За морем развиднелась гора Сипан, гордая и печальная, и, едва показавшись, тут же окутала себя туманом - решила, наверное, еще поспать.

Несмелым шагом братья вошли в широкий и просторный монастырский двор. Перед их глазами удобно оперлась о гору Вараг церковь.

Но нет, это им только показалось - монастырь стоял поодаль от горы. Паломникам здесь предназначались длинные галереи, а для братии - комнаты и кельи. По двору взад-вперед сновали монастырские служки, подходили друг к другу, о чем-то перешептывались, а может, распоряжались, но кругом царила таинств венная и вместе деловая тишина. Здесь, видимо, говорят только вполголоса. Из церкви торопливо вышел монах и скрылся в одной из подсобных пристроек, и это тоже произвело на братьей немалое впечатление.

Их поманил к себе высокий остроусый человек с живыми, умными глазами - монастырский эконом господин Петрос.

- Городские? - спросил он. - Ночью не спали?

Они и вправду почти не спали, но чувствуют себя превосходно... сыновья Мурадханяна... Нет, еще не завтракали, но это ерунда, главное - они в Вараге... Как добраться до Апаранджанского ключа?.. Могила царя Сенекерима?.. А это школа?.. Что, значит "интернат"?.. Сейчас каникулы, и ученики, стало быть, разъехались по деревням?.. А городские в интернате есть?.. Кем хочу стать?.. Откуда мне знать - учителем, священнослужителем...

Языкастый и смелый Геворг понравился господину Петросу, Он искренне рассмеялся.

- Не многовато ли будет, сынок? Давай разделим по справедливости: твой брат станет священнослужителем, а ты - учителем, Он не стал священнослужителем, а брат добился-таки своего, стал учителем...

Ованес-ага вспоминает, как воодушевился господин Петрос, когда Геворг с чувством продекламировал стихотворение "Армянские церкви":

Армянские церкви, вы нашей судьбы

Надежные, верные стражи...

Остальное стерлось из памяти.

- Этот мальчик многое обещает! - воскликнул господин Петрос, положив руку на плечо Геворга. - А ну-ка заглянем в монастырский погреб, угощу вас нашим лавашом. Позавтракайте в Сарнапате, это у Апаранджанского ключа, не пожалеете.

Разве Ованес и Геворг не едали лаваша, разве в их узелках лаваша не было? Но ни с чем не сравнимый вкус того, монастырского лаваша Ованес-ага не забыл и доныне.

Слева в монастырской роще горбится зеленый холмик, там растут деревья и кустарники, там стоит ореховое дерево Батюшки Хримяна, в тени которого сидел на коврике варагский орел и редактировал "Васпуракан". Чуть повыше раскинулся ивовый скверик, называемый Сарнапат - холодная стена; там и бьет Апаранджанский ключ.

Сарнапат, ключ Апаранджан ... Ованес-ага много раз сиживал там за отменными яствами и напитками, но все это выветрилось из его памяти, осталась лишь та далекая картина отроческих лет, когда они с Геворгом впервые на славу позавтракали там, попили журчащей, как колокольчик, студеной, ключевой воды и уснули в траве крепким молодым сном.

А когда проснулись... им показалось, что у них три дня крошки во рту не было. И они уничтожили все свои припасы.

- Ованес, - сказал Геворг, - воду пить нельзя.

- Почему? - удивился Ованес.

- Снова есть захотим... от нее только аппетит разыгрывается.

Весь день они бродили. Поднялись на гору Вараг, спустились в долину Варага, набрали там первоцвета и маков, пожевали щавеля, вскарабкались к крепости Астхка, где, по преданию, много веков назад было святилище языческой богини Анаит. Крепость Астхка стояла на самой вершине горы Вараг, и оттуда, по свидетельству старожилов-очевидцев, можно было разглядеть окутанную дымкой вершину Арарата. Утверждали даже, что, вооружившись биноклем доктора Ашера, можно рассмотреть не только величественную главу Арарата, но и вмерзший в вечные снега обломок Ноева ковчега. К сожалению, им не удалось увидеть ни этого археологического чуда, ни даже самого Арарата, и не оттого, что они не были вооружены - мы разумеем бинокль доктора Ашера, - а оттого, что в этот час северную сторону света окутывал густой туман.

Незабываемый, незабвенный день! Сейчас Ованес-ага вспоминает: когда они вернулись в монастырь, господин Петрос повел их в типографию и показал, как печатают книги и газеты. И здесь бойкостью и развитостью ума Геворг снова восхитил не одного лишь господина Петроса, но и Ованеса. Он стал у печатного станка, обратил взгляд на картину, изображавшую святого Саака и святого Месропа - она висела на стене, - и продекламировал:

Славьтесь вовеки, Саак и Месроп, Жизни армянской отважные стражи! Сколько бы ни исходили мы троп, Ваша дорога всех лучше и краше.

Как было дальше, Ованес-ага позабыл, запомнились только последние две строки:

... Пусть же за поступью нашей следят Ваши глаза неусыпно и вечно.

"Аферим, сынок, аферим", (*) - воодушевился господин Петрос, - тебя ждет большое, очень большое будущее... А теперь пошли, угощу вас на прощанье нашим лавашом, сливками, мацуном. А там, глядишь, вам пора потихонькуполегоньку в город...

Так и сделали.

Большое будущее... Пожил Геворг, вырос, так и не нашел себя, жил мелкими сиюминутными заботами, отчаянно метался, испытал и повидал всякое, и когда наконец настало большое будущее, он ушел из жизни и не увидал его.

Под бременем воспоминаний и горьких раздумий возвращается Ованес-ага домой. Только сейчас он начинает понимать, что был не бог весть каким братом - себялюбивым, эгоистичным. Ему почти ничего не стоило бы радовать братьев, скрашивать им жизнь, но он не утруждал, щадил и оберегал себя. В неоплатном долгу он перед Геворгом. Не затем ли, чтобы как-то погасить этот долг, он хотел пышно и торжественно похоронить брата и утишить угрызения совести? Но и это невозможно. Его брат из числа тех, о ком поется: "Сколько их, без могил, без пригляда".

Может, устроить поминки? Какие поминки, когда гремят бои, - это с одной стороны, а с другой - что ставить на стол? Эрманца больше нет, оттуда не пригонишь пару телок или несколько барашков, не позовешь мясника Мисо освежевать их, не разведешь огонь, не поставишь на него огромные котлы, чтобы овеять сады дымом и запахом жертвенного мяса. Какие поминки с кавурмой?.. Это не поминки.

Мхо угодил в Эрманце в западню, не выбрался. Как там Искуи с малышами?.. Эх-эх, Мхитар (**), займи крылья у птиц небесных, прилети, утешь безутешного своего брата, утешь, Мхитар!..

(*) Здесь: замечательно, превосходно (тур.).

(**) Мхитар - утешитель (арм.)

А вот и дом. Ованес-ага глубоко вздохнул и постучался, но не как обычно - отрывистым хозяйским стуком. Нет, он постучался робко, неуверенно и вспомнил, что так стучались к ним айсоры из Эрманца, да еще нищие...

Ван волновался, волновался мутными тяжелыми волнами. Ожесточенные неравные бои - они шли уже не одну неделю - камня на камне не оставили от прежней слаженной жизни и лишили город былого облика. Ван стал неузнаваем. Окончательно он потерял свое лицо, когда его заполнили и мирным путем завоевали толпы голодных беженцев.

Шел дождь.

С толпами голодных беженцев до города добрались несколько уцелевших айсоров из деревни Эрманц. Они пришли к Ованесу-аге, постучались. Дверь открыла Сатеник. Без приветствий, без простого "здравствуйте", без единого вопроса они устремились в своих лохмотьях к навесу на заднем дворе. Среди этих иссохших, кожа да кости, пришельцев - их было семеро - Сатеник узнала верного, преданного их семейству человека.

- Ормз? - обомлела она, не веря своим глазам.

- Я Ормз, младшая хатун, - с трудом выговорил он. Во двор вышел обеспокоенный Ованес-ага.

- Ормз?

- Я, господин.

Это и впрямь был Ормз, его выдавали пепельные обвислые усы и большие глаза. Ничего кроме от Ормза не осталось.

- Мхо? - спросил Ованес-ага, не ожидая ничего доброго.

- Мхо нет, господин, Эрманца нет, всех вырезали, - он провел пальцем по горлу.

Что-то в груди Ованеса-аги раскалилось, загорелось, погасло и обуглилось, испепелилось. До него только сейчас дошло, что Ормз не один. Под навесом впритык сгрудились две женщины неопределенного возраста, двое мужчин,

подросток с перевязанным глазом и юноша, с лица которого не сходила улыбка; только внимательно присмотревшись, можно было догадаться, что это не улыбка, а гримаса боли.

Ованес-ага вернулся к себе, в облюбованный угол кухни; ему сдавалось, что он не идет, а плывет по воздуху. Ноги были как ватные, и он не ощущал под ними земли. А когда садился, померещилось, что провалился в глубокую яму, в колодец.

Эрманца нет, Мхо нет. Ясное дело, идет война, а во время войны изюмом да горохом не жалуют. Взять Симона-агу - потерял все и голову в придачу. А с Фаносом-агой они теперь ровня - оба на нуле; что-то Фанос-ага не показывается. Сам он, слава Богу, голода не испытал. И не испытает...

- Сатеник! - позвал Ованес-ага. Вошла Сатеник. - Сатеник, накорми айсоров. А Вержин пусть приготовит мне кофе.

- Чем их покормить?

- Фасоль, чечевичная похлебка... я и это должен говорить? Пускай переберутся в хлев, там поудобнее... Господи, Господи... Вержин!

- Чего тебе от нее?

- Пусть приготовит мне кофе.

- Перевернись мир, ты от своего кофе не отступишься, - буркнула Сатеник и поставила на огонь джезве.

Легким лучиком, несмотря на довольно грузное тело, скользнула в кухню Вержине.

- Вержин, - распорядилась Сатеник, - поставь на огонь кастрюлю, чечевицу перебери и помой...

"Вот вредная баба", - выругался про себя Ованес-ага, смекнув, что Сатеник все сделала наоборот: за кофе взялась сама, заботы об айсорах перепоручила Вержине.

Видит Бог, с той минуты, когда Ованес-ага узнал, подробности Геворговой смерти, он почувствовал, что кривая дорожка греха для него закрыта. Погибший брат молча стал между ним и Вержине, заслонив ее от глаз Ованеса-

аги. Больше того, Вержине отошла, оторвалась от Сатеник и слилась с Лией. К прежним его чувствам к Вержине примешалось совершенно новое чувство, и она стала для него дороже, любимее. Хотелось заботиться о ней, как о родной, не бросать в одиночестве и нужде. Она еще молода, Вержине, не познавшая любви и нежности красавица Вержин, надо подумать и о ее будущем. Он вправе гордиться и радоваться широте и щедрости своей натуры - красивая вдова его геройски погибшего брата живет в его доме, под его покровительством. Найдутся злые Языки и станут судачить, что Вержине батрачит на них, что она служанка Сатеник. Пускай судачат. В конце концов, война не вечна, наступит мир, он пошлет Вержин в протестантское училище, пускай выучится кройке, шитью, рукоделию. Ованес-ага ничего не пожалеет ради красавицы Вержин, только бы совесть не мучила его всякий раз, как он вспомнит брата.

Он то и дело замечает на себе красноречивый взгляд Вержине. Отгоняя преступные мысли, Ованес-ага внушает себе, что в Вержине просто-напросто говорит признательность. Когда же этот довод кажется ему неубедительным или малоубедительным, он, дабы не распускаться, заставляет себя вспоминать подробности героической гибели брата. Гоня прочь дурные помыслы и соблазны, он обращается за помощью к Библии и, закрыв глаза, твердит "Отче наш", при этом с особым нажимом произносит, да еще и повторяет: "И не введи нас во искушение, но избавь от лукавого".

- Вержин, дочка, поставь кофе...

С первого же дня замужества Вержине завидовала Сатеник, завидовала, что у той сильный и всемогущий муж, обеспечивший ей счастливую жизнь. А она... "Что мне делать? - жаловалась Вержине Геворгу. - Пойти стать при Сатеник бедной родственницей?" Теперь же, когда мужа нет, когда она по воле Ованеса-аги живет в его доме, когда она безропотно трудится как "бедная родственница", а попросту служанка, она хочет... чего она хочет, отнять Ованеса-агу у Сатеник? Нет, это немыслимо и неосуществимо, просто она

хочет урвать у Сатеник половину ее счастья, взять свою долю и наслаждаться ею, но так, чтобы никто об этом не знал.

Вержине толкают, подталкивают к греховным мыслям и зыбкое ее положение, и война, и каждодневные тревоги, и беспрестанные обстрелы. Спала она в той же просторной кухне, что и супруги, в противоположном углу. Когда поздно ночью гасили свет и все погружалось в непроглядную тьму, когда яснее и четче слышались залпы, в голове у Вержине вертелось лишь одно: конец света. Конец света, и еще неизвестно, наступит ли утро...

Все чаще перед нею возникал образ погибшего мужа. "Видишь, - говорил Геворг, - я тебя не устраивал, как только ты меня не обзывала, видишь, я сделал такое, что все ванцы обо мне говорят. Я совершил подвиг во имя свободы Вана. Вот". Вержине прикрывала веки, чтобы не видеть измученного мужнина лица, и ловила себя на том, что уже не презирает Геворга, как раньше; нет в глубине ее души и прежней ненависти к нему; все это исчезло, и ей до боли его жаль. Она понимала и то, что мысль урвать у Сатеник половину ее счастья навеяли ночные кошмары... Ночь уходила, приходил день с будничной своей суетой и хлопотами, Вержине заботливо, как родная родному, ставила перед Ованесом-агой дымящееся наргиле и ночные тревоги мнились ей такими далекими, такими бессмысленными, нелепыми...

Вержине ворошит прошлое, припоминает из жизни мужа то то и это, и любая мелочь представляется ей сейчас важной и многозначительной. Чего уж там сомневаться - она не знала мужа. Однажды в выходной - когда же это было? - все учителя школы выехали с семьями за город. Сели на пароход, объездили острова Лим, Ктуц, Артер и Ахтамар. Побывали в Нареке, приложились губами к надгробному камню Григора Нарекаци. странное дело, за все это время он не выпил ни капли.

- Почему вы не пьете, господин Геворг, у вас что-то с желтком? - спросил Асканаз Дудикян.

- Меня мучит не желудок, а время, - без тени улыбки ответил Геворг коллеге. - Я и без вина пьян.

- Чем же вы пьяны, господин Геворг?

- Историей, эфенди, горестной армянской историей.

Он часами бродил по острову, внимательно рассматривал хачкары и надписи на них, а устав, отдыхал на "камне Раффи", улыбался своим мыслям, хмурился и, прикрыв веки, то ли деклами ровал что-то шепотом, то ли пел.

А поздно вечером Вержине застала его "на камне Раффи" слезах. Бывало, он плакал и дома - когда напивался до чертике" когда Вержине осыпала его бранью, когда... а теперь-то что "Может, он выпил тайком?" - предположила она.

- Что случилось?

Застигнутый врасплох, он быстро вытер глаза большим пла? ком и буркнул:

- Ступай, оставь меня.

Он был трезв как стеклышко, он терзался какими-то думами. Вержине поднялась в монастырские покои для паломников, уснула безмятежным сном и больше никогда не вспоминала про этот случай. А сейчас до нее доносится сквозь годы вопрос учи теля господина Асканаза Дудикяна и ответ мужа:

- Чем вы пьяны, господин Геворг?

- Историей, эфенди, горестной армянской историей.

Как-то раз он явился домой ночью, пьяный и злой. Получил жалованье. Серебряные меджидие скользнули под подушку Вержине. Она не спала, но притворилась, что спит, твердо вознамерившись не ссориться и не трепать нервы. Верно ведь сказана: дурному проповедь - что черному мыло. Сквозь смеженные ресницы она увидела в полумраке комнаты бледное лицо мужа; он сидел у окна и, обхватив голову руками, что-то бормотал.

Вержине не утерпела:

- Приличный человек не пьет. Если и выпьет, так для веселья. А ты ведь и веселиться-то не умеешь Кто бы тебя спросил: зачем пьешь?

- Вино сопутствует не только веселью; но и печали, - прозвучало в ответ. - Не спишь?

Нет, Вержине не спит - по-видимому, и бессонница сопутствует не только веселью, но и печали. Так оно, повидимому, и есть...

- Тысячи, десятки тысяч мы потеряли! Где уж тут пить на радостях или спать спокойно!

Вержине догадалась, отчего горюет муж. Плакать или смеяться? Не раз, бывало, услыхав, что Ованес-ага провернул выгодное дельце и остался с большим барышом, он являлся домой со счастливой улыбкой.

- Ну, слава Богу, на тысячу - тысяча прибыли...

- Тебе-то что, убогий? - неизменно возмущалась Вержине. - Тебе-то какой прок от его прибыли?

Он хлопал по-детски наивными добрыми глазами и оправдывался:

- Это же мой брат, понимаешь, брат!..

Вот пожалуйста: "Тысячи, десятки тысяч мы потеряли..."

- Ложись-ка лучше, - зевнула Вержине. - Не тебе оплакивать эти потери.

- Почему не мне? Разве я не армянин? - повысил он голос. - Разве ты не армянка?

- Тебя послушать, так всем армянам надо оплакивать потери твоего Ованеса-аги.

- Какой Ованес-ага? Ты о чем? - удивился муж. - Выпил я, а пьяна ты?

- Ты выпил, ты и пьяный, - отрезала Вержине. - Тысячи мы потеряли - это ты сказал или я?

- Конечно я! - стукнул себя кулаком по бедру муж. - Ужасная, чудовищная история... тысячи тысяч... в Адане... вырезали, турки армян ... кровожадные звери, гиены!..

Теперь, когда его нет, когда он ушел из жизни так во всех смыслах неожиданно, Вержине вспоминает далекие и близкие эпизоды, подробности, разговоры, и все это кажется ей необыкновенно важным, важным и многозначительным. Нет, ее муж не был заурядным пьянчужкой, ветрогоном и пустомелей: ему не удалось найти своего места в жизни, и он решил смертью

возвысить себя и занять достойное его место. И он возвысил себя. Он занял это место...

Ованес-ага как заснул, так и проснулся. Вспомнил: "Эрманца нет, Мхо нет". Ованес-ага не принадлежал к тем людям, которые молча копят горе в душе, чтобы оно разъедало ее как моль, вовсе нет. Он был не таков. Гибель Геворга смыла и вытерла слезы, которые он проливал по своему торговому дому, а трагический конец Эрманца, Мхитара и его семьи отбросил, отодвинул на задний план смерть Геворга. Новое из ряда вон выходящее событие, новое потрясение если и не заставило бы забыть эту свежую бола и скорбь, то хотя бы смягчило ее.

Он подумал о приютившихся в хлеву беженцах, потом мысли унесли его далеко-далеко, и он припомнил Амбарцума, мать... а следом Геворга, Мхо. На том свете они уже, наверное, отыскал" друг друга и рассказывают о том, что выпало каждому из них. Не исключено, что они судачат о нем... Почему, собственно, что о такого сделал? Разве их доля не счастливее его доли: ведь он-то не умер, жив он, он вынес тяжкое свое горе и теперь царствует на руинах...

Ованес-ага решил отвлечься и взялся размышлять над весьма серьезными проблемами. Говорят, военное командование не знает покоя ни днем ни ночью. Все верно. Не до сна бойцам на позициях, не до сна и командирам. А как уснуть бойцам, если бодрствуют турки? Погибли завалли (*) Врамян и Ишхан, ушли навсегда. Ованес-ага восстанавливает в памяти тот немыслимый далекий теперь год и день, когда он увидел и того и другого. Об Ишхане всегда говорили, что у него длинные волосы и большая борода, а увидел он человека со стриженными волосами и куцей бородкой. Наверное, как женился, остепенился. Изменил бичим (**), чтобы жену и детишек не пугать. Врамян, тот любил цветы; теперь он на дне моря, а там цветы не растут. Негодяй он этот Джевдед! Арам сам не свой бродит по позициям. Придет день, и он погибнет.

(*) Бедняги (тур.).

(**) Внешность, облик (тур.).

Говорят, Тевос Техтркян и Ширин из Хараконисса явились в штаб и потребовали у Екаряна: позволь-де всем бойцам и нам тоже оставить город и перейти границу. А народ? А народ бросим на милость Джевдеда. Сволочи! Екарян разоружил этих мерзавцев и взял под стражу, Арам сказал: "Да здравствует Екарян!" А Мигран Манасерян, тот вообще в боях не участвует; отпустил бороду, сидит дома, отговаривается - то живот болит, то бок болит... Чтоб тебе свету от боли не взвидеть! Струсил, и ничего больше. Теперь он сам за Кармиле бегает. А та его ни во что не ставит! Она ему спела:

Позор тебе за то, что нет
Оружия в твоих руках!..
А он ей ответил:
Поверь, что ты одна в моей судьбе.
Безумным стал я от любви к тебе...

И шагнул к девушке. Кармиль подняла такой крик, что на помощь прибежала старшая хатун. Старшая хатун сказала Миграну: "Будь проклят тот день, когда я тебя родила, и молоко, которым я тебя выкормила!.. Весь Ван сражается, а тебе хоть трава не расти, ищешь, где бы схорониться..."

А новопоколенец и пустобрех Грант Багратуни, вместо того чтобы пойти на позиции, явился в штаб к господину Екаряну и заявил:

- Я хочу воевать...

- Бери оружие и ступай на Чантикяновскую позицию, - приказал господин Екарян.

- Но я хочу воевать не оружием, - возроптал герой-новопоколенец.

- А чем же? - удивился Екарян.

- Пером, - ответил Грант Багратуни.

- Мы Джевдеду любовных писем не пишем, - сказал господин Екарян, - так что в твоем пере не нуждаемся... Фанос Терлемезян художник, однако отложил кисть и бьется с оружием в руках как герой... Иди и ты воюй!

Грант Багратуни, однако, предпочел пойти домой и вызубрить от слова до слова роль Аслана из "Долины слез": когда, мол, война кончится, взойду на сцену и сыграю эту роль...

Стыдись, Грант Багратуни! Учитель школы Ерамяна и писатель господин Арам Тумахян почему-то может и драться, и воодушевлять своей отвагой товарищей, говорить им: в каждом ванце живет прародитель Айк, победитель Бэла. Аферим, господин Арам!

Сейчас Ованес-ага сидит на развалинах, и не просто сидит, но сидит в исполненной скорби позе, подперев голову левой ладонью, и впрямь скорбящий Отец-Отечество. Окрест него - пустынно - руины городов и сел, вековых крепостей и храмов; сидит Ованес-ага и размышляет, как это тяжко быть Отцом-Отечеством: ни с места ни двинься, ни за ухом не почеши. Ованес-ага забыл про голод, но его мучит жажда. Вдали течет река. "Это Аракс, - думает Ованес-ага. - Может, встать, побродить по берегу, наклониться и незаметно попить?.. Нельзя, - думает Ованес-ага, - никак нельзя". Вот если бы пришел Аршак Дзетотян со своим фотографическим аппаратом и сделал с него снимок, тогда он мог бы чувствовать себя свободным. Да откуд ему здесь взяться, Аршаку Дзетотяну, среди этих руин?

Ованес-ага слышит легкие шаги, но не имеет права оглянуться и взглянуть, кто это. Кто-то склоняется над ним сзади и кладет перед ним дымящееся наргиле. Хушуш? Нет, Сатеник. Ованес-ага озадачен: вправе ли Отец-Отечество курить наргиле, вправе ли побаловаться с женой?

- Пришла, шолофик? - с нежностью говорит Ованес-ага.

- Пришла, - говорит Сатеник. - Встань и зарычи, как леа

- Зачем? - удивляется Ованес-ага.

- Затем, - отзывается Сатеник и поясняет: - Час пробил. Армении пора зарычать.

- Сперва наргиле покурю, потом зарычу, или, может, зарычать, а там и покурить со спокойной совестью?

Сатеник смеется аляфранка, точь-в-точь госпожа Хушуш, жена управляющего его магазином господина Сета, падает пере Ованесом-агой ниц, обнимает его колени и говорит точь-в-точь Вержине:

- Я твоя служанка, господин.

И в ту минуту, когда Ованес-ага начинает ласкать Сатеник, из развалин появляются знакомые люди, знакомые лица; они смотрят на Ованеса-агу и смеются - Елия Нахшунян, Акоб Дурзяц Врамян, Симон-ага, Ишхан, Амбарцум, Мхо... ушедшие из жизни ни мученики и страстотерпцы. Они смеются: ха-ха-ха! Ованес-ага просыпается.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ПЯТОЕ.

Путешествие в прошлое. По следам Фаноса Терлемезяна

1

День выдался из труднейших. Некогда воин, затем заключенный и беглый арестант, позднее художник, а ныне опять же воин и член военного командования Фанос Терлемезян вместе с другими штабистами только что вернулся с позиции, которая подверглась мощным атакам неприятеля и внушала серьезную тревогу. Старший тамошнего отряда Арабо не просил о подкреплении, но даже попроси он о нем, у командования не осталось никакого резерва. На подмогу оборонявшимся пришли сами штабисты, вооруженные, что называется, с ног до головы.

Оставив свои рубежи, турки - спереди сброд, а позади регулярные части - заполнили улицу и с воплями и гиком ценой больших потерь продвигались к узловой позиции. Дым, пыль столбом, брань, грохот дальнобойных орудий! Пушечные снаряды рвались под носом у ванцев - те стояли лицом к лицу со страшной опасностью, - но повергали в ужас самих же турок, их передовые цепи. Регулярные же части нажимали сзади - вперед, вперед! Армянский бастион молчал. Ободренная этим толпа с криком "Салават" (*) делала то, чего

от нее требовали, - продвигалась вперед. "Салават!" - подхватили клич аскеры регулярных частей и офицеры. Один из чинов выказывал особое рвение и, обнажив саблю, сотрясал воздух своим истошным:

- Салават!

Враг находился в каких-нибудь двадцати пяти шагах от позиции.

- Чего мы ждем? - кипит, нервничает, стоя на коленях перед амбразурой, боец-подмастерье Киракос Киракосян, совсем еще мальчишка. - Чего мы ждем, командир?!

_____

(*) Здесь: с нами Бог (араб.).

_____

- Обожди, философ, потерпи, - то ли увещевает его, то ли приказывает Арабо, неотрывно следя за продвижением турок и явственно различая злобный прищур их глаз и зажатую в уголках глаз ухмылку; и когда топот их ног слышится уже с двадцати шагов, Арабо глубоко вздыхает и командует:

- Огонь!

Теперь бинокль вовсе и не нужен, теперь и без него прекрасно видно, как падают несколько убитых и несколько раненых турок. Обычно первая же кровь вызывает в толпе панику, и она с руганью и проклятиями отступает, волоча за собой тела убитых, а порою и топча их. Но не на этот раз... на этотраз кровь возымела обратное действие: вооруженная толпа взвыла подстреленным зверем и метнулась дальше. Арабо заметил, что турки получили поддержку и крупный отряд, обойдя улицу, проник в сад. И теперь узловой бастион армян с трех сторон окружен атакующим врагом. Приговор тем не менее обжалованию не подлежит - только через трупы Арабо и его бойцов турки ворвутся на эту важнейшую, едва ли не все решающую позицию.

Установленные над пещерой Зымп-Зымп пушки дали залп, и два снаряда в прах разнесли северную стену бастиона. После этого уже не встанешь на корточках перед амбразурой. И бойцы - глаза у них слезятся от дыма и пыли - распластались на полу и отбиваются на три фронта. Приговор обжалованию

не подлежит, - только через трупы Арабо и его бойцов враг проникнет... Подоспели рабочие строительного отряда, споро и ловко принялись восстанавливать рухнувшую стену. Двоих убило, одного ранило, но приговор обжалованию не подлежит - только черёд трупы Арабо и его бойцов...

- Киракос! - зарычал Арабо, подхватил юного воина и положил окровавленную его голову на колени. - Ослепни мои глаза: Огонь! Огонь!

Приговор обжалованию не подлежит...

В этот-то решающий миг на бастион пришли, нет, не пришли, а прибежали члены военного командования Молния Аракел Болгарин Григор, Арам, Терлемезян...

- Арабо! - сказал Екарян. - Арабо!..

Что еще сказал Екарян, Арабо не расслышал. "Держись, брат, выше голову!" или что-нибудь в том же духе ("Ослепни мои глаза, наш молодой, наш красивый Киракос..."); Арабо не расслышал, что сказал Екарян, поскольку в решающий этот миг заиграл духовой оркестр, или, как называли его ванцы, фанфар. Фанфар, по-вашему, заиграл? Да нет же, он не заиграл, а громом грянул "Марш зейтунцев".

- Что там за ворон, парни, вон тот, длинный? - спросил Терлемезян и стал на колени перед амбразурой. Вороном он назвал того самого офицера, который, обнажив саблю, сотрясал воздух своим истошным "Салават!". Маузер старого воина не знал промаха. Бравый офицер свалился наземь. - Это тебе за нашего Киракоса, - процедил Терлемезян и снова прицелился.

- Я с него глаз не спускал, Фанос-ага, - сказал Арабо. - Ослепни мои глаза...

Прочие штабисты тоже заняли места перед бойницами: огонь, огонь, огонь!

И случилось невероятное. То ли убитых оказалось чересчур много, то ли подействовала на толпу турок громовая музыка, сказать не берусь, но сброд попятился, повернул и ринулся наутек, сминая солдат регулярных частей, а те в свой черед подмяли под себя офицеров... Стоившая больших потерь атака обернулась бегством с еще большими потерями.

Так оно и случилось.

... Сняв с себя оружие, Фанос вышел во двор штаба, перед глазами у него стоял юный Киракос с окровавленной головой и землистые лица рабочих-строителей. "Удивительный народ ванцы, - думает Фанос, - да и не только ванцы, вообще армяне: каждый что-то из себя представляет, у каждого свое призвание - этот земледелец, этот хлебопек, этот ремесленник, этот школьник, этот интеллигент, этот священник, этот торговец, эта Мариам-паша, этот изобретатель Гуюмджибашян... а если уж совсем ничего, то на худой конец сладкоречивый Акоб Кандоян... Кто же окружает этот Богом отмеченный народ, кто они такие, кому невтерпеж ядовитой змеей обвить его шею, навязать ему свою волю, вырубить, спилить, стереть с земли, с корнем выкорчевать то дерево, плодами которого раньше всех лакомятся они сами, и отсечь ту руку, трудами которой они же сами и живут?"

В памяти Фаноса всплыла давешняя жуткая картина: с трех сторон водоворотом бурлит возле узлового бастиона разношерстная, разномастная толпа, ослепший от ненависти сброд-кровопиец, сброд-кровосос, который от рождения и до могилы знает одну лишь исступленную страсть - убивать, грабить, жить награбленным, а промотав чужое добро, сызнова выйти на "жатву", то бишь пожинать плоды трудов многострадального армянского пахаря и жнеца... А что же пахарюармянину?

Некогда армянин безраздельно владел этой землей, на этой земле у него, ее хозяина, было свое государство, свои столицы свои знамена и деньги, армия и мощь. На библейской этой земле бился он с цивилизованными народами и дикими племенами, сражал и бывал сражен, дал миру Тиграна Великого и Хоренаци, свое зодчество, и поэзию, и живопись, и театр и, сгорая, озарял своим светом историю и человечество, а сам... сам таял, как восковая свечка, потому что и жизнью, и даже смертью мужественных своих сынов, их непрестанным горением освещал перепутья бытия. И еще таял он, истощался от роковых столкновений противоборствующих внешних сил, и еще таял он, истощался оттого, что эти противоборствующие внешние силы порождали силы внутреннего противоборства, - и шли войной область на область, князь

на князя, правитель на правителя, партия на партию... Отсюда и вывод: армяне-де народ непокладистый, разобщенный. Да мыслимы ли любовь и единение в семействе, чей дом стоит посреди перекрестного огня? Зато, когда армяне всем миром поднимались против одного общего врага, они творили чудеса. За примером ходить недалеко, вот он - этот сражающийся, непостижимо сильный и легендарно стойкий город. Еще недавно в этом древнем зеленом городе слепящим костром полыхала партийная рознь, бушевали страсти добрые и недобрые, вероломство, братоубийство... А сейчас?

Послеполуденное солнце пригрело Фаноса приятным бархатным теплом. Он сидел, подставив солнцу спину, на одной из длинных скамей, которые с трех сторон окружали раскинувшийся перед штабом заброшенный сад. Был Фанос тяжеловат, крепко сбит, не молод и не стар. Его короткая, толстая, мощная шея выдавала непреклонность, упрямство и дерзость натуры. Всё примечающие, внимательные, много чего повидавшие глаза смотрели словно бы из глубины черных как смоль всклоченных волос и бороды.

- Фанос, - послышался из открытого окна второго этажа голос Екаряна, - сними маузер - с маузером Фанос не расставался, - и отдохни по-человечески.

- Мне и так хорошо, - сладко зевнул Фанос, а в доказательство подложил под голову привезенную из России мягкую фуражку с нешироким козырьком и вытянулся на скамье, уставив глаза в небесную синь и наслаждаясь ласковым апрельским солнышком.

... Когда бишь это было, кажется, чуть ли не вчера - он бродил по Варагской долине с охотничьим ружьишком за спиной, не столько ради дичи, сколько ради того, чтобы поупражняться в стрельбе. Он учился в невзрачной школе неподалеку от дома и грамоту постигал по "Книге скорби" Нарекаци, потом ему дали в руки рубанок столяра и иглу портного, а сам он... сам он больше всего на свете мечтал о карандашах "фабер"; карандашами "фабер" он рисовал на выбеленных стенах комнаты до того взаправдашних мышей, что у живых кошек слюнки текли. Когда в городе открылась Центральная школа Мкртича

Португаляна, юный Фанос поспешил туда. Эта, скажем так, централизация продлилась всего лишь четыре с половиной года; турецкое правительство спохватилось, закрыло Центральную школу, а Португаляна и двух других Мкртичей, его помощников и соратников, переправило в Полис. Но турецкое правительство опоздало, очень опоздало: за четыре с половиной года трем крестителям (*) удалось книгами причисленных ими к сонму святых Раффи, Гамар-Катипы и Налбандяна окрестить в купели армянского свободомыслия целое поколение. Многие из питомцев Центральной школы погибли в девяносто шестом, а немногие выжили; среди немногих был и Фанос, который в 1887 году, двадцати лет от роду, перебрался в Персию, а оттуда весьма удачно, с большим знанием дела провез в Ван оружие и запрещенную литературу. Весьма удачно...

Фанос прекрасно помнит тот день. Его раздражало, что турецкие власти не обращают на него никакого внимания и он может преспокойно разгуливать по Хач-Похану и беспрепятственно покупать все, что поручил отец. Хорош революционер, нечего сказать: идет без опаски куда вздумается, а турецкие ищейки и в ус не дуют. Вот мимо прошел полицейский офицер, равнодушно глянул на него исподлобья и отвернулся. "Нет, - обозлился Фанос, - чтобы быть настоящим революционером и мозолить глаза шпикам, надо отпустить бороду и усы, да подлиннее". Он ощупал подбородок; увы, растительность пробивалась там куда как медленно.

Купив рису, сахару и еще чего-то, он уже собирался домой, но вдруг заметил возле третьего магазина давешнего полицейского; тот не сводил с него глаз. В душе Фаноса радость мешалась с тревогой. Неужели?..

(*) Мкртич - креститель (арм.).

Он отправился домой. Перед воротами Вувуникянов остановился, переложил кулек с рисом и перевязанную тесьмой пачку сахара из руки в руку и

незаметно оглянулся. В двадцати шагах он увидел офицера, уже сопровождаемого аскером.

Обыск ничего не дал, но Фаносу было приказано следовать за полицейским; мать заплакала, сестренка захныкала, а отца не оказалось дома, иначе он не преминул бы сказать: "Я тебе, парень, говорил, возьмись за ум, выучись на портного, столяра дьякона, так нет ведь, втемяшил в голову: тернистый путь революционера! Теперь вот и поглядим..."

Под надзором полицейских, начальника и подчиненного, Фай нос пошел по тернистому пути революционера и очутился в околотке на Хач-Похане. Там установили его личность, осыпали злобной, смачной и не очень пристойной бранью, запихнули в полицейский фургон и благополучно доставили в Цитадель, в тюрьму. Все случилось в точности так, как и грезилось юном борцу за свободу, а если что и привело его в замешательство, так это площадная ругань и вообще неподобающее к нему отношение полицейских чиновников. Фаносу представлялось, что грозное присутствие революционера не должно внушать турецким чинам, равно высоким и рядовым, ничего, кроме страха и почтения.

Тюрьма... то была не тюрьма, а явка боевиков-арменистов" словно бы прибывших сюда на закрытое - в самом прямом смысле слова - собрание. Юный Фанос слыхал имена многих из них, давно мечтал увидеть этих людей, и вот пожалуйста - он сидит вместе с ними, "каторжниками", беглецами, мятежниками, и не где-нибудь, а в тюрьме, как равный с равными.

Когда юного свободолюбца втолкнули в камеру и со скрежетом затворили за ним тяжелую ржавую дверь, раздался голос прославленного революционера, учителя армянской истории Аристакеса Ахикяна.

- Друзья, - сказал он, - отныне турецкое правительство может спать спокойно, а здесь за его счет надо открыть тюремное отделение детского сада...

Все рассмеялись, и Фанос тоже. Такой прием, однако, не помешал старшим по возрасту арестантам окружить юношу любовью, вниманием и заботой.

Начались тюремные будни. Они пели "Мы гонимы из города в город" и не забывали также про "Свободного бога", играли в тама; что до Фаноса, то он набрасывал на чем попало портреты сокамерников и, боясь пропустить словечко, слушал их рассказы о боевых приключениях, о революционных подвигах, о "святой троице" - трех Мкртичах; кроме того, Фаноса наставляли, как вести себя со следователями.

- Заруби себе на носу, - говорил ему Рыжий Григор, - твои ответы таковы: два "да", двенадцать "нет" и бессчетно "не знаю". "Не знаю, эфенди, не знаю". Пускай следователь лезет на небо и плюхается на землю, твое дело твердить: "Не знаю, эфенди, ничего не знаю..."

Угодив за решетку, Фанос гадал: позволяют ли себе турецкие полицейские грубо обходиться со взрослыми революционерами или ему в одиночку суждено нести этот крест? Долго ждать не пришлось, вскорости он разом получил ответ на оба вопроса. Однажды ночью Рыжего Григора и Геворга Отяна вызвали на допрос. Ушли они бодрые и энергичные, вернулись - истерзанные и измордованные. "Эвет, эфенди" (*), турецким властям недосуг играть с бунтовщиками в кошки-мышки...

_____

(*) Да, господин (тур.).

_____

Рассказы бывалых сокамерников о различных переделках, которые потребовали от них мужества и отваги, не давали Фаносу спать, и ночами, когда все утихало, он не смыкал глаз и составлял планы на будущее, один другого грандиознее. Особенно воодушевлял его образ гнчакского деятеля ванца Джангуляна. Он, этот дерзкий революционер, принародно сорвал со стены армянской патриархии в Полисе портрет султана и растоптал его. И хотя заключенные арменисты осуждали эту выходку - "легкомыслие, авантюризм", - юный тираноборец в глубине души осуждал осуждавших Джангуляна и всем сердцем был с ним солидарен. Окажись он на месте отважного ванца, он, конечно же, поступил бы точно так же.

На допрос Фаноса вызвали только однажды.

- Турецкий знаешь? - спросил следователь.

- Нет.

- Армянский знаешь?

- Да.

Дошла очередь и до "не знаю". Переводчик-турок обратился к нему:

- За что арестован, знаешь?

- Не знаю, - пробубнил Фанос, как школьник, вызубривший урок.

Следователь растолковал ему через переводчика: если, мол, ничего не станешь скрывать и чистосердечно во всем признаешься и покаешься, мы тебя простим и освободим, ну а нет...

- Знаешь, где находишься? - с угрозой спросил офицер.

- Не знаю.

- Не знаешь, так узнаешь. - И он влепил Фаносу увесистую оплеуху. - Теперь знаешь?

- Да.

Допрос продлился час. Дважды Фанос произнес "да", двенадцать раз - "нет" и чаще всего отвечал "не знаю". Следователь полез на небо, плюхнулся на землю, но, что бы ни спрашивал, слышал одно: "Не знаю, эфенди, не знаю".

Допрос оказался первым и последним. Четыре медовых месяца провел юный революционер в ванской тюрьме. Как-то осенним утром надзиратель выкрикнул его фамилию и выпустил на все четыре стороны.

- Убирайся отсюда и не забудь поцеловать руку Карапету-аге Нотаняну! - гаркнул ему начальник тюрьмы.

Довольный собой, Фанос направился в Айгестан. Вот и дом. Радости матери не было предела. Она нагрела воды, выкупала сына, испекла лепешек, сварила плов. Сестра расчесала ему волосы и назвала его "господин беглец". А отец...

- Говорил я тебе, - вдалбливал он сыну, - возьмись за ум, выучись на дьякона, человеком стань... а ты все свое: тернистый путь революционера! Ну, ступай к Карапету-аге Нотаняну, поцелуй ему руку.

- Он-то при чем?

- Он за тебя поручился: ты, мол, не будешь больше баловать, это, мол, у тебя по молодости, ты у нас заблудшая овечка...

- Заблудшая овечка - твой Карапет-ага! - возмутился Фанос.

- Эй! - в свой черед возмутился отец. - Попридержи язык... Сказано тебе: возьмись за ум.

Фанос послушался отца, взялся за ум и... навестил семьи своих сотоварищей по тюрьме, рассказал, что и как, утешил... Убедившись, что все в порядке, заторопился в Муш, Кхи, Басен, Сасун - налаживать связи с тамошними революционерами или укреплять старые.

Годы, годы - дзинь-дзинь-дзинь, - караваном верблюдов прошли они перед глазами Фаноса.

Куда бы его ни заносило, везде он видел одну и ту же картину: бои, битвы, война.С одной стороны, мирный праведный труд, с другой - страстная тяга ничего не делать и всем владеть; одна сторона обеспечивала себе жизнь, обильно поливая землю потом, другая - проливая чужую кровь и попирая все человеческие права. Стало быть, пот бессилен против крови, а раз так - кровь за кровь.

По-прежнему внемля отцовскому совету взяться за ум, Фанос возвратился в Ван и принялся искать уже не единомышленников, а соратников. Соратники не заставили себя долго ждать. Они появились, причем сразу двое, в образе крестьянина Чато из села Качет, что в горном Шатахе, и в образе Шеро.

Эй, высоченные горы Шатахские, гей, глубокие ущелья, вы с радостью давали приют и герою и разбойнику! Эй, прославленные шатахские безумцы, гей, безумцы из безумцев - Чато и Шеро!

Вот они - в пестротканых шерстяных штанах, с темными кисточками на белых папахах, в белых ноговицах; один коренастый, как утес, другой длиннющий, как хваленые ореховые деревья Шатаха; они и порознь грозны, а вместе - грознее любой грозы.

Божья кара разбойникам, надежда и опора многострадальному труженику Чато и Шеро!

Гей-вах, село Цицанц, где злым духом угнездился густоусый вождь курдского племени Шакыр-ага со своими присными, готовыми украсть и отнять и лошадь, и барашка, и честь, и последний грош! Да разве ж один он, Шакыр-ага? Их много, охочих до чужого добра, что против них какой-то Чато и какой-то Шеро?

- Богом клянусь, Фанос-ага, ежели мы одного Шакыра прикончим, десяток таких же Шакыров обделается со страха, волоса у нас на голове тронуть не посмеют.

Встали они в полночь, взяли оружие, вскочили на коней, домчались до Цицанца, помолились всевышнему - и к дому Шакыра; пиф-паф! - застрелили Шакыра и еще кой-кого вдобавок и скрылись в горах.

На птичьих крылах долетела до гор весть: эй, бродяги, кровопиец Шакыр-ага цел и невредим, убит телохранитель да поранены двое слуг... ослепни мои глаза, отсохни мои руки!..

Спасся ты, Шакыр, от Фаносовой пули, это тоже уметь надо, зато лютый Нури, тогдашний начальник ванской полиции... Нури рухнул как-то вечером замертво у дома Шатворянов...

... Вспоминаются Фаносу тревожные те дни: власти арестовали всю мужскую половину семейства Шатворянов, двоих забили до смерти, а Шатворян Манук... Манук признался следователю: я, дескать, убил Нури, я. Ценою своей жизни решил он вызволить не замученных еще своих родственников, а заодно помешать туркам напасть на след настоящего террориста. Герой, истинный герой!

В городе, у ворот, называемых Тебризскими, повесили Манука. Всколыхнулся Ван, заволновался и забурлил. Ночью группа молодых парней выкрала тело мученика, и, как ни силилась помешать этому полиция, хоронили Манука торжественно и многолюдно и с почестями предали земле. И стал Манук святым Мануком, а его могила - местом паломничества.

По-всякому возникают святые. И так тоже.

Когда до властей дошло, что вовсе не вздернутый на виселицу Манук, а выпущенный из тюрьмы по поручительству Карапета-аги Нотаняна "заблудшая овечка" Фанос Терлемезян уложил наповал начальника полиции Нури, они переполошились и бросились на поиски Фаноса - уже не затем, чтобы повесить его, а чтобы разорвать на куски. Что же до Фаноса, то картина, на которой его рвут на куски, сказать по правде, претила его художественному вкусу, он счел за благо скрыться в горах и, естественно, стал беглецом. Турецкие власти отнюдь не отчаялись, суд троекратно приговорил беглого ванца Терлемезяна к смертной казни, и за голову Фаноса было обещано триста османских золотых, триста звонких монет. Прослышав об этом, Фанос расправил плечи, спел "Мы гонимы из города в город", скрепя сердце распрощался с горами и долинами Васпуракана и перенес свою в триста золотых ценимую голову на другую сторону границы. Еще немного времени, и - вот ведь Фанос! - он объявился на улицах Еревана, потом Тифлиса, Баку, Ростова, Москвы и в конце концов Петербурга.

Из Еревана он написал родителям письмо (лучше бы не писал): у меня, мол, все в порядке, жив-здоров, взялся за ум, собираюсь в Петербург - учиться живописи, большой, мол, привет ванскому наместнику и султану Гамиду, передайте, что свою в триста золотых ценимую голову Фанос Терлемезян решил покуда держать на собственных плечах, дабы не вводить в расход государственную казну; письмо он отправил, разумеется, не по почте - нашли дурачка! - а вручил доверенному революционеру, который собирался тайно перейти границу и перебраться в Ван, причем не в первый и не в последний раз. Мог ли знать Фанос, что судьба распорядится по-своему и турки задержат опытного лазутчика на самой границе...

Добравшись до Петербурга, Фанос наконец-то перевел дух, отдал в починку стоптанные башмаки, чисто побрился, оставив в парикмахерской черные усы и бороду революционера, и с кистью в руках направил стопы в Академию художеств, ибо с раннего детства питал неистребимую любовь к искусству

живописи. Вскорости Фанос достиг на этом поприще заметных успехов и приобрел себе имя.

В окне его убогого студенческого жилища вырисовывался, проступая сквозь петербургские туманы, Медный всадник, памятник Петру Первому. Молодой ванец не давал покоя кисти. Работа продвигалась неплохо. "Эй, Фанос, а ты и вправду способный малый, я и не знал!" - воскликнул он как-то вслух - не затем даже, чтобы поощрить себя, а чтобы снова услышать, как она звучит, армянская речь. "М-да, - все чаще думал Фанос, - кто нам нужен, так это свой Петр Великий. Не вовремя он родился и не там, где надо. Ему бы сейчас родиться, его величеству Петру, и родиться в Армении... В Армении? А в какой, собственно, Армении? - засомневался Фанос. - Чтобы обрести Петра Великого, надо обрести страну, государство, государственность. А у нас единый народ расколот надвое, исторически наши условия неблагоприятны, в таких условиях армянский Петр Великий не родится..."

Фанос рисовал, и его обуревали грустные мысли. Как-то, когда он приступил к хвосту императорского коня, раздался стук в дверь.

- Кто там? - на ванском наречии спросил Фанос и улыбнулся. Кому ж еще быть? Явились три жандарма, проверили его бумаги, обыскали комнату, сказали (разумеется, не по-вански, а по-русски): "Пошли", - увели Фаноса и посадили в кутузку. Вот тебе и живопись, вот тебе и Петр Великий!

В первую ночь он не сомкнул глаз. Ему как дважды два - четыре было ясно, что схватили его не потому, что он рисовал памятник Петру Великому, нет, тут не обошлось без вмешательства турок. Но как они его отыскали? И с этой минуты Фаносу не давало покоя уже не "как", а "зачем". Зачем ему приспичило отправлять из Еревана то злополучное письмо? Какая близорукость,какая глупость! Чего уж тут гадать, письмоносец попал в беду, а письмо - к туркам...

На третий день его вызвали на допрос. На допросе присутствовал важный, судя по внешности, чиновник. Переводчик был армянин, вел он себя так же сухо и официально, как оба следователя.

Фанос быстро сообразил, что здесь неуместно отвечать только "да", "нет" и "не знаю", здесь нужно говорить откровенно и начистоту. Чего ему стесняться? Никаких преступлений против русского правительства он не совершал, не станут же судить в России за то, в чем обвиняют его турки. Ну, давай, Фанос, говори и говори, язык, он без костей, облегчи душу! Поначалу толмач переводил его слова вроде бы нехотя, вяло, с какой-то скучной миной, но мало-помалу ожил и, загоревшись вслед за Фаносом, принялся переводить с чувством, заинтересованно и увлеченно. Важный чиновник закурил папиросу и задумчиво выпустил дым в сторону люстры, а следователь уверенно и, по всему видно, со знанием дела записывал показания Фаноса.

- Все это хорошо, - сказал он в итоге, - но судили вас и приговорили к смертной казни не мы. Дело в том, что турецкое правительство напало на ваш след и теперь требует передать вас в руки оттоманского правосудия, а правосудия в Оттоманской империи, если верить вашему рассказу, нет и в помине. Мы вам верим, но связаны с турецким правительством договором, согласно которому обязаны возвращать друг другу перешедших границу государственных преступников. Вот почему его сиятельство... - Он кивнул на важную персону.

- Вот почему мы... Не, будь вы турецким подданным...

- Но я не турецкий подданный, - нашелся Фанос, - я подданный Персии...

- Как так? - удивился следователь.

- Очень просто, - стоял на своем Фанос. - Извольте взглянуть на документы.

Документы проверили, и его слова подтвердились. Персидский паспорт Фанос купил в бытность свою в Персии. "Чем черт; не шутит, - подумал он тогда, - вдруг пригодится..."

Пригодился.

Следователь обещал представить подробную докладную записку и послать ее по соответствующим каналам "его высокопревосходительству" и всячески содействовать тому, чтобы "студент Петербургской Академии художеств персидский подданный из Тебриза Фанос Терлемезян" был возвращен персидскому правительству. Что же касается разыскиваемого оттоманским

правит тельством "государственного преступника турецкого подданного из Вана", по странному совпадению носящего то же имя и ту же фамилию - Фанос Терлемезоглу, сыскным органам полиции, приказано найти преступника и вернуть оного оттоманским властям.

Что именно испытал султан или его сановники, получив это официальное уведомление царского правительства, нам неизвестно, известно только, что Фанос совсем неплохо чувствовал себя в тебризской тюрьме. Еще на границе представители персидских властей сняли с него наручники, передали специальному патрулю, и кончилось это тем, что Фаноса водворили в тебризскую тюрьму как обыкновенного арестанта. И однажды...

2

Однажды Фанос бежал из тюрьмы. Как он умудрился, спросите у него самого. Он бежал и в палящий знойный день объявился в Эчмиадзине. А как и каким образом - опять же спросите у него самого, крепко сбитого члена военного командования, сорок раз прошедшего огни и воды и лежащего сейчас под послеполуденным солнышком на скамье в саду перед штабом, у этого мужчины сорока восьми лет от роду, который так и не завел семьи, но зато завел двух прекрасных возлюбленных, одна другой ревнивее, одна другой страстнее и преданней, - Оружие и Кисть.

- Фанос! Простынешь, - слышится в открытое окно голос Екаряна.

В Эчмиадзине зной, духота, наказание Божье - возвращается к воспоминаниям Фанос.

- С чего это я простыну, вон какое солнце...

Очутиться в Эчмиадзине и не повидать восседающего, в патриаршем дворце васпураканского орла и Отца всех армян - все равно что очутиться в Армении и не увидеть Арарат. Верховный патриарх и католикос всех армян сидел на садре и держал двумя пальцами толстую дымящуюся самокрутку - с орлиным носом, седыми волнистыми волосами и умнейшими миндалевидными глазами прекрасный Батюшка Хримян.

- Знаешь Артака Дарбиняна?

- Знаю, святейший.

- У нас с ним был такой же разговор. И о тебе он упоминал. Много раз я уже рассказывал, но и тебе повторю притчу про бумажный и про железный черпаки, я сам ее сочинил. Собрались в Берлине вокруг огромного котла с арисой все народы, вооруженные железными черпаками, побольше и поменьше. У кого черпак был большой, тот и зачерпнул вдоволь, у кого маленький - зачерпнул мало... Мы тоже сунулись было за своей долей, да наш черпак застрял в арисе, потому как не железный он у нас был, а бумажный...

- Значит...

- Не спеши, - осадил Фаноса святейший, заметно нервничая: предмет разговора совершенно очевидно не доставлял ему радости. Уверенными, без признаков старческой дрожи пальцами он скрутил новую папиросу, раскурил ее от старой, догоравшей, и загасил окурок в пепельнице. Пепельница... Фанос сразу заметил эту продолговатую серебряную пепельницу: одна ее сторона представляла из себя крутой утес, на котором восседал орел с крючковатым клювом. "Подарок ванских ювелиров", - подумал Фанос.

- Подарок ванских ювелиров, - сказал Батюшка Хримян, будто разгадав его мысли. - Этот орел - ты видишь? - этот орел я, злосчастный ваш отец, больше похожий на сову... Наш знаменитый поэт Сиаманто посвятил мне стихотворение; не приходилось читать?

... Встань, святейший,

Встань, о драгоценный отец наш!

Сызнова подыми, Орел, древнее свое Копье!

Сведи нас случай, я бы сказал: о драгоценный сын мой Сиаманто, твои стихи прекрасны, но идти на неверных турок с одними лишь красивыми стихами да с древним копьем Батюшки Хримяна - это наивно, сын мой... Саак, Саак!

Дверь отворилась, и на пороге в легком поклоне возникла фигура улыбчивого чернобрового и черноусого Саака. - Саак, нам два копия, - невнятно произнес его святейшество.

- Два копья? - опешил Саак.

- Господь с тобой, я сказал: ко-фи-я. Какие копья у католикоса всех армян?.. Словом, две чашки кофе.

Святейший улыбнулся обаятельной своей улыбкой, и она сделала его лицо еще обаятельный и святее. И тогда он повысил голос:

- Хримян и ныне убежден, что ни один народ не может, не обладая силой, во всеуслышание заявить о себе и о своих правах, однако Хримян не говорил, будто довольно двух-трех кремневых ружей, дробовиков, берданок или самопалов,чтобы поднять армянский народ и освободиться от ярма тирании; точно так же Хримян не говорил, будто безумные и бессмысленные кровопро лития способны поставить на колени турецкое правительство или привлечь на нашу сторону двуличную европейскую дипломатию-Католикос облокотился на подушки - казалось, он не просто поудобней садится, но выбирает позицию для сокрушительной атаки. Его глаза сверкали воинственной решимостью разбить противника в пух и прах. И все же, должно быть, что-то припомнив, он улыбнулся.

- Послушай, терлемезяновское дитя, уж не думаешь ли ты, что Батюшка Хримян подстрекает тебя прямо отсюда мчаться убивать какого-нибудь Нури, чтобы турки за одного этого Нури или недобитого Шакыра пожрали бог весть сколько армян? Класть десятерых за одного - к чему мы так придем? Что это за Махмудова торговля? Знаешь притчу про купца Махмуда? Не знаешь? Что ж ты тогда знаешь? Так вот, Махмуду до смерти хочется прослыть купцом-воротилой, и он принимается торговать арбузами. Но вместо того, чтобы купить подешевле, а продать подороже и получить прибыток, наш горе-купец все время остается в убытке, однако ж и бровью не ведет и упорно торгует, как торговал. Друзья и родные вразумляют его: очнись, дескать, ты же вконец прогоришь! Догадайся, что отвечает наш воротила. "Плевать мне на прибыток-убыток, мне надо, чтобы люди сказали: Махмуд-ага торгует арбузами". Адр олсун: Махмуд-ага кавун сатар (*). Ну как?

(*) Лишь бы говорили: Махмуд-ага торгует арбузами (тур.).

Вошел Саак с двумя чашками кофе на продолговатом серебряном подносе, посреди которого был вырезан черный орел. Пили они кофе молча, мелкими глотками, и каждый думал о своем.

- Не женился? - внезапно спросил Хримян.

- Нет, святейший, - смиренно ответил Фанос.

- Намерен принять постриг?

- Никоим образом.

- Молодец. Артаку Дарбиняну взбрело в голову стать священником. Я его отчитал и отправил обратно. Нам теперь как воздух и вода нужны люди, мыслящие здраво и трезво, далекие от авантюр и показухи. Я знаю, мое имя треплют все, кому не лень, и правые и левые; консерваторы обвиняют меня в том, что я посеял смуту, а революционеры, прикрываясь мною как щитом, оправдывают свои безумства. Я не Дон Кихот на кляче и не Иисус Христос на осле. Для любого подневольного народа раболепие означает смерть духовную и телесную, мятежный дух народа должен бодрствовать - это верно. Но парикмахерскому ремеслу не учатся на голове клиента, и революционерам надобно затвердить это, как "Отче наш", ведь обучаясь своему ремеслу, они ставят под удар весь народ. Нет слов, среди восточноармянских деятелей немало людей честных и самоотверженных, они с чистыми помыслами встали на путь борьбы, и путь их праведен, однако на праведном этом пути они не избегли роковых ошибок и соблазн нов. Эти ошибки не должны повториться. Сидеть в Тифлисе либо в том или ином европейском городе, устраивать воображаемые, восстания и размахивать бумажным мечом... Не будь кофе, еще бы жил ваш Батюшка? - оборвав на полуслове серьезный свой монолог, вполне серьезно произнес католикос.

Оторопев от резкого перехода, Фанос только и спросил:

- Святейший живет одним лишь кофе?

- И еще танапуром... и молоком. Годика через два кофе и танапур будут уже не про меня, и Батюшке останется цельное молоко, и ничего другого. Начали жизнь с молока, молоком и закончим... Закон природы.

Наступила тишина. День клонился к вечеру. Открытое окно патриарших покоев смотрело на запад, и в нем умещался величе ственный, безоговорочно гениальной кистью написанный пейзаж Араратской долины, который венчали голубоватые библейски Масисы, Большой и Малый. Там и сям в дымке и солнечной пыли проступали очертания деревень, и пирамидальные тополя, и извивы троп и тропинок.

- Смотри, смотри! Сколько ни смотри, все мало, - слышит Фанос чуточку жалостный, надломленный голос Отца всех армян. - Наши предки чтили прекрасное, а не здравый смысл, они селились в местах красивых и дивных, но не слишком удобных, не слишком подходящих для жилья. Да, мы романтики, и даже у самого темного, заурядного армянина есть в душе что-то огромное, романтическое, не говорю уж о наших великих... Но нам пора познать себя, свое окружение, свои возможности. Нам не к лицу детские воинственные игры, мы должны осмотрительно, кропотливо и упорно возводить духовные, да и каменные тоже, крепости и твердыни для защиты от внезапных ударов и бурь. Отец всех армян знает не хуже других, что говорить умно куда легче, нежели умно действовать, но пусть наконец в Турецкой Армении наши слова не расходятся с нашими делами, уже пора. Торговля по-махмудовски - не для нас. Будем осторожны, будем дорожить жизнью каждого армянина и прямо сейчас, не откладывая, займемся самообороной. Обжегшись на молоке, станем дуть на мацун. Верно написал вардапет Комитас: "Для нашего народа ценно не то, что имеет цену, а то, что не имеет и не может иметь цены, но все же стремится ее обрести". Хорошо сказано, а?.. Ты почему смеешься?

Теперь Фанос уже не помнит, смеялся ли он тогда, едва ли, скорее всего, волшебник-орел околдовал его, и он чуть ли не в беспамятстве внимал этим мыслям, этим словам. Смеялся ли Фанос? Да нет, наверное, просто улыбался

и выглядел довольно смешно. Осмотрительность, умеренность, дипломатичность - все эти премудрости никак не вяжутся с юными годами Фаноса и горячей его кровью. "Постарел орел, - видимо, думал Фанос, - а у каждого возраста своя логика. И что такое, в конце концов, старость, если не самооборона, оборона от горячего и холодного? Кофе, танапур, цельное молоко - это и есть умеренность и дипломатичность; так держать весы, чтобы чаша жизни перевешивала чашу смерти. Не послать ли к Батюшке Чато и Шеро, пускай подзаймется с ними дипломатией..."

- Мудрость приходит вместе со старостью - таков неуклонный и несправедливый закон природы, - сетует его святейшество, и Фаносу чудится, что его мысли для Батюшки Хримяна - открытая книга, но славного венца мудрости равно достойны те молодые, кто черпает из нажитого пожилыми и опыта опытных. Армянский народ знавал и горячее, и холодное, были у.него умные вожди, бывали и глупые, в иные времена он тягался с персами, Египтом, Римом, Византией, нам три тысячи лет, пятьсот из них мы живем в плену. Ничто не вечно под солнцем, минует и это. Познаем же наше былое, чтобы понять настоящее и предугадать будущее, особенно будущее. Горе народу, который прозябает в темноте и холоде и кичится огнем праотцов. Такой народ похож на гусей, которые гордо и надменно ковыляют по деревенским улицам и гогочут, что их предки спасли Рим. Это не мешает распоследнему итальянцу, вместо того чтобы чтить их как священных птиц, поймать приглянувшуюся "святыню", свернуть ей шею, зажарить и съесть. Жареного гуся любишь?

В тот день Отец всех армян вволю потешился над Фаносом, заставил проглотить немало подслащенных, но попрежнему горьких пилюль, наконец тяжело поднялся с места, легко подошел к открытому окну с видом на Масис и во всей своей величавости стал лицом к легендарной горе - как изначальная деталь богодухновенного пейзажа Араратской долины. В душе Фаноса что-то дрогнуло. В двух шагах от него улыбался великий сеятель добра, света и преуспеяния. Как знать, не суждена ли была ему судьба армянского Петра

Первого, будь у его народа свое государство, не живи он под крышей собственного дома нелюбимым примаком и, хуже того, врагом самозванного хозяина? Вот он стоит перед Фаносом, дерзкий провозвестник железного черпака и мятежного духа нации, о котором народ сложил песни и которого восславили поэты. И что сталось с некогда ширококрылым, в поднебесье парящим орлом? Теперь это мудрый филин, ухающий о самообороне, умеренности и дипломатии. Чего он достиг, Хримян, и чего достигнет Фанос, внимая ему? Не лучше ли тогда посвятить жизнь искусству, возвысить знамя армянского гения так, чтобы его увидел весь мир, и кистью художника добиться того, чего не удалось добиться оружием? Ведь сказано же: "Британия скорее откажется от своих островов, чем от Шекспира..." Конечно, это всего лишь красивые слова, Британия не откажется ни от того ни от другого... Положим, он не Шекспир, но ведь и Армения не Великобритания.

В голове Фаноса все смешалось, и он понял, что пора прощаться.

- В Ереване можешь отведать жареного гуся, это твое дело, а пока поешь с Батюшкой ванский танапур: Ну как?

- Благодарствуйте, ваше святейшество, - сказал Фанос. - Позвольте откланяться.

- Ну конечно, с Батюшкой скучно, - кивнул старик. - Раз так, ступай, Господь с тобой. Я не деспот, хотя здешние монахи считают меня именно деспотом... Ступай, а я останусь со своим танапуром и одиночеством. Как ты доберешься до Еревана?

- Найму коляску.

- А найдешь? Саак!

Появился Саак.

- Оседлай лошадь для господина Фаноса.

- Сию минуту, - сказал Саак и исчез.

Католикос приподнял правую руку, благословляя и прощаясь одновременно. Фанос взял эту белую мягкую руку, склонился к ней, поцеловал и бесшумно вышел из патриарших покоев.

Во дворе его ждала каряя в мушках оседланная лошадь.

- Что же мне делать с этой лошадью в Ереване... продать или вернуться на ней обратно? - с искренним недоумением спросил Фанос.

- Оставьте в резиденции епархиального начальника, господин. Счастливого пути!

И годы, годы. Трудные, плодотворные годы работы, совершенствования и подъема в Париже, благословенной столице искусств. Что было, то стало воспоминанием, руки, привыкшие к оружию, побелели и понежнели. Вот он, художник Фанос Терлемезян, чем далее, тем более известный: зрение - палитре и холсту, слух - вестям с родины. И однажды его слуха достиг перезвон жестяных колокольцев турецкой конституции. Он был один как перст со своими полотнами. Ни дома, ни очага, ни семьи, а из Полиса его звал Комитас. "Приезжай, непременно приезжай, - писал он. - Не знаю, что будет завтра, но сегодня перед нами широкое поле деятельности, сулящее щедрый урожай и удачу. Приезжай!"

Приезжай так приезжай. И вот Фанос в кровавой столице султанов и мечетей, где улицы еще помнят, как ржал конь первого турецкого завоевателя Фатиха.

Давней и крепкой, как старое вино, была его дружба с Комитасом. Когда бишь это началось? Они отдыхали на даче католикосов в Бюракане, бродили по берегам реки Цопанес, ходили на охоту в Амберд, сидели на развалинах грустного монастыря Зораванк у подножия Арарата. Впрочем, если на кого и охотились два эти мастера, мастер звуков и мастер красок, так только на куропаток. А вообще Комитас просил сельчан петь и поспешно записывал мелодию армянскими хазами, Фанос же тем временем ставил в любом приглянувшемся ему месте мольберт, натягивал холст и...

И возвращались они в Бюракан с куропатками, картинами, песнями.

А теперь...

В Полисе, на улице, называемой Банкалти-Шитак, стоял трехэтажный дом. Здесь поселились Комитас и Фанос. (Откликнись, Комитас, где ты нынче, что делаешь?..)

Дни, дни и дни.

Сплошь уставленный цветочными горшками и вазами балкон второго этажа нависал над улицей, а дверь его вела в просторную комнату; в одном углу стояло пианино, в другом были разложены различные инструменты - здесь и работал мастер в монашеской рясе. Устав, он поднимался на третий этаж, в мастерскую Фаноса.

- Отдохни немного, - говорил он. - Давай поборемся... Ты когда успел нарисовать эту красотку? Тайком от меня дела делаешь?! Небось жениться хочешь, а? Повесим-ка ее на кухне, пускай учится готовить эчмиадзинский бозбаш.

И бежал с картиной в руках на кухню.

Когда он не работал, из него ключом била детскость, ребячество, сумасбродство. И случалось, Фанос не выдерживал:

- Эй, приятель, веди себя посолидней, ты же, в конце концов, вардапет...

Лицо у Комитаса вытягивалось, как у обиженного ребенка, он тихонько удалялся в кабинет на втором этаже. И через несколько минут по дому плыли звуки пианино и комитасовская мелодия:

Сердце - как дом наш, порушенный, темный... Эй, мальчик бездомный...

Когда близился час обеда, Фанос снимал рабочую блузу, спускался на второй этаж и легонько стучался в дверь кабинета.

Тук-тук-тук.

Пианино замолкало.

Тук-тук-тук.

Молчание.

Фанос приоткрывал дверь и, будто черепаха, просовывал голову в комнату.

- Пора обедать... вставай.

- Какое тебе до меня дело, - обиженно отвечал Комитас. - Я ведь вардапет.

Фанос подходил к инструменту, обнимал Комитаса за плечи, целовал:

- Ах ты мой вардапет, ах ты мой гений! Пойдем посмотрим, чем нас порадует Аспатур.

Аспатур, тоже ванец, служил у них поваром. Это о нем два взрослых дитяти сочинили стишок и неизменно распевали его по дороге на кухню.

- "Гения", пожалуйста, оставь при себе, я, чего доброго, no верю и возгоржусь. Но раз ты поцеловал меня в лысину, стало быть, ты настоящий герой. А теперь споем нашу обеденную песнь.

Комитас играл, и они вдвоем пели:

Не могу я танцевать,
Башмаки мои со скрипом,
И от голода опять
Плачет мой живот со всхлипом.
Дни, дни и дни.

Мало-помалу их дом стал местом паломничества. Нескончаемым потоком шли сюда воспитанники и воспитанницы большого комитасовского хора, одаренные молодые художники и художницы, поклонники мелодий и красок; шли, непременно при галстуках, жрецы искусства из союза "Созвездие", громкие, славные имена, и каждое имя - целый мир. Вот статный, всегда безукоризненно одетый Даниэл Варужан с чуть насмешливой улыбкой, вот светский и властный Григор Зохраб, вот бледный и неулыбчивый Сиаманто, вот Левон Шант с острым, колючим и пронзительным взглядом, вот сдержанная, но знающая цену своему дару и обаянию Забел Есаян, вот усердный, беспокойный, вездесущий Теодик, и еще, и еще...

Фаносу не забыть того дня, когда повар Аспатур поднялся в мастерскую и доложил, что господина Терлемезяна спрашивает какой-то вельможа, пожаловавший в роскошной, позолотой украшенной карете. Фанос сбежал вниз, и... перед домом стояла карета крупного сановника, видного дипломата Исмаила Джанана.

На безукоризненном французском языке Исмаил-бей спросил:

- Вы позволите мне посмотреть ваши картины?

- Милости прошу.

Фанос проводил турецкого дипломата в мастерскую. Внимательно и чем дольше, тем восхищенней рассматривал Исмаил-бей большие и маленькие полотна и этюды Фаноса. Когда они спустились на второй этаж, Фанос указал на дверь Комитасова кабинета:

- Не желает ли его превосходительство познакомиться с...

- Давнишняя моя мечта, - не дал ему договорить бей. - Однако не помешаем ли мы маэстро?

- Надеюсь, не очень помешаем.

Они вошли. Не вставая из-за письменного стола, Комитас приветствовал их легким кивком. Турецкий дипломат осмотрел картины Фаноса, украшавшие стены комитасовского кабинета, и довольно громко шепнул художнику:

- Если б я осмелился, то попросил бы святого отца сыграть нам что-нибудь.

Комитас молча пересел за пианино и сыграл песню Шуберта. Когда утихли последние звуки, Исмаил-бей не сдержался.

- Черт побери! - воскликнул он с откровенной завистью. - Нашему государству восемьсот лет, а у нас до сих пор нет ни такого искусства, ни таких мастеров! Что же с нами будет, эфенди?..

Немного погодя карета покатила по мостовой, увозя донельзя огорченного султанского дипломата. А они, два взрослых дитяти, сплясали в честь победы "Лачим нана".

"Где ты теперь, святой отец, странный кудесник и гений, готовый озорно отплясывать залихватский танец?" - думает Фанос, До чего же Комитас не любил, когда близкие называли его святым отцом! Так-то оно так, однако от лекции к лекции, от концерта к концерту в глазах любителей музыки - и отнюдь не только армян - он вырастал в подлинного кудесника, да что там кудесника - в святого.

Кто же, если не святой?

"Концерт Комитаса" - извещают многоцветные афиши, и парижские меломаны заполняют просторный, ярко освещенный зал. В одной из лож Ромен Роллан и цвет Парижа - деятели искусства, музыканты. Гаснет свет.

Открывается занавес. На сцене полумрак. А в зале разочарованные, недоуменные лица. Потому что нет ни оркестра, ни хора. Что это за концерт? На сцену выходит высокий священник с бледным лицом и пустыми руками. С усталым и даже скучающим видом он усаживается на небольшом возвышении и достает из нагрудного кармана незнакомый инструмент. Что это за инструмент такой, парижанин опять же не ведает. Не ведает он, и что собирается делать странный этот священнослужитель. А тот прикладывает инструмент к губам и едва приметно двигает тонкими восковыми пальцами. И безъязыкие звуки армянской песни тревожат, колышут и будоражат зал. Эти звуки... они то низвергаются в бездну, то взмывают к заоблачным вершинам, а спустившись, волнами перекатываются из долины в долину, с нивы на ниву, с пашни на пашню. "Тяни, мой вол!" И вот уже в зале, раскрываясь слушателю, витает сама душа древнейшего, но всегда по-новому живого народа, самый его дух, его мечты и любовь, грусть ратоборца и смирение гордеца, волшебное утро равенства, бешеная скачка оленьего гона и горящие глаза охотников - знатнейших армянских князей, клубящийся над кровлями дым, рев труб, бой барабанов, рождество Ваагна и родовые муки земли и неба и пурпурного моря, скованные цепями и брошенные в глубокую яму благовестники-просветители, упрятанные в пещере на Масисе исчадия зла Артавазды, Сасунец Давид - в Сасунских горах, а кругом орды наводящих ужас завоевателей - Мсра-Мелики, сельджуки, татары и против них - охрипший Горлан Оган... Тысячелетние хачкары, пропахшие ладаном монастыри, пестрые толпы паломников, пронзительная зурна, громыхающий бубен, танец невест, звяканье бус, голосистая песня жаворонка, звон косы на лугу, журчание горного ключа, пергаментная Псалтырь, аромат свежеиспеченного, дивного, как свет, лаваша, перебродивший в давильне виноград, гомон ребятишек на гумне, добрые прохожие и молчаливая луна, шумные свадьбы, потные лбы, напрягшийся лемех, заблудившийся в буранных горах путник, собачий лай, оплывшая лампада, выросший на утесе алый мак... и утес кровоточит, кровоточит... молния с неба, конский топот, руины домов, обугленная

колыбель и согбенные столбы, распятые на крестах Иисусы, ошалелые стада и огненные пляски горящих городов, безумные матери, скорбящие сестры, обесчещенные девушки, бок о бок лежащие на недокошенном лугу землецашец и гусан, измученная луна и вой одичалых собак, истерзанные звезды, рыдающий в полутьме шаракан, бесчисленные, нескончаемые похоронные шествия без мертвецов бесчисленные, нескончаемые никем не погребенные мертвецы - на жнивье, в ущельях, в разоренных селах... эй, мальчик бездомный...

Свирель умолкает. Смиренный, бледный и победительный, увенчанный нимбом гения, он стоит на сцене живым нерукотворным изваянием, словно Творец в монашеской ризе.

Кто же, если не святой?

Так, должно быть, думал и художник Серовбе-Левон Кюркчян, армянин-иконописец парижской Жан-Гужонской церкви святого Иоанна. Ай да Кюркчян, он возьми да изобрази Комитаса первым в ряду святых с золотисто-желтым ореолом вкруг чела и взором, устремленным в небеса. Так уж случилось, что в те самые дни, когда картина была окончена, Комитас навестил Кюркчяна в его мастерской и уличил преступного богомаза. Он увидел себя в обличье угодника, похожего на всех угодников, и его бледное лицо побагровело от ярости. Насилу подыскивая слова, он потребовал, нет, он решительно приказал художнику уничтожить полотно.

- Прямо сейчас, на моих глазах!

Когда картины не стало, Комитас облегченно вздохнул:

- Вы мои друзья, так поймите же наконец - меня не занимает небо, меня занимает мой народ, его душа и песни, его земля и вода...

Фанос слыхал эту историю, и с некоторых пор его тоже лишил покоя замысел "Святого Комитаса". Бывало, Комитас сидит за пианино, играет, поет, а Фанос не в состоянии оторвать взгляд от его одухотворенного, внутренним светом озаренного лица. Он вспоминал иконописца Кюркчяна, и воображение рисовало над головой Комитаса золотисто-желтый нимб...

И он не одолел искуса. Ночами, когда Комитас безмятежно, как ребенок, спал на голой, даже без подушки, тахте, он вставал и, тишком-молчком одевшись, на цыпочках пробирался в мастерскую. Несколько бессонных ночей - и "Святой Комитас" готов. Правда, герой вовсе не стоял, воздев руки и подъяв очи горе; это был бы просто-напросто вдохновенный, одухотворенный Комитас, не будь... не будь над его головой подковообразного золотисто-желтого нимба.

Закончив картину, Фанос поставил ее в самый укромный уголок мастерской, лицевой стороной к стене, подальше от Комитасовых глаз. Однажды, когда он работал, в мастерскую шумно вошел радостный и довольный Комитас. Такое случалось всякий раз, если ему сопутствовал успех.

- Вставай, Бояджи (*), вставай, поборемся! Что, занят, нет времени? Куда ты дел ту хорошенькую чертовку? Сейчас я ее отыщу...

(*) Маляр (тур.).

Он бросился шарить по углам и вместо портрета "чертовки" обнаружил лик святого. Фанос был застигнут врасплох. Метнулся к Комитасу. Поздно.

- Продолжаешь пакостное дело Кюркчяна?! Ничтожные маляры, мерзкие мазилы! Ты тоже сунул мою голову в ободок бочонка из-под маслин?.. Ну ладно...

Он схватил с треноги нож и...

Фанос не растерялся. Перехватил руку друга и легко отобрал у него нож.

- Обойдемся без варварства, - важно сказал Фанос. - Искусство чуждо ножу и насилию. Закрой-ка лучше глаза и посмотри, что я сделаю...

- Ненормальный! - воспротивился Комитас. - Как же я посмотрю с закрытыми-то глазами?! Может, ты ее проглотишь, картину?

- Закрой глаза и жди моей команды! - приказал Фанос.

- Ну закрыл... Поглядим, что ты придумал. Фанос быстро поставил картину на мольберт и взял в руку кисть. Прошла минута, другая...

- Готово. Открывай глаза, - уныло произнес художник. С картины смотрел вполне земной и даже красивый Комитас. Светозарный ореол исчез.

- Да ты и вправду мастер, - захлопал в ладоши по-детски обрадованный Комитас. - За какую-то минуту спустил меня с небес на землю.

Но, заметив опечаленное лицо Фаноса, опечалился и сам.

- Я тебя расстроил... - Комитас положил руку на плечо Фаноса. - Прошу вас, не делайте таких вещей, я ведь тоже человек. - И едва слышно добавил: - Я... человек... грешный, смертный.

x x x

На растревоженные сады опускались вечерние тени. Как и всякий день, громыхали вдалеке и вблизи орудийные залпы. Фа-нос еще раз вспомнил землистые лица юного Киракоса и рабочих-строителей. Еще раз вспомнил свой мирный дом в Полисе, на улице Банкалти-Шитак. "Прощайте!" - сказал он Полису, Комитасу и полисским друзьям, когда почувствовал, что зловещие, недобрые тени, точно так же как и на Анатолию, падают на армянские вилайеты. Бросил все и примчался в Ван. Наитие не обмануло его...

- Фанос! - слышится из открытого окна штаба голос Арама. - Выспался? Вставай, идем на Чантикяновскую позицию.

Фанос встает, всей грудью вбирает в себя воздух, резко встряхивает руки, потягивается, словно сбрасывает с себя тяжесть воспоминаний, и спешит по лестнице на второй этаж.

Чуть погодя пятеро вооруженных членов военного командования пробираются садами на Чантикяновскую позицию, где сосредоточил на этот раз свои силы неприятель.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ШЕСТОЕ,

или Как взлетел в воздух оружейный склад Гамуда-аги

Оружейный склад Гамуда-аги, или, как его называли ванцы, кшла Гамуда-аги, находился в конце широкого проспекта, протянувшегося от Цитадели до Айгестана. Возле кшлы Гамуда-аги проспект, деливший город на не вполне

равные части, словно бы останавливался на минутку и, недолго думая, уверенно разветвлялся. Одно из ответвлений спускалось в Анкуйсдзор, а другое.., другое уходило на восток, за город, в сторону Схга и Алюра, и, огибая гору Вараг, устремлялось к Арчаку.

Анкуйсдзором называлось ущелье, по ущелью текла речка, через речку был перекинут деревянный мостик, а в квартале Ан-куйсдзор, уже по ту сторону ущелья, стояла Анкуйсдзорская церковь и школа того же имени, а в придачу кладбище. Отсюда-то и начинался подъем к пещере Зымп-Зымп, над которой, будто бы на плече у нее, стоял, а похоже было, будто сидел, оружейный склад Топрак-Кале. Что касается Зымп-Зымп, то это была темная глубокая пещера внутри скалы, которая темными и мрачными зигзагами подбиралась якобы к пещере Мгера и выскальзывала наружу из-под могучих стен Ванской крепости. Никто и никогда не проходил по пещере от начала и до конца, во всяком случае об этом не осталось ни единого устного или письменного свидетельства, однако же, а том, как и куда идет подземный путь, рассказывали словно о неопровержимом факте. Между тем неопровержимым фактом было вот что: по утверждению дерзких молодых ванцев, пытавшихся углубиться в пещеру Зымп-Зымп, в ней, в темной этой пещере, во-первых, самый тихий шепот превращается в страшный крик (отсюда и ее звукоподражательное название), во-вторых, ни спичка, ни свеча там не горит, хотя воздух неподвижен, а ветром и не пахнет, и, в-третьих, стоит чуть-чуть продвинуться вглубь, как начинаешь задыхаться. Эти загадочные попервоначалу явления в конце концов легко разгадал учитель ерамяновской школы господин Мамбре Мкрян. Он разъяснил любознательным школьникам, что необычайно громкое эхо - это элементарное отражение звука, а что до второго и третьего явлений, то они обусловлены полным отсутствием в пещере кислорода.

Звучало это и научно, и убедительно. Однако один вопрос оставался открытым: как же в свое время землекопам удалось прорыть столь длинный подземный ход - кислорода-то не было, - и далее, если отсутствие кислорода

делает эту дорогу непроходимой, зачем же ее прорыли? На этот вопрос ответил учитель той же ерамяновской школы молодой сатирик господин Арам Тумахян, он же Лер Камсар.

- Ребята, - сказал он, - в древние времена науки не было, ни химии не было, ни физики, люди жили и знать не знали, чем там они дышат, кислородом или углеродом... Копали себе землю, рыли ход и прорыли аж под самую крепость... Ну а когда появилась наука и открыли кислород и углерод, человек только тогда и сообразил, что без кислорода не проживешь... С тех пор и стало невозможно ходить по пещере Зымп-Зымп.

Это не звучало ни научно, ни убедительно, однако школьники наградили будущего знаменитого сатирика бурными аплодисментами, поскольку оценили его юмор. Да, Араму Тумахяну суждено было стать одним из тех, кем гордился Ван; в дальнейшем, совершенно не считаясь с наличием или отсутствием кислорода и углерода, он рыл свой ход, прорыл его и стал в ряд с Акобом Пароняном и Ервандом Отяном. Вот так!

Но вернемся к оружейному складу Гамуда-аги. Нет повода сомневаться, что это трехэтажное (не считая подвала) здание имело исключительное стратегическое значение. Не удовлетворившись арсеналом Топрак-Кале, который возвышался над пещерой Зымп-Зымп, турецкие власти сочли необходимым построить "на черный день" прямо здесь, на важной дорожной развилке, еще один оружейный склад.

И турки не просчитались. В незабываемые дни апреля 1915-го этот арсенал стал для них мощным оплотом, отвлекая на себя существенную часть армянских боевых сил. С этой точки на северо-востоке города враг ежедневно и ежечасно угрожал вторгнуться в Ван. Военное командование обсудило ситуацию и единогласно осудило кшлу Гамуда-аги на смерть.

Вынести приговор легко. Вот и я, сидя дома, не колеблясь присуждаю к смерти всех убийц и народоубийц независимо от их почетных имен - "отец" ли величают душегуба, "ата" (*) или "фюрер". Мне ничего не стоит изложить свой приговор письменно...

(*) Отец (тур.).

Но что проку? Он обретет силу и смысл не ранее, чем появится приписка: "Приговор приведен в исполнение". Только вот как это сделать? Оружейный склад Гамуда-аги не араруцкий маркьяз и не государственный арсенал в Цитадели, которые довольно было поджечь - и дело с концом. В скольких же местах - и притом одновременно - надо поджигать это огромное здание, чтобы считать приговор исполненным?

На военном совете долго судили и рядили об этом, долго взвешивали, сто раз примеряли и наконец единожды отрезали. Резал Болгарин Григор:

- Оружейный склад нужно взорвать.

Когда ванец спорит с ванцем, то, чтобы показать, как легковесны доводы оппонента и как он вообще беспомощен, спорщик восклицает: "Дуну - полетишь!"

То есть ты пустое место, дуну - полетишь и ты, и твои доводы и аргументы... полетишь, как перышко или пушинки одуванчика. Но ведь кшла Гамуда-аги не перышко и не одуванчик - дуй не дуй Болгарин Григор или даже все члены военного совета разом, он не полетит.

- Надо прорыть ход от наших позиций до складского подвала.

- А дальше что?

- Как - что? Подложить туда бомбу...

- Бомбу взорвать...

- И оружейный склад взлетит на воздух.

Иначе говоря, бомба дунет - оружейный склад полетит. А вы как думали?

В Ване не было метро, то есть я ошибся - метро в Ване было. Правда, по подземным магистралям ванского метрополитена не курсировали поезда, но под городом существовала удивительная система колодцев и подземных ходов, подведомственная умелым ванским землекопам. В нашем случае, однако, одни землекопы с задачей не справились бы, требовался еще и

инженер - определить, на какой глубине, надо рыть, как и в каком направлении, чтобы уткнуться прямо в подвал оружейного склада. Кто, по-вашему, мог быть дерзким этим инженером, если не...

Арабо прямо с позиций привели в штаб. Болгарин Григор рта не успел раскрыть, как Арабо уже исчез. Через час он вернулся в штаб и доложил:

- Лады!

Иначе говоря, все будет как надо, иначе говоря, дело мастера боится, иначе говоря... - Ну, если лады, приступайте, - сказал Болгарин Григор.

Арабо взял с собой Коле Хачо и Малыша Карапета, отобрал несколько землекопов и приступил к делу.

Знай себе рой, не останавливайся. В темноте мрачного подземелья нет ни дня, ни ночи. День - что темная ночь, ну, а ночь, она ночь и есть... Рой и помни: полевая мышка всего-навсего мышка, ни лопаты у нее, ни кирки, а какие под землей норы для себя роет, и тысячи тысяч мышей всем своим родом-племенем живут под землей от рощи Солахян и до монастыря Кармравор.

А человек кого-кого, а уж полевой-то мыши стоит. Рой и помни, что тысячу лет назад... Какой же силы, какой же ловкости были землекопы, прорывшие ход от пещеры Зымп-Зымп до самой крепости? Где пещера Зымп-Зымп и где крепость... Правда, мне скажут: когда, мол, эти безбожники-великаны рыли, рыли и добрались до испещренных клинописью Мгеровых врат, они, эти землекопы-великаны, очутились в светлой, осиянной подземным солнцем стране. "Эге, - подумали великаны, - мы, видать, попали в страну Мгера Сасунского". И вышел им навстречу сам Мгер, Мгер-исполин, против которого великаны-землекопы были сущая мелюзга. Мгер сказал:

- В моей стране ни змея на животе, ни птица на крыле, ни человек на ногах не появлялись, вы то как осмелились прийти сюда?

Землекопы прикусили языки, один только старший среди них, по-нынешнему шеф или бригадир, - один только он и рискнул открыть рот:

- Долгих тебе лет, Мгер! Коль скоро мы удостоились чести видеть тебя, есть у нас вопрос, а может, просьба, а может, мольба.

- Говори, - согласился выслушать его Мгер, свернул цигарку, прикурил от солнца и столько дыма выпустил из ноздрей, что солнце на миг померкло, и повторил: - Говори.

И старший землекоп сказал:

- Долгих тебе лет, Мгер! Народ тебя ждет не дождется. Выйди из каменной своей тюрьмы, правь нами.

Мгер помрачнел, как побитая градом гора, выпустил дым по-над горной грядою, всласть посмеялся и сказал:

- В году четыре времени, а голова у человека одна. Как одной голове управиться с четырьмя временами года? Год длинен, а ум короток. Вы еще не поумнели? Ступайте куда шли и оставьте меня одного в огромной этой тюрьме. Мгер не выйдет на белый свет. Покуда зло не исчезнет и не воцарится в мире добро, Мгер не выйдет на белый свет.

- Выйди, Мгер, покончи со злом, утверди своей силой царство добра! - взмолился старший землекоп.

- Силой зло не сокрушишь, силой правду не утвердишь. Сила это и есть зло. Я не злодей, - сказал Мгер. - Пускай человек своим умом, своим сердцем и душой утвердит правду и свободу. Силой не погонишь народы ни в ад, ни в рай. Ад - это ад, но если рай обретен силой, он тоже станет адом.

- Выйди, Мгер, и мудрым своим словом выведи человека на путь истинный, - не отступался старший землекоп.

- Поговорим о силе слова, - усмехнулся Мгер. - Что такое слово? Ветер, гонимый бурей. Разрушить-то мир слово разрушит, а вот создать не создаст. Кто говорил лучше Иисуса? А вы его схватили, распяли, кровь его пролили. Ну-ну... У каждого свой путь. Мгера не проведешь...

Мгер дохнул дымом на землекопов, свет померк у них в глазах... и оказалось, они по-прежнему в темном подземелье со своими лопатами да кирками. Знай себе рой, не останавливайся...

Знай себе рой, подумаешь, каких-то шестьдесят шагов, это тебе не подземный ход от пещеры Зымп-Зымп и до крепости. Скажут, вот, мол, те землекопы

тысячу лет назад... э-э, говори не говори, пока что неясно: где они видели Мгера и где они его слышали, во сне или наяву? Сказка это или быль? Черт его поймет, где в этой перепутанной-перемешанной жизни сон, а где явь...

Впрочем, оружейный склад Гамуда-аги осудили на смерть, и это неоспоримая явь. Бригада Арабо работала и днем, и ночью, подземный ход, час от часу вытягиваясь змеей, подбирался к арсеналу. Каждый полдень ловкая и сноровистая Мариам, жена Арабо, готовила айвовый соус и приносила его в подземелье.

- Садись обедать!

- Благодарствуй, сестрица Мариам!

На третий день Арабо доложил Болгарину Григору:

- Лады.

Работа была чистая и безупречная. Болгарин Григор доложил военному командованию:

- Подземный ход готов. Лады!

В подвале оружейного склада недоставало разве что меня, да еще, пожалуй, клюки Акоба-аги Кандояна. Какая только рухлядь здесь не пылилась: сломанные деревянные кровати, керосиновые бидоны, древки знамен, седла, обломки дощатой триумфальной арки, оставшейся после празднеств в честь вели-и-икой османской конституции... В одном из углов подвала лежала порядочная куча натуральной ... золы. Откуда она тут взялась? Непонятно. А, впрочем, понятно. Это тоже, так сказать, память о стародавних временах. Когда ликовали по поводу конституции, состоялась донама. Донама, надо полагать, означает праздник, празднество, а вернее всего - фейерверк... И вот - каких только чудес не сотворил османский государственно-административный гений! - и вот, перемешав золу с керосином, скатали большие шары и маленькие шарики, уложили их в ряд на стенах арсенала на должном расстоянии друг от друга и, когда опустился вечер, подожгли - донама! Да здравствует горящая в керосиновом пламени и отдающая керосином османская конституция, да здравствует свобода, равенство,

братство и еще кой-что вдобавок! Так достоверно и научно объясняется, откуда взялась в подвале оружейного склада куча золы.

Болгарин Григор внимательно оглядел подвал, понял, что все здесь обстоит как нельзя лучше, приказал облить керосином подвальное хламье, заложил большую - главную - бомбу и... я скажу три, ты скажи четыре вспомогательных бомбочки, а длиннющий фитиль через весь подземный ход вывели наружу.

Вывели наружу.

Поздно вечеров Болгарин Григор поджег фитиль.

Полчаса. Час! Полтора!! Два!!!

Кто дунет, кому лететь? Махина оружейного склада как стояла, так и стоит, и ведь не просто стоит, а еще и палит по армянским позициям.

Арменак и Арам уставились на Григора:

- Григор?

С ручным фонариком в руках Болгарин встревоженно кинулся в подвал. Тут его сперва пробрала дрожь, а затем прошиб пот. Во тьме на него надвигался еще один зажженный фонарик.

- Кто тут?! - вскрикнул Григор не своим голосом.

- Дарданеллы, - послышался во мраке ночной пароль.

- Арабо?

- Он самый.

- Ты что тут делаешь?

- На зурне играю, господин Григор. Болгарин облегченно вздохнул.

- Что-то не слыхать...

- Услышишь, господин Григор, услышишь. Фитиль погас... Но не в нем дело. Его сверху землей присыпало, вот он и погас. Землю я убрал, очистил фитиль.

- Так что же, лады?

- Лады, господин Григор, лады, лучше позже, да лучше. Потерпи полчасика.

Короче говоря, не прошло и получаса...

Не ждите понапрасну, что я совершу чудо, то бишь достоверно опишу, как сначала послышался глухой, страшный, придавленный, ищущий выхода

рокот, как страшный этот рокот, найдя тут и там путь наружу, обернулся шипением и фырком тысяч змей и драконов, как шипение сменилось грохотом и последнем неописуемый, непередаваемый, чудовищной силы удар, как злосчастный арсенал задвигался взад-вперед, словно стоял на колесиках (Арабо показалось, будто так оно и было), и ночь наполнилась паническими воплями выскакивающих из огня аскером громом радостных залпов победы с армянских позиций. Считаю уместным забежать вперед наподобие ленивого пономаря и раньше времени схватить кадило, то есть поведать о том, что над миром, над Ваном и над еще дымящимися развалинами оружейного склада Гамуда-аги занялся рассвет и под южными кое-где уцелевшими стенами этого склада...

Здесь собрались все ванцы, не несшие непосредственно воинской службы, а причисленные к вспомогательным отрядам - женщины, старухи и молодухи, почтенные старцы и Акоб-ага Кандоян с клюкой на плече, Лия и Сурик Мурадханяны, молодой боец Мукуч из команды Арабо и убеленный сединами поэтам историк господин Ованес Кулоглян... а когда сюда прибыли члены военного командования и училищный фанфар...

Дай мне перо, способное все это описать, дай мне сердце способное все это выдержать! На что Акоб-ага Кандоян мужчина хоть куда, и тот не утерпел - слезы сами потекли из его глаз.

- Почему плачешь, Акоб, сынок? - спросил его Ованес Кулоглян. - Сегодня у нас радость.

- От радости и плачу, господин Ованес, - сквозь слезы оправдывался Акоб-ага Кандоян.

- Акоб, сынок, радуйся по-другому, - посоветовал ему историк и поэт и тут же почувствовал, что у него у самого глаза предательски влажнеют. И чтобы не расплакаться, замурлыкал под нос:

Возьми платок утри мне слезы,

О, как я родину люблю!..

Господин Ованес Кулоглян утер себе слезы собственным платком. Стараясь не расплакаться, он неудачно выбрал песню. Читатель, конечно, уже смекнул, что начатая им песня одна и. тех, которые как раз и вызывают слезы.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЕ.

Бегство турок, победоносный Ван и ванцы; семьдесят шесть дней свободы

1

Тревожные дни переживал Ван. Съестные припасы в осажденном городе стремительно таяли. Смерть от голода? Такого, конечно же, не случалось. В Ване - и помереть с голоду? Совестно даже спрашивать. Совестно-то совестно, однако двое из семерых айсоров, привеченных в хлеву Ованеса-аги, все-таки умерли: сперва юноша с "улыбчивым" лицом, а следом подросток с перевязанным грязной тряпицей глазом. И нелепо думать, будто смерть облюбовала одних только айсоров, нет, умирали и армяне - под навесами, в открытых всем ветрам садах и дворах, под стенами Норашенской церкви, в Американской и Германской миссиях.

- Коса смерти достает всех, - сказал доктор Ашер.

Сидя перед дымящим или погасшим наргиле в сумрачном своем углу на кухне, Ованес-ага чувствует себя этаким пауком. С той, правда, разницей, что паук сам тянет многие и многие нити и плетет паутину, тогда как к Ованесу-аге нити, наоборот, тянутся, причем тянутся отовсюду - с позиций, с разных улиц, от знакомых и незнакомых ванцев... Ованес-ага сиднем сидит на кухне, и тем не менее он в курсе всех событий, да-да!

В один прекрасный день военному командованию пришлось отправить комиссию по сбору пожертвований совместно с комиссией по снабжению на поиски продовольствия - муки, домашней живности; надо было кормить беженцев и бойцов, и снабженцы обходили дом за домом. Последних коров резали во дворе Геворга-аги Суджяна; едва ли не в последний раз клокотали

котлы с мясом и пшеничной крупой, а господин Мкртич Аджемян со списком в руках считал, оделяя варевом уполномоченных, последние половники.

В дверях кухни возник Фанос-ага. Ованес-ага окликнул его из своего угла:

- Здравствуй, Фанос-ага, заходи, гостем будешь...

- Сам не приду, ты и не вспомнишь, как там, дескать, мой брат, жив ли, нет ли, - укорил хозяина Фанос-ага, неуверенно шагнув за порог и помаленьку привыкая к потемкам. Он не еще молвился, сказав "брат", нет, он употребил это слово неспроста. До Фаноса-аги тоже дошла весть о смерти Геворга и Мхо. Так, поначалу косвенно, Фанос-ага пособолезновал своему другу "по делу и по идее". Увы, дело приказало долго жить, осталась идея:

- Да, - грустно кивнул Ованес-ага, мигом сообразив, на что намекает гость, - теперь ты мой единственный брат. Садись, садись. Вержин, милая, приготовь-ка нам кофе.

Из погреба выглянула Вержине и захлопотала у очага.

- Э-э, - вздохнул Фанос-ага, утирая платком угасшие, тусклые глаза и поудобнее усаживаясь. - Все надоело: и сидеть, стоять.

- А лежать? - с двусмысленной улыбкой поинтересовался Ованес-ага.

"Стойкий он человек, - подумал Фанос-ага, - потерять двух, нет, почему двух, трех братьев, магазин, земли, богатство - все подчистую... и хоть бы что... Его смерть не возьмет..."

- Я бы так лег, чтобы уже не встать, - буркнул Фанос-ага:

- Что за разговоры, Фанос-ага! Человек на то и человек, чти бы привыкать к невзгодам и пересиливать их.

- Завидую тебе, Ованес-ага, - сказал Фанос-ага, искренне изумляясь выдержке друга, однако же подумав: "Может, он с горя свихнулся?"

- Фанос-ага, - пошел дальше Ованес-ага, - допустим, кругом тьма, ужасная, несказанная, невыносимая тьма. Но человек не должен отчаиваться. Недаром же поется:

Грешно отчаиваться, друг,

Будь мужествен и духом тверд...

У каждого человека, Фанос-ага, должен быть в сердце, в дому, в жизни лучик света. А иначе это уже не человек, а так, придорожная трава. Я, Фанос-ага, скажу коротко, хочешь - поправ или дополни. Нет у тебя этого света, этой надежды - кончено ты существо. Подумаешь, смерть! Все мы умрем, днем раньше днем позже. Наполеон умер, и Батюшка Хримян умер. Подумаешь, богатство! Плевал я на богатство, не голоден, и слава Богу, всего на свете никто еще к рукам не прибирал, чего ж нам-то с тобой пыжиться? Каких только людей "а земле не перебывало, не чета Геворгу и Мхо! Какие еще люди уйдут, не чета мне и тебе!

Потому и говорят: как пришли, так и уйдут. Как пришли, Фанос-ага, так и уйдут, и мы с тобой тоже: однажды пришли, однажды уйдем. Симон-ага не ушел? И что он с собой унес?.. Суета сует! Вержине поставила перед ними кофе. Фанос-ага пропустил мимо ушей, как Ованес сказал: "Вержин, милая..." Он сидел спиной к очагу и даже не заметил, кто готовит кофе. Он твердо знал, что кофе принесут, а кому ж его и принести, как не Сатеник. Теперь же, когда перед ним с двумя чашками кофе на подносе склонилась Вержине, когда его угасший взгляд встретился с горящим ее взором, он разом и весьма основательно постиг, с чего это вдруг Ованес-ага закусил удила: его красноречие, его философские излияния обращены вовсе не к старому другу, а... И уж коли говорить начистоту, признаем, что открытие застало Фаноса-агу врасплох, но он ничем этого не выказал, удовлетворившись кратким вопросом:

- Где Сатеник?

- В нижней комнате шьет на "Зингере" обмундирование. Так вот, - продолжил Ованес-ага, аккуратно втянув в себя кофейную пенку, - человек приходит в мир один раз. И все зависит от него самого. Я что хочу сказать? Армянин, ванец с первого своего дня видит столько горя, столько невзгод, что, проживи он хоть сто лет, все сто лет проплачет, и слезы у него не иссякнут, и никто ему их не вытрет: не плачь, мол, не плачь. А теперь сам рассуди, своим умом, а не моим: неужели человек приходит в этот огромный, прекрасный Божий мир, чтобы непрестанно лить слезы?.. Если б я рождался несколько раз, тогда ладно

- одну жизнь отдам бедам и горю, не жалко; но у меня ведь всего одна жизнь, Фанос-ага, одна. - Ованес-ага воздел над головой указательный палец. - Осел я, что ли, губить единственную жизнь?! Я свое сказал, теперь твой черед.

Установилась академическая - надеюсь, это слово вполне здесь уместно - тишина. Словно сговорившись, собеседники молча допили кофе. Подошла с пустым подносом любезная, предупредительная Вержине; они поставили чашки на поднос. Поводя плечами и бедрами, Вержине удалилась. Ованес-ага приметил, что его друг по идее проводил ее долгим, внимательным взглядом. "Готов", - усмехнулся про себя Ованес-ага.

- Я так скажу, - нарушил молчание Фанос-ага, поднеся платок к глазам, - либо я спятил - ты говорил одно, а я слышал другое, либо с тобой что-то стряслось. Это же уму непостижимо, что ты городишь! Ван горит без огня, Ованес-ага, райский наш Ван валится в тартарары, жизнь армян висит на волоске. А ты? Что человек ни делай, что ни замысли, в первую голову надо подумать о своем народе: на пользу ли ему это? Ты говоришь, надо, чтобы в дому был лучик света. А я не постыжусь и спрошу: что это за лучик такой и какой от него прок армянскому народу? - Он бросил взгляд на дверь, за которой скрылась Вержине. - Кое-кто говорит: революция, я не говорю: революция, у нас национальное движение; кое-кто говорит: героическая битва, а я не говорю: героическая битва, это самооборона. Все наши силы...

- Я тебя понял, - прервал его Ованес-ага. - Ответь-ка мне на один вопрос: национальное движение для человека или человек для национального движения? Или для революции, как говорят иные.

- Пустой вопрос.

- Не пустой, вовсе не пустой, ты ответь и увидишь, вовсе даже не пустой.

- Как тут ответишь? - замялся Фанос-ага, явно не зная, что сказать.

- Революция для человека или человек для революции?

- Не для человека вообще! Для армянина, для ванца.

- Ванец, по-твоему, не человек?

- Нет, ванец это ванец. Что такое человек вообще против ванца?

- Так не пойдет, Фанос-ага, не вали все в одну кучу, - сник Ованес-ага.

- Вали или не вали...

- Не хочешь отвечать, я отвечу: революция, или национальное движение, или называй как хочешь - она для человека, для того, чтобы человек не боялся за себя, чтобы мог жить по-человечески, радоваться... Аннадн? (*)

- Аннадм (**), - понял Фанос-ага. - Эта песенка, которую ты поешь, она не Шша, ни армянину она не к лицу, ни ванцу... Песенка, которую ты поешь, она для больших народов, богатых, ничего не боящихся, единых, свободных. Аннадн?

Ованес-ага онемел. Его карты биты: это ясно; он бы охотно и с превеликой отрадой перешел сейчас на позиции Фаноса-аги и метал громы и молнии... на свою голову, а еще лучше - на голову Фаноса-аги, если бы тот стоял на его, Ованеса-аги, нынешних позициях: что ты несешь, какая такая человеческая жизнь, ты, может, не слышишь залпов и взрывов, не видишь голодных смертей, не замечаешь, что Ван на краю пропасти, о каком лучике света ты болтаешь?!

(*) Ты понял? (тур.).

(**) Я понял (тур.).

Поражение было явным, обстановка угнетала, и, чтобы рассеять ее, Ованес-ага решил угостить Фаноса-агу водкой, и, странное дело, ему почему-то неловко звать ради этого Вержине ("Вер-жин, милая..."). Хорошенькие новости, он что, боится Фаноса-агу? Кто? Ованес-ага? Фаноса-агу? Только этого недоставало. Ованес-ага не боялся ни Ишхана, ни Арама, а теперь испугался Фаноса? Да нет же, речь не о том, при чем тут страх? Может быть, он стесняется, конфузится?.. Хотя, как ни смотри, с какой стати Ованесу-аге стесняться Фаноса-аги? Зависеть он от него не зависит, тот его, слава Богу, не поит, не кормит. Ничем таким не пахнет...

Ованес-ага собрал в кулак все свое гражданское мужество, однако еще не известно, прмогло бы оно ему позвать Вержине или не помогло, но тут в дверях показалась Сатеник.

- Сатеник, хорошая моя, принеси водки, того-сего.

Не громыхай за окном пальба, могло бы почудиться, будто ничего в жизни не изменилось. Сидят себе старые друзья, пьют водку, жуют суджух да бастурму, вот-вот к ним присоединится господин Геворг, а там и Мхо с усталым добрым лицом... Войдет Симон-ага и воскликнет: "Машалла!" Мхо скажет: "Дела идут хорошо", а Ованес-ага с утра отправится на базар.

Никого и ничего не осталось: ни Геворга, ни деревни, ни Мхо, ни магазина, ни Симона-аги, остались лишь умирающий с голоду и воюющий Ван да зарытый под грушевым деревом кувшин. И все.

- Выпьем, Ованес-ага, за наш отверженный Ван и его достойных...

Фанос-ага недоговорил. Вместо господина Геворга, Мхо и Симона-аги в дверях появились деловые и озабоченные люди, члены комиссии по сбору пожертвований. Они просили муку и убойную скотину.

- Скота у меня нет, - покачал головой Ованес-ага, - мой скот остался в деревне. Работника Усепа и белого осла забрал Симон Овивян, они в строительном отряде. Муки? Сколько чувалов?

- Хотя бы сорок...

- Берите вдвое больше... за упокой души моих погибших братьев.

- Премного благодарны, Ованес-ага, мы доложим кому надо.

Откинулась маленькая дверца вместительного мучного лари наполнились, рядком выстроились в повозке мешки. Повозки отъехали.

Комиссия по сбору пожертвований постучалась к Юсянам.

- Теперь-то ты понял, до чего мы дошли? - спросил Фанос-ага, когда Ованес-ага, вытирая лоб красным платком, вернулся Ц нему.

- Я, по-твоему, только сейчас понял? - буркнул Ованес-ага.

- Так ли, нет ли, ты продлил жизнь Вана на несколько часов.

- На несколько часов?

- А ты как думал? Тысячи и тысячи беженцев, бойцы, раненые... Ну, давай выпьем...

Раскроем секрет: когда пришла комиссия, Фанос-ага не только не двинулся с места, но и успел опрокинуть в отсутствие Ованеса-аги стопку-другую. От налета комиссии по сбору пожертвований он был застрахован: комиссия, он это знал, собирает только провизию, а припасов Фаноса-аги хватит ему самому на месяц, от силы на два, не больше, святое Знамение варагское свидетель... Есть у него дома сколько-то ковров, что да, то да, хотите постелите под ноги Екаряну или его бойцам, пусть воюют как надо... Звонкую монету он тоже может дать, но у кого ты осажденном городе хоть что-нибудь получишь на золото?

- Выпить-то мы выпьем, но... положение, Фанос-ага, тяжелое" Пребывавший, как мы знаем, в приподнятом настроении Фанос-ага пропел в ответ высоким фальцетом:

- О, преданный друг разбитых сердец!..

"Стойкий он человек, - думает Ованес-ага, - его и смерть не возьмет".

- Пой, пой, соловей,

- поет Фанос-ага, вызывая в Ованесе-аге добрую зависть.

Но вот песня завершена, и два достойных ванца допивают водку до донышка.

- Конец? - спрашивает занятый своими мыслями Ованес-ага.

- Конца не знаю ни я, ни Арменак Екарян, одному Богу ведомо, чем все это кончится. Если Дядюшка не поспеет, нам не выдюжить. Что такое турок против русского? Господи, приумножь силу и мужество наших воинов, приблизь приход Дядюшки.

- Аминь. Хорошо сказано, - поддакивает другу Ованес-ага. - Говорят, у Дядюшки и армянские отряды есть.

- Какая же война без армян? Армяне добровольцами записались.

И тут произошло нечто странное: нам не хотелось бы заниматься психологическими изысками и анализом, мы скверно плаваем, и это глубокое и бездонное, чистое и вместе мутное море, имя которому Ованес Мурадханян,

- это море нам не по плечу, посему удовлетворимся констатацией потрясающего, да-да, потрясающего факта. И только.

Дело в том, что, когда Фанос-ага с чувством пел трогательную песню о соловье, добром, красивом и бескорыстном друге человека, а Ованес-ага покачивался в туманных переливах песни, а также и водочных паров, на кухне появились Сатеник и Вержи-не, почти неслышно пересекли ее и вышли. Ованес-ага смотрел им вслед округленными глазами: он впервые видел их вместе, таких далеких от всех и таких близких друг другу. В горле Ованеса-аги застрял ком. Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, хотел глубоко вздохнуть - не удалось, и он неожиданно разрыдался. Ошеломленный Фанос-ага только и узрел, как по лицу друга градом льются слезы и застревают в усах; усы сырели на глазах.

- Ованес-ага, что с тобой?! - воскликнул Фанос-ага, обняв крепкие плечи старого друга. - Примерещилось что или умом тронулся?

- Ничего, ничего, - сказал Ованес-ага, вытирая красным своим платком глаза и усы и по-ребячьи шмыгая носом. - Я и сам не пойму... мать, Амбарцум, Геворг, Мхо...

- Нельзя так, Ованес-ага, нельзя. Человек на то и человек, чтобы привыкать к невзгодам и пересиливать их, недаром же поется:

Я среди бурных волн
С надеждой не простился...

x x x

Однажды, когда Фанос-ага еще раз навестил старинного друга, когда ополовинили бутылку водки, когда обсудили едва ли не дсе, связанное с тяжелейшей ситуацией в городе, когда Фанос-ага, дабы испытать любовь и дружбу Ованеса-аги, попросил у него два мешка муки и получил неопределенный ответ, когда Ованес-ага решил раскрыть Библию и показать поразительные слова ("...сегодня мы есть, завтра нас нет, да не умрет человек в невежестве..."), когда...

- Ничего не замечаешь, Ованес-ага? - внезапно спросил Фа-нос-ага.

- Нет, а что?

- Пальба прекратилась.

Взбаламученный выпивкой и беседой, Ованес-ага не заметил этого важного обстоятельства и теперь навострил уши.

- Сегодня уже с утра только постреливали изредка, а сейчас и того нет, - сказал Фанос-ага и добавил: - Дурной признак.

- А что тут дурного? - пожелал разобраться Ованес-ага.

- Турки собираются атаковать по всему фронту. Готовятся.

- Быть того не может.

- Почему это не может? Не тысячу же лет им с нами воевать...

- До сих пор, стало быть, они не по всему фронту атаковали, черт бы их драл? - обозлился Ованес-ага.

- До сих пор шли разрозненные бои.

- Ничего не соображаю, - помотал головой Ованес-ага.

В эту минуту в дверях показался господин Сет. На его лице блуждала странная улыбка; он медленно приблизился к двум друзьям и спросил:

- Ничего не слыхали?

- Атака по всему фронту? - словно пружиной подброшенный, вскочил с места Фанос-ага.

- Какая атака? Турки бежали.

Ованес-ага не шелохнулся. Молнией мелькнула в мозгу мысль: надо откопать зарытый под грушевым деревом кувшин и занести в дом.

- Хочешь сказать, армяне победили? - медленно приподымаясь, вымолвил он наконец.

- Выстояли, - уточнил господин Сет, поправляя феску. - К городу подходит русская армия и армянские отряды. Нет больше синего Ванского моря, море побелело. Мы продержались...

- Море-то отчего побелело? - струхнул Фанос-ага.

- От атаки по всему фронту, - съехидничал Ованес-ага, однако же и сам призадумался: что с морем?

- От парусов. Турки на парусниках бегут в Битлис.

- Турки - в Битлис, армяне - в Тифлис, - вырвалось у Ованееа-аги.

- Что армяне забыли в Тифлисе? - забеспокоился Фанос-ага.

- Это я так, рифмы ради, - пояснил Ованес-ага и крикнул: - Сатеник, эй, Сатеник! - Потом повернулся к Фаносу-аге: - Сколько тебе чувалов муки?

Фанос-ага промолчал, а Сатеник не заставила себя долго ждать.

- Принеси-ка мне одеться. Сколько, говоришь, чувалов? - переспросил он Фаноса-агу.

- Да оставь ты эту муку, нашел время, - увильнул от ответа Фанос-ага.

Сатеник стояла в растерянности. Она старалась по лицам гостей разобрать, что означает странный приказ мужа. Гости улыбались.

- Скажи толком, что стряслось, - отчаявшись угадать что-либо, потребовала Сатеник.

- Принеси мне, хорошая моя, одежду, - ласково повторил Ованес-ага. - Турки бежали.

2

Как скакун, отвыкший взаперти, в темной конюшне, от света и вырвавшийся наконец на волю, становится на дыбы, и косит приученными к мраку глазами на ослепительное солнце, и вбирает раздутыми ноздрями свежий хмельной воздух, так и Ван, свободный Ван дыбится с непривычки и гремит радостными кличами.

Как отсеченная на небесной бойне, вся в крови, голова, солнце безуспешно ищет, куда бы ему нырнуть, а белые парусники скользят и скользят на запад, чтобы небо окропило и освятило их и кровью, и последними солнечными лучами. На запад, на запад! .

Третьего мая 1915 года умолкли пушки и винтовки, не свистят и не ранят никого пули, а воздух наполнен не грохотом взрывов, но безудержными кликами: плач, здравицы, песни, соболезнования; народ стекается отовсюду к

штабу, чтобы лишний раз услышать то, о чем все уже слышали, и утвердиться в том, что твердо знают, чтобы пощупать чудо руками.

Новая волна прокатывается по ликующим садам - отныне не господствует над городом оружейный склад на высоте Топрак-Кале, чьи пушки и пулеметы еще вчера затапливали улицы Вана огнем и страхом.

Бодрый, улыбающийся выходит из штаба Екарян; глядя на огромную толпу, он щурится, будто глядит на солнце. Пытаясь перекричать шум, он громким, надсадным голосом объявляет что-то, но народ и без того знает, о чем он может сказать.

- Да здравствует свободный Ван! - раздается из толпы.

- Да здравствует наш свободный Ван! - надрываются женщины и дети.

Здесь же и бойцы; прежде оружие в их руках говорило о постоянной готовности к схватке, а сейчас они держат его вроде бы для виду. Здесь и отряд Красного Креста, вот он в полном составе - исхудалые и как на подбор кудрявые молодые ванцы и ванки во главе с доктором Сан-Фани. Здесь и героический рабочий батальон "Амрашен" - то есть крепкий, надежный, - прямо под пулями сложивший столько стен на разрушенных позициях - этими стенами можно несколько раз опоясать весь город; амрашенцев возглавляет Симон Овивян, среди них и работник Ованеса-аги Усеп, а с ним и знакомый нам белый, впрочем, сильно полинялый, осел, смахивающий на коня, или конь, смахиваюшищ на осла. Гремит духовой оркестр училища - фанфар.

- В Цитадель!

На широком, обсаженном ивами проспекте, связывающем Айгестан с Цитаделью, сходятся бойцы, оборонявшие две части города. Крепкие и непоколебимые как скалы, обросшие многодневной щетиной, ванцы обнимаются, плачут" будто дети, и раскатисто, будто гром небесный, смеются. Появляются Айк Косоян, Аро, Джанко, Михрдат Мирзаханян. Размахивая длинными руками, радостный, сияющий Мартирос-ага Марутян повествует о случаях из боевой жизни:

- Сидим за полночь на своей позиции, пьем вчетвером коньяк. Рюмка за рюмкой, дело подвигается. Налили еще по одной, чокнулись, и вдруг нагьястакан как бабахнет по нашей крыше... сыплется что-то с потолка нам на головы и, главное, в рюмки, - земля не земля, кто на это смотрит. Допили коньяк и за ружья... Я двух пушкарей на крепостной стене уложил.

- Мартирос-ага, это ты не про себя - про вардапета Езника рассказал, - добродушно бросает Михрдат.

- Какая разница! - говорит Мартирос-ага.

Все хохочут, и громче всех сам Мартирос-ага.

Под крепостью собралась большущая толпа. Библейский исполин, крепость смотрит на нее каменным взглядом и глазам своим не верит. Длинноногий, что твой страус, Арам Джанкоян карабкается вверх по крепостной стене и на самой высокой ее башенке водружает красный армянский флаг. И снова ликующее многоголосье, крики, возгласы:

- Да здравствует свободный Васпуракан!

На утес поднимается Фанос Терлемезян, сам похожий на обломок утеса. Он говорит о том, сколь величествен исторический этот чае, взывает к памяти прародителя Айка, Вардана Мамиконяна, Батюшки Хримяна и защитников Вана. Его награждают рукоплесканиями и громовыми здравицами.

Фаноса сменяет малорослый монах - не кто иной, как вардапет Езник. Он называет врагов кровожадными хищниками, охочими до падали гиенами и грифами; они, говорит он, испокон века... но, говорит он, сегодня над Ваном и Васпураканом реет орел свободы. Ван выстоял, Ван не мог не выстоять, потому что в жилах ванцев течет кровь халдеев, урартов, хеттов.

Шум, гвалт, народ взволнован, и до поздней ночи радуется и ликует победоносный Ван.

3

Воздаяние. "В саду Вана-города распустилась роза". Было время. Было же время, когда в эту пору и впрямь распускались розы, розовые розы, белые и желтые, и пьянящий запах майорана стоял в воздухе, как запах ладана в

церкви. Было времечко... Розы-то цветут и сейчас, что ж это за весна без роз, да никто на них не смотрит, ну а розы возьми и рассердись, они не терпят, когда к ним равнодушны и невнимательны, осерчали розы, и не оттого ли они раскраснелись пуще прежнего?

Что случилось, Ван, что с тобою, мой прекрасный и печальный? Хочешь верь, хочешь не верь, а турок-то в Ване нет, нету Джевдеда, нету Агьяга. Турецкие дома - богатые и нищие, учрежденческие конторы и оружейные склады, вчера еще наводившие ужас, - все они сегодня пусты. Но шесть вилайетов сейчас, в эту минуту попраны и растоптаны. Беспощадно, без разбору предаются мечу мать и дитя, работник и хозяин. Сотни тысяч людей - их убивают и грабят, изгоняют из дому, гонят на чужбину, чтобы уничтожить где-нибудь на приволье полей, в ущельях и теснинах, чтобы в городах не смердело, чтобы чума не пожрала кровожадные, смерть и разруху сеющие орды. А ты, Ван, свободен. Да здравствует же свобода - ныне и присно и во веки веков!

Удивительное дело, в селах и городах - церкви в любом местечке - монастыри и святилища, на глазах у всемогущего и всевидящего столько злодейств и смертоубийств - и хоть бы что. Нет, предсмертные стоны миллионов жертв не достигают его слуха, и ноздри его не обоняют запаха крови, и дым испепеленных градов и весей не дотягивается до его длинной седой библейской бороды.

Никто не видел Миграна Манасеряна, и, стегая прутиком и по правому, то по левому сапогу, он с оглядкой проник в до" очередного турка.

Дом с надстройкой. Мигран обошел комнату за комнатой. Пустые сундуки, клочья шерсти и ваты, сдвинутая с места, поломанная и покореженная утварь, ветхая, громоздкая. На полу тут и та какая-то рвань, шлепанцы, в погребе - расколотые глиняные горшки, на стенах висят старые сита, крючки, во дворе - истертое седло. Сад небольшой. У колодца - помятое ведро, - веревку хозяева, должно быть, унесли.

Он закрыл за собой дверь.

Обходя брошенные дома, Мигран обследовал каждый. Он сам не заметил, как оказался в Цитадели. К дверям одного дом мучным, видимо, клеем прицеплено объявление: "Уважаемые соотечественники, дом принадлежит Акобу-аге Кандояну, не сжигайте". Мигран улыбнулся и зашагал дальше.

Обшаривая дом за домом, Мигран устал. В глубине души он покаянно упал на колени и признался себе в том, что именно гонит его от двери к двери, заставляет взбегать по лестницам, заглядывать во все углы и закутки, присматриваться к любому пуя стяку, к любой мелочи быта. Он долго простоял в одной комната на полу что-то блеснуло, он нагнулся и поднял пуговицу, сверкнувшую на свету красивую дамскую пуговицу. Неужели? Быть Н может, Нана здесь и жила со своим мужем, мюдуром Айоц-Дзора Камалом? С чего он взял? Не смешно ли, увидев пуговицу от женского платья, увлеченно полагать и предполагать? Смешно? Обутый в сапоги, он все равно почувствовал, как что-то мягко-легко коснулось его пятки. Он вздрогнул? Похоже на то. Белая домашняя кошка с разными глазами - один желтый, другой синий, - ванская кошка из турецкого дома. Мигран взял ее на руки. Тяжелая ухоженная кошка смотрела на него, и он увидел Нану. Опустив блестящую пуговицу в карман, Мигран с кошкой на руках вышел на улицу и заспешил домой.

И Нана (так он прозвал кошку) стала бегать за ним по пятам, точь-в-точь собачонка.

В войне Мигран никоим боком не участвовал, если не считать того, что повозки комиссии по сбору пожертвований дважды останавливались у его ворот и оба раза отъезжали, доверху груженные. Драться на позициях? Одна только мысль об этом ужасала Миграна. Разумеется, заправляй боевыми действиями Арам, он явился бы к нему и приискал себе подходящую работу - писаря, кладовщика или что-нибудь в этом роде. А с Молнией Аракелом и Болгарином Григором он не был даже знаком. Прийти же с подобной просьбой к Екаряну означало подвергнуться насмешкам, издевкам, попросту говоря, опозориться. Ситуация такова, что сейчас, когда партий нет и в помине, а есть

единый боевой кулак, Мигран Манасерян остался не у дел. Найдутся люди, которые, чего доброго, прихлопнут его прямо на позициях, во время боя; поди потом докажи, что тебя пристрелил армянин, а не турок.

Да, Мигран Манасерян остался не у дел.

Он приговорил себя к домашнему аресту. Еще короче, он дезертировал - он, Мигран Манасерян, завзятый дашнак, доверенный человек Арама-паши, глава айоцдзорского партийного комитета, хозяин и владелец Хекского монастыря и принадлежащих и не принадлежащих монастырю поместий. У него не было выхода. Ему сдавалось, что все до единой пули, выпущенные за неполный месяц боев, угодили ему в сердце. Особенно остро он мучился этим в самые первые дни. Мало-помалу он свыкся со своей жалкой и незавидной ролью и подробно перебирал в памяти всю свою жизнь, а перебрав и критически пересмотрев, пришел к неутешительному выводу.

Постояльцы, братья-рамкавары Амаяк и Арменак Сосояны, воевали на разных позициях и почти не бывали дома. Утром уходила и только затемно возвращалась и Кармиле: она работала в швейной мастерской. Мигран запирался в своей комнате, спускался вниз перекусить и опять забирался к себе в логово. Постель его не убирали: Кармиле была занята, что же до матери, или, как ее звали все, особенно осиротевшие внучата, что же до старшей матушки... Сидя в углу кухни, она без конца, один за другим вязала носки, временами поднимала тяжелую от безрадостных мыслей голову к почернелым бревнам потолка:

- Господи, сотвори добро.

Старшая матушка слышит сухой кашель Миграна из верхней комнаты, путается и не знает, что ей думать. Весь Ван от мала до велика поднялся против турок, а ее Мигран носа из дому не кажет. Она очень хорошо понимает, что заставило его выбрать этот постыдный путь, но закавыка в другом: почему все вышло так, как вышло, почему должно было случиться так, а не эдак? "Будь проклят тот день!" - бормочет матушка, и спицы в ее руках мелькают быстрее прежнего.

Хоть бы он женился, думает она, будь у него жена, постеснял ся бы ее и пошел на позиции. Пускай бы его убили, мученик лучше, чем трус. Ишхан погиб, кто теперь вспоминает про ахтамарские дела? Мертвые сраму не имут, мученики попадают в сонм святых.

От прежней Кармиле тоже мало что осталось. В первый раз холодком повеяло, когда она услыхала, что Мигран сватается К дочери Мурадханяна. Не отдал Мурадханян за него дочку, ладнё, Но когда на третий день боев девушка сообразила, что Мигран заперся у себя в комнате, а воевать и не помышляет, на нее прямо-таки напал балмиш, а говоря поармянски, у нее волосы дыбом встали. По городу пустили слух, будто Мигран перед девушкой сатрмиш, то бишь хочет понравиться, но ежели по правде, Миграну сейчас никакая Кармиле не мила, в неприглядном, безвыходном своем положении он совсем шамшиш, свихнулся по-нашему.

Что правда, то правда.

4

Вступление в город армянских добровольцев, а следом русской армии было торжественным и поистине потрясло. Даже "жених и невеста" - каменные глыбы у скалы Акрпа - и те, кажется, приосанились. Ваятелей в той стране не было, единственным, зато великим ваятелем оставалась там природа. Народ собрался в открытом поле, на ведущем в Шахбази большаке, где в мирное время по нескольку раз в год устраивали скачки.

Итак, народ собрался, заливается, как велит обычай, зурна, в лад ей стучит барабан, стоит в полной готовности училищный фанфар, здесь же весь оружейный завод во главе с Болгарином Григором, Словно почетный страж, замер Григор навытяжку у отлитой благодаря его предприимчивости ванской пушки, первой и последней.

Вдали, под Шахбази, заклубилась на большаке пыль. Стало быть... Взбудораженный народ смотрит во все глаза, и вот наконец показываются всадники, доносится топот копыт. Появляются первые ласточки. Это Хечо, и

вооруженный священник-армянин, и доброволец лет пятнадцати, и русский полковник; за ними едут конные отряды.

Навстречу отрядам выходят Арам, Екарян, Аракел, Григор, спешившийся русский полковник, Хечо, вооруженный священник, и в минуту первых объятий мощно вступает оркестр, грохочет пушка, толпа в едином порыве кричит "ура", поднимается невообразимый шум, и кажется, будто скалы движутся, а "жених и невеста" крепче прижимаются друг к дружке. Полковник и Хечо пожимают руку Араму, поздравляют с победой, со спасением Вана.

- Ван спасли ванцы и ванец, - говорит Арам. - Вот они, ванцы, - обводив он рукой собравшихся, - а вот глава военного командования ванец Арменак Екарян.

Священник-армянин воздевает руку и благословляет народ, солдаты строем маршируют вперед, а за ними, не забыв и пушку, с честью исполнившую свой долг, - люди, люди, люди; вот колонны солдат входят в Айгестан, где по обе стороны главного проспекта сгрудились мужчины и женщины, а на ивы вскарабкались сотни ребятишек, ванцы радостно встречают армию-освободительницу, ванцы ликуют и торжествуют.

Так это было.

Акоб-ага Кандоян не смог сдержать слез, и схватил Ованеса-агу за руку, и хрипло сказал:

- Часто какой, а?!

Ованес-ага решил, что Акоб-ага спрашивает про время, полез было в карман и потянул за цепочку свой хронометр, но тут Акоб-ага внес ясность:

- Незабываемый час армянской истории! И утер слезы платком.

Ванское правительство.

Высокая честь принять в свои стены правительство Вана выпала Доминиканскому училищу армян-католиков. По свидетельству историографов, которое, кстати, соответствует действительности, это двухэтажное, с длинными балконами здание находилось на оживленном широком проспекте, шедшем от Города к взорванному армянами оружейному

складу Гамуда-аги. Дабы еще точнее определить местонахождение этого здания, добавим, что оно стояло на перекрестке улиц Санди-Похан и многократно помянутой Хач-Похан, на восточной его стороне.

Довольно. Впоследствии историографы подробнейшим образом описали каждую деталь бывшего Доминиканского училища армян-католиков, а затем дома ванского правительства. Они даже подсчитали, из скольких ступеней состояла лестница, которая вела на второй этаж, и отметили: "Пятнадцатая ступень была не вполне ровной, чего, однако, человек с обычным зрением мог и не увидеть".

Когда ванцы прочитали вывешенный на стенах школ и церквей приказ генерал-майора императорской армии Николаева "О назначении российского армянина Арама губернатором города Вана", то сочли это назначение и естественным, и разумным.

- Почему, дорогой? Что, больше и людей нет? Ван - ванцам!

- Арам все ж таки революционер, а сюда нужен человек государственного склада... Не станем трогать Екаряна, Екарян - боец, воин. Губернатором должен быть человек наподобие Аветиса Терзибашяна.

- Мукаэл-ага, в приказе ясно указано: российский армянин Арам. В городе, занятом русской армией, на высшую должность надо назначить либо русского, либо армянина из России. Очень естественно и разумно...

По-моему, убедительно. Назначение Арама стало мало-помалу и естественным, и разумным, но прежде всего логичным.

В правительственном этом здании, сказать короче - в губернаторстве, расположились вновь созданные отделы: полиции, судопроизводства, сельского хозяйства, по делам беженцев, градоуправления.

Учредили даже тюрьму, под которую выделили один из подвалов того же здания. Но тут губернаторство столкнулось с непредвиденными трудностями: никто не хотел идти в начальники тюрьмы.

Ванское самоуправление, ванское правительство!

С утра до позднего вечера во дворе губернаторства толпились крестьяне и горожане. Все отделы работали с полной нагрузкой. Став губернатором, Арам понял: распределяя государственный должности, надобно отрешиться от узкопартийного подхода, который может привести к самым ужасным последствиям, - а поняв, только так и поступал. "Поумнел", - посмеивались рамкавары. "Потерял революционный дух", - ворчали дашнаки.

Однажды, когда до Арама дошли первые невнятные слухи об отступлении и он мрачнее тучи просматривал в своем кабинете докладные записки о брошенных турками домах и садах, в дверях показался Мигран Манасерян.

- Что новенького, Мигран? - подняв голову, спросил губернатор; можно было подумать, они только вчера расстались. Мигран решился:

- Господин Арам, прикажете мне заниматься монастырем?

"Святая простота! - изумился про себя Арам, внимательно разглядывая осунувшееся лицо Миграна. - Обрадуем человека, хотя бы денька на два..."

- Что за вопрос? - бодро сказал Арам. - Монастырь как был твоим, так и остался, занимайся обычными делами.

Мигран поблагодарил и выбежал, окрыленный, из кабинета. Он спешил домой. У себя в комнате он запер Нану, не то увязалась бы за ним. Нана встретила его, всячески выказывая свою любовь. Мигран воодушевленно рассказал матери о разговоре с Арамом. Старшая матушка слушала и радовалась радостью сына, но, оставшись одна, недоверчиво покачала головой. "Чертовщина какая-то", - подумала она. Хотелось от всего этого отвлечься, развеяться, и она сказала:

- Нана, черная твоя душа, иди поешь.

Кошка примчалась на зов, как послушная невестка.

5

В поднятой высоко над Айгестаном мансарде сидел на дорогом ковре Ованес-ага и, откинувшись на мягкие подушки, курил, как обычно, наргиле. Над садами сияло солнце еще только набирающего силу лета. Солнечные лучи падали на треугольные, чуть удлиненные хрустальные подвески крупной

люстры и всеми цветами радуги отражались на стенах мансарды. Коснись пальцем люстры, она качнется, а вместе с нею качнутся и заиграют на стене осколки радуги.

День ото дня налаживалась в Ване жизнь, постепенно входила в обычную колею и жизнь Ованеса-аги. Беженцы разбрелись по деревням. Принеся Господу две жертвы, айсоры освободили хлев Ованеса-аги. Вержине и Сатеник вскопали и засеяли грядки, вычистили и помыли скамейку в розарии. Свободно вздохнул Усеп, а заодно с ним и белый осел. На заднем дворе давно уже без толку стояла прикатившая из деревни да так и не воротившаяся туда телега. Не год и не два назад Мхо приехал на ней из Эр-манца, оставил у брата, а сам купил новую. Теперь Ованес-ага не в силах смотреть на эту телегу: вспоминает несчастного Мхо, его семью, вспоминает Эрманц и еще почему-то мать.

- Убери эту колымагу с глаз долой! - приказал он Усепу.

- Как убрать-то? - растерялся Усеп.

- Сломай, сожги, видеть ее не могу! - твердил свое Ованес-ага.

Усеп - человек деревенский, чему-чему, а такому добру он цену знал; оттащил телегу под навес, забросал сеном, и Ованес-ага больше ее не видел.

Лия и Сурен привели в порядок цветник в переднем дворе. Что до мансарды, то пули продырявили в нескольких местах ее дощатые стены. Сурен предложил заделать отверстия, Ованес-ага не согласился:

- Пускай свежий воздух идет...

Среди множества больших и малых забот труднее всего был решить одну - как быть с Вержине?

На третий или четвертый день после того, как бои окончились, Вержине, подав Ованесу-аге кофе, опустилась перед ним на колени и со слезами на глазах спросила:

- Мне уйти, господин?

- Куда? - вопросом ответил Ованес-ага, прекрасно все понимая.

- К себе.

- Очень хочешь уйти? - спросил Ованес-ага.

- Совсем не хочу.

Ованес-ага вспомнил Геворга, выдохнул что-то вроде "Эх..." и сказал:

- Я тоже хочу, чтобы ты у нас осталась... Жизнь у тебя не сложилась, ничего хорошего ты не видела. Но воля твоя, никто тебя силком тут не держит, и никто не гонит. Постарайся только прийтись по душе Сатеник... Живи, посмотрим, чем эта заваруха кончится.

Вержине молча ушла. Ованесу-аге ни к чему было учить ее уму-разуму. Едва переступив порог их дома, она старалась угодить Сатеник: называла ее не иначе как Сатеник-ханум, взвалила на себя всю тяжелую работу, вела себя так, чтобы не раздражать ее.

Вечером того же дня, когда супруги остались одни, Сатени спросила:

- Вержине тебе ничего не говорила?

- Нет, а что? - как можно равнодушнее отозвался он.

- А мне сказала: поговорила, мол, с тобой, ты не против...

- Не против чего? - напружинился Ованес-ага.

- Она хочет уйти к себе.

Вот тут Ованес-ага все вспомнил:

- Ах да, она что-то говорила... голова кругом идет, столько хлопот. Если рассудить по справедливости, она может и уйти - война кончилась, у каждого свой дом.

- Какой еще дом? - разволновалась Сатеник. - Курам на смех такой дом... пускай остается у нас. Чем ей здесь плохо? Меня тоже пожалеть надо, на части разрываюсь.

- Не знаю, - вытер Ованес-ага лоб и набросил носовой платок на плечо, - договоритесь между собой сами, я в женские дела не вмешиваюсь.

- Это не разговор, - возмутилась Сатеник-ханум. - Ты в доме хозяин, ты и скажи свое слово: так и так, оставайся! По правде говоря, не больно-то она приятная, но работает за двоих...

И теперь, разглядывая осколки радуги на стене, Ованес-ага курит неизменное свое наргиле. Курит и думает: скажи ему кто-нибудь месяца два назад - послушай, дескать, через два месяца не будет у тебя ни Мхо, ни Геворга, ни магазина, ни Эрманца, по дороге в Город турки зарежут Симона-агу, а ты засядешь в своей мансарде и будешь покуривать наргиле, - скажи ему кто такое, он бы ответил: убирайся, негодяй, я, по-твоему, зверь бесчувственный - после стольких несчастий наргиле курить?! Случись такое, я в море утоплюсь, кормом для рыб стану, вассалам!

Ованес-ага так и ответил бы, но вон как оно обернулось: все верно, после стольких несчастий сидит он себе и посасывает наргиле. Правильно говорят: что вынесет человек, того и собаке не вынести. Никаких планов у Ованеса-аги покамест нет, он не пошел в город поглядеть на сожженный рынок и на свой магазин. Ованес-ага и не помышляет его восстанавливать, пускай такими делами занимается Фанос-ага. Что до него, то он, пожалуй, на денек-другой съездит в Эрманц проведать, что там посеяли осенью и стоит ли овчинка выделки.

У Ованеса-аги есть планы, но это иные планы, основательные, с дальним прицелом.

После прихода Дядюшки город буквально завален русским сахаром, мылом, всевозможным куревом. Появились русские медные и серебряные деньги, ассигнации и даже золото. Сет утверждает, что турецкие золотые дороже русских. Ованес-ага частенько прогуливается по саду. Он проходит мимо того грушевого дерева, смотрит туда и чувствует в себе прилив сил и энергии, чувствует себя всемогущим. Из России, кроме прочего, получили еще и новые шапки, которые называются то ли кепи, то ли что-то в этом роде. Все подряд забросили фески и напялили на себя кепи. Ованес-ага понимает все, но этого, хоть убей, не понимает. Ванец без фески не ванец! Нет, Ованес-ага скорее откажется от головы, чем от фески.

Со двора доносится песня про розу, которая распустилась в саду. Это Лия поет, снедаемая грустью Лия:

Чья ты, красавица, косы густые, плечи покаты?

Знает весь мир, весь белый свет знает: моя ты...

"Хорошая песня, - думает Ованес-ага, - это ж надо уметь так увязывать слова, как Петрос Дурьян, как Гевонд Алишан... "Утишься боль и душа, о знайте же, я еще жив..." Машалла, Дурьян, машалла..."

Неизвестно к чему привели бы Ованеса-агу его литературоведческие штудии, если бы со двора не донесся голос Акоба-аги Кандояна: Акоб-ага спрашивал Ованеса-агу. Через минуту на лестнице послышались шаги.

- Машалла! - воскликнул Акоб-ага, появившись в дверях. - Машалла! Голубку спросили, где милей всего на свете, ответила: у меня в гнездышке... Хорошим делом ты занят.

Уточним, что Акоб-ага, также не лишенный таланта увязывать слова, заменил собаку - "собаку спросили" - на голубку. Не знаем, известен ли был Ованесу-аге подлинник басни, но будь он даже ему известен, хозяин мансарды наверняка почувствовал бы себя польщенным: не каждый наделен силой, могущей перекраивать на новый лад неуязвимую или непреложную народную мудрость.

Так полагаем мы, но, по-видимому, Ованес-ага не разделял наших взглядов и потому с кислой миной на лице сказал:

- Иная пословица подходит тому, кто ее говорит, а не кто слушает.

Акоб-ага не растерялся.

- Если бы так! - воскликнул он. - Если бы так! Тебе ли не знать, Ованес-ага, - я человек бездомный. Конурой, где я живу, собака бы погнушалась. Присмотрел я себе дом одного турка, так наши градоправители хотят его у меня отнять... И это человеколюбие?

- Садись, Акоб-ага, садись, - смягчился Ованес-ага, отнюдь, как мы не раз убеждались, не обделенный человеколюбием. Он встал, выглянул из окна и позвал: - Вержин! Сатеник! Лия!

И уселся на место. Устроившись напротив, Акоб-ага вытащил из кармана четки.

Вошла расцветшая, что твоя роза, Вержине.

- Вержин, милая, кофе.

- Осталась у тебя? - безразлично (почти безразлично!) спросил Акоб-ага, когда Вержине удалилась, увлекая за собою его взгляд.

- Сатеник ее не отпустила, - так же безразлично ответил Ованес-ага и зевнул.

- В суматошное время мы живем, скажу я тебе, Ованес-ага. Знаешь Миграна Бдодяна? Перебивался с хлеба на воду, а теперь... Если есть в Ване семь богачей, один из них этот Мигран. Чем он только не разжился в турецких домах: и тебе ковры старинные, и посуда дорогая, и браслеты золотые, серьги, кольца, перстни...

- Говори, да не заговаривайся, - прервал его Ованес-ага.

- Что я такого сказал? - удивился Акоб-ага.

- То! Ты ведь не младенец, какой дурной турок бросит в доме золотой браслет, серьги, кольца - приходи, Мигран Бдодян, да клади в карман! Коли есть у него мозги, наденет браслет на руку, кольцо на палец, нацепит серьги, тогда и сбежит.

Акоб-ага не подумал об этом, но не отступать же.

- Чудак ты, Ованес-ага. По-твоему, выходит, будто турчанка на "Старых богов" собиралась: на руку - браслет, в уши - серьги, на палец - кольцо. В этом переполохе, в этой неразберихе до того ли было? Все бросили и сбежали.

- Согласен, - уступил Ованес-ага, - продолжай.

- Я вот о чем толкую: много бедняков сейчас разбогатело - и вещи у них, и дома, и сады. Плохо ли это? Чем зажиточней ванец, тем лучше Вану, тем больше нам чести. Скажешь, наймалазм, мне-то что?

- Нет, не скажу наймалазм, - уверил собеседника Ованес-ага.

- Умного человека сейчас видно. Из-за этого наймалазм мы и так уже горя хлебнули. Если каждый будет твердить: мне-то что, меня это не касается, Ван станет не Ван, а Содом и Гоморра.

- Верно мыслишь, - одобрил Ованес-ага.

- Тогда еще вопрос: имею я право обзавестись домом? Ованес-ага промолчал.

Вошла Вержине с чашками дымящегося кофе. Акоб-ага взял чашку и, норовя поймать взгляд Вержине, повысил голос:

- Имею я право положить конец своему одиночеству, обзавестись домом, семьей? Годы-то мои идут; думают об этом наши градоправители?

- Думают ли градоправители? - эхом отозвался Ованес-ага и сообразил: "Что-то у него на уме..."

Хотя, коротая свои дни один как перст, Акоб-ага Кандоян ничего в жизни не добился и заполыхай в его жилище, которое сам он называл конурой, пожар, там бы и горелым-то не запахло, он тем не менее не был лишен деловой смекалки и хватки, присущей его землякам. О нет, Акоб-ага не из тех, кто строит дом на песке. Коль скоро он решился прийти к Ованесу-аге и затеять этот разговор, да так, чтобы и Вержине слышала, как он озабочен, как жаждет завести семью, то ни на волос не надо сомневаться: у него достаточно резонов надеяться, что его дело увенчается успехом, то бишь он, Акоб-ага, обвенчается. "Разве есть у Акоба-аги резоны, о которых мы не знаем?" - недоуменно спросит читатель. Отрешимся от наивности и не будем недооценивать или, хуже того, приравнивать к полному нулю возможности Акоба-аги. Представьте себе, читатель, Акоб-ага знает немало такого, чего мы с вами не знаем. Ну, к примеру, знаем ли мы, что произошло между ним и Вержине, когда он, Акоб-ага, согласно воле и просьбе Ованеса-аги ходил за овдовевшей Вержине, торжественно привел ее в дом Ованеса-аги и сказал: "Вот и мы. Встречайте гостью!"?

Отправляясь в тот знаменательный день выполнять свою историческую миссию, Акоб-ага полагал увидеть согбенную под бременем горя вдову и сложил про себя краткую речь, дабы утешить несчастную. Безопасности ради, он выбрал дорогу через сады, вошел в убогую комнату Вержине без стука и, как и предполагал, застал ее согбенной, но не под бременем горя. Просто она согнулась над старым сундуком и что-то там перебирала. Стояла Вержине босиком. Когда она выпрямилась и подняла на нежданного гостя большие спокойные глаза, когда, вместо изможденной, тяжкими муками вдовы, Акоб-

ага увидел перед собою женщину-искусительницу и в голове у него мигом зароились грешные мысли, его утешительная речь в мгновение ока бесследно улетучилась и он громко сказал:

- Я за тобой, пойдем.

- Куда? - в дьявольской усмешке растягивая рот, спросила Вержине.

- Ко мне, - не устами, но сердцем сказал Акоб-ага. "И этот петух общипанный туда же", - подумала Вержине и грустно сказала:

- Эх, Акоб-ага, был бы у тебя дом, ты бы и взял меня к себе.

В душе Акоба-аги что-то надломилось и упало. Но он подавил в себе соблазн и скрепя сердце сообщил Вержине волю Ованеса-аги. Глаза вдовушки радостно заблестели, а Акоб-ага опечалился.

Вслед за тем Вержине, словно, нарочно не считаясь с присутствием Акоба-аги (сам Акоб-ага объяснил это по-иному, в свою пользу: "Хочет понравиться, хочет приворожить..."), - так вот Вержине что-то сняла с себя, что-то надела, собрала на скорую руку кой-какую одежонку, завязала узелок, заперла дверь, и они пустились в путь через сады.

Как и каждый год, без оглядки на войну или людские заботы, сады зеленели, распускались, расцветали. И старики со старухами те тоже без оглядки на войну копали и перекапывали землю, сеяли зелень, сажали разные цветы. Искупанная и распаренная, теплая и нежная, как запеленатое в простынки детское тельце, земля благоухала. Сердце Акоба-аги преисполнилось необъяснимой и объяснимой легче легкого тоской. Конечно, такое могло случиться только единожды в тысячелетие, именно тогда, когда Акоб-ага шел ванскими садами с красивой вдовушкой. Почему бы в первый, а может, и в последний раз в жизни не раскрыть сердце перед благоуханной, как этот сад, Вержине, не сказать ей нежданных, небывалых, неслыханных слов, чтобы пораженная Вержине так и села на виноградный холмик, а Акоб-ага, бросив клюку в траву, преклонил перед нею колени и ткнулся в ее колени уже седыми своими усами? Все бы хорошо, но эта варварская стрельба! Не будь ее и воцарись подобающая этой минуте торжественная тишина, в которой звучали

бы лишь песни птах да соловьиные трели, Акоб-ага сотворил бы чудеса. Да разве расслышит кто сквозь этот грохот сердечное, душевное слово?! Акоб-ага то и дело приотставал, чтобы полюбоваться Вержине сзади, а когда они миновали половину пути, все ж таки сказал:

- Давай прикинем. Будь у меня дом, кров, ты бы за меня не пошла?

Вержине витала далеко-далеко: она рисовала в уме будущую свою жизнь. Объясняя ее молчание исключительно стыдливостью, Акоб-ага не преминул помочь ей:

- Плохо было бы?

- Вовсе нет, - ответила Вержине не столько Акобу-аге, сколько своим мыслям.

- Вовсе нет, - повторила она и пошла так резво, что Акоб-ага едва поспевал за ней.

О нет, Акоб-ага был не из тех, кто берется за дело с бухты-барахты, не из тех, кто возводит дом на песке; не имея на то никаких резонов, он не явился бы к Ованесу-аге и не стал бы обсуждать важный этот вопрос так, чтобы Вержине его слышала.

- А что градоправители? - принимая из рук Вержине чашку кофе, развивал дерзкие свои замыслы Акоб-ага. - Градоправители решили прибрать все дома к рукам...

- Стало быть, женитьбе крышка? - огорчился Ованес-ага.

- Почему крышка? Это верно, дома у меня нет, но я ведь не какой-нибудь там безродный, приблудный. Юрист господин Грант Галикян сказал: нам, говорит, известно, господин Кандоян, что ты, говорит, решил положить конец отшельнической жизни, нам известно, говорит, что ты хочешь обзавестись домом и семейством, городская управа, говорит, непременно учтет это, господин Кандоян.

- Чего ж тебе еще? - сказал Ованес-ага. - Свадебные расходы беру на себя.

Акоб-ага наикратчайшим путем вознесся на седьмое небо. Вержине взяла пустые чашки и скрылась за дверью.

Во избежание дальнейшей путаницы спешим пояснить: Ованесу-аге и в голову не приходило, что Акоб-ага не только выбрал свой будущий дом, но и решил, кого привести туда хозяйкой... Что же до Акоба-аги, то ему показалось, будто Вержине шепнула на ушко Сатеник, а Сатеник - Ованесу-аге: мол, Акоб-ага, или, как сказал (по словам Акоба-аги, конечно) юрист Грант Галикян, господин Кандоян, имеет серьезные намерения относительно Вержине. Между тем Вержине вообще не видела в Акобе-аге мужчину: она скорее поверила бы в жениховство каменного жениха из Акрпы, чем в жениховство Кандо.

Беседа потекла дальше и коснулась деятельности армянского правительства и городских будней.

- Телохранители Арама приуныли, - говорит Акоб-ага. - И сказать по правде, не зря.

- А что такое? - интересуется Ованес-ага.

- Ну как же! - в сердцах, будто он и есть Арамов телохранитель, восклицает Акоб-ага. - Все бойцы сполна вознаграждены, набили себе карманы, а они день и ночь ходили за ним по пятам, даже ковра приличного не раздобыли.

- Что говорит Арам? - равнодушно спрашивает Ованес-ага.

- А что может сказать Арам? - вконец расстраивается Акоб-ага. - Арам говорит: наймалазм, зато вы, говорит, под пули не лезли, жизнью не рисковали, целы остались, всех и забот - крутились и вертелись возле меня. Наймалазм...

- А телохранители? - спрашивает Ованес-ага, почти не слыша ответа.

Да, Ованес-ага думал о другом. Он разве что вполуха слушал Акоба-агу, увлеченно сообщавшего о том, что молодые вдовы двух замученных в тюрьме гнчаков - Абраама Брутяна и Арташеса Солакяна - поклялись не выходить замуж, что Парамаза, по слухам, в Стамбуле повесили, что Арам-паша назначил Пузатика, мужа своей пламенной хозяюшки, заведовать складом губернаторства, что приехавший из Полиса скрипач Арам Аджемян скоро даст в Центральной школе благотворительный концерт в помощь голодающим, что

Амбарцум Ерамян прислал из Египта, из города Каира, письмо, в котором горько сожалеет о несчастном стечении обстоятельств, не позволивших ему внести свою лепту в героическую оборону боготворимого им Вана, коим он гордится издалека. Не велика доблесть гордиться издалека - был бы человеком, не бросил бы свой боготворимый Ван, не дал бы отсюда деру, не сидел бы на берегу Нила и не проливал бы крокодиловых слез... И еще - Мигран Манасерян стащил кошку из дома айоцдзорского мюдура и принес ее к себе, а эта кошка точь-в-точь собачонка - куда он, туда и она... Доктор Ашер попросил выслать из Америки денег и хирургических инструментов для сложных операций. Не понимаю, Ованес-ага, бои кончились, раненые кто умер, кто выздоровел, какие еще сложные операции? Тот же доктор Ашер объявил, будто при Американской миссии построят завод, от которого в дома горожан по ниткам пойдет свет. Ну скажи мне на милость, дорогой, как свет пойдет по нитке? Нитка раз - и сгорит.

- Есть такой свет, есть, - очнулся от своих раздумий Ованес-ага. - Мне Симон-ага, земля ему пухом, рассказывал. Как бишь называется?.. Да, электрик. Симон-ага видел в Стамбуле. И в Ване, кажется, есть что-то такое, напротив Центральной школы, люди говорят: огненная мельница.

- Что такое нитка и какой от нитки свет?! Ты же серьезный человек, Ованес-ага, а веришь всяким небылицам, - кипятился Акоб-ага.

- Наука не вранье и не небылица, наука - это наука... Словом, еду на днях в Стамбул, увижу все своими глазами, вернусь - расскажу.

- О! - поразился Акоб-ага. - В Стамбул собираешься?

- Есть такая задумка. Или в Стамбул, или в Тифлис. Помолчали.

- До Стамбула не добраться, - заговорил Акоб-ага, - дороги нет... везде резня... В Тифлис - это да, в Тифлис можно поехать, путь свободен. Стамбул... Не успел от турка избавиться, опять к нему же? А в Тифлис зачем - по делу или так, проветриться?

- По правде говоря, есть у меня цель, - раздельно, словно отщелкивая костяшки на счетах, произнес Ованес-ага. - Сколько я знаю, Тифлис большой торговый город. Съезжу, пригляжусь. Всякое дело любит, чтобы его совершенствовали. Вот где блуждали мысли Ованеса-аги. Он не из тех, кто топчется на месте, он хочет поехать в Тифлис, изучить коммерческую жизнь и постановку торговли в большом городе, установить связи с крупными негоциантами, чтобы получать и продавать такие товары, каких Ван покамест не видывал и о каких даже не мечтал. Для начала капитал у него есть, свидетель тому - разлапистое грушевое дерево. Чтобы обрабатывать земли в Эрманце, он найдет верных айсоров, поставит вместо Мхо человека присматривать за деревенскими делами. Построит дачу в Артамете... Осла не продаст - глядишь, и пригодится. Однако ему позарез нужен собственный выезд, чтобы в летний зной добираться до Артамета, а оттуда домой. И надо выдавать замуж Лию, а Сурена послать в Тифлис учиться. Дома останется один Востаник, чье настоящее имя - Мурад. Пока все называют его Востаником, но скоро Востаник станет Мурадом Мурадханяном. Недурно? И о Вержине надо подумать, определить ее к миссионерам, пускай выучится рукоделью, а там и подходящего жениха приищем... э-э, забот полон рот, дел непочатый край, а он, Ованес-ага, один, попробуй выдюжи.

- Кофейня "Ширак" открылась, - выдает новость за новостью Акоб-ага. - Приходят русские казаки, садятся и требуют водки. Для них ее там всегда держат.

- И платят?

- Сколько скажешь, столько и выложат.

- Это хорошо.

- Русские народ щедрый.

- Славно, славно, - радуется Ованес-ага. - Когда народ щедрый, торговля идет вовсю.

- Как же иначе-то? Если покупатель скуп, плакала твоя коммерция.

- Э-э, мир изменился, - прищурился Ованес-ага - словно бы затем, чтобы получше разглядеть происшедшие в мире перемены. - На Стамбуле ставим крест, теперь нам иметь дело с Тифлисом, Москвой, Петербургом...

- Хорошо знаешь русские города, - заметил Акоб-ага.

- И столько-то не знать? - усмехнулся Ованес-ага и вспомнил, что слышал эти названия от покойного Геворга, от Сета. Человек много чего на своем веку слышит - в одно ухо влетит, в другое вылетит, а ты слушай и мотай на ус, как Ованес-ага, так-то вот... "

Узнав, что турки бежали, Ованес-ага рифмы ради сказал: "Турки - в Битлис, армяне - в Тифлис". Теперь чуточку изменим: Джевдед - в Битлис, Ованес-ага - в Тифлис... Эх-эх-эх, почем человеку знать, что с ним станется...

- Как, говоришь, называют тот свет, который идет по нитке? - с откровенной насмешкой спросил Акоб-ага.

- Электрик.

- А знаешь, что такое отонобиль?

- Нет. Что это?

- То-то же. Своими глазами видел на Санди-Похане - тут я, а тут отонобиль, - сказал Акоб-ага, кивнув на стоящий в углу высокий стол с четырехрогим подсвечником. - Который управлял, тот сидел впереди, а позади - двое военных, по-моему, русские бинбаши (*), в погонах, с крестами.

- Это что же, фаэтон?

- Сойдет вместо фаэтона. Резиновые колеса, урчит и едет без лошади, ничего.

- Слышал. Светлой памяти Симон-ага в Стамбуле ездил на таком... рассказывал.

- Умру, не сяду.

- Почему? - удивился Ованес-ага.

- Проехал, а за ним чад, копоть, да и запах вдобавок мерзкий.

Ованес-ага, который, как нам известно, был прогрессистом до мозга костей, не мог не защитить удивительного достижения науки.

- Э, - съязвил он, - ты, когда в фаэтоне сидишь, от лошади не пахнет? Отонобиль! Смотри, какая в России наука!

- Не говори...

- Это хорошо, хорошо.

Трудно предполагать, какие проблемы они бы еще затронули, если бы Акоб-ага не вскочил вдруг с места - так, словно вспомнил нечто важное.

- Прости, Ованес-ага, совсем из головы вылетело. Я пойду.

- Куда ты?

- Схожу взгляну на дом.

- Хороший дом?

- Царские палаты, Ованес-ага! - улыбается Акоб-ага, закинув клюку на плечо.

_____

(*) Тысяцкий, полковник (тур.).

_____

- Только царицы не хватает, а? - смеется Ованес-ага.

- Что до царицы... Сам знаешь, Ованес-ага, твое слово - закон.

- Будь спокоен! - Ованес-ага встает и дружески хлопает Акоба-агу по спине. - Такую свадьбу закатим, "жених и невеста" тапажорен...

Это означало, по-видимому, прийти в ужас и не понравилось Акобу-аге: зачем каменным "жениху и невесте" ужасаться?

- Пускай не ужасаются, - поправил он, - пускай и они радуются.

- Пускай завидуют и радуются, - поставил точку Ованес-ага.

Акоб-ага вышел на улицу счастливый и окрыленный. Он имел право чувствовать себя счастливым, ибо взял быка за рога, а не... стоит ли уточнять?

Приблизительно час Ованес-ага кропотливо изучал Библию, а когда собрался вниз пообедать, пожаловал Сет.

- Ну-с, поздравляю, поздравляю! - Это было первое, что он произнес. - Хорошо задумал, правильно решил.

Про свой отъезд в Тифлис Ованес-ага говорил несколько дней назад Фаносу-аге. "Должно быть, от него и узнал", - заключил он.

- Есть у меня такая мысль, - ответил Ованес-ага. - Помозговал, взвесил и убедился: нужно. Конечно, в копеечку это влетит, но ведь и выгода немалая.

"Какая ему выгода отдавать Вержине за Кандо, да еще самому свадьбу играть?" - недоумевал господин Сет. По правде говоря, когда Акоб-ага рассказал ему давеча о своем жениховстве, он не очень-то и поверил, но, похоже, Кандо не соврал. Однако выгода-то здесь какая?

- Есть ли выгода, нет ли, но придумал ты, Ованес-ага, хорошо, - сказал Сет.

- И я так рассуждаю, - солидно сказал Ованес-ага. - Прежде чем затевать дело, надо посмотреть все на месте, наладить связи, вникнуть...

Лицо Сета вытянулось.

- Чего тебя перекосило? - холодно поинтересовался Ованес-ага. - Я, слава Богу, не дурной - ни о чем не разузнав, не пощупав руками, взваливать на плечи такую ношу. Симон-ага, царство ему небесное, говаривал: против Полиса все, что мы делаем в Ване, - старо, невыгодно, бессмысленно. Да и ты знаком с Полисом не понаслышке, разве, если не кривить душой, наше здесь дело - дело?

- О чем ты, Ованес-ага? - не утерпел всегда и во всем выдержанный господин Сет.

Ованес-ага внимательно посмотрел на бывшего управляющего своим бывшим магазином.

- Ты часом не дурак? - спросил он.

- Столько лет ты меня знаешь, Ованес-ага, похож я на дурака? - растерялся господин Сет.

- А если не дурак, ответь: о чем мы с тобой толкуем? По-моему, о том, что я еду в Тифлис присмотреться к тамошней коммерции, о том, что я хочу начать новое дело.

- Нет, Ованес-ага, нет...

- Так о чем же?! - возопил Ованес-ага.

- Я пришел поздравить вас... Вы же решили отдать Вержине за Акоба Кандояна... и свадебные расходы взяли на себя.

Ованес-ага аж задохнулся. "Неужели Вержин согласилась... за этого... балаболку? - мелькнуло у него в голове. - Да никогда!" Ованес-ага еще не выжил из ума отдавать Вержине за какого-то там Кандо. И без того бедняжка светлого дня в жизни не видела, а теперь что же - из огня да в полымя? Вержин нужен степенный жених, человек положительный, обеспеченный. Кандо и Вержин... Этому не бывать.

СКАЗАНИЕ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЕ И ПОСЛЕДНЕЕ.

Последняя ночь. Бесконечное отступление

1

Июль!

Неподалеку от моря раскинулся древний город - точь-в-точь зеленоволосая сказочная красавица, точь-в-точь сказка и красота.

Сады, сады, сады и синее море, заново выкрашенное синевой, фантастически, непостижимо, невероятно синее море, прохладные городские улицы, политые и подметенные, пахнущие землей, водой и свежестью улицы, которые обернулись теперь небогатой ярмаркой. Чуть ли не у каждого дома или по крайней мере на перекрестке стоят столы, а на них - бумага и табак, холодное молоко и мацун, домашние прохладительные напитки. Продавцы - одетые в длинные рубахи мальчишки - похожи на девочек с коротко стриженными волосами, но есть среди них и такие, на ком штаны, - этим, стало быть, больше десяти лет. Покупатели - русские казаки; они проезжают мимо верхом или же проходят, останавливаются у столов, тычут пальцем в приглянувшийся товар и спрашивают: "Почем?"

Маленькие торговцы выучили по-русски счет до десяти, а дороже десяти копеек тут товара и нет. И еще они выучились словам "пожалуйста" и "харашо".

Жить можно. Русские народ щедрый, как верно заметил один из наших знакомцев: скажешь пять копеек, дадут пять копеек, скажешь десять - получишь десять. Предложи товар, цена которому гривенник, за копейку -

ничуть не удивится, а копеечный за гривенник - не рассердится, заплатит, возьмет, да еще и "спасибо" скажет; ванские ребятишки быстро смекнули, что оно означает, это слово.

У них, у этих казаков, голубые глаза и тонкие рыжие усы. Ванские девушки побаиваются их, но ужасно любят смотреть вслед верховому казаку, покуда тот не повернет коня за угол и не исчезнет из виду. А которые посмелее, распахивают выходящее на улицу окно, пронзительно выкрикивают: "Рус!" и поспешно захлопывают створки.

Жить и вправду можно.

Почему бы не сказать, что сады ранены? В саду Дарбинянов стоял тополь, возвышавшийся, как и мансарда Ованесааги, над всем Айгестаном. Как-то поутру вражеский снаряд снес ему макушку и повалил наземь вместе с аистиным гнездом. Теперь, глядя на него, одни плачут, другие смеются. А потом меняются ролями. Пугало, да и только. Во многих садах традиционные весенние цветы заменили картошкой и морковкой, капустой и фасолью - ванские семейства подвергали пересмотру свои экономические возможности.

На следующий день после встречи с Арамом Мигран Манасерян также решил не тратить попусту время и подвергнуть свои экономические возможности ревизии. Оседлал отдохнувшую лошадь, вечно недоверчивая старая матушка наполнила его переметную суму хлебом, вареными яйцами, сыром, положила на всякий случай бутылку водки. "Ключ от комнаты не забыл?" Сын усмехнулся. Ключ он прихватил на всякий случай, как и водку. Нана беспокойно металась вокруг лошади, старалась поймать взгляд Миграна; попыталась даже вспрыгнуть на седло, не смогла. Мигран вошел в комнату, Нана за ним. Он надел кепи, притворил дверь, закрывая Нану, и вышел. Кажется, все в порядке. Вывел лошадь на улицу, попрощался с матерью и зашагал вперед; лошадь последовала за ним.

Мигран вскочил в седло, выехал из знакомого нам города через восточные ворота, то есть по Нахри-Похану, и направился по привычной дороге на запад. Утро выдалось солнечное. Он доехал до деревни Курупаш. Оттуда не

доносилось ни единого звука; настежь распахнуты двери домов, многие двери выломаны. Мельница работает: жернова вращаются, трутся друг о друга; вращаться вращаются, да между ними - ни зернышка. Опять тишина, нет, цокают копыта по широкой дороге, которая рассекает деревню пополам. А вдали слышится пронзительный кошачий визг, становится громче, приближается. Мигран увидел, как из прохода между домами на большак вылетела маленькая хромая собачонка - ее настигала свора одичалых кошек с всклоченной шерстью и торчащими хвостами; они погнали собачонку к мельнице. "Сожрут, как пить дать сожрут", - подумал Мигран. У одного дома он остановил лошадь. Под стеной дома сидело человекоподобное существо со щепкой во рту. Старик - существо оказалось мужчиной - якобы курил. Его полуголое, почернелое, ссохшееся до скелета тело местами покрывали отрепья. Старика словно бы с умыслом оставили в живых.

- Что делаешь, отец? - крикнул Мигран и нагнулся.

Волосатое заросшее лицо задвигалось, раскрылся беззубый рот, и раздался бас сытого человека. Мигран разобрал слова: в дет ревне свадьба, все ушли в Варагский монастырь, скоро вернутся, вот старик и ждет. Мигран стегнул лошадь и поспешил покинуть мертвую деревню.

До Гядука он скакал во весь опор. Хотелось поскорее отдалиться от Курупаша. Не получалось. Курупаш мчался за ним по пятам, догонял и забегал вперед.

Вот наконец и Гядук. По привычке Мигран спешился, но отдыхать не стал. Голода он пока что не чувствовал. Глянул вниз на раскинувшийся с востока на запад Айоц-Дзор. Издали заметный монастырь, казалось, совсем уж сжался и как-то съежился. Вон деревня Нор, Аствацашен, Хек, Аратенц. Дым в деревнях не курится, на дорогах не клубится пыль, озимые зеленеют, но эта зелень не ласкает Миграну глаз. Она смахивает на кладбищенский бурьян.

"Зачем я здесь и куда еду? - подумал Мигран. - Ах да, надо бы подремонтировать монастырь. Но как? О главном я забыл. Людей-то нет..." Мигран вспомнил айоцдзорца Акоба Мудояна; тому удалось убежать в город и увести с собой около двухсот крестьян-женщин, стариков, детей. Этот его

дерзкий поступок, конечно же, совпал с приказом Джевдеда: прекратить резню и погнать всех оставшихся в живых в Ван, уморить город голодом и поставить его на колени. Так вот, Акоб Мудоян пришел к Миграну. Сказал, что был в Эремерийском монастыре и собственными глазами видел тело порубленного топором Манвела. По словам Мудояна, когда погромщики вломились в комнату Манвела, тот чертил цветную карту Армении времен Тиграна Великого. Они швырнули карту на пол и зарубили Манвела. Акоб видел, - как его тело распростерлось на географической карте Армении, видел, как алая его кровь смешалась с яркими красками этой карты. Бог весть, может, в монастыре кто и остался в живых - работницы или Авдо... "Раз уж я здесь, надо ехать до конца", - решил Мигран и стал осторожно спускаться вниз; лошадь пошла за ним.

В Аствацашене та же пустыня, что и в Курупаше, - ни души. Повсюду, куда ни глянь, трупы. Первый труп страшно подействовал на Миграна, потом он привык. Кошки больше не попадались, зато на него накинулись бешеные собаки, видимо промышлявшие с голодухи мертвечиной; почуяв запах живого мяса, они с хриплым лаем бросились на Миграна; тот хлестнул лошадь, выхватил пистолет и - раз, два, три... выстрелы эхом отозвались в опустелой деревне, собак словно ветром сдуло.

В Аратенце та же картина. Миграну почудилось, что под ивой, неподалеку от мельницы, стоит кто-то, похожий на сельского старосту Наго. Он подошел ближе. Это и впрямь был сельский староста Наго, но он не стоял под деревом, а был привязан к нему, истерзан, замучен до смерти. За деревней в зарослях шиповника Мигран увидел полуголые тела женщин и девушек. Нескольких он узнал.

С тяжелым сердцем оставил он Аратенц. Густой трупный смрад и тяжкий дух разоренной деревни мало-помалу развеялись. Мигран вздохнул полной грудью и резко выдохнул. Вырвался стон.

Лошадь вошла в реку Хошаб. Плеск воды под копытами напомнил Мигрaну мирные дни, цветущий многолюдный Айоц-Дзор, богатый, изобильный монастырь.

Еще один поворот, и лошадь ступила в монастырскую рощу. Роща знакомо, породному благоухала. Лошадь, как и всегда, заржала, извещая о своем приходе. Сейчас из монастырских ворот выйдет Авдо и неторопливо спустится вниз.

Никого.

Мигран спешился, разнуздал лошадь, подтолкнул ее к роще: ступай пасись.

Прогулочным шагом мирных времен поднялся он к монастырю. А вдруг в монастыре спрятались турки? А в деревнях? Мыслимо ли в одиночку, полагаясь только на свой пистолет, вторгаться в эту обитель мертвецов? Днем монастырские ворота всегда были распахнуты. Распахнуты они и сейчас. Мигран вошел. Каменное безмолвие.

- Авдо! Авдо! - позвал он и не узнал своего голоса.

Первым человеком, которого он здесь увидел, был Авдо. Правда, тот, кого увидел Мигран, мало чем походил на Авдо, но это был он. Он лежал навзничь на пороге хлева - туловище в хлеву, ноги во дворе, - в усах соломинка, лицо облеплено мухами. Мигрaну вспомнился живой, ворчливый и бранчливый добряк Авдо. Вспомнилось его лицо, когда он узнал, что паренек в брюках, которого он взял в охапку и снял с лошади, вовсе не сын мюдура, а жена. Теперь замученный Авдо спит непробудным сном и никогда больше не ругнется, ничему больше не удивится.

Мигран вошел в просторную монастырскую кухню с прокопченными стенами и потолком, где работницы каждый день пекли хлеб, кипятили в огромных котлах на большом очаге молоко, заквашивали его, готовили масло и сыр. Много чего жарилось и парилось в монастырской кухне, но неизменно здесь стоял запах хлеба. Мигран и сейчас уловил слабый хлебный дух, и к его глазам подступили слезы. О да, да, да, тысячелетия пролетят над куполами армянских монастырей, но из их порушенных и безлюдных кухонь и амбаров вовеки не

выветрится запах праведного хлеба. Мигран почувствовал, что проголодался, но одновременно почувствовал, что не хочет, не в силах есть.

Ему померещилось, что в большом очаге еще вчера горел огонь и зола там посейчас теплая. Она, эта зола, была какого-то необычного беловатого оттенка. Мигран взял кочергу с деревянной ручкой, прислоненную к стене вблизи очага, и переворошил золу. На поверхности показались сожженные, легкие, как губка, кости. Пораженный Мигран принялся судорожно ворошить золу и увидел маленький детский череп. Он понял: в очаге сожгли ребенка. На лбу выступил холодный пот. Отбросил кочергу и мельком глянул в тонир. Та же беловатая зола.

Мигран пересек пустынный двор и толкнул приоткрытую дверь церкви. В ноздри ударил спертый влажный воздух. На сыром земляном полу там и сям лежали трупы женщин - прилежных и сварливых монастырских работниц, и стряпух. Глядя на них, нетрудно было догадаться, в каких лютых муках они умирали. Мимо Миграна пробежала чудовищных размеров крыса и исчезла возле алтаря. Мигран выбрался из церкви; ноги отяжелели и подкашивались.

Ключ ему не понадобился. Он вошел в комнату. Мебель, утварь, оконные стекла, большая лампа под потолком - все было перебито. Дощатый пол заляпан пятнами керосина. Повсюду клочья шерсти и ваты из разодранных тюфяков и одеял. И только садр остался нетронутым. Усталый и разбитый, Мигран сел на садр и едва слышно произнес:

- На монастыре - крест...

На монастыре надо поставить крест. Без человека, без рабочих рук земля ценности не представляет, монастырь ценности не представляет. Арам мог подарить ему не только монастырь, но и весь Айоц-Дзор. Это он, Мигран, должен был подарить Араму Айоц-Дзор со всеми потрохами - на, оно твое, это Армянское, ущелье (*). Пользуйся на здоровье.

(*) Айоц-Дзор - Армянское ущелье (арм.).

Он свернул папиросу. Пальцы дрожали. Чиркнула восковая спичка, он прикурил. И услышал тревожное, беспокойное, будто молящее о помощи конское ржание. Швырнул на пол спичку и вскочил:

- На монастыре - крест!

Он выбежал из монастыря и, не отдавая себе отчета, что и почему, кинулся вниз по холму. Теперь он слышал уже не только ржание, но и собачий лай. Добежал до рощи. Лошадь задними ногами геройски отбивалась от пятерки псов. Одному из них удалось запрыгнуть на седло. Их привлек сюда запах еды. Мигран выстрелил - раз, два, три... Собаки пустились наутек в сторону Хека.

Мигран погладил лошадь, всю взмыленную, потрясенную неравной борьбой. Она заржала, успокоилась.

Зачем он здесь и что собирается делать? Бежать, бежать без оглядки из этого пустынного, мертвого монастыря, из этого Армянского ущелья, из этого ущелья смерти. В траве что-то блеснуло. Он нагнулся, поднял. Пустая гильза. Вспомнил Ишхана, на полном скаку стрелявшего из охотничьего ружья. Вспомнил, как они собирались, кутили. Вот очаг с черными, закопченными камнями. Здесь они жарили шашлык. Увалень Погос, Мушег Балдошян, Здоровяк Даво...

Бежать, бежать из этого царства смерти, из этого повергающего в дрожь, полного призраков и воспоминаний монастыря...

Мигран взнуздал лошадь, поправил переметную суму, вскочил в седло и, не оглядываясь на монастырь, медленно проехал по тропинке через рощу, вдохнул напоследок аромат лоха, а выехав на дорогу, погнал рысью.

Зловонный воздух ударил в лицо не раньше Аратенца и Аст-вацашена; Мигран пустил лошадь в гору и единым духом взобрался на Гядук. На перевале он натянул поводья и, не в силах превозмочь себя, посмотрел назад.

Хекский монастырь исходил дымом, хекский монастырь горел. Дневной ветер дул, видимо, с горы святого Авраама - дым стелился над рощей.

Мигран поскакал вниз.

Вдали показался Курупаш, и он облегченно вздохнул. До города рукой подать. Лошадь сбавила шаг.

Беззубое человекоподобное существо под стеной дома еще "курило".

- Что делаешь, отец? - повторил Мигран свой вопрос. Старик в свой черед повторил ответ: скоро молодые, родичи и гости спустятся из Варага... - внучку выдают замуж за Сахо... знаешь длинношеего Сахо в темной папахе?., сойди с коня, промочи горло...

Лошадь пошла по Нахри-Похану. Господи, неужели это явк кругом люди, они ходят туда-сюда, дети с веселым гомоном носятся по улице, окатывают друг дружку водой.

Дверь открыла Кармиле. Мигран хотел по привычке щелкнуть ее легонько по подбородку и сказать: "Ну как?" - но девушка увернулась и поспешила наверх. Старшая матушка сидела в саду на холмике и вязала носок. Лицо Миграна не удивило ее. Она ожидала увидеть то, что увидела.

- Был в монастыре? - спросила она.

- Был, - ответил Мигран. - Страшный, пустой... Ни одной живой души.

- Отдай его Араму, пускай наслаждается, - сказала мать и встала.

Подбежала Нана и потерлась о ногу Миграна. Он не улыбнулся.

2

Поначалу об этом только шептались. Все, должно быть, начинается с шепота. Должно быть... "Переселение! Отступление!" Переселение? Отступление?

Прежде всего зададимся вопросом: что такое переселение? Ничего хорошего, вы уж простите, я сказать не могу, но давайте все-таки поразмышляем.

Когда избежавшие ножа армянские крестьяне бросили свои деревни в Васпуракане и пришли в город, это еще можно назвать переселением. Ну а ванцу-то куда теперь переселяться, в Россию? Как же, скажите на милость, Ван будет жить без ванца? Нет-нет, вы ответьте: как ванец будет жить без Вана?

Ладно, все ясно, ванец человек деловой, торговлей ли, ремеслом ли он свою семью везде прокормит. А Ван? Если ванец уйдет из своего города, что же тогда с Ваном станется?

Оттого, что Амбарцум Ерамян по важному делу (скажем так) укатил в Египет, оттого, что Тачат Таламазян, убив Даво, унес ноги в Америку, оттого, что Мушега Балдошяна обстоятельства вынудили перебраться в Персию, - от всего этого Ван не перестал быть Ваном. А если все до единого ванцы возьмут в руки посох беженца и начнут переселяться, это, по-твоему, будет в порядке вещей? А наш Ван?

Теперь отступление. Это что за штука? Вану известно слово выступление: выступление Арама на собрании, выступление Карапета Аджем-Хачояна в роли Яго, выступление русских войск. Кроме того, ванцу известно слово преступление: преступления кровожадных турок, преступления Папах.

Но откуда взялось это чертово отступление, кто его вообще выдумал? Было же ясно сказано: турки морем отступили в Битлис; тут удивляться нечему, но ванцам-то теперь куда отступать? "И отступали тьмы и тьмы..."

Ванцы знают, что русские войска дошли до Ерзнка и что над Ваном вовсе не висит дамоклов меч, - о каком же отступлении все толкуют?

О каком отступлении шушукается народ в кофейнях, во дворах церквей, на любом углу? Все шушукаются, только губернаторство молчит. Почему молчат губернаторство и губернатор? Почему?

Ночное петушиное кукареку в Айгестане разбудило Ованеса-агу. Укладываясь вечером в постель, он боялся проспать и проснуться только после рассвета. Слава всевышнему, проснулся он вовремя. Ованес-ага встал, оделся так же осторожно, как в ту знаменательную ночь, надел прочные башмаки, спустился в дровяник, взял лопату, бесшумно открыл садовую калитку и зашагал по широкой аллее, делившей сад на дворе. Вот и грушевое дерево хаджи Наны...

Луны не было, ночь стояла звездная, прохладная, бодрящая. С Варага веяло свежестью, и сады полнились мягкими шорохами и шелестом. Сердце и душа Ованеса-аги с готовностью отозвались волшебству ночи, он мог бы часами упиваться несказанными чарами природы, если бы его рук не отягчала лопата и он не помнил, какая цель движет им. Несмотря на темень, он точно определил нужное место и принялся копать.

Копает Ованес-ага и перебирает в памяти, что важного случилось с ним за последние недели. Ведь чья-чья, а его жизнь, слава Богу, отнюдь не обделена всевозможными событиями. "Человек явился на свет, чтобы жить, жить в истинном смысле слова..."

Вечером того дня, когда у Ованеса-аги состоялся известный нам примечательный разговор с Сетом, он отдыхал в мансарде. Вержине принесла ему непременную чашку кофе.

- Что делает Сатеник? - спросил Ованес-ага, придвинув чашку поближе.

Вержине выглянула из окна в сад.

- Собирает розы.

- Так ты, значит, жена Кандо? - поинтересовался Ованес-ага и поправился: - Невеста.

- Я тоже слыхала, - невозмутимо и бесстрастно ответила Вержине.

- От кого?

- От Дерцкян Сирун, Дарбинян Ахавни, Каспарян Пайлун...

- Так-так-так... Они от кого слыхали?

- Ёидать, Кандо кому-то сболтнул, вот и пошло, - объяснила Вержине и улыбнулась.

- Э, да тебе, я гляжу, весело, - заметил Ованес-ага. - Ты уже согласилась?

- По словам Кандо, согласилась.

- А на самом деле?

Хрт-хрт-хрт - роет Ованес-ага яму и улыбается. Он думает, что библейская Ева, которую, если верить Писанию, обольстил змей, была наивная дурочка; будь на месте Евы Вержин, она бы не дала змею провести себя и не лишила бы все человечество и себя самое рая... "Вержин палец в рот не клади, она, бестия, черту в тетки годится", - усмехается Ованес-ага. Мы с читателем тоже мало-мальски знакомы с Вержине и, конечно, не осмелимся сказать, что она наивна. "Вержине бестия" - этого мы, пожалуй, отрицать не станем, но полагать, будто она годится в тетки самому черту - это уж чересчур. Однако мы знакомы также и с Ова-несом-агой; может ли он, не разложив все по

полочкам, не рассудив и не взвесив, безответственно заявить что-либо? Нет и еще раз нет. Ованес-ага таков: покуда не удостоверится, не скажет. Выходит, у него есть причины намекать на сомнительные родственные связи невестки? Выходит, есть...

- Пусть говорят, господин, чем больше разговоров, тем лучше. И ты говори, и я буду, - тихо-тихо молвила Вержине, и от тихого этого голоса по спине Ованеса-аги невесть почему побежали мурашки.

- Зачем? - переходя вслед за невесткой на шепот и ничего ровным счетом не понимая, спросил он. Тут Вержине поразила Ованеса-агу.

- Это моя тайна, - ответила она с дьявольской усмешкой. Поди пойми, какая у Вержине тайна...

Хрт-хрт-хрт - роет яму Ованес-ага, и чем глубже погружается в землю лопата, тем глубже погружается он в свои мысли.

"В Эрманц ехать не стоит, - думает он, - пустая трата времени. А вот в Россию - в Россию стоит. Во-первых, мир повидаю, во-вторых, возьмусь по примеру российских торговцев за новое дело. А может, продать к чертовой матери и дом, и сад, взять весь капитал, да и махнуть, в Россию с семьей, насовсем? Нет, дорогой. Что ванец без Вана? Ничтожество, нуль!"

Яма уже глубока настолько, что просто так лопатой землю не выгребешь. Ованес-ага становится на колени и, наклонившись, без всякой спешки продолжает работу. Он остерегает себя: осторожней, осторожней, не разбей ненароком лопатой кувшин, иначе попробуй отличи во мраке золото от земли. "Поспешишь - людей насмешишь", - приговаривает он вполголоса. Хрт-хрт-хрт.

"А что до расходов на свадьбу, - размышляет Ованес-ага, - я своему слову хозяин. Коли он такой хват, пускай женится на Вержин. Куда ему! Не зря говорят: почем ишаку знать, какой у миндаля вкус. А вдруг знает... э-э, и пусть знает на здоровье - ишака миндалем потчевать дураков нет. А кто станет потчевать, тот сам осел", - резюмирует великий ванец.

Кажется, лопата коснулась кувшина. Ованес-ага начинает осторожно очищать его от земли. Расшатывает кувшин в земле: туда-сюда, туда-сюда. Кувшин поддается. И тогда Ованес-ага извлекает его наружу.

И облегченно вздыхает.

Он ставит тяжелый кувшин в сторонку и зарывает яму. И с этим покончено. Теперь, когда дело в основном сделано, он вновь во все глаза смотрит на звездное летнее небо - на эту красоту, от которой перехватывает дух. Он глубоко вздыхает и слышит свой голос: "Ох-ох..."

3

- Ладно, пусть переселение, пусть отступление, хрен редьки не слаще, но почему, я хочу понять - почему... что, турок наступает?

- Нет.

- У нас над головой дамоклов меч?

- Нет.

- От какой же силы отступаем, зачем переселяемся? Смысл в этом есть, логика?

- Смысла нет, логики тоже нет.

- Что же есть?

- Команда есть. Приказ.

Эта знаменательная и, как выяснилось впоследствии, вполне историческая беседа имела место поздним вечером 17 июля 1915 года в мансарде Ованеса-аги Мурадханяна между хозяином оной и бывшим его управляющим господином Сетом.

До прихода Сета, еще на закате, в парадную дверь постучали, и кто-то грузно двинулся вверх по лестнице. Эти грузные шаги напомнили Ованесу-аге тот вечер, когда Фанос-ага сообщил об убийстве Симона-аги. И когда в дверях появился все тот же Фанос-ага с потерянным, оторопелым лицом, Ованес-ага напряг все силы, чтобы тяжелейший удар не оглушил его. Но удар оказался тяжелее, чем он ожидал.

- Это точно или так, пересуды? - спросил Ованес-ага точь-в-точь утопающий, который тщетно ищет соломинку. Соломинки, однако, не было.

- Фирман (*) Николаева... к завтрашнему вечеру в Ване не останется ни одного человека.

- А дом, а имущество, а все это? - неопределенно развел руками Ованес-ага.

Фанос-ага горестно улыбнулся:

- А Эрманц, а магазин?

- У-у... - понял наконец Ованес-ага.

- Золото есть? Всякие там браслеты, кольца... Остальное пиши пропало.

Ованес-ага пришел в себя:

- Да разве ж я знал, разве ж думал?

Повисла тяжкая, по-настоящему тяжкая тишина.

- А у тебя? - коротко бросил Ованес-ага.

- То же самое, - ответил Фанос-ага. И добавил: - Я, по-твоему, умнее всех?

Они переглянулись, и губы обоих растянула улыбка. В какой-то миг Ованеса-агу так и потянуло встать, подойти к окну и крикнуть, как раньше: "Сатеник, Вержин, Лия! Несите водку, то-се". Но он быстро сообразил: времена изменились.

- Такпроходитмирскаяслава, - одним духом выпалил Ованес-ага и подвел итог:

- Ван погиб.

- Ван не погибнет, Ованес-ага, - утешил его Фанос-ага. - Зачем Вану погибать? Вот ванец... ванец погибнет.

(*) Приказ (тур.).

- Пустые, досужие слова, Фанос-ага, - возразил Ованес-ага. - Погибнет ванец - погибнет и Ван.

Им вдруг показалось, что оба они правы. Но это ведь невозможно. Проблему надлежит обсудить всесторонне.

- Ованес-ага, ответь мне: что было раньше - Ван или ванец?

- Нелепый вопрос. Не будь Вана, откуда взяться ванцу?

- Положим, ты прав. А кто же построил Ван? - продолжил следствие Фанос-ага.

- Кто построил Ван? Ванец.

- Значит, сперва появился ванец, который и построил Ван?

- Нет, Ван был, а потом уже появился ванец.

- Кто же построил Ван? - вышел из себя Фанос-ага.

- Ванец! - стоял на своем Ованес-ага, чутьем понимая, что-вопрос-то не так прост и ясен, как ему сдавалось: и впрямь, что же было спервоначалу, ванец или Ван? Чтобы появился ванец, нужен был Ван - а кто его построил? Могло так случиться, чтобы Ван построили чужаки и в этом чужаками построенном Ване народился ванец? Ясное дело, нет! Ван построен ванцем. - Ну и мастер же ты людей с панталыку сбивать, - примирительно сказал Ованес-ага и даже улыбнулся, но улыбка промелькнула на его лице со скоростью молнии и тут же исчезла. - Ладно, Фанос-ага, что с собой брать? - понизил он голос.

- Что брать? Хлеб, еду.

- Еще?

- А что еще? Путь недолгий, несколько дней, знай себе иди. А еще... Телега у тебя есть?

- Если бы...

- Телега - это спасение. Положил бы два-три ковра, постель, одежонку, на осла провизию навьючил - и айда!

- Дурак я, вот кто! Была у меня телега, а я Усепу: убери с глаз долой! - схватился за голову Ованес-ага, но тут же утешил себя: - В телегу тяглового буйвола впрягают, а не ишака.

- Ованес-ага, ты ведь не в Варагский монастырь на праздник собираешься... Мы бежим, выбора у нас нет. Уложил что надо в телегу, подтолкнул ее сзади и - скрип-скрип - в путь. Эх, телега, - вздохнул Фанос-ага, хотел было попрощаться, но задержался и сказал не поймешь кому, скорей всего, себе: - Ума не приложу - турок нам не угрожает, дамоклов меч над нами не висит,

какого же черта гнать ванца из Вана? Непонятно... Ну, я пойду, давай попрощаемся.

Ованес-ага расчувствовался, расчувствовался всерьез. Поймал руку друга, пожал ее раз и другой, тряхнул и надломленным голосом кое-как выдавил из себя:

- Когда теперь свидимся?

- Лучше скажи: где свидимся?.. Где, когда?.. Бог весть, может, и скоро... у Симона-аги... Наш Ван...

Два почтенных ванца обнялись и расплакались, как несправедливо наказанные дети.

- До чего дожили... до чего нас довели. Сердце, того гляди, разорвется... Не плачь, Ованес-ага, не плачь, дорогой, гетди гюль, гетди бюльбюль...

После ухода Фаноса-аги Ованес-ага утер слезы, промокнул платком усы, кашлянул - кхе-кхе, - прочищая горло и восстанавливая надломленный голос, и зашагал взад-вперед по комнате. Тут хоть смейся, хоть плачь, проку никакого... плакать для здоровья плохо... за ночь надо со всеми делами управиться... вовремя откопал кувшин, хорошо... что-то еще было важное... ах да… утром Сатеник сказала: Вержине, мол, прихворнула - подташнивает ее. "Без Кандо тут не обошлось", - добавила Сатеник; Ованес-ага рассмеялся, а потом почесал затылок: что за новости такие?

Не мог Ованес-ага не заметить, что с тех пор, как окончились бои, Вержине будто подменили, совсем стала чужая. Он и Сатеник спали теперь в верхней комнате, а Вержине с детьми внизу. Однажды Вержине намекнула ему, что осталась бездетной только из-за Геворга, что ей и думать тошно о новом замужестве и что мечтает она лишь об одном - родить ребеночка и посвятить себя ему.

И вот пожалуйста - Сатеник принесла новость. Чему же удивляться? Ясно, что Кандо тут сбоку припека. Куда ему отличиться в таком деле!.. Ай да Вержине, ай да пустоцвет, и как она умудрилась всех вокруг пальца обвести?

Еще Ованес-ага подумал, что Вержине покамест не выжила Ш ума, чтобы рожать в Ване без мужа... стать притчей во языцех... осрамиться на весь город... Нет, на нее пальцем показывать не будут. Вержине бестия, и жених у нее есть, глупо в этом сомневаться, но кто он такой, загадочный невидимка? Ованес-ага попробовал даже улыбнуться, и ему это удалось; да-да, он мрачив улыбнулся.

Он собрался уже спуститься вниз; когда вошла Сатеник.

- Что это за жуткие слухи? - взволнованно спросила она.

Ованес-ага успел взять себя в руки и смирился с неотвратимым.

- Вот что, Сатеник, вот что, хорошая, поедем-ка мы в Россию, прогуляемся, поглядим на белый свет. Слушай, что я тебе скажу: завтра к этому часу в Ване не останется ни души. С утра пораньше возьмем мы в руки посохи беженцев...

- Где нам их взять, эти посохи? - нервно сказала Сатеник.

- Это в книгах так пишут и в газетах. Бежать можно и без посоха. Испеки на несколько дней хлеба и лепешек... потом похинд, яйца, сыр... словом, собираемся в Вараг на праздник, готовься как надо.

- А наш дом, хозяйство?

- Нет у нас ни дома, ни хозяйства, жена, нам надо бежать... Ступай распорядись, что Вержин делать, что Лии, что Сурену. Присмотри за всем, утром в путь.

И в доказательство душевной своей стойкости Ованес-ага вдруг пропел:

Прохладным утром с горя

Овсеп свалился в море!

- Чуть посерьезней, Ованес, - не смогла сдержать улыбки Сатеник, но, когда Ованес-ага и вправду посерьезнел, улыбка на лице Сатеник превратилась в гримасу, она всхлипнула и со слезами вышла из комнаты.

Ованес-ага снова прочистил горло - кхе-кхе-кхе, - спустился вниз и сам не заметил, как оказался на заднем дворе. Усеп сидел на пороге хлева и починял башмаки.

- Осла напоил? - обратился Ованес-ага к работнику с известной нам шуткой, потом озабоченно спросил: - У нас телега была, где она?

Задавая вопрос, Ованес-ага наперед знал, что скажет Усеп, и держал наготове свой ему ответ. Как он предполагал, так и вышло.

- Ты, ага, сказал: убери с глаз долой, я и...

- Мало ли что я брякну, у самого-то мозгов нет? Брось эти башмаки, обуй мои и ступай покрутись по городу, найди телегу. Тягловую скотину сейчас и за тысячу золотых не достать.

- Телеги тоже не продают.

- Посули три, пять, десять звонких монет... Без телеги мы пропадем. Найди телегу, возьми упряжь и тащи сюда. Хозяин телеги за деньгами пускай сам придет.

Усеп кончил возню с обувкой, не торопясь, как-то очень по-деловому поднялся и улыбнулся Ованесу-аге этакой таинственной улыбкой.

- Говоришь, десять золотых, ага?

- И десять, и двенадцать.

- Дай мне один золотой - будет тебе телега.

Словно опасаясь, как бы Усеп не передумал, Ованес-ага поспешно достал из брючного кармана красный кошелек с черными кисточками, раскрыл, подтолкнул ладонью кверху увесистое его дно, извлек золотую монету и протянул Усепу:

- Вот!

Усеп взял золотой, попробовал на зуб, порылся в карманах, вынул клочок грязной тряпицы, завернул золотой, завязал узелок, подбросил, поймал, взял башмаки и скрылся в хлеву. Спрятав, должно быть, в своем жилище обретенный капитал, он вышел наконец оттуда и, не глядя на Ованеса-агу, уверенно зашагал в угол двора, где стоял под навесом стог сена. Вооружился вилами и...

Из-под сена показалась телега.

- Сукин ты сын! - задохнулся Ованес-ага, мешая радость с досадой. - Мой товар мне же и сбываешь?

Поблескивая белыми зубами, Усеп улыбнулся жалкой улыбкой пойманного преступника. Он готов был кинуться в хлев принести золотой и вернуть его законному владельцу.

- Ну молодец, Усеп, ну просто молодец! Живи сто лет! Тащи сюда телегу и вычисти. А золотой тебе на счастье.

Ованес-ага до того обрадовался, что на минуту позабыл, как жестоко обошлась с ним судьба: подумать только, вчера еще никому не нужная телега стала сегодня бесценным сокровищем. Но нас Ованесу-аге не удивить: кому-кому, а нам ведома его переменчивая, как погода, жизнестойкая, непостижимая и в то же время прозрачная душа.

Когда он направился на кухню, его радости уже как не бывало. Чело его омрачали тучи новых забот. И наипервейшая из них - как быть с золотом? Где его спрятать, как уберечь? То да дело Усеп: завернул монету в тряпицу, завязал узелок, и вся яв. -долга. Счастливый человек.

"На осла навьючить припасы, изредка подсаживать Востани-ка. На телегу - одежду, один-два ковра, серебришко и золотишко, всякие там вещицы в шкатулке... А не поделить ли золото на части? Сшить несколько поясов - и пошли-поехали! Нет, нельзя, в дороге чего только не бывает: люди теряются, падают, отстают, остаются..."

Работа на кухне кипела. Над большим корытом склонилась Вержине, над маленьким - Сатеник, обе месили тесто для хлеба и пресных лепешек; грустная Лия помогала то одной, то другой; Сурен бесцельно бродил по саду, глядел на созревающие фрукты и думал, что эти фрукты съедят турки, а Востаник забрался на кровлю и, знать ничего не зная, шугал птиц от разостланных на просушку плодов: кыш-кыш!

- Мука еще есть? - спросил Ованес-ага, постукивая костящ-кой пальца по мучному ларю. - Хватит, пока из Эрманца свежую привезут?

- Есть еще, - ответила Сатеник. - Пускай налетают шакалы, пускай жрут.

Воздух на кухне показался Ованесу-аге тяжелым, и он поднялся на веранду. Его вдруг осенило: Сатеник сошьет из плотной ткани пояс, он набьет его золотыми монетами, повяжется им и... А остальное? Остальное надо рассовать по разным вещам, в одежду, одеяло из взбитой шерсти. Усеп навел его на хорошую мысль.

- Олды (*), - сказал Ованес-ага, - так и сделаем.

Он с легким сердцем прошел в мансарду, уселся на свое место перед погасшим наргиле и принялся перебирать четки: благо, напасть, Бог.

В это время его навестил господин Сет, и между ними состоялась памятная нам беседа.

Ованес-ага расстроился.

- Ясно, - сказал он. - Кто дал приказ о переселении, тому что-то известно, иначе бы и приказа не было. Но почему не сказать народу правду, зачем людей за дураков держать?

Увы, господин Сет не догадывался, зачем людей держат за дураков, а посему предпочел промолчать.

- Что возьмем с собой, господин Сет? - поинтересовался Ованес-ага.

- Наши головы, - удрученно ответил бывший управляющий делами. - И хлеб, у кого есть.

"У него хлеба нет, - сообразил Ованес-ага. Перед его глазами вспыхнуло озаренное лукавой улыбкой лицо госпожи Хушуш и тут же погасло. - Не все ли равно? - быстренько взвесил он. - Чем оставлять всякому сброду, лучше отдать Хушуш..."

(*) Здесь: ладно (тур.).

- У тебя-то хлеб есть? Коли нет, не стесняйся, говори. В такой день...

- Нет, Ованес-ага, хлеба у меня нет. Жена велела тебе кланяться, передать...

- Усеп! - крикнул Ованес-ага в высокое окно мансарды - Не подымайся, слушай меня. Возьми и для господина Сета чувалы... Сколько тебе? - повернулся он к Сету.

- Три, если можно.

- Четыре чувала муки господину Сету, понял? Он подошел к бывшему управляющему былыми его делами и убитым голосом сказал:

- Ступай, приятель, ступай... Да рухнет дом у того, кто порушил наш дом.

Будто во сне Ованес-ага ощутил губы господина Сета на своей руке, очнулся, отдернул ее; рука была мокрая.

И Ованес-ага услышал безнадежный свой выкрик:

- До чего дожили! До чего человека довели!

4

Над Ваном простерлась последняя ночь. (Ты, похоже, норовишь повлиять на читателя? Почему, собственно, ты пишешь "последняя"? По-твоему, назавтра, когда солнце скрылось на западе, ночь там уже не наступила? Еще как наступила. А ныне, когда минуло полвека с того дня, ночей там, по-твоему, нет как нет? Солнце светит по-прежнему, и луна тоже, и, по недавнему свидетельству знаменитого американского писателя, родом битлисца (*), не исчезли с лица земли ни гора Вараг, ни крепость, не море, ни Ахтамар - а ночей, значит, нет? И море, разумеется рокочет по-прежнему, но его языка никто не понимает. Понял ли американский писатель-битлисец голос Ванского моря, достиг ад этот голос его сердца? Сколько я разумею, достиг, потому что еще ванские мудрецы говаривали: кровь, она не водица. Правда впоследствии нашлись люди, которые доказали, что воду чрезвычайно просто обратить в кровь, но эта сугубо химическая реакций не способна поколебать правоту великих ванских мудрецов или бросить на нее тень. Вероятно, ты хочешь сказать, что над Ваном простерлась последняя для Ованеса-аги и вообще для ванцев ночь в родном городе? Вот так и скажи, вразумительно и понятно, зачем же людей-то пугать?)

(*) Имеется в виду Уильям Сароян (1908 - 1980), в 1964 году посетивший армянские земли на территории Турции, в том числе Ван.

Ованес-ага распорядился принести все ценные вещи в мансарду. Подключился к этой работе и Усеп. Никто не взял в толк, зачем Ованес-ага требует ценности к себе наверх, да никто особенно и не вникал. Заветный пояс уже красовался на Ованесе-аге. Кроме того, пошли в дело два стеганых одеяла, и можно не сомневаться, что мы во всем мире не сыскали бы третьего столь же тяжелого и столь же дорогого одеяла. Во всем мире, исключая Ван. Вполне допускаю, что той ночью мы отыскали бы в Ване если не одеяла, то тюфяки, либо подушки, либо, скажем, зимние пальто чуть более или чуть менее ценные.

В обыкновенный, ничем не примечательный ящик помельче сундука и покрупнее шкатулки Ованес-ага сложил серебряные и золотые изделия и посуду с позолотой, которая появлялась только на пиршественном столе, а в обычное время хранилась под замком в пресловутом шкафу Ованеса-аги. Прикрыв сверху это богатство портретами своего прадеда Вардана-аги и деда Мурад-хана, Ованес-ага опустил крышку ящика и запер его маленьким ключом. И ящик, и одеяла, и две подушки, и один ковер, и необходимую одежду - все, без чего немыслимо было уезжать, он велел сложить в телегу. Кое-какие вещи хотела спасти и Сатеник, но Ованес-ага счел, что это кэвэр-зэвэр, то есть ненужное барахло, и отложил их в сторону.

Хотя над городом глубокая ночь, над всем Айгестаном стоит запах пекущегося хлеба, словно ванцы и впрямь собираются поутру на праздник в Варагский монастырь. Хотя над городом глубокая ночь, окна всех домов освещены. Удивительное дело, отчего это Вану не спится? А Ованес-ага? А что Ованес-ага? Многажды случалось так, что весь Ван покойно и безмятежно забывался в объятиях Морфея, а наш герой бодрствует и бодрствует, этаким бесплатным сторожем стережет сон города. А сейчас, скажите, сделайте одолжение, может ли Ованес-ага уснуть сейчас, когда даже младенцы не спят в колыбельках от

небывалого шума и переполоха, когда ночной Ван глухо жужжит, как заброшенная пасека или потревоженный муравейник?

Надев поверх ночной рубахи сюртук, а на голову феску, Ованес-ага спустился на задний двор, обошел телегу кругом и остался доволен. Он хотел было заглянуть и в хлев, проведать свою четвероногую животину, но решил не мешать Усепу, пускай спит. Направился во внутренний двор, постоял там тихонько, посмотрел вполглаза на суету и спешку и отворил садовую калитку. Может быть, попрощаться с ладом, с деревьями и кустами, с зелеными лужайками и цветами, сказать им: "Прощайте! Счастлив оставаться!" - и услыхать в ответ: "Счастливого пути"? Ованес-ага отогнал эти мысли: зачем понапрасну волноваться, он ведь очень хорошо знает, это не проходит даром для здоровья.

Он медленно зашагал по широкой аллее, которая делила сад надвое.

Родина моя, прости-прощай,

Колыбель моя, прощай навеки!

Когда-то Ованес-ага слышал или читал эти строки, и как же кстати и вовремя вспомнил он их. Должно быть, жизнь армянина издавна неразлучима со словами "прости-прощай!", но отчего же никто в ответ не желает ему доброго пути?

Ованес-ага прошел дальше. Сады покачивались, объятые бархатом ночи. Ночная свежесть струилась из сада в сад, от дерева к дереву, от ветки к ветке, от листа к листу. Сызмала слышал Ованес-ага эти звуки, он слышал их и в отрочестве, и юношей, и молодым мужчиной... и в разные жизненные поры он воспринимая их по-разному. Они, эти звуки, всегда говорили о разном, то, что он слышал от них, было в равной мере непонятно... непонятно да непонятного. А сегодня... сегодня деревья шушукаются и шепчи что-то новое, доселе еще не слыханное. Ованесу-аге чудится, будто деревья желают ему на прощанье: "Счастли-и-ивого пути-и!".

"Счастливого пути, Ованес-ага, счастливого тебе пути, ступай в Россию, приумножь свое богатство, дай тебе Бог удачи, безрц казной, как швейная

машина "Зингер"..." Кто бишь это сказался Симон-ага, Фанос-ага или он сам: какая еще родина, где хлеб найдем, там и дом, там и родина?

Ованесу-аге померещился на траве у розария человечеседЦ силуэт: человек лежит, а рядом что-то белеет. Господи Иисуе, неужто привидение?

- Это я, ага, - раздался в темноте голос Усепа.

- Усеп? Ты что тут?

- И сам не знаю, - ответил Усеп. - С Богом беседую.

- Это кошка? - приблизился Ованес-ага.

- Наша кошка, ага. Она вроде меня, судьбой обиженная, придала съежилась под боком.

- Что с нами будет, Усеп? - спросил Ованес-ага, усевшись на зеленый холмик. Он только сейчас заметил, что на Усепе шапка, в какой он ходил, обычно на гору Вараг, - белая с темной кисточкой. Симпатичный он человек, этот Усеп. В пору великих и грозных событий был он совсем молодым парнем. Родную его деревню Мармет вырезали, он остался без отца и матери и очутился в Ване. Однажды, было это весной, Ованес-ага вернулся из магазина и увидел на заднем дворе деревенского паренька; тот устроился на старом седле и за обе щеки уплетал хлеб с сыром. Покойница мать сказала: "Этот парнишка - сирота, я его наняла огород вскопать. - И добавила: - Пускай живет у нас, по всему видать, работник он справный, подсобит в хозяйстве..."

Так Усеп и остался у них.

Голоса его никто не слышал, отвечал он односложно: да, нет. Крепкий, трудолюбивый, работал он не за страх, а за совесть. В углу хлева Усеп уложил на подпорки гладко оструганные доски, постелил подстилку, сверху - тюфяк, на нем - простыня, неизменно чистая; он все делал сам: стирал, шил, латал, тачал... а годы шли. Ованес-ага не раз подшучивал: "Пора нам Усепа женить". Усеп краснел: "Времена смутные, ага, не до женитьбы..."

А годы шли.

- Сколько тебе лет, Усеп?

- Скоро сорок, - ответил Усеп, поглаживая кошку по спине.

- Пора жениться.

- Э-э, ага, - похоже, воодушевился Усеп. - Затеял я тут дело тайком от Бога, тайком от людей, и на тебе - все с ног на голову. Поглядим... лишь бы все добром кончилось. Кто знает, - добавил он после паузы, - может, для нас это и к добру.

"О чем это он?" - не понял Ованес-ага, но не захотел, а может, и не смог докопаться до сути Усеповой загадки. Встал на ноги и снова повторил вопрос, ответа на который так и не дождался:

- Что с нами будет, Усеп?

- Не говори с нами, ага, у каждого - свое. Двинем в Россию... В России армяне есть?

- Да где на свете армян нет?

- Чего ж тогда маяться? Только вот не найти нам никогда такого места, как наш Ван... Жалко нашего Вана.

К горлу Ованеса-аги подступил комок, и, чтобы не выдать непрошеных слез, он чуть ли не побежал по широкой садовой аллее. В голове была путаница, сосредоточиться не удавалось; он остановился у грушевого дерева хаджи Наны. "Родина моя, прости-прощай, колыбель моя, прощай навеки!"

Из сада Данковянов послышались голоса. Ованес-ага приблизился к стене, привстал на цыпочки и заглянул. Шагах в двадцати от него, в глубине сада, горела лампа, освещая свежевырытую яму. Видимо, братья Данковяны припрятывали там ценную домашнюю утварь.

- Пустое, сгниет, - отговаривал Сирак.

- Не сгниет, клади, - настаивал Вараздат.

Ованес-ага тихонько отошел от ограды. "Тайник устроили, - грустно улыбнулся он. - Сирак прав, сгниет, в земле только золото не гниет".

Сам Ованес-ага о домашней утвари и доме подумал загодя: никто не подойдет к его дому, никто не попользуется богатой обстановкой и вещами. Он окинул взглядом деревья с пригнутыми под тяжестью плодов ветвями. Не взять ли два топора и на пару с Усепом вырубить весь сад подчистую, повалить до утра все

деревья до последнего наземь? Он вздрогнул. "Да ты спятил, Аханес, с ума сдвинулся? Поднять руку на сад, на землю - все равно что на женщину с ребенком руку поднять, грех это, грех..."

Ованес-ага повернул обратно по широкой аллее, подходить к Усепу не стал - пускай себе полежит, потолкует с, Богом без посторонних. У садовой калитки он нос к носу столкнулся с вынырнувшей из тьмы Вержине.

- Что такое, Вержин? - тихо спросил он.

- Голова разболелась, господин, подышу немного свежим воздухом, - громко ответила Вержине и тут же сызнова растворилась во тьме. "Тайком от Бога, тайком от людей..." - вспомнились Ованесу-аге Усеповы слова. Нет уж, увольте, у него не ни времени, ни охоты ломать голову по пустякам, пустяки его ныне не занимают. Родина моя, прости-прощай!

В воздухе стоял запах опресноков и хлеба. Ованес-ага прря скользнул мимо дверей кухни, его не заметили.

- Бог знает, кто помрет, кто выживет... Это Сатеник. Философствует. Нашла время.

- Вержин, она себе на уме...

Сатеник еще что-то сказала, он не расслышал.

Усталый, взвинченный и обессиленный, Ованес-ага поднялся по лестнице и открыл дверь. Воздух в комнате спертый, а может, это ему попритчилось? Душа пуста, никакого просвета. Тяжелей пояс стеснял его; развязал, бросил на стул, рухнул на мягкую постель, приготовленную еще с вечера, и горько, без слез, судорог, но всхлипывая, заплакал - как дитя, изгнанное из дома, из души, из сердца...

x x x

Не в первый, но по всем признакам в последний раз ночует Арам в губернаторстве. Нет, не срочные, неотложные дела вынудили его, не смыкая глаз провести эту ночь на службе. Сегодня он остался здесь, чтобы никого не видеть, точнее, чтобы никто не видел его.

Он заперся изнутри, не зажег ни маленькой, ни большой керосиновой лампы, сел за письменный стол и закурил. В глухой этой ночи он и сам был как ночь с мрачной своей душой, с мрачными мыслями; глубоко затянулся и загасил дымящуюся папиросу в пепельнице, оперся локтями о стол и обхватил голову руками, словно единственная его забота - удержать ее на плечах. Последние дни с их тревогами и треволнениями выбили его из колеи.

"Неужели все должно было кончиться именно так? - терзается Арам. - Неужели этот исход неизбежен? Десятки лет кряду мучиться и страдать, не спать ночей, трудиться и выбиваться из сил, сидеть за решеткой, быть в бегах, жертвовать собой и вести на заклание других, и после всего - двадцать семь дней тяжкой, героической и увенчанной победой битвы... Во имя чего? Во имя семидесяти шести дней свободы и свободной жизни. Ужасно и чудовищно, что сражался, по-видимому, один только Ван, один только Ван выстоял, победил и вкусил семьдесят шесть дней свободной независимости и независимой свободы; в других вилайетах армяне вырезаны или депортированы, иначе говоря, отправлены на верную смерть. И если ванцы по-рыцарски щедро поделятся семьюдесятью шестью днями своей свободы с соотечественниками из прочих областей Турецкой Армении, ее городов и селений, сколько же дней, сколько же часов свободы достанется каждому? Ничтожнейшая плата за великую борьбу, великие жертвы и мечты!

А сейчас отступление, переселение, бегство.

Неужели в страшном этом бедствии повинны революционеры, включая святейшего Мкртича Хримяна, и Мкртича Португаляна, и Мкртича Аветисяна, которые, по счастью, не были дашнаками, но первыми ударили в колокол освободительной борьбы? Что касается дашнаков, мы просто-напросто продолжили - под новым знаменем и жестче взявшись за кормило - дело трех этих крестителей, и, когда случались удачи, все наперебой благословляли путь, проторенный тремя предтечами, его святость и величие, когда же выпадали неудачи, винили нас одних. Что это за манера - восхвалять дерево и поносить созревшие на нем плоды? Почему не винят автора теории бумажного

и железного черпаков? Ясно же, мы только заменили бумажный черпак железным. А если б... если бы Ван пал, если б аскеры и сброд прорвали оборону и предали мечу всех до единого ванцев, неужели консерваторы не свалили бы ответственность на нас и нашу партию? Но Ван победил, и лаврами венчают отнюдь не нашу - другие партии, среди них и нейтралов. Это справедливо?

Далее. Разве наша партия была сворой самозванцев и пошла в народ, чтобы нарушить его покой, навредить ему, непременно навредить, как утверждала консервативная пресса Полиса и Тифлиса? Писать это, даже думать - недобросовестно. Нельзя же принимать народ за баранов и всерьез полагать - он-де способен избрать лишь путь, указанный его палачами, и лишь для того, чтобы погибнуть. Абсурд, околесица! Ведь это народ рождает из своего лона партии, и раз уж одна из них стала вожаком, значит, именно ей он верит, именно ей вверяет свою судьбу. Наша партия была самой народной, и не потому, что так распорядились ее руководители, нет, это народ дал ей силу и волю, сделал авангардной, лидирующей.

Кстати о руководителях. Их обвиняют и обвиняли в роман тизме. Что это за зверь такой романтизм?"

Арам встал из-за стола, дважды измерил в темноте устланный ковром пол, еще раз прошелся неверным шагом взад-вперед и упал на диван.

Древний народ изнемогает под ярмом на собственной своей земле, он раб и пленник, а пришелец - господин; хозяин дома - бесправный слуга, рабочий скот, и когда скотина посмела вспомнить о человеческом своем образе и подняться на две ноги, ей дали для острастки по голове государственным жезлом - усердий вкалывай, уставься глазами в землю и ходи на четвереньках. Что же оставалось делать Исраэлам Ори и Давидам-бекам, Мкртичам и Пето, Раффи и нынешним борцам, павшим и живым, - открыть специализированные курсы, на коих превращать волков в травоядных, а гиен воспитывать в духе гуманизма?

"С каких это пор рабство и раболепие стали синонимами добродетели и благоразумия, трезвость взгляда - синонимом романтичности, а мятежность духа - авантюризма? Не лучше ли умереть как орел, чем жить, как улитка, гусеница или червяк. Неужели рожденному для солнца и света народу суждено долго, а то и вечно томиться взаперти в мрачной пещере, как томится в пещере легендарный Мгер, обратиться в плесень и прах и стать для памятливого человечества воспоминанием наподобие Вавилона и Ассирии? Нет, наше дело правое, и победа... побе..."

Арам провел ладонью по лбу. Увлекшись раздумьями, он позабыл про такой пустячок, как "данный момент", он позабыл, что правое дело в данный момент означает... завтра утром, навсегда оставив свой дом, и очаг, и землю, и сад, ванец встанет на путь беженства, и это будет ему стоить не одного только горестного выдоха "ах" под чужим небом, но и души, истерзанной и загубленной... и все это очень, очень, очень далеко от победы.

Разве не ясно, что турки решили: настал час на веки веков избавиться от этого неудобоваримого народа, который никак не хочет выкинуть из головы, что некогда он, а не кто-то иной был хозяином и владельцем этой страны; который лелеет свои древние памятники, церкви, обычаи, язык и историю, а коли так, не может не лелеять и мысль: когда-нибудь, когда-нибудь... Вот почему турки надумали, что глупо лечить своего "больного" от головной боли и признавать его права, куда лучше раз навсегда избавиться от всяких там головных болей, отрубив хворую голову.

Арам встал, подошел к столу, нащупал пачку папирос, спички и снова закурил. Тусклый огонь спички высветил на миг его бледное лицо; спичка погасла, и оно вновь исчезло в темноте.

"У всякого народа, как и у всякого человека, есть, наверное, своя судьба, - думает Арам, стоя у окна и глубоко вдыхая горький папиросный дым. - Видимо, резня и беженство предначертаны армянам судьбой... Кто-то сказал: чтобы выжить, армянину надо еще раз умереть. Сколько он уже умирал! Похоже, это та самая смерть, после которой... после которой армянин наконец

заживет". Одного Арам не возьмет в толк: как жить после того, как умер, что это за посмертное бытие, может, речь идет о потусторонней жизни, так он сроду в нее не верил.

Он поднялся. Повернул ключ в замке, открыл дверь и вышел на балкон. Свежий ночной ветер погладил его по влажному лбу, он вдохнул полной грудью и выдохнул, и этот выдох очень смахивал на стон.

Длиннющий балкон тянулся с севера на юг, а затем сворачивал на восток. Напротив стояла ерамяновская школа, которой горожане всегда гордились и которая сейчас как-то поникла, уменьшилась. Под южной оконечностью балкона лежали омытые лунным светом сады. Арам достал из кармана часы на тонкой серебряной цепочке и взглянул на циферблат. Было далеко за полночь, но привычная тишина глухой ночи... ее нет и в помине. То тут, то там хлопают двери, и вблизи и вдали люди в голос переговариваются. Готовятся.

Двое быстрым, деловым шагом прошли мимо школы Ерамяна и свернули на широкий проспект. "Наша ошибка в том..." - донеслось до Арама, дальше он не разобрал. Ему очень хотелось бы услышать, в чем же на самом деле "наша ошибка". И есть ли на всем земном шаре хоть один Адамов сын, хоть одна группировка, хоть одна партия, которые не совершали бы ошибок? Не ошибается тот, кто бездействует, не оступается тот, кто стоит. Конечно, сейчас, когда перевернута и эта страница многострадальной истории армян, ее будут и пересматривать, и переоценивать - иначе нельзя. Придут новые поколения, наши преемники, пусть они пересмотрят и переоценят все, что было при нас, пусть сожгут в костре наше дело и наши имена, но пусть не забывают, сколько мы мучились и страдали во имя великой идеи. Пусть не забывают о детях, постаревших от горя, и о стариках, впавших после резни в детство, и пусть помнят, что в нынешних муках родится наша завтрашняя слава и что нынешний мучитель - позор и укор грядущим поколениям.

Бездонная, бескрайняя июльская ночь. Глухо, как разворошенный муравейник, шумит в горячке последних часов город. Завтра в этот час город будет пуст, ни в одном доме, ни большом, ни малом, не останется ни души, а

с утра не отворится ни одна дверь, ни одно окно. И ни единого дыма ни над одной кровлей. Хозяева города, и стар, и млад, потянутся, гонимые неведомым ураганом, на север, и пойдут, падая, и подымаясь, и оставляя на дороге трупы...
"Это он и есть, - думает Арам, - тот длинный-предлинный караван, груженный слезами".
(Удобная штука скобки, особенно когда речь идет о событиях горестных и горьких. "Ванец не бросит Ван на произвол судьбы, ванцу нет дела до переселения и отступления", - так решил ванец, и с ним солидарны и губернатор, и командиры добровольческих отрядов, и прибывшие в город неванцы. Как же нам, товарищи, достигнуть этой цели? Чтобы достигнуть этой цели, товарищи, нам нужно обратиться к католикосу всех армян, католикосу, товарищи, нужно обратиться к наместнику царя на Кавказе, а пока суд да дело, мы, товарищи, должны умолить начальника русского штаба генерала Николаева: пусть позволит ванцу не покидать Вана... А покамест мудрое эторешение не вынесено, на двери русского штаба вывесили листок бумаги, являющей собою не что иное, как написанный по-русски и по-армянски приказ, согласно которому... лучше уж не продолжать.)
"Да, - думает Арам, - из меня сейчас, судя по всему, такой же губернатор, какой из Врамяна, светлая ему память, был в свое время член османского парламента. Что творится, что происходит - переселение? отступление? Если переселение, то с какой стати ванец, горожанин или крестьянин, должен оставлять свой дом и землю и отправляться в Россию? Зачем ему бежать? Но если мы не переселяемся, стало быть, отступаем. Это отступление? Но где же, черт побери, силы, которые нас теснят? Ведь завидев блеск русского штыка, объятый ужасом турок что есть духу, мчится на запад... вот это, я понимаю, отступление - объяснимое, вынужденное. Копыта русской конницы грохочут уже на подступах к Ерзнка, а Ван отступает..."
- Какое, к дьяволу, отступление? Это бедствие, крах! - не сдержавшись, стонет Арам и в сердцах бьет кулаком о боковой столб, к которому прислонился. Его окончательно вывело из себя зрелище толпы призраков, мужчин и женщин, -

она тянулась по Санди-Похану. До Арама доносились обрывки разговоров; голоса увещевали кого-то, кого-то утешали. Уныло замычал вол; "Н-но, тяни!" - прохрипел явно недоспавший хозяин; повозка скрипнула...

Арам закрыл глаза, чтобы не видеть, ему хотелось заткнуть уши, чтобы не слышать. "Вот он, итог, итог многолетней нашей борьбы! - воскликнул он про себя, но тут же решительно и встревоженно опроверг свой вывод: - Нет, нет, путь, избранный нами, был верен, мы стали на него, движимые высокими и благородными целями, однако допускаю, что на верном этом пути мы вольно или невольно, сознательно или несознательно совершали... промахи, быть может, и роковые. Жертв, наверное, могло быть меньше, но сумма всех слагаемых, крупных и малых, неизбежно оказалась бы той же. Кто способен увидеть и предвидеть столь страшный эпилог? Мы не боги и не пророки, мы деятели, живые и павшие мученики и страдальцы, и мы просчитались... История не стоит, настанет будущее, придут новые поколения, и дай им Бог, не повторяя наших ошибок, создать то, чего не удалось нам, и да будут они при этом бдительны, осмотрительны, дальновидны, дипломатичны... вот что особенно важно, надо быть дипломатом, дипломатом, когда ты окружен драконами и шакалами..."

Арам только-только сообразил, что уличный шум все громче и громче, что на востоке начало светать. Над горой Вараг, не выше чем в двух посохах беженца, взошла утренняя звезда, Вараг окрасился синевой, а над селом Шушанц и монастырем Кармравор повисла тающая белая пелена. Уличный шум все разрастался, но нельзя было бы сказать об обычном оживленном движении взад-вперед, потому как им и не пахло - все шли вперед, и никто не шел назад. Сквозь дымку лунного света и тусклой еще зари, словно окунаясь в пыль и туман, от Санди-Похана к рассекшему город надвое Хач-Похану текли пестрые людские толпы, одна больше, другая меньше: горожане и крестьяне, женщины и мужчины всех возрастов, сонные, плачущие дети, домашний скот, воловьи упряжки, повозки с впряженными в них беженцами, ручные тележки, узлы и узелки в руках и под мышкой, кое-как прилаженная на закорках

тяжелая ноша и новорожденные на спинах матерей. "Это не переселение и не отступление, - подумал Арам, - это паническое бегство обездоленных и разоренных. А если..."

А если выскочить на улицу, стать перед этим мутным потоком и заорать во все горло: "Ванцы, народ, куда вы? Возвращайтесь по домам, сызнова затеплите огонь в дедовских очагах, откройте свои церкви и школы, магазины и мастерские!" Поздно, поздно, неистовствует Арам, колесо истории не повернуть вспять, все уплывает из рук - Ван, Васпуракан, земля, страна...

И к кому, к кому взывает этот сбитый с толку, лишенный родины, смятенный народ, на какие светлые берега уповает в штормовом море жизни утлое суденышко мрачной его судьбы и ждет ли его спасительная гавань - может статься, спасаясь от дождя, он попадет под ливень, и защитить ли ему тогда жалкие свои остатки? "Чудо, нежданное, немыслимое чудо - только оно спасет этот народ, - думает Арам. - Вдруг развиднеется и выглянет солнце спасения - солнце, которого не ждешь, и там, где не ждешь..."

Арам оторвался от улицы и окинул последним, прощальным взглядом омытые золотой пыльцой рассвета сады. Прощайте, не поминайте лихом, поминайте добром! Добром? Да разве добро еще осталось? Перед глазами промелькнуло былое, возникли, как живые, Ишхан и Врамян. Они ушли и все унесли с собой, а на его долю достались эти жуткие руины недавнего земного рая, превращенного ныне в ад... Битва проиграна, горе побежденным!

Арам облокотился на перила балкона. Не хватало воздуха. Он хотел было вдохнуть его полной грудью, не получилось, плечи его затрясло, и он впервые в жизни заплакал - солеными, горючими, безудержными слезами.

5

Наступило светлое утро, и, судя по всему, над миром взошло справедливое солнце, хотя не было видно ни утра, ни солнца.

Их не было видно, потому что пыль заволокла и утро, и солнце, и свет, и справедливость. Были видны только пыль, только насквозь пропыленные люди, только телеги и скот.

Начиная с раннего утра, Ван мало-помалу пустел.

Первым двинулся в дорогу простой люд. Не станем препираться насчет того, кто простой, а кто непростой. В Ване каждому жилось неплохо. Спорить тут не о чем, и все ж таки...

И все ж таки первым двинулся в дорогу простой люд.

У босоногих ребятишек по куску хлеба; младенцы на руках, холщовые мешки за спиной; они обратились лицом к востоку, к горе Вараг, призвали на помощь святое Знамение спаленного Варагского монастыря, затем повернули взволнованные свои лица на запад и наконец на север и зашагали вперед, и вперед, и вперед.

Проклятия. Плач. Пыль. Переселение.

Чуть погодя пустился в путь народ почище и несостоятельней. Ручные тележки, навьюченные и привязанные друг к дружке за рога коровы, бестолковые, туповатые козы, строптивые телята, придавленные тяжестью поклажи ослы и мужчины, женщины, дети, старики... Вот идет потерянная в толпе и пыли семья Гевонда-эфенди Ханджяна; его сын Агаси болен, и мальчика привязали к спине тощей коровенки, а та не противится необычной своей роли, шагает послушно и покорно.

А теперь снялся с места и загалдел весь город, все кварталы и улицы, особняки и лачуги, все подряд без разницы сословия, и пола, и возраста.

Ван пустеет.

Когда в доме Миграна Манасеряна заканчивалась спозаранок подготовка то ли к переселению, то ли к отступлению, в садовую калитку вошла вдовая Мигранова сестра, а за нею четверо сирот, и в руках у каждого по маленькому узелку. Только старшая дочь ничего не несла: по дороге она швырнула наземь легонький свой узелок, расплакалась и запела без слов - потому без слов, что после смерти отца разучилась и говорить, и понимать. Но что она сохранила, так это способность если не чувствовать, то чуять нутром. И завидев своего дядьку, она закричала, как перепуганная птица, и, проклиная, выбросила в его сторону не одну, а две растопыренные пятерни.

Мигран помрачнел, но сделал вид, что ничего не заметил; дал всем понять: бегство есть бегство, никто не рассчитывай на другого, каждый, стар и млад, сам пекись о себе. "Вопрос жизни и смерти, милые", - сказал он. Когда вышли на улицу, вышла на улицу и неразлучная с Миграном Нана. До глубины души озлобленный и взбешенный, Мигран желчно взглянул на сирот, эти ходячие угрызения совести, заметил Нану и, зловеще осклабившись, вернулся в дом; Нана метнулась за ним. Мигран направился в сад, к цветнику. Радости Наны не было предела: опьяненная резким запахом майорана, она кувыркнулась у ног Миграна и, как дрессированная собачонка, стала на задние лапы. Мигран достал из кармана пистолет и не моргнув глазом выстрелил, Нана упала на бок, окрасив розовой кровью белую, белоснежную свою шерстку и зеленый майоран.

... Сурен и Усеп выволокли телегу на улицу. Все последовали за ними. Сатеник убрала волосы со лба Лии. С красными глазами, не глядя по сторонам, шагал известный всему городу Маргар Такилииначе. Маргар был одинок, имел виноградник, любил выпить и отличался слезливостью. Прежде чем расплакаться, проборматывал: "так или иначе", - а затем уж пускал слезу. Увидев Ованеса-агу, Маргар поправил на плече переметную суму, пропахшими вином губами поцеловал Ованеса-агу в усы и, чтобы его услышали в уличном шуме и суматохе, прокричал Ованесу-аге на ухо:

- В Россию идем?

Ованес-ага согласно кивнул и спросил:

- Что у тебя в суме?

- Хлеб и вино, - ответил Маргар. Потом сказал: - Жаль нашего Вана.

- Еще как жаль, - вздохнул Ованес-ага.

- Так или иначе, - буркнул Маргар, всхлипнул и быстро отошел, глотая слезы. Случилось и другое. Усеп опустился перед Вержине на коле но и сноровистыми пальцами потуже завязал ослабевшие коричневые шнурки ее туфель. Вержине зарделась как маков цвет. Сатеник пихнула Ованеса-агу в

бок, но тот и бровью не повел Востаник с кошкой на руках взобрался на телегу. Нагруженный сверх меры белый осел тряхнул головой, звякнули бубенцы.

Все готово... все башмаки проверены и надежно завязаны., все ждут знака Ованеса-аги: трогаемся... Когда все было готово Ованес-ага тяжело прошел обратно, чуть ли не бегом ворвался на кухню, схватил полупустой бидон с керосином, крадучись, по-воровски поднялся в мансарду, выплеснул весь керосин направо-налево и отшвырнул бидон в сторону. Глубоко вздохнул. Может, запереться изнутри, выкинуть ключ из окна, чтобы, если и пожалеешь, выхода уже не было, поджечь все к чертовой матери и сгореть заживо... вместе с дедовским домом во имя прекрасного Вана?..

- Зачем? Я что, ненормальный или прямо сейчас спятил? - рассудил несгибаемый ванец. - Допустим, Ван один на весь мир. А я, Аханес? Аханесов двое?

И чиркнул спичкой.

Остальное произошло быстро. На улице он услышал не свой, а чей-то чужой голос:

- Ну, двинулись. Чего стоите?

Шествие началось. Не своими, а чьими-то чужими глазами Ованес-ага заметил, что и Кандо идет с ними, идет чуть поодаль, жалко поглядывая на Вержине. Ованес-ага поправил пояс и почувствовал себя уверенно: меня и Кандо не сравнишь, не поставишь на одну доску.

Ванцы покидали древний свой город, а Ван оставдлся позади, исчезая в пыли. Плач, проклятья, крик. Со слезами, с проклятьями и криками уходит ванец, а Ван... Ван недвижим. Так вот и решается наисложнейшая задача: кто явился на свет прежде - Ван или ванец. Конечно же в самом-самом начале возник Ван, потому что... погляди сам и убедись - уже и последний ванец ушел из Вана, а Ван стоит недвижим и неколебим и смотрит себе зелеными глазами, и одно его лицо обращено к былому, а другое - к грядущим векам...

И ужели, ужели то, что осталось позади, ужели этот безлюдный и разоренный город и вправду Ван? Да нет же, нет! Ушли ванцы из Вана и в своих помыслах,

душах и сердцах унесли Ван. И те, кто придут после них и станут жить в покинутом этом городе, не будут зваться ванцами и не будут ими. Они камня не положат на камень, потому что знают: наступит день, и вернутся подлинные хозяева города и принесут с собою Ван. А покамест они, эти подлинные ванцы, родят на чужбине детей, внуков и правнуков, но и внуки и правнуки будут считать себя ванцами и будут из поколения в поколение клясться именем Вана, именем Вана...

Так-или-иначе!

В самом конце улицы Ованес-ага обернулся. Над его мансардой густыми клубами поднимался черный дым и, мешаясь с пылью, оседал на сады. Казалось, тысячи невидимых волшебных рук разом подожгли дали, и сейчас не видно уже ни огня, ни пламени, и тревожно, и смятенно, задыхаясь в собственном дыму, без огня и пламени горят горестные сады.

P. S.

Как и у всего на свете, у книг тоже есть начало и есть конец. Этой книге полагалось бы завершиться вышенапечатанным последним сказанием, не люби ее автор сызмальства сказок и не смотри на жизнь как на мастерски сочиненную сказку, завлекательно украшенную всеми цветами радуги. Всеми цветами радуги был украшен также повседневный уклад города, которому посвящены наши краткие и просторные сказания. Вдобавок в повседневном укладе этого города преобладала краска, которой нельзя не заметить и которой напрочь лишены все радуги на свете. Эта краска - черная. Скажу больше, над этим городом, как мы уже видели, частенько перебрасывала мостик черная радуга...

Здесь-то и начинается сказка.

Итак, если поверить этой странной и страшной сказке, раз в год или, может статься, раз в пять, десять, а по-нашему, так и вовсе раз в пятьдесят лет наступает ночь, когда в урочный час оживает почивший в Бозе Ван. Сказка гласит, что умолкший город наполняется шумом и кликами, веселыми возгласами и сумятицей свадеб и пирушек, вдохновенными речами,

неуступчивыми спорами, тостами, жалобами и ропотом, плачем и причитаниями. В сказке доказывается недоказуемое: будто знакомые нам ванцы со знакомыми нам лицами, в прежней своей одежде и в прежнем своем возрасте встречаются друг с другом и, вспоминая родные пенаты и пепелища, живут второй жизнью. Невероятно! Окрест, ни зги - ни луны, ни огонька, ни лучины, но в глазах ванцев разрывая и вспарывая ночную тьму яркими огненными зигзагами, пылает свет волшебной лампы. В эти ужасающие часы город становится обиталищем безумцев, в котором люди видят друг друга страховидными своими глазами, но не слышат, потому чтя вторая жизнь непомерно коротка: она длится от силы два-три часа - этого времени недостает даже, чтобы всласть выговориться куда уж там слушать...

Только у одного среди этих безумцев с горящими глазами зрачки тусклы и бесцветны; сей слепец - несгибаемый воспитатель и просветитель юношества. Постукивая по земле палкой, он проверяет надежность дороги и убеждает всех направо и налево не считать его ваноотступником и изменником, потому как, отсиживаясь на берегах Нила, он воздвиг памятник Васпуракану, который пребудет вечным, как египетские пирамиды...

Вот идет белолицый человек в темных очках, на голове у него кепи вместо фески, а в руке министерский портфель вместо пистолета: "Горе мне, я не захотел пасть на стезе свободы и пропал в тупиках внутренних дел жалкой Араратской республики. Я умер от тифа, и даже не в Тифлисе, а в стольной деревне Ереване - постыдный конец для революционера, похожий на смерть воздухоплавателя, которого переехала телега. Правда, прежде чем умереть, я был среди тех, кто создал и сплотил сардарапатское воинство и храбро дрался в решающих битвах..."

У ствола срубленного дерева стоит человек с куцей бородкой и произносит речь. Речь его сводится к тому, что люди напрасно пеняют ему из-за совершенных и несовершенных им преступлений, поскольку он искупил свои грехи хотя бы тем, что погиб, сраженный кровавой рукой врага.

А кто вон тот человек с военной выправкой и тростью на плече? Надо полагать, бывший учитель, геройски павший на Араруцких позициях; он уверяет, что пуля, которая оборвала его жизнь, отнюдь не случайна и он умер осознанной смертью (*).

Ованес-ага уверяет Симона-агу, что потерял в дороге все и что памятные нам одеяла исчезли, а виновата в этом Вержине. Она да Усеп - они прихватили эти одеяла и смотались в Буэнос-Айрес, где и растят своих близнецов.

А вот муж госпожи Заруи - небезызвестный Пузатик; он кричит что есть мочи: "Ежели любите Бога, принимайте революцию с распростертыми объятиями, но упаси вас Бог пускать революционера к себе в дом!"

Много, много их здесь незнакомых и знакомых, у каждого свое горе, своя история - кого выслушать, чей рассказ записать? Проходит с всклоченной гривой Парамаз, вместо галстука - длинная веревка; он говорит: "Что с того, что меня повесили в Полисе, - я принял смерть во имя Вана; возлюбленный народ, удели мне уголок в ванском пантеоне". "Хушуш не видали? - спрашивает каждого встречного господин Сет. - Она не приходила домой, ужинала с армянскими офицерами в Ортачале (**) и кушала шоколад".

(*) Намек на слова "Осознанная смерть есть бессмертие" из книги писателя века Елише "О Вардане и войне Армянской".

(**) Район в Тифлисе.

А это Врамян; воздел руку, как Иисус, и говорит: "Дипломатия - вот чего нам недостает, моя мокрая смерть утопленника есть сухой факт, доказывающий, что без дипломатии несдобровать". Появляется, поджав губы, Мхо - единственный, кто не говорит, а издает невнятные звуки наподобие напуганного зверька. Извергая синими глазами пламя, доктор Ашер проповедует Библию: если бы турки читали Священное писание, убеждает он, у них не хватило бы времени резать армян. Арменак Екарян кричит громовым голосом: "Что это за жизнь - я сею, а пожинают другие?!" Тигран из Хоргома

читает проповедь о нравственности и клянется, что он чист, как Божий агнец и как Мигран Манасерян, а в том, что случилось на полпути в Хоргом, повинна одетая по-мужски и коротко остриженная жена мюдура. Вдовы Абраама Брутяна и Арташеса Солакяна схоронились в кустах: им совестно попадаться на глаза мученикам-мужьям, ибо, не сдержав слова, они вышли-таки замуж, к тому же не за гнчаков. Фанос-ага и Ованес-ага открыли на Астафьевской улице в Ереване по фруктовой лавке и с той поры враждуют. Лия ходит по пятам за Ишханом и не сводит с него глаз; лицо у нее синюшное, волосы растрепаны, платье насквозь промокло. В Беркри турки напали на ванских беженцев, и она бросилась в реку. Разбитая параличом, растерзанная, устроилась в траве старшая матушка, мать Миграна Манасеряна, и внушает Тагуи Сосоян: "Ты счастливая, тебя похоронили по-людски, а меня, когда мы бежали из Вана, загрызли волки". Проходит пышноусый Лорто, командир отряда, защищавшего Араруцкие позиции; веревка, которую свесил с неба учитель Геворг, настаивает он, оказалась коротковата, оттого и недолго светила Вану звезда свободы, но ванец, где бы он ни был, сплетет рано или поздно веревку подлиннее и покрепче, спустит с неба не то что звезду, а солнце свободы, и уж оно-то никогда не погаснет. "Киракос погиб ради того, чтобы жили тысячи и тысячи Киракосов!" - кричит Арабо, и из глаз у него сыплются искры, как из раскаленного докрасна железа под ударами молота. С маузером в одной руке и кистью в другой шагает Фанос Терлемезян. Верхом на коне проезжает, всячески сторонясь Арама, Здоровяк Даво. С перемазанной кровью картой Армении на плече бежит Манвел из Эремерийского монастыря, а сумасшедший старик из Курупаша спрашивает всех подряд: "Зятя моего не видели, длинношеего Сахо в темной папахе?" В этой стране призраков можно встретить и ныне здравствующих ванцев. Как только первые голубые кружева над горой Вараг возвещают о рассвете, воцаряется безмолвие и призраки исчезают, а здравствующие ванцы как шли, так и идут - каждый своим путем. Они оставляют за собою блестящие камушки, чтобы, едва лишь зазвонят церковные колокола, вернуться и не потерять возвратной дороги. Теперь в

мертвом городе царит тишина, однако в воздухе все еще трепещут отголоски душевных песен Акоба Кандояна: "Васпу-ра-а-а..." А когда Акоб Кандоян допоет свое "кан"? Бог весть, дорогой ты мой, Бог весть... Вот и вся сказка.

... И если, как и в любой армянской сказке, с неба непременно должны упасть три яблока, то пусть это будут артаметские яблоки и пусть они упадут в конце нашей сказки, три артаметских яблока.

И пусть первое яблоко достанется ванцам, которые доныне живут по всей земле и тоскуют по Вану, а еще пусть оно достанется их детям и внукам.

И пусть второе яблоко достанется народу нашей матери-родины, который любит Ван любовью исконного ванца.

А третье яблоко... недавно я был в Москве и видел там самые лучшие в мире яблоки; недоставало только яблок из Артамета.

Словом...

ПРИМЕЧАНИЯ

АБДУЛ ГАМИД (1842 - 1918) - султан Османской империи с 1876 г. За политику притеснений и резни в отношении армян прозван "красным". Учредил специальные конные отряды своего имени, которым досталась основная роль в осуществлении погромов 1894 - 1896 гг., унесших около 300 тысяч жизней. В 1909 г., после младотурецкой революции, был низложен.

АБОВЯН Хачатур (1809 - 1848) - писатель, педагог, просветитель, основоположник новой армянской литературы, создаваемой на живом, т.н. "мирском" языке, в отличие от "книжного" - древнего литературного языка. Автор романа "Раны Армении". Окончил Дерптский университет. В 1829 г., сопровождая профессора этого университета Ф. Парротта, совершил восхождение на Арарат.

АВАРАЙРСКАЯ БИТВА - состоялась в 451 г. на Аварайрской равнине, близ реки Тхмут, в ходе освободительной войны армянского народа против сасанидской Персии; одно из грандиознейших сражений в национальной истории, символ борьбы за независимость народа. Армянские войска

возглавлял Вардан Мамиконян, павший на поле боя и причисленный к лику святых. По словам историка V в. Елише, "не было стороны, которая победила, и стороны, которая потерпела поражение, доблестные выступили против доблестных".

АВЕТИСЯН Мкртич (1864 - 1896) - деятель национально-освободительного движения, последователь М. Португаляна, вместе с которым основал в Марселе газету "Армения". Во время резни 1896 г. организовал самооборону Вана. Погиб в бою.

АГА (тюрк.) - господин; почтительное обращение к мужчине, обычно состоятельному.

АДАНА - город в Киликии, ныне Турция. В X - X вв. принадлежал Киликийскому Армянскому царству. В начале XX в. в городе жило 45 тысяч человек, из них около трети - армяне. В 1909 г. младотурки устроили резню в Аданском и Халебском вилайетах, жертвами которой пало 30 тысяч армян.

АЙК (Гайк) - мифологический родоначальник армян. Согласно преданию, победил в единоборстве чужеземного исполина Бэла и отстоял независимость своей землищи потомков.

АЛИШАН Гевонд (1820 - 1901) - поэт, филолог, историк. Работал в Париже и Венеции, в армяно-католической конгрегации мхитаристов. Кавалер французского ордена Почетного легиона, член итальянского, Азиатского, московского Археологического обществ, йенской Академии философии и т.п.

АНАТОЛИЯ - основная, азиатская часть Турции; в Османской империи так называли северо-восточную часть Малой Азии. В 1915 - 1918 гг., во время геноцида, в Анатолии уничтожены сотни тысяч армян.

АНДРАНИК - см. Озанян.

АНИ - средневековый город в Армении, ныне на территории Турции. В - X вв. - крепость, в X - X вв. - крупнейший экономический и культурный центр, а в X - X вв. - столица царства Багратидов. В это время население города достигало 100 тысяч человек. Город был знаменит многочисленными церквами, среди которых выделялся Кафедральный собор. В 1236 г. взят

монголами, в 1319-м превращен в руины землетрясением. Символ былой славы и утрат армянского народа.

АРАКЕЛ, Молния Аракел (Тигран Абаджян, 1869 - 1916) - деятель национально-освободительного движения. Участвовал в самообороне Сасуна (1904). После ухода из Вана действовал в Эрдзинджане (Ерзнка), где и умер.

АРАМ - см. Манукян.

АРАРАТСКАЯ РЕСПУБЛИКА - Республика Армения, провозглашенная 28 мая 1918 г. после победы в Сардарапатской битве и просуществовавшая до 1 декабря 1920 г., когда в Армению вошла X Красная Армия.

АРИСА - разваренная пшеничная каша с мясом.

АРМЕНИСТЫ - члены первой армянской политической партии, основанной в 1885 г. в Ване. Партия получила название от газеты "Армения", издаваемой в Марселе. Преследовала национально-освободительные цели. В 1921 г. арменисты влились в рамкаварскую партию.

АРТОС - гора в Западной Армении, между озером Ван и рекой Тигр.

АРТАВАЗД - персонаж армянских легенд, одна из которых приведена Мовсесом Хоренаци: нечестивый царь Артавазд заключен в пещеру, а две собаки непрестанно грызут оковы на нем, чтобы царь освободился и положил конец жизни на земле; однако удар всякого кузнеца молотом по наковальне делает оковы прочнее.

АСКЕР (тур.) - турецкий солдат.

АСТХИК - богиня любви в армянском языческом пантеоне.

АХАНДЗ - смесь каленной на сковороде пшеницы, конопли, кунжута, гороха, иногда с добавлением изюма.

АХТАМАР - остров на озере Ван, на котором расположен монастырь с одним из шедевров армянского зодчества - храмом св. Креста (X в.). Около восьми столетий, до конца XX в., был одним из четырех второстепенных престолов Армянской апостольской церкви, резиденцией патриарха. В 1895 - 1915 гг. управлялся местоблюстителем патриарха.

БАКУНЦ Аксель (1899 - 1937) - писатель, один из крупнейших армянских прозаиков. Автор новелл и неоконченного романа "Хачатур Абовян". Был репрессирован.

БЕЙ (тюрк.) - господам; уважительное обращение к высокочтимому человеку.

БЕРЛИНСКИЙ КОНГРЕСС семи европейских стран - Англии, Австрии, Германии, Италии, России, Турции, Франции - состоялся летом 1878 г. и завершился подписанием трактата, согласно которому Каре, Ардаган, Артвин и некоторые другие армянские территории, принадлежавшие Турции, отошли к России. Турцию обязали провести в ее армянонаселенных областях реформы, обеспечивающие христианам элементарные гражданские права; в итоге гонения против них только усилились. Армянскую делегацию во главе с М. Хримяном, которая намеревалась обратитьвнимание держав на тяжелое положение армян в Османской империи, к официальной части конгресса не допустили.

БЗНУНИ - род армянских владетельных князей, чьи земли находились на юго-западном побережье озера Ван, которое в древности называлось Бзнунийским морем.

БИАЙНА, БИАЙНИЛИ - так урарты называли свою страну. См. Ван.

БИТЛИС - город в Западной Армении юго-западнее озера Ван, ныне на территории Турции. В X - XX вв. армянское население неуклонно вытеснялось из города. К началу XX в. в Битлисе насчитывалось 30 тысяч жителей, свыше трети из них - армяне, остававшиеся здесь наиболее крупной этнической группой. В 1915 г. армянское население было полностью истреблено.

БОЗБАШ - блюдо из баранины с овощами.

"БЮЗАНДИОН" ("Византии") - армянская научно-литературная и политическая газета, выходившая в Стамбуле в 1895 - 1918 гг.

ВААГН - бог войны, храбрости и победы в армянском языческом пантеоне. Мовсес Хоренаци записал древнейшую песню о рождении Ваагна, в которой говорится, в частности, о родовых муках неба и земли.

ВАЛИ (тур. из араб.) - правитель провинции, вилайета; наместник, губернатор.

ВАН - озеро на Армянском нагорье, ныне на территории Турции. Расположено на высоте свыше 1700 м. Площадь около четырех тысяч квадратных километров, глубина более 145 м. Вода в озере соленая.

ВАН - город на берегу одноименного озера, ныне на территории Тур, ции. Основан урартским царем Сардури в X в. до н. э. (народное предание связывает его основание с ассирийской царицей Семирамидой), в течение трех столетий назывался Тушпа и был столицей Урарту (по-урартски - Биайнили или Биаина, отсюда Ван). В в. до н. э. - ОД всей вероятности, столица армянского царства Ервандидов. Один из крупнейших городов Великой Армении при Тигране и Васпураканского царства. В разное время Ван захватывали византийцы, сельджуки, монголы.,о X в. принадлежал Османской империи. В XX в. из 30 тысяч жителей города было свыше 20 тысяч армян. В 1895 - 1896 гг. ванские армяне подверглись жестокому погрому, однако благодаря самообороне их погибло сравнительно мало. Перед Первой мировой войной в городе, по данным Ванской епархии, жило около 55 тысяч человек, из них 34 тысячи армян, а в Ванском вилайете - 425 тысяч человек, из них 220 тысяч армян, остальные курды, айсоры и др. Турок в городе и вилайете было 30 тысяч.

"ВАН-ТОСП" - общественно-политическая и научно-литературная газета, орган партии рамкаваров, в 1911 - 1915 гг. издававшаяся в Ване.

ВАРДАПЕТ - ученый-богослов; сан, присуждаемый лишь представителям черного духовенства.

ВАРУЖАН Даниэл (1884 - 1915) - поэт, крупнейший представитель западноармянской литературы, автор книг "Содрогания", "Сердце нации", "Языческие песни" и др. Учился в Венеции, окончил Гентский университет (Бельгия). Убит турками.

ВАСПУРАКАН - историческая область в Западной Армении, ныне на территории Турции. Площадь 40 тысяч квадратных километров. В 908 г. в

области возникло Ваепураканское царство Арцрунидов, границы которого на севере доходили до Аракса, на востоке - до озера Урмия. Васпураканские Арцруниды находились в вассальной зависимости от армянских Багратидов. В период расцвета в царстве насчитывалось 10 городов, 4 тысячи селений, 72 крепости, 115 церквей и монастырей. Высокого развития достигли ремесла и культура, крупнейшими представителями которой были поэт Григор Нарекаци и зодчий Мануэл. Ваепураканское царство просуществовало до 1021 г., когда было присоединено к Византии. В 1915 - 1918 гг., во время геноцида, значительная часть армянского населения была уничтожена, остальные бежали.

ВИЛАЙЕТ (тур. из араб.) - провинция в Османской империи. Шесть вилайетов - Битлисский, Диарбекирский, Свасский, Харбердский, Эрзурумский и Ванский - располагались на исконных армянских землях и имели преимущественно армянское население.

ВРАМЯН Аршак (Оник Дердзакян, 1870 - 1915) - Деятель национально-освободительного движения, член партии Дашнакцутюн. После младотурецкой революции стал депутатом османского парламента от Вана. Убит турками.

ГАМАР-КАТИПА - псевдоним Рафаэла Патканяна (1830 - 1892). Поэт, прозаик, педагог. Учился в московском Лазаревском институте, Дерптском и Петербургском университетах.

ГНЧАКИ (гнчакисты) - члены социал-демократической гнчакской партии, созданной в Женеве в 1887 г. Издавали газету "Гнчак" ("Колокол"), давшую название партии. Ставили перед собой национально-освободительные цели. Испытали влияние идей Герцена и его "Колокола".

ГОРЛАН ОГАН - персонаж эпоса о сасунских храбрецах, дядя Давида Сасунского, обладавший громоподобным голосом.

ГОХТАН - историческая область в Древней Армении, славившаяся своими сказителями.

ГРИГОР, Болгарин Григор (Григор Кезеян, даты жизни неизвестны) - деятель национально-освободительного движения. Детство и юность провел в Болгарии. После ухода из Вана эмигрировал в Иран.

ГРИГОР НАРЕКАЦИ (950 - 1003) - поэт, религиозный деятель, епископ. Автор "Книги скорбных песнопений" - крупнейшего шедевра средневековой армянской словесности. Воспитывался и получил образование в монастыре Нарек близ Вана, отсюда его прозвание. Причислен к лику святых.

ГУСАН - армянский певец-сказитель, рапсод.

ДАВИД-БЕК (? - 1728) - руководитель армянского освободительного движения против персидских и турецких захватчиков, национальный герой.

ДАВИД САСУНСКИЙ - главный персонаж эпоса о сасунских храбрецах, отважный борец за свободу народа.

ДАШНАКЦУТЮН ("Союз") - партия социалистического толка, полное название: Армянский революционный союз. Создана в 1890 г. в Тифлисе; здесь находилось Восточное бюро партии, а Западное - в Женеве. Главной своей задачей дашнаки считали вооруженную борьбу в Западной Армении, ее освобождение с помощью мировых держав и России и установление там автономии. Дашнаки долгое время активно сотрудничали с младотурками; лишь в 1912 г. Западное бюро заявило об окончательном разрыве с последними. Одним из истоков дашнакского движения были идеи русского народничества. Тактика дашнаков близка тактике эсеров, большое значение они придавали террористическим акциям. В 1907 г. Дашнакцутюн вступил во Интернационал. В Республике Армения (1918 - 1920) был правящей партией.

ДЖЕЗВЕ - кофеварка особой формы.

"ДРОШАК" ("Знамя") - газета, орган партии Дашнакцутюн, издавалась в Женеве.

ДУРЬЯН Петрос (1852 - 1872) - поэт и драматург, автор трагедий и замечательных лирических стихотворений.

ЕКАРЯН Арменак (1870 - 1925) - деятель национально-освободительного движения, член партии арменистов. Один из руководителей обороны Вана 1915 года. Автор воспоминаний (Каир, 1947). Умер в Каире.

"ЕДИНЕНИЕ И ПРОГРЕСС" - см. Младотурки.

ЕРАМЯН Амбарцум (1857 - 1929) - педагог, просветитель, историк. Автор двухтомного труда "Памятник Вану-Васпуракану" (1929). Умер в Александрии.

ЕРЗНКА (Эрзинджан) - город в Западной Армении, на берегу Евфрата, ныне на территории Турции. Впервые упоминается в в. до н. э. После погромов 1890-х гг. и гонений в 1915 г. из 40 тысяч жителей было 15 тысяч армян. В городе действовало десять армянских школ, пять церквей, издавалась армянская газета.

ЕСАЯН Забел (1878 - 1943) - писательница, публицист. Училась в Сорбонне и Коллеж де Франс. Автор романов, повестей, рассказов. В 1933 г. репатриировалась в Советскую Армению, где была репрессирована.

"ЖАМАНАК" ("Время") - армянская общественно-политическая и литературная газета. Выходила с 1908 г. в Стамбуле.

ЗОХРАБ Григор (1861 - 1915) - прозаик, публицист, общественный деятель, депутат османского парламента. Широкую известность приобрели его рассказы и новеллы, переведенные на 26 языков. Убит турками.

ИСРАЭЛ ОРИ (1658 - 1711) - один из организаторов и руководителей освободительного движения армян против персидского и турецкого ига, сторонник русской ориентации.

ИШХАН (Николайос Микаэлян) (1883 - 1915) - деятель армянского освободительного движения. Родился и учился в Шуше (Нагорный Карабах). С 1904 г. - в Ванском вилайете, с 1908-го - в Ване. Член Городского собрания. Убит турками.

ИШХАН ("князь") - особая разновидность форели, распространенная в озере Севан.

КАВУРМА (каурма) - вареное, а затем зажаренное и залитое жиром мясо, предназначенное для зимнего хранения.

КАНОН - музыкальный струнный щипковый инструмент.

КАРИН - армянское название Эрзурума, города в Западной Армении, ныне на территории Турции. Один из древнейших армянских городов, крупный центр армянской рукописной культуры. К 1915 г. в Карине насчитывалось 15 тысяч армян, действовали армянские школы и церкви, издавалась армянская газета.

КАРПЕТ - ковер без ворса.

КАРС - город в Западной Армении, ныне на территории Турции. В Великой Армении - одна из главных крепостей области Айрарат. В X веке недолгое время был столицей царства армянских Багратидов. В этом же веке была возведена знаменитая церковь св. Апостолов. В 1913 г. из 12 тысяч жителей в городе было свыше 10 тысяч армян, действовали армянские школы, женская прогимназия, реальное училище, которое окончил Е.Чаренц, издавались газеты.

КОМИТАС (Согомон Согомонян, 1869 - 1935) - композитор, хоровой дирижер, основоположник национальной школы многоголосого пения и армянской научной этнографии. Окончил Эчмиадзинскую духовную академию, получил сан вардапета. Изучал теорию и историю музыки в Берлине. Обработал десятки народных песен, вернув им подлинно нат циональное звучание. Как певец, дирижер и лектор с успехом пропагандировал армянскую музыку во многих странах. В 1915 г. сошел с ума от ужасов резни. Умер в Париже.

КОНДАК - официальное послание армянского католикоса.

КУРСИ - низкий столик над жаровней, укрытый одеялом и предназначенный для обогрева рук и ног.

КУРУШ - турецкая разменная монета, равная 1100 лиры и 40 пара.

МАМИКОНЯН Ваан - спарапет (верховный главнокомандующий) Армении, возглавлял национально-освободительную войну против персидских

захватчиков 481 - 484 гг., - племянник героя Аварайрской битвы Вардана Мамиконяна.

МАНУКЯН Арам (Саргис Ованесян, 1879 - 1919) - деятель национально-освободительного движения. Родился в Шуше (Нагорный Карабах), учился в Ереване. В Ване с 1905 г. Один из руководителей Сардарапатского сражения (1918). Министр внутренних дел Республики Армения. В 1991 г. именем Арама названа одна из ереванских улиц.

МАРТИК (Мартирос Саруханян, 1873 - 1896) - один из руководителей героической самообороны Вана в 1896 г. Убит в бою.

МАСИС - армянское название горы Арарат.

"МАТЬ-АРМЕНИЯ" - картина, чрезвычайно популярная в армянской среде на рубеже XX и XX вв. На картине изображена женщина, скорбящая на руинах Ани и символизирующая Армению. Принадлежит кисти малоизвестного итальянского художника, который написал ее по заказу армянской конгрегации мхитаристов. Иногда приписывается Аршаку Фетваджяну (1866 - 1947). Оригинал хранится в школе Мурад-Рафаэлян (Венеция).

МГЕР, Мгер Младший - персонаж эпоса о сасунских храбрецах, сын Давида Сасунского. Добровольно заточил себя в скале, называемой Вороновым камнем, где пребудет до тех пор, пока не разрушится основанный на кривде мир.

МЕДЖИДИЕ - старинная турецкая серебряная монета.

МЕСРОП МАШТОЦ (360 - 440) - творец армянского алфавита, работа над которым была завершена в 405 г., создатель национальной письменности и переводчик Библии. Согласно преданию первой фразой, начертанной им по-армянски, было начало Притчей Соломоновых: "Познать мудрость и наставление, понять изречения разума". Причислен к лику святых.

МЛАДОТУРКИ - участники антисултанского движения в Османской империи, завершившегося в 1908 г. т. н. младотурецкой революцией. На базе движения возникла партия "Единение и прогресс". До прихода к власти младотурки выдвигали лозунги демократических свобод и равенства всех

народов, населяющих империю; придя к власти, руководствовались оголтелым шовинизмом и учением пантюркизма, что привело к геноциду и уничтожению полутора миллионов армян.

МОВСЕС ХОРЕНАЦИ - писатель века, автор первой систематической "Истории Армении", прозванный Отцом истории.

МСРА-МЕЛИК ("Египетский царь") - персонаж эпоса о сасунских храбрецах, главный враг Давида Сасунского, олицетворяющий захватчика и поработителя.

МУШ - город в Западной Армении, ныне на территории Турции. До X в. упоминался как поселение и крепость. В X в. входил в состав царства армянских Багратидов и насчитывал до 25 тысяч жителей. Славится историческими памятниками. Центр армянской рукописной и художественной культуры. В начале XX в. в городе жило около 10 тысяч армян, имелось пять церквей, в том числе св.Марине (X в.), несколько армянских школ и газета. В 1915 г. армянское население было полностью уничтожено.

МЮДУР - уездный начальник в Османской империи.

НААПЕТ КУЧАК - поэт X в., которому приписываются многочисленные стихотворения любовного и философского содержания, являющиеся вершиной армянской поэзии позднего средневековья.

НАЗАРЯН Степанос (1812 - 1879) - публицист, просветитель, литературовед. Окончил Дерптский университет. Профессор персидской и арабской словесности московского Лазаревского института. Издавал в Москве журнал "Юсисапайл" ("Северное сияние"), переводил Шиллера.

НАИРИ - племенной союз на территории Армянского нагорья в X - X вв. до н. э.; поэтическое название Армении.

НАЛБАНДЯН Микаэл (1829 - 1866) - писатель, философ, революционный демократ. Учился в Московском университете. Автор повестей, стихов, статей по вопросам общественной жизни, политической экономии, лингвистики, педагогики; основоположник армянской реалистической эстетики.

ОЗАНЯН Андраник (1869 - 1927) - народный герой, один из лидеров национально-освободительной борьбы, возглавлявший отрады мстителей-гайдуков. Воевал с турками также в Болгарии. Во время Первой мировой войны руководил армянскими добровольческими дружинами в составе русской армии, получил звание генерал-майора. Умер в США. В 2000 г. прах Андраника перевезен в Ереван. Об Андранике сложено множество народных песен.

ОТТОМАНСКИЙ БАНК - ведущий банк Турции, захваченный в 1896 г. группой армянских боевиков, преимущественно гнчаков и дашнаков, стремившихся привлечь этой акцией внимание мировых держав к положению армян. После переговоров при посредничестве иностранных дипломатов - участников акции вывез из Стамбула французский корабль, однако инцидент явился удобным поводом для кровавых погромов в столице и провинциях.

"ОРЛИНЫЙ ВАСПУРАКАН" ("Арцви Васпуракан") - журнал, первое периодическое издание в Западной Армении. В 1858 - 1864 гг. издавался М. Хримяном в Варагском монастыре.

ОТЯН Ерванд (1869 - 1926) - прозаик, сатирик, публицист. Автор романа "Товарищ Панджуни", многих повестей и рассказов.

ПАРА - турецкая разменная монета, равная 140 куруша.

ПАРАМАЗ (Матевос Саргсян, 1863 - 1915) - деятель национально-освободительного движения, член гнчакской партии. Родился и учился в Восточной Армении. В Ване с 1896 г. Казнен турками.

ПАРОНЯН Акоб (1842 - 1891) - прозаик, драматург, автор повести "Достопочтенные попрошайки", пьесы "Дядюшка Багдасар" и др.

ПАША (тур.) - титул высших военных и гражданских сановников в султанской Турции; армяне называли так особо почитаемых людей: Андраник-паша, Арам-паша.

ПЕТО (Александр Петросян, (? - 1896) - деятель национально-освободительного движения, один из руководителей самообороны Вана в 1896 г. Погиб в бою.

ПЕТРОС ГЕТАДАРЦ (? - 1058) - католикос всех армян с 1019 г.

ПОЛИС - сокращенное (от Константинополис) армянское название Стамбула, который вплоть до 1915 г. был крупнейшим центром западно-армянской общественной и культурной жизни. Первая армянская община возникла в Константинополе в в. В начале XX в. в Стамбуле жило 150 тысяч армян, в 1880-е гг. - 250 тысяч. Султан Абдул Гамид запретил армянам въезд в город, а в 1896 г. учинил здесь резню, жертвами которой пали около 10 тысяч армян. К 1915 г. их насчитывалось в Стамбуле 150 тысяч; значительная часть стамбульских армян, в основном интеллигенция, погибла во время геноцида. Армяне всегда играли огромную роль в экономической, хозяйственной и культурной жизни города и всей Турции. Турецкую промышленность и торговлю контролировали в основном армяне, а также греки и евреи. Помимо промышленников, коммерсантов, ремесленников, в Стамбуле жили многие армянские писатели, художники, музыканты, архитекторы, действовали десятки церквей, школ, союзов, товариществ. Стамбул исстари был центром армянского книгопечатания, армянская типография впервые открылась здесь в 1565 г. Во второй половине XX в. их было около тридцати. В разное время в Стамбуле издавалось свыше 300 армянских журналов и газет. С успехом развивалось театральное искусство, постоянно работали профессиональные труппы.

ПОРТУГАЛЯН Мкртич (1847 - 1921) - деятель национально-освободительного движения, первый редактор издававшейся в Марселе газеты "Армения". Отказался возглавить созданную его учениками партию арменистов, утверждая, что нужно поднять на борьбу весь народ, а не его часть.

ПОХИНД - кушанье из поджаренной пшеничной муки.

ПРОШЯН Перч (1837 - 1907) - писатель, педагог. Окончил семинарию Нерсисян в Тифлисе. В 1861 г. открыл первую армянскую женскую школу. Автор романов "Сое и Вардитер", "Яблоко раздора" и др.

РАМКАВАРЫ ("демократы") - члены западноармянской либеральной партии, официально называвшейся конституционно-демократической. Партия основана в 1908 г. в Александрии. Рамкавары не считали возможным добиваться политической независимости Западной Армении, но требовали гарантий существования народа и свободного национального развития. Не найдя с младотурками общего языка, перешли со временем на полулегальное положение. В 1921 г. партия была преобразована в партию Рамкавар-Азатакан (демолиберальную).

РАФФИ (Акоб Мелик-Акобян, 1835 - 1888) - писатель, автор исторических романов "Золотой петух", "Безумец", "Самвел", "Давид-бек" и др.

РУБИНЯН - княжеская, а впоследствии царская династия в Киликийской Армении (1080 - 1219).

СААК, Саак Великий (348 - 439) - католикос всех армян с 387 г. Ревностный поборник национальной письменности и просвещения, покровитель и сподвижник Месропа Маштоца. Причислен к лику святых.

САДР - низкая широкая тахта во всю длину стены.

САРДАРАПАТСКАЯ БИТВА - состоялась 21 - 29 мая 1918 г. близ селения Сардарапат в 40 километрах от Еревана между турецкими и армянскими войсками. В этой битве во многом решалась судьба армянского народа, а также всего Закавказья. Одно из важнейших сражений в истории Армении. Армянские регулярные войска при поддержке народного ополчения нанесли туркам поражение и отстояли тем самым физическое существование нации. Одним из итогов победы стало возрождение утерянной в конце X в. государственности - 28 мая была провозглашена Республика Армения.

СЕНЕКЕРИМ, Сенекерим-Ованес (? - 1025) - царь Васпуракана в 968 - 1021 гг. Принадлежал к роду Арцруни.

СЕРОБ, Родник Сероб (Сероб Варданян, 1864 - 1899) - деятель национально-освободительного движения, один из первых и наиболее знаменитых армянских гайдуков, герой многих народных песен.

СИАМАНТО (Атом Ярджанян, 1878 - 1915) - поэт, выдающийся представитель западноармянской литературы. Учился в Стамбуле и Сорбонне. Автор книг "Сыны отечества", "Факелы агонии и надежды" и др. Убит турками.

СИПАН - гора западнее озера Ван, вторая после Арарата вершина Армянского нагорья (4434 м).

СРВАНДЗТЯН Гарегин (1840 - 1892) - общественный и религиозный деятель, епископ, этнограф и собиратель фольклора. Впервые записал и опубликовал эпос о сасунских храбрецах.

СУДЖУХ - вид вяленой колбасы.

ТАВА-КЯБАБ - рубленое мясо, залитое яйцом.

ТАВЛИ - разновидность игры в нарды.

ТАМА - вид восточных шашек.

ТАНАПУР - суп на кислом молоке.

ТАРЕХ - вид сельди, распространенной в озере Ван.

ТЕОДИК (Теодос Лабджинджян, 1873 - 1928) - литератор, издатель и редактор. В 1915 г. был арестован и депортирован, однако группе армянских партизан удалось освободить его. С 1923 г. жил в Париже.

ТЕРЛЕМЕЗЯН Фанос (1865 - 1941) - народный художник Армении. Учился в Ване, Петербурге, Париже. Активный участник борьбы против османского ига. Покинув в 1915 г. Ван, поселился в Ереване. Портрет Комитаса (1913) хранится в Национальной галерее Армении.

ТИГРАН ВЕЛИКИЙ (140 - 55 до н. э.) - царь Армении в 95 -55 гг. до н. э.

ТОНИР - вырытый в земле очаг, используемый для приготовления, пищи и выпечки лаваша.

ТРАБЗОН - город в Турции, на берегу Черного моря. Армянская община появилась в Трабзоне в в. В XX в. открылись армянские школы, типография, возникли периодические издания. Накануне Первой мировой войны в Трабзоне жило 15 тысяч армян. Почти все они погибли во время геноцида.

ФИДАИ - бойцы добровольческих отрядов, участники национально-освободительного движения против турецкого ига в Западной Армении.

ХАДЖИ (араб.) - у армян: человек, совершивший паломничество в Иерусалим.

ХАЗЫ - средневековые армянские нотные знаки.

ХАНДЖЯН Агаси (1901 - 1936) - политический деятель, с 1930 г. первый секретарь ЦК КП Армении. Уроженец Вана, воспитанник Центральной школы. Застрелен в Тбилиси Берией.

ХАНАСОРСКИЙ ПОХОД (1897) - операция армянских мстителей, направленная против боевиков курдского племени "мазрик", замешанных в вероломном убийстве гайдуков. Женщин и детей в соответствии с приказом армяне не трогали. В бою погибли десятки вооруженных курдов, однако вождь племени Шариф спасся бегством.

ХАТУН - уважительное обращение к замужней женщине.

ХАЧКАР ("крест-камень") - каменная стела с резным изображением креста и орнаментом; уникальное явление армянского искусства. В Армении насчитываются десятки тысяч разнообразнейших хачкаров.

ХАШЛАМА - блюдо из вареного мяса.

ХОР-ВИРАП ("глубокая яма") - подземелье близ Арташата, где, по преданию, в тридцать лет томился Григорий Просветитель, впоследствии первый армянский католикос, заключенный туда царем Трдатом за проповедь христианства. По освобождении Григория христианство в 301 г., впервые в мире, было признано в Армении государственной религией.

ХРИМЯН Мкртич, Мкртич Ванец (1820 - 1907) - общественный и религиозный деятель, издатель и литератор, с 1892 г. католикос всех армян. Пользовался колоссальным авторитетом и популярностью в народе, который прозвал его Батюшкой (по-армянски "Айрик") и Орлом Васпуракана. Уроженец Вана.

ХУШУШ - царица Васпуракана в конце X - начале X в., жена Сенекерима-Ованеса, дочь Гагика Багратуни.

ЧАРЕНЦ Егише (1897 - 1937) - поэт и прозаик, автор романа "Страна Наири" и многих поэтических книг, классик армянской литературы. В составе добровольческого полка был в Ване; впечатления от увиденного запечатлены в поэме "Дантова легенда" (1916). Жертва репрессий.

ШАМИРАМ - армянский вариант имени полумифической ассирийской царицы Шаммурамат (Семирамиды), с которой связано несколько древнеармянских преданий и легенд.

ШАНТ (Сехбосян) Левон (1869 - 1951) - драматург, автор пьесы "Старые боги"; деятель партии Дашнакцутюн, в Республике Армения был председателем парламента, возглавлял делегацию Армении на советско-армянских переговорах в 1920 г. в Москве. После установления советской власти был арестован, освобожден во время февральского восстания 1921 г. и эмигрировал.

ШАХНУР Шаан (1903 - 1974) - прозаик. Жил во Франции, писал по-армянски и по-французски.

ШАРАКАН - армянское средневековое духовное песнопение.

ЭРЗУРУМ - см. Карин.

ЭФЕНДИ (тур.) - вежливое обращение к мужчине.

ЭЧМИАДЗИН - город близ Еревана, резиденция католикоса всех армян, центр Армянской апостольской церкви.

ЯЗМА - женский головной платок, концом которого прикрывали рот.